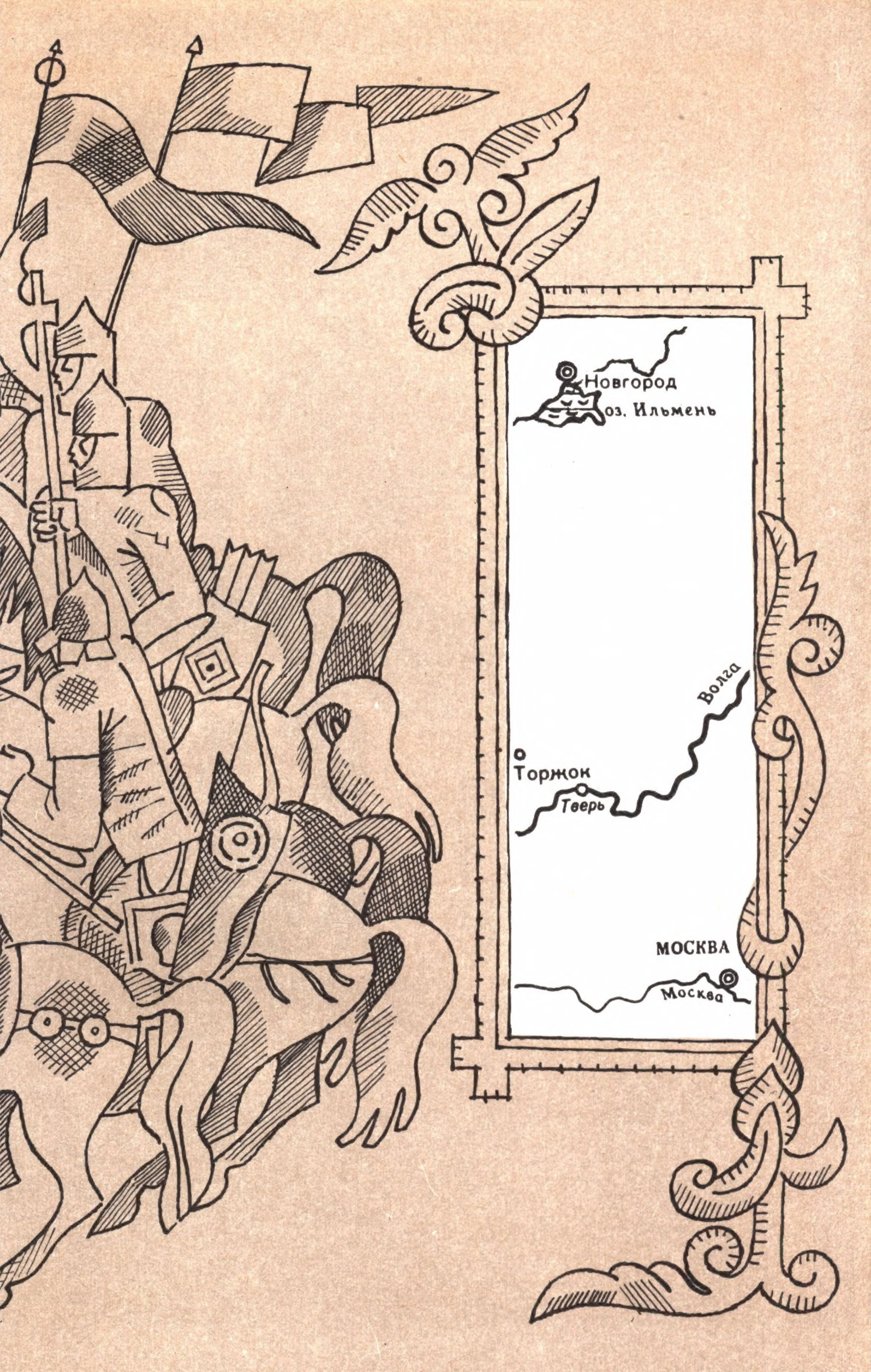
Государство всё нам держати


Новгород
оз. Ильмень
Волга
Торжок
Тверь
МОСКВА
Москва

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ,
ДОКУМЕНТАХ

ВЕК
XV

Государство всё нам держати

Дмитрий Балашов

МАРФА-ПОСАДНИЦА

Роман

СОВРЕМЕННИКИ О НОВГОРОДЕ XV века

КТО И КАК ИЗУЧАЛ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Москва
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

Составление, предисловие, комментарии
кандидата исторических наук
А. С. ХОРОШЕВА

Рецензент
член-корреспондент АН СССР, профессор,
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР
В. Л. ЯНИН

Оформление Библиотеки
Ю. БОЯРСКОГО

Иллюстрации
В. КУЛЬКОВА

Г $\frac{4702010000-111}{078(02)-85}$ КБ— 027—019—84

ПРЕДИСЛОВИЕ

1478 год. Январь. История отсчитывает последние часы Новгородской боярской республики. Независимое государство — от устья Невы до Урала, от литовской границы до Кольского полуострова — накануне коренных изменений.

Судьба Новгорода Великого решается недвусмысленным и безапелляционным требованием великого князя Ивана III Васильевича: «Хотим государства своего, как есмя на Москве, так хотим быти на отчине своей Великом Новегороде».

Новгородские бояре упорно пытались перевести переговоры в привычную колею политического компромисса. И вот настал день, когда Ивану III не словом, но делом пришлось довести до сознания новгородских вельмож, что миновали дни двусторонних соглашений: «...вечю колоколу не быти, посаднику не быти, а государство всё нам держати».

Московские «дворяна», охочие до богатства и земель, рвались ускорить агонию Новгорода, но великий князь не торопился. Окружив город своими войсками, используя голод и мор, он выжидал. Столкнувшись с холодной, твердой решимостью великого князя, новгородские послы были вынуждены принять его условия. Боярская республика перешла в «государство» Ивана III.

10 января 1478 года было очищено Ярославово дворище, где собиралось новгородское вече и находились органы государственного управления.

13 января руководители республики были приведены к «крестному целованию» государю. Одновременно от Новгорода были отторгнуты обширные северные области — Двина и Заволочье.

18 января новгородское боярство било челом Ивану III. Присяга вопреки прежним вечевым обычаям происходила не на Ярославовом дворище, а «на владычном дворе» архиепископа, не через вече, а через Совет господ. Крестоцеловальная грамота была подписана архиепископом Феофилом, скреплена его печатью и буллами пяти новгородских концов. Полагавшихся по традиции

печатей-булл посадника и тысяцкого на той грамоте не было. Так с ходу вытравлялись следы вечевого порядка. Кончанская самоуправляющаяся система пяти городских районов — концов пока еще сохранялась. После крестоцелования на владычном дворе акт присяги был продолжен во всех пяти городских концах, где «все целовали — люди и жены, боярские вдовы и люди боярские».

22 января в Новгород были направлены наместники великого князя, виднейшие сановники: Иван Васильевич Стрига-Оболенский и брат его Ярослав. Следом за ними, через неделю, в капитулировавший Новгород торжественно въехал сам государь. Начались пиры и одновременно с ними аресты последних вождей вечевого города. Вечевой колокол — символ новгородской «вольности» — был снят с вечевой гридницы и перевезен в Москву, где «вознесли его на колокольницы на площади с прочими колоколы звонити».

Так Иван III «выстоял стоянием» Великий Новгород и ликвидировал новгородскую республиканскую государственность. После января 1478 года от новгородского вечевого строя остались обломки. Выборный новгородский владыка Феофил сначала был смещен со всех государственных постов и лишен половины своих софийских владений, а 19 января 1480 года был «поиман», отвезен в Москву и заточен в Чудовом монастыре. Одновременно великий князь изъял софийскую владычную казну, «взя множество злата, и серебра, и сосудов».

Тогда же из Новгорода принудительно были переселены в Подмосковье и приволжские города многие феодалы и богатые купцы.

Все эти события являлись логическим завершением действий московской великокняжеской администрации по выкорчевыванию корней новгородского политического порядка.

И тем не менее «гроза 1478 года» не была внезапной. Барометр истории четко и определенно фиксировал ее приближение, по крайней мере, с рубежа пятнадцатого века.

Пятнадцатое столетие имеет особое значение в истории нашего государства. Это эпоха собирания Руси, время, когда Россия впервые вышла из «сумрака теней». Начало столетия уходит в хаос удельной раздробленности, а к концу его практически завершается создание единой Руси во главе с Москвой.

Единое национальное государство рождалось мучительно, в столкновении старого и нового, в борьбе централизации и сепаратизма, в соперничестве крупнейших политических центров,

претендовавших на ведущее место в процессе единения, в схватке княжеских амбиций.

Конфликт XV века жесток. В кровавых бранях столетия определялось будущее России. Здесь источник, который позднее питал полноводный поток Российского государства.

Политика, неуклонно проводившаяся великокняжеской московской властью на протяжении XV века, была выражением прогрессивной исторической тенденции образования на Руси централизованного государства. Только сильное единое государство могло сбросить монголо-татарское иго, столетиями тормозившее историческое развитие страны. Только объединение могло дать новый стимул экономическому развитию. Только политическое единение могло привести и привело к воссоединению русского, украинского и белорусского народов. Только переходом к строю самодержавному возможна была ликвидация удельных порядков, которые Энгельс назвал «феодальным беспорядком».

На пути к политическому единству страны Москве противостояла раздробленная, но все еще опасная Орда, многочисленные цари и царьки которой стремились лихими набегами напомнить Руси о ее прошлом бессилии.

Московские князья, сталкиваясь с сепаратизмом удельных князьков, должны были победить в упорной борьбе оппозицию галицких князей, династические притязания которых ввергали страну в хаос междоусобных войн.

Единству Великороссии противилась Литва, великие князья которой включили в состав своих владений западные и южные русские княжества: Киев, Волынь, Витебск, Полоцк, Минск, Смоленск.

На пути Москвы стоял Новгород, правящая боярская олигархическая верхушка которого судорожно цеплялась за порядки «старины», за «вольность», следуя узконовгородским феодально-собственническим интересам.

Исторический парадокс: Новгород — неразрывная и составная часть Руси; Новгород — северный страж русских земель. И Новгород — противник единства Руси. Где же та грань, перейдя которую республиканское правительство перестало осознавать Новгород частицей Руси? Для понимания этого необходимо углубиться в исторический «сумрак» того времени, когда на берега Ильмень-озера выплеснулась славянская волна. До появления славян там обитали балты и прибалтийские финны. Практически одновременно со славянами в низовья реки Волхов (район Старой Ладоги) внедрились и варяги, контролировавшие

северный отрезок знаменитого пути «из варяг в греки». Из Старой Ладоги, по летописному преданию, были призваны княжить в Новгород, Псков и на Белоозеро братья-варяги Рюрик, Трувор и Синеус.

Появление славян археологически датируется VIII—IX веками. Более ранних славянских признаков в Новгородской округе нет. Кстати, почему город называется Нов город? А где был старый город? Эти вопросы интересовали многих историков, пытавшихся опознать «старый город» на месте того же Новгорода, в Славенском конце его или на Городище, вблизи, но все-таки за пределами города. На роль предшественника Новгорода претендовала Старая Русса, Старая Ладога и другие города на территории Новгородской земли и за ее пределами.

Еще более проблематична точка «исхода» «новгородских, или ильменских, словен», как называют древние летописи славянские племена северо-запада, достигшие в VIII—IX веках берегов Волхова. Традиционно считают, что словене пришли сюда с юга, из бассейна Днепра.

В последнее время историки и лингвисты склонны к поиску «исходной точки» словен на западе, на территории современной Польши. Эта гипотеза тоже находит сторонников.

Освоение славянами Приильменья и Поволховья не исключает военного характера их действий. Немалую роль в этническом формировании населения Новгородской земли и ее истории сыграло и коренное население. Местные племена (ижора, весь и карела) принимали постоянное и активное участие во внутренних и внешних делах Новгорода. С их помощью Новгород овладел Старой Ладогой, после чего для новгородцев открылся путь в Обонежье, район Онежского озера, на север, вплоть до Кольского полуострова, на восток, через Заволочье, на Двину, Белое озеро до Урала.

Город рос по обоим берегам реки Волхов, вблизи его истока из Ильмень-озера. Вниз по реке, через Ладожское озеро и Неву открывался выход в Балтийское море, пролегал путь в Западную Европу. Из Ладоги шел путь в богатые пушниной районы Обонежья, Подвинья, за Югорский камень (Урал). Из озера Ильмень через реки Мсту, короткий волок и Тверцу — путь на Волгу, к Каспийскому морю. Из Ильмень-озера по реке Ловати шла дорога в Поднепровье. Само географическое положение сделало город крупным центром древнерусской и международной торговли.

Река Волхов была естественной осью Новгорода, его основной внутригородской коммуникацией. Она и расчленяла и объединяла город, была свидетелем и участником всех событий в

истории города. Мост через реку соединял Торговую сторону с жителями противоположной, Софийской стороны. С моста в Волхов разъяренные новгородцы сбрасывали изменников вечевому делу.

Центром левобережной Софийской стороны был кремль-детинец с каменной громадой Софийского собора. Здесь располагалась резиденция новгородского архиепископа-владыки. К полукружью кремлевских стен вплотную подступали городские кварталы Неревского, Загородского и Людина (Гончарского) концов. Средоточие правобережной, Торговой стороны — Ярославово дворище и Торг, окруженные церквами. К Торгу примыкали постоянные фактории немцев и шведов, Пскова и Твери. Северную часть Торговой стороны занимал Плотницкий конец, южную — Славенский. Город рос и к концу XIV века достиг пределов окольного вала, замкнувшего систему обороны средневекового Новгорода. Так же постепенно формировались и городские районы — концы. До второй половины XII века их было три: Славенский, Людин и Неревский. Затем к ним прибавился на Торговой стороне Плотницкий, а на Софийской — столетие спустя — Загородский.

Став важным центром Древнерусского государства, Новгород способствовал процветанию ремесел. Творения искусных новгородских умельцев, запечатленные в дереве и металле, камне и кости, не перестают восхищать нас, дальних потомков, своей изысканностью и подлинным мастерством.

В начале своей истории социальный ритм Новгорода не отличался от жизни других центров Киевской Руси. Как и они, город пережил княжескую «реформацию» языческого культа, а затем введение христианства, переболел межэтническими конфликтами, перенес ломку дедовских общинно-вечевых устоев, подчинился сильной княжеской власти далекого Киева и, наконец, созрел для создания нового общественного устройства.

Неутомимые новгородские труженики — ремесленники и торговцы, крестьяне и мастеровые — умножали богатства Новгорода, осваивали обширные территории, чем обогащали социальную верхушку.

Осознав свою экономическую и политическую силу, новгородское боярство повело борьбу с Киевом за власть. Когда идея автономии Новгорода была поддержана всеми социальными группами Новгорода, он стал республикой.

Классическим периодом истории Новгорода считаются XII — XIV века. Система его социального устройства в это время была сложной и противоречивой. Она родилась как следствие острой борьбы различных социальных и политических сил внутри города. В Новгороде существовало несколько постоянных институтов

власти, которые опирались, в свою очередь, на различные социальные и территориальные объединения.

Важным общественным институтом Новгорода долгое время была княжеская власть. В основе отношений Новгорода и князя лежал принцип признания феодальной республикой верховной власти великого князя Владимирского. Условия феодальной раздробленности Руси и кровопролитной борьбы князей за великокняжеский ярлык способствовали сведению власти князя в Новгороде к роли наемного военачальника.

Белое духовенство во главе с архиепископом в случае столкновения боярства с князем или восстаний городских низов зачастую выступало третейским судьей и постепенно концентрировало в своих руках важнейшие рычаги государственного управления.

Новгородский архиепископ накануне краха Новгорода был не только идеологом феодальной верхушки, не только пастырем своего духовного стада, но и крупнейшим землевладельцем, первым среди государственных сановников. Владыка — председатель Совета господ. В его руках государственная казна. Имя владыки стоит первым на всех важнейших государственных актах независимо от того, исходили ли они от Совета господ или от веча. Владычный наместник — обязательный участник государственного судопроизводства.

С белым духовенством успешно конкурировало черное духовенство. Институт монастырей во главе с архимандритами, избиравшимися общегородским вечевым решением, как политически, так и экономически был теснейшим образом связан с новгородским боярством, с кончанской администрацией, которая в жизни города играла существенную роль.

Кончанская администрация формировалась на базе боярских фамилий (кланов) каждого конца Новгорода. Боярские кланы, возможно, выделившиеся из среды былой родо-племенной верхушки, владели в пределах конца крупными земельными участками. На этих участках помещался целый куст усадеб, включавших жилые и хозяйственные постройки родственных боярских семей. Население боярской усадьбы составляли не только челядь, приказчики, воины, здесь жило немало вотчинных ремесленников и даже священники собственных (ктиторских) церквей. Многочисленное население боярской усадьбы оказывало немалую помощь хозяину в ходе политических схваток за государственные посты. Это, однако, не исключало социальных трений внутри самих боярских кланов. Классовое расслоение внутри феодальной республики постоянно углублялось.

В борьбе между кончанскими группировками решались во-

просы о выборных государственных должностях, в том числе и посадника — главного администратора Новгорода. К нему постепенно переходили полномочия князя.

Соотношение сил в борьбе за власть внутри новгородского общества никогда не было равнозначным. Постоянные изменения в этом соотношении стимулировали изменения функций самого института посадничества.

В конце XII века посадничество из неограниченного по времени действия органа единоначальной власти, опиравшейся на поддержку веча, превратилось в ежегодно обновляемый выборный орган. Создается коллегия из трех человек, из состава которой ежегодно избирался посадник. Реформа середины XIV века вдвое увеличила состав коллегии. Из числа коллегиального посадского органа каждый год избирался старший, «степенный» посадник. Наконец, в начале XV века проводится последняя республиканская реформа, увеличившая число посадников до нескольких десятков во главе со степенным, избираемым на полугодичный срок.

Увеличением количества бояр, участвовавших в управлении, предполагалось снизить остроту борьбы между отдельными боярскими группировками, ослаблявшей республику вплоть до конца новгородской самостоятельности.

Параллельно с кончанской администрацией на протяжении всей истории республики существовала система сотенной администрации. Она объединяла купечество, землевладельцев небоярского происхождения (житьих), свободных ремесленников.

Свободное население делилось на сотни, и каждые десять сотен руководились своими выборными — сотскими. Из числа сотских выбирался тысяцкий.

Сотенная система города дополнялась профессиональными объединениями — товариществами купцов, ремесленников. Например, «Иваньское» товарищество, возникшее в XII веке при церкви Ивана на Опоках, близ Торга, объединяло купцов-вощаников.

Свободное население города участвовало в вечевых собраниях улицы, конца, города, принимало участие в формировании органов республиканского самоуправления на всех уровнях: от уличанских старост до Совета господ. Однако полноправными гражданами феодальной республики, по существу, было лишь боярство. Из числа бояр избирались руководители ведущих республиканских институтов власти. Окончательное утверждение к началу XV века боярской олигархии отвратило другие социальные слои населения города от бояр и ускорило падение Новгорода.

На переломе XIV и XV столетий Новгород оказался в сложном положении. Внутриполитические и социальные конфликты наслаивались на внешнеполитические колебания боярского правительства между Москвой и Литвой, стремившихся подчинить себе Новгород. Новгородское боярское правительство, оказавшись между двух огней, пыталось дипломатическим маневрированием сохранить независимость своих земель; признавая верховную власть московского великого князя, новгородцы неоднократно приглашали к себе на службу литовских князей, отдавая им в кормление северные и западные районы Новгородской земли.

Когда же дипломатические маневры новгородских бояр не приносили желаемых результатов, когда война становилась неизбежной, а такое случалось неоднократно в первой половине XV века, Новгород, не полагаясь на собственную военную силу, все чаще предпочитал откупаться. Так в 1428 году под Порховом новгородцы уплатили литовскому князю Витовту «за мир» 10 тысяч рублей — по тем временам огромную сумму. В 1441 году великий князь московский Василий Васильевич согласился на мир, получив выкуп с Новгорода в 8 тысяч рублей.

Великий Новгород в XV веке уже не был той грозной военной силой, которая в XII—XIV столетиях не раз наносила поражения немцам и шведам, которая в XIII веке отстояла западные рубежи Руси, продемонстрировав доблесть новгородских воинов на берегах Невы и на льду Чудского озера, мужество новгородских ополченцев на полях под Раковором.

Новгородское боярство и духовенство стало больше полагаться на могущество новгородского рубля, чем на доблесть и силу новгородского войска.

Становилось очевидным, что в XV веке европейская «феодальная система» с ее разобщенностью и раздробленностью пришла в упадок. И в городе, и в деревне «среди населения увеличилось количество таких элементов, которые прежде всего требовали, чтобы был положен конец бесконечным феодальным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже в тех случаях, когда в стране был внешний враг, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья» (Ф. Энгельс).

Созрела необходимость объединения разобщенных земель и владений под единой централизованной властью.

Централизация эта совершалась на феодальной основе. Земледелие продолжало оставаться главной отраслью производства, в нем была занята основная масса населения, находившаяся в подчинении у феодалов. Свободных крестьян было ничтожно ма-

ло. Ремесла и торговля тоже были скованы феодальными формами.

На Руси в XV веке возникновение централизованного государства связано было с ростом и укреплением крепостничества. Отсюда ведущие позиции класса землевладельцев — бояр и дворян в процессе складывания единого государства.

Вечевой Новгород не только не сумел возглавить движение разрозненных русских земель к единству, но даже не ставил перед собой эту задачу.

Республиканская форма государственности тех времен была жизнеспособной только в условиях феодальной раздробленности. Не случайно поэтому существование феодальных республик возможно было именно в XII—XIV веках.

Единственной политической силой, способной возглавить объединение русских земель в XV веке, была власть московского великого князя.

Ф. Энгельс подчеркивал, что королевская власть являлась «представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению...».

Пятнадцатое столетие было временем возникновения централизованных государств на всем Европейском континенте. Неизбежным следствием этого было поглощение республик соседними, более сильными монархическими государствами.

Изнутри крушение феодальных республик в XV веке было подготовлено развертыванием классовой борьбы против олигархического управления государством. Борьба народных масс хотя и носила стихийный характер, объективно содействовала централизации.

Пятнадцатое столетие, разрушив традиционные средневековые торговые связи, переориентировав торговлю на обеспечение потребностей внутреннего экономического развития, ослабляло республиканские государства Венецию, Геную, Ганзу, в той или иной степени связанные с посреднической торговлей.

Пятнадцатое столетие стало трагическим для многих европейских феодальных республик.

Генуэзская республика, потерпевшая поражение от Венеции в 1380 году в битве при Кьодже, неоднократно на протяжении столетия оказывалась под властью иноземцев.

Венецианская республика в XV веке потеряла многие свои владения на Средиземном море, и ее торговое могущество ослабло. Подобно расточительному наследнику, она продолжала существовать за счет накопленных богатств. Республиканское управление просуществовало здесь до наполеоновских войн только в силу незавершенности процесса политической централизации в Италии.

Со второй половины XV века наметился упадок Ганзы — торгового объединения независимых городов-государств Балтийского побережья. И хотя формально Ганза просуществовала до 1669 года, ее политическая судьба была решена в XV столетии.

В 1456 году Новгородскому государству со стороны Москвы было сделано первое серьезное предупреждение. Великий князь Василий Васильевич Темный, отец Ивана III, одержав победу в тяжелой феодальной войне и окончательно утвердившись на Москве, совершил поход против Новгорода. Столкновение с Москвой уже тогда обнаружило военную слабость Новгорода. Его многочисленное ополчение не смогло противостоять небольшому, но искусному и закаленному войску Василия II Васильевича. Новгород вынужден был уплатить громадную контрибуцию и признать московского князя как верховного сюзерена республики.

К середине XV столетия стало очевидным, что время самостоятельности Новгорода подходит к концу. Это понимала и новгородская боярская верхушка. «Госпóда» прекрасно сознавала, что она уже не в силах сохранить свои политические позиции. И стремилась сохранить хотя бы земли. Сохранить любой ценой.

Боярская олигархия уже тогда прикидывала, с кем выгоднее быть: с Москвой или Литвой? Выбор был ограничен. Отдаться под власть Ивана III значило объединиться с Великороссией; перейти к Казимиру — порвать с Русью. Союз с Москвой сохранял православие; коалиция с Литвой порождала угрозу не только со стороны униатов, но и непосредственно со стороны католического Рима. Подчиниться Москве — безусловно, лишиться столетиями нажитого багажа политической власти и малая степень вероятности сохранить землевладение в нетронутом виде. Угроза московских «выводов» витала над новгородскими землевладельцами. Перейти к Казимиру — повысить шансы не только на сохранение цельности земельных владений, но и на возможность участия в политической жизни: власть польского короля и литовского князя все-таки была ограничена шляхетским сеймом.

Новгород раскололся. Оппозиция Москве была активной и действенной, она добилась не только приглашения из Литвы потомка киевских князей Михаила Олельковича, но и одобрения вечем союза Новгорода с Литвой. Договор означал полный разрыв с Москвой и переход под власть католической Литвы, хотя и с сохранением (это специально оговаривалось соглашением) традиционного православия.

Для Москвы наступил решающий момент. Реакция Ивана III была молниеносной.

Весной 1471 года великий князь объявил о начале войны. Походу на Новгород Иван III придал характер защиты общенациональных интересов от якобы впавших в «латинство» (католичество) новгородцев, хотя сохранение в Новгороде православия и оговаривалось особым соглашением с Литвой, и в Москве об этом знали. План военных действий предусматривал изоляцию Новгорода от жизненно важных районов республики.

Новгородское боярство оказалось в политическом вакууме. Псков был в союзе с Москвой. Казимир увяз в венгерских делах. Ливонский орден занял позицию дружественного в отношении Москвы нейтралитета. «Простая чадь» неохотно шла в ополчение: «литовцам» приходилось либо загонять ее силой, либо распалять демагогическими призывами, либо играть на полулегендарных воспоминаниях о былой «вольности».

14 июля 1471 года на реке Шелони произошло сражение. Победа Москвы была полной. Одновременно было сломлено сопротивление новгородцев в Двинской земле. Казнь в Русе виднейших вожаков «литовской партии» вызвала дезорганизацию новгородской правящей верхушки.

Казалось бы, в этих обстоятельствах Иван III, диктуя условия Коростынского договора 1471 года, мог одним росчерком пера покончить с республикой. Однако великий князь «нашел нужным разыграть внезапную умеренность. Он довольствовался выкупом и признанием своих суверенных прав, но в текст акта о подчинении республики он ввернул несколько двусмысленных слов, которые его делали верховным судьей и законодателем республики» (К. Маркс).

Сохранив «призрак» свободы, Иван III продлил агонию Новгорода. За действиями тридцатилетнего князя стояли трезвость политического расчета и холодная логика государственного деятеля, сознание своей силы и учет потенциальных возможностей умирающей республики, которая в последнем порыве еще могла вспомнить и Невскую битву, и Ледовое побоище, и Раковорскую победу.

Расчет Ивана III полностью оправдался. Шесть с половиной лет, отделяющие Коростынский договор от зимнего похода Ивана в 1477—1478 годах, были временем постепенного умирания Новгородской боярской республики, завершившегося ликвидацией «призрака» новгородской свободы. Трудно говорить о какой-либо политической линии новгородского правительства в этот период бессмысленного метания из стороны в сторону. Только страх перед взбудораженными массами вечевого города удерживал новгородскую верхушку от немедленной капитуляции. Поход Ивана III помог прекратить существование феодальной республики.

В январе 1478 года произошло политическое объединение северной Великороссии с ее центром, взявшим на себя инициативу создания единого Русского государства.

Великие события неизбежно порождают великие легенды. С крушением Новгорода связаны многие мифологические сюжеты. Вседержатель с распростертой под куполом Софийского собора рукой; плачущие иконы в новгородских храмах; разбитый вечевой колокол... Знамения, пророчества, видения... Михаил Клопский, Зосима Соловецкий, Марфа-посадница... Легенды и реальность переплетаются, создают причудливый исторический узор.

Легенда о Марфе-посаднице, последней защитнице новгородской вольности, была создана триста лет спустя, в XIX столетии, писателями-романтиками, превратившими новгородскую боярыню в демократку, отдавшую все для сохранения и укрепления республиканского строя. Карамзин считал, что «вольность и Марфа одно знаменовали в великом граде». Легенда? Реальность? Вероятнее всего, легендарно-исторический узор, настолько поэтичный, что до сих пор волнует воображение.

Сначала история. Сведения о жизни Марфы крайне скудные. Происходила она, по некоторым данным, из новгородской боярской семьи Лошинских. Родилась, вероятно, в первой четверти XV века, поскольку в 1478 году у нее уже был внук. Мужем Марфы был Исак Андреевич Борецкий, новгородский степенный посадник 30—50-х годов XV столетия. У Борецких было два сына — старший, Дмитрий, и младший, Федор, с малопривлекательным прозвищем Дурень — и две дочери.

Борецкие принадлежали к родовитейшей аристократии Неревского конца. Их боярские палаты («Чудный двор») стояли на левом берегу Волхова, недалеко от детинца. Сюда стекались громадные доходы из владений Борецких, разбросанных от Белого моря до Селигера. Десятки тысяч зависимых людей, тысячи сел, соляные варницы, охотничьи и рыбные промыслы, торговые ряды делали Борецких одной из богатейших семей Новгорода с колоссальным влиянием на политическое управление боярской республики. В 60-е годы XV века, после смерти Исака Андреевича, его старший сын Дмитрий Исакович по наследству становится посадником. Оставшись вдовой, Марфа сохранила в своих руках управление громадной боярской вотчиной. Впрочем, пример Марфы для Новгорода не был единичным: Оксинья Есипова и Настасья Григорьева, подобно Марфе, наследовали своим мужьям.

Была ли Марфа главой московской оппозиции в Новгороде?

О степени вероятности можно судить по тем пирам, на которые собирались в доме Марфы Ивановны сторонники Литвы. На одном из них побывал и соловецкий игумен Зосима. Сын Марфы Дмитрий Исакович был в составе новгородского посольства, направленного польскому королю и великому литовскому князю Казимиру. Дмитрий и Федор Борецкие сражались в новгородских полках, противостоявших войскам московским. «Послужной список» Борецких выразителен и подробно представлен в романе Д. Балашова. Но не менее показательным он был у других новгородских боярских семейств. Например, у Офоносовых.

Летописцам о политической деятельности Марфы ничего не известно. Мы ее знаем по «Словесам избранным» — памятнику московских книжников, по позднейшему житию Зосимы Соловецкого. «Посадничество» Марфы вообще поздняя легенда. Вечевая организация Новгорода не допускала женщин к официальным должностям в республиканском управлении. Несомненно, Марфа была женщиной умной, энергичной и властной. Иначе вряд ли московские публицисты XV века обрушивали бы свой сарказм на Борецкую за ее действия против великого князя. В своих сочинениях они сравнивали Марфу с самыми нелицеприятными женскими персонажами ветхозаветной и новозаветной истории.

Разумеется, приверженность Борецкой вечевым порядкам никаких сомнений не вызывает. Однако в основе этой приверженности лежала не столько идея свободы, сколько классовые интересы — боязнь лишиться громадных земельных владений. Кроме того, столкновение с Москвой обернулось для Марфы Борецкой и глубоким личным горем: в Шелонском сражении 1471 года был пленен, а затем и обезглавлен ее сын, посадник Дмитрий Исакович. В 1475 году схвачен был младший сын, Федор. Не исключено, что в антимосковских акциях новгородцев в 1475—1477 годах роль Борецкой становится более определенной: борьба с Москвой стала для Марфы личным, кровным делом.

XV столетие в русской истории с его глубочайшими социальными конфликтами постоянно привлекало внимание отечественных историков и публицистов — В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, Н. И. Карамзина, С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, В. О. Ключевского, декабристов, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, советских исследователей Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, А. В. Арциховского, В. Н. Бернадского и других.

XV столетие с его поистине шекспировскими сюжетами и страстями и сегодня привлекает исторических романистов в их

стремлении опытом истории выявить непреходящее, гуманистическое в этом опыте, раскрыть в прошлом социальные и социально-духовные предпосылки нашего нынешнего интернационального единства.

В сегодняшней исторической романистике роман Д. М. Балашова «Марфа-посадница» привлекает напряженностью политической борьбы за объединение Руси, становящейся Россией.

Роман Дмитрия Балашова построен на контрастах. Иван III и Марфа Борецкая. Церковники и еретики. Нарождающаяся монархия и дряхлеющая феодальная республика. Москва и Новгород. Из столкновения противоположностей рождается конфликт. Автор стремится в своем романе воскресить минувший век во всей его исторической истине, показать всю сложность процессов, определивших дальнейшую судьбу России.

Достоверность повествования Дмитрия Балашова определяется счастливым сочетанием художественного таланта автора и пытливостью ученого. На исторических полотнах, тщательно и любовно выписанных Балашовым, даже профессиональному историку порой трудно уловить неверный мазок. Впечатление достоверности усиливается масштабностью исторической панорамы. Автор не мельчит, он пытается объединить отдельные эпизоды в целостное художественное полотно. Его историческая картина при всей многофигурности и многосложности едина по композиции. Произведение Балашова наполнено реальными людьми, реальными историческими событиями, достоверностью жизни.

И если все-таки в сочинении Д. Балашова допущены некоторые неточности, то объяснить позицию автора, по-видимому, можно только стремлением к сюжетно-композиционному уплотнению событий. Восприятию трагедии это не мешает. Владея историческим материалом, представляя его в полном объеме и масштабности, находясь в курсе старых и новых концепций русской истории XV века, неоднократно подчеркивая закономерность краха боярской республики, Д. Балашов все-таки не удержался от соблазна представить падение Новгорода не как неизбежность общеисторического процесса, а как результат «предательств новгородского дела... больших и малых, тайных и явных...».

Создается двойственное впечатление: историческая истина за Москвой — это подчеркивает и сам Д. Балашов, но в то же время он объясняет падение новгородской вольности предательством боярской и церковной верхушки. Даже если употреблять авторскую терминологию, то предательство совершилось не в 1470 году и не Зосимой Соловецким, не Захарией Овином, а значительно раньше: тогда, когда новгородское боярство предало идею республики, когда олигархия восторжествовала над вечем.

Измена коренилась здесь. А позднейшие события — только отражение ее.

Возвращаясь к впечатлению от конфликта, изображенного в романе, конфликта трагического и страстного, невольно ловишь себя на сочувствии к Марфе и на неприязни к Ивану III. Едва ли это исторически оправдано.

При всей намеренной беспристрастности у Балашова проступают ностальгические картины «новгородской вольности». Это ощущается в том, как выписаны центральные фигуры. Страстная, живая, лиричная Марфа заслоняет холодный, расчетливый образ Ивана III. Марфа реальна и в передаче Балашова чем-то сродни суриковской боярыне Морозовой: та же фанатичность. Иван III расплывчат, аморфен, в нем отсутствуют черты грозного правителя, каковым он был для современников.

Романтическая идеализация Марфы, ощутимая у автора, на наш взгляд, может привести к нарушению исторической достоверности в вопросе о том, как расставлены противоборствующие силы внутри Новгорода, где на одном социальном полюсе Борецкие и Овины, Немир и Глухов, Гагины, Берденевы — «цвет города», роды старейших боярских фамилий, «старейших посадников и тысяцких, маститых держателей и вершителей судеб господина Новгорода», а на другом — косторез Конон, ткач Демид, разоренный свободный новгородец Иван, брошенный в самый низ феодального общества.

У первых — земли, богатство, власть; у вторых — «каждое пуло на счету». Первые мечтают все сохранить; вторым сохранять нечего, почти нечего, кроме сознания своей принадлежности к вечевому городу. А между этими крайними точками новгородского общества средние и мелкие землевладельцы — житьи, купечество, торговцы.

Специалисты-историки пока еще далеки от завершения политической и экономической характеристики каждой социальной категории Новгородской феодальной республики. И только оно, это завершение, может содействовать решению кардинального вопроса об общественной жизни Новгорода накануне его присоединения к Москве: определение социально-политического состава тех группировок внутри республики, которые тяготели соответственно к Москве либо были ее противниками.

В романе Д. Балашова — «литовская партия», «партия Борецких», сложна по своему социальному составу. Здесь и боярство, и житьи, и купечество, и разные слои духовенства. И это соответствует истине. Исследования советских ученых доказали, что схемы буржуазных историков, членивших по социальному признаку новгородцев на сторонников и противников союза с Москвой, не выдерживают элементарной критики. Попытка буржуаз-

ных историков определить «партийную принадлежность» руководителей различных новгородских группировок по территориальному признаку столь же субъективна.

Пестрый социальный и территориальный состав «боярских партий» накануне падения Новгорода генетически связан с историей классовых и межкончанских противоречий.

Безусловно, классовая борьба новгородского люда, направленная против господствующей боярской верхушки, в конечном счете способствовала падению боярского олигархического управления. Но нельзя не учитывать при этом живучести вечевых традиций в народных массах, располагавших тем самым хотя бы видимостью власти. Несомненно, что только взбудораженная масса населения вечевого города была единственной силой, которая в трагические дни декабря 1477-го — января 1478 года настаивала на сопротивлении войскам Ивана III и удерживала боярское правительство от немедленной капитуляции.

Д. Балашов прав в том, что «вечевой строй пронизывал сверху донизу всю организацию городской жизни. Торговля и ремесло, суд и школа, дела церковные и мирские — все было связано с вечевыми порядками и все подчинялось им. Да, хоть и позабрали себе бояре власть и земли, хоть и росли налоги, беднели граждане и все туже затягивалась та петля, все реже вече городское вступалось за горожан, но лишиться этого права, потерять само вечевое устройство свое черный народ Великого Новгорода еще и помыслить не мог. И океан всколыхнулся».

Расстановка сил внутри класса феодалов была более сложной, чем в романе. Безусловно, что и «московская группировка» внутри Новгорода была не менее пестрой по своему социальному составу и не менее активной в своих политических действиях. Однако в романе Д. Балашова сплоченным рядам «сторонников Борецких» внутри Новгорода противостоят лишь отдельные деятели московской ориентации: Феофил, Захария Овин. Цельность картины нарушается. Сложнейший социально-политический конфликт сводится к борьбе «литовской партии» с Москвой.

Подобный акцент в расстановке сил в романе приводит, на наш взгляд, к более существенному нарушению его исторической достоверности: в оценке объективности процесса включения Новгородской республики в состав Русского государства.

Борьба сил централизации с силами сепаратизма переосмыслена у автора как конфликт великого князя с вечевым Новгородом.

Подобный подтекст не нов. Он характерен и для дореволюционной историографии, и для исторической беллетристики. Он в ограниченности политической мысли летописца XV века и в романтической идеализации демократической литературы XIX ве-

ка. Он в герценовской формуле: «Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни». Подобная концепция определялась не столько исторической закономерностью, сколько политическими тенденциями XIX века, борьбой с самодержавием.

Однако уже для А. И. Герцена первоочередная заслуга Москвы — в «спасении России». В этом, как подчеркивает советская историография, смысл борьбы централизации с сепаратизмом в деле объединения Русского государства. В романе же Д. Балашова эта оценка роли Москвы практически отсутствует.

Присоединение Новгородской земли к Московскому княжеству было не падением Новгорода, а крушением боярской новгородской олигархии. Конечное поражение новгородских бояр в их борьбе с объединяющейся Великороссией было исторически неизбежно. Оно определялось общими закономерностями исторического развития Великороссии, приводившими к ликвидации феодальной раздробленности. Московский князь боролся за единство Руси. Новгородские бояре отстаивали изжившую себя феодальную раздробленность.

Известный советский историк В. Н. Бернадский, наиболее подробно исследовавший процесс объединения Новгорода с Москвой, показал закономерность крушения феодальной республики и глубокую прогрессивность акта присоединения Новгорода к Русскому государству: «Победа великого князя над новгородским боярством была победой нового порядка над изжившей себя стариной. В 1478 году произошло политическое объединение северной Великороссии с ее центром, взявшим на себя инициативу в создании объединенного Русского государства. В этом огромное историческое значение событий 1478 года, важнейшей вехи в истории образования объединенного Русского государства. Присоединением северной Великороссии был разрешен главный вопрос русской политической жизни XV века. Политическое объединение Великороссии отнюдь не означало ни гибели, ни экономического упадка северной Великороссии. Новгород перестал быть ее политическим центром, но жизнь Новгородской земли, вошедшей теперь в состав объединенного Русского государства, не только не остановилась, а стала развиваться более быстрыми темпами, чем при господстве боярской олигархии».

Обращение писателя к истории всегда специфично. Мы, читатели, приобщаемся к истории через восприятие автора. Ведь выбор исторических фактов, явлений, эпизодов осуществляется автором. Это он сплетает историческую ткань повествования. Это его языком говорят герои. Тем очевиднее необходимость личного обращения читателя к историческому источнику. Но это не перепроверка авторской концепции. Это соприкосновение с

самой историей. Оно при всем своеобразии не является первооткрытием.

Автор не бредет в потемках истории. Историография дает ему направление, которое ведет писателя в его странствиях по лабиринту истории.

Тем самым правомерно желание читателя соприкоснуться с писательской лабораторией, нащупать ту нить, которая может быть названа нитью памяти.

Стремлением в какой-то степени помочь читателю, распахнуть перед ним сокровищницу исторической памяти продиктована структура настоящего тома, в который, кроме романа Дмитрия Балашова «Марфа-посадница», входят публикации памятников древнерусской литературы, публицистика и историография.

А. С. Хорошев

Дмитрий Балашов

МАРФА-ПОСАДНИЦА

Роман

Посвящаю светлой памяти
моей матери, Анны Николаевны,
другу и соавтору,
с которой вместе сидели мы
над рукописью этой книги
в деревне Чеболакше осенью 1969 года

> Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России. Однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новагорода...
>
> Н. М. Карамзин

ГЛАВА 1

Золоченые верхи великого терема горели багряным огнем. Россыпями камения самоцветного искрились стекольчатые окна вышних горниц. У крыльца хохотала челядь, и плетеные расписные грифоны и змии тоже словно смеялись, разевая богомерзкие пасти.

Зосима стоял, наполовину утонув в густой тени, подбиравшейся к середине двора, и все еще медлил, не понимая того, что произошло. Грубый дорожный посох дрожал в руке угодника. Столько ждал он этого часа, столько раз мысленно, благословив великую боярыню, непременно вышедшую ради него на крыльцо, неспешно подымался в богатую столовую палату... И еще прошлой ночью, в жаркой молитве, не знамение ли привиделось ему, не знак ли то был тайный? И не оттого ли, не послушав совета осторожного онтоновского келаря, ни к кому иному, ни в палаты владычные, ни к тысяцкому, ни к степенному посаднику Ивану Лукиничу направил он стопы свои, а прямо сюда, к ней, к великой неревской боярыне Марфе. Мнилось: грозно ли брови сведет, упрекать ли станет, отречется ли от злонеистов-

ства слуг своих? Но чтобы так, так вот просто не принять, не пустить, не выйти?!

Он еще водил глазами по оконью, и посох дрожал в жилистой сухой руке, а наглый холоп уже двинулся на него грудью расшитой шелками рубахи, вытесняя Зосиму со двора. Как татя, как пса, как последнего нищего!

И тогда, в гневе и ужасе, что вот-вот руки раба рванут на нем посконную рясу, опозорят святое одеяние, Зосима закричал, грозя и проклиная златоверхий терем, тряся головой и стуча посохом. И холуй, сбычась, отступил на шаг, смутясь, не зная, как поступить.

— Недостойны вы мира моего! И прах ваш отрясу от ног своих! Истинно глаголю: отраднее будет в день судный Содому и Гоморре, нежели гордому дому сему!

Кто-то охнул, кто-то закрестился из баб, но молчали горящие закатным огнем вышние окна, и не хлопнула оконница, не отворилось окно в покоях боярыни — да и слыхала ли она?

— Отче! — боязливо позвал оробевший отрок.

К ним, через двор, решительно шел Марфин ключник в дорогом боярском зипуне, двое слуг поспешали следом.

— Отче, поидемо!

Круто поворотясь, так, что подол рясы хлестнул по ногам, и помавая головой, Зосима устремился вон из двора.

Ключник с холопьями, не отступая, молча следовал сзади. Зосима забыл о нем, заставил себя забыть, но другое притекло в сознание, когда за воротами вновь узрелось ему тьмочисленное кипение великого города. С высоты, в конце Великой, над хоромами, над верхами дерев, над шатрами деревянных и куполами каменных храмов увидел он золотоглавое и белокаменное громозжение Детинца, с граненой башней Евфимьевской *, в розовеющей пене новых церквей надвратных; и вышки, и гульбища боярских теремов, и лодейное на реке толпление, и необычайную густоту уличную... И на миг — себя, как бы со стороны, малого, бедно одеянного, забавно машущего руками у подножия знатного терема, середи шумящего моря людского, где холопы и те носят платье, не снившееся мужикам на далеком Поморском берегу.

Испытуя, пронзительно глянул на Данилу. Но отрок, коему угодник всегда был примером святости и

строгости отчей, сам испуганный невиданным доднесь многолюдьем и шумом градским, ответил ему обычным взглядом почтительного обожания, и это успокоило.

— Гляди! — строго велел Зосима, резко обведя посохом зримое и мало не задев прохожего горожанина. — Как древлии Содом и Гоморра, роскошью и многолюдством, и бесстыдной алчбой, и завистью переполнено, а паче гордыней! Все тлен, суета сует! Запомни: дни грядут, и близко уже, когда дома сего жители не изследят стопами двора своего, и житницы их оскудеют, и затворятся двери их, и паки не отверзутся, и порастет травою двор их, и будет пуст!

Зосима говорил нарочито, и Данило испуганно озирался, ожидая покоров, но проходящие едва взглядывали на них, редко кто с мимолетным любопытством, угадывая приезжих в старце и отроке, спускавшихся под угор, к пристани.

Дневные труды приканчивались, и лодейные мужики, распрямив натруженные за день спины, сгрудились у вымола, ожидая, пока старшой сочтет уложенные кули. Смолисто пахло от нагретых бревен. Лес был Марфин. Марфины были амбары с зерном, скорой, рыбой, дорогими мехами и льном. Марфины кули на лодьях. Марфины бочки с салом морского зверя громоздились на берегу. Марфины насады налезали смолеными носами на песок, и люди грудились у вымола, почитай, тоже чуть не все Марфины. Если бы не ключник, шедший следом... Оглянувшись, Зосима увидел, что следом поспешают два прежних холопа, а ключника уже нет. Видно, только вывел за ворота и тотчас поворотил назад — и это тоже было как заушение.

Сгорбясь, Зосима остоялся у соляного амбара. Соль! Сколько соли! Даже на земле просыпанная: две овцы, пихая друг друга лбами, подбирали белые крупинки с песка. Коза, выворачивая худую жилистую шею, тряся бородой и смертно закатывая глаза, грызла длинными желтыми зубами порожек соляного амбара, лихорадочно вылизывала шершавым языком исщербленную колоду — тоже норовила урвать малую крупицу Марфиной соли. Отрывисто дергался клок задранной козьей бороды, вымя болталось меж раскоряченных ног, как пустой мешок или как торба странствующего монаха, и Зосима, сглотнув невольную слюну, отворотился, уязвленный.

И в Поморье у нее амбары да варницы, и в Усть-

Онеге тож, и на том берегу, в Неноксе. И на Киж-острове соляной амбар. И рыбные ловища, и тони по Выгу, Суме, Сороке-реке, по всему морскому берегу, почитай! И на Кеми-реке тоже. А у святой обители Соловецкой? Сколько раз попервости они оба-двое с Германом * не чаяли дожить до весны! А лучше ли стало и потом, когда собралась братия? Многим ли одарила обитель боярыня Марфа? Ловища да леший лес на Терьской стороне, от Умбы на Кашкаранской наволок, дак поди доберись туда прежде! Кабы тоже, как она, не варили соль да не ловили семгу, чем и жить? Ближнее жительство в ста верстах от обители, и версты те не землею, а морем!

Их ли укорить корыстолюбием?! Монахи не за святою молитвою, а в парной едкой духоте у цренов, с изъеденными солью глазами, вечные споры о тонях, вечные пакости и ругательства слуг боярских, чем дальше, тем пуще: не ваши, мол, острова! Приходит ловить рыбу ота́й.

В тот год с трудами возведенная до полуоконья церква сгорела о полден, а как? Отчего? Не видал никто! Пришлось созидать сызнова, еле управились до снегов. Два игумена сбежали, не выдержав голода и холода. Последнего, Иону, тоже отступившегося сладкого игуменства соловецкого, он сам теперь привез в Новгород, отчаясь уговорить. Прочили они с Германом в игумены старца Игнатия, но братия заявила согласно: «Или ты, или никто больше! Аще ли не хощешь хиротонисатися в игумены, то разойдемся отсюду вси, и даси ответ богу за души наши».

Даси ответ богу! И труды, и годы... Тридесяти лет подвига! Назад пути не было.

А мечталось! Еще в Толвуе, в позабытом дому отцовом, добиться трудом духовным того почета и уважения сильных мира, коего не добился родитель в господинстве своем!

Тысячи поприщ покрыл он, и вот перед ним, на горе, столь же недоступен, как и прежде, терем Марфы Борецкой, владетельницы далеких островов.

Зришь ли ты, господи?!

Так страстно хотел чуда, так верил в то светлое, явившееся ему далекой зарей в восходящих от востока лучах: белый храм, простертый на воздухе, великий и прекрасный, что примыслил к неясному видению своему.

...Пресветлый храм, далекое утро, первое утро на

острове, сполохи играющие. А после, год за годом, что было? Мошка и комары, нашествие гадов, глад, стужа, темень и наваждения бесовские. Секли деревья, созидали кельи и варницы, ковыряли мотыгами землю, холодную, неродимую. И месяцами — бушующее неукротимое море, месяцами не зрели человечьего лица!

...Не подарят ему острова — и все разойдутся, и снова — он и старик Герман, немым укором невыплаченного долга мертвецу, блаженному Савватию *, о котором он было забыл. Срам! Дождался послания из обители Кирилловой! Надо было начать с перенесения мощей блаженного!

Но так самому (самому!) хотелось чуда! «Не было смирения во мне, и потому не сподобил меня чудес. Но и карая мя, справедлив ты еси, господи!»

Пусть.

Чудом будет обитель Соловецкая!

В мечте Зосима не заметил, как толпа мужиков придвинулась ближе.

— Цего он?

— Вишь, боярыня не приняла.

— Гневаетце!

— А хто таков?

— Угодник соловецкой, Изосим.

— Ну!

— Оська, поведай обчеству правду-истину!

Веселый чернокудрый мужик из вольных крепко обнял знакомого ему Марфина холуя. Тот дернулся было:

— Не трожь!

— Ништо, от мене не вырвесси, — играя голосом и щурясь, продолжал скоморошить мужик. — Поцто вы с Якимом-ключарем монаха прогнали?

— Не мы, боярыня! — угрюмо отзывался холоп, пыхтя, но не в силах вырваться из невольных объятий.

— Неужто? Побожись!

— Крест! Сама сказала: отчину нашу отъемлет.

— Каку таку отчину?

— Острова Соловецки... Пусти, однако!

— А ты не балуй, Потанька, — вмешался второй холоп, — Иеву Потапычу скажем ужо! Мы ить от его посланы!

— Дивно, свово богомольца не пожаловала!

— Как поется: «Стала наша теща зятьев провожать...»

Эх, старцу почет дают,
Два холуя от порога волокут! —

глумливо пропел веселый мужик. Кругом хохотнули.

— Марфе никто не указ! — дивясь и одобряя, громко сказал молодой парень в толпе.

— Все ж старец божий, грех! — раздумчиво отозвался на то пожилой мужик.

Зосима обвел очами оступившие вкруг косматые лица. То был наемный сброд, сироты и пропойцы, разорившиеся ремесленные и купецкие дети, худые мужики-вечники *, кого за полгривны наймуют бояра ради вечевых и судных дел своих, вольница новгородская, всегда готовая на гульбу и смуту, хватающая чужое добро на пожарах, а в прежние веки выкидывавшаяся в беспощадных ушкуйных походах * на Двину и в Поволжье, грабя Кострому, Ярославль, Казань, Нижний, а то и Сарай, столицу Золотой Орды, — не очень разбираючи, где свои, православные, а где татарские и булгарские купцы, — шильники, ухорезы, городская сволочь и рвань. Марфины люди жались посторонь, выглядывая из-за спин разгульной дружины.

— Бог указует и сильным! — сурово возразил Зосима, сверкнув взором. — Обидящий старца — Христа обидит, и от господа же восприимет кару свою! Обители и храмы устроили святые отцы на спасение роду человеческому. Во иноки из великих животов уходят, и от славы, и от всей прелести мира сего отрекаютце. И не ради корысти, а ради чистоты душевныя, ради молитвенного бдения еженощного! И моления возносят иноки о тишине и об устроении мира сего не ради сильных князей и бояр великих, а ради всех христиан православных спасения. Нет сильных пред господом, ему бо первее станут последние в мире сем, речено бо есть: «Блаженни нищие духом, яко тех есть царствие небесное, и блаженни кротцыи, яко тии наследять землю. Блаженни есте, егда поносят вам и гонют и лгут на вас мене ради — вы есте соль земли!»

— Гладко бает старец! — примолвил кудрявый. В шутке, однако, просквозило уважение.

— Постой-ко! Пусти! — донесся сторонний голос. — Христос не то заповедал! Он сам в миру жил... Пусти-ко! Апостолы в светлых ризах ходили... Раздайтесь, православные! — взывал спорщик, проталкиваясь к Зо-

симе. — Павел-апостол рек: «Вступайте в брак, а не блудите беззаконно!» Пусти, отдай!

Из толпы вывернулся наконец в рваном зипуне, седой, клочкастый, суховатый философ («Расстрига!» — неприязненно подумал Зосима) и, оттолкнув чьи-то пытавшиеся его сдержать руки, кочетом налетел на угодника:

— Кто дает в монастыри, тот зло деет, откупаютце! От бога не откуписсе! Не про вас ли то, мнихов, сказано: «Горе вам, книжницы и фарисеи! Затворяете царствие небесное человеком, пожираете вдовиц достояния, лицемерныя моления долгая творите»?! И обряды тэ тлен, бог внутри нас! Зри в святом благовествовании от Матфея о молящихся в сонмищах и на стогнах... — кричал философ. — «А ты, егда молисся, вниди в клеть свою и, затворив двери, помолись отцу твоему втайне», — то сам Иисус сказал! А днесь уже Христос на земли церкви не имат, зане вы, мнихи и священници, на мзде ставлены!

— Ложь! Ересь стригольническая! * — возопил Зосима. — И Иисус Христос ходил в многия домы с учениками своими, учил истинному слову и благоразумию, чудеса многая сотворяюща, и принимал от тех же доброхотные даяния и честь многу! И сам, сам паки рече: «Яко с вами есмь, до скончания века!»

— То-то ты скончанием века народ пугаешь! Еще поглядеть, кто еретик! Во исходе седьмой тысящи лет мира конец предрекаете, а Иисус сказал: «О дни же том и часе никто же весть, ни ангелы небеснии», вота как!

— Прелесть змиева! Священници — апостолы христовы! А кто без поставленья учит... В геенне огненной! Дьявол!

— Дьявол в человецех части не имет! Хочет добра человек — добро, зла — зло. Душа самовластна, верой утверждаетце!

— Еретик! Ересь богомерзкая! Лжа! Лжа! — вопил Зосима, замахиваясь посохом.

— И то лжа?! — подступал седатый философ, сжимая кулаки. — А подобает инокам волости и селы со христианами за монастыри брати, сбирать мзду и всякая многоценная себе на потребу, пить слезы христианские? Аспиды несытые! В боярах такова свирепства и ярости и то мало будет! Христос вам заповедал не заботиться о дне грядущем, жить от трудов днев-

ных, вота, как эти мужики, сии тружающиеся, в поте лица, а вы?! Вопиет к богу грех священнический и иноческий!

— По апостолу, по апостолу сие! Церковницы церковью питаются. Кто бо, насади виноград, от плода его не яст ли, или кто пасеть стадо, от млека стада не яст ли? — гремел в ответ Зосима. — Нечестивец! Расстрига! Вот ты кто: расстрига, убеглый! Хватай его!

Уже Марфины холопы шевельнулись было, нерешительно взглядывая то на угодника, то на остолпившую его вольницу, но тут второй мужик, вылезший из толпы, видно, приятель философа, вмешался наконец:

— Пусть его, оставь, Козьма! Привяжутце, до духовного суда доведут, насидиссе! Идемо!

Распалившийся философ еще упирался, но товарищ силой, ухватив за плечи, вытащил спорщика из кучи мужиков.

— Пропадешь, Козьма, и мене с тобой пропасти будет!

— Пусть, — кричал тот, уводимый от греха, — пусть и боярыня Марфа послушает!

— Добро бы сама, а то ключнику доложат, она и не узнат, а я работы лишусь из-за тя...

— В прежние веки никакого опасу не было у нас, в Новегороди, власти не страшились, сильным не кланялись... — остывая, бормотал философ.

— Дак чего говорить! В прежни веки! — горько отозвался приятель Козьмы, поправляя шапку на спутанных светлых волосах. — Правды нету в боярах, есть ли еще у великого князя на Москвы!

Сзади шумела толпа, по-прежнему возвышался грозящий голос Зосимы, продолжающего обличать отступников веры.

Мужики поднялись на угор. Та же картина открылась им, что смутила давеча Зосиму, но картина своя, привычная. И когда, подняв душное облако пыли с насохшей за день тесовой мостовой, мимо промчали верхами трое молодых красавцев в шелках и золотом шитье, на дорогих скакунах, что храпели, выгибая лебединые шеи, и с опора завернули в расписные ворота Марфина двора, то философ Козьма лишь покосился недовольно, закашлявшись, так и не разобрав, молодой ли то посадник, Дмитрий Борецкий, с приятелями или дурень Федор, младший сын Марфы, гоняет опрометью по людным вечерним улицам, грозя растоптать конем

зазевавшегося горожанина? А его спутник даже и не оглянулся, только вжался к тыну, пропуская коней, да, прижмурясь, отер рукавом пыль с усталого, в ранних морщинах, широкого плосковатого лица.

— Я вот цего хочу у тебя, Козьма, спрошать, — начал он, когда чуток улеглось бурое облако, поднятое копытами коней. — Теперича все про конец света говорят, что при последнем времени живем. Гляди: и глад, морове частые, и трусы, и потопы, и междоусобные брани — всё — уже въяве сбываетце. И что жить станет утеснительно — земли много, а жити негде людям, — и то так! А ты даве монаха укорил... Дак цто, будет ли конечь-то? И как тогда, вси погинем али как? Али избрании останутце! Богомольцы?

— Духовно надо понимать, Иване. О сумраке божественного у Дионисия Ареопагита *, чти, а про звездное исчисление книга есть, глаголемая «Шестокрыл» *. При конце седьмой тысящи лет праведные восстанут, а злые и неправедные скончают живот свой зле. Мир же отнюдь не погинет, то — басни!

— Худо веритце...

— Дак прочесть можно!

— Ты вот грамотен, а я ить читаю по складам, не умею божественное разбирать.

— Чето ж мало учился?

— Не на цто мне!

— Писание разбирать каждый должон! — сердито возразил Козьма. — Батько-то знал грамоте?

— Батько знал... Дедушко у нас был грамотей, век на святых книгах сидел, да что с того? Все одно в кабалу идти пришлось.

— Ты ить мне не сказывал того.

— А, старое ворошить! До московськой войны летов за десять еще, когда деньги серебряные обманны лили *, дедушко-то наш сильно потерпел на том; да в та поры десять летов голодовали, хлеб был дорог в торгу, и того поскуду, а свой не родилсе, пришлось землю заложить. Долга не воротили по грамоте в срок, а как дедушко-то наш умер, в тот час ябедницы налетели, чисто воронá. Отец мыслил дело поправить, онтоновскую долю продать за долг, ан ту землю посельской великого боярина Захара Овина, распахав, заехал, все и отóбрали задаром...

— В суд-то подавали?

— Как же! Дак с сильным судись не судись — один

конец... Век, говорит, пахал. Ему, Захарию, и прозвище «Отвине» — ото всякой вины отопретце. В суд-от своих доводчиков не представить, всякой боярина боитце, а тот молодцов наймует, придут с наводкой к суду, мало не вся улица, тут попробуй судись! Да затянут того доле, и концей не найдешь. До того досудились, и остатнюю землю, что было, полторы обжи, и то потеряли, и остались ни с чем. Нет уж, на сем свети правды николи не добитьце!

Разговаривая, мужики спустились по Великой и, не доходя до церкви Сорока мучеников, свернули направо, огибая Детинец. Иван торопился к себе, в Людин конец, а Козьма, которому надо было через мост, на Славну, увязался провожать приятеля: дома философа не ждал никто. Ближники, вся семья, погибли от мора четыре года назад. Оставшись вдов, он покинул службу (Зосима угадал-таки в супротивнике лицо из духовного звания) и с тех пор жил случайными заработками, проповедуя всем, кому мог, евангельское учение.

Межулками мужики вышли на Яневу улицу, Иван развалисто, но быстро шагая, Козьма петушисто подскакивая на ходу.

— Взглянуть бы только на райское житье, где нашему брату легота, а тогда и помирать не страшно, — говорил Иван.

— Рай тоже духовно понимать нужно, в мечте. Телесными очами его не узрети, — отзывался Козьма.

— Не скажи! — возразил Иван, оживляясь. — Я вот слыхал, где-то на Студеном мори, бают, находили мореходци рай, людем явлен. Мне о том Прохор Скворец сказывал, а ему дедушко, а дедушко еговый в Неревском концы от старых людей слыхал, что и сами на Белом мори бывали, а те от прадедов слышали, и так и идет... А видели тот рай, сказывают, Моислав новгородец и сын его Яков, неревчане тож. Они с полуночными народами торг вели, по всякой год по морю хаживали. И шли одночасьем на трех юмах, а в поветерь, об осённой поры, припоздали, тёмно время уже. А тут погода пала, морок, зги не видать, заверть: то всток, то подсиверик ударит, одну юму опружило у их, кто тамо был — только рука махнулась, и не видали больши. А тех две юмы отбило от всех берегов и долго носило море ветром, не чаяли живы быти. Блудили не по один день, и принесло их к высоким горам. А над горами сияние, сполохи играют, солнца не видать, а паче солн-

ца светло. И гора высока, а на горы Спасов лик лазорью написан нерукотворенно... Одной лазорью! Так и сияет! И на горах ликование слышится, и поют дивными гласами. Невидимо ликуют и поют. Они одного друга свово послали на гору ту, поглядеть. И он, как взошел на гору, так руками-то всплескал и засмеялся, и побежал туда, на голоса ти. Они дивились да другого послали, наказывали: воротись, скажи, цто тамо? И этот тоже руками всплескал с великою радостью и побежал, и не видели больши. Ну, на их страх напал, и поити не смеют, и вера им узнать, что за светлость такая на горы? Дак третьего запосылывали и привязали ужищем за ногу, чтоб не ушел. А тот тоже всплескал руками-то да побежал по горы, в радости забыл и про ужище на ноге. А они его сдернули за ужище вниз, зрят — а он мертв... Ну и побежали оттуду на корабли вспять, не дано им было, значит, рая того видеть... А кабы вси пошли, думаю, дак и никоторой не воротилиси!

— Эх, Иване, Иване, — помолчав, отозвался Козьма, — чего ты рассказал, о том преже архиепископ Василий писал к тверскому владыке Федору, «Послание о рае» прозываетце *.

— Вот видишь! — живо подхватил рассказчик. — Стало, люди не врут! Владыко Василий, он знал! Каликой за то и прозывался, во Святу землю сам хаживал, гробница его во святой Софии!

— Не то говоришь, Иван! — прервал Козьма, морщась. — Люди, когда умирают, душа ить одна идет к богу-то, а тело в земле гниет. Как же можно с этим-то смертным телом нашим рай увидеть?! И рай, и ад — телу нашему они недоступны суть, их духовно понимать надо!

— Это как же так — в мечте? Выходит, и там Захария Овин уцелеет! Нет уж, пусть он въяве помучитце в геенне огненной, черти в котли поварят. К им туда уж он с наводкой не придет!

— Эй, мужики! — донеслось сзади. (И к счастью: начавшийся спор едва не перешел в ссору.)

Приятели оглянулись. Спеша межулком, их догонял давешний чернокудрый веселый мужик.

— Никак, Яневой шли? А я-то огрешилсе, думал, от Розважи на Великой мост поворотят, опосле смекнул, что Ванята не инуду как домой — его от Нюркина подола зеленым вином не отманить!.. Ну, кто кому заливает: ты ле, Козьма, али Ванята? Жаль, старца не дослушали,

про свой монастырь Соловецкой сказывал, красно бает! Поди, о сю пору розливаетце еще. Марфины-ти все уши розвесили, я уж побег вас догонять. Дак о чем толковали?!

— Я Козьме про рай сказывал, ты знаешь... — внезапно зарозовев, как отрок, отвечал Иван.

— Врут, должно! — легко отвечал балагур, прищуриваясь, и, вздохнув, не то усмехнувшись, добавил в шутку ли, взаболь: — Нам того рая видать, как свиньи неба. В греху, что в полове, сидим. Монах, тот увидит! Не нашей братьи кость, тоже из бояров, видать по всему. А ентим вон и рая не надоть! — присвистнул кудрявый, подмигивая.

На выходе из межулка, прячась в тени старого, с прозеленью, тына, стояли двое: девица в алом косоклиннике кутала розовое смеющееся лицо в шитый травами плат, и молодец щеголь в зеленых востроносых сапожках распахнутою епанчою загораживал красавицу от сторонних глаз.

— Эх, девка, малина-ягода! Валяй, не жалей! — прокричал кудрявый и еще оглянулся, ловя девичье смущение и свирепый взгляд щеголя. — Боярчонок, видать по всему! Беда девкам. От одних сапогов голова кругом пойдет!

Козьма тоже поглядел скоса, сдвинул сухим кадыком, сглатывая набежавшую слюну, и сник, свесил голову. Разом расхотелось спорить. Вспомнил пустую хоромину свою... Прошла молодость, прокатилась, не воротишь!

Пройдя еще немного, он вдруг резко остоялся, махнув рукой:

— Ну, прощевайте, мужики, мне на Славну!

— Дак... Чего ты? Идем! Нюра не зазрит, поснидашь с нами?! — дивясь, оборотился Иван.

— Ни. Дело есть!

И, утупив очи в землю и не оборачиваясь более, Козьма быстро зашагал прочь.

Потанька-балагур аж присвистнул:

— Ай девка обожгла правдолюбца нашего?! Старый конь...

— Оставь!

— Да я ништо... А лют! Как он мниха-то!

— Кто, Козьма? Он лют! Да и учен, не чета нам!

— А монах свое дело знат, вишь, на морских островах вселилсе. Поди, его и Марфа не выгонит!

— На Студеном мори?

— Ну! От Сороки туда добираютце. Стужа велика! А богато: кто ни был, все с прибытком оттоль.

— Гибнут тамо! — усомнился Иван.

— А как же! — радостно подтвердил балагур. — Марфа, слышь, в очередную народ набират, ты к Прохору подкатись, хошь я, поставим ему пенного, пущай посылает в Заволоцкую землю?!

— Боязно, да и как Нюра... Дом кидать...

— Мотри! Век за жонкиным подолом не просидишь. А то по осеням, как воротятце неревские мореходцы, сходим к ним, потолкуем, а? Слыхал, немцы нашего убили, у немецкого двора, лодейника с Торговой? Двор зорить уже хотели, дак все бояра за него горой! Торг, вишь, пострадает! А мы для их... Скучливо чегой-то становитце в Новом Городи! Ну, прощевай покуда, гости!

— И ты тож!

Балагур, насвистывая, свернул на Легощу, а Иван все шел да шел, не глядя ни на людей, ни на пышные боярские терема Прусской улицы, ни на белокаменную красоту Детинца, и думал. И думы его были всё невеселые.

— Придет ведь, опеть придет! — бормотал он сокрушенно, представляя веселую сытую рожу Наума Трифоныча, купца, которому задолжал по закладной. — Придет... И с долгом не торопит, паскуда, хочет терем откупить! А тогда куда ж? За город выбиратьце, в Юрьевские слободы, али в Лукинское ополье?

А как отдать прадедный дом! Подумать и то немыслимо! Анна дак с кажного его приходу — в рев. А не отдать... Оба бьютце, что куропти в сильях: лишь петля на шее тужее день ото дня. Все даром! От зари до вечера только и заработаешь себе на хлеб! Верно, что хошь к Студеному морю подаватьце...

Вечерело.

Часы на Евфимьевской часозвоне мелодично и громко начали бить, указуя скончание дню. Зачалось перезвоном маленьких колоколов, в которые влился, отделяясь, тяжелый удар и поплыл над Волховом; за ним, подождав, когда звук уйдет, второй, третий... Мужики, что задержались у пристани, примолкли, слушая.

Монах поднял суровое лицо, с невольным завистливым восхищением вбирая в себя похорошевший, украшенный новыми храмами Новгород, белокаменный и богатый. Берег уже весь оделся тенью, лишь по-прежне-

му ясно горели золоченые маковицы на кровле высокого терема Марфы Борецкой, куда его давеча не пустили холопы... Один из которых, впрочем, теперь мялся и скреб в затылке, всем видом изображая, что-де он бы и рад, да воля не своя! А другой, с простодушным удивлением глядя на чудно́го монаха, косноязычно бормотал: «Цтой-то тамо, на Белом мори...» — хотя и не решаясь еще о чем-то выспросить.

Но вот, благословясь у Зосимы, разошлись и Марфины люди. Холопья, о чем-то тихо споря вполголоса, тоже убрели в гору.

Небо меркло. Скоро на ясной, выцветающей голубизне смутно замерцают звезды и вохря́ная полоса заката похолодеет. Над рекою уже струился туман. От пристани отчалила лодья с последними людьми. Замерли удалявшийся плеск весел и бульканье воды, обегающей смоленые борта ёлы. Наступила тишина. На белом, тронутом желтизной, дымящемся зеркале Волхова ясно чернела одна только остроконечная скуфья монаха.

Со страхом и уважением (ему еще не доводилось слышать, чтобы настав́ник так много и так красно говорил при нем) отрок Данило, кашлянув, напомнил о себе:

— Отче, пора нам!

Сторож уже затворял скрипучие ворота невысокой приречной городской стены, что весь день стояли распахнутые настежь.

Зосима, очнувшись от дум, согласно кивнул. Сдвинули лодку.

Солнце уже скрылось за кровлями и вереницею куполов Звери́нца и посылало сквозь них прощальные гаснущие лучи на Торговую сторону, выхватывая то дватри слюдяных оконца на вышке терема, то купол и белую стену храма, меж тем как церкви и монастыри Неревского ополья, от Петра и Павла в Кожевниках и до Зверина монастыря, начинали сливаться в вечерней мгле. Четко вырезывался на закатной желтизне стройный очерк маленького Симеона Богоприимца, последнего творения архиепископа Ионы, поставленного им три года назад ради утишения гибельной моровой болезни.

С середины реки город казался еще необъятнее. Амбары и пристани, ряды бочек и горы леса тянулись по неревскому берегу аж до Хутыня, а на Торговой стороне уходили далеко за Онто́нов монастырь. И не чаялось конца теремам, храмам, кровлям, перемежающим-

ся огородами и садами, отходящего ко сну огромного города, яко древлий Вавилон не вмещающегося в пределах своих.

Так пышно цветет раннею осенью раскидистая роща, выметав и раскрыв в полный рост уже все ветви и все листья свои, и кажется она еще более прекрасной и гордой от золота, багреца и черлени — первых смертных печатей увядания.

— Богато у них тут!

Данило повернул к наставнику оживленное порозовевшее лицо. С удовольствием, сильно и ловко загребая веслом, он гнал лодку наискосок и вниз по течению, к неярко белеющему на той стороне Онтонову монастырю, где соловецкий угодник со спутниками получили пристанище.

Зосиму больно резануло, что парень отгадал его тайную зависть, а тот простодушно пояснил:

— Глень! Лесу-то сколь!

У Зосимы отлегло было, но тут Данило, того не заметив, тронул его с тем же искренним простодушием за самое больное:

— И монастырь богат! Не то, цто мы! Трои черквы камяны, и запасу, поцитай, на три годы. Тута бы жить! Уж толь красиво!

С новою обидой Зосима припомнил гордого ключника в дорогом зипуне, и седатого философа, чуть было не переспорившего его у перевоза, цветные стекла недоступного терема, амбары с солью, рваных мужиков на берегу и, разомкнув уста, прошептал:

— Глубоко вкоренилсе грех во граде сем!

ГЛАВА 2

«Да не застанет вас солнце на постели!» — писал когда-то, поучая детей, великий князь киевский Владимир Мономах.

Раньше всех подымаются хозяйки. Затемно топят печь, растолкав взрослую дочь: «Только по бесёдам и шастать, воды наноси!», задают корм скотине, доят коров. Прилежный мужик тоже не проспит зорю. Плеснув холодной воды на засмяглое со сна лицо и крепко утершись посконным рушником, с еще влажной бородой, перекрестясь на икону, берется за топор ли, сапожный нож, косу или тупицу, кузнечное изымало, клещи, пробойник, долото или ножницы — каждый по своему ре-

меслу. Повозник еще затемно уздает лошадь, заводит, храпящую, в оглобли, оглядывая светлеющее небо и настороженным ухом ловя скрип соседских колес: не выехать бы последи всех! Купец в сумерках уже у товара. Кто помельче, поспешает к торгу, неся всю свою кладь, пуда два, а то и три, на плечах, покряхтывая от натуги; побогаче — отпирает лавку, стро́жит приказчиков: «Зорю проспишь — и прибыль проспишь!» Такие, как Иван, затемно тянутся к вымолам, разгружать смоленые бокастые лодьи с товаром... И где там рай земной! Только поглядеть на диковины заморские, что привозят и увозят богатые гости.

Не заспят и в терему боярском. Из утра надо нарядить слуг по работам, принять и отправить обозы, проверить коней. Князь Мономах своего скакуна и чистил сам, не доверяя паробкам княжьим. Но всех раньше, быть может, встают монахи. В темноте ночной, еще чуть светлеющей бледно по краю неба, движутся смутною вереницей к церкви, на молитву, и стыд тому из них, кто проспит утреню. Рано встают на Руси!

Зосима уже не спал и был одет, когда на дворе ударили в било. Неодобрительным оком взглянул он на Иону — третьего неудачного игумена своего. Ходил вчера, а что выходил? И сам не хочет игуменствовать, и о хиротонисаньи Зосимы не урядил. Пастух стада святого, руководитель духовный... Никак отоспаться не может! Радости не чает, что сбежал от подвига назад, в Новгород.

Всегда к каждому из трех, сменявших друг друга соловецких игуменов — и к Павлу, и к Феодосию, и к этому, последнему — относился Зосима с почтительным смирением и с сокрушением неложным провожал их из монастыря. Но все яснее и яснее становилось и самому Зосиме, и всем прочим, что лишь ему одному и никому более по плечам сей груз, крест и искус руковожения братией соловецкой. Паки и паки смиряя себя перед пришлыми настоятелями, Зосима уже давно был вождем духовного стада своего и не мог им не быть. Не потому ли еще не выдерживали в монастыре приезжие игумены? И долг перед святою обителью Соловецкой достоит исполнить ему, Зосиме, и никому больше.

И вот, стоя под вековыми сводами высокого каменного храма, несколько позади и в стороне от местной братии, он молится о смирении гордыни своей: «Недостоин, господи, недостоин! Последний из грешников я,

что прибегают к безмерной доброте твоей. Прости и помилуй мя, господи, прости и помилуй!» И, просветленный молитвою, постепенно начинает чувствовать тот покой, в котором рождается упорство труда и подвига духовного.

К трапезе Зосиму нежданно пригласил сам онтоновский настоятель. Не очень разбираясь в сложных отношениях новгородской вятшей госпóды, Зосима, в простоте душевной, ожидал самое большее — сожалительного снисхождения к себе. Меж тем он был встречен так, словно вчерашнее позорище только прибавило ему почета. Знакомый келарь был тут же.

Настоятель радушно усадил Зосиму, сам придвинул ему блюдо рыбы, сдобренной иноземными пряностями, служка налил малиновой воды в тонкую серебряную чару.

В решетчатое окошко, слюдяные створы которого были распахнуты ради утренней прохлады, пахло от монастырского сада созревающими яблоками и вишеньем, терпким ароматом капустных и луковых гряд, укропа. Во всем были основательность и довольство: и в серебряных, с каменьями, дорогих крестах и складнях перегородчатой эмали, и в изысканной простоте трапезы, и в расчесанной, волосок к волоску, бороде настоятеля, его подряснике из лилового шелка, и в почтительности служки, подающего блюда. И Зосиме было неприятно, что все это неспроста, что к нему явно приглядываются и ждут от него чего-то... А что мог обещать он, еще даже не будучи хиротонисан и, значит, не имея прав распоряжаться имуществом своей обители, которая и самато просуществует ли еще? На чужой-то земле, гонимая и обижаемая мирянами! Соль? Много ли ее у них, соли той! Семга? Кабы боярские слуги не запрещали ловить! И потому он сурово нахмурился, когда келарь возгласил здравицу «грядущему игумену Соловецкой обители».

— Не сетуй, брат! — с легкой улыбкой изронил настоятель. — Малые монастыри вельми часто обижаемы боярами.

— Скорбим! — подхватил келарь. — Меж тем богатств не стяжают, не держат сел со крестьяны, кои колют глаза некиим, хулящим черноризцев и чин монашеский.

— Достоит тебе, брате, встретиться с Захарией Григорьевичем! — значительно произнес настоятель и взглянул на келаря. Тот опустил голову согласным движени-

ем, подтверждая невысказанный приказ настоятеля устроить встречу угодника с этим, как знал Зосима, богатейшим и самым влиятельным, после степенного посадника, бояриной Плотницкого конца.

Из дальнейшей беседы Зосима уяснил постепенно, чего от него ждут. Онтонов монастырь жаждал не просто получить какие-то преимущества в грядущих торговых оборотах Соловецкой обители, а и прикрепить юную обитель к себе, на правах младшего брата. Но почему они именно теперь завели этот разговор, после изгнания его со двора Марфы? И почему так уверенно говорят именно с ним?

Зосима еще не стал игуменом, еще не получил (и получит ли еще?) острова, а здесь уже начинаются хлопоты, и обитель святого Онтония торопится стать хозяином в Поморье... Да первая ли? И послание Кириллова монастыря касалось не одних лишь мощей блаженного Савватия, как-никак выходца из этой далекой Белозерской обители.

Ну что ж, бедному Соловецкому монастырю не обойтись без сильного покровителя! И Зосима в тех же окольных выражениях дал понять, что сам он, хоть и не удостоен пока высокой чести, но почел бы за счастье заступничество столь древней и славной обители, как монастырь святого Онтония. Он был искренен, и настоятель с келарем переглянулись удовлетворенно.

По окончании трапезы келарь увел Зосиму к себе, для душеполезной беседы, как выразился он. Впрочем, беседа пошла о вещах совсем мирских, в основном касавшихся того, к кому и в какой очередности должен являться Зосима в своих дальнейших хождениях.

Расставшись наконец с келарем, Зосима совсем было собрался уходить, как келарь прибежал снова, радостно-суетливый, и потащил Зосиму за собою, уже по пути объяснив, что им выпала редкая удача: Захария Григорьевич сам прибыл в монастырь, говорил с настоятелем и выразил желание выслушать Зосиму. Скорым шагом оба поспешали опять в палаты игумена.

Приближаясь, Зосима испытал невольный трепет, с некоторым опозданием припомнив, что Захарию Овина очень не любят на Софийской стороне, а в доме Марфы Борецкой — особенно. Однако передумывать было уже поздно.

Захария, расположившийся боком к двери, учуяв входящих, шевельнулся потревоженным медведем. Дрогну-

ла на темно-зеленом бархате оплечья толстая золотая цепь. Боярин сидел застегнутый, несмотря на жару, в тяжелом дорогом охабне с откинутыми и связанными назади рукавами. Продетые в прорезь верхних пышные рукава нижней рубахи с парчовыми, затканными серебром наручами были ослепительной белизны. Он медленно повернул голову, обозрел порыжелую рясу Зосимы, подумал и, когда уже угоднику стало невмоготу, неспешно поднялся ему навстречу. Зосима с облегчением поспешил благословить великого боярина.

Захарий с натугой склонил толстую шею, принимая благословение, одновременно зорко и тяжело (Зосима восчувствовал как бы груз внезапный) глянул в лицо угоднику, твердо сведя рот, обозрел, просквозив, и, дрогнув в недоброй улыбке двумя потоками старческого серебра по краям темной, лопатою, холеной бороды, изронил глухо, как бы нехотя и как бы не для Зосимы, а для себя предназначая:

— Что, Марфа уже и все Белое море под себя забрала? Торопитце! — Подумал, сощурился, добавил, уже не вопрошая, а утверждая: — Ни бог, ни Новгород не указ! — И в голосе, глухом и тяжелом, колыхнулась угроза, своя, давняя, на миг даже испугавшая Зосиму своей беспощадной глубиной. Впрочем, боярин тут же уселся, прикрыл глаза и иным, более добродушным голосом повелел: — Ну, сказывай! Какая беда на порог привела?

Слушал, чуть усмехаясь, переспрашивал с подковыркою:

— Соль варить не дает, говоришь? А много ль варите соли?

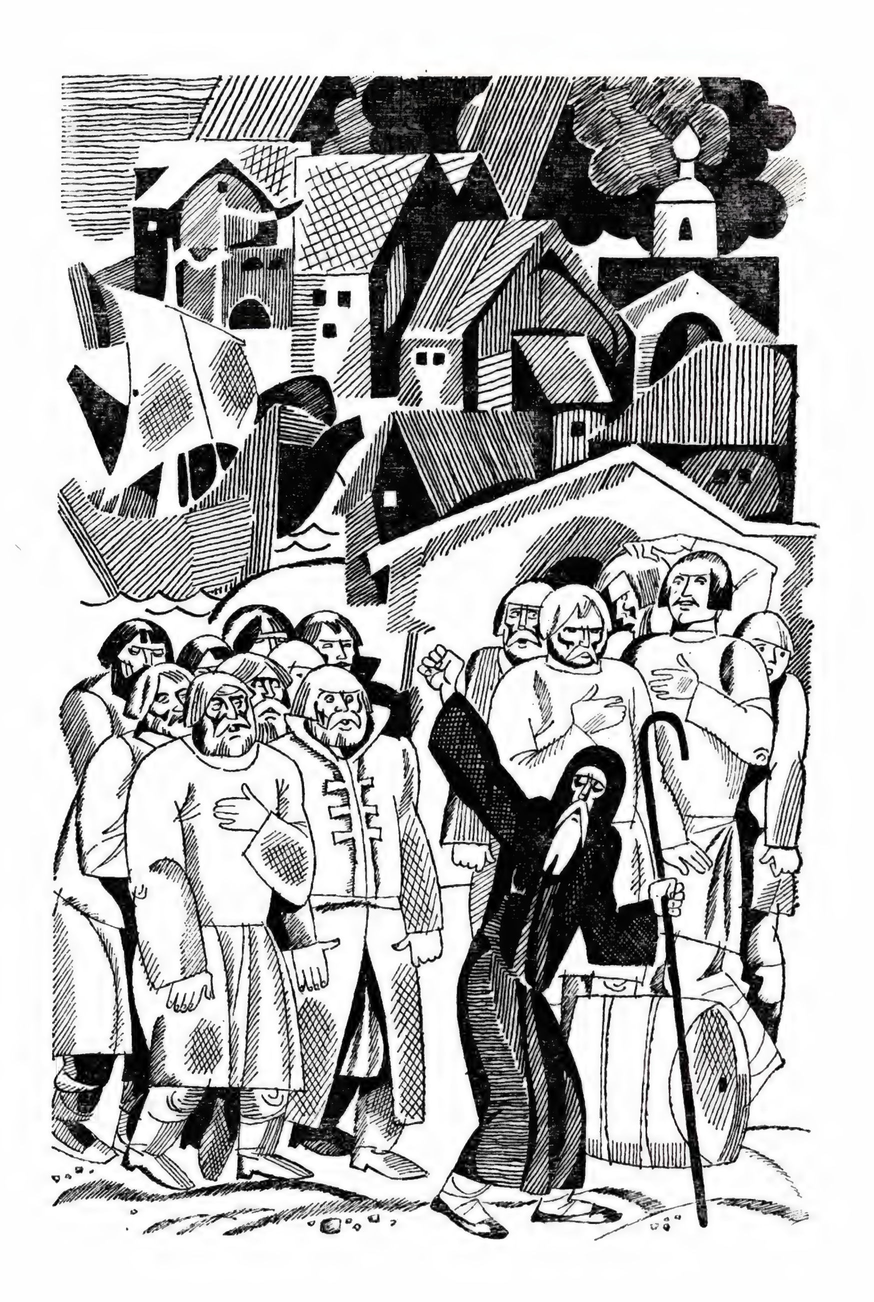
Выслушав, кивнул головой, сказал:

— Ну вот, пойдешь к Ивану Лукиничу, спрошай тамо, может, я чего не знаю, может, Марфа уже купила море себе ай Новгород еще хозяин своей волости? Ну а... других плотничан мы тут, с отцом настоятелем, уговорим!

Когда за Зосимой закрылась дверь, Захарий долго глядел ему вслед, после поднял тяжелые глаза на настоятеля:

— Думашь, твой будет? Смотри, не ошибись! Ну, ну... Ладно, пусть уж, коли не нам, так и не ей, а монастырю святому!

Помощь Захарии Овина была нежданной удачей, но Зосима не обольщал себя. Решал такие дела Совет гос-



под * во главе со степенным посадником, к которому он и собрался, не мешкая, в тот же час.

Путаницей межулков и улочек заполья и окраины Плотницкого конца, оглушаемый то металлическим звоном, то визгом пилы, то стуком топора или глухими ударами загоняемого клина, Зосима, сопровождаемый все тем же Данилой, меряя посохом иструшенные поверху, пересохшие бревенчатые мостовые, миновал наконец деловую тесноту Конюховой, Щитной, Молотковской и Маницыной ремесленных улиц и выбрался на Никитину.

Дым подымался ввысь сотнями завивающихся струй — из труб боярских теремов, из дымников, из открытых дверей поварен. А людей, людей! У Данилы глаза разбегались и уши закладывало от гуда, непривычного после северной пустынной тишины, сопровождаемой лишь однообразным рокотом моря да глухим ропотом сосен в ветреные дни. И люди-то разные, есть и чудны́е, видно, не нашей земли, в коротких штанах кругами, будто бабий, подоткнутый со всех сторон подол, в шапках того чуднее: вон у того как мешок завязан на голове и свисает сбоку на ухо, а впереди — перо! И ткань-то дорогая, видно, уж не от беды такую надел! А вон тот — в долгом, до пят, и все изузорено, а голова замотана как полотенцем, верно, из восточной земли, из Индийского царства, про которое еще в книгах пишется. Спрашивать Зосиму, который почти не глядел посторонь, Данило остерегался и только, раскрыв рот от изумления, торопясь, вертел шеей, заглядывая в настежь разверстые ворота усадеб, где кишела дворовая суета и виднелись вырезные, ярко расписанные крыльца теремов, одно другого затейнее, одно другого богаче. А каких коней, в каком дорогом уборе проводили иногда по та́кому двору! Узда вся в узорном серебре, седло — золотом жжено, попона — в жемчугах, в шитье... А рядом рваные рубахи, разбитые по́ршни: такой же народ, какой они видели вчера у вымола.

В одном месте их оступила разноголосо орущая орава ребятишек.

— Угодник, угодник! Юрод! — кричали они, заглядывая Зосиме в лицо.

— Ты откуда? — спросил один паренек Данилу без робости детской, так, что Данило подивился: в крестьянскую избу войдешь, дети жмутся за материн подол, а и на улице в деревне на незнакомого издали поглядят.

— Што тако тута? — не выдержав, спросил Данило Зосиму.

Тот взглянул мельком:

— Училище! — И, видя недоумение Данилы, пояснил: — Дьякона письму, да чтению, да пению церковному обучают малых, а как урок кончаетце, они и резвятся, дети! Несмысленны еще.

— Дак тута всех и учат? — удивился Данило.

— Доброму — смирению да послушанию, — кроме родителя и наставника духовного, не обучит никто. А без страха божия да родительска и грамота не в добро! — строго отвечал Зосима, и Данило замолк, побоясь вопрошать еще, а Зосима подумал про себя, что и там, на Белом море, не худо бы собирать юных для обучения чтению церковному и письму. К монастырю от того и уважение возрастет в мирянах, и прибыток в хозяйстве появится...

Никитину украшали недавно посаженные, но уже пышно распустившиеся тополя. Тут и дышалось легче. Вдали, под угором, открылся им опять Волхов, наполненный судами, и бело-розовый Детинец, блещущий золотою главой Софии, на той стороне.

Зосима остоялся, припоминая путь, наконец тронулся дальше, решительно свернув в ближайший межулок. Миновали еще два порядка хором, перебрались по мостику через ручей, наконец вышли на богатую улицу, где еще гуще росли тополя, еще выше подымались терема с гульбищами и вышками, крытыми цветной дубовой дранью. Зосима не сразу признал, что это Славкова, боярская улица Плотницкого конца, столько здесь всего настроили. Новая церковь белела, как сыр, а ближе нее подымалась новорубленая хоромина — вечевая гридница уличанская. Сюда уже доносился глухой гул, и топот копытный, и выкрики — шум великого торга новогородского. Но к торгу они не пошли, а, поднявшись выше, по Пробойной-Плотенской вышли на Рогатицу, где находилась вечевая палата для обыденных дел и где сейчас чаял Зосима встретить степенного посадника, Ивана Лукинича.

В палатах пришлось дожидаться. Зосима успел поговорить с русобородым крестьянским старостой из Подвинья, приехавшим в Новгород по поручению своего мира улаживать земельную тяжбу с боярыней Настасьей Степановной, и даже пригласил того к себе, в Соловецкий монастырь, поклониться мощам блаженного Савва-

тия, попутно намекнув, что монастырская соль станет тому дешевле боярской, которую они возят из Неноксы. Староста слыхивал о монастыре, а соблазненный солью, обещал непременно посетить обитель.

Наконец вечевой позовник с поклоном пригласил Зосиму наверх. Прошли под тяжелыми сводами, мимо железных, клепаных дверей хранилища грамот и казны, поднялись по каменной исхоженной лестнице в горние, рубленные из дубовых бревен покои. Впустив Зосиму, позовник тотчас вышел, прикрыв за собой дверь.

Иван Лукинич Щёка, маленький ростом, суховатый, нарочито просто одетый старик, в первое мгновение показался угоднику простецом. Негустая желтоватая бородка и редкие серебряные волосы, стянутые на затылке в узенький хвостик, обрамляли старчески темное лицо с прямым, чуть покляпым носом и унылыми складками, сбегающими от глаз к опущенным углам рта. Руки, сухие и морщинистые, в коричневых пятнах, были еще темнее лица, и лишь одинокий старинный золотой перстень с печатью на левой говорил о том, что это рука не плотника, а знатного мужа. Но как только Зосима, благословляя степенного, глянул ему прямо в глаза, усталые, мудрые и властные, обманное впечатление простоты разом исчезло и уже не появлялось более.

Пред ним был муж — и Зосима ощутил это, невольно вострепетав, — не просто привыкший властвовать за долгие годы посадничества, но как бы и родившийся с этим правом, впитавший власть с материнским молоком. Человек, шесть или семь поколений предков которого вот уже двести лет, то взлетая, то падая в вечевых бурях своенравной республики, но никогда не теряя посадничьих званий, правили Новгородом. Внук Василья Есифовича, правнук Есифа Захарьинича, праправнук великого плотницкого посадника Захарии... Муж, который уряживал дела с тремя великими князьями московскими, ездил к польскому королю Казимиру, правил посольства, руководил ратями, заключал миры и объявлял войны, старческими сухими руками и поднесь отводивший от Новгорода крепнущую длань Москвы. И его внешняя простота не хранила ли отсвет древнего величия, уже не нуждающегося в блеске украшенных одежд?

Пока Зосима, излишне волнуясь, излагал беды Соловецкой обители и ее скромные просьбы (в скромности которых он почему-то под властным взглядом внимать-

ных глаз степенного посадника начал уже и сомневаться), вошел молодой русый красавец с решительным, как бы огневым лицом. По обращению к нему Ивана Лукинича, назвавшего юношу Назарием, Зосима понял, что это именно тот вечевой подвойский, коего упомянул в разговоре онтоновский келарь, как «юного, но украшенного талантами и мудростию, како же отеческой, тако же и немецкия земли, понеже ездих и учахуся за морем, у немец». Человека, который, ежели захочет, как пояснил келарь, очень может помочь Зосиме.

Зосима осторожно попытался вовлечь его в разговор, но не встретил сочувствия. Назарий отнесся к нему без всякого интереса, сказал несколько слов Ивану Лукиничу про какого-то немца и вскоре вышел.

Сидел в палате, невольно смущая Зосиму, еще какой-то боярин, неизвестный ему и никем не названный, небрежно протянув вперед ноги в обшитых жемчугом мягких тимовых сапогах, большеносый, с выпирающим вперед бодливым лбом и хоть молчал, но явно взирал неодобрительно. На свою беду, Зосима не знал, что это был известный славенский боярин Иван Офонасович, по прозванию Немир, сват Марфы и ярый сторонник Борецких.

Иван Лукинич слушал речь Зосимы, обильно уснащенную высокой книжною украсотой, не прерывая и где-то внутри себя ощущая подступающую последние годы все чаще и чаще усталость, с невольным уважением дивился настойчивости этого, изгнанного Марфой Ивановной человека, упорно добивавшегося владения тем, что ему не принадлежит.

Монах не вызывал в нем сочувствия. Иван Лукинич был и сам крут, а порою и очень крут с расположенным частично на его землях Вишерским Николо-Островским монастырем. Не раз «сильно наступал» на земли монахов и уже вовсе бесцеремонно сгонял их со своих пожен и рыболовных угодий. Так что гнев Марфы Борецкой в этом случае он понимал вполне. Да и другие дела одолевали, поважнее.

Третьеводни эта ссора с немцами, ночная беготня и пересылки перепуганных ганзейских купцов, когда казалось, что черные люди разнесут немецкий двор в щепы... Кто там виноват в драке — темный лес, а допусти он самосуд, и налаженный с таким трудом мир, а с ним и торговля опять рухнут, и это перед лицом московской грозы! Конечно, жаль этого лодейника, убитого немцем.

Передают, и мастер был добрый. А на того рыжего детину из Любека, красноглазого, с воловьими ручищами, он не мог смотреть без отвращения. И уже проходили старосты двух улиц и от братства лодейников... Немцы откупились, конечно, дали виру, но по закону следовало бы судить преступника и посадить в железа, а то и казнить... Как это нелепо, что ради интересов градских приходится действовать противу своего народа!

А теперь с монахом будет замятня. Вмешается архимандрит. Не ко времени Борецкая затеяла все это! Трудно ли было обласкать старца, наобещать с три короба и услать назад, не солоно хлебавши. А сейчас, когда все силы уходят на то, чтобы собрать воедино перессорившихся бояр... Всегда Борецкие так, с рыву, с маху! Сколько сил потратил покойный Исак Андреич, чтобы выставить свой Неревский конец в Великие концы, увеличил посадничество, а чего добился? Оттолкнул славлян от общего дела, да и с Захарией ноне Борецкие урядятце ли?

— Мало нам возни с Клопским монастырем! — проронил сидевший у стены боярин. — То плесковичи отымали хлеб у святой Софеи *, теперича етот... Растащат весь Новгород!

Иван Лукинич взглянул на боярина живо загоревшимися глазами, мгновенно улыбнувшись, и Зосима понял, что вот-вот погибнет все его дело. Он уже не глядел в глаза степенному, а возразил (так было легче) охулившему его боярину, что-де обитель святой Троицы на Клопске основана московитами, шестниками, их же обитель, Соловецкая, корень свой ведет из природных новгородских земель. Тут Зосима смиренно добавил, что и сам он, в миру, родом из Толвуя, тамошних бояр недостойный отпрыск. Что же касается нужд обители, то дар, который она просит, сторицей возместится укреплением веры святой у народов полуночных: дикой лопи, чуди и северной корелы — к вящей славе Господина Великого Новгорода.

— Ну, Иван Офонасович, како решим? — спросил степенной сердитого боярина.

(Зосима тут только, с опозданием, понял, кто перед ним, и торопливо начал припоминать, не изрек ли он напрасной хулы на Борецкую?)

— С Марфой поговорить надо, без нее как же! — отвечал Немир.

Зосиму снова, хоть и учливо, возвращали к порогу

терема, из которого он давеча был изгнан с таким сором.

— Обитель Соловецкая известна нам, процветает она уже многие годы. («Процветает!») Острова пустые, дикие. Город, конечно, отдаст их монастырю, ежели будет на то согласие землевладельцев, — заключил Иван Лукинич.

Это значило, что, кроме Марфы Борецкой, Зосиме нужно было добиваться согласия славенских бояр, потомков Дмитрия Васильича Глухова. Порог гордого терема отдалился от него еще на одну ступень.

У Глуховых Зосима побывал в тот же вечер. Лампадки, образа, домашняя тишина и благолепие — все располагало к душеспасительной беседе, и Зосима превзошел самого себя. В середине беседы слуга внес серебряный поднос с чарками. Зосима отпил глоток, мед был легкий, не хмельной. Отметил, как знак уважения к монашескому сану. Лука и Федор переглядывались, вздыхали. В какой-то миг Зосима почувствовал, что Марфа и им стала поперек — недаром после смерти Дмитрия Васильича на островах хозяйничали одни лишь ватаги Борецкой. Терять Глуховым, по чести сказать, было нечего. Братья еще подумали, повздыхали, наконец Федор, опершись руками о колени, откашлявшись, сказал:

— Как Марфа, так и мы!

И Зосима вновь оказался у прежнего недоступного порога.

Город, многошумный и великий, в венце каменных башен; соборы, один прекраснее другого; крылатые стада лодей, малых и больших учанов, насадов, паужин, челноков; подобный муравейнику торг Великого Новгорода... И над всем этим тьмочисленным сонмищем непонятная власть вдовы посадника Исака Андреича Борецкого, власть, которую ощущал Зосима с каждою встречей паки и паки.

«Неужели и сам архимандрит Феодосий возложит судьбу обители на волю ее?» — уже с сомнением думал он, пока утлый челн, едва вместивший троих путников (Зосима вез-таки с собою в Юрьев соловецкого игумена Иону), ведомый все тем же Данилой, ныне взмокшим от усердия, проходил вверх по течению, вдоль густо застроенных берегов.

Но вот миновали наконец Детинец, и город начал неторопливо отодвигаться назад. Еще теснились рыбацкие избушки на ежегодно заливаемом лугу под стеною Людина конца, но уже отступали терема, и в прогалинах меж домами чаще и чаще мелькали копны сена. За кущами дерев проблеснули главы Аркажа монастыря, и вот, сияющий, величавый, надвинулся на них Юрьев.

У монастырской пристани лодку встретил служка и, осведомившись, кто и зачем, указал дорогу.

Собор, еще величественнее древней Софии, поднялся над ними всею громадой, как только они проникли за ограду монастыря.

Из храма, поклонившись именитым гробам здесь опочивших, Зосима с Ионой отправились к архимандриту Феодосию.

Величавость не окончилась за стенами собора. Она продолжилась в ожидании у порога, недолгом, но полном внутреннего значения, в сдержанных голосах послушников, в драгоценности утвари и одежд, в полуприкрытых глазах рослого, хорошо кормленного, усталого от забот человека, который глядел и слушал внимательно, без обидного снисхождения, не замечая ни пропыленной, грубой и порыжелой рясы Зосимы, ни голодного блеска в глазах Ионы, окончательно умалившегося перед всем этим велелепием.

Не прерывая беседы, Феодосий принял какой-то свиток из рук вошедшего прислужника, проглядел, то опуская глаза к строкам, то подымая их на Зосиму, начертал неспешно на пергамене и знаком холеной руки с большим темным камнем в золотом перстне отпустил посланника. Так же, почти одним мановением длани, принял и отпустил он еще двух монахов и одного мирянина, видимо, из житьих, пришедшего сообщить что-то, касающееся монастырского конского стада.

— Заботы о стаде коневом вместо забот о стаде духовном! — сдержанно улыбнувшись, пошутил Феодосий, отпустив конюшего. — Наши дни проходят в суетах мирских. Завидую вам, которые процветают в тишине, вдали от соблазнов мира и ближе, вельми ближе к господу! — Он с легкой усмешкой оглядел Иону, и беглец из «тишины» весь покраснел пятнами, даже пог выступил росинками на висках.

— Завидую и печалуюсь, что не мне выпал жребий сей! — с нажимом повторил Феодосий, пристально глядя в лицо смутившемуся Ионе. — Но у каждого свой

крест, и должно нести его со смирением и твердостью. А кто окажется мал и кто велик — судить не нам! Итак, — продолжал он, оборотя теперь на Зосиму повелительный взгляд своих полуприкрытых, с намечающимися под ними отечными мешками глаз, — обитель Соловецкая вновь без игумена? В мыслях наших, что труд сей достоит принять основателю святой обители.

Он помолчал, разглядывая Зосиму, который изо всех сил старался не показать обуявших его чувств: так нежданно просто разрешалось то, к чему он, невольно для самого себя даже, шел все эти долгие годы и чего теперь уже стала требовать вся соловецкая братия.

— Готов ли ты, брат Изосим, к хиротонисанию в игумены?

Зосима молча склонил голову.

— А об островах, чтобы вручить их обители, потребно решить владыке. Полагаю, мольбы верховного молитвенника Господина Великого Новгорода смягчат и сердце болярыни Марфы.

— Преосвященный Иона вельми болен! — решился подать голос отставной соловецкий игумен, с некоторой запинкою называя соименного ему великого архиепископа.

— Да, — подтвердил Феодосий. — Молим о здравии владыки Ионы, но всё в деснице превышнего, он един ведает меру дней наших. Питаем надежду, однако, что телесные немощи не воспрепятствуют святителю принять брата Изосима, о чем и мы тоже похлопочем.

Склонением головы Феодосий показал, что беседа окончена.

Путников проводили в монастырскую трапезную.

Архимандрит Феодосий, в отличие от Ивана Лукинича, целиком был на стороне Зосимы, ибо рассматривал появление каждого нового монастыря как укрепление новгородской церкви. Но тут была против сама Марфа Борецкая, и следовало быть чрезвычайно осторожным. Только через архиепископа Иону, и скорее даже не через него — Иона был тяжко болен, и его кончины ждали с часу на час, — а через всесильного ключника архиепископского, Пимена, друга Марфы Борецкой, надеялся Феодосий добиться согласия своенравной великой боярыни. Но для этого надобно было, чтобы, во-первых, Пимен, целиком поглощенный заботами о нависшей над городом московской грозе, согласился помочь Зосиме, а во-вторых, чтобы больной Иона захотел принять этого

просителя с далеких северных островов. Позвонив в колокольчик, Феодосий велел служителю подать дорожное платье и приготовить лодью.

ГЛАВА 3

Эй! И-и-ех! Эге-ге-ге-гей!

Кони в опор внеслись в расписные ворота. Задохнувшись, с хохотом, седоки соскакивали с узорных седел. Подбегавшие слуги на лету хватали повода. Опередивший всех молодой Берденев поддразнивал разгоряченного Федора Борецкого, дурачился:

— Дайте кваску, горло пересохло. ...Я ему — куда, черт, гонишь? Мало человека не задавил!

— Ништо! Одним бедолагой меньше станет! — небрежно отвечал Федор.

— Слыхал давеча, что у немецкого двора содеялось? Черный люд и по сю пору грозитце!

— То немец, а то мы! На нас весь город держитце.

— Хвастай боле...

— Все одно, у нас не Москва, народ давить по улицам не след! — строго бросил им подскакавший Дмитрий и спешился, сильно и ловко спружинив на мускулистых ногах.

Федор передернул плечами, смолчал, закусив губу. Перед холопами, что ль, брат выставиться хочет опять?

Отставшие всадники, подъезжая, спрыгивали с коней. Слуги веничками сбивали пыль с одежды, обмахивали пучками перьев воротники и рукава. Нарядных кровных лошадей водили по двору. Кони, свивая кольцами шеи, храпели, еще не остыв после скачки, пробовали взвиваться на дыбы.

Вся молодая новгородская госпо́да — родовитые юноши из семей великих бояр, посадники и дети посадничьи, а с ними избранная молодежь из житьих, прочих землевладельцев Великого Новгорода — собиралась нынче у Борецких.

На сенях молодых мужиков встретила, будто нечаянно выскочив навстречу, Олена Борецкая. Младшая Марфина дочь не красавица была: девушку портили слишком широкие плечи и слишком густые, не по лицу «мужские» родовые брови. Впрочем, румянец во всю щеку и молодость исправляли дело. Влюбленно глядя на подымающегося Дмитрия, Олена потянулась к нему,

огладила взлохмаченные волосы старшего брата — и скороговоркой, вполголоса:

— Гришу привезли?

Борецкий улыбнулся сестре, полуобняв за плечи, подтолкнул к двери, пожурил негромко:

— На женатых, на красивых не заглядывайся!

Она вывернулась гибким своенравным движением и, вся заалев, исподлобья стала следить среди входящих стройного темноволосого молодого боярина.

Григорий Тучин подымался не спеша, пропустив вперед себя нетерпеливого во всем Федора Борецкого с Берденевым. Олене он поклонился учтиво и строго. Девушка, вскинув подбородок и раздув ноздри, ответила небрежным кивком и, вильнув косою, исчезла.

Из верхней горницы вышел Василий Губа-Селезнев. Он и Дмитрий Борецкий разом улыбнулись друг другу и стали по обе стороны двери, пропуская входящих. Василий, здороваясь, черными быстрыми глазами внимательно оглядывал гостей, проверяя про себя, все ли званые прибыли. Он особо улыбнулся Ивану Своеземцеву; с Олферием, сыном Немира, понимающе переглянулся; Никите Есифову дружески сжал руку; Григория Тучина приветствовал легким, но почтительным наклоном головы... Пропустив всех, подошел к Дмитрию. Снизу вверх внимательно поглядел в лицо другу, сощурился:

— Ну, мальчишник в сборе! Тридцать молодцев, да без единого! Савелков уже здесь, с Юрием в шахматы режутся, Тучина ты привез, Телятевы приехали, Михайловы ждут. Наши все, словом. Из плотничан Иван Кузьмин не будет, батька плох, но с ним все уже обговорено, коли надо, и в Литву поедет. Да еще Овиновых пока звать не стал... Славлян мало!

— Своеземцев? — тревожно спросил Борецкий.

— Прибыл, — успокоил Губа-Селезнев.

Дмитрий расправил красивые брови, примолвил полушутя:

— Что ж, дружинушка хоробрая! К каждому бы да по тысяче молодцев прибавить еще!

— И того мало будет. Впятеро пожелай! — щурясь, отрывисто отвечал Василий.

— Впятеро, пожалуй, коли всех мужиков в городе собрать, и того не достанет... Ну, пойдем!

В горнице, пока не подъехали Борецкие, разговоры велись о том о сем: о конях, урожае, соколиной охоте. У шахматного стольца барсом протянулся в резном крес-

ле удалец в рудо-желтой огненной рубахе, друг Борецкого и Селезнева, Иван Савелков. Напротив него сидел юноша писаной красоты. То был Юрий Иванов, сын славной вдовы Настасьи, прусской великой боярыни, соперницы Борецкой. Изящной рукой он лениво переставлял точенные из рыбьего зуба фигуры. Оба были хорошие игроки, но играли вполглаза, баловались, ожидая запоздавших.

Миновала пора героических походов на Низ и внешней, нарочитой грубизны. Юноши в Новгороде, подобно знатной молодежи далекой Флоренции, стали завивать волосы, кудри свободно опускались до плеч, на широкие, откинутые на спину цветные воротники. Лишь у стариков волосы по-прежнему лежали на спине, свитые в плотный жгут. Иные из молодых щеголей, напротив, подстригались коротко, подвивая концы локонов, чтобы кудрявились венцом под околышами круглых русских шапок, знаменитых по всем берегам Варяжского моря и до Дании. Только на Москве, перенятое от татар, начинало входить в моду бритье головы (в походах да в поле обовшивеешь с долгими-то волосами!) и твердые стоячие воротники-козыри. Но и там пока больше ценилось новгородское платье и прически.

Как только во дворе раздался топот и голоса, оба бросили игру. Иван Савелков потянулся, расправил плечи, повел руками — ух! Засиделись, ожидаючи! Вскочил прыжком, пошел навстречу входящим. Юрий тоже встал с ленивым изяществом. Шумные приветствия, удары по плечам, хохот наполнили горницу.

Григорий Берденев, дорвавшись, пил теперь малиновый квас, кося глазом на Федора, которого в перерывах продолжал поддразнивать. Федор уже начинал фыркать — легко закипал от пустяка. Был он ниже брата Дмитрия, хотя тоже широк в плечах, и при семейном сходстве — оба бровями, взглядом походили на мать — был темновиден, смотрел как-то исподлобья, бегал зраком. часто раздувал крылья носа, и тогда что-то дикое гляделось в нем. Ему и впрямь мало стоило стоптать кого конем или рубануть с плеча, а в гневе он становился неистов, за что и получил прозвище «дурень». Не хватало Федору и ума братня, больше сердцем чуял, чем разумом. Что ляжет ему на сердце — добро, а не ляжет — долой, и знать не хочу.

Гомон гомонился, пока распоясывались, скидывали летние епанчи и ферязи, а слуги подносили закуски и лег-

кий мед. Хмельного хозяин не велел давать, к серьезному разговору нужны ясные головы. Все были знакомы по родству-кумовству, но так, чтобы враз всем собраться, редко случалось, и потому речи, шутки и смех не утихали. Борецкий с Селезневым-Губой и сами не торопились начинать. Василий взялся тягаться с Савелковым на пальцах, и то огненная рубаха перетягивала, и тогда остолпившие борцов друзья подбадривали Василия Губу, то клонилась вперед, и тотчас зрители начинали поощрять Савелкова. Селезнев все же перетянул, изловчась, нежданным рывком, свалил противника на себя:

— Силен ты, Иван, а башки не хватает!

Григорий Тучин в шутках почти не принимал участия. Летнюю бумажную ферязь свою он лишь расстегнул. Голубая рубаха с негустым серебряным шитьем очень шла к его лицу с темной бородкой. Одетый проще и строже других, он выглядел, как всегда, изящнее.

— Что, Григорий, все в стороне? — окликал его Павел Телятев. — Вижу, ты скоро в монахи пойдешь со своими-то попами, уговорят! Что жена молодая делать будет!

Григорий не ответил, только досадливо повел бровью.

— Постой, — перебил он сам себя, — Селезнев говорить хочет!..

Шутки наконец кончились.

— Вот что, друзья-товарищи! — начал Селезнев. — Собрались мы сюда не мед пить, не танцы водить, а по нужному делу, по сватовству! — Он чуть усмехнулся, примолк, обвел собрание пристальным взглядом своих сощуренных черных глаз. — Великий князь снова требует княжчин где ни есть: двинских земель и всего, что заняли москвичи под Вологдой, Бежецким Верхом, Торжком, Ламским Волоком... Уступать не хотят ничего.

— По-прежнему, значит!

— Да, по-прежнему.

— С Казанью разделались *, за нас принялись!

— Я то же хотел сказать...

— Двину терять жалко!

Молчавший до того Дмитрий вмешался. Негромко, но ясно и твердо, так, что услышали все, сказал:

— Двиной не кончитце! И суд, и право, и власть, и вотчины отдадим.

Сказал и примолк, и вдруг стало ясно, что да, Двиной не кончится. Да и что такое Новгород без Заволочья!

— Новая война с Москвой? — с усмешкой возразил Павел Телятев. — Под Русой дали нам! *

— Кому дали? — вмешался Савелков. — Не знаешь, как дело было! Чарторыйский рать у Липны остановил, одна боярская дружина за озеро ушла. Князь Шуйский был, да Иван Лукинич, да вот Григория Тучина батька, его тогда и взяли в полон, да Казимер, этот раненый ушел, бился крепце всех... В пятистах человек шли, в тысяче ли, не боле того. А московской рати пять тысящ! Дак в первом соступе разбили москвичей, пошли по дворам, да платье, да доспехи почали лупить с мертвых шестников да с татаров битых, строй разрушили, а тут иная рать с поля подошла, да Басенок не растерялся, своих спешил, разоставил за плетнем, за сугробами, к им не пробиться, снегу коню по грудь, а они знай бьют из луков по лошадям... Вот и побили!

— Басенка не зря шильники в шестьдесят осьмом ладили убить *.

— Было такое дело! За Славной, в поле, под Городцом. Да утек.

— Ловок!

— Не больно ловок, как свои же бояра ослепили его на Москвы.

— А луки татарские хороши, мы вчерась пробовали. Бьют на триста шагов — насквозь!

— Михайло Олелькович едет? — спросил кто-то из житьих.

— Едет. В ноябре ладитце быть.

— Киевский князь?

— Брат киевского князя. Он из Ольгердовичей, крещеный, греческой веры. Ольгердовичи — они все православные.

— Все одно не выстоять одним противу Москвы, хоть и с Олельковичем!

— А Шуйского куда пихнули?

— Шуйский на Двину уехал, неспокойно там.

— М-да, стало, дело без нас уже движетце!

— С Москвой ежели... Такое вместе со стариками надо решать...

— И еще узнать, что Захария Овин думает!

— Что вы к Захарию привязались! — вступился Берденев. — Захарий Григорьевич думает, что и все. Кому под Москву охота!

— Старики у матери соберутся на днях, — вновь подал голос Дмитрий Борецкий. — Мы уже не дети, у са-

мих дети растут! Половина из вас — посадники. Ваш суд и власть. И то вспомните, когда Онцифор Лукич дал городу новый устав *, он и сам отступился посадничества, и другие старики отступились. Молодежь стала у кормила власти.

— Тому уж боле ста лет! А нынь, кто умен, давно свои вотчины под Торжком да Бежичами московским боярам попродали...

— Он дело говорит! Старики иные уж в домовину глядят, а нам жить!

— Старики, однако, поводья из рук не выпустили, нам не передали, — возразил, пожав плечами, красавец Юрий.

— Старики не выдадут! — вспыхнул Савелков, распаляясь. — Казимер — герой! Богдана не свернешь! Офонас Груз — старчище кремень и Тимофей не хуже! Лошинский? Пенков? Берденев? Самсоновы? Федоров? Все с нами! — выкрикивал он знакомые каждому имена. — Захарья Овин, этот, не во гнев сказать... Но и тот за свое встанет! Да в плотниках один Иван Лукинич чего стоит! Славлян испугались? И славляне тоже здесь! Своеземцев, покажись! И на Славне-то один Исак Семенович к Москве тянет!

Подошла решительная минута. Василий Селезнев оборотился к Дмитрию Борецкому, и все посмотрели на Дмитрия. Так в старинах, что поют гусляры на пирах, в бою богатырском, герой посылает слугу своего расправиться со слабыми супротивниками, но в поединок на главного ворога выезжает сам.

Борецкий обвел очами молодые задорные лица новгородской госпóды: великих бояр, иных еще безбородых, посадников, детей посадничьих, тысяцких, избранных житьих, — молвил негромко и значительно:

— Други! Я собрал вас вот зачем. Кто знает — знает, а прочие послушайте. Князь нам нужен, без него не обойтись. Но какой? Исстари Новгород был волен во князьях, приглашал, кого любо, а нелюбым говорил: «Ступай, княже, мы сами по себе, а ты сам по себе». Так было?

— Так!

— Так-то так...

— Постой. Что мы видели от великих князей московских? Дмитрий Иваныч Донской, когда Тохтамышу Москву подарил *, явился с ратью за серебром. Гневен был, что наши молодые люди на Волгу ходили, татар

побили-пограбили. Не так? Василий Дмитрич вознамерился Заволочье отъять. Кабы не разбили его наши деды-прадеды на Двине, конец был бы Новугороду.

— Били-то вятичей да устюжан!

— И москвичей били в те поры.

— Стойте, господа, пусть Борецкий скажет!

Дмитрий перемолчал говорку, вновь повел речь:

— Теперь глаза колют нам литовским митрополитом да в союзе с латинами винят! Вера, говорят, одна у нас и Москвы. А когда Витовт, католик, взметную грамоту Новугороду послал *, Василий Дмитрич с ним был заодно, противу своих, православных! Добро, татары Витовта укоротили на Ворскле. Василий Василич Темный дважды на Новгород войною ходил *, черного бора требовать да окупы брать. Тоже татар братьями считал, за что и ослепили! Двести тысящ выплатил Орде за себя *, всю русскую землю запустошил! А с нас требовал княжчин? Худо ему пришлось от Юрьевичей *, так все обещал отдать, что московские князья заяли волостей новгородских. А когда наши на развод земель поехали, так не прислал своих бояр и сам ничего не отдал! А в порубежных делах новугородских чему помог? Со Свеей сами уряжались, с немцами тоже без него. А наместники княжьи куда смотрят? Только бы суд у нас отнять! Давно уже служилых князей берем из Литвы или ежели кто ушел от великого князя, как Чарторыйский да как наш Василий Василич Шуйский, те лишь и служат Новугороду! Иван сесть не успел, за то ж принялся! Владыка Иона ездил к нему, хлопотал, ничего не выхлопотал. В Литву в ту пору посылывали, так только и приутих...

Все это было уже известно, и в зубах навязло, и уже загудели нетерпеливые, но тут Борецкий возвысил голос:

— Так зачем нам московские наместники на Городце?! Казимир, король литовский *, давно предлагает взять своих и оборонить нас от московского князя!

Многие знали, другие догадывались, да и собраны были те, кому можно сказать, и все-таки сказанное наконец впрямь, в открытую, ошеломило.

— Стой, не понял, так что, вовсе порвать с Москвой?

— Совсем?! Постой, в голове не умещаетце...

— Так вольны ли мы во князьях?!

Начался шум. Дмитрий замолк. Вместо него скоро вновь заговорил Василий:

— В пятьдесят втором году, в пятьдесят ли третьем

король Казимир сам предлагал принять его наместников на Городище. Отцы наши на то не пошли.

— Страшно и Литве поддатьце!

— А не страшнее Москвы. Там всё нестроения — нам на руку!

— Не знаешь ты ляхов!

— Опять, в семидесятом, восемь лет назад, сами же ездили в Литву, к королю, и Ивана Можайского звали! *

— Так на чем не сошлись?

— Дак умирились в ту пору с московским князем!

— А не стоило! Иван только еще сел, сила-то не в руках была.

— Ну и нажили бы мы войну с Москвой восемь лет назад! Небось Басенок, да Стрига, да Федор Давыдович не дети и тогда были! Сам он, что ль, рати водит?

— Решайте, господа. Без вас не решится, а с вами совершится. Что постановим, то и будет!

— Католическим попам надо запретить к нам соватьце! — подал голос славенский посадник Никита Федоров.

— Обговорено уже! — отозвался Еремей Сухощек, чей голос в делах веры, как приближенного самого архиепископа, был важнее прочих.

— И церкви свои чтоб не строили!

— И это тож.

— Совсем с Русью рвать...

— Смоленщина, да Брянщина, да Киевская Украина, да Волынь, да Полоцкая земля — тоже Русь! — значительно возразил Еремей.

— Русь-то Русь, да под ляхами. Там, слышно, стали православных больно уж утеснять ноне. Как бы не ошибитьце!

— Ошибемся, сошлем литовских наместников с Городца. Воля наша. Договор по-старому — на всей воле новгородской!

— Ну, кто присягнет? Неревляне все ли согласны? Григорий, как ты?

Тучин хмуро пожал плечами:

— Уже ведь говорили! Одним нам с Москвой не сладить. Но вот только: должны ли мы с нею слаживать?

— Опеть!

— Дак что, и лапки вверх? У тебя самого земли на Двины!

— Вот именно. По землям — надо решиться, а по разуму — не знаю... Словом, я — «за».

— Ты, Пенков?
— И я тоже.
— А ты, Григорий Михайлович?
— Я — как мир, как все.
— Иван?
— Мы с братом заедино.
— Житьи согласны? Кто скажет?
— Ефим Ревшин!
— Говори, Ефим!

Ефим круто свел брови.

— Нас в Новом Городи до двух тысяч, в одном Неревском конци боле четырех сотен семей! За всех не скажем. То — вечу решать. Иным и страшно покажет. Однако в ляшской земли тамошние дворяна в сейме больше власти имеют, чем мы тут!

— Об этом уже толковали, Ефим!

— Толковали досыти, дотолковатьце не пришлось! Добро бы хоть сотские из наших выбирались!

— И об этом говорка была.

— Была-то была! — упрямо возразил Ефим, и прочие житьи теснее подошли к нему, подбадривая товарища. — Да толку? Феофилат Захарьин против, Овин против, Яков Короб против! Ищо не всех и назвал...

— Судная грамота изменена в вашу пользу!

— Дак ее московской князь менял! — раздались сразу несколько голосов.

— А земли отберут?

Ефим исподлобья глядел на Селезнева.

— По землям решать, как Тучин сказал, дак и мы согласны! А только чтоб в суде наших не утесняли!

— И в Совете надоть нашим быть! — подхватил Роман Толстой.

— Про Совет погоди! — остановил его Ефим. — Может, нам и свой Совет нужен, от житьих, об этом сейчас все одно не сговорим!

— Ладно, пущай плотничана про себя скажут!

Григорий Берденев, сын плотницкого тысяцкого, пожал плечами:

— Уже говорено! Присягать надоть!
— Житьи пусть говорят!
— Мы — тож!
— Мы — как Арзубьев!
— Киприян кого хошь уговорит.
— Только и про то, что Ефим молвил, помнить надоть!

— Григорий Киприяныч, ты в одно с отцом?

— Я и с Ефимом Ревшиным в одно! Ну, однако, батя с Марфой Ивановной вместях думали. А наши земли тоже на Двины.

— Что Славна скажет?

Олферий Иваныч решительно выступил вперед. У зятя Борецкой был такой же, как у родителя, Немира, задиристый норов и тот же крутой лоб, толкачом, и нос отцов, большой и горбатый.

— О чем спорим? Сто лет воюем с Москвой! Пора уразуметь, кто нам главный ворог!

Но взгляды оборотились на Своеземцева. От него, а не от Олферия зависело сейчас, что решит Славна.

Он стоял бледный, и в голове проносилось: «Да минет меня чаша сия!» Почему нет отца? Такого важного, уже не от мира сего, в последние годы, когда он постригся и стал иноком Варлаамом у себя, в Важском монастыре... И все-таки близкого, родного, кого можно было спросить в трудный час! Со дня смерти отца скоро год, а все непривычно без него, и теперь, теперь! Так он нужен в этот час, в этот миг! «Отче, просвети меня!»

— Я вместе с вами... — сказал Иван тихо, одними губами.

Стали опрашивать пруссов — бояр с Прусской улицы и с Чудинцевой: от Загородья и Людина конца. Мнения опять разошлись, кто-то предложил жеребьи.

— Нет, други! — возразил Селезнев. — Дело такое всем надо решать и уж вместе быть до конца! За каждой вашей головой, господа посадники, сто голов житьих да тысяча черного народа!

Опять стали обсуждать ряд с Казимиром. Заметно было, что владельцы двинских земель соглашались охотнее тех, чьи владения лежали близ и южнее Новгорода: в Деревской волости, в Бежецкой, Ржевской и Яжелбицкой сотнях, в Заборовье или под Торжком. Еще и по родителям разделились. Младшие Грузы, сыновья Офонаса и Кузьмы, вовсе не спорили. Семен, племянник Александра Самсонова, колебался больше всех. Долго перекорялись Телятевы, выясняя, как и что постановлено с королем Казимиром.

Борецкий с Селезневым знали, что делали, когда собирали одну боярскую молодежь. Здесь решать приходилось самим — уже не спрячешься за широкую спину родителя, не увильнешь под мнение старших.

И когда наконец решили, то по древнему, полузабы-

тому обычаю вынесли меч и на обнаженном клинке принесли клятву — стоять заедино.

И словно повзрослели все после принятого решения. Пусть оно было не окончательным: что еще скажут старики, как решит вече, которое в этом случае легко может выйти из повиновения и поворотить все наоборот... Да и не сегодня это началось, еще Витовт полвека назад набивался в великие князья Господину Новгороду *. И с Иваном не сегодня завязалась борьба, восьмой год тянется: и за Псков, и против Пскова, и посылали, и пересылывали, и мирились, каждый стоя на своем. А вот и подошло. И час пробил. Как удержат изнеженные руки мечи, как пойдут атласные кони под ливнем стрел? Какова-то еще и она будет — воля литовская?

— Эх, мужики, скучливо живем, песню! — вывел всех из задумчивости Иван Савелков.

Олена Борецкая тут как тут — внесла домру и гусли. Старательно не замечая Григория Тучина, подала гусли Савелкову. Тот перебрал струны, кивнул Олфиму:

— Ну-ко, подыграй!

Олфим наладил домру. Складным строем зарокотали струны.

— Павел, веди передо́м! — крикнул Савелков Телятеву.

Ой ты поле, ты полюшко чистое,
Молодецкая воля моя!

В лад, строго подняли песню голоса.

— Хорошо поют! — уронил Еремей, подходя.

— Эту сложили, еще когда на Волгу ходили наши, сто лет песне! — пояснил Иван.

Хор звучал, почти как церковный, торжественно.

— Плавашь голосом-то! — вполголоса снедовольничал Никита, слушая Ефима Ревшина.

— Ну, тут и надо так, не строго в лад! — защитил певца Савелков. Это был новый пошиб, к нему еще не привыкли.

— А красиво получаетце! — сдался Никита, присоединяясь к хору.

От песни эти разодетые щеголи стали проще, понятнее. Весь отдаваясь напеву, Павел вел хор за собой. Дмитрий вторил задумчиво, утупя очи. Федор пел старательно, глядючи вперед себя, порою хмурился, словно угрожая кому-то...

Все эти богачи, молодые посадники, которым власть

и волости достались без борьбы, без трудов, от отцов, дедов, прадедов, устроивших так, что каждый боярин великий становился посадником в Новом Городе или тысяцким, а уж сотскими — чуть ли не от рождения, забыли на час про свою спесь, ссоры да свары, и с песней пришла к ним тенью удаль древняя — тех времен, когда власть и почесть еще брались с бою, доставались лучшим, достойнейшим, удаль молодецких походов на Низ, на Волгу, «без слова новгородского», в стремительных долгоносых ушкуях.

Ах, давно отлетела та слава! И Александр Обакунович, герой Волги, сто лет как пал костью в первом же сусупе, в бою с тверичами под Торжком *, и бежали с полей новгородские рати... Что содеялось с силою новгородскою? Да уж и так ли мудры были прадеды, что забрали и власть, и суд, и право в одни свои руки и холеные руки внучат? Кто побеждал в древних битвах, разил суздальцев под Новым Городом *, шел босой и побеждал на Липице, кто выстоял на Чудском * и у стен Раковора *?

А поди знай! Давно было! Не вспомнить. Мы же и побеждали, кому ж еще! На том стоим!

Ой ты Волга, ты мать широкая,
Молодецкая воля моя-а-а!

Молод великий князь на Москвы, молоды посадники новгородские. А молодые головы горячие, упьянсливые да непокорливые. Молодое дело — неуступчивое.

Василий Губа-Селезнев, незаметно задержавшись, мигнул Борецкому. Вышли в укромную боковушу.

— Слушай, Дмитрий! О всех этих беседах на Москве известно все: кто доносит — не знаю. Мать твоя этих побирушек больно принимает, а они ведь все из Клопского монастыря тянутся. Я знаю, о чем говорю! Моя голова давно оценена, да и твоя тоже. И потом, деньги нужны.

— Для веча?

— Да.

— Сколь?

— Много.

— Сот пять?

— Мало.

— Тысячу?

— И того маловато.

— Тысячу рублей из калиты не вынешь! Надо у матери прошать. Она достанет, хоть из владычной казны.

— Из владычной навряд!

— А больше и неоткуда. Мать все может, ты ее еще плохо знаешь. Давеча, вон, Зосиму угодника прогнала.

— Не обессудь, а это она плохо сделала! По городу ненужные слухи пошли.

— Ну, тут я ей не указ. Острова захотел получить. Там ловли богаты, мать говорит. Ее дело. А деньги будут!

Григорий Тучин с Иваном Своеземцевым от Борецких поехали вместе в Славенский конец. Иван домой, на Нутную, а Григорий — на Михайлову улицу, к попу Денису, на вечернюю беседу сходившихся у него философов, или, как они сами себя называли, «духовных братьев». Ехали молча. Уже у въезда на Великий мост Иван спросил:

— Пойдешь к ним?

— Да, обещал. Да и самому интересно. Хочешь, идем вместе?

— Нет. Ты знаешь, как мой родитель смотрел на это. Его у нас, на Ваге, святым почитают мужики. Я, когда туда приезжаю, словно сам чище становлюсь... Память отца переступить не могу.

— Вольному воля... — уронил Тучин.

Оба опять смолкли. Своеземцев ехал, утупив очи к луке седла.

— Вот и решились мы с тобой на кровь! — примолвил он погодя, негромко и печально.

— Да! — ответил Григорий, обрубая дальнейший разговор об этом.

Копыта гулко щелкали по настилу. От воды тянуло сыростью, пахло прибрежной тиной — Волхов мелел. И говорить было не о чем. Только крепко сжали руки, когда Тучин, переехав мост, удержал коня.

ГЛАВА 4

Во всех его хлопотах Зосиму все неотвязнее искушала мысль, которую он сперва отгонял, как назойливого овода, но она все возвращалась, росла, перерастала в желание, жажду, и уже он тщился отнюдь не отогнать со-

блазн, а найти время и возможность последовать ему. Мысль эта была — посетить обитель святой Троицы, что на Клопске.

Трудно сказать, тогда ли еще зародилось у Зосимы это желание, когда словоохотливый онтоновский келарь смолкал, чуть только речь ненароком касалась рекомой обители, позже ли, при виде того странного глухого раздражения или настороженности, кои возникали у любого, только лишь слышавшего пресловутое имя.

Монастырь был основан московитами и жил главным образом на пожертвования великих князей. Каменный храм выстроил опальный дядя покойного Василия Васильевича * в бытность свою в Новгороде. Не скудела десница московских государей и в последующие годы. Полвека назад игумена Клопского монастыря, избранного по жребию архиепископом Великого Новгорода, силой заставили оставить архиепископию и удалили * назад, в свой монастырь. Обитель святой Троицы была бедна и вечно терпела притеснения великих бояр новгородских, владельцев окрестной земли. Но всего этого все-таки не хватало для объяснения толикой злобы на монастырь. А вместе с тем Зосима чуял, что там, в Клопской обители, он, возможно, найдет ответ на все недомолвки и умолчания, от коих ближайшим образом могла зависеть судьба основанного им монастыря. И когда архимандрит Феодосий передал Зосиме, что приема у владыки необходимо обождать два или даже три дня, будущий настоятель Соловецкой обители решился.

Он отправился, никому ничего не сказав. Даниле, который перевез учителя через Волхов, Зосима велел возвращаться одному. Данило понял, что наставник ищет молитвенного уединения, что часто бывало и на Соловецких островах, где угодник удалялся в лес или даже на соседний пустынный остров, оставаясь там без пищи и пития даже и до нескольких дней. Данило так и сообщил в монастыре, на что как раз рассчитывал Зосима, не хотевший брать греха на душу лживыми объяснениями своей отлучки.

Не привлекая ничьего внимания — мало ли ходит по дорогам рясоносных странников, — размеренным дорожным шагом миновал он Детинец и, выйдя из Людиных ворот, поспешал по Юрьевской дороге. Не доходя Аркажа монастыря, Зосима свернул направо и, уже в сумерках, подходил к Ракоме, древнему княжому сельцу, а ныне селу Ивана Лошинского, брата Марфы Ивановны

Борецкой. Не останавливаясь, Зосима миновал гостеприимные, но опасные для него сейчас ворота боярского терема и, озревшись, направил стопы свои к югу, вдоль Веряжи, стараясь, елико возможно, не спрашивать дорогу. Уже светало, когда он, истомленный, с разбитыми в кровь ногами, подходил к невысокой бревенчатой ограде Клопского монастырька.

Как ни уставши был Зосима, но и он невольно подивился необычайному для небогатой обители толплению народа у монастырских ворот в столь ранний час. Народ все был простой: какие-то монахи и монашки, что сновали взад и вперед, нищие, калики, мужики и бабы, странники и странницы, с холщовыми дорожными торбами за плечами, в разбитой обуви, иные в лаптях или босиком. И хоть все они набожно крестились на главы двух церквей, каменной и древяной, выглядывавших из-за ограды монастыря, чуялось здесь не просто толпление верующих, а кем-то направленное и для чего-то сошедшееся сюда сонмище единомысленных.

Проникнув под пытливыми взглядами монаха-привратника за ворота обители, Зосима, отказавшийся сообщить, кто он и откуда, очень долго прождал игумена, так что уже стал сомневаться, примут ли его, и досадовал на свою чрезмерную осторожность. Каменный Троицкий храм обители был невелик и тесен. Украшали его лишь несколько икон искусного письма, среди которых выделялся образ Троицы, писанный, как сообщил Зосиме монах, навязавшийся ему в провожатые, самим Андреем Рублевым, опочившим в бозе старцем Андрониева монастыря. Имя великого мастера Зосима только слышал раньше — все здесь было чужое, московское — и невольно засмотрелся на непривычную бегучую, легкую прорись иконы, нарочитую, будто и впрямь небесную простоту, усугубленную голубизною одеяния, на задумчиво-скорбные лики ангелов, столь непохожих на суровые, плотного, яркого письма изображения новгородских икон. Было в этой иконе нечто, что обезоруживало, лишало сил, был соблазн некий. А монах назойливо зудел над ухом, поясняя, что такожде, мол, как бог нерасторжим, един и троичен, достоит быти едину государству Московскому под рукою великого князя... Спасаясь от речистого брата, Зосима вышел во двор к кельям, что стояли кружком, почти упираясь в ограду, осененные немногими соснами. Провожатый и тут не оставил угодника, вызвавшись показать келью блаженного Михаила. Наконец подошел

второй брат, пригласивший Зосиму в настоятельский покой.

Ему еще пришлось пождать, теперь уже в приемной, бедно обставленной горнице с одним малым окошком на озерную сторону. Наконец взошел настоятель, явно приготовившийся к долгой увертливой беседе. Хитрыми глазами оглядел-ощупал гостя, узнав, кто перед ним, весь расплылся в улыбке: как он рад видеть угодника, пребывающего в чести у самой великой боярыни Марфы Исаковой...

Сдвинув брови, Зосима прервал поток льстивых похвал и кратко пояснил, что не только не в чести, но был с соромом отогнан от порога боярыни. Игумен перестал улыбаться, впервые серьезно и пронзительно глянув в глаза Зосиме, и, вдруг засуетясь, начал сетовать, что принужден оставить его одного на час малый, но просит обождать в настоятельском покое для душевной беседы, пока же не соблаговолит ли брат Изосим, коего тотчас проведут туда, обратить очи свои на житие блаженного Михаила, «покровительством коего монастырь наш процвел и ныне славится». Воротился он (видимо, проверив сказанное Зосимой) уже другим — деловым и серьезным, с легкой хитрецой, и разговор пошел откровеннее.

В его отсутствие Зосима, расположившись в настоятельском креслице за резным столиком прямь косящатых, красных окон, тоже обращенных на озеро, видневшееся отсюда в отдалении, прочел житие блаженного Михаила *, опочившего пятьнадесят лет назад, еще при великом архиепископе Евфимии.

Смутное чувство оставило в нем чтение этого жития, да и сам малоприятный облик блаженного. Смутным был и разговор с воротившимся в келью игуменом. Тот начал как бы издалека, полюбопытствовал, был ли Зосима на приеме у владыки Ионы, вздохнул о близком, как полагают, конце новгородского архиепископа, осторожно перешел к мысленным гаданиям о восприемнике. Кто может ныне стать главою новгородской церкви? Зосима слушал, подавленный тою свободой, с которой хитроглазый собрат-игумен решал и взвешивал судьбы великой архиепископии Господина Новгорода. Зосима сам и в мыслях не дерзнул бы обсуждать такое!

Вошедшему игумену он уступил креслице, и сам теперь сидел на лавке, опершись усталой спиной о тесаную бревенчатую стену и взглядывая то в деловитое, слишком уж мирское лицо клопского игумена («На купца похо-

дит!»), то на стену над его головой, сплошь увешанную блестящими крестами, иконами в дорогих окладах, складнями из позолоченной меди и серебра — явно, без чувства меры и лепоты, с одною лишь целью подавить гостей богатством и многочисленностью реликвий, — смотрел и вновь, и вновь удивлялся напористой бесцеремонности пришлых москвичей-шестников.

До Пимена, ключника и наместника Ионы, наиболее вероятного будущего архиепископа, клопский игумен, видимо, с намерением, добрался не сразу. Заговорив о нем, игумен поднял очи гóре, вздохнул, почти непритворно, воздал должное уму и талантам Пимена, пожалясь о том, что столь доблий муж воздвиже нелюбие в сердце своем на богом избранного великого князя и государя московского. Клопский игумен подчеркнул, усугубив, слово «государь» с нарочитым умыслом. Великий князь московский именовался в Новгороде господином, государем же был лишь в своей, Московской волости, где ему согласно с государским званием принадлежала и вся полнота земной власти. Впрочем, Зосима, далекий от мирских дел, не касающихся прямо его обители, не уразумел намеренной обмолвки клопского игумена и насторожился лишь тогда, когда тот, уже не обинуясь, высказал опасение, что-де ежели произойдет прискорбное размирье Новгорода с московским государем, тщеславие подвигнет Пимена на грех велий: принять посвящение у богомерзкого литовского митрополита Григория *, что получил ныне у патриарха, также отпавшего православия, самозванный титул митрополита русского.

О том, что после осьмого Вселенского собора, бывшего в римской земле, во граде Флоренции, на коем едва не была провозглашена уния — соединение церквей православной, греческой, с богоотметной католической папской церковью, — литовские великие князья все время стараются поставить униатского митрополита не только на подвластные им Киевскую, Волынскую и прочие земли, но и на Московскую митрополию, Зосима, разумеется, знал. Но только сейчас вдруг, как во тьме при блеске стрелы громовой узрит путник разверстую бездну у ног своих, уразумел Зосима, что может произойти (и произойдет!), ежели новый архиепископ примет поставление у литовского проклятого униатского митрополита. Понял и ужаснулся. Неужели Новгород, его великая церковь, его святыни, гробы чудотворцев, соборы и храмы подпадут под католическую ересь, будут обруганы латинами и, па-

че того, перейдут на латынское богомерзкое служение?! Ибо именно на такой исход прозрачно намекал игумен Клопского монастыря.

Речистый москвич между тем заговорил о другом, и смятенный Зосима опять не сразу понял его, уразумев лишь то и тогда, когда игумен прямо заявил, что будет рад, ежели свет истинной веры утвердится на Соловецких островах, в глубине владений рода Борецких, злоненавистников великого князя и явных споспешников злокозненного Пимена.

Тут Зосима понял и то, почему далекая Кирилловская обитель так ревновала о памяти блаженного Савватия. Кириллов Белозерский монастырь верно служит великим князьям московским. Его настоятель в свое время разрешил ослепленного Василия Васильевича от клятвы *, данной им Ивану Можайскому и Юрьевичам, и тем помог отцу нынешнего московского князя вновь овладеть великокняжеским столом.

Огромность открывшегося подавила и почти раздавила Зосиму. Он уже не знал, принять ли дар из рук Борецкой и Пимена и оказаться врагом великого князя? Не принять и... отступиться всего, что добывалось целою жизнью трудов и лишений?

С такими мыслями, с глазами, обведенными голубой тенью, поминутно одолевая почти отказывающую ему плоть, Зосима, проведший в пешем странствии две бессонные ночи, на заре следующего дня входил в просыпающийся, словно медовый улей, Новгород.

Одеревеневшие, уже потерявшие ощущение боли от постоянных ударов о корни дерев, камни и колдобины ноги несли его полегчавшее, словно колеблемое ветром тело по тесовой мостовой. Посох, доселе тонувший в дорожной пыли, тяжело и ровно ударял в твердое. И Зосиме порою начинало казаться, что все бывшее — лишь видение от бессонницы и трудной дороги. Не может быть, чтобы Великий Город перешел в латынскую ересь, не может быть!

На Торговую сторону Зосиму перевезла попутная лодья. С угодника, уважая сан, не спросили и платы за перевоз. После короткого отдыха в лодке встать на избитые стопы и вновь идти было особенно мучительно. Добравшись наконец до монастыря, Зосима узнал, что его искали и наутро зовут к архиепископу. Свершилось! Много за полночь, одолевая себя, Зосима простоял на молитве и лишь под утро забылся коротким сном.

Ворота тонут в грузном нутре башни. Башня вознесена над кручею, и твердая каменистая дорога уводит ввысь натруженные стопы. Усталость дарит человеку, страстному и самолюбивому, смирявшему себя в пустынной тиши лесов и вод, а ныне обегавшему огромный город, с тьмою тем скопления людского, человеку растерянному и взмятенному, жаждущему и завистливому, — этому человеку усталость дарит спокойствие, и спокойствие ему сейчас дороже всего.

Башня вздымается над обрывом, уходя в голубое, во влажных комьях белых облаков небо, и, кажется, летит навстречу вместе с облаками, выплывающими из-за нее прерывистой чередой. А на башне и выше ее летит по небу церковь надвратная. Не с ее ли серебряных куполов срываются влажные облачные шапки?

Под гулкими сводами они прошли в Детинец, и гордый собор Бориса и Глеба * первым принял их робеющие взоры и, приняв, передал стенам и куполам древней Софии, сердцу Великого Города. Горстью песка и маленькой кучкой камней стали здесь далекие северные острова!

Зазвонили часы на часозвоне, выстроенной великим Евфимием. Путники задрали головы, разглядывая хитрую диковину: круг, на коем узорные кованые спицы указывали время, часы и минуты. Исход времени отмечался звоном колоколов, и вся башня гудела от их согласного движения.

По владычному двору, среди больших и малых каменных палат, соединенных крытыми переходами, украшенных где каменными, а где резными древяными крыльцами, с крутыми кровлями в чешуе и черепице, с хороводом труб и дымников, тоже затейливо изузоренных, по всему обширному двору, мощенному где тесовыми плахами, а где и плитами камня или старинной плинфы, сновали взад-вперед монахи и послушники, служки, слуги, миряне, что служили во дворе владыки, а также и пришлые по делам граждане от простых до вятших, в боярском дорогом одеянии. У дверей чашницы стояли, охраняя ее, воины владычной сторожи. Здоровые краснорожие ратники выглядывали из дверей молодечной, и от их присутствия двор владыки духовного являл подобие княжого двора.

Каменные палаты архиепископа тянулись бесконечною чередой. Тридцать дверей насчитывали в воздвигнутой Евфимием владычной хоромине! * Им пришлось изрядно подождать, пока прислужники архиепископа передавали их один другому. У спутников угодника глаза раз-

бегались от великолепия архиепископского дома. Наконец Зосиму особо пригласили пройти и провели еще через целый ряд покоев, но не к архиепископу, как надеялся он, а, как шепнул Зосиме по дороге сопровождавший служка, к самому всесильному ключнику владычному — Пимену. При этом известии Зосима испытал одновременно сожаление, что не узрит архиепископа Иону, коему много лет назад он представлялся сам, ревнуя об устроении обители, и вместе с тем страх, ибо после посещения Клопского монастыря боялся не только разговора, но и встречи с Пименом. Он призвал мысленно имя божие и напряг всю свою волю, прежде чем переступить порог властительного покоя.

Служка скрылся. Зосима поднял глаза и невольно вздрогнул, ощутив жгучий взор Пимена. Они благословили друг друга. В краткой речи, объясняя великую несправедливость того, что монастырь лишен права владеть землею, на которой он расположен, Зосима, наученный опытом, старался, елико возможно, ни единым словом не оскорбить заглазно боярыню Марфу Борецкую. Пимен пристально глядел в лицо соловецкому угоднику, почти не слушая. О существе дела он уже знал от архимандрита Феодосия и других. В нем росло сдавленное глухое раздражение: просители, просители, просители! Порою кажется, что все они, как и он, не будучи уверены до конца, утвердится ли Пимен на владычном столе, торопятся урвать свое в эти краткие месяцы затяжной предсмертной болезни Иониной. Вот и сей такожде! А дела не ждут, и надо вести их твердой рукою, так, словно бы посох владыки уже в деснице твоей!

Зосима меж тем, изредка подымая глаза, видел резкие черты Пимена, темным огнем горящие глаза и все более утверждался в мысли, что тот не остановится принять поставление у литовского митрополита. Он осторожно упомянул, что в Новгороде, по слухам, свила гнездо латынская ересь и он сам свидетель тому, что хулящие на монастыри открыто проповедуют по стогнам града. Пимен поморщился, сухо возразив. Странно, оба они плохо помнили существо разговора, так как каждый, говоря одно, единовременно думал о другом.

«Может ли он помочь? — гадал Пимен, разглядывая Зосиму. — Навредить — сможет. Довольно московских юродивых на нашу голову! Ежели все эти бедные монастыри станут просить земель у великого князя... Проще всего, конечно, отослать старца назад, на его остров, пусть

ждет лучших времен. Но за него хлопочет архимандрит Феодосий, а от Феодосия зависит отношение не только малых, но и больших монастырей. Пропустить к Ионе? В конце концов такой ли это ущерб для Борецкой, тем паче что острова как-никак принадлежат не ей, а городу...»

— Владыка тяжко болен, — отрывисто произнес Пимен, вставая. — Пожди, брат, а я узнаю, возможет ли он ныне принять тебя!

Пимен вышел, все еще не решив окончательно, что ему делать с Зосимой.

Иона умирал в строгой пышности архиепископского дворца, Евфимиевых бесконечных палат, по которым сейчас, в тревоге, скорби, корысти и вожделении сновали келари, ключари, младшие стольники и чашники, монахи и иеромонахи, иереи и протоиереи, владычные посельские, хлебники, слуги и служки всех мастей и чинов, то перекоряясь, то завидуя и молча лелея возможные перемещения, когда новый (на Пимена уже многие посматривали с почтительным подобострастием: сами Борецкие, Есиповы, Онаньин за него — шутка ли!), когда новый архиепископ возьмет бразды великого дома святой Софии Новгородской и властно переместит по-своему вековой распорядок архиепископского двора. Страсть, ненависть, шепоты надежд и страхов ползли, как горький дым пожара, накаляя воздух под низкими сводами палат до того, что становилось трудно дышать.

Смутное это брожение, как глухая мышиная возня по ночам, едва долетало до того, заветного, покоя, перед которым смолкали, куда входили на цыпочках, и то лишь избранные, званные им самим, и почти не мешало Ионе, вздремывая порою от телесной набегающей слабости и вновь переходя в бдение, думать, перебирая прожитые годы, весить их пред господом и совестью своею и проверять, так ли прожил, то ли и все ли, что мог, сделал, с чистою ли душою может встретить он свой последний, уже недалекий час, переступить порог пресветлого того мира, куда ушли, в свой черед, прежние архиепископы Великого Новгорода.

А заботы, земные, отошедшие и отходящие, были немалые. Даже и теперь ему не давали покоя. Стольник Родион и Еремей Сухощек, владычень чашник, настойчиво требовали назначить восприемника. О том же толковали чуть не все приезжающие к нему бояра. Даже до-

пущенный в покои старец Варсонофий обмолвился както о восприемнике. Восприемник! Всеми делами дома Софии вершит сейчас Пимен. Ну да, его хочет и Марфа Борецкая. Восторжествуют неревляне. Будет роптать старая Славна, разъярится Захария Овин. Начнутся обиды. Иона не был уверен в Пимене. Сухой горячечный взор ключника пугал. Пимен давал деньги Марфе, не спросясь у него, архиепископа. Об этом больному Ионе заботливо донесли. Он почувствовал омерзение на доносящих. Гнева на Пимена не было. Была тревога. Пимен затеет войну с Москвой. Великого князя не одолеть. Кто будет рад усобице православных? Славенские бояра против войны. Утвердит ли Пимена Москва? По слухам, и об этом тоже донесли Ионе, он был готов принять посвящение от митрополита литовского, Григория, униата, о чем судачили уже по всему городу. И это усиливало неуверенность. Гордыня! Грех! Наставь его, господи! Сам он все эти годы старательно избегал крайностей, оберегал, щадил, укреплял...

И сейчас, проваливаясь в дрему, теряя нить уплывающих воспоминаний, Иона судил себя, проверял всю свою жизнь с той поры, как принял великий сан архиепископа Великого Города, вступил господином в эти палаты, строенные блаженным Евфимием, взвалил на плечи бремя власти и забот.

Бунтующий Псков, жаждущий отложиться в особую епископию *. Сколько трудов было не дать совершиться злу! Недавно еще к самому великому князю посылывали! Про молодого московского князя Ивана молвят разное. Василия Васильевича Темного Иона знал и умел с ним ладить. Об этом его умении утишать покойного великого князя в Новом Городе слагают легенды. Молодого же великого князя Ивана Иона не понимал и боялся в душе. Тогда так и не сумел утишить, отвести войну от города. Помогло посольство к Казимиру *, угроза литовской войны. Иван казался не по годам сдержан и умен. С маху, как родитель, вряд ли станет действовать. Но что таится за его показным спокойствием?

Где-то в душе Ионы и поднесь жил тот сирота, тот робкий мальчик, который в училище пугливо сторонился сверстников, лишь издали глядючи на их резвые игры, тот мальчик, коему, подъяв его за власы, блаженный предсказал *, что он будет архиепископом в Новгороде. Тогда над ним долго смеялись, не верил и сам Иона, и вот — все в руце божьей!

Однако князь Иван воспретил же псковичам особую епископию!

Понимает ли Пимен, как опасно рушить толиким трудом построенное? Но ежели не он, то кто же? Кто из игуменов или иереев Новгорода возможет сие! Из ближних? Называли Варсонофия: благ, но излишне смиренен, не по нему груз. Феофил? Конечно, нет! Ничтожен, несмел, криводушен...

— Вси отошли мира сего великие держатели дома святой Софии, вси в земли!

Вручить пастырский жезл Пимену — не значит ли расколоть город? Вместе, всем вместе! Понимают ли? Зачем он мирил Псков, утишал Москву, ладил с митрополитом, установил в Новгороде память московского угодника Сергия Радонежского *, блаженного старца, о гроб коего бился в рыданьях, моля о пощаде, сам Василий, когда его вороги нежданно прискакали в Сергиеву обитель слепить великого князя?

Зато он и своего, новгородского святого, Варлаамия Хутынского, сумел утвердить на Москве. Давеча велел принести книги и перечитывал, как сказано об этом во владычном летописании. И о чудесном исцелении у гроба Варлаамия * постельничего великого князя Василия, Кумгана, и о том — не скрыл того! — как игумен хутынский и он сам прежде беседовали с исцеленным, испытуя и расспрашивая отрока. На Москве бы того не написали, свели все к чуду да промыслу божию. Он, Иона, написал так, как и пристало летописанию Новгорода Великого. Правду. Всегда правду! И, впадая в грех, сами ся обличали, а и величаясь, гнушались ложных изукрашенных словес. За правду паче всего возлюбил господь Великий Новгород, за правду! И казнит за умаление правды той. Увы, умалилась правда великого города! Перед последним временем живем: и знаменья небесные о том знаменуют, и стеснение человеком, морове частые, и глады, и войны...

Прежде, когда испытывали его о конце мира, Иона молчал. Неисповедимы пути господа, и не нам, грешным, знать о часе конца своего! Теперь же впервые подумал о возможном конце света со смирением и тихой грустью. До скончания седьмой тысячи было еще два на двадесяти лет, еще многие умрут и многие народятся на свет. И все же не двою ста, а всего лишь два десятка лет с малым... Или правы утверждающие, что скончанию света несть времени?

Он прикрывает глаза и видит вновь тот сияющий день, тот час пресветлый, когда, для утишения мора, собрались они, граждане новгородские, здати обетный храм * Симеону богоприимцу. Вкупе все, мало не от всего града. И лучшие люди, и простецы, и сам он в светлых ризах, во всю ночь не сомкнувший глаз, во главе своего стада, стада христова... Как сладко было зреть тогда согласие их и согласное стечение людское!

Поняли ли они? Вняли ли? Всем вместе! И мор утишился после того. Всем вместе, тогда и Москва не возьмет. А днесь опять розно, и шепоты ползут по покоям владычным, и пересуды по улицам, и вражда по концам... Господи, не отврати очей от города своего!

Нет, пусть выбор восприемника совершится божьим судом, не человеческим. Господь не ошибается в путях своих, только господь! Как выбирали по жребию владыку * Алексея, и паки владыку Иоанна, и владыку Симеона за ним, и Омельяна, нареченного Евфимием Первым, и Евфимия Великого, как избирали и самого Иону. И не отвращал лица своего господь от владык новогородских!

Вот они стоят, как в дыму колеблемом, под сводами храма, в ризах и в белых клобуках, сподобившиеся святости. Светлые слезы сочатся из-под опущенных ресниц Ионы, он слышит неземное пение иерархов, коему вторят своды храма. Пение ширится, и разгорается свет. И вот они проходят, плывут ли мимо него, и каждый тихо благословляет Иону.

Свет меркнет. В покое отворяются двери. Умирающий с трудом подымает веки. Снова Пимен, снова заботы бренного мира сего!

Пимен вопрошает, и сразу трудно уразуметь о чем, ибо в ушах еще звучит нездешний хор опочивших владык.

— Принять?..

Слабеющая память вдруг вызвала ярко образ молодого — тогда молодого! — монаха, светловолосого, с ясными серыми глазами, и его запомнившийся рассказ о новой пустыни на далеком Студеном море. Медленно раздвигая сухие морщины щек, он улыбнулся:

— Впусти! — и не расслышавшему Пимену в ухо, яснее и четче, с тенью нетерпения, тотчас угаданной и смирившей того: — Впусти же! Помоги, поправь!

Поднятый на подушках, Иона вдруг как бы ожил, пугающей Пимена силой духа победив и на этот раз телесную немощь.

Пимен ввел старца. Да, те же серые светлые глаза, но какое истончившееся жаждущее лицо! Или он уже и тогда не был столь молод, как казалось?

Старец начал жаловаться на беды, оступившие обитель, что-то говорил Ионе о настоятелях, не выдержавших пустынножительства. В хороводе лиц, отлетающем вместе с жизнью, эти неудачные игумены проходили смутною вереницей.

— Что Савватий? — спросил он, словно про живого, испугав Зосиму. И спокойно выслушал о том, как почитают могилу святого, кивая согласно. Хотелось связать зримый им лик с тем далеким, запомнившимся в мечте, и скорбный рассказ о бедах с тем, прежним, полным красоты и духовного восторга повествованием о чудесах Севера.

— Зори полуночные играют? — вопросил он без связи с тем, что говорил старец. (Ночные зори многоцветные, полыхающие, божья красота несказанная, колико важнее она всех сует мирских!) Его уже утомила беседа.

Требовалось, как понял он, подарить северной обители острова, вернее — похлопотать об этом в Совете господ. Он поманил пальцем Пимена:

— Сделай!

Пимен послушно склонил голову. Владыка задремал. Все уже было сказано, и, угадав слабое отпускающее движение руки, Пимен, вытесняя Зосиму, на цыпочках, пятясь, удалился, осторожно прикрыв за собою тяжелую дверь покоя, где последний великий владыка новгородский еще боролся со смертью, вверяя себя богу, и, как с живыми, говорил с отошедшими к праотцам владыками прежних времен.

ГЛАВА 5

— Я своей жизнью довольна. С мужем прожила век в согласии. Муж был в городе не из последних — из первых! Детьми, слава богу, не обижена: что Федя, что Митрий, нрава не робкого и собой хороши. И дочери под стать. От людей мне завсегда почет. А что колгота у нас опеть в Новом Городи, дак без того и жить скучливо станет!

Подруги стояли у стекольчатого окна вышней горницы, обведенного по краю свинцового переплета цветной мозаикой сине-голубых мелких узорчатых стекол. Широкая, осанистая Борецкая и все еще стройная, несмотря на

годы, Онфимья Горошкова — выцвели брови, покраснели и как спеклись, покрылись морщинками щеки, но в строгом овале лица с прямым, греческого письма носом еще угадывались следы былой иконописной красоты.

Онфимья зашла по делу: общий обоз отправляли в Обонежье. У той и другой вдовы села были смежные по Водле, дак уряжались. И уж от дел, согласно выбранив Настасью за гордость и вечные недовольства, и до жизни дошли.

— В байну нонь походишь? — спросила, погодя, Онфимья.

Борецкая кивнула головой:

— Людей отпущу только!

Внизу, на дворе, грудились мужики и жонки, иные с детями.

— На Двину посылашь?

— На Двину.

— Многие нонь выжидают, опеть от Москвы угроза ратная!

— Волков боятьце, в лес не хаживать! С осени привезти, зимой замогут лес возить, кол колить, хоромы рубить. В весну уж и пахать и сеять зачнут. А держать тута до снегов да кормы зря давать — с какого прибытку! Опеть зимой везти: детные детей познобят дорогой. А Двины постеречь князь Василь Василич послан с ратными!

— Заезжал?

— Как же, простились! Не первый год домами знаемся с ним.

— Мой-то Иван был давеча у твоего. Хватит ли сил-то?

— Должно хватить. А не хватит — Литвой заслонимсе.

Онфимья вздохнула. Перемолчали.

— Ну, прощай, Марфа. Хоробрая ты!

Подруги церемонно поклонились одна другой, потом расцеловались сердечно.

Проводив Горошкову, Борецкая вышла к мужикам, что переселяла за Волок. Осмотрела придирчиво каждого.

— Тебе поправитьце ле, Степанко?!

— Бог даст, государыня Марфа, отойду, выстану!

— Мотри! А то во двор нанимайсе, цего ни то...

— Как будет милость твоя, а только уж... Мне ить одна дорога! Другояк — в холопы, да и то — кто возьмет?

— Земли хоцешь? Сиверко тамо! Детей не помори.

Ключнику накажу, корову дает. Только подымессе ле? Как ты, такой, косить будешь?

— Баба пособит.

— Баба-то тяжела у тя!

— Бог даст, скоро опростаетце, мы ведь привыцны, всего навидалисе! — он мелко засмеялся, обнажая съеденные желтые зубы, затрясся, кашляя.

Баба, до того молчавшая, с бессмысленным выражением лица, полураскрыв рот, глядевшая на боярыню, тут вдруг ожила, засуетилась, шмыгнула носом и неловко, из-за вздернутого под саяном живота, повалилась на колени:

— Смилуйсе, государыня!

— Будет! Встань! Сказала уже. Слова не переменю. Куды хоцешь, молви?

— На Вагу... Любо на соль... — неуверенно, сам пугаясь своей просьбы, пробормотал Степанко.

— На соли не выдюжишь! — решительно отвергла Марфа. — Рыбу не заможешь ли ловить?

— Как будет твоей милости...

— На рыбу пошлю! На море. Кто у тя ищо? Дедушко? И он тамо сгодитце. А малец твой?

— Мой, мой, наш! — опять замельтешился Степанко, хватая малого за плечи и подталкивая вперед. Мальчонка, лобастый, курносый, тонкошеий («Эк, он всю семью приморил!» — поморщилась Борецкая), дернул головой, исподлобья недобро глядя на боярыню («Волчонок!»).

— Шапку, шапку сыми! — пугаясь, прикрикнул отец, сам стаскивая с того истрепанный малахай. Малец вырвался и вновь нахлобучил рванину себе на голову.

Марфа глядела, прихмурясь.

— К работе приуцаешь ле?

— Холопом не стану! — угрюмо, ломающимся звенящим голосом, ответил паренек. — На Волгу ушкуйничать уйду!

— В ушкуйники нынце не ходят. Московский князь пути не дает. Поздно ты родилсе, на век припоздал! — ответила Марфа с неожиданной для самой себя просквозившей добротой.

Малец сторожко, неуверенно улыбнулся, ямка сделалась на щеке. Чем-то напомнил маленького Дмитрия.

— Не-е-е... А дядя Федя бает!

— Кто ж луцше знат, дядя Федя твой али я?! — чуть возвысив голос, ответила Марфа. Повела бровью. — То-то!

Рости. Отечь, смотри, из силов выходит, а ты — на Волгу... Оглупыш!

Марфа переглядела остальных, задержавшись глазами на одной молодой паре. Таких вот любила боле всего: мужик и ладный и умный, видать по лицу. Оглядела прищурясь, любуясь. Молодец! И жонка под стать.

— Плотничаешь ле?

— Я и кузнечное дело знаю!

(«Мастер!»)

— Детей нету?

— Ужо! Наше от нас не уйдет!

(«Такого хоть тут оставляй!»)

Мужиков увели. Марфа еще помедлила у крыльца, потом прошла калиткою в сад. Отсюда, с косогора, из-за вершин яблонь, был хорошо виден вымол, где кипела муравьиная работа поденщиков. Пересчитала корабли. Ключник подошел, стал сбоку, чуть назади. Полуобернувшись, Марфа увидела его хищное, с крючковатым носом, жесткое лицо. Укорила:

— Медленно грузят!

— Наймовать об эту пору некого... — ответил тот хмуро. Сам знал, что медленно.

— К Покрову нать управитьце со всем!

— К Покрову навряд...

— По сколь выходит у тебя за лодью?

Ключник назвал цену.

— Дружиной работают? Старшой есть ле?

— Как не быть!

— Дак ты и сговори с ним! Плати ети деньги артели за всю лодью, сдельно, пущай хоть в полдня нагрузят! Им выгода и мне тож!

Ключник склонил голову, злясь на себя (такого простого и не додумал!).

— Нынце ж и объяви! — приказала Марфа. — Цто еще?

— Демид приехал, ждет... — угрюмо вымолвил ключник.

С Демидом, холопом Марфы, что ведал в Кострице полотняным промыслом, у них были давние нелады. Иев Потапыч, ключник, никак не мог понять этого на диво сметливого и легкого что видом, что норовом мужика. В особенности его усердия: чего надо дурню? Добро бы вольный, а то холоп, и получает-то никакие там великие доходы! К тому примешивалась и ревность. Борецкая хоть и держала в строгости, а любила Демида. Вот и сей-

час тотчас пошла к нему. Иев тяжело посмотрел вслед боярыне и направился к пристани. Приказов своих Борецкая не забывала никогда.

Марфа прошла в гостебную избу, где ее ждал Демид со своим товаром. Слуги носили полотно, штуку за штукой (Демид только что прибыл). Марфа уселась на лавку, спросила:

— Поисть-то успел?

Демидкино полотно было особое, тонкое, не хуже голландского привозного. Такое еще только в Липне делали. Штуку, размотав, можно было сквозь перстень протянуть. И шло это полотно целиком для себя, для дома. Марфа глядела, мяла и разглаживала ткань. Работа была хороша, цены нет Демиду! Даром что холоп и получает втрое меньше того, липенского мастера, что из вольных. А работа, почитай, лучше еще! Демид, юркий, остроглазый, в легкой солнечно-рыжей бороде, подскакивал воробьиным скоком, бойко пояснял, походя. Называл мастериц, сам любуясь товаром. Марфа хвалила от души.

Осмелев от похвалы, Демид решился высказать заветное, что его давно мучило.

— Государыня, Марфа Ивановна, дозволь слово молвить!

— Ну!

— Вот ты хоть, будь не во гнев, хоть другие великие бояра. Мелким доходом не займуетесь, только что для своего двора идет, и ладно. А с немцами вся торговля заморским товаром да сырьем: скора, да воск, да лен, да зуб рыбий или иное что. С волосток опеть хлеб да деньги, али белка заместо прочего...

— Дак чем плохо, что я господарский доход на деньги перевожу? Это московськи князья копят лен, да сало, да мед, у иного из княжат на сто рублей добра портитце в анбарах, холсты гниют, рыба тухнет, скору моль потратила, а сам у холопья своего три рубля денег займует: в поход пошел, а не на что сбрую купить. А и мелкому купцу в моих волостях доход. Вон сколь их по осеновьям наедет!

— А хорошо бы и нам во своих-то рядках лавки заиметь, не с одними немцами дело вести!

— Что мне прикажешь, селедками вразнос торговать? — спросила Марфа сочным молодым голосом, трепещущим от внутреннего смеха. («Надумает же Демид!») Видя, однако, что боярыня не гневается, Демид заговорил бойчее:

— Мелкий купец почасту вразнос от немца торгует. Привозим из-за рубежа и сельди, и соль, и сукна. Купец перепродаст, а лихва серебра идет за границу. С кого то серебро? С черных людей! Бояра будут богатеть, народ беднеть. Потом с кого взять будет? Своего товару надо делать больше! Сукно ввозим, шерсть вывозим, а могли бы добрые сукна ткать! Иной дорогой товар у них лучше, а почему? Наше вот полотно не хуже голландского, дак только во своем хозяйстви дёржим. А кабы дело-то поднять, да рынок свой, куда крепче бы стало! И серебро не уйдет, и за рубеж прибыльнее не лен возить, а готовое полотно, и черный народ к нам тогда больше привязан будет!

— Тебе дай волю... — протянула Марфа неопределенно, не то осуждая, не то одобряя, и остановилась. Увидела глаза Демидовы. Не жадные, нет, а голодные. А ведь он и не для себя старается! Мастер!

— Ладно, ступай, Демид! Трудное дело предлагашь. Придумал хорошо, а делать некому. Лодью тебе сегодня же и нагрузят, в ночь отправь. А сам задержись, на коне уедешь!

К себе Марфа поднималась боковым ходом. Редко хаживала тут. Рассохшиеся за лето ступени поскрипывали под ногами. Поморщилась: надо наказать Проньке, пущай поправит. А то словно разваливается терем! Не по нраву было, когда скрипели ступени. Любила все прочное, крепкое, тяжелое, яркое, сработанное так, чтобы в вещи виден был мастер и гордость мастера — талан; в делах — разворотливость, в хозяйстве — размах и умное береженье, в узорочье — хитрость, в письме иконном — властный красный цвет. Тож и в хоромном строенье — недаром двор ее славился лепотою среди всех прочих в Новгороде Великом.

Подымаясь, Марфа опять вспомнила мальчонку, что хотел в ушкуйники. Усмехнулась: «Волчонок! Поди, моря-то не видал и не знает, како оно. Тоже будут дивитьце весной, что солнце над морем не закатаетце!» Вспомнилось, как молодой боярыней, девочкой большеглазой, впервые приехала на Север, как муж подавал руку, усаживая в лодью, а на берег несли ее на руках... Белое море, полюбившееся с той поры навек! Камни словно висят в прозрачном, до белизны, воздухе, и не поймешь, где начинается небо: по всему окоему серебряные пряди, как на старой, промытой досиня парче, и тишина!

А как жаловали их свои насельники и холопы, при-

нимали с поклонами, угощали от души. В тесовой, выскобленной горнице — чистые полотенца, пироги кругом стола, в братинах репница — репный квас, уха из красной рыбы...

А еще прежде, когда плыли в Неноксу, и кормчий, стройный, просторный в плечах молодой мужик, слегка подшучивал над закуражившимся, вполпьяна, мужичонкой, как потом поднял Марфу на руки, ступая в воду в высоких, под пах, броднях из шкуры морского зверя, и так легко поднял ее, что почуяла — ничего ему эта ноша! И так удобно, неопасно оказалось на этих руках, что на миг закружилась голова — море Белое! Снес, поставил, так же легко, бережно, будто птицу или дитя держал у груди. И глазом не повел: что великая боярыня новгородская, что своя поморская жонка — так же выносят из лодей на руках... Море Белое, серебряной парчой затканное, ясень несказанная! В Неноксе, над морем, поставила Марфа церковь святому Николе, шатром чешуйчатым таявшую в чистом небе. А потом, уже после смерти мужа, посылывала городских мастеров иконного письма подписать иконостас для той церкви. Отдарила красоту красотой.

Где-то теперь тот мужик?

Олимпиада, Олимпиша, Пиша по-домашнему, старая служанка Марфина, кинулась, захлопотала: ожидала боярыню с красного крыльца.

— Не мельтешись, старая! — остановила ее Марфа. — Байна готова?

— Готова, государыня моя!

— Девку пошли со мной какую. Опросю хоть. Да накажи Проньше любо Нестерке Грачу, пущай ступени покрепит по тому ходу. Пимен когда будет?

— Ввечеру.

— Добро.

Ну, кажись, все. Можно походить и в байну!

Баня была высокая, светлая. Полок, с приступками и подголовьем, кленовый, скобленый, изжелта-белый. Сажу с подволоки только что обшаркали девки, и пар стоял вольный, без горечи, густой, пропитанный настоем пахучих трав: богородской травы, шалфея и мяты.

Марфа раздевалась не торопясь, предвкушая удовольствие. Сенная девка, Опросинья, помогала снимать тяжелый саян, кинулась бестолково разувать. «Цего сует-

титце?» — недовольно покосилась боярыня. Кабы раньше улыбалась, то теперь принахмурилась, но и преж и теперь лицо Марфы было строго-спокойно, только чуть дрогнула бровь, — может, просто от усилия развязать завязки повойника, — чуть дрогнула бровь, но девка тотчас испуганно утупила глаза долу.

Оставшись в сорочке, Марфа расплела косы, повела полной шеей, рассыпала волосы по плечам — густые еще! Опустила сорочку. Нежась, отдыхая, постояла нагая. Огрузнела, конечно, а не стыд еще и посмотреть! Некому теперь. Год назад и Василий Степаныч умер... Что-то нынче опять стала почасту его вспоминать. Прижмурилась, представила молодого Ивана Своеземцева, его медленно расцветающую улыбку. Мог бы быть сыном! Робковат... Ну, за другими тянется. Отец был не такой! Марфа разомкнула яхонтовое ожерелье, поморщилась уже открыто на девку, что замоталась, запуталась в рубахе, опоздав разоболочиться, — эка нерасторопная! Зачем и взяла с собой! Уже не ожидая, отворила дверь и через высокий порожек, пригнувшись, вступила первой в жар бани, словно в горячее молоко.

Париться Борецкая любила. Иной раз и двух девок брала парить, в два веника. Отдыхала телом и мыслям давала отдых. Потому не сразу и поняла, что содеялось, когда девка стала валиться, оползать, ткнулась лицом в распаренный бок боярыни.

— Ты цего? Аль больна цем?

(«Вот дура, баню порушила!»)

Девка жалко глядела снизу, силясь сдержать тошноту. И девка-то с виду здоровая, в теле, живот-то не тощой... Постой-ко! Соскочив с полка, Марфа властно развела девичьи руки, прикрикнув, ощупала, как щупала огулявшихся овец во своей важской боярщине. Людей попервости было мало, все приходилось делать самой. Девка и глядела точно овца, жалобно-покорно... Так и есть! Пото она и разоболокалась мешкотно. Вот бы на кого не подумать!

— Кто? — спросила-приказала. («Оженить нать, пока не поздно!»)

— Ди-ми-и-трий... — в рыданиях выдавила девка.

— Кто? Какой?!

— Митрий Исаковиць, — повторила та совсем тихо и затряслась мелко.

Марфа отвалилась к полку. Справившись с сердцем, черпнула холодной воды, обтерла лицо. Вот беда так бе-

да! Дмитрий... Короб (вспомнила свата). Капа знает ли? Срам!.. Выдохнула наконец:

— На Двину пошлю, нынце ж!

Девка завыла протяжно, подползла, охватив, стала целовать ноги:

— Смилуйся, Марфа Ивановна, родненькая, золотая, государыня светлая!

— Пусти! («Так же, поди, Дмитрию ноги целовала!») Ладно, не скули, в Березовец пошлю любо в Кострицу — будешь тамо белье ткать, пòртна!

Девка замолкла. Всю ее колотила дрожь. Немое трепещущее горе — ледышкой, а в уме: все ж таки не на Двину, все ж таки Дмитрий Исакович может приехать...

— На, ополоснись холодянкой да бери веник! — строго приказала Марфа.

Домывалась не спеша, но уже не было безмысленного покоя и банной неги. Про себя последними словами ругала то девку, то Дмитрия, то Капитолину — тоже жена! Не столь намылась, сколь расстроилась вконец.

Пиша, увидя непривычно злое после бани красное лицо госпожи, не сразу и в толк взяла, услышав приказ про Опросинью. Чем не угодила? Да чтоб за малый грех какой высылать — того за Марфой Ивановной не водилось! Али что другое? Приглядевшись к девке, когда увела к себе, начала догадываться. Выспросила.

— Непраздна я! — повинилась Опросинья. — От Митрия Исаковиця... — И съежилась, увидя, как построжело лицо у Олимпиады Тимофеевны.

— Ты, глупая, молци о том! — сорвавшимся голосом прикрикнула та на девку. — Не смей никому сказать! И я о том не слыхала, помни! И помолись богородице, что в Кострицу посылают, не куды дальше! Сиди пока тут, у меня, замкну я тебя для верности. Хошь, — повались, отдохни пока...

И Пиша неожиданно всхлипнула.

Марфа все не могла прийти в себя. Утирала лицо тонким домашним полотном. По полотну вспоминала Демида. «Пущай и примет девку! Накажу, чтоб языки-то не чесали больше. Нать было на Двину послать! Ну уж слова не переменю...»

Сердце сильно билось, и лицо все вновь и вновь становилось влажным.

Обед прошел молча. Дмитрий отсутствовал. Федор осекся, взглянув на мать. Олена, та попробовала было рассмеяться, — не знала после, как и усидеть за столом.

Оба видели, что мать закипает, и терялись в догадках. Гроза, отравившая и дичь, и пироги с севрюгой, и хрусткие иноземные сладости, так и не разразилась. Обед окончился в тяжелом молчании. Только уходя, Марфа жестко бросила:

— Дмитрия — приедет — ко мне!

Брат с сестрой удивленно переглянулись, Федор вопросительно, Олена сделала круглые глаза: не знаю, мол, ничего! Оба вместе поглядели на золовку. Но Капа только надменно повела плечами да вздернула нос — ваши дела, сами и разбирайте! Федор лишь по уходе матери вспомнил, что он взрослый мужик, женат, ожидает первенца, и насупился. Пошел стрòжить слуг, сердце срывать.

Дмитрий приехал от плотничан взбудораженный, горячий — эдакое дело начинало поворачиваться в руках! Весь Новгород — шутка! В плечах словно силы прибыло. Прошел к матери с одной мыслью давешней — о деньгах.

Марфа сидела, откинувшись в резном кресле, с лицом как осенняя ночь, так что Дмитрий осекся было.

— Сказывай преже, с чем пришел! — приказала она сыну. Помедлив, указала на лавку: — Садись! — Все же мужик, не парень, на ногах держать не след.

Выслушала молча, не прерывая. Долго молчала потом, все так же мрачно глядя на старшего сына. Сказала наконец тяжело, глухо:

— Опросинью я в Кострицу отправляю. До ночи увезут. Хорош!

Дмитрий вскочил бешено:

— Где она?!

И — уперся взглядом в мрачные глаза матери. Тишина повисла, как топор. Сын первый отвел глаза, отступил, передернул плечами:

— Быль молодцу не укор!

— Не укор?! Седь-ко! — почти крикнула Марфа.

— Мамо...

— Цто, мамо? Да, я мать! А ты кто? Борецкой али из этих, что кудрями трясут? Жона не пòлюби? Куда преже смотрел? Не неволила! Сын ростет! Не укор... А Яков узнает? Кто старейший посадник в Неревском конци, тесть твой али ты?! Знашь, что она тяжела от тя? Капитолине подаришь? Али на дворе держать, чтобы кажный кивал? Сидел бы тогда с бабами, подчищал им... Уж коли с Москвой затеял, дак о своем личном полно

думать! За власть люди головы кладут. Я, баба, и то ни разу постель свою не закастила. Тьпфу! — Марфа задохнулась и долго не могла отдышаться. Дмитрий сидел, глядя в пол. — Капа-то знат? Догадалась, поди?! — спросила она спокойнее. Дмитрий пожал плечами, поднял глаза и вновь утупил долу. — Дак что тебе дорого, власть али похоть женская, то и выбирай! Ведал бы отец-покойник... Дура я, что замуж тогды не вышла за пана Ондрюшка! * Только вас ради... — голос у нее зазвенел и пресекся.

— Мамо!

Оба замолкли и так и сидели, мать и сын, друг против друга, не глядя один на другого.

Погодя Дмитрий все ж таки спросил угрюмо:

— Где она?

— Сидит у Пиши, замкнута, — устало отозвалась Борецкая. — Хоцешь, сходи, простись. А мой тебе совет: и не прощайсе, не нать.

— Хорошо, мамо.

— А про деньги знаю. Киприян Арзубьев давеча то же самое говорил. Без денег не знают, кто им люб — Москва, Литва ли. Тысячу, говоришь? Много! Ладно, поговорю с Пименом. Окроме владычной казны, такие деньги взять негде.

— Да, мать, — вспомнил было, уходя, Дмитрий, — твой-то Зосима у Ивана Лукинича был и у Глуховых тоже. Давеча запамятовал тебе передать!

— Ладно, моя печаль. Спасибо, что сказал.

Отпустив сына, Борецкая на минуту утомленно прикрыла глаза. Ей еще предстоял трудный разговор с Пименом. Нахвастала детями, накликала беду... А и в делах не лад: славляне ждут да выжидают, в плотниках неспокойно. Опять новое чудо: в Евфимьевом монастыре от иконы богородицы слезы текли. Не Захарья там чудеса творит? Али игумен онтоновской?

Ежели станет архиепископом Пимен, поедет ставиться у литовского митрополита, хорошо ли то? Как бы нужен Василий Степаныч! Про себя все не могла называть покойного Варлаамом. Иногда поблазнит — стоит, как живой, или голос слышится — хоть кричи. Не за пана Ондрюшка, седоусого красавца, что сватался к ней тогда, десять годов назад, вышла бы она замуж, кабы иная судьба... Нет, не за пана!

Борецкого Марфа уважала, гордилась Исаком Андреичем. Муж был на двадцать лет старше ее. Когда муж, когда учитель, наставник. А с Васильем Степанычем они

были, почитай, в равных годах. Он весь был светлый, яркий, ярый. В двадцать лет — степенной посадник, в Совете вершил со стариками, и слушали его первого. Посольские дела ведал лучше всех. Ездил в Москву к Шемяке, Дмитрию Юрьевичу, спорил с тверским князем, рубился под Русой. И вдруг круто поворотил своею судьбой. С той же страстью, с какою брался за всякое дело, отдался духовному подвигу. У себя, на Ваге.

Там, на Ваге, и познакомились. И все в нем нравилось ей. И как он, молодой, обличал неправедный суд, говорил о том, что государство крушится, когда его законы менее справедливы, чем обычаи и нравы простого народа: «У нас мужик уедет, избу не запрет, взаймы один у другого емлют без грамоты и отдают всегда по совести, а тиуны да приставы новгородские и по грамотам чужое добро емлют. В суде кто силен, тот и прав!» Они спорили тогда с Исаком Андреичем, и Исак Андреич, старший, относился к Василью как к равному. Нравился Марфе его голос и взгляд, нравилось и его презрение к богатству, которое Своеземцев имел и, более того, умел создавать. Нищих проповедников, что развелось в Новгороде, презирающих «блага земные», Марфа не понимала, брезговала даже, да и не верила им: неумехи и притворы! Нехитро презирать то, чего тебе не дадено! А Василий, тот был как-то выше весь, не уходил, пятясь, а за собой оставлял.

И читать навыкла от него. То была все в хозяйстве, к которому имела вкус с ранних лет, а вот летописи читать или Амартола *, да рассуждать, да сравнивать минувшее с нынешним — этому научил Своеземцев.

Уже когда познакомились, Василий Степаныч был женат, и ни слова, да и ни взгляда не было меж ними, такого — ничего. Он был выше этого, и она бы себе не позволила: мужняя жена!

Однажды только... Они стояли вдвоем над обрывом, над Вагой, он впереди, она назади, всего в полшаге за ним. Внизу рубилась новая церква, шатром, белая, и вокруг нее было бело от щепы. За рекою раскинулись орамые пашни, а за полями густели и синели до самого края леса. И облака, как белые корабли, наплывали из дали далекой бесконечною вереницей по безмерному окоему неба. И он говорил, не оборачиваясь, не глядя на нее, говорил прямо в отверстое небо, с гневом и болью изливал душу свою.

— ...Добились! Каждый боярин стал посадником! А по

волостям наезды и поборы и грабежи от своих же ябедниц и позовниц. От голода дети мрут на торгу, гражане иноземным гостям, жидам да бесерменам из хлеба себя продают! В селах вопль и стенания от нашей неправды! Верно писано: стали мы притчей и посмешищем соседям, сущим окрест! И кто не проклянет старейшин нашего града, зане нет в нас ни милости, ни правого суда? Исак Андреич думает, что-то можно изменить, взяв власть. Ну, он добьется своего, уже добился. Кому достанется его власть после смерти? Как тот распорядится властью? Даже не знает, сыну ли, невесть кому передаст! Знает лишь, что великому боярину, только это! Колесо!

— Что? — переспросила она, не поняв.

— Колесо, говорю! Обернется колесо, и те спицы, что внизу, станут вверху. Когда во главе страны горсть господ, имущих власть безраздельную, но причем никто из них в отдельности не ответствен за неудачу власти, то такая госпо̀да скоро погубит страну и погибнет сама. Так же, как пал Царьград от неверных, когда вельможи его усобицами истощили землю свою...

Василий Степаныч как-то первый узнал в ту пору о взятии Царьграда безбожным Магметом *. Достал повесть, что привезли на Русь греческие попы, и читал у Борецких. И дивно и горестно было слушать про тысячи убиенных, про тщетное богатырство стратига Зустунея * и самого царя греческого и конечное жалостное падение преславного града.

И в тот памятный день, стоя над рекой на круче, под небом в чередах бесконечно наплывающих облачных парусов, говорил Василий о том, что Русь одна осталась оплотом православной веры, и еще многое, и о судьбе, и о том, как надо понимать конец мира... Иное было непонятно, но жарко кружилась голова, и — сделать шаг, стать рядом, и так идти вместе до края неба, до конца дней!

Она не сделала этого шага ни тогда, ни после. Когда овдовел Василий Степаныч, был жив Борецкий. Когда умер Исак Андреич, Василия Степаныча уже не было, был инок Варлаам, удалившийся от мира...

Молодые нынце понимают ле, что оно: долг? «Быль — не укор!» А долг? А крест, от рождения данный? А правда? А бог? А Новгород?

Тогда, в пятьдесят третьем, когда король Казимир с лестью присылывал, они не согласились, и Василий Степаныч тоже. А сейчас?

— Нет другого пути у нас, Василий, нет!

Но тогда и поставление Пимен должен принять от литовского митрополита, а значит, все толки о том, что они отступают от православия... Как ей решить, как вести себя в тягостном разговоре с Пименом? Он, Василий, один мог посоветовать, остеречь, направить. Он — в земле.

Пимена Марфа приняла в том же своем особом покое, тесном от дорогой утвари, где разговаривала с сыном, подале от лишних глаз.

Окна были уже занавешаны тафтяным покрывалом, зажжены свечи ярого воску в кованых высоких ставниках. В их легко колеблемом свете мерцали кованые чаши новгородской работы, серебряные узкогорлые кавказские кувшины и поливная персидская глазурь на полице, мерцал тяжелый полог из той же пестроцветной тафты над резной кроватью, скрывавший пышную постель боярыни с грудою подушек и соболиным одеялом. Пламя свечей отражалось и в жженных золотом узорах на кружевной железной оковке дубовых и кипарисовых сундуков, золотило изразчатую муравленую печь и украшенную самоцветами скань древних окладов небольшой палатной божницы. По стенам стояли, кроме того, расписные закрытые поставцы с книгами, а близ постели — точеный налой для чтения и письма. Читала Борецкая обычно вечерами, отходя ко сну, и потому книги держала у себя, в спальном покое.

Марфа сидела в своем резном выгнутом кресле, кутаясь в невесомый широкий плат, привезенный из индийской земли. Другое резное кресло ожидало Пимена. На стольце перед нею стоял уже приготовленный столовый прибор на двоих из тонкого черненого серебра, серебряные двоезубые вилки, лжицы и ножи с костяными рукоятками в виде рыб, мед и малиновый квас в кувшинах, засахаренные фрукты, тонко нарезанная копченая севрюга на тарели, масло, хлеб, сыр, свежая морошка и яблоки. Подавала, тоже чтоб избежать лишних глаз, одна Пиша.

Пимен вошел стремительный, невесомый. Благословив боярыню, уселся в предложенное кресло. Ополоснув руки под серебряным рукомоем, приступили к трапезе. Закусывая, всесильный ключник зорко приглядывался к Борецкой — чем-то озабочена!

Сперва перемолвили об Ионе. Владыка не вставал,

но все не хотел умирать и о сю пору, уже на одре смертном, не мог решиться назначить Пимена восприемником. («А ежели и не назначит? Нет, быть того не должно, не может Иона пойти на такое! Ведь не пораз уже и оставлял за себя Пимена. Все дела сейчас ведет всесильный ключник. Захоти, и то — некого боле!»)

— С королем литовским как порешили бояре? — спросил Пимен, остро взглянув на Борецкую.

(«Да, некого больше! А Пимена не нужно и уговаривать. Сам рвется к власти. Сам враг Москвы. Пимен — друг».) Марфа ответила просто:

— Молодым сказано. Приняли. Старейших сама соберу. Надо, чтобы вече решило, и черные люди...

— Деньги? — понял Пимен.

— Да.

— Много?

— Селезнев с Арзубьевым говорят: тысячу рублев.

— Владыку не уговорить... Придется брать своей волей, мне самому, из софийской казны!

— Будущему архиепископу проститце!

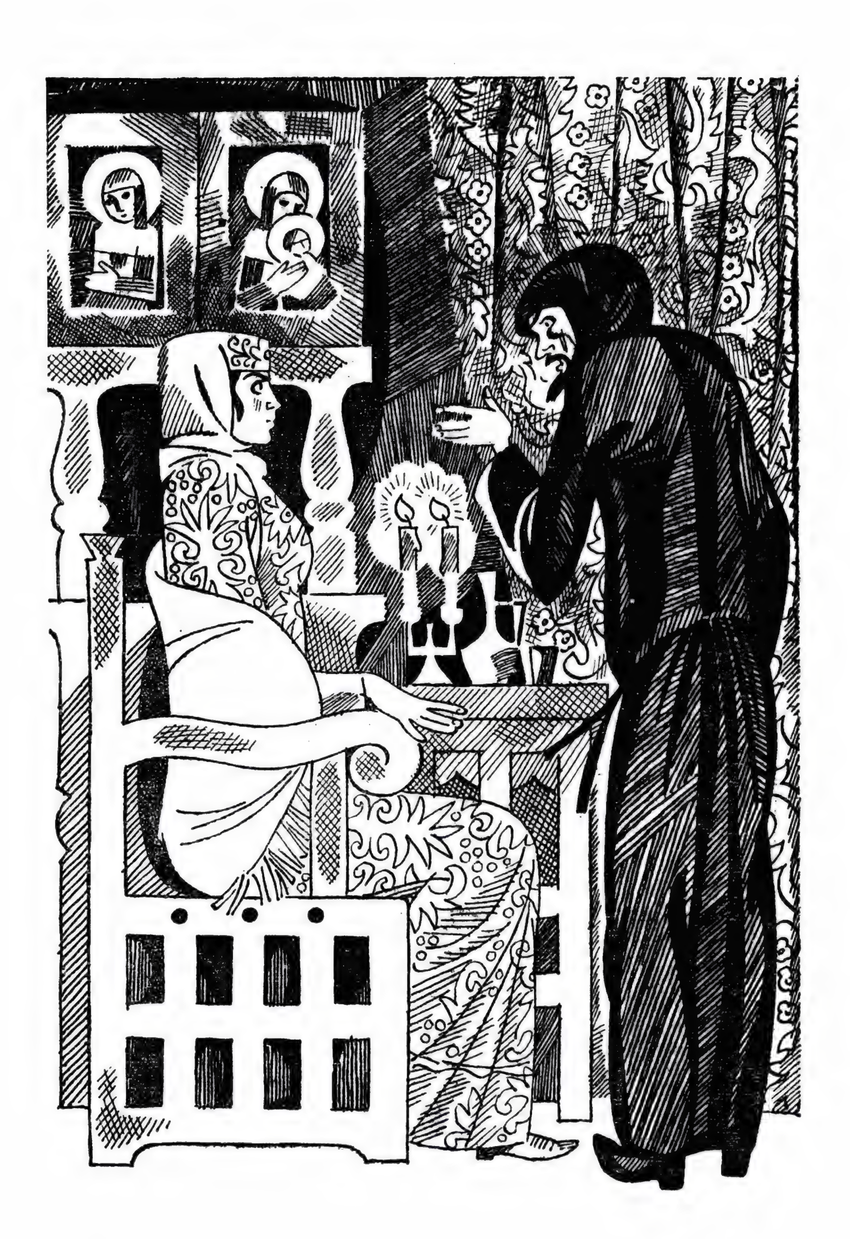
— А ежели нет?

(«Боишься!» — подумала Марфа, усмехаясь.)

— Все мы один жеребий мечем: паки ли московськой меч, а наши головы! Митрополита Филиппа послание * чла, — возвысила голос Марфа, выпрямляясь в кресле. — Обвиняет нас в отпадении от истинной веры! Ты-то что скажешь?

Глаза Пимена загорелись темным огнем:

— Истинная вера! Московская митрополия в руке великого князя, что тот скажет, то и будет! И о Флорентийском соборе не митрополит, а Василий Василич решал *. Доколь был Григорий митрополитом волынским и киевским, пото был Литве митрополит, а ныне митрополитом русским наречен от самого патриарха цареградского! А и сама церковь новгородская издревле истинного православия свет поведает! Еще апостол Андрей, пребывая в пределах северных * и дивяхуся баням новгородским, предрек величие духовное не московской, но нашей земле! София новгородская первой после Софии киевской созиждена. В ней же имамы гробы князей великих, Владимира Ярославича * и инех, одержавших и боронивших землю Русскую, а такоже чудотворящие гробы иерархов преславных! Чем была Москва и чем был Новгород при Великом Владимире, иже крести землю Русскую, при великих князьях — Ярославе и Мономахе?



Достоит и то спросить, законно ли, что митрополит русский не во Владимире, а на Москве вселилсе? Архиепископ Василий ризы крещатые и белый клобук получил от самого патриарха цареградского, и владыка Моисей тож! *

— Послание митрополита Филиппа читают по церквам? — вопросила Марфа.

Пимен насупился. Невзирая на его прещения многократные, послание Филиппа все же чли, и ропот в простецах, не искушенных в тайностях богословия, возбуждался.

— Еще с тем приидох, дабы пособила обуздать мирскою властью тех попов, что власти духовной не приемлют и к нашему увещеванию глухи! — отвечал Пимен.

Он назвал особо дерзостных, и Борецкая обещала добиться, чтобы им перестали давать ругу — жалованье от города.

— За прилежание к Москве пущай Москва и платит, а не Господин Великий Новгород!

— Еще хотел сказать о Зосиме, старце соловецком.

Марфа усмехнулась недобро:

— И у тебя был?

— Был и у самого владыки, был и у иных многих! Архимандрит Феодосий молит за него.

— Он-то почто?

— Монастыри — опора дома святой Софии *. Многие из тех, кто утеснитель был монашеству, под старость приют находили в утесняемых ими обителях! Не одною властью, но и верой утверждается Новгород!

Марфа молчала.

— Не одни духовные лица, но и бояре многие сим озабочены! — прибавил Пимен.

— Захария, поди?

— И Захарий Григорьевич тоже.

— Захарий любит дарить, коли не свое! Поди, и весь Новгород Ивану подарит, свои бы вотчины оборонить!

— Во дни, когда нужно единение граду, отпихивать от себя обители божьи неразумно! Архимандрит Феодосий стоит за хиротонисанье Зосимы. Когда же сей станет игуменом Соловецкой обители, достойно ли его отгонять от порога?!

— Иван-то Лукинич что сказал ему?

— Как владельцы земель решат.

— Ин добро, что без меня мое покуда дарить не хотят!

— Мой кроткий совет — примириться! Всякий дар церкви угоден господу! А деньги будут. Возьму своею волей из софийской казны.

— Ладно, подумаю. Может, и созову на пир. («Выходил свое, «угодник»! Захару, и тому угодил!»)

— При великом деле и малый камень на пути помеха. Лучше с дороги убрать, чем споткнуться о него! — прибавил Пимен, подымаясь.

Перед сном Марфа прошла в иконный покой, помолилась: «...Дух добр созижди во мне и очисти разум мой от всякия скверны, и гнева, и нелюбия к ближнему своему...»

Уже укладываясь в постель, она придержала Пишу, помогавшую разоболокаться.

— Что, государыня моя?

— Опросинья еще у тебя?

— Отослали.

— Митя не был у нее?

— Нет, Митрий Исакович уехал до того и не возвращалсе.

(«Хоть тут-то послушался матери!»)

— Ты, старая, тоже за старца? Говори правду!

— А как сказать! Старец божий, грех ить прогнать от порога, нищего не гоним!

Марфа тяжело вздохнула, поворотилась в постели, подумала: «В самом деле, грех! Жалко, а придется подарить острова...»

ГЛАВА 6

Отвезти Опросинью в Кострицу приказано было Тимофею, Тимохе Язю, одинокому мужику из дворовых, которого и до того почасту посылали то туда, то сюда с разными поручениями.

Тимоху вызвал ключник, Иев Потапыч, и угрюмо приказал:

— Собирайся! Лодья идет в Кострицу, едешь. Девку свезти нать, Опросинью, со сеней. Мотри, сторожко вези! Тамо Демиду сдашь. И вот ето, куль тут. Да ищо возьми у Сидорки сбрую и седло, да зендяни постав, да два куля с товаром, то все в Березовец. Грамотку самому Окинфу отдай, ключнику, в его руки!

Тимоха рад был поручению. Развлечение, да к тому же оттоль было рукой подать до его родной деревни, и, хоть ему и велели никак не задерживаться, он решил,

что уж дома-то, у родной тетки, материной сестры, побывает беспременно.

Девку, зареванную, замотанную по-дорожному в плат, вывела к Язю сама Олимпиада Тимофеевна. Еще раз наказала беречь дорогой и передала увесистый сундучок с рухлядью, а также четыре гривны серебра на первое обзаведение Опросинье. Еще гривну Олимпиада Тимофеевна вручила самому Язю:

— Поберегай девку, Тимоша. Бог тебя наградит за все!

И вот они уже плывут, подняв желтоватый холстинный парус. Пахнет смолой и речной сырью, северный ветер холодит спину, и мимо и назад уходят башни и терема Новгорода, хоромы и церкви Городца, величавый Юрьев, сады и леса, золотящиеся березки, красные осины, Перынь *, в окружении извитых, заклятых еще богом Перуном сосен, и все шире, все неогляднее открывается впереди, обнимая лодью, простор Ильменя.

Тимофей пробовал заговаривать с девкой, но она отмалчивалась, неотрывно провожая взглядом далекий, уже не видный златоверхий терем на круче, заслоненный башнями Детинца, снова было выплывший малой сияющей точкой и вовсе погасший в тумане. Мимо, то отставая, то обгоняя их, плыли малые и большие паузки и учаны. Корабельные переговаривались друг с другом, и Язь, скоро оставя девку в покое, стал глядеть по сторонам, а там завел речь с лодейником о погоде, о том, что стало ждать дождей, что сено уж все убрано и теперь дожди как раз нужны, смочить озимые. Пожилой лодейник, однако, тоже не мастер был баять; мужики-гребцы, их было четверо, кто занимался своим делом, кто улегся спать, благо ветер работал за них, и Тимоха, исчерпав все темы разговора, тоже улегся на мешках, мерно покачиваясь в лад судну. Он еще раз сделал попытку привлечь внимание девки, предлагая повалиться рядом с ним, но, не добившись ответа, окончательно оставил ее в покое и задремал.

Опрося сидела недвижимо. Солнце низилось. Вот оно пролилось красными лучами по сизым облакам, погорело и закатилось. Только по-прежнему булькала и шипела вода, огибая борта, и струи бежали и бежали, свиваясь за кормой, так что от их бесконечного вращения кружилась голова.

Пустота. Огромное спокойствие и тишина. Будто прежде всю ее били, били и все грохотало кругом, а тут

стихло. Даже проститься не пришел! А она ждала, так ждала! Уже ничего боле и не надо было. То — отошло, отпало. Она же не дура, понимает все! И Марфу Ивановну не винит. Только не думалось прежде, ой, не думалось! Как в угаре была. Руки его ласковые, очи его соколиные, уста горячие, жадные. Митя, Митенька! Так и назвать не смела никоторого разу, все «Митрием Исаковицем». Робела перед ним, ноги ему целовала! Не пришел, не проводил. Думала, хоть на пристани, хоть издали взглянет, хоть на кони проскачет на Великий мост! Ничего! И не надо уже ничего. Вот так и покончить, и не страшно. И не холодно будет даже. Она уже было приподнялась, чтобы сунуться в воду, за борт лодьи, как ее, испугав до боли в сердце, тронул за плечо старик лодейник.

— Али не слышишь, девка? Вон там повались! Вались, вались, не скоро еще станем! Дай-ко укрою, а то на воде издрогнешь.

Грубыми руками, но ласково, по-отечески, он повалил ее в ямку между мешков, натянул поверх твердую, густо пахнущую дегтем толстину, кинул сверху еще что-то тяжелое и мягкое. Стало темно и тихо. Опрося почувствовала вдруг, как озябла, сидючи. Дрожь пошла по всему телу, и вместе с тем она начала согреваться под укровом, и снова ощутила в сердце прежнюю надсадную боль, боль жизни, и снова заплакала. Так и заснула, тихо плача во сне.

Проснулась она в темноте. Услышала окрики. Лодья уже не колыхалась, а ровно качалась с боку на бок. Опрося отогнула толстину. Прямо над нею покачивались звезды. Сырой туман ударил в лицо. Она вытянулась побольше. В тумане мерцал костер. Окликали с лодьи. С берега наконец долетел ответный зов. Тогда мужики в темноте разобрали весла. Кто-то, проходя неловко, наступил ей на ноги. Лодейник стал на носу, и тихо, все время перекликаясь, лодью повели к берегу, означенному одною неясною размытою по краям чернотой. Вот лодья ткнулась во что-то твердое, и кто-то пробежал мимо Опроси по борту, с веревкой в руках.

— Заводи, заводи! Отдай! Ослабь маленько! — перекликались в темноте.

Наконец лодью привязали.

— Девку потерял? Тута она!

Сказали у нее над самым ухом, и кто-то, не Тимофей, взял ее за руку и повел. Со сна у нее онемели ноги.

Оступаясь, по склизкому от росы бревенчатому причалу вышли на берег. Она сразу же замерзла и, брошенная мужиком, который воротился в лодью, стояла, озираясь по сторонам.

В тумане выступали лохматые деревья. От разгоравшегося костра по их ветвям бежали тени, и казалось, деревья, разбуженные, недовольно шевелят лапами. В расширившемся круге огня выросла приземистая избушка с плоской кровлей-накатом из нетолстых бревешек, обложенных сверху дерниной. От избушки к костру ковылял дед, не то хромой, не то вовсе без ноги, на деревяшке, не понять было. Поеживаясь, Опрося отошла от мужиков за кусты. У самого берега, опять до смерти испугав ее, громко плеснула рыба. Она умылась, воротилась к костру.

— Бредешком прошел, будто знал, что гостей бог даст! — говорил дед, улыбаясь.

В котле булькала уха. Ватажники уже все сидели у костра.

— Мы те хлеба привезли, дед!

— Вот спаси бог, мужики!

Бегучее пламя освещало спокойные морщинистые лица лодейника, трех старших мужиков и гладкое простогубое лицо четвертого гребца, молодого парня.

Тимоха, когда их позвали хлебать уху, вынул круглый хлеб, передал дружине. Мужики приняли каравай бережко — хлеб! Старшой тут же нарезал его ломтями, роздал всем, не минуя никого. Опрося неловко опустилась рядом с Тимофеем. Тот сунул ей, обтерев, ложку. Горячая уха обжигала, и Опросинья наконец стала согреваться. На огонь летели с тонким писком комары. Какие-то ночные бабочки кружились и падали, вспыхивая, в костер. Мужики неспешно переговаривались:

— Комар отощал!

— Да, силу потерял комар!

— Бывалоча, летом здесь его — не продохнуть!

— О середка лета, говорят, — подтвердил дед, шлепая себя по щеке, — комара убьешь, дак решетом прибывает, а нынце уж убьешь комара — решетом убывает ихнего племени.

— Тёмно.

— Осённа пора, дак!

— С какого ето, с Успенья ли, считают, уже белого коня за огородой не видать?

— Ну, мужики, спать! — возгласил старшой, когда

покончили с ухой и дочиста съели хлеб, подобрав все крошки.

Ватажники один по одному забрались в низкие двери, скорее лаз, занавешенный вместо дощатого створа рядниной. Тимоха Язь, который прежде тщетно лез в разговор мужиков, тут, в темноте кромешной, стал было, растопырив руки, звать Опросю к себе. Старшой, как бы нехотя, остановил его:

— Не замай девку. Видишь, ей не до тебя! Ложись тута, — потянул он Опросю за рукав, — вот сюда, тут тебе и тепло и спокой будет.

Дед снаружи притоптал остатки костра, залил угли. Слышно было, как шипел умирающий огонь. Приподняв рядно, отчего на миг снова показались голубые холодные звезды, он залез в избушку. Пошарив в темноте, нащупал сухой шершавой рукою Опросины ноги и, не удивляясь и ничего не спрашивая, натянул на нее край старого тулупа. Сам дед улегся рядом, спиною к ней. От деда пахло дымом, старостью и не то сухими водорослями, не то сушеной рыбой, а от тулупа — душновато овчиной. Все запахи были знакомые, от детства, от родного полузабытого деревенского дома, покинутого много лет назад, когда большой мор унес всех ее родных и Опросю, оставшуюся сиротой, взяли на боярский двор. И даже дед чем-то напомнил отца, за широкой спиной которого они, бывало, спали у себя на полатях. От воспоминаний Опросе стало хорошо, несмотря на то, что колючие еловые лапы лезли к ней из-под сухой травы и какие-то мошки бегали по лицу, щекоча кожу.

— Ты, дед, давно живешь тута, дак с водяной нечистью, верно, знаиссе! — раздалось из темноты. — Не знаешь, водяник есь ли, нет ли? Царь водяной?

— А вот я сам не видал, — откашлявшись, начал дед, — врать не буду, а слыхом слыхал. Был у нас, на устье, старичок, Никанор Ермолаев, ему было лет пятнадцать в те поры, и теперь лет бы сто было, если бы был жив. Значит, тому лет осемьдесят пять времени. Тут у нас, знашь, от Липны верст пятнадцать в тую сторону, там завсегда по льду ловят, рыба ходит. Ну, и осенью дело было, уже и озеро покрылось ледом. Мне-ка сам покойный Никанор ето все сказывал. Ну, невод собрали у них отцы, старики, пролубы сделали и потянули скрозь озеро, то есть под ледом пропихивать стали норилом. Ну, ты знаешь, сам рыбак, как зимой ловят! Ну и вот, невод етот протянули, а когда стали матицу выбирать,

чуют: тяжело, ну, думают, рыба будет! И вот когда они вытащили всю матицу, а в матице не рыба, а паренек лет восьми оказалсе, жив.

— Живой?!

— Ну. В малицы в такой из оленных шкурок и в оленьих тобаках, в лосиных ли... Вытянули, он из невода вышел и стоит, и старики смотрят: что за чудо? И парень жив. И стоит, плацет: «Вот, мама мне говорила, ты по улицам не ходи, не бегай, вот теперь меня вытянули старики на лед! Что я буду теперя делать!» Старики отскочили, сами между собой в уми рассуждают: что мы будем с етим мальциком делать? Один старик взял тогда норило, и етим норилом направил, и ткнул мальцика в грудь, паренька. И паренек упал, откуда выволокли, в тот йордан, и пошел камушком на дно, и нынце там ходит... Вот ето старик сказывал нам, Никанор Ермолаич, тако было событие. А место то мы знаем, такое тёмное, грубóе. Шест сажени три сунешь, и куды-то там идет, недоставает.

— Врут, может? — неуверенно протянул кто-то из ватажных.

— Может, и врут! — охотно откликнулся дед. — А Никанор, тот верный был старичок!

Мужики примолкли. Парень так даже вздохнул во всю грудь.

— Вот как! Стало, у их там и жило, и все как у нас!

— А вот еще какой случай. Парня одного женили, — начал дед другорядную бывальщину. — А дело было по осени...

Опрося засыпала, проваливалась в дрему. Говорок деда долетал до нее глухо, словно издалека:

— И кажну ночь из реки голос раздаетце...

Наконец Опрося тоже как в воду ушла — заснула.

— Спите, мужики? — спросил, перебив сам себя, дед.

Из углов ему отвечал заливистый храп.

Проснулась Опрося от ударов по камню. Дед снаружи кресалом высекал огонь. Она поднялась, вышла. Над озером лежал плотный белый туман. Руку протянешь — руки не видать. Ни лодьи, ни деревьев, ничего.

— В воду не оступись, девка! — окликнул ее дед.

Опрося умылась и принялась помогать деду разводить костер. Скоро поднялись и мужики.

Позавтракав, ощупью — все еще было ничего не ви-

дать — начали заводить лодью в устье Мсты. Старшой, стоя на носу, следил выплывающие из поредевшего тумана вехи.

— Легче, легче, мужики! — то и дело окликал он. — Здесь на мель сести, нашу лодью и не спихнуть будет!

Началось долгое речное плаванье. Где гребли, где пихались, где волоком вели, где, ловя ветер, подымали парус.

Лес то подходит к берегу, наклоняясь над самой водой, справа и слева, как бесконечно раскрывающиеся ворота, то отступает, открывая поля, деревню, окруженную скирдами сжатого хлеба, и опять кусты сбегают к самой воде.

Опрося уже освоилась, стряпала ватажникам, и хотелось ей только одного, чтобы так и шло: река, неторопливые речи мужиков, встречные деревни, то маленькие, в два-три двора, то большие, на красе, на возвышенном месте, с храмами, боярскими дворами, где у пристаней толпились купеческие лодьи с товаром, а на берегу, под навесами, шла бойкая торговля. Миновали Ям и Бронницы. Дожди наконец пошли. За долгий день ватажники вымокали насквозь. Сушились в дымных избах, спали на полу, на соломе. Опрося часто просыпалась и слушала шорохи соломы, хлопотливое шнырянье мышей, вздохи телка в закуте и однообразный шорох дождя. Горе не таяло в ней, но как-то успокаивалось, становилось привычнее.

Тимоха Язь, еще два-три раза подбивавшийся было к Опросинье, теперь уже мало обращал на нее внимания. Да и недосуг было, сам работал наравне с другими и уставал до одурения. Тимофей был мужик простой, хоть иногда любил и прихвастнуть, что у самой Марфы Ивановны Борецкой во дворе служит, но не злой и не настырный. Попробовал, бывает, что и отломится с боярского стола кусок, тут уж не зевай! Но зря не лез, и видя, что не клюет, оставил девку в покое. Постепенно с него слезала городская развязность и охота прихвастнуть. Здесь это ни на кого не действовало, раза два его даже вышучивали, впрочем, незлобиво. Чем ближе подвигались к Кострице, тем все больше Язь думал о доме, о тетке, мечтал о бане своей, деревенской. С работы до поту да с ночевок в одежде, на соломе, все тело зудело у мужиков.

Но всему на свете наступает конец. Уже остались позади Боровичи и волость Березовец, родовое владение

Борецкой. На рассвете дождливого субботнего дня лодья подошла к Дмитровскому — главному селу второй Марфиной волости, Кострицы. Накануне чуть не всю ночь пихались, старшой знал тут реку наизусть и торопился доправить лодью до места.

За излуком реки открывался обширный пойменный луг и за ним, на пологом холме, белая каменная церковь с зеленою черепичной маковицей и кровлями, окруженная боярским двором, избами, ригами, сараями, амбарами и банями, сбегающими к самой воде. С неба сеялось и сеялось на расстеленные под осенним дождем льны.

По раскисшей дороге они поднялись в гору. Опрося тоскливо озирала место своей будущей жизни. Подбежала мокрая собака, обнюхала всех и завиляла хвостом. Потом показалась баба в коротком кожухе, с подоткнутым подолом и босая. Остановилась, любопытно разглядывая Опросинью. На вопрос старшого быстро закивала головой:

— Тута Демид Иваныч, туточки! Сейчас скличу!

Баба убежала, шлепая по лужам и раскидывая врозь пятки.

Демид встретил их на крыльце господского дома. Он не улыбался уже, как в Новгороде, был важен и деловит. Тотчас распорядился накормить прибывших и скликать народ, чтобы разгружали лодью. Чувствовалось, что здесь — он хозяин. Тимоха низко поклонился, подходя. Демид перевел глаза с него на Опросю, приказал:

— Девку Маланья примет, а ты отдохнешь — скачи в Новгород.

— Демид Иваныч! — взмолился Тимоха. — Допусти своих проведать! Хошь до завтрева дня!

— Ну... — поколебался Демид, — беру грех на душу. Только запоздашь, сам пеняй!

Радостный Тимофей живо сбегал за Опросиной укладкой, торопливо поел и, сердечно распростясь с нею и с лодейными мужиками, зашагал по знакомой дороге на Перевожу, откуда до родного Коняева было всего четыре версты.

Дождик перестал, и среди волглых серо-синих, низко бегущих облаков стало кое-где проглядывать небо. Тимофей, все набавляя и набавляя шаг, прошел лесом, миновал подросшую за время его отсутствия березовую рощицу, всю в пожухлом осеннем золоте, мимоходом подосадовав, что не успеет сходить по грибы, поднялся на

угор, спустился в низинку и уже почти бежал, когда показалась поскотина и начались коняевские сенокосные пожни. Втягивая ноздрями близкий запах дыма, он предвкушал баню. Суббота, тетка уж, поди, затопила! И вот — последний угор, за угором речка, за речкой, на берегу, знакомые крыши родной деревни. Лодка-перевозка была на месте. Тимоха, натужась, спихнул ее в воду и с наслаждением влег в весла. До́ма!

Баня, однако, была не топлена. Тетка лежала, у нее болела голова, и даже не очень обрадовалась Тимофею. Не унывая, он нарубил дров, наносил воды. Тетка тогда уже поднялась, повязав голову, и затопила. Пока дотапливалась баня, она, охая, отыскала для него чистые исподники и рубаху покойного мужа, слазала на подволоку за веником.

Наконец-то истомившийся Тимофей смог скинуть залубеневшие от грязи порты и выпариться. С острым удовольствием он хлестался веником, все поддавая и поддавая на каменку, так что пар начал обжигать ему пятки. Немного ошалев, Язь вывалился из бани, со стоном окунулся в речку и, взбодренный, снова полез париться. Устал и, лежа на полке, почувствовал вдруг сирость, ровно Опраксея. Бахвалиться-то он бахвалится, а ни дома у него, ни семьи. Что он кому? Одна тетка, да и та хворая, не ровен час умрет! Тогда хоть на Двину подавайся... Тимофей принялся вновь, уже яростно, хлестать себя по бокам. Вышел, скинув усталость, снова бодрым, бывалым, городским. Тетке, что все жаловалась на боли в голове, подарил сбереженную гривну, кусок бухарской крашенины, что привез для нее из города, и лакомства: горсть изюму и кулек сорочинского пшена. Тетка смягчилась. Уже не жалуясь, живее захлопотала по хозяйству. Пока Язь уплетал щи с кашею, выполоскала в бане его лопотину, выжала и повесила прямь печи, просушить. Она еще возилась, а наевшийся Тимофей отдыхал на лавке, как забежала соседка:

— Архиповна! Лодья с товаром пришла!

Увидев Тимофея, всплеснула руками:

— Гость у тя! А я и не кумекаю!

Поздоровались. Тетка тут же похвасталась подарком. Потом обе засобирались:

— Нать поглядеть, что привез купечь!

У лодьи, у причала, где приезжий купец раскладывал товар, толпилась уже вся деревня: трое мужиков-хозяев — деревня считалась в три двора, — старики, бабы,

детвора: с лишком два десятка душ. Были тут и две бабы из Кикина, соседней, в версте, однодворной деревни. Тимофей кивнул бабам, степенно поздоровался с мужиками.

Купец, хожалый новгородец — тонкий нос с горбинкой, внимательные глаза, светлая бородка, сам среднего роста, подбористый, обходительный. Наметанным глазом окидывая негустую толпу, он легко, но без лишней развязности, перешучивался с бабами, уважительно расспрашивал мужиков. Помнил всех, походя тут же вызнавал, кто умер, женился. Язя он заметил сразу:

— Ктой-то новый у вас? Овдотьи сестрич? А, Тимофей, Кузьмы покойного сын! У Марфы Ивановны? Давно из Новгорода? Не слыхал, с Москвой чего?

Кажется, все на свете знал купец! Руки его за разговором почти не задерживались. Он давал, принимал, взвешивал, цепляя безменом. Принимал шкурки, овчину, кожи, коноплю, масло, холсты, яйца и сыр. Торговля шла больше меновая. Тут же купец развернул штуку глазастой хлопчатой ткани и отрез городского сукна. По рукам пошли цветные праздничные выступки.

— Кого уж, старуха! Моло́дым наряжатьце! — сожалительно толковали бабы, передавая алые изузоренные выступки одна другой.

В лодье было всего понемногу. Высокая тощая старуха, известная деревенская охальница и переводница, взяла кусок мыла и, развеселясь, выкрикнула:

— Ж... да голову вымыть!

— Ну, ты не лезь, Марья! — одергивали ее бабы.

Для мужиков купец привез рыболовные крючки, наконечники для охотничьих стрел и копий, медвежью рогатину, насадки к лопатам, гвозди, наральники и прочий железный товар. Мужики натащили ему шкурок хорьков, горносталей, зайцев, один приволок лису, другой — бобра. Купец за шкурки расплачивался солью, за бобра, без спора, выложил серебро. Серебром платил чаще он сам — Марфа брала часть оброка деньгами, и крестьяне старались поболе продать, чтобы выручить хоть малую толику оброчных денег. Купец, однако, серебром платил далеко не за все. Лису и ту долго вертел так и эдак, встряхивая пушистую шкуру.

— Зимняя! — успокаивал его охотник.

Бабы брали краску, иголки, ленты, цапахи — бить шерсть. В обмен нанесли своего вязанья: цветных носков, рукавиц, поясов. Купец, прищуриваясь, мгновенно оце-

нивал, ладен ли узор, а рукою тут же выщупывал, плотна ли вязка, и или брал, или возвращал назад. Со стороны казалось, что он играет, балуется, перебрасываясь товаром.

— Льну не продаете, мужики? Серебром заплачу! — негромко спрашивал купец.

Те мялись, нерешительно поглядывая на Тимофея. Язь, чтобы не мешать торговле, отошел в сторону. Выделанный лен, по закону, должен был весь идти в оброк боярыне, и потому продавали его хоронясь, из-под полы.

— Чегой-то мало нынце у вас товару! — притворно журил купец, приканчивая торговлю.

— Редко ездишь! — кричали ему.

— Бывай чаще, мы все тебе нанесем, никому больше!

— Река обсохла, эко забрались, не всякой год и заедешь! — возражал купец.

Отоварившись, селяне дружно помогли ему спихнуть лодью с мелководья и еще кричали вслед, прощались и благодарили. И только уж когда купец скрылся за излуком берега, пошли сожалительные замечания:

— А поди знай, сколь оно стоит!

— Уж себя не омманет!

Баба, купившая алые выступки, теперь вязалась к Тимофею:

— Тимофей, ты знашь новгородские цены-то, почем такие выступки в Новом Городи?

— Ладно, Таньша, не журись! — остановила ее подруга. — Ему ить провоз стоит, да без выгоды кто к нам сюда заберетце!

— Гости́! — хлопнул Язя по плечу один из мужиков. — Поведай-ко, какие новости в Новом Городи!

Тимофей не стал отказываться. Он, и тетка, и другие два хозяина, и бабы — почитай всей деревней — пошли к соседу. Заполнили всю избу. Хозяйка поставила на стол деревянное блюдо с калитками, огурцы, масло. Нацедила пива из глиняного горшка с носиком и затычкой. Дед Ондрей, до прихода мужиков вязавший сети, поздоровался, но за стол не сел, продолжал вязать, объясняя вполголоса внучонку:

— Вот едак клешицей продернешь — и добро, а когда низом пустишь — не свяжетце!

Так же вот и Язь учился когда-то у этого самого деда. Он хотел было напомнить, но не успел.

— Тимоха, забыл, поди, как сети вязать? — сам напомнился дед.

Выпили. Закусили огурцом. Тимофей разломил горячую вкусную калитку с просяной кашей.

— Ну, чего, Тимоха, привез, сказывай! — подторопили его мужики.

— Как там Москва?

— Бают, воевать собралисе?

— С войной погодить надоть! — подала голос хозяйка от печи. — Репу еще не собрали. Репу соберем, тогда можно воевать!

— Врут ли, правду молвят, что литовскому королю хотят задаватьце?

— А нас в ляцкую веру крестить?

— Не, ето нет!

— Ну, нам все едино...

— Война-то пойдет, через наши места покатитце! Не разорили бы вдосталь!..

— За болотами отсидимсе...

Спорили, пересуживали, а все казалось даже и самому Тимофею, будто понарошку это, так здесь далеко ото всех — и от Москвы, и от Литвы. И разговоры скоро перешли на свое, домашнее. Каков урожай, резать ли быка, кто из баб больше собрал брусницы...

— Я шесть баранов забил, хватит ле на зиму? Сигов уловил, да...

— Окунь осенной пошел, в саки́ има́ть хорошо!

— Мы на озере окуней, да плотиц, да щук ловим.

Поясняли Тимофею, как постороннему. Хозяйка в очередной раз наливала пива. Дед запел несильным голосом с хрипотцой старину, продолжая плести сеть:

Как во стольном городи, во Киеви,
Чтой у ласкова князя, у Владимера,
Заводилось пированьице — поцестен пир.
Чтой про всех князей-бояр толстобрюхиих,
Чтой про всех гостей-купцей богатыих,
Чтой про всех крестиян да православныих,
Чтой про сильных, могучих бога́тырей...

Тимофей за всеми этими хозяйственными разговорами почувствовал вновь, что он отрезанный ломоть, и, посидев еще немного и вспомнив, что завтра ему в дорогу: «Не проспишь зори вечерней, проспишь зорю утренну», — собрался домой. Тетка ушла еще раньше и уже приготовила ему место на хозяйской деревянной кровати, застелив взбитый сенник чистым рядном и накрыв его сверху духовитой овчиной.

Тимофей спал и чувствовал себя мальцом. Так же

в трубе жаловался ветер, так же стонал домовой, ворочалась корова в хлеву. Только тогда он был ростом до стола и дальше Дмитровского с его каменной церковью, что казалась ему громадной, не ведал он мира, и некому было завидовать, не перед кем унижаться тогда.

Было темно и рано, но тетка уже затопила и осторожно побуживала Язя:

— Тимоша, пора! Демид прогневаетце!

Она и сама побаивалась Демида, так как по болезни мало напряла, и потому не хотела лишних покоров из-за племянника.

Чуть светлело небо и звезды начинали бледнеть, когда тетка перекрестила Тимофея и дала ему в руки кулек с теплыми подорожниками. В полдень он уже выехал из Дмитровского, спрятав за пазуху грамотки и затвердив поручения Демида, а утром третьего дня подъезжал к Новгороду.

— Приехал? — встретил его на пороге молодечной Коста Вяхирь. — Тут у нас такие дела! Весь Новгород в брани, одни за короля хотят, другие за Москву! Жри скорей! — примолвил он, отбирая Демидовы грамоты. — Нужен будешь. А то все в разгоне сейчас. Коня не расседлывай!

Тимоха, чаявший получить отгул, мысленно подосадовал на Вяхиря, но делать было нечего. Он еще понадеялся, что Вяхирь забудет, но не успел выхлебнуть щей, как его уже вызвали:

— Скачи в Плотники с берестом, грамотку передашь. Панфилу Селифонтовичу. Знашь его? Только самому, никому больше!

Тимоха вздохнул и полез в седло. Опять начиналась служба.

ГЛАВА 7

Панфил изругался. Артельным мужикам волю дай — готовы шкуру содрать. «На диво осень стояла, да и то проволоклись! А нынче засиверило, дожди льют, а обозы не поспели, лес не вывезен, анбар хлебный опеть не сведен. Закрывать ить нать до дождей! И енти: ни стыда, ни совести! То литки справить, то разгонную, управы нет!

И на кой она, торговля! Земли накуплено, люди уважают, кажной год уличанским старостой кладут бессменно. Да и возраст почтенный, пора пожить для себя, для

спокою. Сам давно в житьи записан, а сын, Марко, все в купечестве. В иваньские старосты * ладитце, мало ему! Когда-то за отцом тянулся, а теперича — я за ним!»

Панфил отер рукавом мокрое лицо — дождило бесперечь. Мимо волочили, разбрызгивая грязь, матичное бревно. Панфил посторонился и тотчас поглядел на небо, по которому бежали упорные, тянутой чередою, серые волглые облака.

«Эх, Марко, Марко! Не ведал ты доброй поры, за Камень не хаживал! По Волге нонь торговлю Нижний держит да Кострома, на Кафинский путь, на Сурож и не сунешьсе, москвичи-сурожане забивают. Устюг и тот ладитце закамский ход перенять...

...Корабли нать свои! Опеть от Ганзы ходу нет. Может, и впрямь легче будет с Литвой дело иметь! Смоленским путем, по Днепру... Там опеть все налажать наново! Дворы заводить, анбары ставить, приказчиков сажать... Охо-хо-хо-хо!

...Давеча Киприян Арзубьев баял, что затеяли совсем от Москвы отлагатьце. То дело круто за́брали! На говорке Панфил согласился сразу, а теперь было неспокойно на сердце. Опеть Русу пограбят, как в ту войну, а у меня там товару... А поддатьце — земли отберут. Для спокою прикупал, для спокою в житьи писался. Вон он, спокой! Земли боле ста обеж. Ее обиходить нать, а теперь еще и оборонить! Целиком на землю бы осесть... И земля держит, и торговое дело держит. Ну, тут Марко поведет, а землю — надежна ли? Большие бояра тоже на землю зарятце!»

— Куда, куда! Дёржи! — заорал Панфил, усмотрев угрожающий крен готовой сорваться матицы. — Раззявы, тупари вислоухие, плёхи, мать вашу!

Охрипнув, он метался внизу, грозил. Чуток не сронили склизкого бревна! Было бы им, да и ему... Полорукие!

Плотники, взъерошенные, мокрые до нитки и злые, скупо отругивались.

Сзади подошел приказчик:

— Панфил Селифонтыч, тебя сынок зачем-то просит, послал в поиски!

— А, Марко прибыл! — обрадовался Панфил. — Пригляди тута, Антипыч, построжи их! Таки мастеры — без хозяйского глазу ничто толком не сделают!

Панфил потрусил домой, отряхиваясь, словно мокрый пес, и еще оглянулся с поворота — идет ли работа?

Марк встретил отца довольный, щурил глаза, потирая руки, следил, как Панфил высвобождается из мокрого, с полосами грязи охабня.

— Замаялся, батя?

— Обозы где?! — надсадно простонал Панфил, сваливаясь на лавку.

— Идут, под городом уже! Меха нам Марфа Исакова дает. Смотрел давеча, меха — загляденье!

— Стало-то сколь?

— С полчетверти семнадцать рублев.

— Недешево.

— Дешево, товар погляди! Белка — одна к одной, бобры, соболи... И привоз у нее свой.

— С привозом, конечно...

— Да, батя, посыльный к тебе тута, от самой от Борецкой, сожидает.

— Погоди, передохну!

Панфил пил квас. Руки дрожали, словно сам бревно волочил. Обтер усы и бороду поданным рушником, вытер лоб. Под рукой ощутилась дряблая кожа лица. «Сын-то крепок! — подумал Панфил не без зависти. — Все ему сполагоря! А я уж изработался».

Марко, широкий, дебелый, любовно усмехаясь, глядел на родителя, поглаживал себя по коленям.

— Зови посыльного! — ворчливо приказал Панфил.

Марко, не вставая, мигнул слуге. Тот стремглав скрылся за дверью.

Тимоха Язь вошел, стреляя глазами по сторонам: крепко живут! Поклонился с достоинством — от Борецких послан! Подал грамотку.

— Тамо пожди! — махнул рукой Панфил и сделал знак слуге. Тот сам знал обычай и тотчас увел Язя на поварню, отведывать хозяйского пива.

— Слыхал про Москву-то? — оборотился Панфил к сыну.

— Как не слыхать!

— Киприян и тебе говорил, что литовскому королю порешили задаватьце?

— Дак что! Не хитро еговых наместников на Городище взеть! Боронил бы от московськой грозы!

— Я тут уже со всема перемолвил. В братстви как?

— А что! Большие купцы все против Москвы. Поддадимсе, сурожане враз разорят. Да и двор немецкий закрыть могут али перевести куда.

— Я о том же думал...

— Ну а мелочь, та за нами потенетце, куда мы, туда и они.

— Просто у тебя!

— Без опасу, конечно, никакого дела делать не след, — прищурился Марко. — Из Русы товар повывезти не мешает!

— Не веришь нашим воеводам? — вздохнул Панфил.

— Наши-то воеводы сами боле на рубль новгородской полагаютце, чем на мечи.

— То-то и оно!

— Трусишь, батько?

— Не трушу, а... Дело такое... Миром надо решать!

— Киприян и то собирает житьих.

— Слыхал я! Уже толки пошли. Кто бает: мне-ста полторы обжи оборонять, а Захару Овину полторы тысячи, дак цего я вперед полезу? Великие бояра затеяли, пущай они напереди, а то, коли что, с нас же деньги собирать на окуп князю московскому! Ну а земли терять тоже не хотят, волнуютце, словом. И суд-от на Городце пересуживают! Кто туда даетце. Гагины, те воюют, их Берденевы с Овином утеснили с землей. Иван Лукинич в пользу Берденевых решил. Не знать, сумеет ли Киприян-то их в одну куцьку свести!

— Еще что вече скажет.

— Ну, до веча...

— Н-да, заварили Борецкие кашу! Теперь по всему городу как круги по воде.

— Наш Плотницкий конец уже весь ходуном ходит!

— А Захария что? Овин?

— У Захара, чать, земель поболе Марфиного. Коли Москва одолеет, и его не помилуют. Еще, спроси, что черные люди скажут!

— Ну, их не спросят! — решительно возразил Марко.

Панфил оглядел сына, покачал головой, пожевал губами. Понурился, продолжая сжимать грамотку в руке.

— Что пишет боярыня? — полюбопытничал Марко.

— Зовет к себе беседовать! — со вздохом отозвался отец. — Видать, о московской войне! Покличь посыльника-то, не то до дому не доедет...

— Скажи, буду! — молвил он Тимофею строго. И, отпустив посла, добавил: — Порешили мы с тобой, сын, дак нать не оглядыватьце!

Из Плотников воротился Тимофей, тотчас послали в Людин конец с иной грамотой.

— Я ить с пути! — взбунтовался было Язь.

— Ладно, свезешь, там ответа не нать! — утешил его Вяхирь.

Уразумев дело, Тимоха не торопился назад: не ровен час еще куда пошлют! А завернул к земляку, Конону Киприянову, мастеру-косторезу, не за делом, а так, чтоб только проволочь время.

Конон работал в окружении всего семейства: младших сыновей, двух дочек и четверых внуков, каждый из которых тоже не сидел без дела. Тут же Язь увидал знакомого грузчика Ивана, из тех, что наймовала Марфа. Иван сидел на лавке, отдыхал, свесив руки между колен, видно, тоже недавно пришел. Язь вспомнил тут, что Иван, кажись, зять Конона.

— Привет, мужики! Бог в помочь! — бодро поздоровался Тимофей и тоже присел на лавку. — В деревне был. Твои привет передают!

— Они бы с приветом маслица переслали! — отмолвил хозяин.

Конон резал костяную коробочку. Коробочка была уже готова, и Конон теперь малюсеньким коловоротом наносил кружковый узор на крышку. Тонкая, как нитки, белая стружка шла, закручиваясь, из-под резца. Ребята мастерили кто что. Один подтачивал снаряд, бережно откладывая точеные стамески на расстеленную мягкую тряпочку, чтобы не побить лезвий, двое полировали, дочка вертела мягкий круг, пропитанный толченым мелом, парни вручную доводили полировку до блеска. Один из внучат, вострoглазый и вихрастый, сопя и высовывая язык от усердия, резал заплетенного крылатого и зубатого змея на костяной пряжке-запоне. Старший из сыновей, подымая белую едкую пыль, пилил на заготовки цевку — скотинную кость, груда которой была свалена в углу. Другой, подстелив тряпицу, очень мелкой пилкой осторожно разделывал на пластинки кусок драгоценного рыбьего зуба — моржового клыка. Конон сверлил, морщась от сдержанного усилия, и одновременно успевал следить за всею своей косторезной дружиной. Был он взлыс, угрюм, взглядывал без улыбки, но не ругался, как иные, без толку, а только кивал или крутил головой, а иногда коротко давал дельное замечание. Семейные слушались мастера беспрекословно.

Иван сильно уставал эти дни. Платили сдельно, и грузила дружина от темна до темна. Но зато чаяли заработать погодней. Сегодня как раз довершили последнюю из тех лодей, что Марфа посылала на Север, кончили по-

раньше, получили плату, и Иван пришел рассчитаться с тестем, у которого займовал с полгода назад и до сей поры не мог отдать.

Теперь сидели за разговором. Вернее, сидел-то Иван, а Конон, не прерывая работы, бросал слово-два, а то и разражался короткой речью, все так же равномерно нажимая на коловорот и неотрывно следя за сбегающей костяной стружкой. Толковали о том же, о чем и все в городе, — о Москве.

— Тамо так не работают! — приговаривал Конон, придирчиво разглядывая законченную крышку.

— Грубая работа у их! — Он передал изузоренную пластинку дочери для полировки. — Нашу работу куда хошь вези. Во, гляди!

Конон протянулся, открыл поставец, вынул оттуда берестяную плетеную коробку, прижав к груди, осторожно снял крышку и высыпал на стол сияющую груду костяных, ярко отполированных гребней и пряжек, которые тотчас с легким стуком веером раскатились по столешнице, наполнив рабочую, скудно обставленную горницу Конона изысканным богатством боярского терема.

Иван, робея, осторожно притронулся грубым пальцем к пряжке с хвостатою девой, что держала в руке крохотный костяной кубок. Его каждый раз изумляла Кононова работа и то, как тесть своими узловатыми большими твердыми руками создает такие крохотули, вытачивает тонкие писала со звериными головами, резные уховертки, костяные накладки и застежки к кожаным переплетам книг, покрывает затейливой плетенкой костяные навершия тростей и рукояти дорогого оружия. Тимофей тоже протянулся поглядеть. В кои-то веки один гребешок укупишь в торгу, а здесь их не одна дюжина, и не только простые, вседневные, со сверленым кружковым узором, каких всюду полно, но и дорогие, нарочитые, с завитыми, ручной работы, краями, с выпуклыми узорами в срединной части: грифонами, девами-птицами, крылатыми змеями в переплетении сказочных трав.

Насладившись откровенным восхищением гостей, Конон неторопливо собрал все опять в берестяную коробью, задерживая взыскательный взгляд на том или ином изделии. Выбрал из грудки пряжку и протянул сыну, молча указав ногтем на недостаточно заполированный край, и тот, также молча, принял, посмотрел и, кивнув, принялся кусочком лосиной замши наводить глянец.

— И кузнь наша лучше московськой! — прибавил

Конон, убирая коробью. — Возьми хоть что, хоть уклад, хоть брони, хоть серебряную, хоть золотую кузнь. У нас, вишь, на каждом дели свой мастер сидит. Сапоги и те не по одину шьют. Есть мастера-подошвенники, те какую хошь подошву, какой хошь каблук тебе стачают, тимовники, по красным кожам опеть свои мастера, узорят другие. И каждый с младых ногтей к своему делу приучен. А на Москвы один мастер и кует, и лудит, и узорит, уж как может, так и ломит. На Москвы о сю пору чеботы на одну колодку шьют, что для правой, то и для левой ноги, чисто валенцы! Такой сапог обуть — преже надо вдвои подвертки из толстины навернуть. Пото московськи бояра все и ходят в новгородских сапогах! А уж каки там косторезы... Да вот, погляди, московська стросточка ко мне случаем попала. Из той же цевки!

Иван с Тимофеем по очереди подержали в руках набалдашник, исполненный с грубоватой лихостью не очень задумывавшегося о качестве своего товара московского мастера.

— Талан есь, а прорезыват как? Как бог на душу положит! А уж полировка совсем никуда... Ну, не чиста работа! — заключил Конон, убирая навершие в коробью.

— Есь и там мастеров! — примолвил он погодя, принимаясь за новую пластинку. — Колокола тамо хорошо льют... Бога́ты, наймуют! Вот Кюпро, сосед, иконник, его уж звали на Москву! Не хочет: тамо кланяйсе кажному боярину до зени, был Трифоном, станешь Тришкой, не порадуют те и деньги, говорит. А Ферапонт, иконник, уехал, и Коста тоже, серебряник. Бают, в чести на Москвы! Тут как сказать? На Москву переехал — тамо ты Тришка, а здесь Трифон Иваныч, дак чего дороже... С какого бока посмотреть! Одно: коли ты Тришка, дак и деньги у тебя отобрать — не в труд, кому пожалуешься? Тришка ты и есть! Другое: коли жрать нецего станет, дак долго ли тебя Иванычем замогут звать? Немного в Трифонах-то находишь, не ровен час, и тута, в Новом Городи, Тришкой назовут! Так Тришка, и другояк Тришка, да хоть пожить ладо́м! Нашу хоть работу возьми, и на Литвы ей почет, а как мастеры живут? Хоть меня возьми! Всею семьей бьемсе, и все одно, кажное пуло на счету. Мне ученика взеть, и то не на что! Кажной год новы налоги налагают, и в торгу дороговь! Счё тако?

Жонка Конона, до того молча хозяйничавшая в печном углу, тут тоже вмешалась:

— Поросенка выкормили одного, дак что на таку семью! Нать баранов хоть трех... А как слухи о войне начались, и все подорожало, и барана не укупишь, и осённых поросят не укупишь, дороги нынче поросята-ти, и масла не укупишь!

Причитая, Кониха взмахивала руками и шлепала себя по бокам, как утка крыльями. Пожалившись, разом замолчала и полезла ухватом в печь. Конон поглядел на жену вполглаза и продолжал ворчливо:

— Теперь рассудить, как поддатьце за короля? С Москвой, понимаешь, у нас все одинакое, а Литва — там иная вера, язык другой. Москве поддатьце — тоже не метно! А, боярская печаль! Мы как ни решим, нас не послушают! Наши старосты только на вече слово скажут, а и там уже у них все без нас готово-оговорено... Было преже! При прадедах. Слушали и нас! Дак в те поры и налогами не давили так нашего брата, как ныне... А теперешны бояра, кто за Москву, кто за Литву, а уж нам, черным людям, все заедино — вороги!

Язь почел нужным выступить в защиту своей боярыни, но Конон слушал его рассеянно, вполуха, перебил вопросом:

— Ты, Тимоха, ездил куда ле?

— Девку одну отвозил, обрюхатела, верно, от кого из боярченков. Не наше дело.

— Сам-то не попользовалсе?

— Молчи, старой! — прикрикнула Кононова жонка. — Волосы вылезли, а туда ж!

Походя, она торнула мужа в спину, слегка, для порядку.

— Ето ницего, не дерись, однако! — примирительно отозвался Конон.

— Ни, у нас с ентим строго! — отвечал Тимофей. — Сама узнат, будет лиха!

— Ты вот ездил, — подзудил опять Конон, — хоть чего бы привез! Хоть поросенка осённого! Там оны дешевше. Туды девку, назад свинью!

— С Москвой не заладитце, опять дороговь пойдет на снедный припас! — подал голос старший из сыновей Конона, до сих пор только молча слушавший речи отца и Тимофея.

Не желая ввязываться в невыгодный для себя спор, Тимоха поднялся:

— Прощевайте, мужики!

Когда он вышел, Конон качнул головой и, прицели-

ваясь к новой пластине, поданной ему старшим сыном, заключил:

— Неплохой мужик, а — набалован! На боярском дворе горюшка нет, посидел бы тута... Охо-хо-хо-хо!

— Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли! — вновь подал голос старший сын.

Иван, не желая ни бранить, ни защищать Борецких, промолчал.

— Цего у тя с домом? — напустился на него погодя Конон.

— Наум Трифоныч ладитце отобрать за долг.

— Говорил тогды дураку, не займуй! Перебились как ни то, приходил бы уж ко мне цевку пилить, приработал чего... А теперича завязал петлю, и я не помогу, нечем! Дом отберут, куды с Нюркой денессе? Дочка растет, а ума не нажил... Нам с тобою только с Москвой и воевать!

ГЛАВА 8

То, чего так пламенно добивался Зосима, свершилось. Все преграды — в том числе и сопротивление младшего Глухова, Никиты, воспротивившегося было скорому согласию на подаренье отца и дяди, — позади, и вот в его руках долгожданная грамота. Грамота на пергамене, с восемью круглыми свинцовыми печатями: архиепископа Великого Новгорода и Пскова, владыки Ионы, степенного посадника Ивана Лукинича, степенного тысяцкого и пяти концов Господина Новгорода, — большинство которых знаменовались печатями кончанских монастырей * (только Людин сохранил древнюю фигуру воина в латах). Дорогая грамота, передающая в дом святого Спаса и святого Николы «с Соловчев» и его настоятелю Ионе остров Соловецкий с прилегающими к нему «островом Анзери, островом Нуксами, островом Заячьим и малыми островки». Зосима сам, из скромности и гордости, а также дальнего расчета (не рискуя связывать свое имя слишком тесно с судьбою Борецких) настоял, чтобы дар был сделан на имя уходящего игумена. Грамота наделяла монастырь землею и ловищами, тонями и пожнями, правом невозбранно валить лес и возделывать землю, а также взимать десятину со всех ловецких ватаг, боярских и корельских, приезжающих промышлять на острова. Сразу же вслед за утверждением грамоты Зосима был торжественно хиротонисан, с возведением в сан игумена Соловецкой обители,

и венцом всего последовало приглашение на пир к самой Марфе Ивановне Борецкой.

Рискуя навлечь новый гнев великой боярыни, Зосима отказался от первого приглашения и согласился прийти, лишь когда был позван вторично. (Он не знал, что, посылая слуг за угодником, Марфа наказала звать его один, и другой раз, и третий, думая, что тот будет уставно отказываться до трех раз.)

И вот вновь Зосима вступает в той же грубой, еще более пострадавшей от осенних непогод рясе на двор гордого терема под золоченой кровлей, двор, сейчас густо заставленный расписными возками и колымагами, у иных из которых даже ободья колес были сделаны из серебра, двор, где кровные кони под шелковыми попонами и толпы принаряженных холопов — всё говорило о большом приеме именитых гостей. Но все происходит как в мечте, той, давешней, и даже еще пресладчайше. К нему спешит, расталкивая слуг, управитель дома, его проводят сквозь сонмы гостей, и грузный старец, вылезающий из алого, обитого бархатом и соболями нутра своей колымаги, склоняет голову, приветствуя угодника. То, ради чего можно годы трудиться на далеком северном острове. Годы подвига за час почета и славы! И почет длится, и Зосиму проводят по крытым ковром ступеням, а грузный старец в дорогом одеянии шествует где-то сзади, и сейчас боярыня Марфа с поклоном примет благословение Зосимы... Да, он достиг всего, чего хотел! Теперь осталось удержать достигнутое.

На пир к Борецким съехалось за восемьдесят человек гостей, с которыми явилось сотни полторы слуг, и всех надо было принять, разместить, устроить; да еще развести по стойлам и накормить коней. Вся прислуга Борецких с утра была на ногах, и хлопотня не утихала ни на мгновение. Терем Марфы видал и бо́льшие съезды, и по триста, и по четыреста гостебников, но гость гостю не ровня, Борецкие принимали сегодня цвет города, старейших великих бояр, старейших посадников и тысяцких, маститых держателей и вершителей судеб Господина Новгорода. Из плотничан не был только Захария Овин, но зато приехали и зять его, Иван Кузьмин с женою и сыном, и Кузьма Григорьевич, брат Захарии, с женой и старшим сыном, Василием, и посадник Яков Федоров, и плотницкий тысяцкий Михаил Берденев, оба с семьями. Пожаловал степенной посадник Иван Лукинич и самые нарочитые из плотницких житьих, во главе с Киприяном Ар-

зубьевым и Панфилом Селифонтовым. Из славлян прибыл Иван Офонасович Немир со всем семейством, с сыном Олферием и невесткой Февронией, старшей дочерью Марфы, приехал новоизбранный старейшим посадником из Славенского конца Иван Васильевич Своеземцев с молодой женой, Никита Федорович Глухов, тысяцкий Василий Есипович, Шенкурские, Домажировы, Деревяшкины. Бояре же Софийской стороны — Загородья, Людина и Неревского концов — собрались, почитай, все.

Гостей встречали на сенях Дмитрий Исакович с Федором, а потом сама Марфа Ивановна, находившая для каждого особое слово, особые взор и улыбку, как умела она, никого не обходя и не пропуская, но и не суетясь, с царственным плавным достоинством. Немира лишь взглядом спросила, не обидело ли его то, что в старейшие посадники от Славны избран не он, а молодой Своеземцев, и Иван Офонасович понял взгляд, вскинул задорными седыми бровями, чуть улыбнулся: не подеремся, мол! Дочь, Фовру, Марфа расцеловала и тотчас отослала — не мешай! Сердечно поздравила Ивана Своеземцева.

— Дуня рада? — спросила, мягко, по-матерински, глянув на юную супругу Своеземцева. И тут же участливо оборотилась к другой молодой паре, прусскому посаднику Никите Есифову с женой Оксиньей:

— Как мать?

И опять глазами договорила то, о чем словами было нехорошо вымолвить. Есифовна, вдова Григорьева, умирала, и ее кончины ждали с часу на час.

В большой столовой палате, куда вступил Зосима, было уже людно и рябило в глазах от блеска узорочья и одежд. Изразчатая, писанная травами печь струила тепло, приятно охватившее Зосиму после холода улицы. Снявшие верхнее платье, принятое и унесенное слугами, гости расхаживали по палате, стояли или сидели, разговаривая. Молодые женщины пока, до столов, павами проплывали в особную.

В толпе именитых гостей попадались уже знакомые Зосиме лица. Его приветствовал Иван Лукинич, заметно осунувшийся лицом (Ивана Лукинича давно уже мучила скрытая болезнь). Узнал Зосима и рыхлого, румянолицего, хитро-улыбчивого старика в просторной, с золотыми пуговицами летней ферязи, то был Феофилат Захарьин, по прозвищу Филат Скупой, Порочка (кубышка), один из крупнейших бояр Софийской стороны. Рядом с ним стоял, беседуя, молодой боярин в умопомрачительно рос-

кошном платье, с бледным, красиво-правильным лицом и негустою русою бородкой, лицом, которому как-то очень не хватало решительности выражения. То был второй из двух прусских «старых посадников», представитель Людина конца, сын знаменитого Федора Яковлича, Лука Федоров. Представительство вместе со сказочным богатством свалилось на него нежданно четыре года назад, после смерти во время мора отца и дяди Есифа. Свалилось и раздавило, ибо вместе с высоким званием на Луку налегли и все запутанные политические дела покойного родителя, а также тяжбы многочисленных житьих, прикрепившихся к их роду, и заботы купцов, прибегавших к покровительству Луки по старой памяти, хоть он сдал, получив посадничество, все заботы по торговым делам, вместе с должностью, новому тысяцкому. Теперь же на его плечи, изнемогавшие под тяжестью прежнего бремени, обрушилась необходимость решать судьбы Новгорода в споре с Москвой, и Лука в чаянье хоть какой-то опоры в прямом и переносном смысле не отходил от Феофилата Захарьина, беззастенчиво пользовавшегося в своих интересах и интересах своих ближних бесхарактерностью Луки.

Оба великих боярина благословились у старца, Феофилат поздравил его с игуменством, а Лука, у которого были дворы и земли в Шуньге, даже вспомнил тот род толвуйских бояр, из коего происходил Зосима.

Отойдя от них, угодник приблизился к тому углу, где, восседая под святыми, возвышался старик с лицом, как каменная гора, одетая лесом, — сплошь в щетине, сгущавшейся к подбородку и сбегавшей на грудь густыми потоками серой, цвета волчьей шерсти бороды. Кустистые брови совсем скрывали глубоко посаженные глаза старца. По бокам от него расположились два краснолицых мордатых молодца. То был великий неревский боярин, самый богатый человек в Новгороде, богаче Марфы, богаче Захара Овина — Богдан Есипов с внуками. Богдан поворотил голову к Зосиме, показав глаза, маленькие и зоркие, улыбнулся, сморщив тонкий прямой нос, и тоже милостиво поздравил старца.

Зосима уселся неподалеку, внимательно озирая всю эту толпу вятших бояр и боярынь: строгую Онфимью Горошкову, что церемонно беседовала со славною вдовой Настасьей; высокого красавца боярина, густовласого, в благородной, умеренно посеребрившей виски седине, статного, невзирая на годы (то был герой Русы, Василий

Александрович Казимер), которого окружала посадничья молодежь. Судя по мановению рук, речь шла о битвах, и старый воин показывал молодым какие-то приемы рубки мечом. Впрочем, всевидящая Марфа уже заметила одиночество Зосимы и послала к нему своего духовника, который и увел новопоставленного соловецкого игумена в моленную, где оба в ожидании пира предались душеспасительной беседе, тщательно избегая злободневных тем: московско-литовских отношений, судьбы архиепископии, послания митрополита Филиппа, а главным образом говорили о чудесах и видениях, посещавших угодника в годы его подвижничества на островах окиян-моря.

Меж тем Борецкая встречала давешнего старика, который во дворе поклонился Зосиме. То был сам Офонас Остафьевич Груз, на котором теперь, после смерти Федора Яковлевича, держалась реальная политика прусского боярства. Не то что Лука Федоров или уклончивый Феофилат, но даже Александр Самсонов не имели той власти и, главное, того влияния, как этот заматерелый старик с бугристым толстым носом на багровом лице, в сивой, косматой, отовсюду лезущей серо-желтой бороде, с толстыми, тоже багровыми, в белых волосках и коричневых пятнах старости пальцами больших рук, глуховатый и оттого в разговоре поворачивающий к собеседнику большие сизые уши с пучками белых волос.

— Угодника твоего видал! — прохрипел Офонас, отдуваясь после подъема по лестнице. — А? — переспросил он, не дослышав, в ответ на приветствие Борецкой и покивал головой: — Встретила. Ну... — Он пожевал губами, задирая подбородок, — зубов не хватало во рту. Губы у Офонаса были плотные, в складках, упрямые. — Угодника, говорю! — повторил он и подмигнул слезящимся глазом: — Подарила острова-ти?! — Шевельнул посохом, вопросил громче: — Слыхал, Онаньин ворочается с Москвы? Будет ли?

Спросил и, подняв голову, выставив бороду вперед — был дальнозорок, — поглядел на Марфу. Улыбнулся, прищуря глаз, кивнул удовлетворенно.

За ним стеной шли Грузы. Собственно, прозвище получил старший, Офонас, но когда они были вместе, всех трех братьев называли Грузами. За Офонасом следовал Тимофей, такой же большой, багроволицый, но еще могутный, с прямыми широкими плечами, густою квадратною бородой, костистый, длиннорукий, с упрямою складкой твердого рта, за ним Кузьма, младший брат,

хитровато-улыбчивый богатырь, жены Грузов, старшие сыновья Офонаса и Кузьмы, оба посадники, их жены, младшие сыновья, дочери. Со всеми Марфа раскланивалась, с боярынями целовалась, боярышень привечала ласковым словом.

Офонас Остафьевич приблизился к Богдану. Один из внуков Есипова вскочил, предлагая место. Офонас опустился на лавку. Слуга, шедший сзади, подложил ему кожаную, с тисненым узором подушечку. Расставив ноги, уперев в пол трость с вделанными в рукоять драгими каменьями, на трость уложив большие бугристые руки в дорогих перстнях, он вполоборота поворотился к Богдану, приветствуя того. Офонас говорил громко, хрипло. Богдан, зная приглухость Офонаса, громко отвечал ему, тоже поворачивая голову. В общем шуме громкий разговор стариков терялся. Богдан тоже первым делом спросил про Онаньина, которого с часу на час ждали из Москвы. Давеча уже верховой примчал. Затем перешли на хозяйственные заботы. Не одна Борецкая и не один Панфил Селифонтов торопились принять и отправить до распуты и ледостава последние осенние обозы и корабли.

— Железо привезли! — громко похвастал Богдан. — Железо, говорю!

— Железа много нать нынце! — обрывисто отвечал Офонас, с удовольствием водя глазами по роям молодежи.

К ним подошел своей мягкою походкой Яков Короб, сват Марфин, тесть Дмитрия Борецкого, в мягких тимовых сапогах, в переливчатой лиловой шитой серебряными цветами ферязи, неподобранные рукава которой свисали за плечами Короба почти до полу и плавно колыхались в лад движению, как распущенные лебединые крылья. Короб поклонился, и оба старика одинаковыми движениями склонили головы, приветствуя старейшего неревского посадника. Яков Александрович был пониже брата, Казимера, и не имел во внешности ничего воинственного: в мягкой темно-русой бороде, с мягко-внимательными серо-голубыми глазами и мягкими белыми руками.

— Онаньинича все нет! — ответил он на вопросительные взгляды стариков.

— Нать, без его начнем! — отозвался Офонас, вскидывая бороду.

Марфа проплыла по горнице царственной походкой. Шелк струился и мерцал разноцветными искрами. Проплыла, улыбаясь направо и налево или легким наклоном головы отвечая на восхищенные взоры мужиков, и в по-

темневших глазах ее горело торжество. Сама чувствовала, что лицо полыхает румянцем, это был ее пир! («Что же не едет Онаньин?»)

Иван Горошков положил руку на плечо другу Сергею, неотрывно следившему за плывущей по горнице Борецкой:

— На Марфу Ивановну засмотрелся? Хороша! Годы не берут!

Сергей сглотнул пересохшим ртом («Стыд, уже все замечать стали! В матери годится!»).

Марфа двинулась к соседнему покою, где собралась молодежь и уже задорно звучали дуда, струнчатые гудки и балалайки скоморохов. Туда, охорашиваясь, утицами проплывали девицы-боярышни, и старики начинали поглядывать, раззадоренные ладным призывным наигрышем. Марфа задержалась около Горошкова с приятелем, ласково, чуть насмешливо, тронула Сергея за волосы, пропела подошедшей Онфимье:

— Вишь, лыцарь мой! Оженить не могу никак!

И, не глядя на отчаянно покрасневшего молодца, поплыла дальше.

«Так легко, играючи, все ей легко!» — думал Сергей, почти с отчаяньем глядя на уходящее чудо. А ему-то, ему! Худо становилось, когда ночами бессонными представлял ее себе — тяжелую, в золоте, и эти глаза, и брови, и губы, и руки крепкие, не молодые, в легких морщинках, властные, и голос сочный, густой, с неожиданными переливами. Не мыслил и в мечте раздеть ее, святотатственно казалось. Тоненькая, с распахнутыми ресницами Ангелина, дочь Александра Самсонова, нареченная, но нежеланная невеста, казалась ему тогда как скукоженная осинка или дождик осенний, серенький, перед солнцем, горячим на закате, огненным, в парчовой одежде расписанных золотом облаков.

Борецкая остановилась в широком проеме, соединяющем столовую горницу с соседней, расположенной чуть ниже. Не спускаясь по ступеням, оглядела, любуясь, толпу молодых гостей, оступивших скоморохов, один из которых ходил сейчас на руках, ногами в мягких тимовых постолах подкидывая и ловя кожаный желто-красный мячик. Марфа отыскала глазами Дмитрия, что стоял в обнимку с Селезневым среди своих приверженцев. Все рослые, как на подбор, красавцы — неужели такие молодцы не одолеют Москвы? Сочным своим голосом, не возвышая, но так, чтобы услышали все, пригласила:

— Господа, гости дорогие! Заботы до пира, а пир досыта — прошу ко столам!

Оборотилась, плавно подняв руку в браслете, сверкнувшем из-под пышного сборчатого рукава, и тотчас в столовую палату стремглав внеслись слуги, и раскатилась из конца в конец по длинным столам, как живая, браная скатерть, а другие, пробежав вереницею, вмиг уставили ее золотом и серебром, поливной иноземной и деревянной новгородскою расписной и точеной посудою, а следующие уже заводили, поддерживая под локти, на заранее назначенные места пожилых и с поклонами приглашали к трапезе молодых гостей.

В начале стола сели старики: Офонас Остафьевич с братом Тимофеем, Богдан Есипов и особенно маленький среди них Иван Лукинич. За ними, по ряду, Кузьма Григорьевич, брат Овина, и рыхлый хитрец Феофилат Захарьинич. По старшинству рода, званию и богатству с ним рядом поместился Лука Федоров, за ним Александр Самсонов, Василий Казимер с братом Яковом Коробом, Иван Офонасович Немир, молодой Своеземцев, которому почетное место также досталось не по возрасту, а по старшинству звания и рода. Вслед за великими боярами Борецкая усадила, почета ради, и двоих нарочитых житьих — Киприяна Арзубьева, старого соратника своего, и Панфила Селифонтова. Почетное место было оставлено для Зосимы. Напротив стариков поместились славные вдовы: Настасья, Онфимья Горошкова и жены Грузов и иных великих бояр. На нижних столах царила молодежь, предводимая Борецким и Савелковым. Сама Марфа сидела во главе, со стариками. Взгляд ее пробежал по рядам гостей, проверяя, не обижен ли кто, все ли рассажены, как надо, задержался на нижних столах, где расселись боярышни, которых сейчас смешил, рассказывая что-то веселое, черноглазый Губа-Селезнев, отметила, с мгновенным неудовольствием, Олену, севшую прямо против Григория Тучина. «Что брат, то и сестра!» — подумала Марфа и, оглядев столы, подала новый знак.

Тотчас будто по воздуху проплыла гигантская белорыбица и пузатые кувшины, бочонки и братины с разными напитками, наполнились чары, смолкла музыка. Зосиму попросили благословить трапезу. А затем чарки пошли по рукам, за рыбными переменами последовали мясные, уху в серебряных котлах сменяла мясная похлебка, приправленная укропом и восточными пряностя-

ми — бухарской мелкотертой острою травой, черным перцем и листьями лавра. Румянились пироги, лоснилась кулебяка. Клубящийся пар подымался над дичью, являвшейся вновь и вновь в проворных руках прислужников. По осени особенно жирные рябцы, куропти, кулики-березовики, тетерева, приправленные моченой брусникой, зайцы под кислым соусом сменяли друг друга, и среди всего украшением пира — лебеди, искусно покрытые перьями, гордо выгибающие расправленные на серебряных проволоках шеи. Слуги разносили серебряные соусницы с приправами разного рода, душистыми травами, уксусом и горчицей.

Марфа, пытливо озирая собрание, следила не за тем, чтобы пирующие ели: не оставить гостя без блюда, вовремя подать или убрать опорожнившуюся тарель — дело слуг, а за тем, чтобы беседа, на время лишь утихшая, не смолкала, чтобы не был кручинен гость на пиру, не был оброшен или позабыт. Но, кажется, все были довольны, все веселы. С чувством — знала, что он любитель хорошей рыбы, и слуги получили соответственный указ — ест Офонас Груз, крепко жуя беззубыми челюстями, улыбаясь от удовольствия — ублаготворен! Марфа обратилась к Богдану, а краем глаза заметила старца, что лишь притрагивался к еде — себя блюдет! Она улыбнулась Настасье, которая церемонно отведывала лебедятину, терпеливо выслушивая таратористую речь Тимофеевой жены. На нижних столах шумно веселились, здесь — чинно беседовали, и беседа вращалась вокруг того, что было у всех на уме.

— В августе Москва опеть выгорела вся! — сказал Казимер. — Иван, бают, сам тушил.

— Любит пожары тушить! — поддакнул Немир с неопределенным, как показалось Зосиме, выражением не то одобрения, не то насмешки.

— Псковский пожар потушил! — громко возразил Богдан, оторвавшись от тарели и вновь невозмутимо принимаясь разделывать жареного рябца.

— Иван Офонасьич, — вопросил Тимофей Груз не без лукавства, — ты ездил к великому князю тогда, о псковских делах?

— Еще и требовал войну начать со Псковом! — насмешливо поддакнул Феофилат, вытирая пухлые жирные пальцы разложенным вдоль стола рушником.

— Почто Иван-то им не разрешил отделитьце? — подал голос Панфил Селифонтович.

— Шутишь! — отвечал Александр Самсонов. — Сам-то тоже думал, поди: псковичам только разреши, а потом и самой Москвы с нима сладу бы не стало.

— Митрополит подсказал!

— Такое дело с митрополитом решали! — поддакнули голоса.

Якоб Короб, заметив недоумение Зосимы, пояснил ему, как равному, подчеркивая этим, что старое нелюбие забыто и новопоставленный настоятель принят как свой в среду великих бояр:

— Псковичи себя отделить хотели от дома святой Софии, добивались во Пскове свою епископию учинить, уже было и война возгорелась. В ту пору нам великий князь Иван помог умиритьце, а псковичам их умысел воспретил.

— Князь Иван... — начал, косясь на Зосиму смеющимся глазом, Офонас Груз и примолк, смачно прожевывая кус белорыбицы. За едой он неизменно приходил в хорошее настроение. — Князь Иван! — повторил он громко, с передыхом, откидываясь к спинке перекидной скамьи и обращая теперь смеющиеся глаза к Феофилату Захарьину. — Князь Иван им сказал: «Владыке во Пскове не мочно быти, занеже искони никогда не было». — Груз выдержал паузу, вновь хитро поглядел на Зосиму и прибавил, в свою очередь вытирая пальцы нарочито разложенным по столу рушником: — И одарил посла верблюдом!

Это была старая шутка, не старевшая вот уже шестой год. Гости заулыбались, а Феофилат затрясся, щуря глаза, зашелся в смехе, удерживая руками колыхавшееся чрево, запрокидывая голову, взбулькивая, захлебываясь. Хохотал, приговаривая:

— Иван-то велблюда, велблюда послал! Охо-хо-хо-хо! Наместо епископа, а?! Велблюда! — закашлялся, мотая головой, аж слезы пошли из глаз, отдышался, озирая дружно расхмылившихся сотрапезников, и снова, сгибаясь от веселых колик, залился булькающим смехом.

— А они бы, плесковичи-то, не сробели, поставили его, велблюда, на епископию, хо-хо-хо-хо-хо! Велблюда! Ах-ха-ха, хо-хо-хо! Владыкою-то, велблюда, а?! Ах-ха-ха-ха-ха-ха, хо-хо-хо-хо-хо-хо! — гремел, оглушая Зосиму, дружный хохот великих бояр.

Меж тем уже вторично, приклоняясь в его сторону, Марфа озабоченно спрашивала свата Якова, что сидел

одесную угодника. Тихий вопрос утонул в общем веселом шуме.

— Ладилсе быть, с коня и сюда! — негромко отвечал Яков.

Без Онаньина, которого ждали все, и тех вестей, которые он должен был привезти из Москвы, серьезного разговора начинать было нельзя, и потому, чем далее продолжался пир, тем тревожнее становилось на сердце у Борецкой.

Вдруг что-то невидимо совершилось, какой-то знак, переданный десятками слуг, облетел горницу. Марфа встала, ветром прошла вдоль столов.

— Василий Онаньин!

Он вошел, и скорее даже возник, воссозданный страстной жаждою Борецкой, большой, веселый, краснолицый, кирпично-румяный с холоду. Он шел, походя здороваясь со всеми, и его приветствовали, подымая чары. Казимер встал и картинно облобызал Василия. Онаньина усадили, он потирал ладони, раскланиваясь со стариками, принял золотую чару из рук самой Марфы, подхватил кусок севрюжины. Помавая головой, отмахивался от рвущихся к нему немых вопросов, уронил одно:

— Гневен! — уписывая угря, в улыбке обнажая ровный ряд белоснежных зубов, — двигалась черная борода, двигались красные влажные губы, — примолвил: — Сердит! — Принял мису горячей тройной ухи, прокидывая в рот, одну за другой, чары красного фряжского, добавил скороговоркой: — Охолодало! — Наконец прижмурился от блаженно разлившегося по телу сытого тепла, потянулся, встряхнулся соколом: — Все свои?

Короб повел глазом в сторону Зосимы.

— Кто?

— Зосима, соловецкий угодник, а ныне вождь стада духовного.

— Игуменом?

Поднял чару, отнесся к старцу, который то подымал, то опускал глаза и побледнел даже, чувствуя, что вот оно то, о чем говорили в Клопске, но не хотелось верить, вошло с этим чернобородым красногубым боярином — война с Москвой.

Взглядывая из-под низко опущенных ресниц, Зосима видел одни тела предсидящих: руки с перстнями брали с подносов золотые и серебряные чары, двигались расшитые, цветные и белоснежные рукава, покачивались тела без голов, в шелках, парче и бархате. Он опускал очи до-

лу и вновь подымал, намеренно избегая видеть лица сотрапезующих, и вновь перед ним качались безголовые тела. Упорная мысль зрела в нем, еще не перелившись в законченный образ, и, лишь выйдя на улицу, под осеннее ненастное небо, он додумал ее до конца...

— Княжчин требует! — громко сказал Онаньин. — И тех земель, что при Олександре Невском были за великими князьями.

— Эко вспомнил!

Ропот прошел по палате. Многие обернулись в сторону Ивана Лошинского, брата Марфы, владельца княжеского (когда-то!) села Ракомы под Новгородом. И Иван, набычившись, свел брови и сжал кулаки. К власти не лез, в делах государственных прятался за спину сестры, но за свое добро, за землю драться мог насмерть. Припоминали — да и не припомнить вдруг! — что считалось княжьими землями двести лет назад и давно отошло Великому Новгороду, а затем было разобрано боярами, переходило из рода в род, продавалось и перепродавалось по сорок раз из рук в руки. Киприян Арзубьев, доселе хранивший молчание, предостерегающе поглядел на Марфу и Онаньина — не стоило так соборно, при всех гостях и гостьях, подымать древнего, пахнущего кровью спора с великими князьями московскими. Положение спас Богдан Есипов, невпопад, а вышло как раз впопад, начавший повествовать всем известную длинную историю о потерянной и вновь обретенной гробнице родоначальника московских князей, Даниила, младшего сына Невского.

— Нам про Олександра толкует, а сам пращура своего Данилы Олександровича могилу забыл! — трубно возгласил Богдан, сдвигая мохнатые брови, отчего его маленькие, по-медвежьи зоркие глазки совсем утонули в тени глазниц. — Покойный сам встал, явился ему на Москве-реце с жалобой, бают! И не ему даже, а одному из отроков княжьих. Конь подопнулся, и отрок зрит: перед ним князь, ему неведомый, по корзну признал, корзно на плечах княжое. — Богдан руками показал, как застегнут был княжой червленый старинный плащ-корзно на левом плече князя Данилы, будто сам видал. — Явился и молвит: «Я господин месту сему, князь Данило Московский, здесь положенный. Скажи великому князю Ивану: ты сам себя утешаешь, а меня забыл!» С тех пор только стали и панихиды по нему править, с тех только пор! — Богдан строго оглядел собрание и вновь занялся содержимым своей тарели.

Марфа махнула рукой, заиграла музыка. Киприян удовлетворенно кивнул Борецкой. Онаньин, подмигнув Киприяну, со вновь разыгравшимся вожделением нацелился на кусок кабаньей спины.

При первых же веселых звуках гудошников Зосима строго поднял глаза — не подобает духовному лицу слушать игрища бесовские. Борецкая поняла и тотчас с поклоном стала благодарить старца. Тут же она вручила ему дарственную на деревню на Суме-реке. Потянулись руки, серебряное блюдо пошло по кругу, на блюдо золотым дождем пролилась щедрая боярская милостыня новой обители: деньги, перстни, дарственные грамоты. Панфил Селифонтович, крякнув, пригласил Зосиму перед отъездом побывать еще и у него, в купеческом задоре решил не ударить лицом в грязь.

Обласканный, провоженный до порога самою хозяйкой, сопровожденный слугою, что нес сверток с дарами и снедью со стола, Зосима спустился по широкой лестнице и еще раз, со двора, оглянулся на терем, что весь сиял и гремел. Марфа не любила, как у иных, чтоб голодные слуги лязгали зубами, когда пируют господа, — гулял весь дом; из молодечной, холопьей, людских неслись песни. Отрок Данило вывалился к старцу, чуть устояв на ногах, разрумянившийся от обильной еды, веселый, хмельной и с сожалением, что приходится уходить, начал было рассказывать, какую занятную диковину отмочили скоморохи.

— Сатанинско то действо! — оборвал его Зосима.

На темном дворе под холодным, упорно моросящим дождем он представил себе всю временность промелькнувшего праздника и постоянство тяжкого духовного труда, и особенно тяжкий в эту осеннюю пору путь по бурной Ладоге, по Онегушку страховитому, все эти мели, плесы, луды и корги, где при осённом погодье, когда дует восток, и не пристанешь, лодью тотчас повалит и разобьет! А дальше — утомительный путь по рекам, и холодные волны Белого моря... Конечно, теперь хватит с избытком и на припас снедный, и на лопотину, и на орудья, потребные обители (новый црен надо купить!), и на церковные сосуды, свечи, миро и ладан, и даже на книги. Но довезти, не потопить! Они-то пируют!

Под холодным дождем Зосима с Данилою сошли к пристани, сели в лодку.

Так отбыл из Новгорода и ушел со страниц нашего повествования Зосима, знаменитый, позднее канонизиро-

ванный угодник, основатель Соловецкой обители, чтобы более уже не появиться здесь. Но перед отъездом, перед отбытием из Новгорода, он совершил то, что смутно обдумывалось им еще в ночь пешего возвращения из Клопска. Под большой тайною сообщил он Панфилу Селифонтову (а перед тем — отроку Даниле, от коего о том уведал онтоновский келарь и иные многие) о посетившем его на пиру ужасном и предивном видении: трижды, подымая очи, видел он семерых старейших великих бояр новгородских, сидящих за столом без голов. Много позднее тех, кто первым проведал об этом чуде, изумляла прозорливость старца. Видение Зосимы сослужило впоследствии добрую службу Соловецкой обители, помогло ей уцелеть, и не только уцелеть, но и возвыситься под властью московских государей. Но то уже иная повесть, иных времен, когда ни Зосимы и никого из тогда сущих уже давно не оставалось в живых. Так было совершено первое предательство новгородского дела, первое из сотен иных, больших и малых, тайных и явных, вкупе отметивших закат великого вольного города.

Пир продолжался после ухода старца и сделался еще шумнее, а речи еще откровеннее. Слуги разносили пироги и закуски, мелкие пряники, сласти восточные, засахаренные фрукты и орехи. Уже иные двинулись в соседнюю палату, где вновь начались представления скоморохов. И уже незаметно посвященные пробирались к началу столов и под смех, говор и шумную суету молодежи, заграждавшую их паче занавеса, один по одному проходили узким боковым переходом, подымаясь в особный Марфин покой, тот самый, где она принимала Пимена, сегодня освобожденный от лишней утвари, и рассаживались на заранее принесенные стульцы, кресла и скамьи.

Подошли и Василий Селезнев с Дмитрием. Лица построжели. Иван явно не шел ни на какие уступки. Война, почти решенная сторонниками Борецких, теперь становилась явью для всех.

Марфа была единственная из жонок в этом собрании матерых мужиков, по сути — Совете господ, ибо налицо были все старейшие посадники от пяти концов: Иван Лукинич, он же и степенной, от Плотницкого, Якоб Короб от Неревского, Феофилат Захарьин от Загородья, Лука Федоров от Людина конца и Иван Своеземцев от Славны. Были тут и почти все крупные бояре, от которых зависела новгородская политика (кроме Захарии Овина, но и за него предстательствовал брат, Кузьма). То, что решат

они, будет уже решением боярского совета, совета сорока, или Совета господ, который, впрочем, должен был собраться позже, в Грановитой палате архиепископского дворца и под председательством самого архиепископа.

«Как Иона?» — молчаливо повисло в воздухе. Не живой и не мертвый, владыка связывал руки, все еще не назначив восприемника, хоть никто и не сомневался, что восприемником будет Пимен.

— Силы много у князя! Надеяться нать только, ежели после Казани с Ордой у их возможет грызня произойти!

— Что бают на Москвы?

Ананьин поиграл бровями, ответил раздумчиво:

— Слух есть, король Казимир подсылал татарина Кирея послом к царю Ахмату, подымать Орду на Ивана. Тот Кирей беглый холоп Иванов. Еще дед Ивана, Василий Дмитрич, Киреева деда, Мисюря, купил. От того Мисюря — Амурат, от Амурата — Кирей, все при дворе великих князей московских выросли. Так что, надо полагать, знал немало! Посла перехватили. Сарай тем часом вятичи пограбили изгоном, отай подошли. Ахмат кочевал с Ордой, не поспел воротитьце... Дак вот и полагайте тут!

— Как дела в Литве, поможет ли Казимир? — озабоченно вопросил Яков Короб, беспокойно обегая мягкими серыми глазами суровые лица вятших.

Супясь, из своего угла подал голос Иван Кузьмин:

— Договорная не подписана! Спорим... Вече должно решить.

— Как житьи, как купечество?

Киприян Арзубьев положил на стол жилистые кулаки, ответил твердо:

— Житьи не подведут. Думаю, и вече перетянем!

Панфил огладил бороду, вздохнул:

— Марко мой за иваньское купечество ручаетце!

Прочие молчали, но похоже было, что мнение Борецких перевешивало. И все же какой-то окончательной искры, чтобы тотчас и совсем порвать с Москвой, не хватало. Феофилат вздохнул из глубины своего мягкого чрева, сощурил глаза, как сытый кот, показал рукой извилисто:

— Лучше бы эдак! Как издревле было: против суздальцев — Чернигов, против Твери — Москва, против Москвы — Литва, а Новгород со всема в мире и спокое...

Тут взорвался старый Богдан.

— Хорош мир! У меня сын убит под Русой! — Глядя

прямо перед собой, как с вечевой ступени, он громко заговорил: — Князи русстии суть рода варяжска, приглашены мужами новгородскими в первые времена, князь Рурик, и Синеус, и Трувор *. От Рурика и род княжеский. А посадник первый — Гостомысл *, от кореня нашего, изначального, и все мы, великие мужи новогородские, старейшие князей великих! И волость нашу одержим вольно и самовластно по грамотам Ярославлим, како заповедал нам Ярослав Мудрый киевский, в прадедни веки. А что поминают Владимира Мономаха да Олександра Невского, яко сии суть вмешивались в суд и волости Господина Новгорода, дак пусть не величаются! Московские князи от того корня младших ветвей, а старейшие суть ростовские да суздальские князи. По роду наш служилый князь, Василий Васильич Горбатый-Суздальский, родовитее князей московских! По праву лествичного наследия *, что заповедал Владимир Мономах, не Василий Васильич Темный, а Юрий Дмитрич должен был княжить на московском столе! А за ним Дмитрий Юрьевич Шемяка, иже опочил и похоронен у нас, в Юрьеве, и принимали мы его как великого князя, та была честь! И мы, братия, в посадничестве и во князьях вольны суть! — он пристукнул посохом, загородив глаза мохнатыми серыми бровями. Руки на посохе не дрожат, крепкие руки, власть держат и хозяйство ведут. Внуков еще не выделяет Богдан, каждую мелочь в хозяйстве помнит, как родословную.

Офонас Остафьевич пережевал сказанное, утвердился, свел плотные упрямые губы, сжал беззубый рот, отчего борода задралась вперед, кивнул согласно. Кузьма Григорьевич медленно склонил лобастую голову тем же братним, стойно Захарии Овина, движением толстой шеи. Молодые — необычайно серьезный Тучин и насупленный, исподлобья сторожко следящий за стариками Василий Селезнев — только молча переглянулись, для них уже все было решено. У Луки Федорова жалко вспотело лицо. Казимер, старый герой Русы, забегал глазами. В Совете одних стариков он бы и выказал сомнения, но тот подлый меленький страх, который он тщательно скрывал все эти долгие годы, страх, появившийся впервые в тот миг, когда он, раненый, пересев на чужого коня, бежал с поля боя, бросив на произвол судьбы Михаила Тучу, лучшего друга своего, страх перед Москвой и постоянная боязнь того, что о его страхе кто-нибудь узнает, не позволили ему возразить, особенно в присутствии молодежи, и он

вослед Офонасу утвердительно кивнул головой. Александр Самсонов строго спросил:

— Что мы придаем королю Казимиру?

— Десять соляных варниц в Русе и суд через год, — ответил Дмитрий Борецкий.

— Чтобы наместник был греческой веры!

— То сказано уже, — вмешался Селезнев. — И чтобы ропаты не строили католические * в новогородской земле, записали!

Марфа, побледнев лицом, только слушала, переводя глаза с одного на другого. Иван Лукинич сидел задумавшись. Усталость, телесная и душевная, не покидавшая его последнее время, угнетала его паче болести.

Он ездил в Литву, и не раз, он начинал эту борьбу, когда еще о Марфе мало кто и слышал... В могиле Федор Яковлич, в могиле Есиф Андреянович Горошков, в могиле Григорий Данилыч, в могиле Василий Степаныч Своеземцев, в могиле Григорий Кириллыч Посахно, в могиле великий владыка Евфимий и при смерти Иона, который умел утишать гнев Василия Темного. Он лично помнил две последние войны с Москвой, и оба раза — унылость и разброд после разгромов. Он сам был с ратью под Русой и бежал, раненный в лицо. Шрам от глаза до скулы и доднесь напоминает об этом. И каждый раз повторялось все то ж. Москва росла, как опара, вылезающая из квашни. Молодой великий князь Иван упорен. Трижды посылал рати под Казань, а сломил-таки царя казанского, постановил на своей воле. Выступит ли король Казимир? Как мейстер? Надо урядить с немцами — как на грех, новая ссора! Как Псков? В шестьдесят четвертом псковичи прислали подмогу против Москвы, а теперь? С тех пор со Псковом опять рассорились, чуть не до войны доходило, и все Иван Немир! Теперь наладилось, но насколько? Надо сослаться с Максимом Ларионовичем, узнать во Пскове, что мыслят тамошние бояра о себе... Не из-за одной лишь нелюбы к Борецким Захария Овин увертывается от общего дела!

Но за плечами Ивана Лукинича были годы борьбы, борьбы, борьбы... Вот Богдан, уступивший когда-то место старейшего покойному Михаилу Туче, стоит, как камень! Может статься, в грозный час опять останемся одни, и достанет ли тогда твоего мужества, Богдан Есипов!

Василий Онаньин усмехнулся:

— Отобьемсе! А нет — откупимсе. Московские князи на золото, что сороки, падки. Василий, покойник, из-

за пояса с двоюродниками насмерть резался *. За те каменья в золоте, что бабка, Софья Витовтовна, на его свадьбе с Василья Косого, Юрьевича, с соромом сволокла, сколь они потом голов положили! Очи один другому повынимывали, Москву брали не по разу... Смех и срам! А не угадали отцы наши, кому нать помочь было. Прохватились, да поздно. Когда Василий с ратью под Новым Городом стал!

— Дозвольте мне сказать, господа, — подал голос Губа-Селезнев. — Хоть я и молодший среди старейших! — Он встал. — Кажный день богомольцы из Клопска-монастыря по городу слух несут, будто мы в латынскую веру откачнулись. Туда бы съездить! Выяснить да и постращать. Потом надо убедить владыку... Марфа Ивановна, может, тебя самое примет?

Марфа склонила голову.

— Чти, Василий! — сказал Дмитрий Борецкий.

Грамота, над которой сидели не по раз, и вместе и в особину, обсуждая и споря, грамота предварительного договора с литовским королем наконец легла на налой.

— «По благословению преосвященного архиепископа Великого Новагорода и Пскова, владыки Ионы...» — начал Селезнев и примолк, сузив черные глаза.

— Или нареченного на владычество...

— Пимена! — подсказал Онаньин.

— Иона еще не утвердил восприемника?! — Вопрос Александра Самсонова прозвучал разом и как возражение Онаньину.

— Тут мы оставляем место! — остановил Борецкий чуть было не возгоревшийся спор.

Селезнев вновь склонился над грамотой:

— «От степенного посадника Ивана Лукинича, степенного тысяцкого...»

Иван Лукинич приподнял руку, останавливая чтеца:

— В феврале обновляется степень. Предлагаю сейчас не называть господ великих бояр поименно, ни господ послов к королю литовскому.

Селезнев оглядел собрание, все согласно закивали головами.

— Пропускаю! — сказал Селезнев. — «А держати ти, честный король, Великий Новгород на сей на крестной грамоте...» Отселе, господа?

— Чти отсель!

— «А держати тебе, честному королю, своего наместника на Городище от нашей веры, от греческой, от пра-

вославного хрестьянства. А наместнику твоему без посадника новогородского суда не судити... — читал Селезнев, чувствуя, как в горнице нарастает тишина. — А судити твоему наместнику по новогородской старине. А дворецкому твоему жити на Городище, на дворце, по новогородской пошлине... А наместнику твоему судити с посадником во владычном дворе на обычном месте, как бояриня, так и житьего, так и молодшего, так и селянина. А судити ему в правду, по крестному целованью, всех равно. А пересуд ему имати по новогородской грамоте, по крестной... А во владычень суд и в суд тысяцкого, а в то тебе не вступати, ни в монастырские суды, по старине. А пойдет князь великий московский на Великий Новгород, или его сын, или его брат, или которую землю подымет на Великий Новгород, ино тебе, нашему господину честному королю всести на конь за Великий Новгород и со всею со своею радою литовскою против великого князя и оборонити Великий Новгород...»

— Рубеж по старине? — вновь прервал его Александр Самсонов.

— По старине. Ржева и Великие Луки — то земли новгородские!

Дальше Селезневу уже почти не давали читать. После каждой новой строки: о данях, подводах, черных кунах, проезжем суде, переварах и смесных судах литвина с новгородцем — кто-нибудь требовал перечесть, уточнить, напомнить старые уложения с тверскими и суздальскими князьями и с московскими великими князьями до Дмитрия Иваныча Донского. И много времени прошло, прежде чем Василий добрался наконец до перечня исконных неотторгаемых новгородских земель: Торжка, Бежичей, Вологды, Заволочья, Терьского берега, Перми, Печоры, Югры и прочих (иные из которых, как Торжок или Вологда, уже давно были новгородскими, увы, в одних только перечнях договорных грамот).

— «А на новогородской земле тебе, честный король, сёл не ставити, не закупати, ни даром не принимати, ни твоей королеве, ни твоим детям, ни твоим князьям, ни твоим панам, ни твоим слугам... — читал Селезнев. — А у нас тебе, честный король, веры греческой православной нашей не отымати, а римских церквей тебе, честный король, в Великом Новогороде не ставити, ни по пригородам новогородским, ни по всей земле новогородской...» Любо ли то? — спросил он, отрываясь от грамоты.

— Любо! Любо!

— «А что во Пскове суд и печать и земли Великого Новагорода, а то к Великому Новугороду по старине. А немецкого двора тебе не затворяти. А послам и гостям на обе половины путь им чист, по литовской земле и по новогородской. А держати тебе, честный король, Великий Новгород в воле мужей вольных, по нашей старине и по сей крестной грамоте! — Василий торжественно возвысил голос: — А на том на всем, честный король, крест целуй ко всему Великому Новугороду за все свое княжество и за всю раду литовскую, в правду, без всякого извета!»

Селезнев кончил и еще постоял, слушая тишину.

— На том стоять всем заедино, — прибавил он негромко и сел.

— Ряд с королем довершат послы, а грамоту надобно подписать всем! — примолвил Дмитрий Борецкий.

Какое-то мгновение казалось, что никто и не тронется с места. Но вот зашевелились старики, и первым встал Офонас Остафьевич. Ему тотчас пододвинули медную граненую чернильницу, подали лебединое перо. Офонас обмакнул перо, отряхнул лишние капли над чернильницей и медленно начал выводить свою подпись, отклоняя голову назад и вбок, чтобы разглядеть написанное, щурясь от напряжения,—в углу глаза копилась старческая слеза. Писал он уставом, почти выдавливая твердые неровные буквы, перечтя, подправлял, доводя кое-где палочки. Кончив, подал перо Феофилату, у которого вдруг задрожали руки, поглядел твердо, чуть насмешливо: вот, мол! И дождавшись, когда Феофилат выведет первые буквы, грузно опустился на скамью. За Феофилатом стали подписывать все по ряду.

Свершилось.

Темная ночь обняла Новгород. Закрывались ставни, задвигались запоры ворот. Только сияющий огнями терем Борецких, откуда по-прежнему неслись музыка, песни и крики, один нарушал тишину. Наверху — гуляли, а внизу, во дворе, спешивались заляпанные грязью всадники. Брякали стремена. Выбежавшему в темноту растерянному слуге старший из приезжих бросил:

— От великого князя и государя московского к Дмитрию Исаковичу Борецкому!

В столовой палате, куда вступили трое московских дворян, не вдруг водворилась тишина. Но вот стихла музыка, и Дмитрий — он только что вновь присоединился к гостям, — хмурясь, вышел наперед. Произнеся уставные слова приветствия, старший из дворян с низким по-

клоном подал Дмитрию свернутую грамоту и, прямо глядя в глаза Борецкому, громко, чтобы слышали все, объявил:

— Великий государь московский, князь и господин Новгорода Великого, сею грамотой жалует тебя своим княжьим боярином! Прими и служи честно и грозно, како достоит слуге великого князя московского!

Все трое поклонились враз.

Еще не понимая до конца, что произошло, Дмитрий Борецкий принял свиток. Дворяне глядели на него.

— Благодарю великого князя за честь! — наконец вымолвил он.

Честь действительно была великая и нежданная. Сам московский воевода, князь Даниил Холмский, не имел этого титула, и лишь несколько самых ближних и самых родовитых бояринов московских носили звание не просто бояр, а бояр великого князя, звание, открывавшее доступ к высшим государственным должностям и участию в Думе государевой.

Послам поднесли чары. К Борецкому подошел Василий Онаньин, и дворяне разом покосились на него, а старшой поперхнулся даже. Весь день они загоняли лошадей, велено было во что бы то ни стало обогнать новгородского посла, и — напрасно!

Поднялся ропот. Кто-то присвистнул:

— Борецкого своим боярином!

Держа грамоту в руке, Дмитрий прошел сквозь внезапно расступившуюся толпу к себе. Его провожали перешептыванье, подозрительные взгляды Настасьи Григорьевой, озабоченный — Ивана Лукинича.

То был первый, запоздавший на три часа, удар великого князя.

Савелков с Селезневым, переглянувшись, двинулись было вслед Дмитрию, но Селезнев остоялся вдруг и решительно воротился к кучке молодых бояр, а вслед за ним повернул и Савелков. Борецкая срывала перстни с пальцев: скорей выпроводить гостей! Вбежавшему ключнику бросила сквозь зубы:

— Догони!

Иев, сломя голову, полетел следом за москвичами, выменивать, по тройной цене, хозяйкины кольца на золото.

Офонас жестко сложил рот, — понял первый, — недобро сощурился, кивнул Марфе: «Пойди к молодцу!»

Марфа переглянулась с Онфимьей, та степенно накло-

нила голову: «Не бойся, пригляжу!» Борецкая вышла вслед за сыном.

Лука Федоров недоуменно вертел головой: кто бы объяснил, что происходит? Онаньин, долго смотревший вслед москвичам, вдруг хлопнул себя по лбу:

— То-то мне в Яжелбицах коня подковать не могли никак! Следом скакали!

С внезапным уважением вспомнил он замкнутое лицо молодого Ивана, его сросшиеся брови, пристальный взгляд — а с ним не просто будет!

— Победим Москву, кажному боярство дадут! — громко сказал Селезнев.

Прозрение Онаньина взрывом вспороло тишину. Кто-то перекрестился даже:

— Чур меня, чур!

Если не у всех, то у многих мысль об измене общему делу их вожака на миг породила смутный ужас.

Кое-как восстанавливалось порушенное веселье. Еще не все понимали, а многие так и не поняли или не поверили до конца, что пожалование Борецкому было рассчитанным и коварным ходом великого князя в борьбе с Новгородом, а не наградою за тайно оказанные услуги.

Марфа поднялась одна по крутой темной лесенке, ведущей в светелку. Чутьем знала, где найти сына.

Он стоял у окна, спиной к свету единственной зажженной свечи, глядя в ночную темноту уснувшего города. Марфа отыскала навощенную лучинку, зажгла свечи в свечниках. Скрестила руки на груди, постояла. Спросила:

— Что думаешь?

— Холопом быть не хочу и у самого московского князя!

Этих слов и ждала. С удовлетворением она оглядела широкие плечи сына. Дмитрий вдруг резко повернулся, изронил с мукой в голосе:

— Зачем принял! Молва по городу теперь... Надо было растоптать, швырнуть в лицо!

Борецкая слушала, улыбаясь («Мой норов!»).

— Все было правильно, сын! Война не объявлена, с Казимиром ряд не утвержден. Мы пока слуги великого князя московского, а раз так, волен нас и жаловать! А почто жалует, спроси? За силу новгородскую! Вот она, в твоем кулаке, не упусти! Деньги? — Марфа помолчала, усмехнулась: — Власть! За власть все и борютце. Головы кладут за власть. Дуром наши бояре мыслят: спасение в

золоте! Власть отдадим — и все потеряем следом. Уже нам в вотчинах не сидеть. А власти подножие — сила. Сила же в людях. Людей собирай! Это Василий Онаньин думает, что на золото все можно купить! С Казимиром ряд сам подпишешь. Надо — поедешь в Литву. Селезнев пущай оповестит всем, не сомневались чтобы. Офонас понял, других вразумлю. К купцам сама съезжу. А теперь — выдь! Гости скоро разъезжатьце начнут. Перемолви. Будь весел. Устоим!

Дмитрий молча поцеловал руку матери. Вышел. Марфа, задув свечи, кроме одной, вышла следом за ним.

Во время разъезда гостей Борецкая задержалась с Иваном Лукиничем. Участливо спросила о здоровье. Иван Лукинич посупился, не умел говорить о своих бедах, отмолчался, только в глазах мелькнуло что-то затравленно-жалкое.

— Хотел сказать я... — он сбился с речи, чего за ним ранее никогда не водилось, и досадливо скривился изувеченной щекой. — Во Псков гонца я уже послал, мне доложат!

Марфа кивнула ему с молчаливой благодарностью. Оба не ведали еще, что через два дня смертельно усталый гонец привезет Ивану Лукиничу известие, что в тот же час, когда Борецкому жаловалось боярство, иные московские послы прибыли во Псков с приказом готовиться к войне с Новгородом, чтобы «всесть на конь» по первому требованию великого князя.

ГЛАВА 9

Вы туры́, туры́, вы малы детоцки,
Да уж вы два тура, братцы златорогия,
Мати у вас турица златошерстная!
Уж вы где вы, туры, были, где вы по́были,
Да уж вы где были, да кого видели?
Уж мы были, туры, да на синем мори,
Приплывали ко бережку прикрутому.
Во синем-то мори воды да напивалися,
В зеленых-то лужочках травы наедалися.
Уж мы были во Шахове, во Ляхове,
Белорусскую землю о полночь прошли,
Ко бело́й заре пришли в стольный Киев-град.
Уж мы видели, туры, да диво дивное,
Да уж мы видели, туры, чудо чудное:
Уж мы видели стену городо́вую,
Да уж мы видели башню да науго́льную,
Как из той стены из городо́выя,
Да из той башни да науго́льныя,

Выходила там девица-душа красная,
У ней русая коса да до пояса,
У ней ясные очи, как у сокола,
Черны брови у ней, как два соболя,
Лицо бело, щеки, как две маковицы,
Выносила она книгу евангелие,
Хоронила она книгу во сыру землю.
Сама плакала над книгой, уливалася:
Не бывать тебе, книга, на святой Руси,
Не видать тебе, книга, свету белого,
Свету белого да солнца красного,
Зори утренной, поздно-вечерние.
Воспроговорит турам родна матушка,
Мати-турица да златошерстная:
— Вы туры, туры, да малы детоцки,
Да уж вы глупые туры, неразумные!
Там не башня стояла наугольная,
Не стена ли там стояла городовая —
А стояла там церковь соборная,
Кругом церкви ограда белокаменна.
Не девица выходила, душа красная,
Да не книгу выносила, евангелие —
Выходила запрестольна богородица,
Выносила она веру христианскую,
Хоронила она веру во сыру землю,
Сама плакала над верой, уливалася:
Не бывать тебе, вера, на святой Руси,
Не видеть тебе, вера, свету белого,
Света белого да солнца красного,
Что ни утренной зори, да ни вечерние!
Она чует невзгодушку немалую.
Подымает Идолищо четырнадцать голов,
Хочет сбить-спалить стольный Киев-град,
Пресвятую богородицу на огонь спустить!
Ах вы, дети мои, дети милые,
Заступите вы за стольный Киев-град
И за мать пресвятую богородицу!

Слепой певец смолк, перебирая струны.

— Туры вы, туры, малы деточки, охо-хо! — раздумчиво повторил Яков Царевищев, забирая в горсти лицо (он сидел, уставя локти в стол и опустив чело на руки) и сильно проводя ладонями по задубелым щекам и колючей проволочной бороде. — Охо-хо-хо! — повторил он, крепко обжимая бороду. — Како помыслим, купцы!

Певец, приняв предложенную чару и ощутив в руке тяжесть дорогого металла, поклонился невидимому для него собранию и заковылял к выходу из гридни. Один из молодцов, провожавших гусляра, подал слепцу его торбу, до отказа набитую снедью. Иваньское братство не мельчилось.

— Задал ты нам загадку, Марко, со своим гусляром, — пасмурно пошутил Павел Баженов. — Туры-ти уж не Борецкие ли? Поди, Митрий Исакович с Федором? Тот-то прямой тур!

— Вот и гляди в оба, как бы веру не продали православную в Шахов-то да в Ляхов! — с провизгом выкрикнул Есиф Костка, по прозвищу Козел, ярый сутяжник, сухопарый и злющий, вечный поперечник во всяком деле — такие есть в каждом братстве купеческом, никуда от них не денешься.

Марко молча посмеивался в бороду.

— Марфа Ивановна будет, а, Марк Панфилыч?

— Будет, обещала.

— Должна быть!

— Борецкому Дмитрию Иван, слышь, боярство пожаловал? Верно ли?

— Верно.

— Смотри-ко!

— Опять бы нам в накладе не остатьце!

Здесь собралась купеческая старши́на, тиуны и старосты двух братств: Иваньского братства вощинников, главного купеческого братства Великого Новгорода, и братства заморских купцов — новгородского купечества, ведущего торговлю в Новгороде заморским товаром, — толстосумы, что ворочали сотнями рублей, торговали с Югрой и с Заморьем, со Псковом, Тверью, Москвой, Костромой и десятками других городов. Это их лодейные караваны, выходя на Волгу, спускались до Сарая и Астрахани, их товары верблюдами везли в Бухару, свечи из их воска горели во всех знатных домах Европы, в их меха одевались датские и английские вельможи, из их горностаев шились мантии французским королям. Были тут и некоторые из житьих, уличанские старосты, еще не порвавшие с купечеством и торговлей, как Панфил Селифонтов. Окладистые бороды, опашни и ферязи темного дорогого сукна, истовые суровые и хитрые лица, внимательные глаза. И пир у них велся по-старому, степенно, с певцом-гусляром, что мерно и неспешно пропевал знакомые старины минувших времен, как было при прадедах, а не так, как повелось нынче в теремах боярских, с игрецами да скоморохами-гудошниками.

Многие из братчинников, как Панфил с сыном, прикупали земли, чуя застой в делах, и все они или большинство, как люди, достигшие своей вершины, боялись любых перемен, справедливо полагая, что после вершины

всякий путь пойдет только под горку. А потому невесел был пир, и тяжко задумывались братчинники, и тревога сочилась из речей.

— Ежели Иван Заволочье отберет, куда сунессе? Пушной торг подорвут начисто, а за ним и суконники московские, сурожане, совсем одолеют. Им ить с Сурожа да с Кафы дешевле фряжский товар возить, чем нам через Ганзу, будь она неладна!

— Страшно и за короля задаватьце!

— Мы ить не бояре, не землею кормимсе...

— А и землю Иван роздаст дворянам своим, мелкому купцу туда-сюда, а нам уж того не будет, что от великих бояр: тысячами белка, сотнями пудов воск, сало, лен — анбарами!

— А после пожалованья Борецкие как ся поведут?

— Госпожу Марфу спросим!

Марфа собиралась долго. Пособлявших — Пишу с двумя девками — замучила. Оделась со тщанием, но просто, во вдовье платье, как одевалась, бывало, когда ездила к черным людям. Осмотрела себя в зеркало, осталась довольна. Пошла и от порога воротилась вспять:

— Праздничное давай! Лучшее, то — знашь!

Полетели в сторону вдовьи наряды. Золотая византийская парча, красный фландрский бархат, жемчужное очелье, самоцветы, кольца, серьги, ожерелье из лалов... И когда ничего уже нельзя было прибавить или надеть, не испортив, и ничего уже нельзя было измыслить богаче, сказала:

— Будет! Так еду к купцам.

В гридню Иваньского братства Марфа вошла как золотое видение. Казалось, гридня засветилась. Привычные к богатству иваньские воротилы и те ахнули. Низким грудным голосом поздоровалась, повела большим глазом, склоняя голову, отчего подбородок сложился в тугие складки. «Волоокая», как говорили люди прежних времен, люди неторопливой пастушеской жизни, умеющие ценить красоту больших, влажно блестящих коровьих глаз, мудрые люди древности, представляющие себе праматерь богов, создательницу всего живущего, в облике небесной коровы. Борецкая царственно огляделась, показав весь округло-тяжелый очерк лица; прошла — парча саяна волнами заколебалась, меча искры. И заговорила, как одна умела говорить: о славе Великого Новгорода,

о землях далеких, о чести, о верности. Как сор отмела пожалованье великого князя:

— ...И дети мои сложат головы за вас, за Новгород! Теснят вас сурожане? Урядим с королем, старый путь великий откроетце! Через Смоленск по Днепру, до Киева! Как прадеды и прапрадеды торговали, как ходили при великих князьях киевских! Из устья Днепра до Царьграда, до Веницейской земли ближе, чем от Кафы греческой! Да и крымскому хану даров не дарить! На Волынь откроетце путь! К королю венгерскому по Дунаю и в иные земли и страны — куда Москве!

Не чинясь, приняла почетную чару, пригубила. Жаркие речи начались, повеяло и тут удалью древних времен. Манил древний путь торговый из варяг в греки. Твердо обещала Марфа, что не порушит Новгород православия, не допустит ляшских попов, ни церквей латынских на своей земле, твердо обещала беспошлинный путь по Днепру. Убедила. С поклонами проводили Марфу толстосумы. Качали головами:

— Турица златошерстная! И верно, мудра. Знает, чует, только поддайся — погубит нас князь московский!

И долго спорили еще братчинники, рядили так и эдак, но побеждала боязнь Москвы, и все сходились к тому, что надо рискнуть, и побеждала, и победила — золотым видением над вязью слов предстоящая — боярыня Марфа Борецкая. Великое Иваньское братство решило даться за короля.

Киприян Арзубьев, друг Марфы, удерживавший и направлявший колеблющуюся громаду житьих, поругался с сыном Григорием.

Григорий при этом непристойно бегал по горнице, и Киприян уже многажды порывался прекратить говорку силою власти родительской, попросту прикрикнув на сына, но ему не хотелось проявлять слабость, да к тому же Григорий высказывал такое, о чем спорили слишком многие из житьих, и уже поэтому просто отмахнуться от его слов нельзя было.

— Войну зачинать, дак мы наперед! Коня купи, бронь купи, людей оборужи с собою, а чего ради? Московськи дворяна от великого князя землю емлют за службу-то!

— А не станут служить, дак и потеряют земли ти, тоже не велика благостыня! — возражал отец.

— А чего им не служить? — бушевал Григорий. — Как поход — так прибыток! А наши ти воеводы после кажной войны московськой деньгами откупаютце! На

своей земле воевать — зипунов не добудешь! В суде, говоришь, наши сидят? Дак тоже то только и приговаривают, о чем великие бояра порешили! Преже еще с наводкой приходили к суду! Иной всю улицу с собой приведет, тот же Захария Овин, скажи поперек слово!

— Наводку запретили! — нетерпеливо прервал Киприян.

— Наводку запретили, да! Дак кто запретил? Опеть же великий князь! На вече, скажешь, наши голоса? А часто вече нынь созывают? Все один Совет вятших вершит! Мы не бояре! — кричал Григорий, непристойно бегая по горнице перед отцом. — У тебя вот земля и всё, а могу я стать тысяцким хотя! Уже не мыслю посадником! Сотским могу ли стать?! Гришка Берденев передо мной нос задирает, чем меня лучше? Суд! Покуда судиссе друг с другом, туда-сюда, еще по правде решат, а с боярином? Кого оправят? А пойди на Городец, ко княжому суду, как Олфер Гагин, тебе же мало не будет, и вовсе в порошок истолкут! Даве у Борецких съезжалися, нас созвали мало не для смеху! Ефим Ревшин стал дело баять, урезали его тот же час: потом, мол! Потом! Когда нас спрашивают?! А к королю перекинемся? Судить кто будет? Королевский наместник? Рада литовская?!

Киприян медленно закипал. Мальчишка, сопляк, пулетвенник, молоко на губах не обсохло! (Сопляк был, впрочем, давно уже чернобородым рослым мужиком, и настегать вицей, задрав рубашонку, его никак нельзя было.)

— А на Низ тебя пошлют?! — стукнул по столу кулаком Киприян. — На Низ посылать станут со своим коштом! Там привезешь ли, нет, а в пути себя истеряешь, а то и голову сложишь! Это московским дворянам доходно, дак им боле и жить нечем, а у нас земля! И в Заволочье у нас земля! На Низ уйди с холопами, ни жато, ни сеяно, воротиссе — милостыню на торгу прошать! Я староста в улице, помру — тебя выберут! А тамо кто ты будешь? На вече ты свое слово сказал, а послушает Иван тебя тогда, как же! Думашь, там выбитьце легче? Да таких, как ты, у Ивана, сопливых, не сосчитано! А великие бояра на Москвы еще простых-то ратных дворян и за люди не считают, знаю, слыхал! Не родился Вельяминовым, любо Оболенским, любо Ряполовским там, альбо Кобылиным, и сиди! У нас с тобою есть что защищать! Это вон у Лядининых да у какого-нибудь Мишуки Линька по две да по три обжи, а и им хорошего от московских поз-

вов ждать нечего, отберут и три обжи! Я с Борецкими не первой год. Бывал и в доме и на пирах...

— А многие еще бывали-то?! — не смирялся Григорий. — Так ли, другояк, а будет все одно по ихней, а не по нашей воле!

Так в тот час отец с сыном и не договорились ни до чего.

К Киприяну Арзубьеву Борецкая приехала просто, не манила речами, не кружила головы — два пожилых человека, два друга встретились.

— Тяжко? Знаю. Можно и устать! Сама устаю.

Мягко напомнила прошлое... Поднялась, когда убедилась, что не может уже отступить, отказаться, что не выдаст ее, ни дела новгородского не предаст.

Киприян после ухода Марфы пристрожил сына, как мальчишку, и Григорий от их совокупного натиска сдался, потишел.

Труднее всего было говорить с Овином. Усмехаясь и как-то лебезя даже, принимал он Борецкую, сворачивал на шутку, на пустой разговор. И только когда прямо сказала, что слухи о землях не ложны, что отбирать будут наверняка, поглядел впервые без улыбки, остановившимся взглядом своих тяжелых, широко расставленных глаз, взвешивая. Угрюмо отозвался:

— Наши плотничана с вашими заодно. Славлян уговори! Нового бы сраму не вышло. Батя наш долго бился... (Покойного Григория Данилыча Овин не часто поминал, и поминал обычно, когда соглашался на что-то.) Брата не унимаю... — пробурчал он, провожая Борецкую, а глаза говорили свое: «Враг я тебе был, есть и буду, могила не помирит!»

Но и он после посещения Марфы словно примолк, не помогал, но и не мешал явно, а зайдя к зятю, Ивану Кузьмину, ворчал:

— Околдовала она вас, что ли? Всем городом вертит! А не так, не так надо! Феофилат Захарьинич, тот умней вас! Лбом лезть — лоб расшибить недолго! Лоб-то один, да и свой...

Город кипел. Страсти и возмущение выплескивались волнами на Городец, куда являлись с бранью толпы народа. Наместник великого князя, его дьяки и подручные были как в осаде. Уже не слухи, а явь: со дня на день ожидали приезда Михайлы Олельковича, литовского православного князя, вызванного на новгородское княжение всесильною партией Борецких.

Споры раздирали и Славну. Немир таки испортил дело своим бешеным нравом. Оттолкнул Глуховых, разругался с половиною прочих бояр.

Неспокойно было в Торгу, где под шум усобной сумятицы и нестроения участились грабежи и свары.

В кончанском совете Немир сцеплялся с Норовом, оба пожилые, оба буйные, и, как часто бывает, оба ни в чем не могли уступить друг другу.

Сторонники московского князя собирались у Исака Семеновича, свойственника Своеземцевых. Переплетенные родством, ссоры и споры велись еще яростнее, за обвинениями в предательстве городу следовали обвинения в измене родовым связям и семейной чести.

Земли, впрочем, терять не хотелось никому. В конце концов Славна в лице своих бояр высказалась так: они присоединятся к тому решению, которое примет общеновгородское вече.

Все это кипение страстей разбивалось у порога изложницы умирающего архиепископа, и не потому, что при дверях его покоя стояли стражи бдительные или сторонники московской митрополии, нет! За годы архиепископства владыка, сам неревлянин по происхождению, вольно и невольно окружал себя неревлянами и плотничанами — противниками Москвы. Владычные чашник и стольник, Еремей Сухощек и Родион, были неревляне, неревлянами были и многие другие ближники архиепископа. Пимен, наместник и ключник Ионин, происходил из Плотницкого конца, возглавляя наивраждебнейшее Москве крыло тамошней господы... Просто все земное уже отошло, невесомо отпало от Ионы, как отпадают сухою и тихою осенью омертвелые листья. Марфа поняла это, чуть только увидела прозрачные, нечеловеческой, уже неземной ясности глаза умирающего.

Говорить с ним было трудно. Иона путал имена, даты, живых и мертвых. Она бережко растолковывала ему, что происходит в городе, упорно, все еще надеясь, наводила на мысль о восприемнике. Но когда наконец и вдруг поняла, что нет, дело не в слабости и не в забывчивости предсмертной, что Иона помнит о Пимене и все давно уже решил, у нее опустились руки.

— Божьим судом, по жребию, да изберут владыку себе! — тихо сказал умирающий.

Он хотел одного: единства всех их, светлого единения

во взаимной любви. Избрание восприемника по указу прежнего владыки грозило расколоть город и, значит, было неугодно господу. Иона уже плохо представлял, что творилось за стенами владычного дворца, что город все равно уже расколот и кипит в борьбе.

Мягко, чтобы не раздражить и не огорчить умирающего, сдерживая внутреннюю страсть, Марфа пыталась втолковать ему, как обстоят дела и почему необходимо самому Ионе назначить Пимена.

— Дщерь моя, неужели господь в мудрости своей не больше нас? Дай ему решить! Дай. И положись на волю создавшего тебя.

Это была стена. С отчаянием вспоминала Марфа, как легко она прежде говорила с архиепископом, как легко и душепонятно. И теперь — словно путник, опоздавший к перевозу, смотрит она недвижимо на удаляющуюся по водной глади лодью, и не пробежать по воде, не ступить в реку смерти живыми ногами! Человек земных дел, зримых страстей и человек, наконец полностью отдавший себя богу, уже не могли понять один другого.

Все, чего добилась Марфа, это того лишь, что Иона снял перстень с прозрачной руки, владычный свой перстень с печатью, прошептав:

— Вот, передай Пимену! — и устало закрыл глаза.

Борецкая бросилась к Грузу. Офонас подумал, пожевал твердыми губами, задирая бороду, решил:

— Соберем вятших! Старейших всех, посадников, тысяцких, игуменов и архимандрита Феодосия, весь город, изо всех концов. Да узрит согласие! Мыслю, всема явимсе — умолим!

Это было четвертого ноября. А на другой день собравшаяся боярская господа вкупе с иерархами церкви была остановлена в воротах Детинца владычными слугами в траурных уборах, известившими посольство, что владыка умер в исходе ночи. Выборные тут же были допущены лицезреть покойного.

Горели свечи. Согласный хор пел заупокойную молитву.

Тело архиепископа, исхудавшее настолько, что уже почти превратилось в мощи, было вскоре торжественно погребено, в согласии с завещанием Ионы, в Отни пустыни, личном монастыре покойного.

В разгар похорон, на третий день по успении архиепископа, в Новгород прибыл со свитою, дружиной, купцами, писцами, монахами князь Михайло Олелькович,

с почетом встреченный избранными боярами, во главе с Богданом Есиповым, Дмитрием Борецким и Феофилатом Захарьиным, и поместился в княжеском тереме на Городце, откуда выехал московский наместник и вслед за ним были силой удалены все оставшиеся чины московской великокняжеской власти. Певучая южная речь зазвучала на улицах и в торгу.

Борецкие и их соратники не пожалели государственной казны Великого Новгорода. Князь Михайло должен был понять, что новгородское княжение не бедная вотчина, не ржаной кус и что Новгород Великий не чета постоянно разоряемому татарами и давно оскудевшему Киеву. Деньги и добро лились рекою, что вызвало даже ропот горожан, да и многих бояр, особенно на Славне. Софийский летописец впоследствии записывал, что недолгое княжение Михайлы Олельковича тяжко и «истомно» обошлось Новгороду «кормами, вологою и великими дары».

Кроме того, и это смутило уже многих сторонников Борецких, с князем прибыла не столько военная дружина (кормить ратных, защитников, куда ни шло!), сколько многочисленные слуги и двор — сотни жадных до корма и даров, но бесполезных Новгороду людей: волынские и киевские жиды, торговые и иные советчики, польские и литовские нищие шляхтичи, чаявшие урвать кусок от новгородского пирога. И всех кормили, и кормили щедро, возами везли хлеб, жито, овес лошадям, мясо — целыми тушами, связками — битую птицу, бочками — мед и пиво, корзинами — сыры, кадушками — масло, коробами — всякую приправу к столу, бочки сельдей, репуксы, сигов, лососей, связки сушеных лещей и иной копченой и вяленой рыбы. Дарили платьем, оружием, конями.

Сама Марфа тотчас после торжественных похорон архиепископа Ионы явилась на Городец, ко князю Михайле, узнать, всем ли доволен, не терпит ли нужды какой он или слуги его?

Марфа была в темно-синем атласном саяне со сквозными, сканой работы крупными золотыми пуговицами от верха до подола. Белоснежные пышные рукава, отороченные у запястий золотым кружевом, придавали лебединую легкость движениям ее слегка потемневших, крепких рук с дорогими перстнями на пальцах. Не сморгнув, она плавно подала руку склонившемуся перед ней князю для поцелуя — иноземного приветствия, принятого, как она знала, у знатных жонок в ляшской земле. Между

прочим разговором осведомилась, любит ли князь охоту, обещала прислать ловчих соколов и своих доезжачих в помочь княжим загонщикам. Вопросила затем, давно ли князь виделся с королем. Михайло Олелькович глядел в ее белое от искусно наложенных белил широкое темнобровое лицо, вспоминал все, что слышал о ней в Литве, и его постепенно начинала захватывать тяжелая властная красота Борецкой. Он передал привет от пана Ондрюшки Исаковича, в ответ на что Марфа ласково-насмешливо повела бровью.

— Помнит меня пан? — спросила с переливами в голосе, так, что у киевского князя что-то сдвинулось в душе. — Ондрюшка Исакович! — усмехнулась Марфа, и глаза ее оделись поволокой. — Десять летов прошло... Сваталсе! Тогда еще шутили: я по мужу, он по отцу, а скажут — брат с сестрой!

Поворотилась, поглядев вдаль, за окно, на виднеющийся сквозь слюдяные ячеи оконницы Юрьев, легко повела головой (закачались со звоном серебряные кольца в уборе), смахнув и пана Ондрюшку, и прочие воспоминания, строго заговорила о грамоте, о короле, о послах...

Деловой разговор этот оставил в киевском князе неделовое волнение и смутный стыд за то, что он предает Новгород. Старший брат, Семен, что сидел на столе киевском и давно кумился с Москвой, предупреждал Михаила, чтобы тот не ввязывался в новгородские дела, а уж коли ввязался, то не спорил с московским князем. «В Литве сейчас силу взяли католики да польские паны, и им, православным князьям литовским, не пришлось бы скоро самим проситься на Москву!» — говорил Семен. Да и поможет ли король Казимир Новгороду, не увяз бы в делах угорских!

Про все то Михайло Олелькович не сказал Борецкой, и уж тем паче не поведал о том, что и тут, в Новом Городе, с ним, с Михаилом, велись совсем иные речи...

Далек был Киев нынешний от Золотого Киева древних времен, и нынешние князья киевские от черниговских да киевских князей золотой поры Владимира Всеволодовича Мономаха!

И еще в одном ошиблась Борецкая. Приезд Олельковича не только не укрепил ее сторонников, но и вызвал новые разногласия. Усилившаяся власть Борецких испугала многих, и когда начались толки вокруг назначения нового архиепископа, дошло чуть не до усобных боев.

Что ни делали сторонники Борецкой, перевесил обычай, постановили избирать архиепископа жребием. Все, чего добилась Марфа, это что Пимен был включен в число трех соискателей, из коих одного, по жребию, должно было избрать молельником и заступником Господина Великого Новгорода. Двое других — смиренный инок Варсонофий, духовник покойного Ионы, и вяжицкий протодьякон Феофил, ризничий архиепископа, — были выдвинуты если не прямыми врагами и завистниками Борецких, то, во всяком случае, противниками непомерного усиления власти неревлян. Варсонофия предлагало черное духовенство и часть прусских бояр, за Феофила хлопотали Захария Овин и Славна.

Ночью соратники собрались у Борецких. Пимена не было. Рассказывал Еремей Сухощек. Колеблющийся свет тресвечника не достигал углов, большая горница тонула в полутьме. Яркого огня не зажигали намеренно. Резкие тени вздрагивали на лицах. Пламя свечей отражалось в глазах, да вспыхивала порою полоса золотого шитья или перстень на чьей-нибудь поднятой руке. Марфа, выпрямившись, неподвижно застыла в кресле. Дмитрий с Василием Губой, оба, положив сжатые кулаки на столешницу, слушали Еремея. Дела творились невеселые. На владычном дворе не прекращалась грызня. Решение избирать владыку по жребию разом поколебало власть Пимена. «Ждать можно всего!» — закончил Еремей, устало отклонившись к стене большим телом. Массивное лицо его разом утонуло в тени. Родион, владычный стольник, подал голос сзади:

— Варсонофий весь в руке архимандрита Феодосия!

— А Феофил ваш какими добродетелями украшен, кроме Овиновой помочи?! — спросила Борецкая угрюмо.

— Бог изберет... — отозвался нерешительный голос из темноты.

— Богу, однако, дозволено из троих одного избрать! — откликнулся Губа-Селезнев. — Уж не от митрополита ли московского наказ?

— Навряд! — сказал Еремей глухо. — От Москвы ищо гонцу и не доскакать бы было!

— Сами ся топим! — присовокупила Марфа.

— А заслуги его какие ж... — вновь сказал Родион с невеселой усмешкой.

— Ризничий... Протодьякон. Был тише воды, ниже травы! Пустое место! Видать, никому не страшен.

— Свято место не бывает пусто! — возразил пословицей Селезнев. — Такой может, коли дорвется до власти, столького натворить!

— Ну, власть ему еще не дадена. Подождем божьего суда! — заключила Марфа, вставая. В душе она верила, несмотря на все, что победит Пимен.

Выборы владыки были назначены на пятнадцатое ноября. На замерзшую землю падал легкий снег. Но ни снег, ни довольно сильный, порывами, северо-восточный ветер не могли разогнать тысячи народа, оступившие Детинец, заполнившие берег и близлежащие улицы Людина конца и Загородья, и амбарные кровли, и высокие паперти церквей, и возвышенный крутояр на скрещении Кузьмодемьянской и Великой улиц в Неревском конце, и Великий мост, не говоря уже о самом Детинце, внутри которого люди стояли плечо к плечу и тоже взбирались на все возвышенные места — на стены, звонницу, даже на кровли архиепископского дома. Переговаривались, поталкивая друг друга, замерзшие топали ногами, дули на руки, охлопывали себя рукавицами. Ожидалась торжественная литургия, после чего собственноручно подписанные степенным посадником Иваном Лукиничем и запечатанные его именною печатью жеребьи, положенные в алтаре, на престоле, будут по очереди вынесены наружу и всенародно распечатаны. Бог и святая София, премудрость божья, оставят у себя на престоле один жеребий, своего избранника, будущего новгородского владыки.

Марфа проснулась в это утро поздно, со слабостью в теле, то ли к перемене погоды, то ли оттого, что на левом боку спала. За окошками падал снег, и она долго лежала, закрыв глаза, справляясь с головокружением, и вспоминала приснившийся сон. Сон был непонятный. В просонях виделось — и сама не могла уразуметь, к добру ли, к худу ли? — будто как колокольный звон, и большие сияющие бело-розовые каменные соборы плывут по воздуху, ближе, ближе, и мимо нее, и звон все звончее, радостнее, и видит, что это чудно преображенные новгородские церквы плывут, словно лодьи, и голова кружится, и звонят, звонят колокола... Проснулась — звонили в Софии. Марфа еще полежала, чувствуя, как постепенно замирает кружение в голове и тают белые плывущие соборы, а звон софийских колоколов мешается с тем, в мечте приснившимся чудным звоном, и, лежа, не понимала — к чему такой сон? Умом прикинуть — не к добру, а на сердце словно как радостно от чего-то.

В Детинец съезжалась вся именитая госпо́да. В соборе вятших мужей и жонок пускали в первый ряд, и они стояли там, остолпленные и стиснутые иными, тоже нарочитыми горожанами, купцами, житьими, старостами улиц и ремесленных братств, среди которых нынче, как равные среди равных, мешались куколи, рясы и мантии духовенства. Борецкая в собор не пошла. Решила дожидаться избрания владыки дома. Слуги, расставленные по пути, на вышке терема и стенах Детинца, должны были тотчас извещать ее обо всем, происходящем внутри собора.

— Началось, Марфа Ивановна! — возгласил слуга.

— Началось, — повторила Пиша и мелко перекрестилась.

Марфа была в иконном покое. Стоя, скрестив руки на груди, она, чуть шевеля губами, повторяла про себя знакомые слова литургии. Издали, слышное уже с крыльца, доносилось согласное пение.

Сейчас в соборе — единое дыхание граждан, торжественное золото облачений духовенства, мерцание свечей в паникадилах, хоросах и стоянцах перед иконами, ангельские голоса маленьких певчих и густой, сотрясающий своды голос хора, которому подпевает вся площадь перед собором, черные люди и знать, подпевают крыши и улицы, и, шевеля губами, беззвучно вторит литургии, стоя в иконном покое своем, великая неревская боярыня Марфа Борецкая. Устремляя глаза к иконам, она видит отверстые царские врата Софийского собора и за ними — престол, осиянный трепетным пламенем свечей и бледным струящимся из высоких окон светом зимнего дня, и на престоле — три запечатанных жеребья, три кусочка пергамена, от которых зависит грядущая судьба Новгорода.

Хор смолк. По толпе пробежала дрожь. Хор снова запел и снова смолк. И вот замерла площадь, замерли люди вокруг Детинца, и слышно стало, как идет по проходу собора, по каменным плитам, меж плотных толп людских, к алтарю, к престолу господню софийский протопоп, как с трепетом снимает жеребей с престола и на вытянутых руках выносит его, чтобы передать посаднику с избранными из старейшин градских, что сейчас сломают печать и всенародно, на паперти собора, прочтут имя первого из отвергнутых.

— Варсонофий!

Единый вздох пронесся под высокими сводами Со-

фии, достиг купола, отразился от стен и шелестом обежал соборную площадь, перелетел за стены Детинца, прошел по рядам застывших на морозе людей, долетел до высокого терема под золоченою кровлей и проник в изящный покой, где Пиша, приняв весть от подбежавшего махальщика, внятным шепотом повторила:

— Варсонофий!

Марфа, недвижно стоявшая перед иконами, вдруг затряслась и упала на колени:

— Господи! Ты видишь! Не отступи!

Беспорядочная бредовая молитва летела с ее уст, и расширенные глаза молили пустоту, а меж тем там, вдали, в Софийском соборе, выносили второй жеребей, и Иван Лукинич, у которого тоже непроизвольно подрагивали руки, распечатывал роковую грамоту.

Марфа, стоя на коленях, заслышала шевеление за дверью и резко обернулась к Пише:

— Кто? Кто же!

Она рывком поднялась с колен, шагнула к дверям и, уже понимая, но еще не веря, повторила:

— Кто?! Кого вынесли? Феофила?!

— Пимена.

На престоле в соборе святой Софии премудрой остался один жеребей, смиренного и мало кому известного священноинока Вяжицкой обители, Феофила, бывшего ризничего Ионы, бывшего протодиакона, а ныне взлетевшего на головокружительную высоту главы сильнейшей на Руси архиепископии, главы дома святой Софии Господина Великого Новгорода.

Марфа прислонилась к косяку, махнула Пише рукой:

— Уйди!

Со строгим лицом повернулась к иконостасу, к громадным, прекрасной работы, драгоценнейшего новгородского письма образам в дорогих окладах и медленно опустилась на колени:

— Верую в тебя, господь! Верую, что не отринешь раб своих и оборонишь от напасти и труса. Верую, что не предал еси и не отвратил лица своего! Верую, ибо пути твои неисповедимы! Верую, что и наказуя, милуешь нас. Верую в тебя и молю — укрепи разум мой и дух тверд сохрани во мне! Верую!

Строгая, поднялась с колен. Для новой борьбы. Только прямая морщина меж бровей стала заметнее на широком суровом лице.

ГЛАВА 10

Торжественный поезд, долженствующий отвезти жениха к чертогу брачному, обручить церковь и пастыря, соединив нового избранника божия с Софией, премудростью, отправился за Феофилом немедленно после оглашения результатов жеребьевки. Вяжицкий монастырь, где, вожделея и не веря, ожидал своей участи Феофил, находился всего в двенадцати верстах от города, и к вечеру, вернее к началу ночи, новый владыка, у которого в голове все еще кружилось и шумело от приветствий, молебнов, криков, колокольного звона, конского ржания и тряски владычного возка по замерзшей, но еще не укрытой вдосталь снегом колеистой дороге, от всего неожиданного угара свалившейся на него чести, потрясенный до глубины души, очутился в палатах архиепископских, в том заветном покое, к которому он, будучи ризничим, приближался не иначе как с трепетом и смирением сердечным.

Новое его положение казалось Феофилу таким несоответственным всему прежнему строю жизни, что перед изложницей Ионы вчерашнего ризничего охватил настоящий ужас. Гулкая пустота, пугающая торжественность тяжелых каменных сводов, зе́мли, сокровища, власть — все было чужое и еще не понято, не восчувствовано, что свое. Его очень смутили почтительные лица придверников, Родиона, стольника, прежде мало обращавшего и внимания на Феофила, келейников, келаря, служек. Его ввели в покой и почтительно, склоняясь и пятясь задом, удалились. Он остался один. Попробовал рукою выпуклую резьбу владычного ложа. Когда-то, когда он впервые попал сюда, ему очень захотелось сделать это, но не смел. Сейчас сама рука безотчетно выполнила давешнее неутоленное желание. Осторожно двинулся по покою. Взглянул сквозь решетку окна. Трогал лиловый и палевый бархат облачений, золотые сосуды и косился на двери: не вошел бы кто? Словно увидят — прогонят. Вдруг вспомнил все намеки и ясные разговоры не скрывавшихся сторонников Москвы и ее врагов и струхнул до боли в низу живота, так что присесть пришлось. Помоги, господи! Как я буду, как?! Ослабнув, он опустился на широкую кровать Ионы и так сидел недвижимо до прихода постельничего, который помог ему разоболочиться на ночь.

Ночью Феофил проснулся в трепете. Иона, прозрачный, стоял перед ним. Ризничий сполз с чужой посте-

ли, повалился на колени... В окно светила луна, в ее призрачном неверном луче перед ним сияло его собственное нижнее белое облачение, повешенное на спицу прямь кровати. Он не сразу пришел в себя, не сразу решился лечь и задернуть полог.

Назавтра новый владыка начал осматривать хозяйство Софийского дома и принимать дела. К нему потянулись начальники мастерских, пекарен, медовуш, конинных и скотинных стад, владычные наместники, посельские, воевода, казначей, ключники. Разворачивались бесконечные ленты списков, столбцы и вощаные доски, берестяные и харатейные грамоты, которым не было конца. Отложив грамоты, он двинулся в обход своих владений.

В ризнице осмотрел ряды стихарей, расправленных и вздетых на спицы, по нескольку штук один сверху другого, драгоценные облачения из персидской и цареградской парчи, оксамита, обояри, шелков восточных и западных, атласа и бархата, с подбоями из тафты и зендяни синих, лазоревых, вишневых, червчатых, зеленых и алых цветов. Как бывший ризничий, он знал их наперечет: все эти рясы и ряски, саккосы, украшенные дробницами и литыми чеканными пуговицами, густо унизанные жемчугом и золотой канителью; орари и епитрахили, покровы и пелены, наручи, составленные рядами, шитые шелком и низанные лалами, жемчугом, золотой и серебряной нитью, со священными изображениями на иных; архиепископские митры, посохи с рукоятями в самоцветных каменьях или резные из рыбьего зуба, афонского кипариса, из рога Индрик-зверя, что привозят из Индийской земли и достают у народов северных, нагрудные панагии на драгоценных цепочках, усыпанные алмазами, яхонтами, изумрудами, розовым жемчугом и кораллом, иные с заключенными в них чудотворящими останками; сионы: большой золотой, малый золотой, серебряный архиепископа Василия, сион Евфимия Великого... И те, сугубою святостью отличные реликвии, кои хранились особо: крещатые ризы архиепископа Моисея, цареградский белый клобук и саккос с символами евангелистов, шитым изображением богоматери и святых; а также омофорий, современный, как уверяло предание, третьему вселенскому собору, и святые мощи в ковчежцах, из греческой земли привезенные. Он чуть не сделал замечания служке, увидев небрежно брошенную фелонь, замялся — он же не ризничий! И после уж понял, что как владыка

может и должен замечать всякому чину и о всяком нестроении, будь то в большом или в малом, как со злосчастною фелонью. Понял и озлобился на себя и на них на всех — пугающего его Иону, на стольника Родиона, на Пимена, с которым он не знал, как говорить, и избегал встречаться глазами... Все они тут были неревляне, все друзья Борецких, и все, если не в лицо, то позаличью смеялись над ним! Он решительно стал обходить огромное хозяйство владычного двора — поварни, кладовые, набитые добром, в иные из коих еще позавчера его бы и не пустили, зашел в молодечную, где сытые, раскормленные ратники лениво полеживали, перекидываясь в кости и шахматы, спускался в винные погреба и медовуши.

В чашнице Феофил допустил вторую оплошность. Как ризничий, он понимал толк в драгоценностях и потому задержался, въедливо рассматривая собранные здесь блюда, украшенные финифтью мисы, алавастры — узкогорлые сосуды для мира, золотые и хрустальные ладанницы, серебряные с чернью кунганы, чеканные чары, братины с надписями и ликами святых мучеников в золоченых кругах, серебряный панагиар Евфимия, с подставкою в виде четырех ангелов, ендовы, кубки, достаканы, ковши и тарели, кратиры — дары великих бояр и приобретения прежних владык, а также драгоценные цепи и пояса, за право хранить которые бывший ризничий бесполезно ссорился когда-то с чашником Еремеем. Он был один, прислуга осталась у дверей, и мог разглядывать без помех. Залюбовавшись, он взял в руки яшмовый потир, чтобы ощутить приятную тяжесть камня и драгого металла, и весь вздрогнул, чуть не уронив потир, почуяв за спиной человеческое дыхание. Оглянулся — за ним и над ним, возвышаясь на голову, стоял чашник Еремей Сухощек (Еремея бог не обидел ни ростом, ни статью). Феофил с излишней быстротой поставил потир на место, ибо первое, что ему пришло на ум, что чашницкая — это не его вотчина, и, уже поставив, вспомнил опять, что он — владыка. Еремей, пряча улыбку в усы, почтительно пояснил ему, что потир сей цареградской работы, он назвал имя патриарха, при коем потир был сотворен, и другого, при котором он был привезен в Новгород, но Феофил почти не слушал, ощущая мучительный стыд от того, что тотчас поставил потир на место и не мог уже заставить себя вновь взять его в руки, а Еремей, поясняя, взял с бережным спокойствием хозяина. И ничего тут не было особенного, если бы не мгновенная улыбка

Еремея, не тайная насмешка над ним, и Феофил опять люто озлобился, с ненавистью глядя в спину удалявшемуся чашнику, который с этого мига становился первым, после Пимена, врагом Феофила, врагом, от коего надлежало избавиться как можно скорее.

Феофил прошел затем в Софию по внутренним переходам, по которым ходил лишь архиепископ и где он был лишь два или три раза, сопровождая Иону. Заглянул в Грановитую палату, в которой должен будет возглавлять Совет господ (сама мысль об этом ужаснула его). А потом начался прием иерархов церкви и вятшей новгородской господы, и снова речи, прямые и уклончивые, советы и поучения, облеченные в форму почтительных подсказок его преосвященству. А затем предстояло рассмотреть договор с литовским королем, о коем он прежде слыхал только.

У Феофила голова пошла кругом. Он ел, не ощущая вкуса пищи. Одно лишь ясно помнил и знал новый владыка, и из намеков и прямого разговора с архимандритом Феодосием, и собственной потрясенной душой, что ставиться он будет только на Москве, у московского митрополита, ни в какую Литву поганую, в латынскую униатскую ересь, к отступнику и еретику Григорию, будь тот трижды митрополитом русским, он не поедет...

Лишь на второй день, и то по подсказке, Феофил уразумел, что имеет власть смещать и назначать на должности. Он тотчас отстранил Пимена от заведования софийской казной и избрал себе духовника, старца Корнилия, сотоварища по Вяжицкой обители. В тот же день срывающимся голосом, визгливо, впервые он накричал на младшего кравчего (мстил через него Еремею) и, с неожиданной легкостью, удивившей его самого (он не знал, что легкость эта происходила от могущественной поддержки многих и властных лиц, которые ждали только, чтобы Феофил взял на себя почин этого дела), настоял на посольстве в Москву, к великому князю, за «опасной грамотой», на проезд в Москву его, Феофила, к московскому митрополиту Филиппу. Разорванные после высылки великокняжеского наместника отношения с Москвой привели к тому, что положение на границе содеялось, яко ратное, и новому владыке для того, чтобы без задержки добраться до Москвы и быть рукоположенным митрополитом Филиппом в сан архиепископа новгородского, необходим был опас, подписанный великим князем Иваном. В Москву за опасом поехал Никита Ларионов, жи-

тий со Славны, и это был второй из назначенных Феофилом, в пику своему неревскому окружению, людей.

Сам для себя Феофил не хотел ни знать о московском размирье, ни считаться с ним. Но тут, мало не через неделю, двадцать седьмого ноября, на двенадцатый день после его избрания, подходило торжественное, установленное Евфимием Великим богослужение * в память случившегося триста лет назад, при архиепископе Илие, разгрома суздальских войск Андрея Боголюбского под Новгородом, в честь чего при том же Евфимии была написана праздничная икона, самовидно и наглядно повествующая, как происходил этот разгром. И он — он! — только что отославший в Москву Никиту Ларионова, должен будет служить в торжественном архиепископском облачении, в алтабасном саккосе и цареградском омофории, в парчовых ризах и золотой митре владыки новгородского, умоляя господа об одолении над Москвой! (Ибо именно таков был смысл названного празднества!) А тут, и еще прежде того, собирался Совет господ бояр, дабы утвердить договор с королем Казимиром.

— Какой договор, какой король! — Феофил даже замахал руками. — После, после!

Он еще не рукоположен, не поставлен... После! Пусть ответят из Москвы, пусть митрополит утвердит его на архиепископии. После можно будет и рассмотреть. Не торопясь. За февралем, в грядущем году...

Мягко, но настойчиво его убедили, что уже ничего нельзя отлагать, не только на тот год, но и на тот месяц, и даже на ту неделю. Ему прочли текст грамоты, он сам прочел ее четырежды. Из каждой строки глядела необъявленная война с Москвой.

Послание митрополита Филиппа было затвержено им наизусть, послание, каждым словом грозящее им, подобно граду Константина, карой небесной и гибелью за отпадение от Москвы, от православия и совращение в латынство. «Бога бойтеся, а князя чтите!» — писал митрополит.

А тут, мало этого, из Москвы привезли новую грамоту, пространнейшую и ужаснейшую прежней. «Словеса, избранные от святых отец, о гордости величавых мужей новгородских», в коей уже прямо и неприкровенно, со многою хулою, говорилось о Марфе Борецкой и ее детях.

А тут, в церкви святой Евфимии, от иконы богородицы потекли слезы, и на Микитине улице, в том же Плотницком конце, слезы текли от образа святого Николы, и

те знаменья были к худу и пророчили беду Новугороду. Еще же передавали, незадолго до того, по осенине, на Федорове улице из тополья, от верха и из сучья, вода капала, и то знаменье тоже было не на добро...

Нет, он знал, что ему делать! Твердо, хоть и с сожалением в сердце (был пятый день по избрании), он объявил, что никаких праздничных богослужений, никаких боярских Советов, никаких договоров и вообще ничего не состоится, ибо он слагает сан и уходит в монастырь.

Феофила бросились уговаривать со всех сторон: и тайные возлюбленники великого князя (что еще будет в грозящей подняться кутерьме, того и гляди, без всяких новых выборов поставят Пимена!), и осторожные сторонники середины, коих было большинство, и даже сторонники войны, ибо в новой замятне, с выборами нового владыки, они рисковали упустить время и растерять добытое с таким трудом и архинетвердое единство боярской госпóды.

Перед Феофилом за один день прошли настоятели Юрьева, Хутыня, Аркажа, Онтоновского, Никольского-Неревского и Никольского в Загородье, Пантелеймоновского, Благовещенского и иных, крупных и малых монастырей, архимандрит Феодосий, хутынский игумен Нафанаил, вяжицкий игумен Варлаам, назвавший его, увещевая, «сын мой» и недвусмысленно давший понять, что обитель не встретит его с любовью, ежели он отринет крест, данный ему богом.

Явился Захария Овин, раздавивший Феофила прозрачно высказанным презрением и снисходительно-брезгливой жалостью:

— Поможем, поддержим!

Захария Григорьевич явно не мог понять причин растерянности Феофила и подозревал, что избранник Новгорода попросту хочет выторговать себе какие-то еще сугубые выгоды, хотя и без того архиепископ новгородский, владелец трети всех церковных земель Новгорода, ни казной, ни значением не был обделен, поскольку, кроме непререкаемой власти в делах церковных, являлся и главою верховного светского органа республики — Совета господ.

Побывали у Феофила Офонас Груз, Александр Самсонов, Феофилат, Яков Короб...

Новый владыка напоминал хорька, загнанного собаками в угол курятника и не чающего, как вырваться на волю. Он должен был остаться на архиепископии, он дол-

жен был возглавить Совет господ, назначенный утвердить договор с королем Казимиром, и при этом не позже чем через день.

Феофил сдался. Он настоял, однако, чтобы заседание Совета открылось чтением «Словес избранных». Тогда грамоту упросили у него на один вечер для предварительного прочтения. И так это творение московских книжников, позднее в измененном и доработанном виде попавшее во все летописные своды, оказалось в тереме Марфы.

По зову и без зова к ней съезжались взволнованные друзья и соратники, растерянные союзники и тайные недруги Борецких, которым не терпелось посмотреть, как воспримет Марфа редкостное московское послание, о коем уже все слышали, хотя мало кто, да и то бегло, успел в него заглянуть.

Сама Марфа еще не чла грамоты. Ее только что привез Офонас Груз. Но на осторожный намек Якова Короба, что лучше бы обсудить послание прежде в узком кругу неревлян, Борецкая только гневно раздула ноздри. Было послано за Богданом. Запаздывали Онаньич и Феофилат. Мало не весь Совет господ собрала у себя Марфа Борецкая, прежде чем, усадив всех и усевшись сама во главе стола на почетном месте и обведя глазами собрание, кивнула головой своему духовнику, совмещавшему в доме Борецких обязанности исповедника с должностью чтеца:

— Читай! Послушаю, каки таки «Словеса!» *

Духовник, незаметный человечек (готовясь к чтению, он уже пробежал грамоту глазами), вострепетал, забегал глазками, набираясь духу, глянул на важных господ, глянул на Марфу, что сидела прямая, принахмурясь, со скрещенными на груди руками, прокашлялся, глотнул воздуху и, еще раз пугливо оглядев собрание, начал:

— «Словеса избранна от святых писаний о правде и смиренномудрии благоверного великого князя Ивана Васильевича всея Руси, ему же и похвала о благочестии веры, и о гордости величавых мужей новгородских...»

Он приостановился, но величавые мужи слушали молча, не выказывая пока ни одобрения, ни досады, и духовник ободрился, еще раз прочистив горло, зачитал бойчее:

— «Царь царям и господь господам, бог вышний и державный, и крепкий, владыка и творец всех сущих, господь наш Иисус Христос, содержащий царство небес-

ное, начала же и конца не имый, тот единый, сотворивший небо и землю, вся елика хощет, творящий по воле своей, власть бо и славу кому же хощет, ...поставил своей боговозлюбленной земле Русской главу, правдива содержателя и благочестива, исполнив всея премудрости пречестную его главу и устрои его, яко пресветла светильника благочестию, истине приспешника и божественному закону хранителя, и крепка поборника по православии, благородного и благоверного великого князя Ивана Васильевича всея Руси».

— Паче Христа превознес! — громко сказал Богдан, не глядя на чтеца.

Согласный вздох прошел по палате. Это был московский украшенный стиль, «плетение словес», и долго еще приходилось слушать витиеватое славословие Ивану, со многими выдержками из святых отцов, Библии, Приточника и Евангелия.

Новый вздох прошел по рядам, когда чтец наконец добрался до «жестоковыйных мужей новгородских», прилепившихся к латинам, яко древлии израильтяне, телячьей голове поклонившиеся.

Духовник читал, утупляя очи. Он неудержимо приближался к той части грамоты, читать которую вслух ему совсем не хотелось.

— «Отчина князей великих Великий Новгород и все мужи новгородские, и отцы, и деды, и прадеды их, и пращуры, никогда же неотступны были от своих господ, а имя их, великих государей князей, держали на себе честно и грозно».

Московские писцы явно не обременяли себя доказательствами, прямо утверждая то, что им было нужно.

— Лжа! — снова не выдержал Богдан.

Марфа только глазом на него повела. Чтец продолжал:

— «А нынеча новгородские мужи, ради последнего сего времени ту старину всю по грехам забыли, а того дела господарского по земле ничего не исправили, а пошлин не отдают, а которых земель и вод с суда по старине отступились князю великому, да те земли опять за себя поимали, и людей к целованью приводили на новгородское имя, а на двор великого князя на Городище с большого веча присылали многих людей, а наместника его да и посла великого князя лаяли и бесчествовали, да и Городище заяли, ...грубячи тем великому князю...»

Слушатели зашевелились, кое-кто мрачно усмехнулся. Берденев сказал жестко:

— Не диво так деять, коли оны наше своим считают!

Марфа снова только молча кивнула замолчавшему было чтецу.

— «Они же, люди новгородские, гордостию и грубостию рассвирепевшие, взыскаша себе латынского держателя государем, и князя себе у него же взяша в Великий Новгород, киевского князя Михаила Олельковича...»

Марфа, доселе слушавшая молча, наконец не выдержала:

— Чать Михайло князь православной! — сказала и тут же подторопила замнувшегося духовника: — Ну что ты, читай!

Тот жалко поглядел на Марфу и, втянув голову в плечи, затрудненно продолжил:

— «Той бо прелестник дьявол вниде у них в злохитреву жену, в Марфу Исакову Борецкого, и та, окаянная, сплетеся лукавыми речьми с королем литовским, да по его слову хотя пойти замуж за литовского же пана, за королева, а мыслячи привести его к себе, в Великий Новгород, да с ним хотячи владети от короля всею новгородскою землею...»

Лицо Марфы окаменело. Так! Значит, на Москвы и сплетками, что не всякой голь кабацкой на торгу со похмелья повторит, и тем не брезгуют!

Бояре прятали глаза. Кому стыдно, а кто, поди, и рад — пусть прячут! Она сумеет им всем и каждому в особину взглянуть в лицо! На чтеца жалко было смотреть, он все ниже и ниже опускал голову. Офонас завозился было — не прекратить ли? Глянул, смолчал.

— «Да тою своею окаянною мыслью начала прельщати весь народ православный, Великий Новгород, хотячи их отвести от великого князя, а к королю приступити. И того ради оскалилась на благочестие, якоже опая львица древняя, Езавель».

— Иезавель?! — резко переспросила Борецкая.

— Иезавель... — пробормотал чтец и начал было дрожащими руками свертывать грамоту.

— Читай! — грозно потребовала она.

— «Такоже и другая подобная ей бесовная Иродья, жена Филиппа царя, о беззаконьи обличена бывши Крестителем господним, и того ради, окаянная, обольстила своего царя...»

Марфе вдруг стало смешно, гнев почти прошел:

— Колькой год по муже живу, благодаря бога, блудницей еще никто не называвал! — громко возразила она прежним своим переливчатым, вкусным голосом, и лица стариков тоже тронули облегченные улыбки.

— «К сим же и Евдоксия, царица, — продолжал чтец, немного ободрившись, — свое зло наказуя, великого всемирного светильника, Иоанна Златоустого, патриарха царствующего града с престола согна».

Чтец сам приодержался, вопросительно посмотрев на госпожу. Борецкая презрительно улыбалась:

— Ну! Всех в одно место склал. Далилы не хватат!

Духовник опустил очи в грамоту:

— «Такожде и Далила окаянная...»

Тут и многие фыркнули — как угадала! Офонас, любуясь, глядел на Марфу, довольно поглаживал толстыми старческими руками в коричневых пятнах золотое навершие трости. Передолила-таки!

И верно — передолила. Дальнейшее чтение о том, что «окаянная Марфа», своею прелестью «хотячи весь город прельстити и к латынству приложити», обличения Пимена, которого тоже, несколько запоздало, сравнивали с древлесущими отступниками веры, походя браня митрополита Исидора и его ученика Григория, шло под веселый гул и перешептыванья. Вслед за Борецкой и все стали находить многоглаголивое московское послание забавным и уже дружно смеялись, когда, вновь возвратившись к Марфе, сочинитель назвал ее «злой аспидой».

Долго еще длилось чтение, с новыми хулами, угрозами и увещеваниями. Наконец чтец смолк, утирая пот с чела.

Наступило неловкое молчание. Борецкая пошевелила плечами, словно муху отогнала:

— Пишут, что воду льют. Тьфу! И писать не умеют на Москвы. Того более впусте словеса тратят! Поди, не сам и писал, кто составлял-то? Гусев?

— Скорее, Брадатый! — отозвался Богдан.

— Ну. Вода и вода. Черква-то завалилась у его? Успенска? Бают, намешали жидко, не клеевит раствор! Теперича какого немца выищет, а то фрязина. Те ужо слепят ему! Ничего толком делать не умеют на Москвы, все-то у их жидко: и рубль московский жиже нашего, и словеса ихние... Только власть густа! А что, мужики, — повысила голос Марфа, — будто я, баба, храбрее вас?! На Москвы в чести, у царя самого! Царем-то себя еще не называт Иван? Называет уж? Ну! Чти теперь нашу

грамоту, новгородску! Слышали, мужики, знаете, а снова чти! Да не скажет завтра никто, что в латынскую веру волоку!

Грамоту выслушали молча.

— Вот! На всей воле новгородской, — заключила Борецкая. — Как с Мстиславом, как с Михайлой Тверским, как с прежнима князьямы заключали!

Не все, однако, так гладко прошло на Совете господ, как хотела того Марфа Борецкая... «Словеса», читанные накануне, уже не произвели впечатления. Но зато Феофил уперся-таки на своем, с провизгом, во что бы то ни стало требуя мира с Москвой. Он сидел, вцепившись в ручки кресла, поджавшись, брызжа слюной и прикрывая глаза от страха — маленький разозленный хорек, — и не уступал. В конце концов договорную грамоту пришлось изменить, введя, в угоду Феофилу, слова об умирении королем Казимиром Новгорода с великим московским князем и плате за таковое «умирение», а также сочинить особый наказ послам — просили бы Казимира стать посредником в заключении мира между Новгородской республикой и великим князем Иваном.

Новые разногласия начались, когда дошло дело до утверждения грамоты. Для договоров такого значения требовались подписи всех кончанских представителей, бояр и житьих. То есть сейчас нужны были семь боярских подписей. Но если уже и прежде было сомнительно, подпишут ли все старейшие договор с королем, то теперь, когда члены Совета нагляделись на Феофила, собрать их подписи стало и совсем невозможно. Началось с того, что Иван Лукинич отказался подписываться наотрез, мотивируя тем же, чем и раньше, — скорым окончанием срока своего степенного посадничества. Своеземцев сказал, что он и мог бы подписать, но Славна стоит на своем, требует ждать веча, и его личная подпись в этих условиях силы не имеет. Феофилат завилял, а за ним и Лука Федоров. Яков Короб, глядючи на них, уклонился тоже. Совет зашел в тупик, и дело спас лишь Офонас Остафьич Груз, предложив, чтобы подписывали не старейшие, а члены посольства от концов. Он первым поставил свою подпись, и она, с грехом пополам, могла сойти за подписи от обоих прусских концов *, Людина и Загородья, тем паче что степенным на следующее полугодие уже почти наметили брата Офонаса, Тимофея Остафьича. За Неревский конец грамоту подписал Дмитрий Борецкий, за Плотницкий — зять Овина, Иван Кузь-

мин, даже не посадник, а сын посаднич (впрочем, место ему должно было открыться вот-вот: у Ивана умирал отец). Славляне держались своего прежнего решения, но поскольку степенным тысяцким должен был стать славенский боярин, рыжий Василий Максимов, то он и подписал грамоту, разом и за степенного тысяцкого, и за свой Славенский конец.

Так создался этот договор, слепленный из упорства Борецких, твердости Офонаса Груза, осторожной приверженности к традициям всех остальных и трусости владыки Феофила.

В таком виде грамота еще через два дня была представлена на утверждение вечевому собранию.

Заседание это имело и еще одно последствие, впрочем, затянувшееся разрешением почти на год. Получив в «Словесах избранных» опору для своей ненависти к Пимену, Феофил, не решаясь, правда, сразу же отдать под суд друга всесильных Борецких, начал потихоньку собирать сведения: когда и сколько передавал Пимен Марфе денег из владычной казны?

После заседания Совета, прощаясь с Офонасом Грузом на владычном дворе, где Офонаса ждал его обитый кожей возок, а Богдана Есипова — верховой конь, Богдан хмуро сказал, глядя в сторону своими утонувшими под лесом бровей, маленькими глазами:

— Помнишь, Остафьич, покойный Иона, царство ему небесное, когда молил Василья Темного отложить гнев на Новгород, заплакал вдруг и сказал: «Кто обидит людей моих толикое множество и кто смирит таковое величество града моего, ежели усобицы не смятут их, и раздоры не низложат их, и лукавство зависти не развеет?»

Богдан махнул рукой и, не оборачивая лица, зашагал к коню.

Прошли те времена, когда щитники, замочники и кузнецы смещали епископов и вмешивались в дела государственного управления, когда на вече предстательствовали старшины цехов *, истинные представители черного народа, и на них опирались бояре в борьбе за власть.

И все же сила у них была. Пусть замкнутая, перегороженная тысячью плотин, она вечно грозила прорваться и затопить Новгород. И об этом помнили все — и бояре, и житьи. Помнили и боялись. Не побоялась лишь Марфа Борецкая. Через головы боярского Совета, жить-

их, самого Киприяна Арзубьева на неверные весы народного мятежа дерзко бросила она посулы и лесть, свое и владычное золото, чтобы силою этой перетянуть колеблющееся вече.

В последующие два дня в городе творилось невообразимое. Толпы народа по улицам, крики, брань, заушения, вскипающие там и тут драки. Селезнев велел бить и гнать клопских богомольцев, призывающих податься великому князю московскому, и стон стоял до небес.

Слухи, что московский князь берет назад свои требования, переполошили весь Новгород. Почасту бил вечевой колокол. То те, то другие, прорываясь на Ярославово дворище, собирали летучие сходки своих приверженцев. На вытоптанном дочерна настиле оставались рукавицы, шапки, вырванные с мясом пуговицы, клочья воротников, а то и алая кровь.

Иван, что грузил лодьи у Борецких, с началом зимы остался опять без работы. Скоморох Потанька встретил его как-то на улице и потащил с собой, к Селезневу:

— Деньги дают, дура голова!

Работа была заполошная: шататься по городу да кричать: «За короля хотим!», а при нужде и ввязываться в драки. Домой приходил Иван затемно, очумелый и охрипший, служба была не по нему. Потанька тот чувствовал себя как рыба в воде, тряс кудрями, бахвалился, отирая кровь с разбитой скулы:

— Эх, и врезали ж мы им!

В эти последние дни оба аж почернели от устали. Накануне даже и домой не пошли. Иван только передал Анне через сябра, что, мол, не ночую, Потанька и тем не озаботился. Спали в молодечной у Осиповых, на полу, вповалку, вместе с Богдановыми молодцами. Вечером пили, утром опохмелялись, вполпьяна разошлись по улицам. Первая драка случилась у въезда на мост. Одолели было, но тут подвалила толпа плотничан, дуром кинулись на своих и едва разобрались, уже после того, как двоих уложили, едва тепленькими, под стеной Детинца и над ними захлопотала чья-то зареванная жонка. С боем прорывались потом через Великий мост. Толпа орала, сшибая перила, живые тела с хряпом падали на лед. Над головами махались кулаки, ослопы, жерди. Потанька за шиворот оттащил Ивана, спас, а то бы колом проломили голову. На торгу трещали лавки, опрокидывались скамьи. Какой-то высокий тощий мужик, масте-

ровой, взобравшись на кровлю амбара, пронзительным, режущим уши голосом кричал, перекрикивая всех:

— Исак Андреич Борецкой Витовту Порхов продал! * Ну, не продал, а шестнадцать тысящ рублев окупа ему дал! Это какие ж деньги! Двои раз весь Новый Город каменной стеной обнести можно, вота какие! Тут за полгривны неделю спину гнешь, с десяти мужицких дворов в год рубль собирают! У их, у Борецких, размах! Не мельчитце никоторой! Теперь Марфа весь Новый Город Литве продать затеяла!

Потанька полез на кровлю, мужика вчетвером скинули в толпу, на кулаки, и долго трудились над ним. Ноги месили раскисший снег. Новый чей-то крик: «Хотим за великого князя!» — спас мужика. Толпа кинулась туда, а избитый, растерзанный мастеровой, дико косясь на Ивана и волоча ногу, заползал в закут меж лавками, его рвало. Иван, опустошенный, побрел вслед остальным. Понял вдруг, что хочет одного: домой, к Нюре, бросить бы все это! Денег нет, топить нечем, а скоро рождество... Что ему король!

К началу вечевого схода наступило совсем уже неподобное. Выборные веча едва могли пробиться к Никольскому собору. Толпа напирала от рынка и со всех сторон, забиты были все окружные улицы. Крики: «За короля хотим!», «За князя!», «За короля!» — не смолкали. На вечевой башне заполошно, как при пожаре, бил и бил колокол. Пробивающихся к вечу верхами бояр мотало, как лодьи в непогодь. Кони, храпя, оскаливали зубы, начинали кусаться. Двух-трех за ноги стащили с седел.

Ивана Своеземцева у самого веча толпа притиснула к тыну. Слуги потерялись в давке. Вертя головой, он узрел совсем рядом прижатого, как и он, Григория Тучина. Двое холопов тщетно старались оградить своего господина от литого натиска толпы. Неслышный в шуме, Григорий махнул ему рукой. Один из его холопов выдрал Своеземцева из гущи тел, поставил рядом с Тучиным, загородив их спиною. Лицо Тучина подергивалось. На подбородке свежела царапина. Он изо всех сил старался и здесь сохранить свое всегдашнее спокойствие и благородную осанку. Прямо перед ними, за толпою, над морем голов, вздымалась вечевая ступень и крыльцо приказной избы, из которой вот сейчас начнут появляться ораторы.

— Давно ты здесь? — спросил, прокричав на ухо, Своеземцев Тучина.

— Я смотрю! — выкрикнул Тучин в ответ. — Скоморохи!

Голос его был перекрыт грозным ревом: «Долой! Москва! За короля!» В небе надрывался вечевой колокол. Вскоре вокруг них началась новая круговерть. Позовники, бирючи, приставы, вкупе с молодцами владычного полка, работая кулаками и плечами, расчищали вечевую площадь. Старосты вечевого Совета и подвойские собрали, чтобы только сдержать толпу, всех, кого могли. Дюжий ратник чуть не сгреб за шиворот и Своеземцева, хорошо, по платью признал, бросил на ходу:

— Извиняй, боярин!

Тучин высокомерно усмехнулся. На едва расчищенную вечевую площадь начали прорываться по одному выборные, каждого из которых толпа провожала криками, свистом, напутствиями, улюлюканьем или поощрительными возгласами. Колокол наконец смолк, и стало можно слышать друг друга.

— Почему скоморохи? — переспросил Иван.

— Почто твои отказались подписать? — ответил вопросом на вопрос Тучин.

— Курятник! — прокричал Своеземцев в ответ.

— А, Фома! Хорош Немир, своего уговорить не сумел! — Тучин с отвращением смахнул ошметок грязи, брызнувший на его дорогую шубу из-под ног толпы.

— Скоморохи и есть! Что мы можем им обещать? — указал глазами на площадь Григорий, обтирая руку белым шелковым платом.

— Черному народу? — не понял Своеземцев.

— Народу никто ничего не даст! — зло отвечал Тучин, подергивая щекой. — Разве закрутят его в бараний рог! Станет Москва, уж не покричат на вече! Да и налоги не те будут брать, что мы, а втрое. Мой ключник никогда так не обдерет мужиков, побоитце, как дворяна московские!... Что народ! А вот этим, житьим, дворянам нашим, что мы им можем обещать?! Наши земли? Их Иван уже своим дворянам обещал, опоздали! Да и не отдали бы мы все равно... Доспехи полупить с москвичей в случае победы! Взяли мы всё. И всё потеряли!

— Думаешь, не примут?

— Примут! Не слышишь разве?

Его слова утонули в невообразимом крике. Только что кончил говорить Иван Лукинич, почти неслышный в гомоне, и на крыльце показалась Борецкая.

Марфа стала на вечевую ступень. Она была без плат-

ка, в одном повойнике, и темной, блестящей бобровой шубе, одетой в опашь — руки в сборчатом бархате выпростала в прорези, и тяжелые рукава шубы свободно свисали за плечами. Глаза Борецкой отсюда казались двумя грозными провалами на бледном лице.

— Граждане! Братья! Мужи новогородские! Люди вольные! В ваши руки — честь, свободу, гордость города нашего ныне даем! Да не погубит Москва святыни отни! Не дайте себя в холопы дьякам московським! Вы — соль земли! Отринем угрозы! За вольный союз! За короля!

Голос Марфы поднялся, взмыл, лебединым кликом заплескал над толпой. Этого часа счастья у нее бы не отнял никто. Со всех сторон подымались к ней ликующие руки, лица, неслись выкрики...

Вослед Борецкой на вечевую ступень восходили Селезнев, Арзубьев, Еремей Сухощек, Родион, Василий Александрович Казимер, Марко Панфильев, уличанские старосты. Шум нарастал.

— Начинай! Чего там!

Орала площадь. Трещали заборы.

Иван Лукинич сидел в вечевой избе, тяжело навалившись на стол. К сердцу подкатывала слабость. Изредка подымая голову, он прислушивался к гомону толпы за стеной. Подвойские, Назарий и Василий Онфимов, оба бледные, ждали его приказаний.

— Начинай, пора! Не то все разнесут! — сказал наконец Иван Лукинич и прибавил, покачав головою: — Эх, Марфа, Марфа!

Испуганные бирючи дрожащими руками уже раздавали избирательные листы выборным. Пробившиеся на помост ремесленники рвали их из рук житьих. Порядка не было вовсе. Марфины люди напирали со всех сторон.

— За короля! — дружно орала площадь и улицы.

— За короля хотим! — гремело в торгу.

Дворский пробился к Тучину. Принес ему берестяной избирательный лист. Своеземцев сам протолкался к вечевой ступени. Григорий достал костяное писало, выдавил на бересте: «За короля», усмехнувшись, отдал листок дворскому и помахал рукой над толпой, удостоверяя Назария, что отослал избирательный лист.

Шум и крики не смолкали все время, пока шел подсчет. Наконец Иван Лукинич показался на помосте, поднял руку. С трудом установилась тишина. Большинством

голосов вече высказалось за заключение договора с королем Казимиром.

Тут же договорная грамота была скреплена государственной печатью Господина Новгорода и подписями пяти житьих, во главе с Панфилом Селифонтовым, от пяти городских концов, о чем тайные гонцы, загоняя коней, тотчас понесли весть в Москву.

В тереме Борецких собирались потрепанные победители. Посольство к Казимиру готовилось отбыть уже на днях. Новгородский противень — список грамоты — был положен в присутствии пяти членов Совета и должностных лиц в кованый ларь с государственными актами вечевой палаты республики. Копия с противня хранилась у Борецких, на случай внезапной надобности в ней.

Марфа, еще не остыв, расхаживала по столовой палате, кутая плечи в шелковую епанечку. Взглядывала, раздувая ноздри, на мужиков (тут были чуть не все молодые соратники Борецких), что гомонили и закусывали, как после боя, не чинясь и позабыв на время о степенности, чинах и приличиях. Взрывами звучал смех. Савелков вдруг, оторвавшись от стола, прошелся плясом. Девки шныряли с закусками и вином, увертываясь от щипков и непрошеных объятий. Мужики-слуги эти дни все были в разгоне, а сейчас угощались внизу, в молодечной. Там, на дворе, толпились и те мужики, что наняты были бегать по городу. На поварне Борецких кормили и поили всех подряд.

За столом шли разговоры о прошедшем вече, о том, как гнали москвичей с Городца, о нелепых чудесах в Плотницком конце, о том, что плох Иван Лукинич. Молодые посадники обнимались с житьими. Дмитрия Борецкого поздравляли вновь и вновь. Не по раз поднимали чары и в честь Марфы Ивановны...

Назавтра у Борецких собрались на пир старейшие, отметить и обсудить насущные политические дела. Ежегодную службу (праздник чудотворной иконы «Знамения богородицы») в память одоления суздальцев, что подходила уже через день, решено было справить особенно пышно.

С утра двадцать седьмого ноября площадь перед Софией уже была полна народу. Не попавшие внутрь собора толпились на паперти, заглядывая поверх голов в мерцающую лампадами и искрящуюся золотом тьму, расступ-

паясь, пропускали разодетых в лучшие свои платья и шубы великих бояр и боярынь, что пешком подымались в ворота Детинца и медленно проходили, давая обозреть себя со всех сторон, в Софийский собор.

Там, внутри, пар от дыхания и облака ладанного дыма колыхались над толпой в трепетном свете хоросов и лампад. Новый архиепископ, которого многие еще и не видели, в драгих облачениях, с синклитом закутанных в золото иереев, правил заупокойную службу по убиенным под градом. Затем должен был начаться крестный ход через весь город, по Великому мосту, мимо торга, на Ильину улицу, в Знаменскую церковь, откуда икона «Знамение богородицы», заступничеством которой были отвращены от города суздальские рати, последует во главе процессии в Детинец. После чего состоится самая торжественная часть празднества — вынос второй иконы, «Битва новгородцев с суздальцами», и встреча обеих икон в Софийском соборе.

Весь этот путь, туда и назад, Борецкая, как и прочие великие бояре, проделала пешком, в первых рядах процессии. Шел Богдан, шел, грузно опираясь на посох, Офонас Груз, шли мужи и жены, молодые и старые, посадники, тысяцкие, житьи, купцы, старосты улиц и черные люди, миряне и иереи. Впереди колыхались золотые ризы духовенства. Празднично звонили колокола, и ликующими криками провожали шествие радостные толпы народа, забившие все улицы от Знаменской церкви до Софии. И уже не верилось, что всего третий день, как на этих же улицах эти же люди сшибались в кулачном бою, и заполошно бил вечевой колокол, и трещали заборы под натиском озверелых толп. «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» — согласно наклонялись головы, взмывали руки в едином знамении крестном, грозно ревел хор, и начинало казаться, что, подступи москвичи к стенам, сами святители новгородские восстанут из гробов и отвратят беду от своего великого города.

ГЛАВА 11

В рождественский пост, после зимнего Николы, умерла Есифова, вдова прусского посадника Есифа Григорьевича, мать Никиты Есифовича, молодого посадника, друга Дмитрия Борецкого.

Никита Есифов стал полновластным наследником

огромных вотчин Есифа Григорьевича, а его молодая жена приняла заботы по дому, став одною из великих жонок новгородских наряду с Борецкой, Горошковой и Настасьей Григорьевой.

И, будто сменяя ушедшую жизнь другою, новою, жена Федора Борецкого, Онтонина, Тонья по-домашнему, тем же постом, обрадовав отца и бабу, родила первенца, сына. Мальчика назвали Василием, по настоянию Марфы. Ребенок бы хороший, толстенький, веской — как на руки взять. Ему тотчас наняли кормилицу со стороны и приставили няньку из дворовых.

Марфа сама сильными бережными руками ловко запеленывала младенца. В лице у Борецкой появилась примиренная тихость. Баба, бабушка! Второй внучок уже, и оба пареньки. Между семейными заботами она, как всегда, успевала вести огромное хозяйство, принимала начавшие прибывать по первопутку санные обозы, следила за девками, что рукодельничали в девичьей, считала, мерила, сама принимала купцов и торговалась с ними, строила, заказывала образа для новой церкви в Березовце. Дмитрий был далеко, в трудах посадничьих и посольских, и мать не озабочивала его и в мужские дела сына пока не вмешивалась. Федора и того на время оставила в покое.

Ясно стало, что этой зимой войны не будет. Москве угрожала Орда, да и не простое это дело — собрать войска со всех земель, чтобы двинуть на Новгород. Посольство от короля Казимира еще не возвращалось, и ждали его не раньше крещения. В трудах и заботах повседневных неприметно подкатило рождество.

Светлое рождество Христово — самый веселый праздник в году. Дети прыгают, не в силах дождаться, когда можно начинать славить, когда пойдут со звездой, а там игры, гаданья, ряженые — кудеса (или хухляки, или шилигины, кто уж как назовет).

— Баба, я славить пойду! — радовался Ванятка, снимая красные сапожки и разоболакиваясь на ночь. (В отсутствие Дмитрия Борецкая, к неудовольствию Капы, хозяйничала и на половине старшего сына.)

— Пойдешь, пойдешь! Спати надоть! — усмехаясь, укладывала Марфа внука. («Весь в Митю! И тот такой же был настырный да нетерпеливый!»)

— Баба, а ты меня побуди! — бормотал Ванятка, укутанный шелковым одеялом, уже сонный, со смыкающимися глазками.

И так же, как этот наследник сотен деревень с крестьянами, рыбных ловищ, угодий, варниц, торговых пристаней радовался, что завтра пойдет славить и получать в подарок аржаные пряники, так же и дочка Ивана, худенькая светлая девчушка в залатанном платьице, засыпая под вытертой овчинной шубой, сладко грезила о завтрашнем дне и уже украдкой связала плат в узелки — было бы куда складывать славленые пироги.

— Батя, а мы к боярыне Марфе пойдем! — выдавала она отцу ребячьи тайны.

— Куды! На том конци живет! К Захарьиным походьте любо ищо к кому!

— Не! Мы хотим к Марфе! — капризно протянула девочка, уверенная, что отец не откажет ей.

— Спи! К Марфе ей... «Госпожа Марфа» надоть говорить...

В сочельник, под рождество, девки гадали, лили воск и олово на воду, бегали в баню глядеть суженого, выкликали, пололи снег. У ворот окликали прохожих — какое имя скажет, так будут звать жениха. Олена Борецкая сама бегала на Волхово за свежей водой — сидели в нижней горнице с девками, смотрели в кольцо. Сыпали перстни в шапку, под песню вынимали — кому что придет.

Будем перстни трясть.
Будем песни петь,
  Лим-лёли!
Мы кому поем,
Мы добра даем,
  Лим-лёли!
Ай, чей перстенек,
Того песенка,
  Лим-лёли!
Кому выдастся,
Тому справдится,
  Лим-лёли!

С утра только что окончилась заутреня, как на дворе Борецких уже раздался хор согласных мужских голосов:

Христос рождается, славите,
Христос с небес, срящите,
Христос на земли, возноситеся,
Пойте господеви; вся земля,
И веселием воспойте людие,
  яко прославися!

Это собрались свои мужики-холопы и парни-уличане.

За первыми славщиками последовали другие, там третьи, четвертые...

Из поварни Борецких славщикам решетами выносили пироги, подносили пиво. Сама боярыня спускалась на крыльцо, раздавала мелкие деньги. Приходили старики и калики, парни и девки, артельные грузчики, свои холопы. Скоро обширную горницу наполнили дети:

— Баба Марфа, мы славить пришли! — ликуя, кричал Ванятка из толпы ребят, одетых кто как: кто во свое, по росту, ладное и дорогое, кто попроще, кто и совсем в тряпье и опорках. Бедные озирались по сторонам, разглядывали, раскрывая рты, великолепие боярской избы.

— Славьте, славьте!

Скрестив руки на груди и улыбаясь, Марфа слушала, как детские голоса старательно, хоть и не совсем складно, выводят ирмосы, а затем, переглянувшись и потолкав друг друга с юным восторгом, — древнюю поздравительную:

А и шел дристун
Вдоль по улице,
  Лим-лёли!
А кому поем,
А тому добро.
  Лим-лёли!

Она сама раздала малышам козюли, печенные из крутого теста: олешек, всадников, коней и баранов с загнутыми рогами, птиц и те свернутые, заплетенные кольцами витушки, в которых нетрудно было угадать проклятых не один раз языческих змеев. Оленка, Пиша и несколько баб из дворни помогали детям завязывать в платочки сладкие пряники, шаньги и медовые коврижки. Один, маленький, впервые в боярском тереме, струсил, разревелся. Марфа подняла на руки, огладила по голове.

— Сопли-то распустил! — Приняла платок, протянутый Пишей, утерла нос и зареванные глазки. — Как зовут-то тебя, добрый молодец, величают по изотчеству?

Мальчонка робко улыбнулся, потупился. Марфа сама уложила ему гостинцы в плат, перевязала получше:

— На, бежи! Да не робей вдругорядь!

С вечера второго дня уже заходили кудесы. Захлопали двери домов. Косматые фигуры в вывороченных шубах, в бабьих сарафанах, кто козелью — с козьей го-

ловой на плечах, кто лесовиком, кто медведем. Тряпки машутся, хрюкающие голоса, пляшут. Ну, началось!

У Борецких ворота настежь. Одни, другие, третьи! Топот шагов по лестнице, стук в двери, слышно, как отряхают снег в сенях, облако морозного пара — и вваливаются новые. Одни других чуднее, толстые и тонкие, с рогами, хвостами и той еще украсотой, от которой девки закрываются и прыскают в рукава.

Оленка только забежит, схватит кусок пирога, на ходу опружит, обжигаясь, ковшик горячего сбитню — и опять вон из терема.

— Куды?! — окликнет Марфа.

— Мы кудесами!

— С кем-то?

— С Маней Есиповой да с Иришей Пенковой!

— Глядите там, парни изволочат!

— Ничо, Никита с нами!

А то явится со всею свитой домой. Смех, перешутки в задней горнице, и вот выходят: кто козой, кто толстой бабой — титки ниже пояса, кто бухарским купцом либо фрязином.

Федор от молодой жены и новорожденного тоже ушел кудесом. «Кого-то волочили, охальники; други ходят как ходят, ну, снегом покидаютце, а Федор все не может по-людски. То задеретце с парнями, то девок задевать учнет — боярин!»

Маленькие кудеса забежали. Ну, то Ванятка, внук! Так и есть, по голосу признала, еще не умеет говорить-то по-годному.

— Ты в себя дыши-то, кудес!

Потом пришли хухляки с живым петухом. Девки сбежались. Петух, выскочив из коробьи, ошалело тряс гребнем, топотался по полу. Девки сыпали ему зерно — чье раньше будет клевать, та первее прочих замуж выйдет. Не выбрал-таки Оленкиной кучки! Ну, да и приметы не помогут, коли Тучин на уме!

На дворе тем часом — целое представление. Потешные медведи, великаны — по двое сидят друг на друге, иные на ходулях — целое действо разыгрывают — скоморохи, видать! Визг, смехи, шум. Тем кудесам выносили пива, одаряли и деньгами.

Не сошли со двора — новая ватага, прямо в горницу.

— Можно?

Пересмешки за дверью. Слышно, сбивают снег с ва-

ленок. Распахивается дверь — и наполнилась горница. Прыжки, блеянье, ржанье. Таких-то и не видали раньше! Марфа вышла, качала головой — ну и хухляки! Хрюкающие рожи тотчас окружили ее, пошли хороводом, вприпрыжку. Один толстый — сало лезет отовсюду, висит с боков, на ляжках по пуду, а брюхо-то, брюхо! Целая гора, в три пояса перепоясан, и то едва несет. И конец меж ног большой, бурый наперед торчит, сраму-то! И тоже машется. Ну и ну! Марфа замахала руками, а толстый кудес кинулся на нее и поволок к задним дверям.

— Пусти! Да кто таки?!

Марфа отбивалась, рассердясь уже не на шутку.

Кудес пихнул ее за порог, приподнял плат с лица.

— Онфимья! — расхохотались обе.

Куда делась чинная боярыня, куда и шестой десяток лет! .

— Дай посижу. Прикрой двери, а то увидят!

Онфимья свалилась на лавку, поправила сползающий живот.

— Квасу налей! Устала, годы уже не те... К Коробу ходили да к Феофилату Захарьину. У Феофилата гость-от, по говору московськой. Зашла тебе сказать. Ну, прощай!

Горошкова опустила плат и выбежала. Борецкая не успела расстроиться еще, как раздался ликующий крик Ванятки:

— Баба Марфа, иди змея смотреть!

— Змей, змей!

Все разом заспешили наружу. По улице, громыхая и пыхая пламенем из пасти, шел длинный, загибающийся вдоль заборов змей. Мальчишки восторженно орали, бежали по сторонам и сзади, стараясь наступить на волочащийся хвост. Змей весь светился изнутри. Хухляки в расписных, красно-желтых кожаных масках плясали вокруг него.

Змея сделало братство кузнецов, и потому железа на него не пожалели. Он весь был покрыт трепещущей жестяной чешуей, издававшей металлический звон и скрежет. На косматых, завернутых в овчины ногах змея виднелись длинные железные когти, клацавшие по наледенелым мостовинам. Сзади волочился извивающийся хвост. Голова со светящимися глазами и пастью поворачивалась из стороны в сторону, пасть щелкала зубами, раскрывая и закрывая железные челюсти. По временам

из нее вылетал, раздуваемый ручными мехами, сноп огня, и тогда мальчишки, с визгом, кидались врассыпную. Встречные монахи и монахини плевались, крестились и шарахались от нечистого гада.

Олена Борецкая с подружками уже не раз наведывалась к Тучиным то козой, то толстым купцом. У Григория все кто-нибудь гостебничал. Тут зашли — целая шайка столовая сидит, да все знакомые: оба Михайловы, Ревшин, Савелков, Роман Толстой.

Иван Савелков — вот уж глазастый какой, и видел-то не один ли раз только. «Та-то к тебе не по один раз заходит, — говорит, — Оленка, должно!»

Олена выскочила, как маков цвет под платом. Савелков за ней. Скатились с крыльца. Визг, снежки, хохот. Подружки кинулись на Ивана гурьбой. Савелков валял девок в сугроб, с него сбили шапку, набили рот снегом. Отдуваясь, довольный, он катался в снегу сам, ловил то Иринку Пенкову, то Оленку, покатом возил по сугробу. Потом, отпустив девок, ворвался в горницу:

— Братва! Пошли и мы! Живо! Тащи шубы! Гришка, дай жонке от тебя отдохнуть! Ефим, с нами! Тряпки давай, каки есть! Кликни тамо — пущай принесут чего ни то! Лапти есть ле?

Вскоре преобразившиеся молодые посадники гуськом спустились с крыльца. Впереди водяник, обернутый рыболовной сетью, за ним ведьма-кикимора и черт с рогами, с хвостом и кузнечными клещами в руках. Михайловы оделись один персидским купцом, другой — восточной бабой, в долгой красной рубахе и портках.

— Куда пойдем?

— А ко всем поряду! Вон в етот дом, тута бочар живет, Захар Ляпа, айда к нему! — предложил Савелков, выряженный чертом.

— Можно?

Посадники озирались из-под платков. Бедная утварь, брюхатая баба с маленьким на руках, сохнущие тряпки.

— Каки-то кудеса не простые? — признала по дорогому платью хозяйка. — Ай, бояра? Квасу нашего, репного, пожалуйте!

Улыбаясь, она поставила на стол глиняную корчагу и ковш. Сплясав и отведав репного квасу, друзья тронулись дальше, теперь к Есиповым...

И по всему Новгороду, морозному и уютному, в синей фате снеговой, с вырезными мохнатыми опушками кровель, над которыми шапками, как на лапах елей, на-

висает снег, искрящемуся инеем, сказочному, с желтыми, светящимися, как змиевы глаза, окошками, — смех и гам, хлопают двери и скрипят калитки, по улицам движутся удивительные фигуры, машутся рога и хвосты, и маленькие кудесы чертенятками прыгают через наметенные в межулках сугробы.

Марфа долго крепилась, но не выдержала тоже. После того как зашли с медведем и оказались знакомые купцы-плотничана, оделась сама. Ах! Морозный воздух, как купанье, холод, и так легко дышится, звезды над головой яркие, свежие. Вспомнить молодость! До свадьбы еще... Да и после хаживала! Не по Оленкиному бегала, кем ни рядились только!

А по улицам — олени, яги-бабы, шилигины с солнечно разрисованными лицами... Словно не скачут гонцы из конца в конец, подымая снежную пыль, словно не копится сила ратная, не куют оружие, не чинят брони, словно не собираются русские рати двинуться на русский же город, словно посольство Великого Новгорода не спешит из Литвы с подтверждением воли короля Казимира...

И во всех селах и городах Руси Великой в эти же дни ходят ряжеными, кудесами черный люд и купцы, бояре и смерды, и в Русе, и в Торжке, и в Твери, Костроме, Суздале. И на Москве в тот же час, когда Иван Савелков ведет свою ряженую дружину по льду Волхова на ту сторону, в Плотницкий конец, пляшущие хари врываются в терем великого князя, и Мария, вдовствующая великая княгиня, мать самого Ивана Васильевича, одаривает печатными пряниками, серебром и медом святочных гостей. И братья самого великого князя ходят ряжеными по знакомым боярским домам, и даже Иван не по раз милостиво встречает веселых заходников.

Церковь запрещала бесовское каждение, и личины, и хари, но государь должен разделять народное веселье, и потому Иван не только не препятствовал святочным игрищам на Москве, но даже и сам отдал им дань, сходив к Ряполовским под личиною, в наряде крымского купца, неузнан. В прочие же дни святок он был занят с дьяком Степаном Брадатым, нарочно выпрошенным для этого дела у матери, — подбирал договорные грамоты и выписки из ветхих летописей и государева летописца, обличающие неправду «величавых мужей новогородских».

Никогда, кажется, так не гулял, не веселился свя-

точный Новгород, не сыпал так щедро серебро и веселье, словно предчувствуя, что это его последняя гульба, что больше не будет мирных лет, не будет беспечной бешеной удали и размаха разливанного, без конца и без краю, что найдутся скоро ему и край, и конец...

Новгородское посольство воротилось из Литвы в конце святок, когда пешали йордан, святили реку для будущего купанья в ледяной проруби и жонки по всему городу выливали старую воду из кадей и ушатов, с приговоркою детям, хнычущим, что кончилось святочное веселье и боле нельзя рядиться кудесом:

— В той воде все хухляки потонули! Теперича до нового года жди!

Дмитрий приехал хмурый. Пока слуги внизу суетились, убирая коней, поднялся в верхний Марфин покой. Матери, заботливо и тревожно оглядывавшей обветренное, построжавшее лицо старшего сына, рассказал, оставшись с глазу на глаз, что Казимир был очень недоволен статьей, вставленной по настоянию Феофила:

— Мирить нас с князем Иваном ему вовсе ни к чему! Тож и от вельмож литовских слыхали. А еще бают, в Литве неурядицы, Рада враждует с королем, войско соберут ли еще, нет ли, не знать! А тогда мы ли за их спиной отсидимсе али они за нашей? Иван Кузьмин вызнавал: Казимир сына на угорский стол посадил, теперича угров замирить не может...

— Как ни то у них деетце, а в Новгороде пока Михайло Олелькович сидит! — отвечала Марфа, успокаивая его и себя. — И договор заключен тобою, сын! — Она любовно огладила склоненную голову Дмитрия. У самой сердце сладко колыхнулось: так соскучилась по нему. Оба посмотрели разом в глаза друг другу, Дмитрий устало, но твердо, Марфа уверенно и светло. — В эту зиму Иван всяко уж войны не начнет! — присовокупила Борецкая.

После крещения Марфа отправилась объезжать свои вотчины. То же сделали и другие великие бояра, а также житьи, и с их дружинами весть об отложении от Москвы, еще не дошедшая до иных глухих углов, распространилась по всей обширной Новгородской волости.

Февраль был вьюжный. Дороги перемело снегами. Кони бились в упряжи, проваливаясь по брюхо. Возок

часто останавливался, и Марфа, неподвижная, закутанная в меха, сердито ждала, когда слуги дощатыми лопатами раскидают очередной занос и протопчут путь.

В Березовец приехали в потемнях. Старуха ключница, вглядевшись из-под ладони, всплеснула руками:

— Государыня ты наша светлая!

— Узнала, старая! — молвила Борецкая.

Старуха запричитала, бросилась к возку. Марфа ласково отвела ее рукой.

Нахолодавшийся господский дом еще не прогрелся, хоть его топили с утра. Было угарно, и Марфа велела подольше не закрывать вьюшек. Торопливо прибежал посельский.

— После, после! — отмахнулась Марфа. — С дороги каки дела!

Дом был родной, помнился с детства. Девочкой засыпала тут, в этой же горнице. Ссорилась с братом Иваном. Каталась на салазках с горок. Водила хороводы на Троицу. Ловила раков с мальчишками, скакала верхом... Много летов минуло с той поры!

С раннего утра осматривали хозяйство. Боярыня сама заходила в избы, расспрашивала мужиков, считала кули, холсты, кожи. На выбор открывала бочки с грибами и рыбой, пробовала мед. По локоть запускала руки в зерно — не влажное ли? Осмотрев все, за одно похвалив, за другое выбранив, спросила:

— Хлеб когда повезешь?

— Думаю, весной! Как обычно, по реке сплавим... — переминаясь, отвечал посельский, не зная, к чему такой вопрос.

— Зимой вези! — жестко приказала Борецкая. — Не жди! И скору, и холсты. Ко мне, в Новгород. Оброк тоже нынце соберешь! Тута ницего не оставляй! — Она оглядела строгими глазами посад — стояли на высоком крыльце хлебного амбара, — показала кивком: — Гляди, городня похудилась! Отправишь обозы, порозные пойдут — пусть везут камень и бревна. Снег обтает, начинай городить, поспеши!

— Отсеемся...

— До сева! Старостам накажи.

Посельский смятенно взглянул на боярыню, наконец-то уразумел — неужто? (Слыхал уже, да о сю пору все не верилось!) Неужто... И удержал вопрос. Марфа строго свела брови:

— Умедлишь, на себя пеняй!

— Исполню, государыня!

Поклонился посельский, а сам аж взмок: жена, дочь... Пропадут ведь! Неужто, неужто война с Москвой!

Назавтра санный поезд Борецкой тронулся дальше.

Как прежде, несмотря на размирье, шли санные обозы на Москву, Тверь, Устюжну и Вологду. Как прежде торопились в Новгород, к весеннему торгу, низовские и восточные купцы и, как прежде, как было уже не раз, новгородцы крепили Молвотицы, Стерж, Демон, Мореву. Но уже не распоряжались их наместники в Торжке, который лишь значился теперь за Великим Новгородом, и уже многие села и погосты под Торжком и Божецким Верхом, уступленные и проданные новгородцами, заводили на себя московские бояра. Но все еще это был Великий Новгород, охвативший своею волостью весь север страны, до Югорского Камня; одержащий десятки тысяч деревень, сел, рядков, крепостей и посадов, с сотнями тысяч черного народа — крестьян, купцов и ремесленников, с лесами, реками, озерами и морями, простершийся на многие дни пути во все стороны, властительный и богатый. Город, который хоть и не мог уже, как древле, ставить киевских князей на престол и сокрушать суздальские рати, но от решения которого — к Москве или к Литве присоединиться — и сейчас еще зависели, на столетия вперед, судьбы Руси Великой.

ГЛАВА 12

На святках загорелось за Фроловскими воротами, под Кремлем, в ремесленной слободе. Пожар начался в исходе ночи. Огню не дали ходу, кинулись не мешкая. У всех был памятен августовский пожар, слизнувший пол-Москвы. Сам великий князь явился с дворянами и тушил огонь своими руками. Быстро раскидали два обывательских дома, что уже начинали угрожающе дымиться, не глядя на плачущих баб с зареванными детьми, бестолково суетившихся под ногами, спасая тощие пожитки. Крючьями растаскивали пылающие бревна, цепью с ведрами выстроились от Москвы-реки, подавая воду, и пламя, поплясав и пометавшись, сникло, окуталось чадом, высылая там и сям разрозненные длинные языки. Их заливали, затаптывали сапогами, стараясь перед лицом великого князя выказать особое усердие.

Иван любил тушить пожары. Любил неопасную опасность жара, веселого пламени, горького дыма, искр, про-

жигающих платье, завораживающий блеск огня. Любил следить, как сникает пламя, как взметываются и опадают непокорные языки-лизуны и пчелиные рои светящихся искр — любил укрощать стихию. Сильными руками он ловко орудовал крюком, морщась от жара, бил мокрой метлой, не глядя на дворян, кидавшихся аж в огонь перед ним, чтобы защитить государя. Приятно было бить по огню. Искры летели врозь испуганным роем, змеиные головы пламени корчились, как от боли, и шипение черного дерева, окутанного паром, было словно шипение укрощаемого гада.

В этот раз Ивану даже показалось мало огня. Он не ощутил той приятной усталости, которой требовало его молодое, сухощаво-подбористое сильное тело с буграми мышц, вынужденное к долгой неподвижности великокняжеских приемов, званых трапез и многочасовых молебствий, усталости, от которой чувствуется тяжесть рук и просторность широких плеч и от коей прямее сидишь на коне.

Впрочем, для его деревянной Москвы безопаснее, чтобы вообще не было пожаров.

Пока возились с огнем, рассветало. Шафранно-желтою полосою по окоему неба означился близкий восход. Громче кричали галки, тучами реявшие над Кремлем, и воробьи, крылатые обитатели торга. Поднявшийся с зарею ветер нес от заречья тонкий запах хвои и сена, и казалось, что пахнет весной. Ивану подали коня. Он безразлично миновал глазами радостно-угодливую рожу стремянного с пятном сажи на щеке, неторопливо уселся в седло и еще раз оглянулся на дымящуюся черноту, которую смерды продолжали закидывать снегом, на море крыш Китай-города с острыми верхушками шатровых бревенчатых храмов, возвышенными кровлями боярских хором и голыми прутьями садов над заборами, на заречные далекие красные боры, с резкой ясностью подумав о том, важнейшем, что предстояло решить сегодня («Новгород!»), — и шагом тронул коня вверх по косогору, мимо просыпающегося, как потревоженный муравейник, московского торга, что широко раскинулся под стенами Кремля и по берегу Неглинной (и откуда уже бежали опоздавшие зеваки, торопясь поглядеть на государя), к белокаменным башням крепости.

Башни эти уже давно не блистали белизной. В мягкий, кое-где покрошившийся камень въелась несмываемая копоть пожарищ и сажа из труб ремесленной слобо-

ды. Полустертые черные смоляные потоки напоминали об осадах крепости Литвой и татарами, победах и поражениях, когда город сдавали и сплошной пожар бушевал не только вокруг, но и внутри кремлевских стен, черня и прожигая их белый известняк. Приречные каменные городни начинали заваливаться, и по башне около ворот тоже прошла большая трещина, лишь недавно замазанная по его приказу. Внутри этого каменного, построенного Дмитрием Донским, прадедом Ивана, скорее грязно-серого, чем белого, Кремля лепились, буро-черные под снегом, нагромождения деревянных бревенчатых хором и палат великокняжеских, митрополичьих, боярских, приказных, а также клетей, изб, караулен, амбаров, житниц, тюрем, поварен, погребов, медоварен, конюшен, соколен, псарен и прочих деловых и жилых сооружений, среди коих был и золотоордынский посольский двор. Иван все еще не выселил нежеланных гостей из Кремля, хотя распоряжаться, как встарь, они уже давно не смели. Массы народу, мирного и оружного, кишели и сновали среди этих построек с гульбищами, резными крыльцами и островерхими кровлями либо приземистых с пудовыми замками на массивных тесаных дверях.

Среди бревенчатого моря кремлевского виднелись всего два-три скромных белокаменных храма. Небольшой одноглавый Успенский собор, выстроенный полтораста лет назад Иваном Калитой по просьбе митрополита Петра и грозящий рухнуть, со сводами, подпертыми «древами толстыми», о перестройке которого велись неотступные разговоры с митрополитом. Княжеская Благовещенская церковь, в которую проходили прямо из палат великокняжеских, отстроенная дедом Ивана, но тоже уже обветшавшая. Храм Михаила архангела, выстроенный также еще Иваном Калитой, с гробницами князей великих, и тоже зело ветхий. Вот почти вся каменная украсота тогдашнего Кремля. На месте позднейшей величественной колокольни Ивана Великого стояла маленькая каменная церквушка Иоанна Лествичника, возведенная все тем же Калитой. Каменные палаты были только на митрополичьем дворе — строительство покойного митрополита Ионы, двадцатилетней давности, — уже пострадавшие от пожара, с церковью Ризположения при них.

Не было ни шатровых наверший, взлетающих над башнями, ни гордо плывущих золотых глав позднейших величавых соборов. Все это пышное строительство было

еще впереди и в голове Ивана, который сейчас, озирая серые стены, привычно думал о том, что пора бы заменить обветшавшую крепость новой. Да и каменные палаты для себя пора соорудить! Город полнился добром. Амбары ломились овсом, рожью, пшеницей, мукой разного помола, крупами — гречей, пшеном, ячменем, — толокном, солодом. Два житных двора, городовой и княжеский, вмещали кремлевские стены. Тысячами пудов исчислялись запасы соли, масла, кислых и сметанных сыров, сырого и вареного меда. Тысячами бочек — белужина, сиговина, щучина, стерлядь, мокрые осетрьи пупки, осетры шехонские и косячные, семужина, сельди, снетки, зернистая и паюсная икра. Десятками тысяч исчислялись меха: шкурки белок, горностаев, куниц, рысей, бобров, соболей, лис, волков и медведей. А сколько казны, сукон, дорогого товару, седел, сбруи, оружия! Все чаще являлись в Москву послы из земель западных, где, передают, каменных палат в городах множество. Не слабнет и угроза ратная... Да и без того чуть не ежегодно выгорающая Москва требовала более прочных, не так легко обращающихся дымом строений. Митрополит Филипп молил воздвигнуть новый, приличествующий стольному граду храм Успения Богоматери. На храм нужны были деньги немалые... Так же ли митрополит Петр в свое время молил Ивана Калиту заложить вот этот, подпертый древием, храм? Митрополит уже видит в мечте новую церковь, схожую со знаменитым Владимирским собором, строительством Андрея Боголюбского, Юрьевича, Мономашьего внука. Сам же Иван еще не знал, каким будет его Кремль. Не знал даже, белокаменным или иным, и видел привычно белокаменным. А Кремль, когда пришел срок отстраивать новые стены, стал краснокирпичным, и только в песнях упрямо продолжал зваться белокаменным, белокаменною Москвой. И уже в новом обличье продолжала затем Москва расти в небеса и украшаться шатровыми завершениями башен, из крепости превращаясь в сказку, невиданную и неслыханную прежде. Но гусляры не замечали цвета кремлевских стен и башен. Песня своевольна. Она забудет гордую славу полководца и запомнит безымянного добра молодца, погинувшего в степи. Новый Кремль стал окаменевшею волей самодержавия. В песнях остался прежний, что был выстроен на взлете народной мечты, воплощенной в ликах Андрея Рублева, при Донском, и простоял в бурях осад и нашествий до дней окончательной победы над

Ордою, объединения страны и утверждения единовластия Ивана Третьего.

Воротясь, Иван умылся и переменил платье. К новгородским делам, как он собирался с утра, сразу приступить не удалось. Надо было принять и расспросить казанского посла. Царь Обреим, кажется, вновь грозил выйти из повиновения. Затем его просила быть у себя мать, Мария. И он, оставя все дела, тотчас отправился к ней.

К матери Иван относился с подчеркнутым, почтительным уважением. Советовался о всем, хоть и решал дела своею волею. Никогда ни словом, ни жестом, ни хмуростью бровей не выказывал ей неудовольствия или ревности, когда она привечала и дарила, в ущерб ему, любимца своего, Андрея-меньшого, младшего из пяти сыновей покойного Василия Темного.

Скупой на земельные пожалования, не столько даривший, сколько прибиравший к рукам вотчины удельных князей, Иван матери своей делал крупные подарки землями. Впрочем, то были дары в одной семье, которые должны были воротиться когда-нибудь к нему же. С родными братьями уже был заключен ряд о престолонаследии и нераздельном праве старшего на великокняжеские земли. Не следовало допускать того, что произошло при деде: не добился крестоцелования от брата Юрия *, и пошла резня. На всю жизнь запомнил Иван тогдашнее ночное бегство к Ряполовским из Троицкого монастыря, где Иван Можайский у гроба Сергия-чудотворца схватил их отца, тогда же и ослепленного злодеями. Бегство ночное, непонятное, суматошное. Ивану шел всего шестой год, и они с братом не понимали, ни почему, ни от чего бегут, ни где их отец, великий князь. Бежали под Юрьев, в вотчину Семена Ряполовского, сельцо Боярово. И запомнились тревожные дни потом, и странные лица холопов — с тех пор он никогда уже не видел таких лиц, лиц, рождающих смутный ужас. И когда впервые узрел слепого отца, сильного, большого, а тут исхудавшего, безглазого, жалко подымающего голову, прислушивающегося к шагам. Его быстрый гнев от бессилия сделать самому потребное. Как он руками ощупывал их и Иван сдерживал себя — хотелось убежать, спрятаться, — отец убеждался, что это они, его дети. Потом привыкли понемногу. И Василий научился держаться слепым. Не спотыкался о пороги, спокойно шагал, когда вели под руки, величественно слушал в Думе, не

волновался так от стыдных мелочей. Еще и за то Иван уважал мать, что она все делала, чтобы смягчить отцу тягостное его состояние.

Незадолго перед смертью (Иван ненароком подслушал этот разговор) отец спрашивал мать домашним своим голосом, не тем, которым говорил с боярами, а другим, тихим и беззащитным: «Как выгляжу? Остарел? Страшной, поди?» И мать отвечала: «Для меня ты всегда хорош!» — и добавила, с ласкою, любовно: «Старый мой!» И не пожалела ведь, не обманула, а нашла, как отмолвить лучше всего. Иван поскорей отошел от двери покоя... И за ту ласку душевную, подслушанную ненароком, уважал он ее больше всего.

У матери Иван пробыл долго. Решил, не откладывая, семейные дела, из-за которых мать и позвала его к себе (опять, как и думал, долги Андрея-меньшого!), трапезовал у матери, в ее личном покое, чем-то напоминающем келью. От матери и пахло нынче по-келейному, кипарисом и ладаном. Небольшая, чуть огрузневшая, с внимательным взглядом светлых, окруженных сеткою мелких морщинок глаз, Мария, вся в черном — так ходила после смерти Василия, — неспешно распоряжалась за столом тихо сновавшею прислугой, сама плавными сухими руками наливала, подвигала старшему сыну блюда. Иван оглядывал изредка тесный материн покой, пристойно уставленный дорогой утварью — мать, его заботами, не должна была нуждаться ни в чем (даже свой полк со своим воеводою имела вдовствующая великая княгиня). Поблагодарил мать за Брадатого. Ученый дьяк находился после смерти отца при дворе вдовствующей великой княгини и был лишь недавно уступлен ему матерью нарочито ради новгородских дел.

— Степану верь! Он родителю твоему помогал противу Шемячичей! — отмолвила Марья. — И Ряполовским верь! — прибавила она погодя.

Иван промолчал. Ряполовские начали слишком возвеличивать себя в последние годы.

— Данило Холмской хочет в воеводы на Новгород! — сказал он, помедлив.

Холмский был принятой, из тверян. Впрочем, мать тоже из Твери родом! Отталкивать принятых нельзя было, но и привечать в ущерб своим опасно. Мария поняла с полуслова:

— А ты и его и Стригу пошли! Чать не зазрят!

Совет был разумным. Тем паче что Стрига-Оболен-

ский уже ходил на Новгород при отце, пятнадцать лет назад.

Иван спрашивал, отвечал неспешно, но сам, как и в прежние посещения материнского терема, испытывал двойственное чувство. Тут он был сыном, хоть и старшим, тут, и только тут, с него слагалось на время бремя великое — бремя быть первым после бога лицом в государстве Русском. И вместе с тем именно тут он не мог, не вправе был забыть о своем великокняжеском достоинстве. Не мог из-за братьев, связанных договором, отдающим в его руки всю полноту власти, но равноправных с ним здесь, за сим столом, перед лицом этой старой, опрятной, строго-внимательной женщины, их общей матери. И потому, принимая блюда, стесненно склоняя голову, взглядывая изредка в заботливые глаза Марии, Иван все не мог полностью распуститься, ослабиться, не мог даже здесь позволить себе побыть просто сыном, а не великим князем и государем московским.

Едва Иван воротился к себе, его отвлек юный княжич, Иван Иваныч, прискакавший с двухдневной охоты со свитою осочников, стрельцов, трубников и выжлятников.

— Батя! А мы трех волков затравили! Матерых! А ты опять пожар тушил?! — воскликнул княжич, подбегая к Ивану и с восхищением заглядывая ему в лицо.

Ясные серые материнские глаза покойной тверянки Марии, разгоревшееся на холоде лицо. В его возрасте, двенадцати лет, Иван ходил походом в новгородские пределы, на Кокшенгу, с татарским царевичем Ягупом против войск Дмитрия Шемяки. Рослый сын, в отца. Стройный, красавец.

Еще и потому нравилось тушить пожары, что этим Иван, не любивший ратных трудов и никогда сам не кидавшийся в бой, как то делали отец и прадеды, все же казался храбрецом в глазах сына.

Пришлось выйти, посмотреть добычу. Волки были добрые, особенно один хорош: с седым загривком, толстыми лапами и оскаленной в смертном усилии пастью, способный враз перекусить руку. Пришлось и одарить ради сына охотников, разом поснимавших шапки перед государем.

Все это время Степан Брадатый ждал с готовым рукописанием. Ради такого дня он особенно гладко зачесал и умастил маслом свои серебристые волосы и был в новом, застегнутом на все пуговицы терлике, над коим по-

трудилась вчера вкупе с прислугою сама Степаниха, Агафья Петровна, дебелая супруга Брадатого, гордая не менее его самого тем, что муж будет делать доклад государю. На досуге, чтобы не сидеть без дела, он продолжал сверять владимирский летописец с летописцем Великого Новгорода — работа, начатая им уже два месяца назад, — и подторапливал младших дьяков, переписывающих набело нужные для государя грамоты. Они уже дважды прерывались для трапезы, но и тогда были готовы ежеминутно схватиться за дела. Горница, где разместился Брадатый с подопечными, находилась в палатах самого великого князя, и Ивану достаточно было, не одеваясь, пройти висячими переходами, чтобы нежданно оказаться перед ними. Поэтому и трапезовали с береженьем. Степаниха, предвидя долгую отлучку мужа, послала с ним холодной севрюжины, туесок с медовым взваром, нарезала хлебцы, заранее намазав маслом, чтобы все легко было, разложив на полотенце, тут же, свернув, и спрятать назад, буде послышатся шаги государя. Младшие дьяки ели особо, запивая квасом сушеного леща, но также готовы были тотчас скрыть следы трапезы и, обтерев персты о волосы, принять вид достойный.

Тридцатилетний великий князь и государь московский Иван Васильевич, Иван Третий, правнук Дмитрия Донского, никогда не был в Новгороде. Не видал его изображений, которых в ту пору еще не существовало. Более всего он представлял себе Новгород по рассказам братьев и еще из грамот, летописей, посольских дел. Но такое знание зыбко, бесплотно, непредставимо и легче всего подвергается мысленным искажениям. Самым точным сведениям грамот всегда не хватает образной зримости. Новгород для Ивана был не столько живым городом, сколько целью, идеей, замыслом, ждущим своего разрешения.

Он прошел по крытым переходам. Дьяки, заслышав его шаги, встали и, стоя, низкими поклонами приветствовали государя. Он ответил им легким наклонением головы и сел в прямое четвероугольное резное кресло, с удовольствием сдавив сильными пальцами гладкие навершия подлокотников, потребовал грамоты. Решенную войну с Новгородом мыслилось оправдать в глазах всех, кто имел власть и право участвовать в решении судеб государства. Также хотелось выяснить наконец, почему во время похода на Новгород лета шесть тысяч шестьсот

семьдесят седьмого были разбиты войска Андрея Юрьевича Боголюбского?

Степан Брадатый начал подавать ему списки, властно принимая их из рук младших дьяков, которые в присутствии великого князя совсем уничтожились, и с почтительным подобострастием передавая Ивану. Во-первых, Яжелбицкий договор * Василия Васильевича, заключенный после победы над новгородцами в последней войне, где были красною чертою выделены великокняжеские требования, принятые новгородцами. Затем двинские грамоты за двести лет: соглашения о землях и промысловых угодьях Андрея Александровича, Ивана Калиты и Дмитрия Донского; уставная грамота Двинской земле * Василия Дмитриевича, деда. Эта была особенно важною. В ту пору двиняне передались великому князю, сами передались, и если бы не решительный и, к несчастью, победоносный поход новгородцев... Он потребовал список великокняжеских владений на Двине, уже известный ему почти наизусть, и судные списки двинских дел поземельных. Ясно было, что, например, Кевролу, а также Чаколу с прилежащими землями можно считать своей.

— Все ли «сказки» подали, кто из москвичей противу новгородцев по суду на землях и на водах искал?

Брадатый молча протянул следующую грамоту.

— Выписки из судной грамоты, что показуют неправду суда их... — Брадатый протянул столбец, даже не дослушивая великого князя.

Тут — старина. Суд княжой был воистину утесняем противу прежних времен, когда княжеский наместник стоял выше посадника, и печать была при грамотах князей великих, а не одна новгородская, Великого Новгорода, как повелось у них нынче. В суде он волен требовать того, что принадлежит ему по старине, по древнему праву. В конце концов можно даже и всех двинян рассматривать как подданных. Вернее, как изменников великому князю! Он задумался, и Брадатый с подопечными замерли на своих местах, не шевелясь. Потом попросил договорную грамоту Дмитрия Донского с Новгородом и еще раз внимательно перечел место, где говорилось о союзе и совместной борьбе с общими врагами, Литвой и Тверью. В первую очередь с Литвой... Иван нахмурился: возможно ли считать новгородцев отступниками? Брадатый, как будто читая в мыслях, подал ему грамоту, оплаченную кровью серпуховских детей боярских (их били кнутьем, резали руки, ноги и носы, иным

отсекали головы). Грамота та была соглашением Ивана Андреевича Можайского и Ивана Васильевича Серпуховского — заклятых ворогов Ивана, бежавших в Литву. Восемь лет назад, при отце, был раскрыт заговор, изменники мыслили освободить из затвора князя Василия Ярославича. К счастью, Володю Давыдова, что вез грамоту, успели перехватить. Степан Брадатый, конечно, считает, что этой грамоты достаточно, чтобы обвинить в измене заодно и новгородцев. Если бы только и все так считали! Князь Василий Ярославич, троюродный дядя Ивана, что сидит пятнадцатый год в затворе, спасал отца после ослепления. Лучше не ворошить этого дела! Василий Ярославич жив и все еще не собирается умирать, и даже помочь ему в этом, как помогли Шемяке, опасно.

Он начал спрашивать, Брадатый отвечал. Иван внимательно смотрел на дьяка своим пристальным, пронзающим взглядом, взглядом, которого трепетали многие, а иные даже не могли вынести. Но тот, преданно взирая на государя, говорил ясно, спокойно, гладко и явно ничего не скрывал. Обратились к прошлому. Брадатый не мог понять, почему Иван так подробно расспрашивает, вновь и вновь к тому возвращаясь, про чудо с иконой «Знамение богородицы», коему новгородские летописцы приписывали разгром суздальских войск.

Некоторых действий великого князя Брадатый вообще не понимал. Так, он был уверен, что боярское звание не заставит Дмитрия Борецкого отказаться от своих планов, и так оно и произошло. Но Иван не казался рассерженным или обманутым. Обычное спокойствие в делах не покидало государя.

Кое-кого из старых советников гневливого и скорого на решения покойного Василия Васильевича приводило в недоумение рытье молодого князя в архивах. Покойный отец Ивана не стал бы собирать грамоты, считывать тексты старых договоров, искать по летописям, правы или нет новгородцы, а просто еще этою зимой двинул войска на Новгород, вернул княжьих наместников на Городище и взял окуп с непокорного города.

Подобных недоумений у Брадатого, впрочем, не было. Законник и знаток летописей, он от своей нынешней работы испытывал подлинное наслаждение. Ему хотелось бы только, чтобы государь больше полагался на его, Брадатого, таланты и усердие. Но Иван упорно собирал и перебирал грамоты, сам считывал летописи, не доверяя

вполне и Брадатому, советовался с воеводами, никого не слушая полностью, а всех в какой-то мере, применяя их мнения к своим, никому не высказываемым мыслям.

Иван обладал свойством, которое на позднейшем усложненном русском языке стали называть целеустремленностью, и драгоценное это свойство, подкрепленное всем развитием Московского государства, счастливо миновавшего полосу междоусобных войн, начинало давать свои плоды.

Он был скуп, вернее бережлив, от рождения. Наследственная черта, от Ивана Калиты идущая, передалась ему в полной мере. Так же, как учитывался родителями тот золотой пояс, из-за которого возгорелась война с Шемячичами, учитывались им самим наследственные и приобретенные дорогие одежды, пояса, кубки, ларцы, кресты. Но по мере того, как беднели, залезая в долги, удельные князья, богател великий князь московский. И уже выстраивались в кладовых ряды золотых и серебряных ковшей, кубков, чаш, блюд, овначей и стаканов, множились ларцы костяные и кованые с золотом, кружевом, лалами, яхонтами, мелким гурмыжским и крупным новгородским жемчугом... Уже он сам не вдруг мог припомнить все шубы, терлики, опашни, кожухи, вотолы, саженные жемчугом, крытые атласом и лунским, ипским или скарлатным сукном, все атласные одеяла, ожерелья, цепочки, рясы, серьги, чарки и золотые кресты покойной жены.

И уже вещи от множественности своей начинали приобретать иное значение. Среди них выделялась своя знать — наследственное, неотторжимое имущество великого князя. «Золотой крест Парамшина дела с цепью» и крест чудотворца Петра, наследственно передаваемая «золотая икона на изумруде», древний цареградский кубок. И уже «сардоничная коробка» — переходивший из поколения в поколение сердоликовый ларец, — стал ларцом самого римского кесаря Августа. Золотые оплечные бармы — бармами византийских императоров. А золотая шапка арабской работы, подаренная ханом Узбеком Ивану Даниловичу Калите, превратилась в шапку Владимира Мономаха, будто бы привезенную ему вместе с бармами в дар от кесаря цареградского.

Читая в летописи жития Владимира Святого, крестителя Руси, и Владимира Мономаха, Иван ревниво сравнивал себя с ними. Золотой киевский стол имел величие, которого до сих пор недоставало Москве, величие

древности, величие, в котором даже мятежный Новгород обгонял столицу Ивана. Киевские князья свободно роднились с кесарями Византии, и мысль о греческой царевне из дома византийских императоров подспудно зрела в уме целомудренно вдовствующего четвертый год государя (мысль эта, впрочем, начала уже и воплощаться, пока — в виде переписки о невесте с римским папским престолом).

Скупость переставала быть скупостью и уже почти становилась величием.

Скупость в раздаче земель, которые Иван давал только в службу и под условием службы, никогда не даря в вотчинное владение, превращалась в правило государственной мудрости. И толпы боярских детей, получивших землю в условное держание, составляли все более грозную силу одетой в броню дворянской конницы.

Ссужая деньги взаймы братьям, выплачивая татарскую дань за нищающих удельных князей, Иван постепенно прибирал к рукам их земли, готовясь к тому, чтобы и вовсе уничтожить уделы. И точно так же кропотливая возня с новгородскими грамотами нужна была ему как основание замыслов не только нынешних, но и грядущих, загаданных на годы вперед.

Наступил черед приготовленного Брадатым доклада. Старший дьяк пригладил свои и без того гладкие волосы, не без торжественности разложил рукописание и начал читать ровным бесстрастным голосом книгочия, зарывшегося в харатьи пожилого мирного человека, голосом, нарочито приноровленным им к обычной и, как он уже понял, зачастую обманчивой сдержанности молодого государя, имевшего обычай переспрашивать, казалось бы, досконально ясное.

Мерным голосом Брадатый перечислил князей, сменявших друг друга на столе великокняжеском, вплоть до Владимира Всеволодича Мономаха.

— «Сей же созва к себе в Киев на суд боляры новгородския и кого роте приведе, а кого оковаше в оковы и поточи в Киеве. А они, мужи новгородския, на грамоты Ярославли указуют, дак то опосле Ярослава было! И затем посади Мономах в Нове Городе на столе сына своего, Мстислава, а сей, выйде Киеву, остави на столе своего сына, Всеволода Мстиславича».

— Его и выгнали?

Брадатый твердо выдержал взгляд государя. Ответил, опуская очи к грамоте:

— С того отступления пошли беды вся Новугороду! Но и паки же суздальстии князи держали Новгород своими сынми, и великий князь Юрий Владимирович Долгорукий, и сын его, Андрей Юрьевич, иже по селу своему излюбленному Боголюбским прозывается.

— Но его полк и разбит под Новым Городом заступничеством иконы «Знамения богородицы». «...И продаваху суждалец полоненных по две ногате», — отчетливо перебил Иван, повторив летописную строку.

Брадатый осклабился, покачал головой, осторожно возражая. Руки его протянулись к толстой книге. Он, не глядя, разогнул листы на заложенном месте, близоруко щурясь, отыскал нужное, приговаривая:

— В летописце харатейном инако сказано... — Нашел и прочел внушительно, даже перстом указуя: — Сказано! «Не глаголем же, прави суть новгородцы, но злое неверствие в них вкоренилось крест ко князем преступати, и княжи внуки и правнуки обесществовати и соромляти, а крест честный к ним целовавше, преступати. То доколе господеви терпети над ними! За грехи навел и наказа по достоянию рукою благоверного князя Андрея».

Брадатый заложил опять книгу и выпрямился, довольный собою. Но Иван хмуро глядел на дьяка, не возражая более, но и не соглашаясь с ним. Сказал коротко:

— Чти!

Степан Брадатый, объяснив Липицкий разгром суздальских войск братними раздорами князей, добрался наконец до «Святого благоверного доблестного князя Александра Ярославича Невского».

— «И земли тогда были его, княжеские, что нынче отошли овые к владыке, иные монастырям ли боярам высокоумным и дерзким. Александр Ярославич брал села и пожни под себя (при этих словах Иван согласно склонил голову), посуживал грамоты, суд вершил по своему князеву слову, в Торжке и Волоке закладников принимал, взял себе Терьскую сторону, посылал туда данщиков княжих, а Новгород давал им подводы на путь. Непригоже тебе, государь, того отступатися, что пращур твой, Александр, держал! И такоже он, пресвятой великий князь Александр Невский, медоточивых речей папы Иннокентия не прия и веру православную сблюде. Немцы разбиша под Копорием, а изменников, переветников, извеша!»

Брадатый взял летописец и перечел с видимым удовольствием. Слово «извеша» подчеркнул голосом и взглядом, но Иван оставался бесстрастен. («Не в отца! Вешать, вешать их надоть, а он молчит!») Брадатый вздохнул и вновь принял тон бесстрастного повествователя.

Прослушав доклад до конца и сделав несколько поправок, которые Брадатый тотчас записал, чтобы переработать текст в точности по указаниям государя, Иван вновь возвратился к злосчастному разгрому суздальских войск трехсотлетней давности.

«Неужели он боится?» — вдруг подумалось Брадатому, и мысль эта, тотчас упрятанная им, была приятна. Она чем-то сближала, уравнивала, делала государя более понятным, давала ему, Брадатому, некую тайную власть над молодым великим князем, власть, проистекающую из возможности почтительного, с глазу на глаз, ободрения. Все-таки он, Брадатый, старый советник отца великого князя! Его заботою прекращена тридцатилетняя усобица с Юрьевичами, погашен этот факел раздоров, и прах беспокойного Дмитрия Шемяки с той поры мирно покоится в Юрьеве монастыре под Новгородом... Понятия греха, так же как и личной ответственности в делах подобного рода, у Степана Брадатого не было, ибо ответственность и грех, буде они есть, целиком ложились на плечи московских князей великих. Его же, Брадатого, назначение — исполнить, а иногда — подсказать, оставив решение опять же на волю и совесть великого князя. И этою своей малозаметной, хоть и важною деятельностью при государях Брадатый гордился более всего. Она чем-то возвышала его над тщеславной храбростью воевод и самолюбивой мудростью думных бояр великого князя, многих из которых Брадатый весьма не любил. Он был рад, когда этот выскочка, Федор Басенок, в борьбе, начавшейся после смерти Василия Васильевича, потерял очи. С тех пор молодой государь крепко забрал власть в свои руки и забирал ее все крепче. Это успокаивало, давало прочность, основательность всему и возвышало его, Брадатого, деятельность перед делами заносчивых вельмож. Они везли, он же, незаметный и необходимый, держал в руках нити, соединяющие великое здание государственности.

Отпустив Брадатого, Иван задумался. Собранных данных как-то не хватало для оправдания новгородского похода. Если бы не было пресловутых грамот Ярослава!

«Вольны во князьях...» Сама мысль о чьей-то чужой воле, противоречащей его собственной, вызывала в Иване глухое раздражение. Тем паче что это была не воля одного лица: короля литовского, или хана Золотой Орды, или иного государя, с которым понятно было, как вести переговоры. Нет, это была воля неизвестно кого! Борецких? Уж не вдовы ли Исака Борецкого?! Иван усмехнулся. Феофилата Захарьина? Самсоновых? Офонаса Остафьевича? Захария Григорьевича? Воля веча! Всех вместе...

Посольство Василия Онаньина вызвало в нем особенный гнев опять этими отсылками на безликое вече. «Не наказывали!» Кто не наказывал?! Иван знал поименно всех посадников Великого Новгорода, и никто из них в отдельности не посмел бы противоречить его воле. Не только из бояр Славенского конца — один Иван Офонасович, да и тот... Просил тогда войск для похода на Псков, воин! Не только из бояр Плотницкого, но и из бояр Софийской стороны вряд ли кто один на один взял бы на себя смелость противустать великому князю. Даже Дмитрий Борецкий, даже Онаньин, даже сам Богдан Есипов, даже Офонас Остафьев, даже они! Молодые? Савелков? Тучин? Василий Селезнев? Марфа Борецкая! У нее самой и права того нет! Жонок посадниками не выбирают... Хоть и то больно много власти у баб в Новгороде Великом! Да и все равно одна она ничего бы не сделала! Вече? Купцы с их старостами? Подлый народ, ремесленники и мужики?!

Надо опереться на церковь. Этот Феофил, слышно, боится Москвы. И к лучшему... Сколько, однако, земель у дома святой Софии Новгородской?

Да, он имеет право судить непокорный Новгород! И об этом должны знать все! Пусть Степан Брадатый рассылает свои рукописанья! Пусть богомолец, митрополит Филипп, тем озаботится! Прежнее его послание не возымело успеха. Теперь доносят, что тех попов, что чли послание митрополита с амвона, новгородцы лишили руги — голодом решили заморить! Митрополиту уже послано сказать об этом...

Но как же все-таки было с войсками Андрея Юрьевича?

Боголюбский послал на Новгород значительные силы. Владимирскую рать, и смоленские войска, и рязанские, и муромские — мало не всю землю Русскую. Почему они были разбиты? Ни в летописях, ни в объяснениях дьяка

Степана Брадатого он не находил иных причин тому, кроме чудесного заступничества Богородицы. Город был окружен. Войска два дня бились, загоняя внутрь выходивших на вылазки новгородцев. Ежели бы их остановили на пути, где-то на Ловати, в болотах, даже под Русой — это легко понять! Но почему победоносное войско побежало именно тогда, когда был совершен крестный ход по стенам и оскорблена святыня?! Непонятно! И влияние покойного архиепископа Ионы на отца тоже было непонятно ему. Новгородские святые, этот их Варлаамий Хутынский, вызывали враждебное чувство и смутную боязнь.

Что ж! Чудотворная «Божья Матерь Владимирская» не один раз отвращала от Москвы вражьи нашествия! В конце концов только чудом можно было объяснить поражение суздальских полков.

Иван вживе представил себе разгром московских ратей, бегство, прорывы конницы, брошенные обозы, панику... В душе он не любил войны. И не любил за эти постоянные неожиданности военного счастья. Рассчитать до конца войну, чтобы знать наперед, за каким действием какое должно обязательно последовать, так, как рассчитывал он ходы во время игры в шахматы, не представлялось возможным. Иван был великий шахматист, только пешками для него были люди, а тавлеей — шашечницей — расчерченная струями рек, разноцветьем лесов и пашен Русская земля.

Он медленно закрыл толстую кожаную книгу и аккуратно застегнул медные застежки переплета. Поднялся. Оглядел покой. «Гонимы гневом божьим!» О чуде обязательно следовало поговорить с духовным отцом — митрополитом Филиппом. Государь должен предвидеть все.

В марте, на вербной неделе, собрался военный совет. Возвращения посольства Товаркова, на которое было мало надежды, ждать не стали.

Совет, или Государева Дума, собрался в большой дубовой палате великокняжеского дворца (в то время, и еще много спустя, сплошь деревянного), где государь сидел на резном деревянном кресле — «столе», с подлокотниками, подножкою и прямою высокою спинкой, а бояре по стенам, на лавках.

Иван Третий, как и ряд его предков, надевал шапку Мономаха, которая формою своей была схожа с шапками древних русских князей, круглую, с меховым околышем. Княжеская эта шапка на Совете, таким образом, была остатком древнейших, в позабытой мгле утонувших времен, когда славян, живших на Днепре, еще звали антами, а княжеские соймы собирались на ковре, под открытым небом. Шапки были знаком достоинства князей-братьев, участвующих в Совете. Позднее шапок в домах не снимали татары, и в постоянных сношениях с ними русские вельможи усвоили тот же обычай: не снимать же шапки, ежели поганый посол татарский ее не снимает!

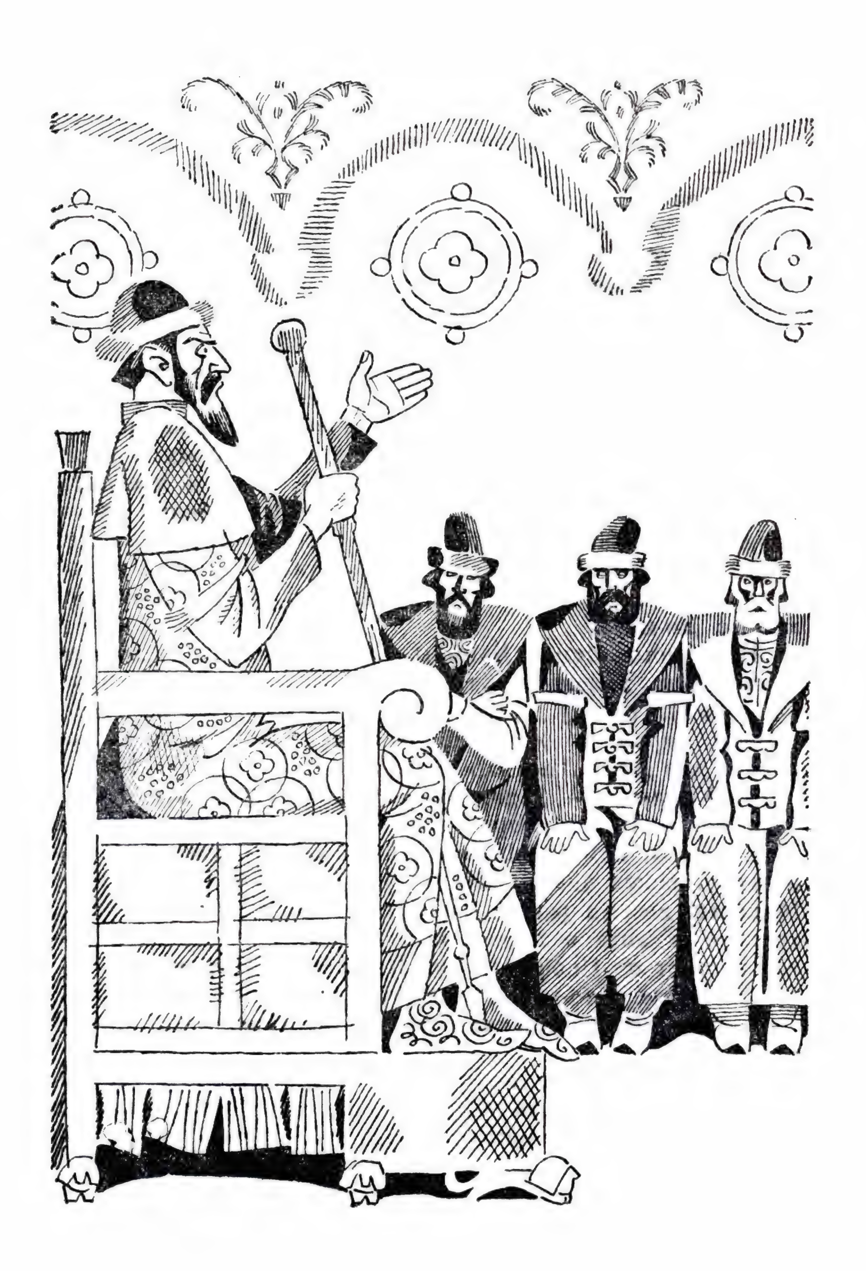
Так слагались обычаи московской Думы. В шубах, в собольих шапках заседали думные бояра в одной палате с государем. Еще не появилась византийская пышность приемов и торжественное отстояние государя от своих думцев. Еще не сложился сложный церемониал, еще шапки бояр не стали тянуться вверх, не превратились в позднейшие горлатные. Еще проще и деловитее был устав великокняжеских заседаний. Иван спрашивал, бояре отвечали. Бояре были по большей части старше государя, советники и воеводы его отца: князья Ряполовские, коим Иван был обязан жизнью, Иван Юрьевич Патрикеев, Иван Васильич Оболенский-Стрига, тоже не отступивший от покойного родителя, когда Иван Можайский с Василием Косым полонили и ослепили его, один из лучших воевод отца, не раз бивший татар, громивший новгородскую рать под Русой, другие Оболенские, князь Даниил Дмитриевич Холмский, перешедший на службу московским государям из обедневшей Твери, бояре: Федор Давыдович, Василий Федорович Образец, Борис Слепец, Михаил Яковлевич Русалка, Иван Ощера, Федор Михайлович Челядня, Беклемишев, Беззубцев, Плещеев, молодой удачливый воевода Иван Руно, князья — братья великого князя: Юрий, Андрей, Борис и Андрей-меньшой, любимец матери, князь Михаил Андреевич Верейский.

Поход на Новгород обещал в случае удачи нешуточную добычу. Поговаривали и о землях. Ждали, что скажет Иван. Решение требовалось одно: идти ли летом? Погибшая в болотах за Ловатью рать тверского князя Михаила смущала многих.

— На зиму надежнее!

— После урожаю, да как подстынет, не торопясь...

— А пока комонных в зажитье пустить, по Новгород-



ской-то волости! Глядишь, дворяна зипунов добудут. Русалку вон с Руном да с охочею ратью послать!

— Подоле пождешь да поболе возьмешь!

— В болотах завязнем, с обозами-то, куды! Новгородчина — скрозь болота! — толковали осторожные.

— Той зимы ждать — дождемся Казимира с ханом Ахматом! — резко сказал не в очередь Федор Челядня.

Иван спокойно посмотрел в насупленное лицо боярина, взвешивая его слова, чуть приметно склонил голову. Спросил, поворотясь к Холмскому:

— А что молвят нам тверские воеводы?

Едва ли не намеренно Иван избегал именовать Холмского князем. Древнее московское недоверие к Твери, укрощенной, но еще не одоленной, он переносил невольно и на тверских выходцев, поступивших к нему в службу. Холмский, прямоплечий, статный, весь в тверскую породу (и не зная, скажешь, что князь!), особенно настораживал Ивана. Не было в нем привычного покорства старых московских думцев, однако талан ратный велик зело, это признавали все. А за ратный талан прощалось многое. До поры.

Породистое лицо Данилы Холмского, продолженное квадратною, холеной, чуть вьющейся бородой, дрогнуло. Он вскинул голову, слегка обиженный тем, что не с него начали опрос, и отмолвил звучно, пожалуй, излишне звучно для Думы Государевой:

— Умедлим — дадим Борецким собрать рати. Ныне, слышно, в Новом Городе нестроения великие! Другое худо: немцы помочь пошлют, Псков откачнется! Казимир после угорских дел на Москву поворотит — о том Федор Михалыч досыти рек. А что касаемо болот новгородских, то лето от лета разнится. Старики толкуют, ноне сухой год настает по Новгородчине. По всем приметам так!

Он умолк. Кто-то из москвичей буркнул в тишине:

— Приметы! Мужичья мудрость! Сорока на хвосте принесла!

Но Иван как бы не услышал изреченной хулы. Он медленно вел глазами по ряду лиц своих приверженцев и остановил задумчивый взгляд на Стриге-Оболенском. Этот был свой, отцов, верный. «На Оболенских можно положиться, не выдадут!» — подумал он. Молвил:

— Твое слово, Иван Василич!

Старый воевода поворотил спокойное, обветренное до коричневизны, не сошедшей и за зиму, морщинистое лицо, глянул зоркими глазами из-под припухлых, тяжело

нависающих век на Холмского. Помедлил, подумал: «Торопится князь! Выставить себя хочет! Одначе — прав. Да и Федор прав, бить надо враз, умедлим — самим хуже не стало бы!» Ответил, подняв глаза на государя:

— Сулят сухмень!

И что-то разом переломилось в Думе. Многие поглядели на Холмского уважительно — не ему ли поручит теперь государь передовую рать?

Все же, частью из осторожности — семь раз примерь, один — отрежь! — частью, чтобы не дать Холмскому слишком выставить себя перед иными, Иван еще раз отложил Думу. Порешили собраться для окончательного решения после пасхи.

Иван еще колебался, когда Товарков привез ответ Новгорода. Не возымело успеха и второе послание митрополита Филиппа. Феофил, ожидая для себя московского поставленья, не умел — или не хотел? — что-то сделать.

На святой неделе в Думе великого князя московского был окончательно решен поход на Новгород. Войска должны были двинуться в конце мая, как только окончат сеять и освободятся люди и лошади.

ГЛАВА 13

Над Зарядьем стоял звон. Ковали шеломы и сабли, починяли седла, кольчуги и колонтари. Визг и уханье, шарк железа по железу, едкий запах окалины, шипение остужаемого металла. Бронник Федька Шестак суетился. Мастера почернели от недосыпу, а с заказчиком надоть лаской, лаской!

— Долгу, по грамотке, с вашей милости четырнадцать рубликов шесть алтын! — низился, плыл в улыбках. («Боярчонка можно купить со всем, с потрохами, и долга-то с него добром не воротишь!»)

Тот еще и чванился:

— Новгород богат!

— Хи-хи! Богат-то Новгород, ето конешно, дак еще как оно поворотится, как наколдуют! Они ить колдуны, новгородцы-ти!

— Ну ты, смердья кровь! Говори, да толком!

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Знамо дело, дурость наша мужицкая! А только закладец бы с вашей милости! А бронь — что бронь! Мои брони большие бояра берут!

Брони вздорожали. Вздорожали кони и упряжь. Мало-

мочные дворяна набирали под заклады, под будущую новгородскую добычу, щедро раздавали долговые грамоты. Новгород богат! По всему Московскому великому княжеству и в удельных владениях братьев Ивана собирались войска. Опытные воеводы обсуждали пути, станы, переправы, прикидывали, сколько пройдут кони и где боязно, что застрянут возы.

Вновь и вновь отправлялись послы во Псков со все более строгими наказами. Псковичи заверяли в ответ, что не умедлят выступить, лишь только заслышат великого князя в новгородских пределах, а сами отай пересылались с новгородцами, все еще не торопились отослать Новгороду взметную грамоту, объявить войну.

Но уже поднялась Вятка, мятежный выселок Великого Новгорода, приют всех новгородских беглецов, вечный враг стареющей республики. Устюг, неоднократно грабленный новгородцами, был наготове, чтобы выступить по слову Москвы. Союзная Тверь тоже готовила рати.

Иван, предусмотревший, кажется, все, велел разослать по церквам и читать послания о вине Новгорода перед великим государем московским и отпадении мужей новгородских в латынство.

Замиренная Казань позволяла все силы обратить на север. До полутораста тысяч ратников готовились, оборужались, выходили в поход. Бесчисленные вереницы конных ратей уже ползли по подсыхающим весенним дорогам страны.

Двадцать третьего мая, на праздник вознесения господня, во Псков поехал дьяк Якушка Шабальцов с приказом псковичам выступать на Новгород.

Тридцать первого мая, в пятницу, Иван послал Бориса Слепца к Вятке, веля идти на Двину, а к Василью Федоровичу в Устюг, чтобы выступали тоже и шли вкупе с вятчанами. По расчету их рати должны были прийти на Двину в тот же срок, что основные силы к Новгороду.

Шестого июня, в четверг, на Троицкой неделе, выступал князь Данило Дмитрич Холмский с отборной дворянской конницей. Иван сам провожал передовую рать. Холмский стоял на гульбище рядом с великим князем, облитый броней. Его стальные налокотники сверкали. Стремянный замер с шеломом князя в руках. Конь редкой голубой масти храпел внизу, рыл землю копытом. Ветер лениво отдувал полотно стяга со Спасовым ликом на нем, и бахрома почти касалась чеканного лица Холм-

ского. Мимо проходили на рысях дети боярские — десять тысяч человек, закованных в брони, испытанных в боях с татарами, жадных до земли и добра. Вторым воеводою рати был боярин Федор Давыдович, талантами не уступающий Холмскому, испытанный старый воевода московский. С ними же по направлению к Русе, окружая Новгород с запада, должны были выступить с полками братья Ивана Третьего, князья Юрий и Борис.

Тринадцатого июня, в четверг, великий князь отпустил вторую рать, под началом Оболенского-Стриги, с татарскою помочью. Им велено было идти по Мсте и подступить к Новгороду с восточной стороны, от Бронниц.

Братья великого князя, Юрий, Андрей и Борис, и князь Михайло Андреевич Верейский выступали в поход прямо из своих отчин.

Охранять Москву были оставлены юный княжич Иван и Андрей-меньшой с несколькими опытными боярами.

Сам Иван при стечении народа, знати и духовенства в праздничных светлых ризах прошел в церковь Успения, где молился у образа чудотворной «Богородицы Владимирской» и пред чудотворным образом, самим митрополитом Петром написанным, поклонился гробам опочивших в бозе митрополитов Петра, Феогноста, Киприана, Фотия и Ионы, после чего пересек площадь и вступил в собор архангела Михаила и его Чуда, где молился воеводе архистратигу Михаилу о даровании победы. Из церкви государь вышел в придел Благовещения поклониться цельбоносному гробу с мощами Алексея, митрополита русского. Воротясь в церковь, прикладывался к гробам прародителей своих, великих князей владимирских и новгородских и всея Руси, от великого князя Ивана Даниловича и до отца своего, Василия Темного. Громко, чтобы слышали все, Иван воззвал, стоя перед святынями:

— Господи владыко, пресвятый, превечный царю! Ты веси тайная сердец человеческих, яко не своим хотением, ниже своею волею на сие дерзаю аз, еже бы пролиатися мнозей крови христианской на земле, но дерзаю о истинном твоем законе божественном!

После чего Иван благословился у митрополита Филиппа и двадцатого июня в четверг под колокольный звон выступил из Москвы с главными силами, с полками московскими, коломенскими и прочими, с татарскою конницей служилого царевича Даньяра. Толпы народа, выстроившиеся вдоль улиц, ликовали, провожая полки. Воины торопились дорваться до грабежа. Послание, читан-

ное с амвонов, сделало свое дело. Многие из простых ратников, поняв грамоту из пятого в десятое, думали, в простоте душевной, что все новгородцы уже обратились в католическую веру, и смотрели на них как на христопродавцев и изменников.

В Новгороде не ожидали, что москвичи выступят в начале лета. Боярская верхушка знала о готовящемся походе, но на большинство весть о войне свалилась как с неба.

Зять Конона, Иван (по весне он нанялся к богатому купцу плотничать), шел из Лукинского заполья и как раз спускался под горку, пройдя уже Петра и Павла на Синичьей горе и приближаясь к городским воротам, когда его догнал грохот колес.

По Псковской дороге с громом мчались телеги, могучие кони мотали гривами, грязь и пыль летели по сторонам. Иван едва отпрянул к обочине, как уже головные понеслись мимо него — одна, другая, третья... На телегах, подпрыгивая, валясь в середку, густо грудились мужики в железе, шеломах и бронях. Ездовые, стоя, внахлест полосовали конские спины. Кони ржали, оскаливая зубы, роняя клочья пены с удил. Сверкали железные обода колес, сверкали шеломы, брони, лезвия топоров, из задков телег щетинисто торчали пучки подпрыгивающих копий. Мужики орали неразличимо. В лязге, громе, сплошной пыли неслись и неслись телеги. Иван сбился со счета и одно понял, когда крик и гам, и конский топ, и ржание ушли в городские ворота, оставя медленно оседающую пыль, — война!

Сев в Новгородской волости запаздывал по сравнению с Московской, и потому запаздывали боярские дружины, запаздывали ратники сотенных и волостных полков. Все же пограничные крепости — Молвотицы, Стерж, Демон — новгородцы успели укрепить и подготовить к обороне.

За отсутствием воевод, князя Шуйского и Василия Никифоровича Пенкова, отбывших еще осенью на Двину, во главе новгородского ополчения был поставлен Василий Александрович Казимер, герой Русы, доблестнее всех, как уверяла молва, храборствовавший в злосчастной битве пятнадцать лет назад. Василий Губа-Селезнев и Дмитрий Борецкий составили военный совет при воеводе.

«Сорок тысячей конного войска и бесчисленную пехоту» выставлял в ратях Господин Великий Новгород.

Сорок тысяч новгородских воев повел за собою когда-то Ярослав Мудрый на Святополка. С ними, с новгородскими плотниками *, он выиграл войну и добыл золотой киевский стол.

Сорок тысячей! Но это только говорилось так, на деле же собиралось три-пять тысяч человек, редко более. В трех тысячах новгородцы разбили семьдесят лет назад великокняжеские рати на Двине. В пяти тысячах ратных выходили в самые большие из ушкуйных походов на Волгу. А сорок тысяч — это чтобы явились все боярские дружины, вооружился конный городской полк, все житьи сели на коней, приведя с собою по полтора десятка конных ратников. Стало выясняться, что недостает боевых коней, что многие, не воевав всю жизнь, не имеют и доспеха, а купить кольчугу дело нешуточное — дешевле терем выстроить! В городе уже подымался шум. Ремесленников гнали силой. И все же сорока тысяч конной рати никак не набиралось.

От Пскова еще зимою потребовали всесть на конь вместе с Новгородом против великого князя согласно с договором. Псков, в коем сидели ставленные московские служилые князья, отвечал уклончиво, что-де они поглядят, когда будет прислана взметная грамота, а пока предлагали посредничать о мире. Посредничество было отвергнуто: «Великому князю челом бить не хотим, а вы бы есте с нами против великого князя на конь сели, по-нашему с вами миродокончанью», — и псковские послы не были пропущены в Москву.

Заключенных по суду новгородскими бирючами псковичей, за которых неотступно просило каждое псковское посольство, наконец выпустили, но условно, на поруки, задержав товар.

Требовалось вмешательство архиепископа, но тут нежданно заупрямился новоиспеченный владыка. Феофила всего трясло от разговоров тайных и явных, от посланий и грозных намеков. Набравшись духу, он объявил, что, как владыка, не может благословить войны с Москвой. Однако тут на него ополчились все софьяне, во главе с чашником Еремеем Сухощеком и стольником Родионом. Окружение владыки, увы, было еще прежнее: все сплошь сподвижники Ионы, неревляне, враги Москвы. И Феофил опять не выдержал согласного натиска, сдался, заюлил. Послал Луку Клементьева уже в разгар начавшегося похода об опасе (он упрямо, невзирая на ратную пору, хотел ехать на поставление) и тут же разрешил пере-

сылку со Псковом и даже военные разумления, буде они потребуются. По всем этим причинам новгородский посол, стольник владычень Родион, прибыл во Псков после того, как очередное посольство Ивана вынудило псковское вече согласиться на выступление против «старшего брата».

Родион узнал об этом от встречных, когда они подъезжали ко Пскову и уже завидели грозные стены псковских твердынь — вознесенного над скалою, над рекой Великой Крома и опоясывающего его большого Окольного города, из-за которых подымались многочисленные купола, вышки теремов, белокаменные верхи соборов и стаи звонниц, увешанных малыми и большими колоколами, четким сквозным узором рисующихся на прозрачном весеннем небе.

Псков, который сто лет спустя польский летописец, любуясь, сравнил с Парижем, в то время уже отстроил в полный размах свои неприступные стены, о которые век за веком разбивались волны немецких и литовских нашествий, уже вознес десятки своих стройных церквей и звонниц, уже сооружал каменные палаты, с каменным низом, отведенным под склады и лавки, и с деревянными верхними жилыми покоями — жить в каменных, с тяжелым сырым воздухом комнатах долго не любили на Руси. Псков полнился народом, шумел и славился торговлей, радушием и хлебосольством граждан, честностью купцов. Он уже давно перенял у Новгорода бремя обороны границ Руси от набегов немецкого Ливонского ордена. Под стенами его пригородов — Красного, Опочки, Воронача — бесславно сникали войска литовских князей. Бояре во Пскове не брезговали торговать, как купцы, а купцы и ремесленный люд не забыли, как держат оружие. Каждый год, а то и не по раз в год, приходилось браться за мечи. Во Пскове вечем решали даже вопросы веры, и грамота, положенная по вечевому приговору в ларь Святой Троицы, значила больше, чем воля архиепископа и решения посадничьего Совета.

Не все было так просто и ясно в делах псковских, как хотелось в Москве и как представляется оку позднейшего историка. За конечными решениями Пскова крылась немалая борьба, исход которой далеко не был предрешен волею великого князя московского. И не случайно Иван так тревожился уклончивостью псковских послов, а Новгород и после обмена разметными грамотами не так уж напрасно надеялся на псковскую подмогу. Пятнадцать

лет назад, в минувшей московской войне, псковская рать подошла-таки на помочь Новгороду.

У городских ворот стража заступила путь Родиону. Узнав, что едет посол от владыки, его нехотя пропустили. Псков шумел. Горожане, узнавая новгородцев, с любопытством, тревогою или насмешкой провожали глазами небольшой конный отряд. Да, они опоздали! Это было ясно уже здесь, на улицах.

Родион все же пожелал испить чашу до конца и выступить на вече. В конце концов это надо было сделать хотя бы для того, чтобы черный народ ведал о посольстве Господина Новгорода. Псковские посадники долго совещались, но отказать Родиону в законном праве посла не рискнули. Правда, с ним и тут поступили не по чести. На вече были собраны все обиженные Новгородом, кто сидел в железах, лишился товара, был казним владычным или торговым судом и выпущен на волю «только одной душою». Были, конечно, и другие, и этим, другим, говорил Родион с вечевой ступени древнего Плескова, древнего новгородского пригорода. Им, другим, бросал жаркие слова о братстве и дружестве, об Олександре Невском и Довмонте *, о славе прадедней... Увы! Говорил о братстве, забыв поход под Псков новгородской рати, забыв про угрозы вкупе с немцами напасть на младшего брата, забыв долгую распрю о доходах церковных, судах, исторах, обидах.

Но Псков, отчаянно, один на один, отбивавшийся от ордена, Псков, окруженный врагами, тяжелеющей рукой вздымающий меч на рубежах страны, когда от старшего брата не то что помочи нет, а угроза за угрозою, шесть летов назад тому не у князя ли великого рати просили на них — Псков того не забыл! Сегодня помогай Господину Новгороду, а завтра тот же Новгород заведет немцев на Изборск или отвернется и даст Литве громить Опочку и Красный? Несладок был и тяжелый союз с Москвой, но Москва помогала и от Литвы, и от немец, да и от самого старшего брата Господина Великого Новгорода могла оборонить!

Обиженные пробивались вперед, Родиону кричали:

— На суд в Москву не едут новогородчи, а наших попов к себе Иона вызывал, это как? А в железах наши сидели, истерялись в Новом Городе, это как?! Помогай противу Москвы, а сами хуже Москвы насильничают! Уж коли так — всем воля равная надобе!

Ничем кончились переговоры. С Родиона взяли за

исторы да за задержанный товар тех, что сидели в железах в Новом Городе, пятьдесят рублей, которые ему пришлось уплатить тут же из софийских денег *, причитающихся со Пскова в казну владычную...

Шестнадцатого июня псковичи отослали в Новгород разметные грамоты, но выступать все же не торопились.

Двадцать девятого, на Петров день, во Псков приехал боярин великого князя Василий Зиновьев с сотней ратников торопить псковичей. С собою они пригнали триста полоненных крестьянских кляч новгородских и распродавали в торгу. Зиновьев требовал выступления «в те же часы», но сила псковская во главе с князем и тринадцатью посадниками вышла в поход только десятого июля, когда воротился псковский посол Богдан, наехавший Ивана Третьего в Торжке, и когда уже медлить стало решительно невозможно.

В ответ новгородцы совершили набег на псковские земли из Вышегорода, пожгли хоромы в Навережной губе и церковь святого Николы «о полтретью-десяти углах, вельми преудивленну и чудну», краше которой, скорбно писал псковский летописец, не было во всей Псковской волости.

Рать псковская подошла к Вышегороду и приступила к осаде — «стали бить пушками, и стрелами стрелять, и примет приметывать». Новогородцы отбивались изо всех сил, одного псковского посадника, Ивана Гахоновича, и много ратных уложили под стенами, на вылазке подожгли примет, огонь остановил наступающих, но и осажденным пришлось несладко: «и было притужно в городке от зною и дыму».

Срочный посол Господина Новгорода к королю Казимиру, отправленный еще в начале июня, на этот раз не с уклончивым предложением «мирить с Москвой», а с воплем о немедленной помощи, вынужден был из-за размирья со Псковом ехать кружным путем, через Нарову и земли немецкого ордена.

Феофил, разрешив владычному полку вооружиться и выступить против Пскова, запретил ему вместе с тем участвовать в схватках с московскими войсками.

Сам воевода, Василий Казимер, тоже настаивал на том, чтобы всячески уклоняться от прямого боя с великокняжескими полками, а, заградившись дружинами крепостей и пешею ратью, с прочими силами ждать подхода войск короля Казимира, на что, при общем соотношении сил, была вся надежда. Псковичей, буде они выступят,

предполагалось разбить отдельно (в Новгороде надеялись все же, что разбитые псковичи или тотчас сложат оружие, или перейдут на сторону Новгорода).

План был разумным, но для его успеха точно так же требовалась решительность и быстрота действий. Селезнев с Борецким предлагали не ждать, а сразу вести рать на Псков, но Казимер медлил, ожидал взметной грамоты, ожидал ответа послу, ожидал, когда подойдут запоздавшие...

Василий Казимер никому не признавался, что его действиями руководит не столько расчет, сколько страх, страх нового поражения, страх давнего того бегства под Русой. Больше всего ему хотелось укрыться за стенами города и ждать спасения, ждать чуда — от короля Казимира, от богородицы, от кого угодно. Не такой воевода нужен был городу в тяжкий час! Еще раз стареющая республика сама, своими руками рыла себе могилу.

Меж тем проходил июнь. Войско томилось и проедалось. Собранные рати изнывали в ожидании. Охочие рвались в бой, ругались на расходы. В войске и в городе начинался ропот. Слухи о движении москвичей становились все тревожнее. На лодьях к Ловати ушла пешая рать, готовилась другая. В Петров день Казимер решился наконец вывести полки из города к устью Шелони. Войско нестройно потянулось из ворот, раздраженное и угнетенное месячным топтаньем на месте, рыхлое, разномастно вооруженное — кто роскошно, в тяжелых, частью иноземных доспехах, кто средне, а кто и плохо, кое-как (в основном беднейшие из житьих и ремесленный люд), в одном кожаном кояре, в кожаном стеганом подшлемнике, с деревянным щитом, одним копьем и старой саблей или мечом прапрадеда, а то и без меча, с топором да ножом. Луки со стрелами были у двоих из десятка. Многие горожане едва держались верхом, и идти бы им, как обыкли новгородцы, в челнах по Шелони, но Казимер настоял, чтобы посадили на коней всех ратников, думая этим добиться большей подвижности войска.

Было ли их хотя сорок тысяч? Москвичи говорят, было, ссылаясь на слова самих же новгородских ратников. Псковская летопись пишет, что их было тысяч тридцать, не настаивая на точности. Несомненно, что северные окраины не сумели за те дни, что оставались после сева, прислать своих ратных в город. Крупные силы ушли на Двину. Многочисленные отряды новгородцев находились в крепостях. Так что в конном войске скорее всего сорока

тысяч, несмотря на все усилия Борецких и Есипова, не набиралось.

Неревская боярская дружина выступала со двора Борецких. В тереме прощались. Суетились слуги. Вооруженные холопы верхами ждали своих господ. Оседланные кони под кольчужной броней ржали во дворе, где уже было полно верховых и спешившихся дружинников. Уже были выпиты чары и сказаны торжественные слова. Порою вспыхивал смех, но лица оставались суровы. Предыдущее долгое ожидание заронило неуверенность во многие сердца. Да и без того нешуточное дело — война с Москвой!

Топоча копытами по мостовой, вздымая жаркую пыль — дождей не было с мая, — во двор въезжали и въезжали ратные. Григорий Тучин явился в венецианском зеркальном панцире поверх кольчуги, с надменным выражением лица — он от похода уже не ждал ничего хорошего.

Дмитрий Борецкий, весь в кольчатой, струящейся, отделанной серебром броне, и Федор, в литом нагруднике, спустились с крыльца, одинаковым движением сильных тел взлетели в седла. Селезнев, на приплясывающем чалом жеребце, выводил кончанский стяг. Горячий южный ветер отвеивал расшитое полотно, и одноглавый неревский орел, казалось, тяжело хлопал крыльями над головой Селезнева.

Борецкая с крыльца провожала ратных. Сергея, рыцаря своего, на виду, на ступенях, поцеловала в лоб, и вышло хорошо — одного за всех. И не подумала, и никто не подумал тогда, а после, как узнала, вспомнила примету — в лоб-то целуют покойника!

— Ну, сын! — Дмитрий подъехал к крыльцу, и его голова была вровень с лицом Марфы. — Ну, сын, сожидать буду с победой. Судовую рать отправлю сама. Не робейте тамо! — и нахмурилась, голос пресекся.

Дмитрий широко улыбнулся, кивнул, тряхнул головой, рассыпая русые кудри, тронул коня.

Уже когда последние, звеня и бряцая оружьем, со смехом и прощальными возгласами выехали за ворота, Марфа поворотилась к невесткам. Капа и Тонья стояли рядом. Капа — упрямо сжав губы, Тонья — с мокрыми глазами, всхлипывая.

— Не реви! — устало сказала ей Марфа и первой пошла в дом.

Из самой верхней светелки, приоткрыв мелкоплетеную, забранную цветными стеклами ставеньку, Оленка неотрывно следила за удаляющейся в извилинах улиц сверкающей точкой — светлым панцирем Григория Тучина.

Судовую рать устраивали два купеческих братства розничных купцов-лодейников, и никак не могли сговориться друг с другом. Никому не хотелось больше соседа раскошеливаться на лодьи, снаряд и запас, на оборужение той голи перекатной, что набрали купцы в лодейную дружину, куда шли все те, кто и помыслить не мог купить на свои коня или доспех. Иван с Потанькой тоже были здесь и попали в один струг. Они, как и все, бестолково тратили время в нелепой кутерьме, затеянной двумя братствами вместо согласного общего дела. Не вмешайся Борецкая, рать долго бы еще крутилась на берегу, а то и вовсе не вышла бы из города.

Марфа прежде всего явилась в оба братства и обоих, пригрозив и усовестив, заставила выложить серебро и припас. Иева, своего ключника, с подручными послала отобрать лодейных мастеров и приставить к делу. Других слуг послала к кузнецам, поспешили бы с отковкою копий и боевых топоров. Купцы-лодейники шли в богатом боевом наряде, в бронях, в шеломах аж под серебром, но для прочих требовалась хоть какая справа. Сабель и тех не было. Марфа наняла четыре сотни рушанок, прибежавших от рати из Русы в Новгород и перебивавшихся с хлеба на квас, посадила всю свою челядь и жонок покрученных мужиков за работу и в две ночи изготовила для всех безоружных плотные стеганые бумажные или шерстяные, обтянутые кожею с нашитыми поверх железными пластинами по груди, плечам и нарукавьям терлики, или тегилеи, кожаные шапки-шеломы, тоже обшитые железом, и кожаные перстатые рукавицы, вооружила рогатинами, копьями и топорами, иным выдала, что осталось: шеломы, щиты и мечи из своих запасов; тут же наказала поделить дружину на десятки, нарядить сторожу, выбрать старших, смотрильщиков, кормчих и загребных на каждый струг, добилась, наконец, чтобы над ратью поставили одного и толкового мужика из загородничан, знакомого с ратным делом, Матвея Потафьева, и к концу четвертого дня нескладная толпа шлявшихся по Новгороду оборванцев и перетрусивших, перессоривших-

ся купцов уже начала превращаться в подобие воинской силы.

Марфа властно вмешивалась во все. Стояла у швального и у кузнечного дела, пробовала на вес топоры и проверяла острия сабель, стыдила, ободряла, поддразнивала даже: мужик должен гордость иметь, на то он и мужик, чтобы стыдно было перед бабой не сделать по-годному!

С вечера пятого дня грузили припас, утром грузились сами ратные. Бочки с пивом Марфа поставила прямо на берегу. Опять было задержались: обсохли лодьи в Людином конце, было никак не спихнуть, кони вязли в обнажившемся речном иле. Марфа тут как тут:

— Жонок созвать вам на помочь?! — кивнула дворскому: — Созывай! Мне тоже бродни прихватишь!

Проняло. Гомон поднялся в толпе. Сами собой появились ваги, бревна, ратники дружно полезли в грязь. Коней выпрягли.

— А ну, не спихнем, что ль? Столько рыл! — сурово выкрикнул один, густобровый, черный, с коричневым, в складках, лицом, расстегнувший на груди выгоревшую, волглую от пота синюю рубаху распояской и обнажив белую, ниже полосы загара, грудь, с потемневшим медным крестом на кожаном гайтане и старым рубцом наискось, от ключицы вниз. Такой мужик всегда находится в деле, когда толпу берет задор. Прикрикнув на бестолковых, он разоставил по-своему людей, Марфе бросил через плечо:

— Отойди, боярыня!

Мужики дружно натужились, заорали:

— Подваживай! Давай, давай, дава-а-ай!

Лодья грузно качнулась с боку на бок, с чмоканьем освобождаясь из ила, пошла. Спихнув одну, разом принялись за другую, и Марфа стояла на взгорье, не мешаясь больше; и радовало это: «Отойди, боярыня», и деловая спешка, и радовали сползающие в воду боевые лодьи.

Скоро разнообразно вооруженная рать, распустив паруса и выкинув разом сотни весел, провожаемая толпами жонок, кричавших и махавших с берега, отчалила.

Борецкая взошла на вышку терема. Тут и дышалось легче. Поднявшийся к па́бедью северо-восточный ветерок, полуночник, холодил шею. За главами Детинца, за купами дерев виднелся Юрьев, а дальше, в дымке, в дрожащем мареве жаркого дня едва-едва проглядывала Перынь, и Волхов, расширяясь к истоку, сливался с серо-голубой

неоглядною ширью Ильменя. И туда, распустив желтоватые паруса, как ее мысли, как сгустки воли, уходили вереницею смоленые новгородские лодьи.

Она стояла, скрестив на груди руки, забыв про холод и время, древнею Ярославной на стене Путивля *, и все смотрела, смотрела. Лодьи уходили в вечность, и ветер, покорный ее воле, послушно раздувал паруса.

ГЛАВА 14

Удача благоприятствовала Ивану Третьему. За все лето, с мая по сентябрь, на Новгородской волости не выпало ни капли дождя. Овес едва вылез, озимые были редки. К июлю уже начали гореть яровые. На пыльных полях служили тщетные молебны. Влага держалась в низинах, под защитою леса, да по поймам рек. Жаркие накаленные луга пахли медом. Никли травы, бессильно опуская метелки соцветий, мелели реки, пересыхали болота. Войска двигались по быстро подсыхающим дорогам без задержки. На взгорьях, на песчаных местах, из-под копыт коней подымались столбы пыли.

Двадцать девятого июня, в Петров день, Иван был в Торжке и соединился с тверской ратью. Отовсюду подходила помочь, и полки продвигались вперед, не отступая от намеченных сроков. Из Торжка Иван послал строгий наказ псковичам выступать немедленно, а сам с основными силами пошел вослед за полком Холмского, чтобы в случае нужды отрезать новгородцев от литовского рубежа и держать псковичей под угрозою.

Меж тем Василий Казимер, выведя войско за городские стены, продолжал тянуть, без конца пересылался с владыкой, ждал вестей из Литвы. От посла не было ни слуху ни духу.

В Новгород с началом войны нахлынуло несколько тысяч рушан-беженцев. Годовые запасы, об эту пору и без того невеликие, угрожающе подходили к концу. В торгу уже поднялись цены на хлеб и снедный припас. Набранные силой ратники потихоньку пробирались обратно в город. Житьи, потратившиеся на коней и оружие, роптали: стоянье на своей земле без боя не сулило выгод. Приказы Феофила воевать только со Псковом приводили в недоумение — москвичи уже осадили Молвотицы, подступали к Демону. Добровольная полуторатысячная псковская рать с воеводою Манухиным-Сюйгиным начала грабить окраину Новгородской волости. Савелков, изругав-

шись в дым, собрал охочую дружину и ушел отбивать псковичей.

В это время воротился посол, задержанный немцами. Магистр Ордена, плохо понимая, что происходит, и переоценивая новгородскую силу (пускай-де Москва и Новгород ослабят друг друга!), побоялся усиления Литвы и потому, продержав посла у себя, воротил его назад, в Новгород, так и не пропустив к королю Казимиру. Это было крушение. Оставалось прорываться ратью сквозь земли Пскова, захватив договорную грамоту с собой. Впрочем, новые тайные гонцы были посланы и в Литву и в Орден, к магистру, с разъяснениями и настоятельной просьбой о помощи. Новгородским послам наказали объяснить, что в случае победы Москвы немецкий двор в Новгороде неизбежно закроют.

Меж тем Данило Холмский во главе передового полка взял изгоном Русу, лишенную крепостных стен, и, не позволяя останавливаться даже для грабежа города, пошел далее. Седьмого июля в Коростыни, близ устья Шелони, он сделал привал. К Холмскому привели монаха из Клопской обители, сообщившего, что новгородское войско без дела стоит в окрестностях города, а выдвинутый к Шелони владычень полк согласно приказу архиепископа не пойдет биться с Москвой. Холмский с Федором Давыдовичем, посовещавшись, решили дать отдых ратникам, которые по три дня не снимали броней и почти не слезали с седел.

В это время малая судовая рать, снаряженная Марфой Борецкой, плыла вдоль берега. Новгородцы первые заметили москвичей.

— Никак ратные тамо? Коней вона сколь, и стяги видать! — доложил дозорный Матвею Потафьеву.

— Какие ратные? Наших быть не должно! — живо отозвался воевода.

— И стяги не наши! — подтвердил кормчий, на диво зоркий мужик.

— Москвичи!

— Никак уже Холмский у Коростыня? — присвистнул Матвей, вглядевшись. — Видать, Руса взята, дождались воеводы! Повидь, кони оседланы у их?

— Не, отдыхают!

— Ударим, други? Ежели наша конная рать пособит, грянет с тыла — не видать им Москвы!

Матвей тут же послал двоих мужиков в легком челноке к берегу, предупредить конный владычный полк.

Случай был дорогой! Лодьи, меж тем повернув, шли под парусами и на веслах к берегу.

Гонцами вызвались Потанька с Иваном.

— Гоните во весь дух, мужики! — напутствовал их Матвей. — Ждать не будем!

Остроносый челнок полетел к берегу. Оба, и Иван и Потаня, грести были мастера, а тут дело шло о жизни с лишком двух тысяч мужиков, и у приятелей аж весла гнулись в руках. Ходом выскочили на песок, подхватив, вынесли челнок и, не переводя дух, понеслись в гору, где, спрятавшись в негустой тени сосен, дремали, сидя в седлах, дозорные владычного полка.

— Воеводу, живо! Спите тут! — заорал Потанька. — Живо, живо!

— От рати посланы! — подтвердил Иван.

Один из дозорных рысью потрусил куда-то назад, Потанька с Иваном, возбужденные, перебивая друг друга, рассказывали ратникам, с чем посланы, указывали на озеро, на лодьи, не замечая каменных лиц сторожи.

Не скоро воротился дозорный, с ним кто-то в богатом панцире. Не доезжая, взглянул из-под руки в коростынскую сторону и шагом подъехал к гонцам.

— Чего медлите тут! — напустился Потанька на конного.

— Потише кричи, — ответил тот, — я не воевода, а от его послан!

— Москвичи в Коростыни! — запальчиво возразил Потанька.

Тут и Иван вмешался:

— Наши с берега нападут, а вам Матвей Потафьев, воевода наш, велел с тыла зайтить, ударить, да не медля, пока не прочнулись!

— Какой он воевода, ваш Матвей, владычному полку приказывать! — ответил конный спесиво. — Не согласимши творит, пущай сам и ответ держит!

— Мужики, вы что? Христос с вами! — ахнул Потанька, посерев лицом. — Простите, коли молвил не так, скорей же надо!

— Владыка приказал на московского князя руки не вздынуть! — сурово, отворачивая глаза, ответил ратник в дорогой кольчуге и круто поворотил коня. Потанька, освирепев, схватил его за стремя:

— Пес! Иуда!

Тот, не оборачиваясь, хлестнул коня, лошадь прянула, свалив и протащив скомороха за собою. Обеспамятев, По-

танька грозил кулаками, плевался, плакал, кричал проклятия.

Вдалеке темные на сверкающей чешуе озера новгородские лодьи уже подчаливали к берегу. Владычные дозорные вдруг разом поворотили коней и ускакали. Потанька умолк, задохнувшись, понуро поворотился к молчаливо стоявшему Ивану.

— Что делать будем?

— Нать к нашим! — угрюмо сказал Иван.

Скоморох, тут, на безлюдье, порастерявший свою всегдашнюю хвастливую удаль, сиротливо и зябко повел плечами:

— Ну, а я... прости, Ванюха, на смерть не иду. Да и ты оставайсе, гиблое наше дело. Знали бы!

Иван мотнул головой, сказал сурово:

— Помоги спихнуть лодью!

Потанька с готовностью бросился за ним к берегу. Руки у него тряслись.

Лодка уже качалась на волне. Потанька поднял жалкие глаза. Черные его кудри развились от пота, прилипли к щекам.

— Вань! Оставь! — выдохнул он безнадежно.

— Там мужики погинут, сказать хоть! — отмолвил Иван, устраивая весла в уключинах. Сильным гребком он вывел челнок.

— Прости! — крикнул Потанька с берега.

— Бог простит! — отозвался Иван.

Скоморох стоял, пока челнок не стал черною мухой на слепящем блеске воды, потом, махнув в отчаянье рукой, не глядя ни на далекую Коростынь, ни на маячивших у ближних сосен конных владычных ратников, быстро, ярея от шага, пошел в сторону Новгорода.

Матвеевы пешцы, выскакивая из лодей, кинулись к московскому стану так дружно, что сперва и не почуялось, что их мало. Москвичи, которых было раз в пять больше, пополошились. Кто имал и седлал коня, кто искал шелом, возился с бронью, кто уже было дернул в кусты. Малочисленная сторожа валилась под новгородскими топорами. Но Холмский, успев вздеть кольчужный панцирь и вскочить на коня, сам кинулся в гущу сечи, грозным зыком останавливая бегущих. Бывалые ратники скоро приходили в себя, оборужались, вскакивали в седла, ровняли строй. Федор Давыдович уже повел часть боярской дружины в тыл новгородцам. Необученные пешцы стеснились в кучу, попятились. И в эту-то пору, подчалив

к берегу, Иван передал горькую весть, которая, подобно пожару, обежала разом все войско. Кто был неохочь воевать, тотчас кинулся в бег, попав под копыта коней засадной рати Федора Давыдовича. Холмский, сплотив ряды, ударил в лоб, началась рубка. Матвей Потафьев, в драке потеряв шелом, пал с рассеченным черепом. Купцы сдавались без бою. Маленькая кучка упорных, отбитая от лодей, наконец сложила оружие.

Тут же от полоненных Холмский узнал про вторую судовую рать, ушедшую по Ловати. Следовало немедля разбить ее, не пропуская к Демону.

Рожки проиграли выступление. Москвичи ряд за рядом выезжали из Коростыня догонять вторую новгородскую пешую рать, что ушла к Демону. А владычная конница все маячила на том берегу, не ведая или не желая ведать, что тут происходит.

...Они шли, падая, пробираясь кустами, хоронясь друг друга, — одинаково пряча пустые, опозоренные глаза, а перед ними летела в Новгород страшная весть, и уже собирались толпы народа на дорогах, и подымался у городских ворот надрывный бабий крик.

Анна тоже ждала за воротами. Истомилась, бросалась к каждому: тот? другой? Мужики шли все страшные, и все — похожие один на одного. До вечера искала, раз пять обманывалась, с падающим сердцем подбегала — нет, опять не Иван! Неужто убит?

Под конец она уже только стояла, смотрела жалостливо, опустив руки. Рядом жонки причитали, охали, иным делалось дурно, иные плакали навзрыд. Вдруг изуродованный мужик схватил ее за рукав. Анна дернулась от него, вгляделась, узнала и — завопила в голос.

Ивана шатало от слабости. Последние версты он только и держался тем, что увидит своих. Анна поняла тотчас, охватила, закинула Иванову руку себе на плечо и, продолжая поливать слезами пропитанную потом, грязью и кровью вонючую рубаху мужа, поволокла его домой. В дороге, сбивчиво, захлебываясь слезами, рассказывала, что дочь Ониська здорова и ждет отца, что она пустила в дом семью рушан, деда, жонку, сноху дедову и троих маленьких, что рушане не помешают, нынче тесно у всех, и надо как-то помогать людям.

Кое-как добрели до дому. Анна с помощью рушанки Фени стянула с мужа задубелую рубаху, обмыла, напоила

горячим молоком. Пришел тесть, Конон Киприянов, косторез. Иван кое-как рассказал, как все содеялось. Конон развернул принесенную тряпицу, достал ножички и иглу, осмотрел раны, буркнул:

— Терпи! — Ловко и быстро обрезал лохмотья губ.— Теперь всю жисть смеятьце будешь! — сказал сурово и добавил: — Головы хоть не лишили! Ты молци! Нюрка, глянь-ко!

Конон все так же мрачно приготовил лекарство. Сам смазал Ивана, показывая дочери, что ей делать потом.
— Мочить особо не нать, а так, промывай изредка.

Он потер взлысый лоб, собрал в тряпку свой лекарский прибор, посидел еще немного, молча глядя на задремывающего зятя, и тяжело поднялся. Анна вышла проводить отца. В сенях он остановился, тронул дочь за плечо:

— Ты вот чего... Рушане-то объедят тя, поди... Ну, дак... Когда и присылывай Ониську-то! Кусок лишний съест, все жива будет... Жаль мужика! Добрый он у тебя, талана вот только нет. Даве Потанька-скоморох сказывал, как у их дело створилось. Бежать бы Ивану тоже, дак и то сказать! Стыд своих бросить было! Хаять его тоже неча...

Когда ропот, и вопль, и стенание наполнили Новгород, а воевод большого полка начали громко поносить на улицах, Василий Казимер решился наконец на ответные военные меры, послал вперед разъезды и объявил о выступлении.

Еремей Сухощек, узнав о причинах коростынского разгрома, кинулся во владычный полк, в ярости своею волей снял воеводу, тех, что отказали Матвеевым гонцам, отняв брони, посадил в железа, жестоко изругал всех остальных христопродавцами, велел забыть приказы Феофила и сам стал во главе рати.

Гонцы сообщили Казимеру с Борецким, что Холмский ушел назад, к Русе, но тут наконец выступили псковичи (было уже десятое июля), и на военном совете решено было попытаться исполнить прежде намеченное: идти встречу псковичам, разбить их до подхода московских ратей и прорываться затем в литовские пределы на соединение с королем Казимиром, чтобы уже общими силами обрушиться на Москву. Огромное и неповоротливое новгородское войско тяжело поднялось и растянулось по Псковской дороге.

Иван Савелков не любил задумываться. Сказано — сделано. Перессорившись с приятелями, Дмитрием Борецким и Василием Селезневым («Ликуйтесь со своим Казимером!» — бросил он им, уходя), Савелков почти на свой страх и риск собрал вольную дружину из своих и Богдановых молодцов и охочих горожан, что умели сидеть на коне, и повел ее лужским путем, встречу псковичам, что делали набеги на порубежные села.

Иван был и неглуп к тому же. Вперед выслал дозоры, шел быстро, по дороге балагурил, веселил людей. На ночь стали уже под Лугою, в поле, у леска. Живо наделали шалашей вдоль реки, развели дымокуры. В котлах, что везли притороченными к седлам запасных коней — колесного обоза Савелков не взял, незачем, — булькало варево. Похлебав, Иван обошел костры, нарядил сторожу. Пересмеиваясь то с одним, то с другим, проверил, все ли в порядке. Дружный хохот, живой разговор — то и надо!

Дошел до крайнего шатра, до последнего огня и постоялся, глядя в летний прозрачный сумрак. Прислушался, как в тишине ноют комары и хрупают травой, глухо переминаясь, стреноженные кони. Вдруг понял, что шутил уже насильно — шутковать-то было нечего. Псков и тот против. Не сегодня-завтра главная псковская сила выступит — одни осталися! Вспомнив о Казимере, опять ощутил глухое раздражение: и чего Васька с Митькой дурака слушают! Ждут у моря погоды. Василь Василича услали за Волок — тот хоть рати обык водить, понимает, что к чему.

Подошел гонец:

— Впереди чисто, Иван Кузьмич!

— Ладно, утро вечера мудренее!

Распорядившись накормить мужика, Иван полез в шатер. Чем-чем, а бессонницей он не страдал никогда.

Псковичей — охочую рать воевод Манухина-Сюйгина и дьяка Ивана — обнаружили на восьмой день, за Лютою. Оплошкой они не выставили сторожи, и Савелков, не мешкая, воспользовался этим.

Подошли почти к кострам. С гиканьем вылетели кони из леса. Новгородцы рубили, опрокидывая котлы с варевом, топча костры. Раненые заползали в кусты. Псковичи бежали, побросав все. Победа была стремительной. Несколько убитых и весь разгромленный стан достались в добычу — с пищалями, стягами, ратной справой.

Теперь гнать бы и гнать, добить до конца, набрать

полону, но не оторвать своих от грабежа. Попробуй запрети зорить псковский стан — самого разнесут! А тут догнал гонец: наконец выступили главные силы, подошли москвичи, верно, бой будет, и Савелков, ругаясь, повернул назад. Мертвых и то не схоронили. Псковичи тоже лопухи — могли ударить с тыла. Иван с трудом построил рать. Один из молодцов все-таки смылся. Воротился добирать добро, конечно, попал в полон, дурак.

Он не знал еще ни о Коростынском побоище седьмого июля, ни о Шелонском сражении четырнадцатого, когда подходил с дружиной вечером этого дня к Сольцам.

ГЛАВА 15

Холмский, нежданно напав на вторую судовую рать, отбил ее, оттеснив от Демона, и уже хотел осадить город, когда пришел приказ великого князя: идти не мешкая назад, к Шелони, стеречь новгородскую рать, а осаду Демона передать князю Михаилу Андреичу Верейскому, которого Иван таким образом вознаграждал за службу. (За новгородский счет и за счет Холмского, ибо богатая добыча с Демона уплывала у него из рук.)

Холмский, не мешкая и не споря, повернул к Шелони. В пути от клопских монахов, посланных отай настоятелем разыскать великокняжеские войска, Холмский узнал о выступлении главной новгородской рати встречу псковичам. Опытный воевода, он тотчас понял и без подсказки Федора Давыдовича (который как доверенный боярин Ивана хорошо знал о колебаниях псковичей), что встречи один на один новгородской и псковской рати, чем бы она ни кончилась, допускать не стоило. Холмский разослал гонцов во все стороны собирать разъехавшиеся для грабежа отряды, а сам устремился к устью Шелони. Тринадцатого вечером у Коростыня его догнал гонец Стриги-Оболенского, который сообщил приятную весть: Стрига посылал Холмскому татарский отряд со стягами и бунчуками, который должен был прибыть к нему под утро, через несколько часов.

Новгородская рать как раз миновала устье Шелони, когда на другом берегу показались москвичи. Было утро недели — воскресного дня.

Оба войска шли в сторону Сольцы по противоположным берегам Шелони, почти на виду друг у друга. Коегде дорога сближалась настолько, что хватило бы одного

перестрела из лука. Отдельные задиры подъезжали к самой воде.

— Шухло московское! Суконники! Бояра в лаптях! Воеводы калачные! — кричали с этого берега.

Москвичи изредка отругивались. Их было гораздо меньше, чем новгородцев, на глаз — вчетверо, а то и впятеро, и это прибавляло храбрости смельчакам. Холмский к тому же вел рать, обходя открытые места, чтобы она казалась еще меньшей, чем на самом деле. Его сильно беспокоила задержка разосланных в зажитье отрядов.

Выше Мшаги, переправа через которую задержала новгородцев, Холмскому удалось обогнать вражеский полк. Река впереди сворачивала к югу, а дорога на Псков, по которой шла новгородская рать, отходила к северу. Лучшего места для переправы не выдумаешь. Новгородцы даже не послали дозорных вперед, так как в этих местах никогда не бывало бродов. Но Шелонь сильно обмелела из-за сухости, и броды открылись в самых неожиданных местах.

Запыхавшийся ратник подскакал к Холмскому:

— Нашел брод! Коню по грудь!

— Все промерил?

— На той стороне был!

— Смотри, головой ответишь!

— Не, дно твердо, зыбунов нету!

— Веди!

Конница с ходу, не останавливаясь, скатывалась по пологому песчаному спуску берега, кони фыркали, окунаясь в воду. Передовые уже выбирались на ту сторону. К подходу новгородского полка Холмский с Федором Давыдовичем успели переправить всю свою рать через Шелонь, завести в лес засадный татарский отряд, час назад как прискакавший на взмыленных конях от Русы, и выстроить полки поперек дороги, вдоль речушки Дрянь, песчаные берега которой не могли помешать легкой московской коннице.

Еще не все отосланные отряды были собраны, и Холмский послал гонца для переговоров к новгородцам, не без умысла громко предлагая отложить битву до понедельника.

И малое на глаз количество москвичей, и это предложение, искрой пробежавшее по рядам и показавшееся признаком неуверенности, привело в раж истомившихся новгородских житьих. К воеводам, собравшимся под стягом, подскакивали, ломая строй, комонные:

— Веди, цего там! Издержались, стоючи! Колькой раз отлагать?! Ударимсе ныне! Месяц стояли! Хотя зипунов добыть! — орали десятки глоток.

Какой-то молодой житий врезался в самый круг боярской воеводской господы, осатанело крича:

— Вятшим хорошо тянуть, а я человек молодой, истерялся конем и доспехом!

Казимеровым молодцам с трудом удавалось оттеснять вышедшую из повиновения толпу. Сам Василий Казимер только озирался затравленным волком по сторонам. Выручил Дмитрий Борецкий. Он властно, так, что толпа притихла, зыкнул на нее:

— Кого вести? Сброд?! Али воев ратных?! Назад, в полки! Назад, говорю! Боя ждете? Будет бой! Не умедлим!

Житьи отхлынули, следя издали за своими воеводами.

Москвича-гонца тотчас отослали назад, отвергнув перемирие. Борецкий оглядел соратников. Лица у иных побледнели. Сказал угрюмо:

— Сомнем!

— Продавим их, всею силою ударить ежели! — поддержал Дмитрия Иван Кузьмин.

Казимер молча вертел шеей. Лицо его под низко надвинутым шеломом было мокро от пота.

— Распорядись, Василий Лексаныч! — сощуриваясь, кинул ему высоким голосом Губа-Селезнев. Конь под Селезневым плясал, беспокойно переступая тонкими ногами, и. заворачивая шею, грыз удила. — Клином станем?!

Вопрос прозвучал утверждением. Давно уже новгородцы не водили больших ратей, и давно уже повелось меж тем, да как-то и разумелось само собою, что становиться надо, ежели большой рати, непременно по-рыцарски, «свиньей», хоть никто и не мог бы сказать, чем такой строй предпочтительнее. Впрочем, орущая, лишь на время укрощенная толпа не давала времени обсудить толком грядущее сражение и толком разоставить полки.

— Вали! Друг за другом! Всею громадой! — подзуживали молодые.

Гонцы с приказами понеслись в разные стороны. Кузьмин, спесиво выпячивая бороду, поскакал к плотничанам, на правое крыло рати, торопить Арзубьева. Еремей Сухощек — на левое, во владычный полк, который тянулся позади и посторонь прочих, явно не ревнуя о сече. Григорий Тучин с Федором Борецким ускакали к своей неревской рати подторопить отстающих.

Полки под кончанскими стягами: славенского Зверя,

плотницкого Вседержителя, неревского Орла, прусских, от Загородья и Людина, Всадника и Воина, — зашевелились и стали стягиваться в боевые порядки. Неревский стяг выдвинулся в чело рати. Бояре в тяжелых блистающих доспехах на окольчуженных конях выезжали вперед, строились на немецкий лад, броневым клином, чтобы ударить в середину московского войска.

Когда-то новгородские рати громили немецкую «свинью» боковыми охватами пешцев и стремительными прорывами в тыл конных княжеских дружин. С какой поры и почему решили они сами избирать некогда битый ими же боевой строй? Не с того ли времени, как исчезла у бояр уверенность в дружной поддержке ремесленников, а у ремесленников — вера в то, что бояре защищают и их интересы?

Ни Казимер, ни Селезнев, ни Борецкий не подумали почему-то о том, что москвичи, невзирая на неравенство сил, могут напасть первыми.

Селезнев, Борецкий, Григорий Берденев и один из Михайловых стали рядом, опустив тяжелые копья. Вострубили трубы. Был полдень. Новгородская рать двигнулась всею громадой и устремилась в бой.

Нападающих сразу же постигла неудача. Окольчуженные кони с седоками в тяжелом вооружении увязли в песке. Борецкий почувствовал это по сбившемуся, ставшему судорожным скоку коня и роковому, подкатывающему с затылка ощущению тесноты (от слитного дыхания конского и как бы сгустившегося разом гомона и звона железа). Он рванул коня, тот, взоржав, грузно встал на дыбы, еще глубже уйдя в песок задними копытами. Чье-то копье скользом проскрежетало по крупу его скакуна, к счастью, не прорвав брони, и конь судорожно скакнул, вновь увязнув всеми четырьмя ногами.

«Клин» замедлил движение. Задние налетали на передних. Ряды смешались. В тучах пыли погасли знамена. Борецкий с запозданием подумал, что москвичей надо было, наоборот, взять в кольцо. Но он уже ничего не мог сделать, не мог даже обернуться, чтобы отдать приказ, и только продолжал неровным коротким скоком сближаться с плохо различимым сквозь пыль московским строем, сжимая в руке длинное рыцарское копье. И тут-то Холмский и Федор Давыдович одновременно, с двух сторон, подали знак к наступлению. До слуха Дмитрия долетел режущий звук дудок. Тотчас легкие кони москвичей стремительно перенеслись через ручей, разбив его

копытами в тысячи сверкающих искр, и, все убыстряя и убыстряя бег, в вихрях песка поскакали навстречу новгородской рати.

— Москва-а-а!

Донесся нарастающий клич. Иные из москвичей, как обыкли в походах, кричали монгольское, перенятое от татар:

— Хурра-а! Урра-а!

Ратники стреляли на скаку, и сплоченный конный таран боярского ополчения попал сразу под ливень стрел, на мгновение затмивших свет, в уши ворвался их зловещий посвист. Новгородцы от неожиданности попятились, стесняясь еще больше, и выставили копья. Но пригнувшиеся к седлам москвичи замелькали перед самыми мордами коней, обтекая боярскую дружину с боков и проскакивая мимо рассыпным строем.

— Отсекают! — срывая голос, крикнул Борецкому Селезнев в самое ухо.

— Теперь вперед! Только вперед! — крикнул в ответ Дмитрий, ринувшись встречу врагу. Где-то сзади отстали Берденев с Михайловым. Совсем рядом показались московские ратники. Дмитрий шпорами сквозь кольчугу изо всех сил ударил по бокам взмыленного коня и рванулся на них. Конь споткнулся, но выровнялся. Копье, вонзившись во что-то, затрещало, и Дмитрий выпустил древко, тут же с облегченной яростной радостью вырвав из ножен клинок дорогого меча.

— Аа-а-а! — летело в уши.

Он рубанул, и еще, и еще... Ряды сшиблись. Дело наконец дошло до мечей, и мертвые стали валиться с обеих сторон.

Василий Казимер, хоть и был в панике, в ратном деле кое-что понимал. Та же мысль, что возникла у Дмитрия, почти одновременно пришла и к нему, когда он узрел, что продавить с ходу московский строй не удастся. Схватив за плечо своего дворского, он прокричал ему:

— Скачи в Славенский полк, пусть заходят сбоку, сбоку и в тыл! — он показал рукой круговращательно. — И Еремея поторопи, пущай тож обойдет! — Остатки гордости не позволили ему тут же, спасая жизнь, рвануться следом за дворским.

Рыхлая громада новгородской конницы меж тем топталась в облаке пыли, почти не двигаясь. Огибавшие ее по берегу москвичи осыпали новгородский полк стрелами, целясь в коней. Раненые кони лягались и вставали на ды-

бы, увеличивая сумятицу. Никто не видел, что впереди. Воеводы только сдерживали ратных, не наступая, ибо не знали, куда наступать — стремительные москвичи были со всех сторон.

Казимеров дворский, выбравшись из гущи, поскакал вдоль нестройных рядов Неревского полка. Казалось, гомон и рев догоняют его сзади. Стрелы изредка посвистывали над головой. Рать славлян топталась, не двигаясь с места.

— Почто стоите?! — крикнул дворский на подскоке. Голос его почти пропал в многоголосом гуле и ржании коней.

— Почто, почто! — озлясь, заорал ему в ответ боярин в граненом высоком шеломе, без нужды дергая повода, так что конь вспляcывал, задирая морду и обнажая багряные десны. — Куды наступать-то? Своих давить? Плотничана-ить вспятились!

Боярин хитрил. Полк явно стоял без движения, просто так. Дворский с ходу врезался в ряды:

— Чего медлите тут?!

Ратники переминались, отводили глаза.

— Кто его знат! Мы не знам! — ответил, морщась, пожилой, мирного вида ремесленник в не по росту широком кожаном кояре и старом клепаном шеломе. Давешний боярин подскакал сзади:

— Почто владычные стоят?!

— Передовой полк бьется! — возразил запальчиво дворский. — Казимер велел вашим сбоку и в тыл зайтить!

— Ищи воеводу! — засопев, отмолвил боярин.

Шум, стихший было, опять разросся, приблизившись.

— Москвичи!

Что-то створилось. Боярин, махнув рукой, ускакал.

— А-а-а! Москва-а-а! — неслось издали.

— Боярина какого спроси, цто мы? Нам не приказано! — загомонили мужики. — Каки мы ратные, силой набраны!

Дворский, уже с отчаяньем, вновь поскакал вдоль неровного строя славлян, разыскивая невидимое в пыли знамя и воевод. Лишь бы успеть!

В это время владычный полк тронулся наконец с места, видимо, Еремей добился своего, и, все убыстряя ход, поскакал, вздымая облака иссохшей, перетолоченной в пыль земли.

Впереди тоже стояли без движения ратные, и владычному полку, чтобы не врезаться в своих, пришлось взять

правее, в прорыв между славенской и прусскою загородскою ратью. Ратники нестройно растягивались, огибая своих. Передовые, небольшая кучка, плотно скакали с Еремеем, прочие начинали отставать. То тут, то там, словно нечаянно, запинался конь, кто-то осаживал, дергая повода. Нестройный гул от топота копыт заглушал выкрики. Далеко впереди то взмывал, то глох рев и лязг сечи, и непонятно было, свои ли, москвичи ли то, лишь порою прорывалось дружное: «Москва-а-а!», — и тогда становилось ясно, где какие рати.

Владычный полк, растянувшись, загородил дорогу плотничанам, и Кузьмин с Арзубьевым принуждены были остановить своих, пропуская ражих владычных конников. Все как на подбор: в бронях, зеркальных шеломах, на хороших конях, они проходили ленивой рысью, недовольно поглядывая по сторонам и все больше и больше растягиваясь.

Вот голова полка, ведомая Еремеем, — он не стал ждать отстающих, — вступила в дело и начала теснить москвичей. Военное счастье заколебалось. Но Даниил Холмский, вовремя усмотрев замятню, обрушился на нестойких архиепископских воев с отборной ратью, смял и погнал бегущих на боярский клин. Еремей, кинувшийся за подмогой, попал в гущу московской рати. Задние владычного полка вместо того, чтобы устремиться на Холмского, тотчас стали поворачивать коней, налетая на своих же.

Неразбериха стояла полная, и тут одно слово легко могло решить все, и это слово пронеслось. Сполошный крик: «Татары!» — разом порушил рать. Желтые татарские стяги стояли над лесом.

Пока передовые врубались в московский строй, тут кинулись назад, смешав своих же. Владычень полк целиком повернул на бег, оставив Еремея с несколькими верными ему ратниками. Те, что только утром кричали, требуя наступления, теперь круто осаживали коней, поворачивая к Новгороду. Роковое месячное стояние без дела, насильственный набор ремесленников, рознь славлян с неревлянами, бояр с житьими, а житьих с черным народом, приказы Феофила — все тут сказалось разом.

Дмитрий Борецкий врубился во вражеские ряды и уже пробивался к Даниле Холмскому, когда страшный удар в плечо сбоку и сзади, прорубив кольчугу, чуть не сбросил его с седла. Правая рука, выронившая клинок, повисла плетью. Борецкий оглянулся, ища подмоги, но кругом бы-

ли москвичи. Конь под Селезневым на его глазах повалился, Василий вскочил, чудом не запутавшись в стремени, но татарский аркан упал ему на плечи, и Василия, сбив с ног, поволокли по земле. Борецкий вырвался и, одолевая боль, поскакал воротить полки. Великие бояре на глазах бросали сабли, сдавались в плен.

«Часу не стояли!» — подумал он зло. Горсть боярской дружины, еще ощетиненной копьями, теряла строй. Под стрелами пятились кони. С горы к ним прорывался, натужно крича, Киприян Арзубьев с негустою толпой плотницких житьих. Борецкий левою рукой неумело махал шестопером, расшвыривая москвичей. Грянулся конь, и от удара о землю у Дмитрия затмилось в глазах. Он уже не видал, как взяли Арзубьева, как слагали оружие последние ратники окруженной боярской дружины.

Неревляне, двинувшиеся вслед передовому боярскому полку, были остановлены встречным натиском москвичей. Слишком тесные порядки и неумение ремесленников толком держаться в седлах не давали возможности развернуть полк к бою. Большая часть рати недвижно стояла под стрелами, с трудом удерживая бесившихся коней, которые уже от посвиста стрел прижимали уши и храпели, а будучи раненными, взвивались или падали, увлекая седоков за собою. Кольчужные брони на конях были только у немногих бояр. Полк погибал, редко и неумело отстреливаясь.

Григорий Тучин, как только полк остановился, понял прежде прочих, что происходит. Но пока он выпутывался из тесноты и выводил свою дружину, время было упущено. Московские ратники уже обошли полк и с той и с другой стороны.

Растерявшись (где-то внутри мгновенно похолодело) и разом озлясь на себя за эту растерянность, так что кровь прилила в голову, Григорий крикнул: «Вперед!» — и рванулся в гущу москвичей. Длинные просверки сабель зазмеились вокруг, посыпались удары по щиту, прямь и скользом. Он опять растерялся, на миг прикрыв глаза и шатнувшись назад. Скоп москвичей, рассыпаясь, пролетел мимо. Григорий снова ринулся, но жеребец резко остоялся, дернувшись и взоржав от удара шпор. Тучин в горячке не сразу понял, что стремянный держит за повод его коня.

— Отдай! На помочь! — в гневе он оглянулся на бледные лица дружины. — За мной!

Пришпорив коня, с опущенным копьем Григорий по-

скакал туда, где, окруженная со всех сторон, гибла передовая рать. Ему наперерез летели легконные московские лучники. Дружина за спиной топотала вразброд, отставая. Он обернулся на скаку:

— За мной!

Ратники заспешили, неохотно подтягиваясь. Стрела ударила Григория в шелом, мало не в лицо. Зазвенело в голове. Москвич увернулся от удара копья. Тучин, не сумев повернуть, пронесся мимо. За спиной во вскриках рассыпался новгородский строй. На Тучина набросились сразу двое, один ловко отбил копье, обрубив наконечник. Григорий, бросив древко и обороняясь щитом от удара кривой татарской сабли, вырвал меч и рубанул вкось, клинок столкнулся с клинком, раз и два, и три. Кони плясали. Перегнувшись, Тучин, остервенясь, хватил второго — и тотчас у самого потемнело в глазах от удара по шелому. Вздев за повод коня, он отбил второй удар (чуя, что дружина его уже повернула и он один среди москвичей), бросил коня вперед, яростно рубанул, и на этот раз в мягкое. Вывернув коня, Тучин бросился было на второго, но туча стрел затмила ему свет — только панцирь спас. Раненый конь взвился на дыбы и пошел судорожным скоком. Бледное лицо слуги, вновь схватившего повод, оказалось рядом.

— Беда! — прокричал он в ухо Тучину. — Окружили!

Над головой просвистел аркан. Стремянный вовремя отдернул Григория. Еще один ратник спешил им на переймы. В стыде за то, что приходится скакать назад (расквитаться хоть с одним!), он кинулся на москвича, но тот прянул в сторону, и, опять едва уйдя от аркана, Григорий понял, что те просто умеют драться, а они — и он тоже — нет.

Кругом бежали. Оглянувшись, он увидел только четверых из своей дружины, и у тех в глазах был ужас смертный. Следовало остановить бегущих, и Тучин попытался было это сделать, но его отбросили и чуть не сбили с коня. Морщась, кусая губы от бессилия, он глядел на этот позорный разгром и, оборотясь, обнаружил рядом только одного стремянного. Криво усмехнувшись, Тучин приказал ему:

— В Новгород!

Во втором часу дня уже никто не сопротивлялся. Бежали и сдавались, бросая оружие. Бояре обрезали брони — полосовали кожаные завязки лат, скидывая железо, чтобы облегчить коней. Ремесленный люд, доскакав до

лесу, валился с седел, разбегаясь по кустам. Москвичи безжалостно рубили бегущих. Уже вели полоняников. Кое-где начинали обдирать доспехи с мертвецов.

Захваченные стяги торжественно проводили вдоль войска. Ратники, подъезжая, прикладывались к полотницам, целовали святые лики новгородских знамен.

— Сам бог за Москву!

Победа была полной. Вместе с обозом Холмскому достался и противень договорной грамоты Новгорода Великого с королем Казимиром, что для Ивана Третьего было самой ценной добычей.

Савелков поспел к третьему часу. Нападать было бессмысленно. Хоронясь за лесом, повел своих к городу, по пути собирая бегущих. Подобрали пешего окровавленного боярина — оказался Никита Есифов. От него узнали о том, что Кузьма Грузов и многие плотничане взяты в плен. Называли и убитых. Никита поведал, что Сергея прикончили на его глазах. Тот с криком кинулся на копья москвичей и был сражен наповал. Позже, на устье, не доезжая Голина, наткнулись на трех москвичей, осадивших одинокого новгородского ратника. Увидев отряд Савелкова, москвичи пустились наутек. Ратник был весь черен от грязи и пыли и шатался вместе с конем. Только по панцирю Савелков признал Григория Тучина.

К вечеру москвичи прекратили погоню. По тропкам и по лесу, обочь дороги, шли, ковыляли, ползли, сторожко выбираясь из кустов, новгородские ратники. Многие в поисках спасения уходили из города, забивались в леса, пробирались к далеким глухим деревушкам — уже и в прочность новгородских стен не верилось.

Вечером Холмский послал великому князю донесение о победе с одним из особо отличившихся в бою боярских детей, Иваном Замятней. Гонца ждала почетная награда.

Стали станом. Напасть на Новгород малыми силами, с наворопа, Холмский не рисковал. К тому же дружинникам надо было дать наконец ополониться. Коней, оружие, пленников, платье с убитых дорвавшиеся дворяне рвали друг у друга из рук. Впрочем, добра хватало. Мало кто остался без второго коня, одежды и дорогого оружия.

Даниил Холмский мог торжествовать. По сути, он один выиграл всю войну.

Иван получил донесение Данилы Холмского на четвертый день, в Яжелбицах, и тотчас двинулся к Русе, куда приказал привести захваченных Холмским полоненных новгородских бояр.

...Гонец промчался в облаке пыли на запаленно-храпящем коне. Промчался, клонясь к седельной луке, будто уходя от удара копья. Так никогда не скачут победители. У ворот всадник бросил несколько слов стороже и, не останавливаясь, полетел дальше, в Неревский конец, к терему Марфы Борецкой.

В город вошла беда. Еще никто ничего не ведал, еще воротная сторожа не успела оповестить и ближайших, а уже кучки народа начали собираться на улицах. Беда висела в воздухе струею неосевшей пыли, пронесшимся по мостовой тревожным одиноким топотом.

Борецкая заслышала шум во дворе и, еще не разобрав толком, по расширенным глазам ворвавшейся Пиши поняла: беда! Накинув плат, она стремительно сбежала по ступеням и, глянув на вестника, уже поняла все.

— Разбиты! («Господи, убиты, наверное!»)

Все сдвинулось и потекло в сторону, медленно опрокидываясь. Немеющими пальцами цепляясь за перила крыльца, она крепко зажмурила глаза и застонала негромко, не вынеся боли, схватившей сердце, будто переставшее биться, отчего стало зябко сразу и потом сразу горячо, и от слабости задрожали ноги.

— Баба Марфа! — крикнул уцепившийся за подол, неведомо как очутившийся на крыльце внучек, Ванятка, глядя со страхом на побелевшее лицо с закрытыми глазами.

Вот сейчас, сейчас, и... Марфа превозмогла обморок и вновь широко открыла глаза. Увидала: вот свой двор, бледные лица мужиков, запаленный конь у крыльца, тяжело, с храпом, поводящий боками, полосы грязи и кровь на лице и кольчуге гонца и растерянные молодшие, для которых сейчас единое ее слово решает судьбу города. И, проглотив комок, шедший к горлу, сурово и негромко, но властно, как допрежь, Борецкая приказала:

— Посады и монастыри жечь!

Она еще не знала ни что с Дмитрием, ни что с Федором, но все словно замерло в ней, одеревенело, и только воля была, как огонь в каменной печи. Скакали по ее приказам десятские, спешно укреплялись башенные костры, ополченцы перетаскивали пушки из Детинца на городские стены, усиленная сторожа занимала ворота. Нашлись воеводы по концам: кузнец, плотник и трое житьих. Иваньское купечество, вооружив всех молодших приказчиков, выставило новую рать. Передавали, что братия Николы на Мостище воспротивилась сожжению

монастыря. Марфа послала дворского с наскоро собранной дружиной и двумя пищалями, приказав в случае сопротивления разнести монастырь в куски вместе с монахами, и смотрела со стены, пока столб дыма не возвестил ей, что приказ исполнен. Этого урока оказалось достаточно. Горожане разом вспомнили, что сто лет назад, при Донском, также жгли пригородные монастыри *. Появились дружины добровольцев. В разных местах загорались пожары. Хоромы, кельи, подгородные слободы предавались огню. Жители пригородов потянулись с пожитками и скотом во все ворота, у коих уже стояла сторожа, проверявшая и направлявшая погорельцев по разным концам. Воротившихся невредимыми с поля ратников тут же посылали на стены.

Пока растерянные Яков Короб с Феофилатом осаждали архиепископа, моля «сделать что-нибудь», город к вечеру уже был готов к бою. Прискакавший в сумерках Савелков принял воеводство на Софийской стороне.

Продолжали прибывать беглецы. Савелков, разоставив дозоры, зашел с Никитой Есифовым к Марфе Ивановне. Перечислили убитых. Уже дошла весть, что Василий Казимер сам сдался московским дворянам, что схвачены оба Селезневы и Еремей Сухощек. Не знали достоверно, что с Иваном Кузьминым, который, обрезав на себе бронь, бежал с поля боя, жив ли Арзубьев. Тут только Марфа узнала, что Дмитрий взят в плен. Федора, черного лицом от устали (он прискакал ночью, без панциря, на чужом коне), Марфа встретила тяжелым взглядом:

— Что ж Митю... — не кончила, устыдилась собачьей виноватости в глазах сына. — Ступай! Онтонина весь день плачет, думает, убитый.

И, только сдав управу мужикам, сделав все, что могла, и более, чем могла, убедясь, что город приготовлен к осаде и не падет от нежданного удара москвичей, Марфа поднялась к себе, бессильно останавливаясь на каждой ступени, передыхала, что-то как разбилось в сердце. Прошла в иконный покой и тяжело опустилась на колени, почти рухнула, внезапно ощутив наступившую с годами и неприметную до сих пор самой грузность тела. Молилась о Мите, чтобы не погиб в плену, потом о всех убиенных по ряду. Про Сергея ей тоже сказали. Вспомнила глаза его замученные, темными тенями обведенные, и как поцеловала в лоб. Не за то ли погиб? Нахмурила брови, строже вздохнула, негодуя на себя, стала бить земные поклоны, пока не успокоилось сердце.

Ночью багровые сполохи пламени опоясали Новгород. Как встарь, жители жгли монастыри и ополья — чтобы негде было остановиться врагу. Город глухо, тревожно гудел. Корились и судачили об изменах. Под утро поймали Упадыша, зелейного мастера, переветника, что с несколькими приятелями заколачивал пушки на кострах. Виновных с трудом довели до веча. Казнили всех без милости, не терпелось на ком-то сорвать сердце за разгром, за позор, за стыд. Обвиняли архиепископа, обвиняли Дмитрия Борецкого, Казимера... Сторонники извилистых мер, во главе с Феофилатом Захарьиным, сговаривались отай, как им лучше замириться с Москвой и откупиться от великого князя. И еще никто не знал, не ведал о двинских событиях.

ГЛАВА 16

Известие о Шелонской победе Иван получил на четвертый день, будучи в Яжелбицах. Полагая, что все уже кончено, он принял Луку Клементьева, которого вел с собой, дал ему «опас» — разрешение Феофилу ехать на поставление в Москву — и отпустил в Новгород.

Отовсюду шли вести о победах. Пали Молвотицы. Воеводы Демона сдались верейскому князю Михаилу Андреевичу, заплатив тому окуп в сто рублей. Псковская рать тоже недолго стояла под Вышегородом. Через день после начала осады, отбив первый приступ, новгородский воевода Есиф Киприянов запросил мира и предложил окуп с города. Псковичи дали мир, собрали свои стрелы по заборолам и пошли к Порхову.

Иван меж тем продолжал двигаться вперед и двадцать четвертого июля был в Русе. Тут к нему привели захваченных на Шелони новгородских бояр. Одновременно великий князь узнал о том, что новгородцы казнили изменников, замышлявших отай впустить рать великого князя в город, и жгут окрестные монастыри. Приходилось думать о долгой осаде. Он приказал псковичам, устремившимся на Порхов, изменить направление и идти с пушками прямо к Новгороду. Сам Иван меж тем занялся пленными, которых развели по затворам и допрашивали поодиночке.

Раз за разом ярея все более, перечитывал он попавшую к нему наконец-то договорную грамоту Великого Новгорода с королем Казимиром. Все эти уложения о судах смесных литовского ставленого князя с посадником

на Городце — у него на Городце! В его княжом тереме! Все эти перечисления Торжка, Волока, Бежичей в составе земель Новгорода и, значит, короля литовского! Все эти варницы в Русе, черный бор, платы с Ладоги, Ржевы, Порхова, Моревы, Копорья. Подъездное и судебное, что передавались Казимиру, все это нарочитое выставление старин и вольностей новгородских, в чем-то справедливое и потому особенно нестерпимое и обидное для него, государя всея Руси.

— Воли захотели!

«А поидет князь великий московский на Великий Новгород, или его сын, или его брат, или которую землю подымет на Великий Новгород, ино тебе, нашему (!) господину (!) честному королю всести на конь за Великий Новгород...»

— Всести на конь! Нашему! Переметнулись!

Холодный по природе ума, осторожный по поступкам своим и постоянно сдержанный с виду, в Думе и делах посольских казавшийся много старше своих лет, Иван внутри себя хранил ярость безудержную, жестокую и необузданно древнюю, передавшуюся целиком его внуку, Ивану Четвертому. Но эту ярость Иван Третий, в отличие от внука, хранил внутри, за семью замками рассудка, и выплескивал чрезвычайно редко, и то только тогда, когда разум подсказывал ему, что — да, теперь, в эту минуту, можно позволить себе взорваться.

Упрямый Новгород бесил его, и сейчас, после Шелонского разгрома, бесил особенно. Заградившись пожарами, город грозил снова уйти, увернуться, опять и вновь отодвинуть в неведомое «далеко» окончательное разрешение трехсотлетнего спора, спора о власти великих князей московских и независимости Господина Великого Новгорода. Город, приготовленный к бою, заставлял вспомнить и печальную осаду Новгорода войсками Андрея Боголюбского.

Его не смягчило, что пойманный Василий Казимер валялся в ногах, умоляя о милости. Какова цена подобных раскаяний, Иван знал слишком хорошо. Он охотно казнил бы всех захваченных, но это могло отпугнуть от него бояр тверских, ростовских, суздальских, рязанских, да и московских тоже. Задумались бы и те, кто готов переметнуться к великому князю из уделов беднеющих князей... Нет, всех казнить нельзя. Он должен проявить умеренность. Он должен карать, но как судия, а не мститель.

Василия Казимера можно не трогать, он даже пригодится — слизняк. Грузы слишком уважаемы прусским

боярством, и с ними надобно поладить, хоть Офонас Остафьев и подписал соглашение с королем Казимиром. Кроме того, молодой государь, окруженный старыми воеводами, должен, елико возможно, уважать боярские седины. Казнить стариков должно в крайности и с сугубым рассмотрением. Да и вообще лучше, учитывая рознь новгородскую, казнить бояр только одного Неревского конца и тем остеречь, но и отвратить от мятежа милостью других, более радеющих великому князю. Так размыслив, он выбрал четверых: Борецкого с Губой-Селезневым и Киприяна Арзубьева, которые были известны, первые — как зачинщики, третий — как их деятельный помощник; и Еремея Сухощека, по косвенному доносу Феофила, как самого рьяного приверженца литовского короля из окружения новгородского владыки.

Полтора десятка наиболее верных слуг названных бояр, тоже схваченных на борони, были не в счет. Этих можно было приказать казнить без шума, благо судьбою смердов не будет озабочен ни один из детей боярских великого князя, и даже имен этих казненных не отметит и не удержит ни одна городская или княжеская летопись.

Что касается бояр, то, соблюдая и являя другим законность казни, Иван сам вызвал к себе на допрос Дмитрия Борецкого. Пленника вывели из погреба во дворе временного княжого обиталища, и под десятками любопытных глаз дворян-ратников, княжат, дьяков, конюхов и прочей государевой прислуги и свиты провели в терем. В сенях его передали другим, придверникам великого князя, и те втолкнули Борецкого в покой государя.

Иван сидел в кресле. Он был в простом дорожном платье, без кольчуги, в полотняной безрукавой ферязи сверх узкого, на московский лад, застегнутого на серебряные круглые пуговицы терлика. Кроме дорогого перстня с гранатом на нем не было никаких украшений. В углу за столом, склоняясь над чистою грамотою, с гусиным пером в руке и открытою дорожной чернильницей перед собою замер дьяк-писец. Три члена судебного совета сидели в ряд на лавке у стены и одинаково, разом, подняли глаза на Борецкого и разом же опустили их долу.

Дмитрий, бледный от раны, кое-как перевязанной и уже гноящейся, превозмогая боль, постарался расправить плечи (стянутых за спиною рук ему так и не развязали) и стал, смело глядя в лицо Ивану Третьему. Великий князь мановением руки удалил дворян и, вдруг встав, сделал несколько шагов навстречу Борецкому.

Иван был выше ростом, Дмитрий — шире в плечах. Так они стояли друг перед другом, и Иван, супя свои почти сросшиеся над переносьем брови, подрагивая длинным носом и медленно свирепея, протянул к лицу Борецкого захваченную договорную грамоту.

— Узнаешь? Изменник! Казнью казню тебя! — с яростной дрожью в голосе выговорил он.

Три члена совета согласно склонили головы.

— Я не изменник тебе! — ответил Борецкий твердо. — Мы, мужи новгородские, искони вольны во князьях, и взят я на борони, яко пленник, а не тать и не переветник княжой! Казнить меня — сила твоя, а права такого тебе не дано, и изменником звать меня ты не можешь!

Члены совета мгновенно переглянулись.

— Ан нет! — сдерживая голос, свистящим шепотом, и все выше и выше подымая, почти до крика, заговорил Иван. — Ан нет! Ты боярин мой! Ты грамоту принял, благодарил! Ты пожалован, пожалован мною! А значит — слуга мой! И не как мужа вольного, а как боярина своего волен я казнить тебя, изменника! — И, уже перейдя в крик, Иван возопил вбежавшим дворянам: — Взять! Кнутьем бить!

Только тут Борецкий понял вполне весь грозный смысл московского пожалованья.

Швырнув грамоту, Иван топтал ее ногами и, тыча перстом в Дмитрия, обеспамятев, ужасен лицом, все повторял:

— Взять! Взять! Взять! Мучить! Пороть его!

Борецкого схватили в две руки за шиворот, поворотили, пихнув прямо в рассеченное плечо — от боли аж потемнело в глазах, — и поволокли вон. На расправе он, принимая удары по кровоточащей разрубленной спине, дважды терял сознание. Борецкого отливали водой и снова били.

К вечеру по приказу Ивана их, всех четверых, вывели на казнь.

Притихшая, обезлюженная Руса, половина жителей которой перебралась в Новгород, а другая половина сидела, забившись, по домам, пережидая военную грозу, была битком набита московитами. И на улице, по которой их вели, и на площади перед собором, где уже поднялся помост с плахою и ожидали палачи, кругом были только чужие, московские лица, чужие, любопытные или злорадные глаза. И никто или почти никто из собравших-

ся поглазеть на казнь государевых дворян, детей боярских и простых ратников не задумывался над тем, что всенародная казнь великих бояр новгородских когда-нибудь отзовется и на них, что, допустив сейчас эту расправу, сто лет спустя они уже не смогут не допустить того же применительно к себе самим и не сумеют спасти свои собственные боярские головы от государева топора, а спины — от кнутобойного поругания.

— Слыхал, — вымолвил Селезнев дорогою, — ратные ихние бают, Новгород горит?

— Посады жгут! — ответил Дмитрий.

— Не возьмут, думашь?

Борецкий помолчал, ответил убежденно:

— Мать города не отдаст!

Селезнев прищурился, стрельнул черными глазами, улыбнулся — улыбка не получилась, у друга была рассечена щека, — вздохнул, вымолвил негромко:

— Эх, мало погуляли мы с тобой!

Первым к плахе подвели Арзубьева. Киприян, державшийся достойно до сих пор, пока били кнутом, у плахи вдруг вздрогнул, начал упираться, у него жалко свернулись плечи и отчаянно перекосилось лицо. Дмитрий закрыл глаза, чтобы не видеть унижения Киприяна. Раздался сдавленный стон, потом глухой удар и стук скатившейся головы.

Еремей Сухощек — тот усмехнулся серыми губами, подошел сам, пихнув плечом московского ката. Оборотился, когда уже схватили валить.

— Постой! Дмитрий Исакович, прости, в которой вины виноваты! Не сдюжили мы! Прости, Василий!

И эта голова скатилась.

Подошел черед Селезнева. Дмитрий Борецкий до самого этого мгновения — пока, превозмогая боль, стоял перед Иваном Третьим, пока, закусив побелевшие губы, терпел удары бича — все не верил, думал, помилуют. Ну, яма, ну — в железы засадят. Но чтобы казнить топором его, великого боярина! И тут вдруг понял: жизни осталось — глазами кинуть. Василий оборотился к нему:

— Поцелуемся, Митя!

Их грубо разорвали. Селезнев только успел коснуться губами щеки Дмитрия. С ужасом Борецкий смотрел, как эта дорогая голова друга враз покатилась прочь, а странно короткое тело отвалилось назад и поволоклось в сторону, меж тем как в ушах еще звучал его голос: «Поцелуемся, Митя!»

Дмитрий сжал зубы, стиснул глаза, в которых закипели слезы, превозмог себя и деревянно шагнул к плахе, обарывая подступающую тошноту.

Казнив новгородских бояр, Иван двинулся дальше, к Коростыню, и там, на месте первого, учиненного Холмским побоища, на третий день после казни, двадцать седьмого июля к нему наконец прибыло на судах новгородское посольство с просьбою о мире, во главе с архиепископом Феофилом *, степенным посадником Тимофеем Остафьевичем и старейшими посадниками: Иваном Лукиничем от Плотницкого конца, Яковом Александровичем Коробом от Неревского, Феофилатом Захарьиным и Лукой Федоровым от Людина и Загородья и Иваном Васильевичем Своеземцевым от Славны. С ними прибыли тысяцкие, купеческие старосты и пять житьих от пяти концов города. Это было полномочное посольство от всего Господина Великого Новгорода, склонившегося наконец перед волей великого князя московского.

«Сколько еще может продержаться город?» — хмуро гадал Иван. С неба, пока еще знойно-безоблачного, вот-вот могут полить дожди, и тогда пыль дорог станет непроходной грязью, и застрянут обозы, и вздуются реки, а там к Москве подойдет Ахмат с Ордой, или Казимир с Литвой, или оба враз совокупною ратью.

Он вызвал Степана Брадатого для спора с новгородскими боярами о правах великого князя московского. Степан Брадатый сиял. Это был его день. Он вздел, невзирая на жару, дорогое суконное платье. Заранее приготовил речь, предвкушая, как он будет разить врага неопровержимыми доводами, словами святого писания и текстами древних хартий, как будут путаться перед ним новгородские книжники, как он им докажет, что они не более чем слуги великого князя московского, как будут низиться перед ним эти гордые мужи, укрощенные десницей государя и его, Брадатого, высокомудрою, красноукрашенною речью. Но новгородские послы, сломленные разгромом и устрашенные казнью, понимали, что там, где уже решил меч, слово не перевесит, и спорить о правах — лишь дразнить великого князя. И Брадатому, к его великому сожалению, так и не пришлось выказать свои ораторские таланты.

Послы предстали перед Иваном, расположившимся в самой просторной коростынской избе. Маленький насто-

роженный хорек — Феофил; массивный, не утративший упрямого достоинства Тимофей Остафьевич; грустный, с усталым стоическим лицом Иван Лукинич; угодливо рассыпающийся в улыбках, жидкий и мягкий Феофилат; откровенно потерянное лицо молодого Луки Федорова и строгое бледное самого юного из послов, Ивана Своеземцева. Иван Третий разглядывал их всех по очереди и вместе — граждан непокорного города, едва не переметнувшегося в руки Литвы, сломленных, покорных и все еще не покоренных.

Начались переговоры. Послы расположились в шатрах, недалеко от берега, где еще валялись там и сям обгорелые остатки уничтоженных после поражения малой судовой рати новгородских людей. Коростынь была переполнена, все избы занимали приближенные великого князя. На много верст вокруг, в шатрах, шалашах и по деревушкам стояла московская рать, скакали в облаках пыли конные разъезды, кони дочерна выедали траву под соснами. Весь хлеб был потравлен, огороды вытоптаны, огорожи разломаны, скот прирезан, и крестьянские погреба вконец опустошены прожорливыми великокняжескими ратниками.

Новгородских послов приводили каждый раз в сопровождении вооруженных московских дворян, которых при желании можно было принять и за почетную свиту, и за охрану при пленниках. На переговорах Иван уже не встречался с посланцами Новгорода, высылая к ним своих бояр, передававших слова и предложения великого князя и приносивших ему ответы новгородцев.

Позднейшие историки не раз отмечали, и даже с похвалой, а иногда с удивлением, мудрую умеренность требований, предъявленных в этот раз Иваном Новгороду, умеренность, тем более непонятную, что тяжесть поражения, понесенного Новгородом Великим, не шла ни в какое сравнение с его предыдущими военными поражениями. Москвичи заняли всю Новгородскую волость, дошли до Наровы и даже перешли рубеж, пограбив земли немецкого ордена. Их рати уже нигде не встречали никакого сопротивления, а засуха открыла московской коннице доступ в самые непроходные дебри.

Но умеренность Ивана имела свои, и очень веские, причины, отнюдь не объясняемые отходчивостью, мягкостью или гуманной снисходительностью государя московского.

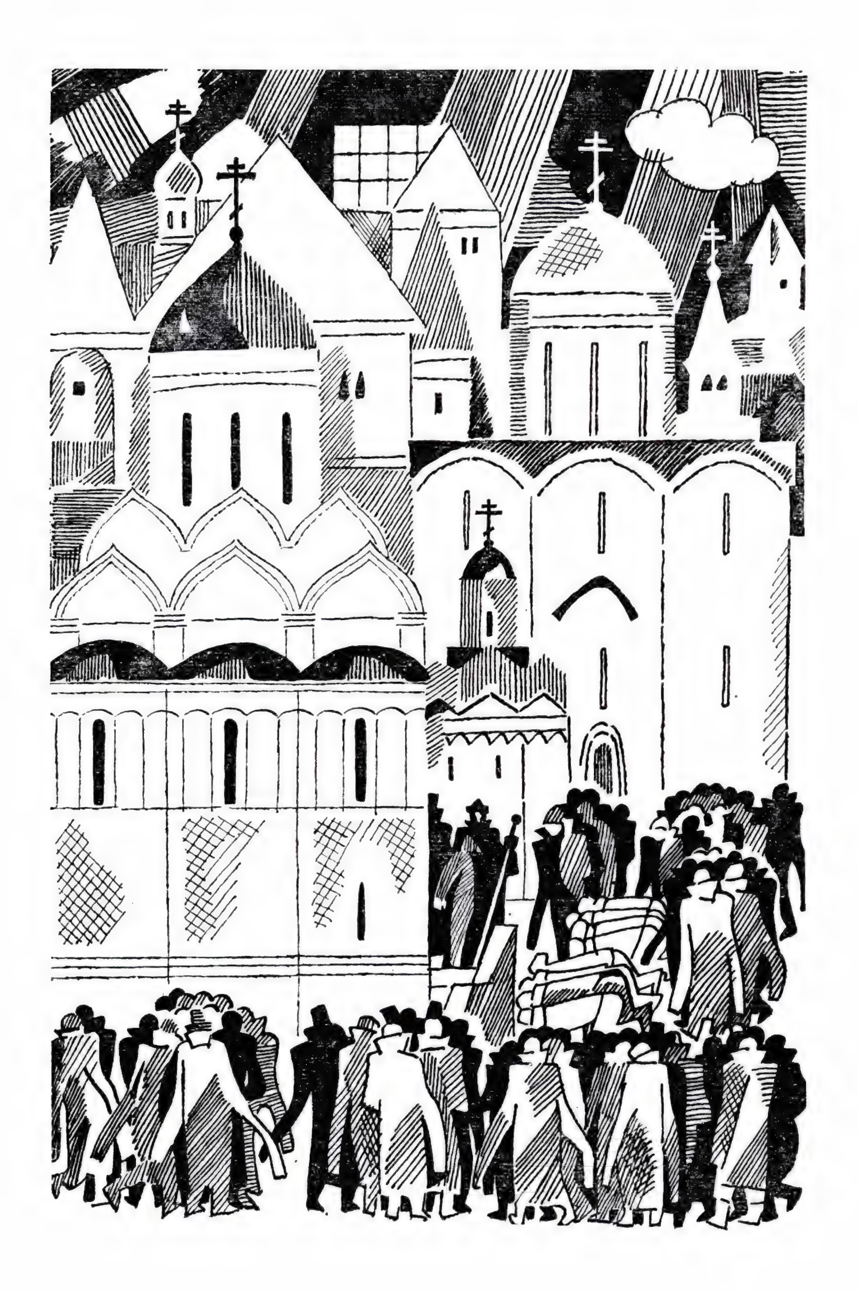
По всем дорогам подымалась пыль; дымы пожаров,

которые никто не тушил, застилали небо. Кони топтали неубранный, жидко колосившийся хлеб. Гнали через пересохшие болота захваченный крестьянский скот, который жители тщетно пытались укрыть в чащобах. В селах, которые отходили к великокняжеской волости, как передавали Ивану, не осталось ни одного человека, все были забраны в полон. Татары не жалели вообще никого. Войско, как саранча, уничтожавшее все на своем пути, становилось нечем кормить, и по мере возраставших продовольственных трудностей падал порядок. Каждый тащил что мог. Воеводы открыто брали окупы с городов. Удельные князья толпами уводили мужиков в свои уделы. Нежданно легкая победа грозила оборотиться нежданным же поражением. Иван был зол на себя: все-таки он всего не учел!

Предъявлять в этих условиях крайние требования было рискованно, тем паче что Новгород, окруживший себя кольцом пожаров, явно не думал о сдаче.

В конце концов Иван получил если и не все, что хотел, то очень многое. Новгород обязывался заплатить, причем не по частям, а немедленно, огромный окуп в шестнадцать тысяч рублей; отказывался от своего права «вольности во князьях» и признавал нерасторжимым союз с великими князьями московскими, как и церкви новгородской — с московской митрополией: «а инде нам владыки, опроче московского митрополита, нигде не ставити» — было записано в договоре. Новгород обязывался не принимать врагов великого князя: Ивана Можайского и Ивана Шемякина, сына покойного Дмитрия Юрьевича Шемяки, ни их детей, ни зятьев, а также никого из родичей князя Василья Ярославича; обязывался не вступать в особные договоры с литовским королем. На судебных решениях республики теперь вновь, как в старину, полагалось быть печати великих князей московских, а спорные решения смесных судов подлежали обжалованию перед самим великим князем Иваном или его сыном, или братьями, во время их приездов в Новгород. Так был нанесен первый удар по новгородскому вечевому строю.

Отдельно была составлена грамота о двинских землях. Великому князю отходили захваченные новгородцами и когда-то числившиеся за великими князьями земли по Двине, Пинеге, Мезени, Немьюге, Ваге, Онеге, Суре Поганой и Кокшенге. Еще не дошли вести о двинских делах, но если даже московские воеводы и не добились там



решающего успеха, то Новгород все равно обязывался отдать великому князю причитающиеся ему волости. По всем прочим статьям договор оставлял Новгороду его старинные права, утвержденные в прежних соглашениях земли, и даже Торжок, Вологда, Бежичи продолжали числиться за Господином Великим Новгородом.

Переговоры продолжались одиннадцать дней. К концу переговоров, в начале августа месяца, гонец привез известие, что и на Двине в тот день, когда прибыло в Коростынь новгородское посольство, была одержана полная победа над новгородской ратью.

Десятого августа Иван приказал прекратить грабежи и отпустить захваченный полон. Земля без мужиков — плохой дар для государства, зарастет лесом, и поди ее потом подыми вновь, запустошенную — кем и как? Надлежало думать о дальнейшем, а новгородские пашни Иван, даже и не добившись окончательного подчинения города, уже начинал числить своими.

Тринадцатого августа тяжко ополонившееся войско тронулось в обратный путь. Первого сентября Москва торжественно встречала победителей. Звонили все колокола московских церквей. Сын и Андрей-меньшой встречали Ивана еще за день пути от столицы. На семи верстах от города выстроились вдоль дороги радостные толпы москвичей, и митрополит Филипп с клиром, в облачении и с крестом в руке встретил великого князя на сходе с большого каменного моста, на площади, и благословил всенародно. Дома мать с новым уважением оглядывала сына-победителя, заметно возмужавшего и прибавившего уверенности за неполных три месяца похода. А второго сентября пошли из новгородской осады жители разоренной Русы, чтобы строиться, опять начинать варить соль и жить дальше.

Все долгие недели осадного сидения и переговоров — с середины июля и почти до сентября — Новгород голодал, терпя и пережидая. Скудные запасы пшеничного хлеба из боярских закромов «и того поокуду», как писал летописец, не могли удовлетворить более чем двухсоттысячное (вместе со сбежавшимися жителями пригородов) население великого города. Начинался ропот. Голодные слонялись по улицам, громко требуя к ответу великих бояр и житьих — виновников военного поражения. Кто еще имел запасы, предпочитал не высовываться

из домов. За стенами города шла ленивая перестрелка разъезжих охочих дружин. Изредка бухали новгородские пушки, отгоняя зарвавшихся московских конных ратников. Томительное стоянье продолжалось. И сверху солнце, ласково-беспощадное, жгло кровли теремов и храмов, накаляло мостовые и городские стены так, что казалось, в дрожащем стеклянном воздухе курились пересохшие бревна городень. Просушенный до звона камень башен-костров выбелился так, что делалось больно глазам. Лишенный посадов, сожженных горожанами, и от того как бы сузившийся и выросший ввысь, ставший изобильнее камнем соборов и строгою башенною красотою, город стоял все еще не одоленный, все еще гордый и неприступный.

Рушане у Ивана прижились, Феня напеременки с Анной мыла, стирала, обихаживала корову. За травой выбирались за городские стены, приносили на себе, в саках, каждый раз при этом рискуя головой. Добро, москвичи стояли не близко от города. Светлоголовые ребятишки играли с Ониськой. Старик сполнял мужеву работу за лежавшего пластом Ивана, за едой строго останавливал своих ребят, когда детская, не знающая удержу рука тянулась ко второму куску. Голодали дружно, все вместе. Несколько раз мокрый по пояс, пройдя с бреднем о Волхово, дед приносил мелкой рыбы, тогда варили уху. Мужа Анна поила отваром, вливая ему в рот. Сам еще не умел толком есть, все текло из безгубого рта на бороду и рубаху.

Раны на лице подживали.

Маленькая Ониська со страхом сторонилась отца. Иван однажды — вставал уже — хотел приласкать Ониську, но та забилась в угол, отпихнув его ручонками, в глазах стоял ужас. Иван долго потом плакал молча, лежа на лавке. Анна ходила по дому сама не своя. Первый раз в жизни побила дочерь. Ночью подлегла к Ивану, коснулась пальцами лица — мокро от слез. У самой щекотно стало в горле. Иван пробормотал, стыдясь:

— Куда тебе такого...

Она целовала руки, большие, изработавшиеся, прижималась, гася в себе страх от этого чужого лица. Решась, потянула к себе Ивана.

— Цто ты...

— Ляжь, говорю!

Опрокинулась, плотно зажмурив глаза. Иван и сам положил ей руку на лицо. Рука родная, тело родное, все, только дух от лица... Молчала, жадно чувствуя мужа. Ослаб, ну, ничего, оживет! Сама дивясь, что смогла, долго потом ласкала Ивана, пока он впервые, кажется, крепко уснул с тех пор, как воротился от Коростыни.

А как стала ложиться с мужем, так и Ониська, на третью ли ночь, пробралась к ним. Хоронясь за материной спиной, потрогала отца — еще боялась немного. Иван сторожко, тоже через мать, долго гладил дочерь по головенке. А еще дня через два Ониська спросила:

— А правда, у нашего бати нос вырастет?

И долго не могла понять, почему мать смеется и плачет одновременно, целуя ее в щечки и судорожно прижимая к себе.

В конце августа город стал оживать, по мере того как с прекращением осады начинали подходить обозы с хлебом. Казалось, беда миновала. Засобирались и рушане. Теперь, когда открылись пути, вовсю заработали ремесленные мастерские, наверстывая упущенное. Ватаги и дружины новгородских плотников, чеботарей, шерстобитов, шорников, кузнецов расходились по ближним и дальним деревням, погостам, рядкам. Лодейные купцы спешили с самонужнейшими товарами. День и ночь разоренная деревня слала в город жалкие поскребыши снедных припасов, которыми пренебрегли или которых не заметили москвичи, а город спешил восстановить порушенные амбары и избы, отковать лемехи, косы, гвозди, ножи, топоры, подковы; шил, тачал, мастерил, ладил лодьи и плел сети.

Рушане зарабатывали себе на отъезд. Так просто не тронешься. Дома, почитай, все разорено. Купцы из Русы уже заключали договоры и набирали товару под будущую соль. Тут же рубились хоромы, чтобы плавом, по озеру, подвезти до своего города, у кого пожгли ратные. Богатые ссужали бедняков деньгами, лопотиной, хлебом под будущую работу. Руки человечьи все замогут, а без работников соляное дело не своротить, да и общая беда единила. Собирались по концам: кто с Песьего, кто с Рогова, по улицам. Отыскивались старосты. Второго сентября караван в сто восемьдесят судов, больших и малых учанов, с людьми, скотом, пожитками, лопотиной, семенным хлебом, ведя за собой плоты из начерно обделанных под будущие хоромы бревен, тронулся в путь.

Анна с Иваном провожали Феню, детишкам надавали

гостинцев, даже тесть Конон пришел, сунул деду резную рукоять к ножу. Обещали гостить, писать друг другу...

Страшная весть обрушилась вдругорядь на исстрадавшийся город. Рассказывали потом, кто видел, кто пережил, так: корабли стали в устье Ловати. Ловать пересохла, мели не давали войти в реку. С вечера еще было тихо, только тяжелые тучи, копясь, облегли небосвод. Ветер ударил ночью, с вихорем. Помчал разом взбесившуюся воду. Весь в пене, Ильмень обрушился на корабли. Якорные веревки лопались одна за другой. Учаны било друг о друга. С треском проламывались борта. Сплоченный лес раскидало, и бревна, прыгая из воды, как живые, давили захлебывающихся людей. Челноки, на которых пытались спастись, накрывало волной с одного разу. Что творилось на судах, где женщины, дети среди обезумевшей скотины и рушащихся груд добра во тьме кромешной метались, захлебывались и гибли, не находя спасения, даже и описать невозможно.

Потом, собирая трупье, лишь в одном месте мужики насчитали полторы сотни изувеченных, выкинутых на берег мертвых тел. Точного числа погибших не считал никто. Добежав до Москвы, известие обросло баснями и небылицами. Говорили уже о девяти тысячах утопших жителей Русы, и московские философы, вроде Степана Брадатого, с удовлетворением заносили их трагическую гибель на тот же счет господней кары за отпадение жестоковыйных мужей новгородских в латынскую ересь...

И та была не последняя беда. В октябре, будто мало было горя, загорелось от Белого Костра, пожар охватил речной немецкий двор и потек в улицы. Мало не оба конца градских выгорело дотла, до серого пепела.

Война притушила блеск гордо вознесшегося над Волховом двора. Пусто стало в пышном тереме Борецких. Исчезла молодежь, отхлынула живая кровь, рождавшая удаль и надежды. Утихли пиры, прекратились бешеные скачки коней, замерли смех и песни в просторных богатых покоях. Вскоре после известия о казни мужа Капа собралась и, взяв Ванятку, перешла жить к отцу, Якову Коробу. Марфа не удерживала ее. Короб сам приходил, объяснял, что так-то и безопаснее. Гнев великого князя скорее падет на сына казненного Дмитрия, чем на его, Короба, родного внука. Она кивала головой, соглашаясь. Коробу стало не по себе.

После казни сына Марфа поседела и уже никогда не снимала темного вдовьего плата с головы, но внешне держалась спокойно. Все так же обходила клети, наряжала еще строже, чем обычно, холопов — мужиков и жонок — по работам. В деревни, разграбленные московской ратью, были разосланы люди с наказом узнать о размерах урона и помочь чем можно. Следовало во что бы то ни стало собрать урожай с полей, и посыльные, тревожно поглядев в глаза Марфе Ивановне, убеждались, что воля ее по-прежнему тверда, и быть может, еще тверже, чем обычно.

Только Пиша, зная, что Марфа Ивановна почти не спит по ночам, со страхом взирала на госпожу, боясь, не надорвется ли вдруг это ее суровое наружное спокойствие.

Меж тем в городе, отягощенном разореньем и московской данью, не утихали споры. Казнь Упадыша была лишь малым возмещением скопившихся обид. Все и каждый искали виноватого. Бояре спирались на житьих, сперва требовавших сечи и первыми ринувшихся с поля боя. Житьи ругали бояр за бездарное руководство. Житий Ефим Медведев прямо заявил на сходке — и слова его передавали по всему городу:

— Нам бы такую власть, как боярам, мы бы ее удержали! Их сколько и нас сколько?

В низах тоже росло глухое брожение. Ремесленный люд опять никто не спрашивал, им только приходилось платить за побитые горшки на чужом пиру. Слово «предательство» перекатывалось по городу, рождая злобу и взаимное недоверие во вчерашних союзниках.

Сторонники дружбы с великим князем подняли головы. Архиепископ Феофил деятельно готовился к поставлению. Это был уже не тот растерянный человек, что трусил некогда в покоях Иониных и жаждал уйти в монастырь. Он все более входил в дела архиепископии. Печальный для всех прочих итог войны и казнь Еремея вдохновили нового владыку, начавшего думать про себя, что он наделен свыше даром провидения событий.

В сентябре Феофил, уже начавший чувствовать вкус власти и ободренный заключением мира, которое, как ему казалось, тоже совершено было успешно лишь с его содействием, и озабоченный вместе с тем, откуда взять денег на уплату той части огромного выкупа, что падала на архиепископию, решился наконец назначить ревизию денежных дел опального, но все еще не отстраненного

ключника Пимена и, обнаружив недостачу сумм, самовольно потраченных Пименом на подготовку войны, злорадно приказал казнить Пимена торговой казнью: самого мучить, а имущества на тысячу рублей отобрать на покрытие расходов архиепископской казны. Устранение Пимена — это был его личный дар митрополиту и великому князю московскому.

Разгромленная партия Борецких теперь уже не в силах была защитить своего старого соратника.

И в низах церкви, в черном духовенстве малых монастырей, наущаемых иноками святой Троицы на Клопске, зрела мысль о спасительности власти великого князя. Малым монастырям очень несладко приходилось в эту осень. С каких доходов отстраивать сожженные во время осады обители?

Пришли наконец вести из Литвы. Король Казимир, как узналось, был занят войной с уграми и потому не мог выступить в поход в защиту Новгорода. Теперь это было уже все равно. Дорого, говорят, яичко ко Христову дню.

Тягостное известие о поражении на Двине привез Иван Пенков. Собрались у Тучиных. Савелков въедливо расспрашивал, как копили рать, как Шуйский собирал всех, кого мог, даже печерян привел и мезенских мужиков тоже. Как трижды убивали двинского знаменосца, секлись весь день до захода солнца, хватаясь за руки; как первыми побежали двинские полки, и Шуйский остался с одной новгородскою дружиной, как, наконец, была разбита и она, а раненого князя в лодье умчали из-под самого носа москвичей.

— Отец-то как?

— Отец цел. Василь Василич тоже едет, раненый, дак медленно везут... Ничего мы, братцы, не могли! Что и сталось! Москвичи озверели совсем. Вятка, Устюг чуть не всех мужиков выставили. А с нашими как содеялось что! Рать велика, а без толку...

Иван рассказывал невесело, но без стыдного прятанья очей. Видно, и правда, дрались на совесть. Он повзрослел, обожженный огнем сражения. Сам вопросил, ища глазами по хмурым лицам товарищей:

— Вы-то как? Как же выдали-то своих? Мы вон Василь Василича из самой сечи выхватили, а не дали москвичам! Что же вы Митю-то с Васей... Эх! Теперь без них как нам подняться? Что Марфа Исакова, как она?

— Молчит, — ответил за всех Иван Савелков. — Только в глаза ей смотреть трудно. Да увидишь сам, коли... коли заможешь!

— Страшно и идти! — признался Пенков.

— И нам страшно! — угрюмо отвечал Иван.

Раненого Василия Васильевича Шуйского встречали с почетом. Из рассказов прибывших ранее уже вызнали, что князь сделал все, что мог, и не его вина, что и там, на Двине, и люди и военное счастье отвернулись от Великого Новгорода.

Он первый поехал к Борецкой выразить соболезнование по поводу гибели сына. Ужаснулся, как постарела Марфа за тот год, что не виделись. Знал бы, что постарела за месяц — ужаснулся еще более. Он рассказывал, она слушала. Спросила про Василия Никифоровича, отца Пенкова:

— Что не зайдет? — Она все время словно прислушивалась к чему-то.

После ухода московской рати тела казненных были вырыты и привезены в Новгород. Шуйский знал, что Марфа заказала торжественную панихиду, устроила богатые поминки и, говорили, ни слезинки не пролила, только лицом белела у гроба, в церкви, думали — упадет. И теперь, беседуя, отвечая, хорошо ли заживает рана, он все представлял ее в церкви, побелевшую лицом, без слез, у гроба сына, у гроба ее надежд.

Марфа угощала Шуйского, и по-прежнему была богатой посуда на столе, неслышно появлялись и исчезали слуги, даже еще неслышнее, чем когда-то, по-прежнему изысканны блюда, которыми угощала она старого служилого новгородского князя, потомка великих суздальских Рюриковичей, вытесненных в капризном ходе истории со своих уделов, со своих столов сперва подымающимся Владимиром, потом возвысившейся Москвой.

Так они сидели, старые люди с великим прошлым — без будущего, о чем смутно думалось, но не говорилось ни в этот раз, ни потом, до самого конца.

Посещение Шуйского что-то надломило в ней. Марфа еще работала, распоряжалась, еще проверяла и строжила слуг, твердо ходила по дому, твердо держала власть над своим огромным хозяйством. Но как-то разбирая с Пишей сундуки с добром, лежалые платья, шубы, белье, шелка и сукна — требовалось перетряхнуть и пересушить все на зиму, — вдруг наткнулась на крохотную распашонку, завалившуюся на дно коробьи. Подняла в

руках маленький истершийся комочек, расправила и узнала — Митина. Не поворачивая лица, охрипшим голосом приказала Пише:

— Выдь!

И когда плотно закрылась дверь за спиною, упала на колени, втиснув голову в груду развороченного белья, обеими руками прижимая к глазам маленький кусочек ткани — все, что осталось ей от старшего сына.

И кто бы тогда, увидав ее, узнал гордую боярыню в этой навзрыд, по-детски плачущей старой женщине, всхлипывая, качая головой, шепча сквозь слезы, сдавленно причитая в груду тряпок:

— Я его погубила, я! Я! Я! Сама, сама-а-а! Митя, Митенька, родной ты мой, кровиночка моя! О-ой, о-ой, о-оо-ой...

ГЛАВА 17

Тетка Тимофея, того самого, что отвозил Евфросинью в Кострицу, померла весною, не дожив до троицы одного дня. Уже начиналась ратная пора, и съездить, побывать хоть на могиле Тимоха тогда так и не сумел. Лишь по осени, пережив и разгром, и бегство на Шелони, — по счастью, его не задело в бою, — тревожные дни на заборолах окруженного города, повзрослев и посерьезнев от пережитого, Тимофей сумел навестить родные места. Марфа Борецкая рассылала слуг по деревням для догляда, и он выпросился у ключника, Иева Потапыча, объяснив свои обстоятельства, чтобы заодно с господскими делами посетить могилу, да и какое ни на есть наследство получить. Все же дом, корова была... Там хоть на новую шапку, а все не бросать же!

Ему дали коня, хлеба в дорогу, добрый нож на случай всякой дорожной несуразицы — много разоренного, озлобившегося народа шаталось по дорогам, — и Тимофей поскакал.

В пути Язь насмотрелся всякого. Неприбранные трупы, расклеванные вороньем, голодающие бабы и дети в тряпье, что кричали, клянча, вослед, хоть затыкай уши, и недобрые лики встречных мужиков: раза два чуть не дошло до ножа. Сожженные деревни не могли приютить путника. Ночевал он в поле, подале от людей, сторожко привязав конский повод к ноге. С тяжелым чувством подъезжал к родной деревне, боясь и там увидеть то же, что везде. Чтобы не переправляться через реку,

он выбрал другой путь, в объезд, и потому не видал сожженного Дмитровского, не повстречался с Демидом и не знал, что его ожидает впереди.

Осень наконец-то вступила в свои права. Позолотила березки, смочила запоздалою влагой желтые поля. С неба, заволоченного облаками, то и дело начинало моросить. Когда Тимофей проезжал ближними перелесками, вновь дохнуло холодом, ветер пробежал по кустам, и листья дружно залопотали, выворачивая светлые изнанки свои, будто светлея от ветра. Стал крапать реденький дождик. Вот знакомый косогор, вот обогнуть ту горку, тут еще будет озерко, почти пересыхавшее летом. Осенью бабы в нем мочили холсты...

Подымаясь на стременах, Тимофей издали выглядывал над кустами: уцелело ли что? — боясь увидеть головешки, какие уже встречал не раз по дороге вместо знакомых деревень, и вздохнул с облегчением, когда показались коняевские крыши, облепившие дальний склон озерца, которое сейчас, с началом осенних дождей, снова наполнилось и проблескивало сквозь заткавшую его высокую болотную траву. С облегчением и тайной надеждой, что тут обошлось и москвичи как ни то миновали, прошли стороною, он, высмотрев луковку часовенки, сползшей к самой воде, меж бань, широко и истово перекрестился.

Но тревожно смотрелась деревня, и пока Язь подъезжал ближе, тревога его разрасталась. Какая тишина! Только мягко шуршали капли редкого дождика по тускло позолоченной листве молодых березок и ольшаничка, окружившего дорогу. Не слышно было крика петухов, ни собачьего лая, не мычала скотина, а с ближнего взгорья Тимофей увидел, что и меж изб не снует народ, не бродит живность, не курится дымок ни в котором месте. Деревня была мертва. И только мелкий дождичек, постепенно усиливаясь, долгожданный и уже ненужный теперь, все сеялся да сеялся с белесого, размытого, во влажных серых шапках низко плывущих облаков осеннего неба.

Близ околицы (жердястые ворота были сбиты и вбиты, втоптаны в землю) лежал наполовину объеденный конский труп, в лицо повеяло тяжелым смрадом. Две-три вороны сорвались с обнажившихся костей, с карканьем отлетели в сторону, ненавистно следя приближавшегося человека. По буланой разметанной гриве и хвосту Язь, кажется, даже признал, чья то была лошадь, и тут же, зябко поведя плечами, огляделся, чая увидеть невдали

труп хозяина. Трофим Олексич не таков был старик, чтобы задаром глядеть, как уводят его кобылу, кормилицу и вечную надёжу крестьянина, ибо что мужик без лошади! Ни пашни взорать, ни дров сволочить из лесу — ничего...

Он слез с коня и, ведя его в поводу, шагом прошел по улице, оглядываясь по сторонам. Дома стояли раскрытые настежь. Кое-где сорванные двери висели на одной петле. Язь спотыкался о рассыпанные копылья, наступал на вымокшую, искривившуюся клепку и какие-то тряпки, неразличимые под слоем грязи. Вымытый дождем, просветил красным отрывок браного праздничного узорчатого полотенца. Кому-то понадобилось корыто, поили лошадей, что ли, так и стояло поперек, загораживая путь. В грязной воде уже расплодилась ряска. Видать было, что грабили суетясь, вырывая из рук друг у друга, волоча и бросая тут же ненужное — берестяные туеса, корчаги, деревянные ваганы и миски, турики, прялицы. Из канавы поднял брошенную вниз лицом и мокнущую в грязи икону, отер рукавом прояснevший лик матери божьей. По тому, что надругались над иконой, подумалось было, что тут прошли, верно, татары, Даньярова рать... А, и свои не лучше...

И, войдя по изгаженным, замаранным чьей-то, не то скотинной, не то людской кровью ступеням, сквозь расхристанные, сорванные двери в горницу, где какие-то тряпки волоклись под ногами от свороченного набок стола и опрокинутой одноногой перекидной скамьи, хрустнув слюдою выбитой оконницы, он поставил бережно икону на полку, в святой угол, сел на лавку, уронив руки на столешницу, и, обведя глазами все порушенное, разгромленное жилье, сник, сгорбился, не зная, что делать. И долго сидел недвижимо, под равномерный шорох дождя по крыше. Только конь изредка переминался, стоя у крыльца. Лучше бы уж пожгли, не так страшно бы было...

Вдруг — Тимофей прислушался — где-то протяжно замычала корова, и ей отозвался тоненький плач. Попритчилось? Он привстал, но на дворе уже снова стало тихо. Нет, ничего! Муха ли жужжала, верно. И снова Язь услышал за окном тоненький жалобный вой. Вроде собака, ан нет? Хоть какая жива душа! Тимофей спустился с крыльца и побрел на звук. Конь нетерпеливо дернулся следом, прядая ушами, стараясь сорваться с привязи — тоже, видать, боялся, чуял, что нежилое место.

У третьего дома, за сараем, Тимофей увидел девку лет девяти-десяти. Девка сидела на земле, под избой, грязная, простоволосая, в каких-то ошметьях рванины, не прикрывавших колен, бесстыдно расставив тонкие дрожащие ноги. Увидев Тимофея, девка закричала.

— Уйди! Уйди! Уйди! У-у-у! — завыла она по-собачьи, и по остекленевшим диким глазам Язь понял, что девка решилась умом. Видимо, от многодневного голода она уже не могла вскочить и убежать, а потому только тоненько выла.

Тимофей осторожно попытался поднять девку. Она отчаянно упиралась, царапалась, норовя ухватить глаза.

— Ну, ну! — приговаривал Язь без обиды, отводя лицо и отрывая тонкие (эк, оголодала!), неожиданно цепкие ручонки от бороды. Кое-как поднял, занес в избу. От девки остро пахло нехорошим. «Обмыть надоть будет!» — подумал Тимофей. Дверь припер колом, чтоб не убежала невзначай, и пошел за коровой на жалобный, услышанный прежде мык.

Одичавшую животину пришлось долго приманивать хлебом, пока, наконец, она далась в руки. Корова жалобно мычала, мотая головой. Он догадался, взглянув на вымя, — недоена! Нашел корчагу, ополоснул в лужице, подвел корову к огороже, подставил корчагу и, присев, неумело, по-мужицки стал доить, оттягивая соски. Корова, вздрагивая телом, переступала от боли, верно, и, стараясь дотянуться до него, несколько раз лизнула шершавым языком в плечо. Соски разбухли, их приходилось разминать в ладонях. После первых неудачных попыток дело пошло резвее. Струйки молока брызгали сильней и сильней из переполненного вымени, и белая пенистая шапка над парным молоком все росла и росла.

Выдоив как мог корову, он завел ее за огорожу и привязал, пока, до времени, куском подобранного тут же лыкового ужища к воротной верее, чтобы вдругорядь не ушла в лес, — поди, отвыкла от дому! Корчагу, захватив в охапку, занес на крыльцо, откинул кол, которым припер дверь, чтобы блаженненькая не выскочила невзначай, занес корчагу в горницу и поставил на стол. Девка, все так же дико сжавшись, глядела на него из угла. Найдя щербатый ковшик, Тимофей почерпнул молока и поднес девке. Та дернулась, оскалясь и захрапев, потом, почуяв запах парного и исподлобья ловя движенья Язя, потянулась неуверенно к ковшу. Схватив ручонками и хватая зубами край ковша, стала пить молоко, чавкая и

захлебываясь, и все бегала, бегала глазами, озираясь, как запуганный бельчонок, попавшийся в руки огольцов.

Теперь по крайней мере Тимофей знал, что ему надо делать в первую очередь. Опять заперев девку, он разыскал коромысло и деревянные ведра, одно целое, другое с отломанной ручкой, ручку сделал из куска веревки, продев ее в ушки ведра, после чего наносил воды в кадь. Разыскал две косы-горбуши и выточил, установив прежде и наладив опрокинутое точило. Уже в сумерках Тимофей успел накосить травы и навесить двери в хлеву, куда он поместил коня и найденную корову. Больше ни на что не хватило времени, так как совсем стемнело. Впрочем, он отыскал и светец и уже при свете лучины устроил ночлег для себя и малышки. Себе постелил старые мешки и обрывок овчинного тулупа, найденного на повети, а тронутую не без труда устроил на другой лавке, укутав своим зипуном.

Ночью, уже задремав, он вдруг услышал заполошный крик. Кричала девка впросонях. Долго трясущимися пальцами Язь чиркал по кремню, вздувал трут, наконец, засветил лучину. Пламя отблескивало в широко раскрытых бессмысленных глазах. Девка сидела на лавке в прежней своей позе, притиснувшись к стене, и, оскалясь, вся мелко дрожала, руками вцепившись в зипун, которым ее укрыл Тимофей, и выла. Он попробовал подойти — девка взвизгнула. Подумав, он черпнул воды, не подходя, плеснул девке в лицо. Она вся вздернулась от холодного, замолкла, и Тимофей тотчас подхватил ее, обтер слюнявое лицо рукавом, стал гладить по голове. Девка мелко тряслась, обмякая. Вспомнив, что осталось молоко, он почерпнул и еще раз напоил блаженную, потом, совсем обмякшую, уложил, окутав теплее, и сам сел рядом, боясь, что та вскочит опять. Девка несколько раз взбивалась, вся натягиваясь, как тетива, потом смежила глаза, задышала спокойнее, захрапывая.

Сменная лучина, догорев, давно уже погасла. Тимофей засыпал сидя и боялся отойти, оставить девку одну. Мгновениями просыпаясь, он шептал слова молитвы в темноту угла, где стояла давешняя, поднятая из грязи «Богородица».

С утра Тимофей не знал, за что приняться. Подоив опять корову и накормив ее и своего коня, напоив девку и сам пожевав хлеба с молоком, он тяжело присел на пороге. Дождь перестал. По небу все так же волоклись рыхлые дождевые тучи.

— Руки есть, работать нать! — подогнал Язь сам себя.

Сжав зубы, пошел по избам. Подобрал, натужившись, соху, заволок в сарай. Нашел борону. Прибрал сани под кровлю. Разыскал три дровокольных топора-тупицы, шесть горбуш, четыре серпа, несколько шильев, ножей. Собрал рассыпанные ржавые гвозди, разыскал кочедыг, которым плетут берестяные коробьи, и брошенный плотницкий снаряд. Очистил от ржи долота и струг, опробовал его — сгодится! Нашел сбрую и два хомута. Долго ладил разломанную телегу. Подумав, начал собирать и тряпки, сквозь которые кое-где стала прорастать сорная трава — эк, быстра! Нашел и выправил хорошую лопату. Наколол дров и затопил печь. Пока печь топилась, облазил подволоку. Под застрехою обнаружил хороший плотницкий топор. «Вот что надо!» С плотницким топором как-то все стало способнее.

Девка связывала руки, боязно было оставить одну, а тут — и печь топи, и все делай. Хлеб убирать же надо! Пока Тимофей начал копать огород. Так он возился, починяя и прибирая то там, то здесь, три дня. Почти не спал, разыскал разоренный по подволоке одной избы семенной хлеб, смел в мешок вместе с сором — и так посеется! Наладил соху и уже подумывал сам-один пахать под озимые. Начал привыкать и к тишине, и даже вздрогнул, когда, идучи от озерка с полным саком свежей травы для коровы, у часовни, на берегу, увидел старуху с клюкой, худую, почернелую, с пронзительным, почти безумным взглядом гноящихся глаз. Старуха была своя, деревенская, но так изменилась, что Язь не уразумел, Трофимиха ли то али Марья, Прохорова матка? Язь продолжал гадать, а старуха, вся тряпичная, рваная, стояла перед ним, как привидение, мелко тряся головой, и молчала. Он тоже не знал, что сказать. Вдруг она, пристукнув клюкой и пронзительно глядя на него, прокаркала:

— Москвиць ле новгородечь?

— Новгородец я, свой, Тимоха Язь! А ты Трофимиха, никак? — Он не успел увернуться. Старухина клюка пришлась ему по носу, больно ушибив переносье. — Ты что, старая?! («Ополоумела! Вторая мне на голову!» — решил Язь в смятении.)

Но старуха, вложившая в удар, видимо, все имевшиеся у нее силы, задохнувшись, опять замерла, тяжко опираясь на клюку, и только следила все тем же пронзитель-

ным блестящим взглядом за Тимофеем. Он уже начал потихоньку отступать, собираясь обойти старуху стороною, как та, вновь угрожающе подняв клюку, начала пронзительно кричать, помавая головой и дергаясь при каждом слове:

— Бросили нас на поруганье да на росхыстанье! Не было цего, не было цего заводитьце! Отсиделися тамо! Цего копашь, цего зоришь, уходи! Тотчас уходи, говорю, у! — Старуха приступала к нему, трясясь от гнева.

Кое-как утихомирил ее Тимофей. От сердца отлегло, что хоть не безумная. Старуха, однако, была с норовом. Вся шатаясь от слабости, она попробовала отобрать у Тимофея сак, а когда это не удалось, продолжала семенить следом, не переставая ругаться.

— И в избу не ходи! Неча тебе там делать! — кричала она ему вслед, зацарапываясь на крыльцо.

Тимофей наконец признал ее. Это точно была старуха Тимофея Олексича. Попробовал успокоить:

— Да Тимоха я, покойника Козьмы сын, Овдотьи Архиповны племяш, али не признала, старая?

— Какой такой Тимоха? — возразила старуха. — Наших мужиков всех забрали, никакого не знаю Тимохи! Умерла твоя тетка, и хоронить не сдумал! Цего теперь приволоксе? Цего тебе у нас? Уходи, уйди!

Она так и не помирилась с Тимофеем. Девку с руганью забрала себе в избу, корову тоже увела, и Тимофей остался один, не зная даже, продолжать ли свои труды или махнуть рукой и скакать назад, в Новгород? Он отнес старухе мешок накопанной репы, поставил на крыльце, не заходя в дом. Подумав, все же запряг жеребца, хлеба оставалось в обрез, он, вздохнув, перепоясался потуже и поехал пахать паровое поле. Впрочем, воротясь ввечеру, усталый с отвычки от тяжелой крестьянской работы, обнаружил, что у него истоплена печь, подметено, а на столе крынка молока и грудка печеной репы. Старуха, видимо, помягчела. «Сходить к ней?» — заколебался Язь. Но раздумал и, перекусив и накормив коня, завалился спать.

Так они и жили, не разговаривая. Тимоха колол дрова, складывал на крыльце у старухи, копал огороды и относил ей тоже на крыльцо репу, брюкву, лук и морковь, пахал, торопясь посеять озимые, несколько раз принимался жать хлеб, понимая, что все равно как ни бейся, всего ему не переделать, и все же не мог уехать,

не мог даже, бросив старуху с девкой, поскакать в Дмитровское за подмогой. Да и навряд там могли чем ему помочь, у самих шаром покати!

Язь посерел за эти дни. Забыл, какого вкуса хлеб и мясо. Но в работе все прибавлял и прибавлял скорости, то ли с отчаянья, то ли вспоминалась давешняя, еще отроческая сноровка. И уже почти отвык разговаривать, когда наконец, возвращаясь с поля, услышал человеческие голоса.

Тимофей остановился у порога, вглядываясь туда, где дорога, делая поворот, выбегала из лесу к деревенской околице. Старуха тоже вышла и стала посторонь от него, взглядывая из-под руки в ту же сторону. На пригорке сперва взлаяли собаки, зашевелились кусты, послышалось чавканье ног по грязи, и вот они чередою стали выходить из-за бугра, и, наконец, на склоне холма показалось все шествие.

По холодной грязи брели разутые, раздетые люди, жонки, дети, старухи, трое мужиков с потерянными, будто размазанными лицами. Они гнали двух тощих коров и несколько разномастных овец, верно, собранных по кустам, по дороге. Один мужик вел лошадь, хромающую, с забитой ногой, брошенную кем-то из ополонившихся ратников. Сбоку бежали, высунув языки, тощие собаки, заглядывая в лица хозяев. Это был новгородский полон, щедро, без выкупа, отпущенный по приказу великого князя «домовь». Отпуская, сторóжа уже по собственному почину обобрала новгородских полоняников до нитки, и люди шли, разутые и раздетые, и шли уже четвертую неделю, жевали подобранные в полях колосья или кусочки коры, шли под осенним упорным дождем, по слякоти, в пустую, ограбленную деревню, где неизвестно как нужно было собрать остатний урожай, и взорать пашню под озимые, и чем-то засеять, и после пережить зиму и не умереть, а весною, тоже неизвестно как, взорать ниву и опять отсеяться яровыми, и тоже неизвестно чем, и после ждать урожая, и опять изо всех сил стараться не умереть.

Дети, высохшими ручонками цеплявшиеся за шеи матерей, уже даже не плакали от голода, только смотрели большими глазами, и родители отводили взгляд, не в силах глядеть в эти огромные, непонимающие, голодные глаза детей.

Молодая баба бросилась в объятия старухи. Поднялся вой, причитания, как понял Язь, по покойникам,

оставленным полоняниками в дороге. Мужики стояли кучкой на улице, как-то еще не решаясь заходить в избы. Тимофея узнавали, но здоровались с ним с какой-то опаской. Один Петро спросил его напрямки:

— От боярыни Марфы послан? — и прибавил без выражения, прямо глядя в лицо Тимофея: — За хлебом, поди!

Тимоха, ощутив дрожь в спине, отведя глаза, отмолвил:

— Помочь тамо, поглядеть велено.

— Нагляделси? А то ищо погляди!

(«Как сговорились, я-то чем виноват!» — думал Тимоха, кожей ощущая, что мужики правы: сюда и казать глаза сейчас было соромно.) Он уже отступал тихонько к дому, когда кто-то из мужиков спросил старуху:

— Тимофей пахал?

Старуха кивнула утвердительно. Лица мужиков помягчели. Петро сказал:

— Ты-то бы сам хоть и не помогал. Все одно кормить нечем, а жеребца вот оставил бы, а? Хоть до снегов! Опосле возьмешь? — спросил он с проблеском отчаянной надежды в голосе. И, видя, что Тимофей колеблется, горячо воскликнул: — Друг! Боярыне скажешь, сработаем! Лишь бы коня-то! Коня-то ни одного нет! На бабах пахать! Альбо на коровах?

— Мы шли через Дмитровское, — подхватил второй, — там лодья стоит купеческа, должно, еще не ушла!

Мужики кружком оступили Тимофея, глядя на него просительно, и заговорили наперебой. Будь что будет! Ощущая холод под сердцем от грядущих расспросов, как он посмел воротиться без коня, Тимофей сдался на уговоры. Мужики совсем подобрели, стали хлопать его по плечам, один вызвался сгонять в Дмитровское, сказать, чтобы подождала лодья.

Ввечеру ему показали могилу тетки.

Ужинать сели все вместе, в одной избе. Ели репу. Петро с сыном, уже прошедшие с бреднем, принесли несколько рыбинок. Жидкая уха была разлита в несколько больших деревянных братин, и все по очереди истово, не спеша, словно соблюдая обряд, опускали туда ложки, довольные уже тем, что дошли, добрели, добрались, что есть и крыша над головой — сколько сгоревших деревень перевидели дорогою! Довольные, что сидят вместе, деревней, и вместе, даст бог, огорюют и эту беду...

Девка, что подобрал Тимофей, жалась к старухе Тро-

фимихе. Уже осмысленно, хоть и пугливо, озиралась по сторонам. Видать, старуха сумела ее выходить...

— Племянница! — рассказывал Петро. — Отца-то убили у ей. А тут такое было! Силы нагнано, что черна ворона, и татары, и свои... Нас-то не по раз брали, отбивали друг от друга. Опосле отпускать не хотели враз. А теперича, как этот сеногной зарядит, так и снопов не обмолотим, на печи сушить придетце.

— Добро повоевали, добрей некуда!

Злость была усталая, горькая и сочилась исподволь, как горький запах старого, давно загашенного пожара.

А впереди у Тимофея еще было нелегкое возвращение пешком, без хлеба в Новгород и нелегкая расплата за оставленного в деревне коня.

ГЛАВА 18

В декабре новгородский владыка Феофил в сопровождении прусских посадников, Александра Самсонова и Луки Федорова, прибыл на поставление в Москву.

Целый месяц перед отъездом Феофил въедливо проверял убытки и истори владычной казны, сам перещупывал меха и драгоценности (последние — с особым сожалением), что собирали на подарки митрополиту и князю. То и дело возвышая голос до визга, требовал описи земель владычных и недополученных по причине войны доходов. После казни Еремея и расточения Пимена уже никто не дерзал подсмеиваться над новым владыкою, а его мелочная зудящая придирчивость и постоянная внимательность к мелочам не раз вгоняли в пот и даже доводили до отчаянья ключников и посельских. Упершись в чем-нибудь, Феофил уже не отступал, а злобно требовал и добивался исполнения своей воли. В Москву уезжал хозяин — пусть недальновидный, но зато упрямый и цепкий, как репей. А победа Ивана Третьего над Новгородом была и его победой над всеми явными и тайными своими хулителями.

В Москве Феофил был торжественно рукоположен митрополитом Филиппом в архиепископы и обласкан государем. Новопоставленный архиепископ бил челом о пленных. Укрощенных, обязавшихся рукописаньем не отступать от великого князя московского новгородских бояр, во главе с Василием Казимером, Иван Третий по просьбе архиепископа отпустил домой.

В рождество на небе появилась звезда, хвостатая, ве-

ликая, а луч от нее долог, вельми толст и светел, светлее самой звезды. Восходила она в шестом часу ночи с летнего восхода солнечного и шла к западу, а луч от нее «вперед протяжеся, а конец луча того аки хвост великия птицы распростерт». Вскоре за нею, в январе, появилась и вторая «звезда хвостата», а хвост у нее был тонок и не столь долог и лучи потемнее. Проходила она через три часа вослед за первой по тому же пути, к западу.

Московские мудрецы толковали появление звезд к вящей славе великого государя и «одолению на враги». (О том, что, по словам иных, звезда предвещала близкий конец света, Ивану не рисковали говорить.)

Марфа Борецкая в этом году отправилась в свой ежегодный объезд вотчин ранее, чем обычно, по первому снегу. Уже кое-как налаженная, залатанная жизнь не являла собою той картины страшного разорения, что открывалась путнику осенью. Милосердный снег прикрыл головешки пожаров. Обозы, по случаю разорения подвозившие и такие товары, что прежде производились на месте: снедные припасы, сено, доски и дрань, — шли, почитай, даже чаще, чем обычно, и лица людей, понемногу приходивших в себя, не гляделись уже такой потерянной безнадежностью, как еще два месяца назад, хотя по-прежнему по всем дорогам брели вереницы отчаявшихся, потерявших родной кров сирот и погорельцев.

Встречных нищих, разоренных новгородских крестьян Марфа оделяла негустой, но неукоснительной милостыней, не пропуская никого. Все с тем же суровым — со смерти Дмитрия совсем перестала улыбаться — лицом подавала кому ломоть хлеба, кому сушеную рыбину, кому ношеную лопотинку, кусок холста, иногда и латаные катанки дитяте или бабе с трудным младенцем, что хлюпала по снегу, почитай, босиком, с синими, едва обернутыми грязною тряпицей ногами. Припас ей передавали из нарочито укладенного воза, где все только и было на подорожную милостыню. Подавая, Борецкая не слушала благодарностей, не слышала проклятий. Деньги, медные пула, давала редко и долго присматривалась: стоит ли? Ежели который пропьет с горя, дак почто и давать! У иных хлеба нет, а без хмельного питья-то прожить всяко можно! Двух-трех мужиков из вольных, бредущих из разоренных дотла деревень, побеседовав, созвала к себе на двор и тоже не уговаривала — захотят, сами придут.

В своих деревнях Марфа, не чураясь, заходила в разоренные, пахнущие смертью дома, въедливо осматривала хлева, амбары, оставшийся скот, больных детей. Тут щедрее давала деньги, но больше приказывала старостам сделать то-то и то-то, помочь тому, другому ли и следила, чтобы приказ был исполнен. Иногда для надзора оставляла слугу из верных, и тот после догонял боярыню с докладом, как и что сделано. Ей не врали. Марфа не забывала ничего, а случись такое — и не простила бы. Это знал всякий. В разоренном Березовце стояли две недели. Как раз ударила оттепель, дорогу развезло, но без дела не сидели. Тут же на своих лошадях Марфа приказала возить лес к выжженным деревням, работали от темна и до темна все — и свои холопы, и даже ключник. Сама проверяла, как отесывают, как рубят пазы. Клети клали на сырой, добытый из-под снега мох, а все же перезимовать можно стало не в шалашах, с детями по крайности. Большой двор сгорел. Марфа ночевала в уцелевших хоромах посельского. Тот оробел настолько, что самолично выдал нескольким помиравшим с голоду семьям зерно из своих запасов. Марфа приняла как должное. Примолвила строго:

— Смотри! За каждую душу, что теперь помрет, ты в ответе! Народу не станет, и тебя не станет! Что хошь делай, хошь у жонки серьги из ушей вынимай, а чтоб ни один не помер у тебя! И бежать не мысли. От меня под сер камешек не уйдешь, на Москвы найду! Понял?

Посельский после того роздал еще мешков двадцать жита, наказывая мужикам есть помалу.

Поправив березовецкие дела, Борецкая направилась в Кострицу. Хозяйственный Демид успел навести кое-какой порядок, даже частично отстроиться. В волостке торганул припрятанным полотном, выручив за него у тверских купцов недорогой хлеб, и хоть и тут картина была невеселая, но все же дело как-то шло, и люди были немножко сытее. Кое-что, немного овса и сена, удалось забрать и для новгородских надобностей. За полотно, прознав о Демидовой торговле, Марфа не спросила ничего. Сказала хмуро:

— Ладно, людей уберег! Наработают...

Объехала несколько деревень, поглядела народ, проверила все, не забыв и того коня, что осенью оставил Тимоха. Конь был цел и теперь стоял у Демида. Про себя подумала, что хоть Тимофею и досталось от ключника, а весною надобно всех лошадей, что ни есть, по-

слать в деревни, на сев, иначе мужики не замогут поднять всей пашни.

Демид, легкий, все так же подскакивающий воробьем, забегал вперед, показывал, порою и хвастал, гордясь каким-нибудь жалким на вид ухищрением. И, представляя, что три четверти Дмитровского осенью вообще были дымом, Борецкая согласно склоняла голову.

Про Опросинью Марфа спросила не сразу, а только уж после, когда все было осмотрено, все проверено и уже дошел черед до записей сохраненного Демидом добра. Спросила невзначай, как бы нехотя, отводя глаза, и мало не вздрогнула, узнав, что спрашивает о покойной. Остроглазый Демид, впрочем, заметил, что боярыня сменилась лицом. Сам смешался, почуяв, что допустил оплошность, недосмотрел чего-то, и потому рассказывать начал сбивчиво, без нужды теребя легкую бороду свою и стреляя глазами по сторонам:

— Да тут, в московсько разоренье, она середи баб-то видная, ходит чисто, в боярском терему жила, дак... Словом, грех случился, изобидели ее, снасильничали, словом. Известное дело, люди ратные, грубые. Она с того еще немного-то умом тронулась, а после, как весть пришла, что Дмитрий Исакович того...

Демид вдруг запнулся и замолк.

— Ну?! — почти выкрикнула Борецкая.

— Удавилась она, словом. На сушилах, где холсты сушатся, дак за холстами как раз. Не вдруг и заметили.

— Не уберегли, — тяжело сказала Марфа.

— Дак тут такое творилось! И приказа ить не было особо беречь-то! Догадывались, конечно, непраздна была уж приехавши-то. Дак грехом не от Дмитрия ли батюшка, покойничка?

— Болтаете все чего не нать!

— Прости, Марфа Ивановна, коли не так слово молвил...

— Дитя где? — спросила Борецкая, помолчав.

— Дак... — вновь замялся Демид.

— Сын ли был-то?! — нетерпеливо вопросила Марфа.

— Сын, дак она сама его... Обеих и похоронили, зарыли, петь-то нельзя было.

— Ладно, иди! — махнула Марфа рукою, полузакрыв глаза. — Грамоту представь, сколь чего осталось... И людей сколько.

— Хлеба нет... — нерешительно протянул Демид, медля на пороге.

— Знаю! Людей соберешь, поговорю сама... Иди! — повторила Марфа хрипло, почти просительно.

Демид исчез. Борецкая сидела неподвижно. Вот и тут ничего от Мити не осталось! Запоздало посетовала на себя и на Опросинью тоже: «Эх, оглупыш! Что ж ты сына-то! Али бы уж я внучонка поднять не замогла?»

Вспомнила, как та целовала ноги ей тогда, в байны. Долго сидела с закрытыми глазами. «Сын был. Хоть и сторонний, а все ж... Сама повесилась, и дитятю... Дитятю-то зачем! За что... И уж так со всякою бедою ведется, поодинке не ходит. Сперва Митя, потом и она тоже, одно к одному!»

Домой Марфа воротилась после рождества, к унылым в этом году святкам, почти без ряженых, без игр, без пиров, веселого шума. Славщики смахивали на нищих, да и были ими. На детей иных жалко было смотреть.

В дорогах то в мороз, то в слякоть, в избяных неудобных ночлегах Марфа простыла. Пришлось отдыхать. К делам вседневным приставила Федора. Зябко, раньше никогда и не зябла даже, кутаясь в пуховый просторный плат, сидела вечерами одна. То принималась вязать, то неподвижно смотрела в огонь жарко топящейся печи, слушая, как духовник мерным, навевающим сон голосом читает повесть об Акире Премудром или жития святых.

Заходила Онфимья. Молча посидели, поговорили о звезде, о делах московских, о Феофиле, о деревенском — у обеих — нестроении.

Заезжал Офонас Груз. Тоже баял о звезде, о делах московских, об Иване Лукиниче, что накануне рождественского поста постригся в Николо-Островской пустыни, приняв имя Василия.

— Жаль было глядеть на мужика! Чел я и грамоту его отказную. Кается, что наступал сильно на землю монастырскую. А я их дела знаю, Ивана-то Лукинича та земля искони была! — Он покачал головой, пожевал губами, от чего упрямый подбородок выдвинулся вперед и борода задралась. — Так и все мы, один по одному... Ты, Исаковна, мож ли ищо? Ошиблись мы тогды с королем-то!

— Не с королем, друг с другом ошиблись! — ответила Марфа, глядя в огонь своими потемневшими, ставшими еще больше на постаревшем и похудевшем лице глазами. — Скажи мне, Остафьич! — вопросила она, кутаясь в плат и не отводя пристального взгляда от рдеющих и медленно распадающихся в печи угольев. — Вот я чла.

И при Ярославе, и при Мстиславе, и при Юрии *, и при других князьях суздальских либо тверских были отметники, что бегали князю даватьце, измены были, переветы; крест целовали стоять заедино и после креста отбегивали, погромы были, глады и лихолетья — стоял же Новгород!

Офонас вновь пожевал губами, утвердил отечные, в коричневых пятнах руки на трости, поворотил тяжело голову к Марфе, ответил с отдышкой:

— Стоял!

— Не мы ли ставили князей киевских? А то были князья — не чета этим! Били немцев на Чудском, у Вороньего Камня и под Копорьем? Под Раковором мы разбили орденские рати, хоть и князь изменил *, вдарился на бег! Били мы чудь, били Литву и Свею. Магнуша, короля свейского, со всею силою ратною вспять обратили! Брали и ставили города, посылали рати на Мурманский берег и за Камень, в Югру. Не нашими ли мечами проведены рубежи страны? От наших походов на Волгу дрожала Орда! И суздальские и тверские рати мы били не по раз, и на рубежах своих и под градом — продавали суздальцев по две ногаты! Сон ли то или неправду глаголют летописцы? Было ведь?! — спрашивала Марфа внезапно зазвеневшим, как прежде, голосом.

Офонас вздохнул, ответил раздумчиво:

— Давно было!

— Давно ли?! — гневно возразила Марфа. — Деды! Деды еще! На Двину наши деды ходили, у иных — отцы, когда побили, в трех тысячах побили московскую рать! И двиняне были супротив, и то не устояла Москва! Кубену, Вологду, Устюжну, Белоозеро, Устюг Великий взяли на щит! А сейчас — двенадцать тысяч, и с двинянами заодно, и — разбиты... Давно, говоришь? Вот они, соборы! Вот святыни! Вот иконы, гробы святителей новгородских! Вот торг великий, со всего мира стремятся к нему купцы! Вереницы обозов, а по вёснам лодейное толпление — не окинуть и глазом! Многолюднее стал город, гляди, концы новые выросли *. Онтоновский, Неревский за городом, Петровский, Заполья, на той стороны Никитинское, Радоговицкое, у нас — Козмодемьянское, Черковское, Прусское, Лугощенское, Росткинское, Воздвиженское! Народу уж и не сочесть сколько! Богатств скопилось — поболе, чем встарь. И народ не сорный какой, не нищеброды московские, ремесленники наши и в кузнечном деле, и в серебряном, и в полотняном, седельном,

шорном, книжном, каменном — в любом такое делают, что и не снилось того на Москвы! Нету там таких мастеров! И мы, бояра, в вотчинах наших дело ведем лучше московских князей, товар не гноим, рубли у холопьев не займуем. Власть? Так власть наша вся теперь! Суд и право у Совета господ, у посадника, в руках боярских! Что хотим, то и вершим, по своему праву! Даже и не придумать, чего бы не замогли! Земли наши не меряны, люди — не считаны, так что же произошло?! Как соломенное чучело растрепали, как Кострому на потехе весенней! * Часу не стояли на бою том!

Что сталось с силою новгородскою? Что совершилось с Господином Великим Новгородом?

Офонас поник головой. Старческая слеза копилась в углу глаза. Ответил тихо:

— Богдана спроси! Он тебе все преподнесет, и про славу нашу, и про святыни, и про все дела новгородские, и про договоры, и про все права, и про кажный род боярский со времен Ярослава Мудрого... А почто ослабли мы, и он не скажет!

Наступила тишина. Только потрескивали дрова в печи, рассыпаясь золотой рдяной грудой, да колебалась, оплывая, одинокая свеча в серебряном свечнике перед налоем с раскрытою книгой.

— Даве у свата была, — вымолвила Марфа устало, — у Короба. Молцит, глаза низит. Казимер тоже... Митю продали, бог с има! Может, и Новгород уже продали? Он ить ратью руководил, почто не казнен тоже? Али за трусость помиловали? Воин!

— Онаньин с Горошковым на Двину уехали, Иван Своеземцев тож... Ты-то на Двину едешь? — спросил Офонас, промолчав о том, о чем сказала Марфа и о чем ему не хотелось даже и думать, так это было мерзко, ежели было... А быть оно очень даже могло!

— Еду. Со святок и поеду, на днях. Отогреюсь только.

— Там тож, бают, полный разор!

Проводив Офонаса, Марфа позвала дьячка, что днями заменял чтеца Марфина, и велела прочесть про звезды, отыскать по летописи. Слушала, откинувшись в кресло, полузакрыв глаза, знакомое, читанное уже не раз и каждый раз по-новому понимаемое древнее речение.

— «В си же времена бысть знамение на небеси, на западной стороне звезда превелика, луча имуща аки кровавы, восходяща с вечера по заходе солнечном, и пребысть за семь дней. Се же проявлялось не на добро: по

сем быша усобицы многия и нашествие поганых на землю Русскую. Сия бо звезда была аки кровава, и проявляла крови пролитие. Таковыя же знаменья древле приключахуся при Антиохе, в Иерусалиме... По сем же при Нероне царе... И паки при Устьяне царе...» — Дьячок мерно перечислял описания старинных бедствий. — «Знаменья бывают с небесе, или в звездах, или в солнце, или птицами, или другим чем, не на благо бывают, но знамения сии на зло бывают: или проявление рати, или глад, или смерть проявляют».

Дьячок дочел, поднял глаза. Марфа слушала, кутаясь в плат, глядя в себя, думала. Сказала:

— Открой, где о Тохтамышевом пленении * писано!

Теперь Марфа смотрела прямо перед собой пристальным мерцающим взглядом и повторяла, беззвучно шевеля губами, некоторые слова. И тогда была звезда хвостата и предвещала нашестие татар на Москву, «яко же и бысть гневом божиим». («Яко же и бысть», — неслышно повторила Марфа.)

— Ну, будет на сегодни, иди! — сказала она громко дьячку.

По уходе чтеца, Пише велела принести шубу и самой одеться потеплее. Пока Пиша выходила, взяла книгу, раскрыла наугад, перевернула несколько страниц. Взгляд упал на знакомые, любимые строки, впервые указанные ей покойным Василием Степанычем. Случилось это давным-давно, когда киевские князья, наследники Ярослава Мудрого, не поладили друг с другом и предали землю свою на поругание половцам.

«Половцы же, приимше град, запалиша его огнем, и люди разделиша, и ведоша в вежи к сродникам своим. Много роду хрестьянска: страждущие, печальни, мучимы, зимнею стужею оцепляеми, во алчбе и в жажде и в беде, потускшими лицами, почерневшими телесы, незнаемою страною, языком воспаленным, наги и босы ходяще, ноги имуще сбодены тернием, со слезами отвещеваху друг другу, глаголюще: «Аз бех сего города». И другой: «Яз сея волости...» И тут вдруг древний летописец восклицал со всею силою души: «Да никто же дерзнет рещи, яко ненавидими богом есмы! Да не будет! Кого бо тако бог любит, яко же ны возлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и вознесл? Никого же! Им же паче ярость свою воздвиже на ны, яко паче всех почтени бывше, горее всех содеяхом грехы!»

— Да не дерзнет никто молвить, яко ненавидимы мы

богом! — медленно повторила Марфа, закрывая книгу. — Кого бог возлюбил, паче нас? По то и карает, чтобы ся покаяли, ибо отступили от него, забыли мы бога!

Осуровев лицом, Марфа отошла от налоя. Вошедшей Пише молча, знаком, приказала подать шубу. Медленно оделась. Вместе прошли по темному переходу к вышке.

— Помоги, Пиша!

Долго, с трудом, отворяли намерзлую дверь.

— Снегу нанесло. Али уж похоронили меня? Покличь кого... — Пиша метнулась было. — Ладно, после!

Тяжело подымалась по ступеням. Намороженная верхняя дверца тоже не враз подалась. Наконец открылось небо, неоглядное, почти черное. Внизу разбегались городские огоньки, вверху — затканный холодными голубыми россыпями алмазов, бесконечно раскинувшийся простор. Звезда, косматая и от того как бы стремительно несущаяся по небесной тверди, висела над городом. Чужая, непонятная, приходящая из древних времен с чумою и войнами.

Марфа долго стояла недвижимо, запахнувшись в свой бобровый опашень и подняв бледное лицо к холодной, далекой и грозной звезде. Только пар от ее дыхания белыми клубочками подымался и таял в морозном воздухе.

— Нахождение рати, татарской... от хана Ахмата... или глад, или смерть... Кому только?

Пиша, не дослышав, переспросила:

— Какой хомут?

— Кому только, говорю! Пошли, замерзла ты, старая!

Не дожидаясь масленицы, Марфа уехала на Двину.

ГЛАВА 19

На тридцать втором году жизни московский великий князь и государь Иван Васильевич Третий достиг вершины своего могущества.

От отца ему досталась испытанная, закаленная в непрерывных боях с татарами, с Литвой и в междоусобных бранях рать, во главе с опытными, поседелыми, послушными его воле воеводами. Твердой рукой обуздав редкие вспышки своеволия, он держал подручных князей и своих братьев на положении послушных союзников, скорее даже слуг, обеспечив, наконец, себе и потомкам новый, в боях и заботах утверждавшийся московскими государями закон престолонаследия, по которому власть и земли безраздельно передавались только по прямой линии, одному старше-

му сыну царствующего государя и никому другому, чем пресекалась раз и навсегда опасность раздробления страны на удельные княжества. Сыну без видимого труда давалось то, на что отец положил полжизни. Вчерашние уделы на глазах вливались в Московское государство. Рязань и Тверь уже считали дни своей призрачной независимости. Еще грозной тенью нависала Орда, но смуты внутренние, постоянная резня из-за престола и неоднократные победы москвичей уже разбили сказ о непобедимости степной конницы. Уже не раз Сарай, столицу Золотой Орды, брали изгоном вятские, новгородские и низовские рати. В Казани, после многократных походов, сидел замиренный, покорный Ивану Третьему царь. С далеким Крымом налаживалась дружба, которой дальновидный Иван не изменил во всю последующую жизнь. Угрожающее продвижение на восток Литвы было прочно остановлено, и подготавливалось обратное движение — отвоевыванье старинных областей Русского государства. Псков послушно ходил в руке Ивана. Новгород, укрощенный, уже склонил непокорную голову перед великим князем московским. Юный сын, наследник престола, рос и радовал сердце государя.

И хоть Литва, объединившись с Польшею * в одно огромное государство, еще держала древний Смоленск, угрожая самому сердцу страны, и Новгород еще не был одолен полностью, и татарское ханское подворье, как знак данничества Москвы, еще стояло в самом Кремле, и еще не выросли новые стены, соборы и палаты славного для потомков кремлевского велелепия, но все это — и победы ратные, и каменная красота, и величие власти уже как бы содержались, созрели, были уготованы и означены Ивану и лишь не исполнены, но и исполнение их уже начинало воплощаться в образы, телесными очами зримые...

И не слаще ли миг предвкушения успеха, чем сам успех, не слаще ли первые явления и награды власти, чем сама власть, с неизбежной старческой немощью, сгущающимися заботами, вспышками давно, казалось бы, угасших бунтов, размышлениями о наследниках, грызнею в собственной семье и неодолимо растущим год от году царственным одиночеством, — всем тем, что пока и не мерещилось молодому, полному сил государю.

Он рано созрел. Отцом, торопившимся устроить все до своей смерти, Иван был повенчан с тверскою княжной Мариею, дочерью Бориса Александровича Тверского, двенадцати лет. В семнадцать Иван уже стал отцом княжича

Ивана, ясноглазого отрока, что ныне мужает у него на глазах. А еще через девять лет Мария умерла. По Руси гулял мор. Тело покойной безобразно распухло на смертном одре. Шептали, что государыня умерла от отравы. Бояр Алексея и Наталью Полуэктовых, приставленных к Марии и косвенно виновных в недоказанном преступлении, Иван хотел казнить и лет шесть не допускал потом перед очи. Ее одну он любил. Глядя на сына, вспоминал порой полудетские ласки покойной.

А теперь, с возмужанием, другая страсть владела им и захватывала его целиком, без остатка. Та страсть, которая превышает и земную любовь, и жажду богатства, которая выше, чем страх смерти, ибо из-за нее одной часто идут на смерть — страсть власти. И супругу теперь он искал себе не по любви, а по той же единой страсти, владевшей им. Вослед славнейшим из древних князей киевских, вослед и в подражание Великому Владимиру, иже крестил Русь, задумал Иван жениться на византийской царевне. И ей уже было подобрано имя, вернее, избрано одно из тех имен, которые носила Зоя Палеолог, дочь деспота Морейского, Фомы Палеолога, племянница последнего византийского императора Константина, павшего на стенах Царь-града, — имя Софья, что значит «мудрость», имя, осенившее древнейшие храмы Руси: Святую Софию Киевскую — храм великих держателей золотого стола киевского, от Ярослава Мудрого и до Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, и Софию Новгородскую.

Далекая невеста жила в Риме, опекаемая самим папою. По слухам, она отказала французскому королю и герцогу Медиоланскому, так как не желала иметь мужа-католика. Слухи привез грек Юрий, посланный кардиналом Виссарионом, и деятельно раздувал Иван Фрязин, прижившийся на Москве и вошедший в доверие к Ивану Третьему оборотистый итальянец-денежник, прозываемый у себя на родине Джан Баттиста Вольпе (он даже принял православие, что, впрочем, будучи в Италии, тщательно скрывал).

Может быть, все было и не так, или не совсем так, как сообщал государю Иван Фрязин. Двадцатитрехлетняя царственная невеста была сиротой и бесприданницей. Братья ее сорили чужими деньгами в Риме, проедая блеск ушедшей в прошлое славы Византийской империи. И не король французский с герцогом Медиоланским, а всего лишь кипрский король Иаков и мантуанский мар-

киз, Лодовико Гонзага, были ее несостоявшимися женихами. И не Зоя отказала им — тучная, созревшая уже к четырнадцати годам гречанка, томясь, мечтала выйти за кого угодно, а сами женихи не пожелали связывать судьбу с невестой, все приданое которой состояло из блестящей, но — увы! — никак не переводимой в звонкий металл родословной. Да и папа римский, желая выгодно отделаться от обременительной подопечной, отнюдь не думал искать Зое Палеолог греческой веры жениха. Наоборот, посылая Зою на Русь, он мечтал через нее склонить московского государя к унии с католическим Римом.

Но Иван Третий верил тому, во что хотел верить. Его, невзирая на природную скупость, мало беспокоило Зоино приданое. Зато обременительное и бесполезное для обедневших итальянских вельмож родословное древо византийских Палеологов было нужно Ивану и исполнено для него глубочайшим значением. Он верил древним книгам русских летописей, славе морских походов Владимира Святого, Владимира-солнца, как величали его певцы-гусляры. Через Зою он роднился с негаснущею славою древнего Цареграда и верил этому так же, как он верил, что именно ему досталась шапка Мономаха, последнего великого князя киевского, от коего через Юрия Долгорукого, Всеволода Великого, Ярослава и Александра Ярославича Невского тянулось родословное древо московских великих князей. Он верил, ибо хотел верить, что каменная «сардоничная» коробка в их казне — подлинная реликвия римского цесаря Августа, и вослед ему этому верила вся страна.

Через десять дней после возвращения из новгородского похода Иван принял венецианского посла Антона, что привез от папы римского листы на проезд Софьи из Рима в Москву. Зоя Палеолог уже именовалась Софьей в посольской переписке московского государя. Он хотел представить себе будущую невесту. Ему прислали Зоин портрет — парсуну, выполненную в условной манере того времени, впрочем, итальянским мастером, искавшим определенные черты сходства между своим изображением и оригиналом. Он остался доволен парсуной.

Удача продолжала ему благоприятствовать. Вятчане пограбили Сарай. Хан Золотой Орды собрался на Москву и пересылался с королем Казимиром, но Казимир увяз в делах угорских, и опасный союз, из коего уже выбыл третий — Господин Великий Новгород, — снова не состоялся.

Государские мастера уже ломали белый камень для нового собора Успения богородицы, что был обещан дряхлеющему митрополиту Филиппу. Иван исполнял обещание. Собор был нужен и ему самому. Москве не хватало величия, белокаменного величия седой древности, владимирского велелепия. В почерневших каменных стенах, в путанице дощатых крыш, в суете Москва была крепостью, торгом, но еще не городом. По первому санному пути камень стали возить в Москву.

Посольство в Рим за Софьей Палеолог было отправлено 16 генваря, в лето 6980-е (в 1472 году от рождества христова). Пока послы ездили, прежний папа скончался, и послы выскабливали в грамоте имя умершего папы Павла, вписывали Калиста, а потом, узнав, что папа не Калист, а Систюсь (Сикст IV), снова «выглаживали» имя и вписывали новое.

В апреле начали ставить церковь Успения. Мастера по наказу митрополита Филиппа побывали во Владимире и измерили храм Пречистой богородицы Владимирской, созданный Андреем Юрьевичем Боголюбским, «превеликий зело и чудный делом», в меру и лепоту которого Филипп мечтал увидеть свершенным Успенский храм на Москве.

Весь апрель копали рвы, ископав, набивали деревом и наполняли камением, созидая подошву храма. Работа шла быстро. Пока одни копали и клали фундаменты, другие мастера разбирали притворы и алтарь старой церкви. Уже тридцатого апреля состоялась торжественная закладка алтаря и углов нового храма. Митрополит Филипп, облаченный в праздничные ризы, с крестом в руке, во главе всего освященного собора иерархов церкви, с иконами и хоругвями под колокольный благовест всех московских храмов пришел, чтобы своими руками означить алтарь новой церкви Успения богородицы. Народ заполнил весь Кремль, государь Иван Васильевич явился с сыном Иваном, матерью, братьями и вельможами двора. Служили молебен, и вся площадь пела «едиными усты», после чего митрополит Филипп — чтобы увидеть, люди лезли на кровли, карабкались на ограды и деревья — заложил основание алтаря. Маленькая золотая фигурка наклонялась и выпрямлялась, весенний ветер колебал ризы митрополита, и казалось, что сам он колеблется от старости, полагая основание каменной громаде храма, завершения которого (он не знал этого) ему так и не придется увидеть, и даже гробницу его потеряют потомки... И все

же это он, митрополит Филипп, заложил алтарь нового Успенского храма, главного храма Московской Руси на все далекие последующие века.

Стены к концу мая месяца возвели уже на высоту человеческого роста, а старую церковь разобрали, вынося камение наружу, и двадцать девятого приступили к перенесению мощей. Опять звонили колокола, опять собирался весь освященный собор и князья великокняжеского дома. Опять Москва прихлынула в Кремль, и мальчишки висли на деревьях, заглядывая через головы народа на священное действие. Передавали, что, когда с гроба преосвященного митрополита Ионы сняли каменную доску, по всему храму изошло благоухание, мощи же его все были целы и нерушимы, суставы не рассыпались, а ризы и омофорий не истлели ни у него, ни у прочих святителей. И многие плакали от умиления, благодаря бога и пречистую его матерь.

Когда строители, разбирая церковь, дошли до мощей святителя Петра, первого митрополита московского *, Филипп, посовещавшись с великим князем, собрал для перенесения мощей собор епископов. Накануне совершалось вечернее пение у гроба, а во время перенесения мощей некоторые священники видели высоко в небе над гробом Петра парящего белого голубя, который тотчас стал невидим, когда раку святого закрыли крышкою. В палатах государя был устроен пир для духовенства и бояр. Церковь установила ежегодный праздник перенесения мощей митрополита Петра. Возвышающаяся Москва возвышала своих святителей.

Двадцать шестого июля пришла весть от князя Федора Пестрого, который подчинил Пермь. Еще одна земля, некогда состоявшая в воле Господина Великого Новгорода, перешла под руку великого князя московского.

Летом наконец хан Ахмат с Ордой собрался походом на Москву. Король Казимир все не мог выпутаться из дел чешских и угорских, что позволило Ивану Третьему все силы опять бросить в единое место против татар.

Тридцатого июля пришла весть, что Ахмат с Ордой идет к Олексину. На Оку ему навстречу были посланы воеводы Федор Давыдович, Данило Холмский и Иван Стрига-Оболенский с ратями. Готовясь к худшему, Иван Третий уговорил мать выехать из Москвы в Ростов.

Ахмат взял слабо укрепленный Олексин и вырезал в виду стоявших на той стороне москвичей всех жителей.

Передавали потом, что ратники плакали и скрежетали зубами, не имея возможности помочь своим: не было ни переправы, ни лодок. Впрочем, это был единственный успех хана Ахмата.

Взяв Олексин, татары изгоном пошли вдоль Оки, к броду, который защищала горсть ратников с воеводами Петром Федоровичем и Семеном Беклемишевым. Воеводы едва не оплошали. Косматые степные кони с вооруженными всадниками, как саранча, усыпали всю реку, черные на слепящей воде. Татарский клич плотно стоял в воздухе над Окой. Однако Беклемишев с Петром Федоровичем уставили людей по берегу и на горе и встретили татар тучею стрел. Мертвые поплыли вниз по течению. Раненые кони со ржанием выпрыгивали на берег и разбегались по кустам, волоча повода. Уже и на берегу сцеплялись в сечу, и лязгала сталь, и визжали, выкидываясь из воды, татарские конники, и косматые полосы крови, клубясь, уплывали по реке, и уже стрелы кончались в колчанах, и Семен Беклемишев, окровавив саблю, дико ощерясь, мчал по угору поворачивать вспятившихся своих людей, когда на горе, над ними, поднялся клич: «Москва-а!» — и горохом посыпались вниз свежие ратные: подошли князь Василий Михайлович с полком, тотчас кинувшийся в сечу, и полки князя Юрия Васильевича, брата великого князя. Татарский напор ослабел, а когда над берегом встали стяги самого князя Юрия, черные фигурки татарских конников с середины реки стали поворачивать вспять, пуская через плечо прощальные стрелы на московскую сторону. Брод был удержан.

Московской силы все прибывало и прибывало. Даньяровы рати, сына Трегубова, полки самого великого князя, идущие от Коломны и Ростова. Сто восемьдесят тысяч ратников стояли на ста пятидесяти верстах, готовые к бою с Ордой. Москва была уже не та, что во времена Тохтамышевы.

Даниил Холмский объезжал полки. Люди рвались в бой, только удерживай. Иван Третий и в этот раз добьется своего. Холмский до сих пор не получил боярства, не жаловал его государь московский и землями. Князю приходилось самому с великими трудами перекупать села по кускам у других вельмож.

Если татары перейдут Оку, предстоит бой, возможно, не менее жестокий, чем при Дмитрии Донском на Куликовом поле. Кто знает, сколько их? Опускалась ночь. Князь сам поехал проверять сторожу.

Там и тут загорались костры. От нагретой за день земли веяло сухим теплом. Глухо топотали кони. За рекой, отблескивавшей серебром, тоже загорались огни, и доносился гомон, глухой, вражеский. За рекою была Орда. Конь ноздрями втягивал чужие, татарские запахи и тихо ржал.

Впереди показался отряд князя Ивана Оболенского-Стриги, их рати стояли рядом. Воеводы съехались, приветствовали друг друга и, оставя ратных, бок о бок, шагом поехали по берегу.

— И ты сторожу сам проверяешь? — спросил Стрига.

Холмский кивнул. Остановились на яру. Светлый конь Холмского и темно-гнедой Стриги тыкались носами, обнюхивая друг друга.

— Како мыслишь, — спросил Холмский, — перейдут татары Оку?

— Навряд!

Холмский посмотрел на Стригу. В темноте обветренное морщинистое лицо старого воеводы неясно расплывалось, и было непонятно, не то он щурился лукаво, не то тени так легли на лицо.

— Даве Семена Беклемишева с Петром очень просто с брода спихнуть могли! — пояснил Стрига. — Трусили, ждали большого полку своего. А теперича вся рать наша подошла, дак не сунутся! Не те татары ноне, обломали им рога! Иные мурзы ихние, почитай, глядят, как бы в русскую службу поступить, а не то что...

— Спасибо за Шелонь! — сказал Холмский, помедлив.

Стрига усмехнулся:

— Не стоит того! Поверни оне к Бронничам, и ты бы, гляди, мне помочь подослал!

Холмский промолчал. Старик был прав, хоть и обидно в этом признаться. Разгромить новгородцев мог бы и он.

— Кланяться мы все государю должны! — строже примолвил Стрига.

— Не перекланяться бы! — ответил Холмский вдруг со злобою и закусил губу.

Стрига повернул лицо к нему, пытливо вгляделся. Конечно, боярство Федор Давыдович получил в обход князя, но ежели по годам рассудить, то государь и тут прав. Торопятся, торопятся тверичи! С наше бы послужили сперва! Но каков князь?! Можно бы и шепнуть о том при случае... Только сошлет ли его Иван? Нет, поди, не сошлет!

— Едина власть всем нужна, не только государю! —

возразил он спокойно. — Власть великого князя московского нам всем силу дает. Одна голова, один кулак! Эко: сто восемьдесят тыщ скопилось на Оке ратного народу! И все вместях! А без князя Ивана енти бы сто восемьдесят тыщ ноне друг с другом резались! На землю скуп наш государь — это да. Да ить без того у него и власти не будет!

Холмский вздохнул, вымолвил нехотя:

— Иван умен! А все ж — захочет он неправоту учинить, кто возможет противу? И сейчас на пиру задремлет — дыхнуть не смеют, а дальше что?

— На пиру, к часу, можно и помолчать, нас с того не убудет, — возразил Стрига примирительно. — А неправоту творить... То право государево, от бога дадено! Опять же, когда неправоту многие творят, как вон в Новгороде Великом, земле от того не легше!

В вышине мерцали звезды. Впереди, за рекою, мерцали костры. За рекою были вороги, Орда поганая.

— Дак, говоришь, не наступят? — вновь вопросил Холмский.

— Навряд! — уверенно ответил Стрига.

Великий князь не велел полкам переходить реку. Татары недолго стояли на Оке. Сам царь татарский, писал московский летописец, придя к берегу и видя полки великого князя, аки море колеблющиеся, в доспехах чистых, серебром блистающих, зело вооруженные, начал помалу отступать от берега, «страх и трепет нападе на него», и побежал «в нощи, гоним гневом божиим». К тому же в ратях хана Ахмата открылся мор, и Орда бежала. Двадцать третьего августа Иван воротился в Москву с бескровной победой.

Первого сентября свадебный поезд царевны Софьи, проехав Германию и Чехию, прибыл в Любек, чтобы там сесть на суда до Колывани.

Моровая болезнь задела не одних татар, умирали и на Москве. Второго сентября умер Юрий Васильевич, старший из братьев великого князя Ивана. Иван Третий прибыл на четвертый день. Отпевал покойного митрополит Филипп с епископами сарским и пермским. Юрия погребли в церкви Михаила Архангела, рядом с предками, князьями московского великокняжеского дома. Удел покойного брата — Дмитров, Можайск и Серпухов — Иван Третий взял себе. Это породило решительную смуту в

братьях, и Ивану пришлось поделиться с ними. Все четверо Васильевичей чувствовали, что это их не последняя ссора из-за земель и доходов московских.

По сентябрьскому московскому счету шел уже 6981 год, или 1473 год от рождества христова. Несмотря на траур, свадьба великого князя приближалась своим чередом. Двадцать первого сентября Софья со свитою сошла на берег в Колывани. Шестого октября она была в Юрьеве, одиннадцатого — во Пскове, на русской земле. Здесь ей была устроена почетная встреча, и царевна оставалась неделю.

Папа римский Сикст IV, Систюсь, послал с нею кардинала, легатоса Антония, для утверждения истинной веры на Москве. Кардинал ехал в варварскую страну просвещать заблудших. Перед ним везли латынский крест «крыж», знаменующий всем значение его миссии. Об этом «крыже» вести дошли на Москву, и возмущенный митрополит Филипп, явившись к великому князю, предложил выбирать, кто ему дороже: он, русский митрополит, или легатос со своим «крыжом», и пригрозил, что, ежели легатосу позволят явиться в Москву с «крыжом», он в тот же час покинет Москву «другими вороты». «Понеже бо, возлюбив и похваливый чужую веру, то своей поругался есть». Поезд Софьи, которая ничего еще не знала не ведала, был остановлен в пути и чуть не обращен назад со срамом. К счастью для Софьи, у легатоса хватило ума долго не упираться, а Иван Фрязин, хлопотавший более всего о почестях легатосу, вовремя сообразил, что он уже не в Италии, а снова в земле великого князя и даже сам крещен в православие. «Крыж» был спрятан, и путешествие продолжалось.

Софья, которую перед отбытием наставлял сам папа Сикст IV, не спорила ни с кем и ни с чем. Наследница византийских кесарей давно чувствовала себя старой девой. Ах, она бы дала руку кому угодно! Она уже и вправду начинала стареть. Итальянские острословы издевались над ее толщиной и над ее бедными приемами. Зоя дурнела, еще больше рыхлела, ночами плакала в подушки. Далекий московский государь, кесарь греческой веры, владелец огромной, как сказывали ученые греки, страны — это было больше чем счастье, это было спасение. Позади оставались ненавистные Орсини, тщетное ожидание брака, унизительное положение царственной бесприданницы, зависть к братьям, беспутно транжирившим несуществующие доходы, ядовитые пасквили и остроты

гуманистов, что, ухмыляясь, передавала ей потом итальянская прислуга. Позади — страшный папа римский, все хлопоты которого только о воссоединении церквей. Она низила глаза перед легатосом Антонием. Она ждала. С ней ехали и свои, греки. На далекой Руси ученые люди легко говорили по-гречески. На далекой Руси ее хотят называть Софией, пусть так! София, Софья, она — Софья!

Псков открылся за широкой рекою. Сперва пошли белые церкви, коричневые деревянные дома, больше, гуще, выше, и вот показался город, как венцом обведенный каменными стенами. Все было белым и солнечным. Белые деревья с веселой желто-оранжевой листвой, белые стены города, голубое, звонко-холодное в белых облачках небо, белый храм на горе и красные наряды горожанок, и красный, праздничный, звон колоколов. Берег, когда переезжали реку в лодьях, был весь покрыт народом. Белые, розовые лица, сияющие глаза, золотые ризы духовенства — все веселило Зоино сердце. (Софья, Софья теперь!)

И уже чужим и нестрашным показался папский легатос в пурпурной мантии и перчатках, на которые с удивлением, как отметила Зоя, больше всего посматривали горожане, всем видом показывавший, что приехал в варварскую страну. А там — эта толпа народа, и крики, и колокольный звон, и такие добрые лица! И она решилась. В храме, куда их провели прежде всего и где кардинал Антоний презрительно не замечал местных варварских живописных изображений святых, Софья (мудрость!) тихим голосом приказала — да, впервые приказала! — ему почтить образ богоматери. Антоний удивленно оборотил лицо к прежней молчальнице, но спорить не стал и с брюзгливой неохотой приблизился к образу.

О, как она ненавидела их всех! И папу, и легатоса, и язвительных придворных, всех их, спихнувших ее, наконец, сюда, чтобы облегчить себе дело объединения церквей, и бросивших на произвол судьбы дядю-императора, и покойного отца, несчастного деспота Морейского!

Начались пиры. Ее поздравляли. Не зная языка, Софья лишь молча склоняла голову, когда вельможи в широком и дорогом русском платье с поклонами произносили слова своего языка, то твердого, то мягкого. Зоя никак не могла уловить эти переходы. Он был певучее немецкой речи и чем-то сходен с говором македонян, слышанным Зоей в молодости.

Двадцать пятого октября Софья прибыла в Новгород и поехала дальше.

Как в тумане, проходили перед нею города. Золотою метелью летели желтые листья. Холодный воздух обжигал лицо. Дороги твердели. Тонкие острые льдинки ломались под ногами коней. Приближалась зима. Софью кутали в дорогие меха. Даже простые люди ходили тут в меховых овчинных одеждах. Она смертельно перепугалась, когда их остановили конные московские дворяне и начался спор из-за креста. Вторично она вмешалась, бросившись, как тигрица, в бой за свое счастье. Да, она тоже хочет, молит, настаивает, приказывает, наконец! К тому же лица московских дворян отнюдь не были так добры, как лица псковичей, да и нигде по дороге московиты не простирались ниц перед «крыжом» легатоса. Шел снег. Дворяна были в оружии. Нахохлившийся кардинал наконец спрятал крест. Торжество истинной веры, задуманное им, не состоялось. Уже без всякой надежды на успех он тронулся дальше, в душе осуждая папу с его наивной верой в то, что этих язычников можно обратить в лоно римской церкви.

Двенадцатого ноября поезд Софьи прибыл в Москву.

Софья не сравнивала Москву с городами Запада, с Новгородом или Псковом, ей было не до того. Не разобрала она и тонкостей встречи, в церемониале которой были искусно соблюдены и непременное требование митрополита Филиппа о главенстве независимого православия, и сдержанность по случаю недавнего горя в великокняжеской семье, и пристойная случаю торжественность.

Софью со спутниками прежде всего провели в церковь, где митрополит Филипп в облачении благословил ее и присных православным восьмиконечным крестом. Это было и приветствие, и достойный ответ на «крыж» легатоса. Затем Софья была представлена матери жениха, великой княгине Марье. Она оробела. Впрочем, похудев, посвежев и разрумянившись в дорогах, Софья очень похорошела. Княгиня Марья приняла ее милостиво. Да и никто не собирался отсылать назад Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора. Жених был высок ростом и благовиден собой, с густыми грозными бровями. Царственный спаситель от нищеты и глума, он и в самом скромном облике показался бы ей красавцем, теперь же у нее сладко заныло сердце и закружилась голова.

Их обручили по православному обряду — римское ус-

ловное венчание намеренно не было принято во внимание совсем. Потом ее провели в чудну́ю, верно, строящуюся церковь: стены были каменные, а внутри стен стояла другая церковь, деревянная, и в ней служили.

Софья выстояла службу, ведомую на греческий лад, а не так, как служили в Риме. После литургии состоялось венчание. Венчали «благоверного великого князя Ивана Васильевича всея Руси с православною царевною Софьею (ей переводили слова), дщерью Фоминою деспота Аморейского, а сын той Фома царя Мануила Цареградского, брат же царя Ивана Калояна и Дмитрия и Констянтина».

В церкви было полно народу в дорогих нарядах. Изрядно потишевший кардинал Антоний с римскими послами стоял смирно, посторонь. Дмитрий Грек, посол Софьиных братьев, с прочими греками заметно выдвинулись вперед. На бракосочетании были мать и братья государя, а также приближенные и избранные из граждан. Софья чуть поторопилась ступить на подножие и почувствовала, по мгновенной заминке, что что-то сделала не так, и испугалась: страх холодом прошел по спине, расширясь от лопаток к тазу. (Вдруг все сорвется? Прервут, воротят в Рим...) Но высокий строгий московский цесарь, почти не умедлив, и сам твердо ступил на подножие и стал рядом, чуть впереди. У Софьи отлегло от сердца.

Только много позже поняла Софья, что наделала, когда мамка, баюкавшая ее дочь, объяснила великой княгине, начавшей понимать по-русски, примету: кто первый ступит на подножие, тот будет и верховодить в семье.

А сейчас, стоя перед аналоем, Софья, радостно волнуясь, уже не слышала возникшего за спиной шепота бояр, злорадно заметивших и по-своему истолковавших невольную оплошность царственной новобрачной.

Потом сидели за столами. Ей пели красивые величальные песни на непонятном русском языке. Ее закрывали платом, и она опять боялась, что сделает что-то не так. Ей расплетали и заплетали волосы. (В баню Софью водили еще утром.) Потом ее отвели в спальный покой, приготовили ко сну. Женщина знаками объяснила ей, что она должна разуть мужа, и Софья, неловко опуская глаза, стянула с московского государя красные мягкие узорчатые сапоги, из которых выкатилось несколько золотых английских нобилей — подарок молодой за разувание мужа. У нее упало и бурно забилось сердце, когда

Иван, схватив ее за пояс, перекинул через себя на постель. И жадно, все еще боясь, что это сон, что произойдет что-нибудь непоправимое, торопясь скорее стать женою этого высокого, властного, сдержанного человека, Софья всем телом, животом, грудью прильнула к Ивану, прикрыла глаза и, счастливо, благодарно подаваясь вся его сильным рукам, удовлетворенно застонала, когда мгновенная боль возвестила ей совершение чуда — она стала московской царицей.

Назавтра Иван Третий принял послов и подарки от папы римского. Легатос хлопотал за венецейского посла Ивана Тревизана, что, будучи послан от дюки венецейского в Орду, остановился у Ивана Фрязина, по совету денежника, не сказавшись Ивану Третьему. Был повод указать место всем трем: Ивану Фрязину, что обманно вел себя перед папой Систюсем, легатосу, дабы понял, что с властью на Москве не спорят, и венецейскому послу, что посмел выказать небрежение государю московскому. Ивана Фрязина, поймав и оковав, послали в Коломну, дом его был разграблен, жена и дети схвачены. Посла Тревизана, схваченного у него в доме, сперва велено было казнить, и только после настойчивых униженных просьб кардинала и прочих Иван повелел отложить казнь, снесясь сперва с венецейским дюкою, дабы выяснить, по чьему наказу посол Тревизан таковую грубость государю учинил? Посол, закованный в железа, был посажен в дому у Никиты Беклемишева, и свадебные празднества продолжались.

Кардинала с прочими Иван Третий держал у себя одиннадцать недель и, милостиво одарив, отпустил с честью двадцать шестого генваря. Передают также, что кардиналу Антонию было предложено устроить диспут о вере с московским книжником Никитою, и легатос, смущенный красноречием Никиты, отказался от спора, ибо, как он объяснил: «Нет книг со мною». Обратно послы возвращались через Литву.

С этого времени Иван стал подготавливать присвоение себе титула цесаря, или царя. Так он уже начинал зваться в бумагах, а еще чаще называли его царем в устной речи, почему и песни, что распевали бродячие гусляры, смешали позднее в одно лицо двух грозных царей, двух Иванов Васильевичей, деда и внука, и неистовый внук, по капризу судьбы, даже вытеснил из памяти людской своего великого деда.

При дворе утверждался новый, сложный церемониал.

Все чаще Иван давал волю вспышкам своего гнева, являя подданным грозу государеву.

Из Венеции, от дюка Николы Трона, прибыл в апреле новый посол, с дарами и просьбами, и Иван, удовлетворенный в своей венценосной гордости, выпустил Тревизана из заточения *.

Софья ревностно погрузилась в православную церковную обрядность и семейные хлопоты. Стояла все службы, ходила по святым и чтимым местам, считала добро и утварь — становилась богомольной и домостроительной. За год и Рим, и папа, и пресловутая уния — все отошло, забылось, отодвинулось куда-то в давнее, почти небылое. Русскому языку она училась у мамок. Страшившаяся попачалу, что она бесплодна, Софья, наконец, понесла, и теперь втайне молила, чтобы бог послал ей сына, а не дочь. Туманные надежды, пока еще неопределенные, бродили в ее голове. Но одно она испытывала явно и ясно — острую ненависть к покойной тверской княжне. Софья не раз убеждалась, что Иван покойную не забыл, хотя и молчит о том. Муж и заботлив и ласков, но какими глазами смотрел он на сына Ивана, наследника престола московского! Ненавидя и вожделея, Софья удваивала ласки.

Плохо понимая в политике и делах государственных, она меж тем с молоком всосала тысячелетние византийские навыки тайной придворной борьбы и уже чуяла, вернее, начинала чуять, вглядываясь в лица ближних бояр, кто может стать за нее и кто против, на кого можно опереться, ежели придет нужный час.

Пышность, которой окружал себя Иван, льстила ей. Великое прошлое, блеск византийских императоров, о котором там, в Италии, Софья уже и не помышляла, начинали все больше распалять ее воображение. Боясь и ненавидя татар, Софья не раз уже просила Ивана вывести ордынское подворье за пределы Кремля. Иван пока отмалчивался, ожидая удобного повода. Он любил и роскошь, и блеск, и славу византийскую, но отлично знал, что все это мишура, коея сама по себе немногого стоит, без денег, без земель, без ратей, без власти, законами утвержденной. В апреле Софья родила дочь, Елену.

В мае церковь Успения была почти закончена, уже свели своды, кроме большого верха — центральной главы, и москвичи толпами приходили любоваться на храм.

Двадцатого мая, в час ночи, церковь обрушилась. По счастью, на ней не было людей, наверху бегал один толь-

ко отрок, княжич, сын Федора Пестрого, но и тот успел отбежать и уцелел. Обрушилась вся передняя стена, полати, своды. Камни рухнули на деревянную внутреннюю церковь, проломив у нее верх. Был разбит гроб митрополита Ионы и проломлен митрополита Филиппа, а гробницу чудотворца Петра, не повредив, к счастью, мощей, засыпало целиком.

В том, что всего за час до обвала церковь покинули каменосечцы и никто не пострадал, усмотрели чудо, но, однако, дело от того не улучшалось, и Иван послал за новыми мастерами во Псков и в заморскую землю, в Италию, веля сыскать мастера самого лучшего, какой только найдется.

Между тем из Новгорода Великого шли все более тревожные вести. Борецкие с присными опять подняли голову. Княжескому наместнику все труднее удавалось проводить назначенную Иваном жесткую политику в судебном праве. Многие из двинских земель, отошедших было в казну великокняжескую, новгородские бояре вернули себе. Но Иван медлил, все еще выжидая. Рассылал послов, укреплял границы. Зимою он выкупил остатнюю вотчину князей ростовских * и подарил ее матери.

В марте, двадцать шестого, на Велик день, воротился посол из Рима Семен Толбузин и привел с собой мастера, искусного ставить церкви и палаты, Аристотеля * именем, который к тому же был нарочит лить пушки, колокола и иное что.

Аристотель, не мешкая, приступил к работам. Он тоже побывал во Владимире и ознакомился с древним Успенским собором. Москвичи дивились подъемным воротам и тарану, с помощью которого Аристотель в неделю разломал остатки обрушенных стен. Потом он начал углублять рвы под основание храма до двух сажен и более. Раствор он приказал замешивать густо, мотыгами, так что назавтра его было уже не отколупнуть, и все время вокруг строительства толпились любопытные. Иван Третий милостиво принял мастера и стал милостив еще более, увидя, с каким старанием и как успешно тот повел дело.

Между тем он готовил поход в Новгород, на зиму, как только укрепятся пути. Он пойдет в Новгород миром, как государь, как новгородский, принятый, князь, как ходил его отец после победы под Русой — тоже через четыре года. Так и он через четыре года после Шелонского разгрома появится в Новгороде судьею и господином, тем паче что судить было кого и было за что.

Двадцать второго октября Иван Васильевич пошел в мирный поход к Новгороду, оставя на Москве наместником сына своего, семнадцатилетнего княжича Ивана.

ГЛАВА 20

Марфа Борецкая пробыла на севере, на Двине и в Поморье, почти два года. Приехала на Двину к головешкам. Боярщины разгромлены, люди разбежались или числили себя за великим князем. Все надо было начинать сызнова, сначала. И она начала сначала. И уже не так, как в молодости, не до красоты было, не до песен, не до пиров. Чуть что — звенели мечи. Сама усмиряла бунтующие деревни, казнила и вешала сама (в Золотице пришлось пойти и на такое). Скрестив руки, стояла при казни, смотрела, как дергаются повешенные тела, не отворачиваясь. В глазах был казненный Дмитрий.

Московский князь был далеко, занят делами ордынскими, женитьбой, строительством. Вятчане да устюжане тогда, после победы, поусердствовали. Грабили правого и виноватого, заставили призадуматься и двинян-перебежчиков. В своих боярщинах Марфа навела строгий порядок и, не считаясь, помогала всем, лишь бы работали. Рубила избы погорельцам, раздавала коней и коров из захваченных стад, оделяла солью под будущие — когда поправятся — уловы семги, сельди, палтуса и трески. Показывала бабам, особенно из пришлых, как запаривать молодые еловые побеги скоту на корм, учила, как коров и овец подкармливать яголью, что собирают для оленей. Сумела, заставила, добилась: в первую же весну распахали всю землю, что было, хоть и не хватало рук, коней, сох, сбруи, семян. Холопы-дружинники валились с ног от устали. Тут же паши, тут же, выпрягши и оседлав коня, скачи в набег, а с набега опять на пашню, не передохнув — пахать, боронить, сеять. Но знали — за Марфой Ивановной не пропадет. Ела с холопами, с дружиной, сама во главе стола. Не сдерживая соленых шуток, подчас и усмехаясь смелому слову. Не видали, когда спала. Силы брались — на удивление мужикам. И памятлива — вины не простит и выслуги не забудет. Награждала так, что никто не был в обиде. И густели подымавшиеся деревни Борецкой, тучнели стада, начинали румяниться изголодавшиеся за зиму, осунувшиеся лица.

Не одна Борецкая, почитай, все «двиняне» — владельцы волосток на Двине — усердствовали в своих север-

ных вотчинах. Это тем, у кого вотчины под боком — славлянам иным или Захарье Овину, — можно сидеть в Новом Городе. У него-то все волости не далее Бежецкой или Водской сотен. А тут — потеряй Двину, Мезень да Вагу, откуда потекут меха, соль, рыба, хлеб, серебро? А серебра нынче надо немало! Выплаты тяжкие, да черный бор берут по волостям. И не возразишь, и не спихнешь, как бывало, княжьих черноборцев со своих земель. А Иван хочет и корову забить, и молоко доить: отобрав Двину, прежние дани-выходы брать с Господина Великого Новгорода! Да ведь не из золотой горы черпаем, на торговле заморской да на землях северных, неоглядных, откуда и меха, и иное добро, стоит Новгород! Отбери одно да прикрой другое — и захиреет гордый город, уже не щитом порубежных земель, не серебряной рекой из замория, а бедной окраиной, что и оборонить нечем и незачем, да болотами непроходными, неродимыми обернется северная лесная земля. Но до того еще много дел и еще долго времени, лет поболе ста. Правнуки да праправнуки, позабывшие славу прадедов своих, узрят тот сором. А пока и помыслить о нем нелепо. Еще могуч, еще богат Господин Великий Новгород!

Объезжая волостки, Борецкая то и дело уряживала спорные дела о мужиках, скоте и землях то с Онаньиным, то с молодым Своеземцевым, который раньше прочих уехал на Двину и быстрее поднял хозяйство. Из Марфиных деревень к нему было перешли люди, но Иван не стал спорить с Борецкой, воротил мужиков, а Марфа обещала вернуть через год деньгами, хлебом ли или иным припасом — в чем он потратился на ее крестьян. В иных случаях она и сама принимала даровую силу, а потом тоже возвращала, по требованию владельца. Бывали у бояр новгородских на Ваге, Кокшенге да и в устье Двины и друг с другом стычки из-за людей, стад, рыбных ловель. Но улаживались обычно сами, без суда княжого, памятуя шелонский погром. Беда общая, а тянуться в Новгород на Городец, ко княжому наместнику, не велика благостыня!

Из разоренной Новгородчины прибывали обозы с людьми, чаявшими хоть какого угла, хоть какой защиты от голодной смерти. Разведенные по избам, они в свой черед начинали работать. Было бы дело, и был бы хозяин при деле, чтобы знал, кого куда поставить, на какую работу, с кого что спросить, чтобы и даром хлеба не ел да и талан в землю не зарывал тоже! Хорошего кузнеца

не пошлешь на пашню или рыбака — коней пасти, себе дороже станет! Это Марфа умела, видела людей. Старики у нее не надрывались на такой работе, что по силам мужикам, зато плели сети, корзины, мастерили телеги, сани, упряжь, чеботарили, сеяли. Старые руки слабже, да искуснее, навыку больше в них. Молодые мужики не стояли над работой с плеточкой, сами воротили. Сила есть — работать должон! Бабы ходили за скотиной, старухи — за птицей, пряли, вязали, ткали. Плотник у нее плотничал, кузнец ковал. По силам да по душе работа — боле от человека и прибыли. На вторую весну стало уже легче. Марфа больше не ночевала в курных избах, отстраивала боярские дворы в волостках, подымались шатровые верхи пожженных церквей. И уже не одни подковы да гвозди — узорные накладки на двери мастерили кузнецы, загибали рогами железное кружево, завивали раскаленные граненые пруты и из витого уже гнули кольца дверные, стоянцы, светцы. Морозом покрывали жестяные оковки к сундукам, медники узорными бляхами испестряли сбрую. Топор, тесло и долота в руках плотников начинали творить чудеса, густою перевитью узорочья со звериными и змеиными головами, хвостатыми девами и девами-птицами окутывались вереи, столбы, причелины, деревянные полотенца и балясины оперенных крылец.

Конечно, старого было не воротить. Что стало князево, того уж трогать стереглись. Потишела жизнь двинская, приумолкли скоморохи-игрецы. А все же хозяйство направлялось. Можно было уже дать роздых рукам и сердцу, что порою начинало заходиться, сложить на плечи ключников и посельских ношу мелких дел. Уже полные обозы с зерном, салом морского зверя, скорой, солью, рыбой потянулись горой и водой — по рекам и посуху — в Новый Город, на торг и в амбары. Уже, почитай, можно было и возвращаться назад, под сень златоверхого терема.

Вести из Новгорода были смутные. Встречаясь друг с другом, бояре зло отводили душу:

— За митрополита Григория литовского нас громил, а сам на ком женился? На униатке! Теперь везет латынского легатоса на Москву, никто ему не зазрит!

Пустая была злость, пустые речи. Хорошо, хоть занят, рук не хватает до Двины дотянуться. Ругались и на то, что Иван под себя пермскую землю взял. А тоже, что Колопермь поминать, коли Двины оборонить не замогли!

На вторую зиму Иван поход на немцев затеял. Новгородская рать с Фомою Андреичем, со Славны, ходила на помочь. Опять ругались: и немцев не побили — в распуту угодили как раз, а волости Новгородской от прохожденья московского опять тяжко пришлось. Всем в городе, по слухам, заправляли славляне. Кто раньше сидел да ждал, как что повернется, стали у князя в чести. Пора было вмешаться, не то и без войны город продадут! Да и Федор сильно тревожил Борецкую — как еще управляет один?

За два года лишь однажды дала себе Марфа на час краткий роздых, когда ездила по делам к Ивану Своеземцеву. Вдруг, сама не чая с чего, отослала посельского и одна поднялась на приметный угор над речною излукой. Трудно узналось место. Церковь та, белоснежная, давно потемнела, да и огорела краем в нынешнюю войну. И дали были не те. Где вырубили и распахали новину, где не стало деревень или отстроились на ином месте. И все будто выцвело, потускнело. Разве плывущие по холодному небу белые облака не изменились с тех пор. Ах, она же была молода — не те глаза, сердце не то уже, не те и краски! А все ж где то место? Должно, тут! Она помедлила на обрыве, отступила и — как почуяла, тут! Ели стали высокими, пото и не признала враз. Ящерка юркнула из-под ног и скрылась в вереске. Тут он и стоял, Василий Степаныч, и говорил, говорил, не глядя на нее, и сердце сжималось, не как сейчас, не от устали, а радостно, по-молодому. Что же теперь осталось от того дня, от часа того? Чужая могила старца Варлаама в Важском монастыре, чужой сын в боярском дому Своеземцевых. И не к кому прислониться на миг, закрыв глаза, некого вопросить с мольбою:

«Что же сталось с нами, Василий? Как нам подняться вновь?»

Внизу ждал слуга с конями. Марфа ездила не в возке, а в люльке, о-двуконь: конь впереди, конь сзади, так было способнее по тропам, по лесу. Когда надо, могла и по-мужски, верхом. Слуга ждал, ждал отосланный посельский. В селах стучали топоры, ладились сохи, конопатились и смолились лодьи, и все и вся ждало ее приказаний. И никто не ведал, что трудно, когда уже более полвека прожито, зачинать все это снова и опять. И холоп тот, внизу, не увидит лица боярыни, того, что видят сейчас облака, плывущие к югу, того, что так и не увидел тот, покойный, что говорил, не оборачиваясь к ней, на

этом самом месте о судьбах страны, о боге и бедах народных много, много лет тому назад!

За два года наладились двинские и важские хозяйства, и поморские села поднялись. И на Терьском берегу ладилось, куда, к счастью, москвичи не доходили, и на Летнем, и на Поморском, и на Выге, Суме, Нюхче, и в Обонежье. И уже можно было ворочаться в Новгород, строжить Федора, собирать друзей. После святок Марфа воротилась домой.

Новгород почти отстроился. Кое-где лишь глаз подмечал: вон в том монастырьке церква была — шатровый верх, а теперь срублена клетью, на абы как. Там ограда стояла из тесовых плах, резная, а нонь плохонький частокол. Здесь будто терем был попышнее... В деревнях по пути гораздо хуже, иные и запустошены вконец. Подъехали с торговой стороны, от Рождества на Поле. Рогатицкими воротами. Мимо святого Ипатия, вдоль по улице, к торгу, к святому Ивану на Опоках. Все знакомое, а гляделось будто внове. Усмехаясь своему, кутая лицо — постаревшее (сама знала!), в морщинах — в темный плат, озирала Марфа родной Новгород. Возок проминовал Славну, торг, кони вылетели на оснеженный Волхов, и уже впереди только и виделось одно — свой терем на горе. Как-то там?

Дом начинается с ворот. Вроде бы краска полупилась, потемнели резные вереи, или в глазах так, все темнит после севера? Снег выпахан не чисто... Нет, чисто, ждали! Дворня толпилась, встречая. Много новых лиц, верно, Федор набрал или Иев сам постарался. Возок окружили с поклонами. Марфа поднялась к себе. Сын встречал на крыльце, шел следом теперь. Глаза воротил — знает, что будет разговор. Потом! Огладила по голове Олену, поцеловала Онтонину. Пиша встретила в слезах, обрадовалась неложно. От того потеплело на душе.

К трапезе прискакал Олферий с Фоврой. Марфа ласкала внучонка, Василия, — подрос! Давно ли пеленала! Мельком, внимательно, заглянула в глаза снохе:

— Федор не обижает?

Та заалела, потупилась, решительно помотала головой.

— Нет!

— Ин добро. С кем он там крутит на Славне, с рыжим, с Василием Максимовым? Нашел приятеля! На вот гостинец тебе со Терьской стороны!

Высыпала перед снохой горсть крупного северного жемчуга с редким розовым отливом. Та просияла. Ма-

ленькому гостинцы свои — морские раковины, расшитую цветными мехами лопарскую оболочинку-малицу и сапожки из оленьей шкуры да сушеные морские звезды. Олене бросила походя:

— Замуж пора! Фовра, смотри, детей носит, остареешь в девках! Иван Савелков все не женат? — спросила невзначай, знала сама, конечно. — Думай, девка, годы-ти идут! — сказала и не стала боле слушать ни смотреть: пусть сама решает.

За трапезой расспрашивала, кто помер, заболел, женился, кто у кого народился. Ненароком вызнала у Олферия, что делается на Славне.

Новое было лицо у Марфы. Уже не сказать, что красавица, что годы не берут — то все ушло. Морщины легли, но от них лицо не одрябло, а стало сурово и решительно. Глаза — светлые, словно промытые северными снегами. Резче сказывалась властность в движениях твердых рук, в голосе, словно все прочее выжгло теперь или отгорело само. Дел городских касалась слегка.

— Степенной Федор Глазоемец? — спросила, усмехнулась, а так, словно, не кончай в феврале славенский посадник свой срок, не усидеть бы ему и на степени.

«Ой ли, хватит ли сил нынче? — подумал Олферий. — Теща не помягчела и, видно, знать не хочет, кто нынь в силе в Новгороде. Или знает?»

Легко так, между делом, сказала, взглянув на Федора:

— Березовец опять грабили москвичи? — и вновь усмехнулась недобро.

Удалясь после трапезы, позвала Пишу.

— Сказывай, старая, как тута без меня?

Вполуха выслушала мелкие дела, домашние заботы Пишины, перебила:

— Слыхала, и вы тут великого князя с молодой женой поздравляли?

Пиша в радостях, что боярыня полюбопытствовала о том, о чем лонись судачил весь Новгород, зарассказывала о византийской царевне:

— Красавица! Пышная вся, белая такая, уста алые, цто купчиха московська, право!

— Ты-то цему рада? — с усмешкой осадила ее Марфа. Помолчала, выронила: — Цареградску перину себе достал князь Иван! Теперь царем величать себя прикажет! Ну, говори, говори! Сбила я тебя, не обессудь...

Мылась в бане. Как прежде, мятой и богородской травой пахнул густой банный дух. Вечером приняла ключ-

ника. Слушала молча, пытливо разглядывая Иева. Грамотки приняла небрежно.

— Оставь, проверю. И погляжу сама, сколь цего в анбарах у тебя. Людей сам напринимал али Федор?

— Федор Исакович сам тем мало займуетце. Все в делах градских.

— Хорошо, иди!

Федора вызвала перед сном.

— Ну, сказывай! Со Славной повелся нонь?

Федор объяснял сбивчиво, горячась, словно оправдывался перед матерью, что без Славны силы не хватит все одно. Нужно вместе, всем городом, пото он и дружит со славлянами! И вроде было не глупо, да ведь ни с Глазоемцевыми, ни с Полинарьиными, ни с Фомой Курятником, ни с Исаком Семенычем, ни со Слизнем, ни с Норовом, ни с Кириллой Голым не сдружился. А Василий Максимов — не велика благостыня... Да и все одно Максимов еще не Славна! А кто больше-то? Немир с Олферием? Дак те и были свои!

Тоже слушала молча, не прерывала, как и ключника. Вздохнула только под конец:

— С Савелковым бы тебе, с Никитой Есиповым. Эти не продадут! А рыжий-от, Василий Максимов твой, темный он какой-то! Смотри, не прогадай, Федор. Митя с им дела не имел... — Усмехнулась, видя налитое упрямством лицо младшего сына. — Губу дуешь? Один ты у меня, Федя, головы терять не след! Да и славлянам нынь верить... А вредит вам кто тамо? Назар, подвойский, говоришь? Что-то про его баяли мне. Надоть Гришу Тучина спросить об ем! Ну, иди. Помолись на ночь, со злобой день не кончай. Друзей надо наживать, Федор, а такие-то, как Василий Максимов твой, в беде помогут — ой ли!

В горнице прохладно. Жары в изложнице не любила Марфа. От лампадного огонька чуть колеблется тьма. Спит боярыня Марфа Ивановна Борецкая под собольим одеялом. Иногда застонет впросонях. Верная Пиша подымется — нет, спит государыня Марфа, привиделось что, верно. Задремывает Пиша. С государыней Марфой сразу спокойнее стало. Есть кому приказать. Теперь и девки сенные поостерегутся на Пишины указы недовольничать. Не от себя, от Марфы Ивановны имени и выбранить способнее, и похвалить знатнее. Спит Марфа. Всего-то отдыху у боярыни одна ночь. Завтра дела, и свои, и городские, и московские. И все сама, одна, младший сын не

помога. Иные смотрят на нее опереться. Лишь ей одной не на кого. На бога да на себя.

К Коробу зашла будто просто навестить. Не была давно, сказал бы, что деется. Про московские дела выслушала молча, покивала головой. Глядя в мягкие, осторожные Коробовы глаза, спросила:

— Ну и как? Сдружились? Слыхала, совсем суд забирают городищенские у вас?!

Короб смешался.

— Марфа Ивановна, давно ты не была в Новом Городе! Времена ить уже не те. Многие и обижены, и откачнулись после Шелони-то...

— Видала. Знаю. Дмитрия на борони потеряла, где Василий твой рать новгородскую... Прости, может, не то слово, не так молвила, а все мы в обиде, и все в ответе! И твое дело, и Казимерово — не сторона. Ну, прощай. Капу-то отпущай иногда. Мити нет — на внука поглядеть!

После сама себя укоряла, что не сдержалась. Да и то сказать, о чем думают только? Перед Пишей, наедине, изливала душу:

— Слыхала я, как служат князю московскому! И страшно, и грозно, а боле того страшно! Не знать — пожалуют, не знать — казнят! Это теперь он еще ликуется с ними, а всю волость под себя заберет — ужо и им, что нам, будет! Пока сила есть — отбитьце, а силы нет — и золото не помога!

Марфа с того посещенья словно бы ушла в дела хозяйственные. Но как-то побывала у Офонаса. Посидели мирно, двое стариков, помолчали о прошлом. Ненароком лишь спросила, кого с февраля степенным думают выбирать.

— Фому Андреича? Курятника? — переспросила она с чуть приметною насмешкой.

— Да уж, курятник он и есть, хорь-курятник! — ворчливо отозвался Офонас Груз.

— За то, что отличился перед князем Иваном, рать ко Пскову водил... — раздумчиво протянула Марфа. — Лучше бы уж Луку вашего!

— Лука...

— Или Феофилата!

Офонас повел глазом, пожевал, подумал:

— А ты, Марфа, хитра-мудра по-прежнему. Почто бы?! Феофилат извилист, а всё нашей стороны!

Были и еще разговоры, споры, речи и пересылки, жалобы аж до Москвы, а вышло по-Марфиному, выбрали степенным Феофилата Захарьинича, Филата Скупого, Порочку — как прозывали все прижимистого, хитроглазого загородского посадника.

Будто не заботилась о том, а дом опять стал наполняться. Зачастил Савелков. Григорий Тучин появился было сочувствие выразить, и так просто, по-матерински встретила его Марфа Ивановна, так невзначай напомнила о совместных делах двинских, что и еще пришел, и еще, и еще.

Об убитом Борецкая не напоминала. Не было в ней такого, что печалит и отпугивает молодежь. И смех зазвучал в доме, и быстрая речь, и замыслы пошли новые, нешуточные. Да и то сказать! Повзрослели вчерашние юноши. Кого и состарила Шелонь!

Пришли бояра, а за ними потянулись и житьи, что были вчерашними сотоварищами Дмитрия Борецкого. Обрастал людьми златоверхий терем на горе. Вновь собирались «у Марфы», или «у Борецких». Как-то так умела сделать она, что и без Дмитрия не опустел дом, не стало страшно взойти, как бывает: года идут, а словно гроб с покойным стоит в соседней горнице. И тут сумела, и тут смогла переломить себя. Даже платье черное, вдовье, сменила на другое. Не ярко, как встарь, но богато и для глаза не печально: по темно-синему просверкнет серебро, на густом, почти черном винно-красном бархате — золотые парчовые цветы. Плат и темный, но — далекой индийской земли узорочья, черный повойник — в голубых жемчугах.

И старики вновь запоезжали к Марфе Борецкой. Богдан обрадовал. Как встретились после Двины, так словно и не расставались вовсе. Все тот же был Богдан, не сломило его ничто, не состарило. И словно даже ближе стал как-то.

Раз наедине, из-под мохнатых бровей своих глядючи остро, примолвил:

— Теперь мы с тобою, Марфа, вроде крестники! Мой-то тоже от московских князей... Под Русой тогда...

Потупился. Семнадцать лет прошло, как погиб в бою под Русой Офонас Богданович, а для старика — все вчера еще. Перемолчали оба. Богдан поднял глаза, улыбнулся, сморщил нос:

— Внуки-то растут? Видал Ванятку твоего, был у Короба, шустрый, видал!

И больше о том речи не было, а почуяли оба: друг с другом — до конца.

От Богдана Марфа вызнала и о делах Федора.

Расспрашивала Богдана и о Назаре.

— Он к дочке Норовых подсватывался, — объяснил Богдан. — Да и то сказать, росли вместях! Парень-то видный, и умен, бывал в чужих землях, а — не родовит. Родион ее за Василья Максимова сына давал. Девке двадцать два, тому — шестнадцать лет, молоко на губах! Ну, заупрямилась, тоже с норовом, видать. В монастырь ушла. А теперь Назар Василию Максимову враг первый. Да и то промолвить: рыжий-то, Максимов, увертлив больно, скользок, что налим, чего у него на уме, не поймешь! А Назар со зла тоже на все пойти может.

Марфа приняла рассказ к сведению, более не спрашивала ничего.

Ладно, пускай! Думала Марфа про Василия Максимова. Брезговать не время. Славянин, дак пригодится. Тысяцкий к тому ж. А купцов беспременно к себе надо привлечь. А Назар... Назара улестить как ни то надоть. Может, женить. Та девка не так помниться будет!

С Онфимьей Горошковой дружили по-прежнему. Да ведь и не расставались, считай. В Обонежье встречались не раз, одна другой дела поручали. Иван Есифов, Онфимьин сын, возмужал. Полюбил конную скачку. Гневался или говорил когда — загляденье. Онфимья гордилась сыном. То было за другими тянулся, тут сам стал — Горошков, Есифа Андреяновича сын! Он да Савелков, два Ивана, да Никита Есифов и верховодили. На Прусской улице поговаривали, что на первое же освободившееся место посадничье его изберут. Оксинью, жену Никиты Есифовича, Марфа с Онфимьей приняли как равную, учили хозяйствовать.

Не удавалось сойтись с Настасьей. Борецкая не по раз бывала у нее в богатом тереме на Городце. Ширококостная, властная — годы, как вышла из молодок, словно перестали трогать, не поймешь, сорок ли, шестьдесят ли, — гордившаяся тем, что звали за глаза славной вдовой Настасьей, она глухо ревновала к славе Борецкой. Баловала старшего сына, красавца Юрия, приговаривала: «Чудом ушел тогда с Шелони!» (Чуда-то не было, просто первый ударился в бег.) Водилась со славлянами, принимала у себя княжьих бояр московских... Так и не сговорились вдовы. Настасья и добра была до Марфы, и звала гостить, а будто говорила: у тебя — свое, у меня — свое.

А тоже земли были на Двине, и потеряла немало за князем московским. И людей имела оружных — дружины — немало! Так и разошлись, каждая осталась во своем.

Феофилат на степени хитрил и со Славной, и с неревлянами, и с московским наместником на Городце, но пока то только и надобно было. А у московского князя, будто с Марфина наговора, то то, то другое стало спотыкаться. Не удался тогда псковский поход. Холмский воротился, а немцы вскоре опять пакостить стали. Холмский тем часом поссорился с великим князем. Говорили, хотел в Литву уйти. Иван имал его, посадил в затворы. В мае церква пала на Москвы, новая, Успенская, — толковали, по божью прещению. До Новгорода слухи доходили один другого диковинней. Уверяли, что и вовсе бояр оттолкнул от себя великий князь, греков навез. Ожидали, что, едва Софья родит дитя, Иван рассорится с сыном, будет замятня великая... Много чего говорили, да выходило все опять по государеву хотенью. С Холмским Иван помирился. Софья родила дочерь, спорить стало не из чего. А за зодчим в папскую землю послал великий князь. Иван был упорен, задуманного добивался.

Только в Новгороде дела шли не по воле государевой. Великий князь требовал через наместника, чтобы степенным избрали славенского посадника, угодившего ему, Фому Андреича Курятника. Но степень занял увертливый Феофилат. Осенью степень обновлялась. Иван опять настаивал, чтобы избрали Курятника. Но осенью противники великого князя избрали на степень неревлянина, Михаила Чапиногу, свояка Казимера. Это было не совсем то, чего хотела Борецкая, и совсем не то, чего хотел Иван. Марфа недовольничала: все Казимеровы свойственники наперед, тем и берет, что родни много! Ну, хоть свои, неревляна...

А Иван ждал. Не любил на шумных пирах, в блеске огней, в кругу дружины решать судьбы государства. А в полутьме тесных особных покоев, с малым числом верных или даже один, втайне от молвы и слуха людского, обдумывал он замыслы, потрясавшие затем народы и земли. Только его наместники без конца пересылались с новгородскими боярами и архиепископом.

Новгородский владыка Феофил жаловался на своего наместника, Юрия Репехова, прилыгал, что тот сносится с королем. Доносил митрополиту, что в Новгороде умножились еретицы, с коими не боролся покойный Иона, яко древлии стригольницы учением своим соблазн сеют в ве-

ликих и малых, против святыя соборныя церкви учения дерзают и богоотметные речи глаголют: хулят монастыри и мнихов за владение землею со крестьяны. О землях Феофил писал неосторожно. Великий князь читал его доносы митрополиту и запомнил про себя: земель у новгородской церкви было очень много, и земли эти были нужны, очень нужны для дворян. Следовало узнать ближе, что сии за священнослужители — еретицы, не может ли от них польза проистечь государю? Запоминая, Иван ждал. Через своих бояр и наместников он льстил одним, угрожал другим.

Новгород бурлил. Зимою новгородские молодцы в отместье за старые обиды сделали набег на псковское Гостятино. Были отбиты с уроном. Он ждал.

В феврале должны были выбрать степенным, наконец, славенского воеводу, Фому Андреича. Новгородцы избрали Богдана Есипова.

Степан Брадатый и некоторые из воевод подсказывали новый поход. Для войны, однако, было не время. Война могла сплотить новгородских бояр, а следовало разделить их, поссорить друг с другом. У Ивана был свой замысел.

Через полгода по возвращении Борецкая вновь почувствовала силу. Вновь, по ее наущению, стали собираться житьи, купцы. Зашумели вечевые сходки по концам, по улицам. Что Федор Борецкий плел с одним-двумя сотоварищами, то Марфа умела поднять с целым городом. Расшевелила житьих, купцов, черный народ. Сама не по раз бывала в вощинном братстве купеческом, пугала Москвой. Тут и сами знали, что Москвы опасаться надобно, но Шелонь крепко помнилась, не давала прежней веры в успех. И речи велись такие:

— Теперь, етто, ежели гостебное москвичи станут брать, мытное они же с немецкого двора, дак тогда тебе товар не позволят самому в Любек возить, без московских приставов! Оставят ли старост еще, а уж тиунской печати лишиться придет!

— Сурожана задавят тогды!

— Немецкий двор, бают, совсем закрыть у нас ладятце. На Москвы чтоб все было, в одном мести.

— Неуж закроют немецкий двор?!

— Поди знай! А к тому идет! И так наместник тысяцкого суд ладит себе забрать!

— Закроют двор в Новом Городе, думашь, на Москвы наладят? Как не так! Не пойдет у их немецка торговля ни в жисть!

— В едином мести как можно все собрать! Хоть бы и у нас, в Новом Городи! Кафинску торговлю мы бы беспременно потеряли.

— Мы-то?!

— Да хоть и мы! Повезешь ты из-за ста земель? По Дону, да по Волге, да посуху? Скорей через немец, варяжским морем приплавить фряжский товар! Хоть и втридорога, а дешевше станет! Мы на немецкой торговле век стоим, все их ходы-выходы знаем, а вот дай мне Сурожский путь чист! Мне-ста как? На Москву али еще куда к теплым странам перебиратьце! Опять возьми Нижний, Кострому...

— Мешат твоя Кострома!

— Мешать-то мешат, а и громили ее, и жгли — стоит. Ты туда не едешь, я тоже. Во всяком мести должон быть свой купечь!

— Ишь ты, куда завернул! А передерутце?

— Дак на то бы и власть едина! Хочь московська, хоть кака, по справедливости чтоб.

— Подь объясни государю московскому! Покажут тебе на Москвы справедливость!

— Пото и ропщу. Сила есть у их, а головы не хватат. Все забрать не хитро, а сделать нать, чтобы во всяком мести дело шло!

— Ну, того не будет, полно и баять! Московськи наместники, слыхал, в кажном городи, в кажном мести, которо московской князь под себя забрал, что творят? Села емлют, повозное, продажи, товар ни по чем забирают, хоть не вози. Преже кажному дай, от пристава до боярина, а что осталось — продай.

— У нас тоже своеволят.

— А все не так! Торговый суд наш, ты тамо сказал, по то и вышло, и тысяцкой не перемолвит! Да и вече у нас.

— Вече тоже бояре забрали под себя!

— Оно опять же и так, и эдак. С вечем-то все своя власть, новгородска. Старики сказывали, бывалоче, созвонят, народ черный в оружьи станет — не реши по-нашему!

— Вона, в летописаньи, когось-то отбивали ищо: взяли три тысячи гривен с переветников и дали купцам кру-

титься на войну, оборужаться, словом. Купцам! Гля-ко! Мы спасли Новгород!

— Горело, да исшаяло! При прадедах и Новгород крепче стоял.

— Мелкому-то купцу ищо туда-сюда, а нас, вощинников иваньских, прижмут всех.

— Опять князь Иван зайдет закамский путь. Пермскую землю уже взял под себя! Волок переймут, меховой торг окончитце. Вот и полагай тут, мудра ли Марфа Исакова!

— Хоть и мудра, а побили на Шелони! Сила не ее и не наша теперь. Одно остает: дом продавать — и на Каму либо в Устюг подаватьце!

Между тем Михаил Семенович Чапинога не умел собрать бояр воедино, и в городе был разброд. Городищенские наместники по князеву приказу вмешивались во все дела, пересуживали суды, и кто ворчал, а кто начинал уже и тянуться туда. Марфа уехала на рождество объезжать волости, и тут-то Федор Борецкий и отличился. Сделали набег на Гостятино.

Борецкая воротилась как осенняя ночь. Федора не случилось дома, вызвала Онтонину.

— Гостятино грабили, его задумка?

Сноха побледнела:

— Нет! Нет, матушка, сами ключники сговорили, Федя и не знал!

— Не знал? Не остановил, скажи лучше! — Позвала Иева. — Сказывай, как это вас псковичи побили!

Ключник набычился, пошел пятнами.

— Сказывай, что уж! Сами ли задумали?

Решали, и верно, сами ключники. Задумывали набег вроде толково, но то ли оплошали дорогою, то ли донес кто, псковичи, оказалось, ждали. Отряд был окружен, мало и выбралось. Схваченных псковичи казнили без милости, кого порубили, кого повесили на позорище и другим в острастку. Словом, пошли по шерсть, воротились стрижены.

Марфа выслушала молча, полуприкрыв глаза. Глухо переспросила об убитых, кто да кто поименно.

— Вяхиря тоже?

— И его.

(«Федор, конечно, знал, не мог не знать».)

— Дураки. Это собаку палкой дразнят, она палку за конец кусает, ума нет самого-то хозяина кусить, так и

вы. Без великого князя наущенья псковичи разве бы поднялись на нас?

— А без псковичей и великий князь бы не пошел! — угрюмо возразил ключник.

Марфа, открыв глаза, пригляделась к нему. Ничего не возразила.

— Ладно, ступай. Сам-то уцелел хоть, и то добро. — Но Федора ругала весь вечер: — Дурень! И прозвище тебе дадено не зря — дурень! Людей погубил, псковичей обозлил, почто? Там ноне князь Ярослав Оболенской, Стригин брат, от Ивана ставлен, разбойничает: подати вдвое берет, смердов ихних от города отбил! Псковичи не по раз в Москву на него посылывали, а ты?! Есть теперь на кого свалить, кем прикрытьце! Да Ярослав доле посидит — Плесков весь в оружье на него станет! Тогда и нас вспомнили бы! А ты что натворил?! А этот Василий Максимов твой, да не он ли и донес? Как узнали-то? От кого? Хоть то вызнал ле, репяная голова?!

На Федора глядеть не хотелось. Марфа с отвращением взирала на сына-неудачника. Ох, нет Дмитрия! С Федором как с одной левой рукой — ни взять, ни сработать — все вкривь. Тут еще Захария воду мутит... Приказала Федору:

— Пошел! С глаз уйди!

Долго еще ходила, не могла утишить сердце, дурень, ох и дурень же!

Захария Григорьевич Овин кумился с Москвой, и зятя, Ивана Кузьмина, напуганного Шелонью, перетаскивал на свою сторону. Дружба неревлян с плотничанами от того вот-вот грозила распасться. И грянул гром.

В феврале подошли новые выборы степенного. Чапинога лежал больной, уже было ясно, что и не встанет. Славна снова предложила Курятника. Но прочие концы не поддержали, Офонас Остафьев помог, и неревляне с пруссами перетянули. Выбрали степенным Богдана Есипова.

И тою же весной, на вскрытие Волхова, плотничана, две самые богатые улицы: боярская Славкова и Никитина (на первой старостою Иван Кузьмин, зять Овинов, на второй — Григорий Киприянов, сын Арзубьева!), отказались от суда посадничья и отдались под руку великого князя. Того и ждал Иван Третий, пото он и медлил и пересылывался отай с боярами Торговой стороны.

Это был развал. Допустить такое — значило самим, без бою, отдать власть великому князю московскому.

ГЛАВА 21

Воробьи с ума посходили, орали с утра. Откуда-то налетела целая стая синиц, обсели яблони в саду. Громко щебетали, прыгали по коричневым веткам. Сороки обнахалились, лезли аж под ноги, ворошили кучи навоза. Лошади глухо топали в стойлах, чаяли весну. По тесовому настилу двора стояли лужи. Невыпаханный снег дотаивал в углах.

По Волхову шел лед. Давеча поломало две городни Великого моста, и город временно разделило — ни пройти ни проехать. Только редкие смельчаки в легких челноках рисковали проталкиваться среди льдин. Пахло оттаявшим навозом, старой соломой, свежестью. Пахли налившиеся почки яблонь, топольки — весна!

Иван Савелков стоял во дворе, без шапки, расставив ноги, задрав голову, пальцы — за кушак. В небе ныряли, кружась, белые голуби. Парень с вышки махал платком на шесте, подымая стаю. Голубое, влажно-промытое небо отражалось у Ивана в глазах, тоже голубых, как протаявший лед на Волхове. И мысли бродили влажные, пухлые, без вида и границ, как облака. Думалось, что Оленка Борецкая — ничего девка! Жениться пать, как ни верти. Матка уж который год бранит. Иришка Пенкова тоже хороша — обе заневестились. Враз не женился, теперь набалован девками, вроде и неохота в хомут. Годок еще подождать, что ли? Оленка Борецкая все на Григория заглядывалась. Еще тогда. Эх, Митя, Митя, за что голову сложил! Уйди тогда с Шелони они с Василием — сейчас бы вместе ворочали! Иван повел плечами: сила — девать некуда! Плотничана отгородились ледоходом. Кузьминто, гад! Вместе с Митей к королю ездили, теперь на брюхе перед князем московским — как время ломает мужиков! А солнце печет! А птицы с ума посходили! Коня взять, проездиться, чо ли! Белые голуби в небе набирали высоту. Сложив руки трубой, набрав воздуху полную грудь, Иван загоготал. Услышали, взмыли выше.

Его окликнули. Савелков поморгал ослепленными весенними глазами — в глазах синий волховский лед, — узнал: Гриша Тучин! Не видел, как и зашел. И его весна тронула — веснушки по переносью. Приятели обнялись. А ведь с той поры, с Шелони, как выручил от москвичей, и сошлись они! — подумалось Ивану.

— Гришка, книжник, книгочий, бес! Чуешь, весна! Пойдем, живо соберут что ни че!

Иван мигнул слуге, тот опрометью кинулся в горницу. Не любил Савелков ждать, все — чтобы мигом было. Забытые голуби кругами плавали над теремом.

Поднялись на высокое крыльцо. Не такие у Савелкова хоромы, как у Борецкой, а тоже иному не уступят. Просторно, окна широко рублены, в окончинах — иноземное стекло. Солнце по вощеному полу золотыми столбами аж до углов дотянулось.

Девки — ветром. Свежие яблоки из колодца — в бочке всю зиму пролежали, — мед, чарки черненого серебра, закуски, сласти. Тоська, бесстыдница, готова при госте на колени вскочить.

— Брысь!

Исчезли обе.

— Ну, Гриша, с чем пришел, собираются наши?

— Легко у тебя.

— У меня все легко! — похвастал, подумал: «И впрямь, больно легко все! Не то сам плывешь, не то ветром несет».

— Разбаловали плотничан Филат с Михайлой Семенычем! Богдан-то что думает? Али ледоход пережидает!

Григорий был что-то хмур, утупил глаза в стол:

— Опасное дело задумали, Иван! По новой судной грамоте наводка и то запрещена!

— Пущай московский князь Новый Город займет, потом и запрещает! А все дела посадничьи, да тысяцкого, да торговый суд на Городце, одним судом наместничьим решать, это по какой грамоте пришло?

Григорий серьезно поглядел на Ивана, в глаза его, ледяные, весело-бешеные, вздохнул.

— Или и тебя согнула Шелонь? — спросил Савелков.

Кровь бросилась в лицо Григорию:

— Что ж не упрекнешь, что головы не сложил тогда?!

Отвернулся Григорий, бледнея, закусил губу. Рука с длинными холеными пальцами с хрустом стиснула яблоко, белый сок потек на столешницу. Настал черед Ивану потупиться. Сказал:

— Прости, Гриша. Парней жалко! Ни за что...

— Ты, Иван, к бою не поспел, а я дрался. Ничего сделать нельзя было.

— Знаю. Сто раз сказывали мне. А все думается, быть бы в срок, хоть умчал бы от топора-то...

— Про топор и мы не ведали в ту пору.

Птицы остервенело кричали за окном.

— Мертвые сраму не имут! — сказал Григорий с мгновенной судорогой, исказившей строгое лицо.

Савелков поднял кувшин, наполнил чары. Друзья молча выпили стоялого хмельного меду, и оба потянулись к яблокам. Широкая горячая лапа Ивана на миг прикрыла узкую руку Григория.

— Приходи к Борецким!

Григорий молча кивнул.

Людей опять собирала Марфа. Дело было нешуточное. Сам Богдан, степенной посадник, отрезанный половодьем от вечевой палаты и вечевых дел, не вдруг решился на него, а призадумался сначала. Вспоминали сходные события за триста лет: погром Мирошкиничей *, бегство Борисовой чади *, споры Онцифора Лукина. А все не подходило к случаю, все было то, да не то!

Бывали, конечно, несогласия, не по раз бывали! Вражда раздирала город. Одни так, другие другояк хотели. Собирались тогда, целовали крест заодно быть, укрепные грамоты составляли. Уж кто бежал потом, переступив такую грамоту и свою же клятву, тот был отметник, того казнили, расточали, изгоняли из града.

А чтобы так вот, просто — нашлась сила сильнее и власть властнее, и решили отдаться силе, поклониться князеву суду — за века не было такого. И вот — произошло. И на то, чтобы покарать отступников, заставить воротиться под руку новгородскую, не было закона. Грамоты не подписывали. Креста не целовали. А от суда посадничья отреклись.

Собирались у Марфы. Сам Иван Лошинский, Марфин брат, приехал. Долго открещивался от всяких дел городских. Деньги давал — самого не троньте только! А тут прискакал. И его задело.

— Ну что, брат? — встретила Ивана усмешкой Борецкая.

Лошинский был в породу: коренаст, невысок, плотен. А не в нрав. Не любил бывать и на людях. Больше ведал свои поместья. Теперь лишь заворчал, как Паозерье отобрал у него великий князь. Словно медведь, что выживают из берлоги.

— Век назади не спрячешься, и все отберут! — сказала Марфа. — Помогай, люди нужны! Слыхал, городищенские совсем суд забрали, перед посадником не отве-

чают, к наместнику идут. С того теперь вон чего плотничана выдумали.

— Слыхал, Марфа. Их ить не силою и не заставить!

— Силой заставим, коли так!

Онаньин Василий прибыл. Такой же высокий, большелицый, красный, чернобородый мужик — кровь с молоком. Тут только без шутки, без присловья. Зубами скрипел:

— Свои! — Не мог простить ни Кузьмину, ни Арзубьеву. Недобро глядючи, примолвил: — Что, Исаковна, дожили мы? Расклевали нас вконец! Сороки-вороны кишки тащат, дубравные звери костье волокут!

Поглядела снизу вверх, бровью повела, усмехнулась:

— Садись. Сам-то не от Богдана?

— Будет сейчас!

— Казимер с Коробом?

— Отреклись. Офонас и тот труситце. Самсоновы, Лука — те все по кустам, по оврагам. Ивана Офонасова не добыть сейчас — за рекой. Да и не нужно, один он, заклюют славляне. Степенной тысяцкий тут, чего еще надоть?

— Ждем Богдана!

Уселся Онаньинич, повеселел:

— А так как ни то, — прищурился, пальцами повилял, — как етто Филат любит?

— Всяко думали, по-иному не выходит! — ответила Марфа. — Прости, пойду Богдана встречу!

Богдан пришел. Большой, такой же серо-седой, такой же крепкий — до ста доживет мужик! Подошли Селезневы, Матвей с Яковом. Эти за брата казненного на все готовы. Иван Савелков с Тучиным. Семеро житьих, самые верные, с Ефимом Ревшиным во главе. Из прусских прискакал Иван Есипович Горошков, Онфимьин сын. Онфимья не отступилась, подруга!

Ждали Василья Никифоровича Пенкова, воеводу. Без него, без силы ратной дела такого не своротить. Пенков медлил, да и давеча вилял. Уж когда Богдан с Онаньичем приступили к нему, согласился — сломился ли!

— Что не идет Никифорыч-от? — сердито спросил кто-то.

— Такое бы дело владыке благословить надоть! — сказал Ревшин.

— Был бы владыка, — отозвался Яков Селезнев, — а то прихвостень московский!

— У себя-то он правит! Неревлян кого поразогнал, ко-

го утеснил. Еремей тогда, говорят, по его слову головы лишился!

— Ой ли?

— Так бают! Теперь Родион и Юрий Репехов не в милость попали.

— Поди не сам, Москва указует!

— То-то и оно, что всем нам Москва указывать стала!

— Плотничане тож не сами надумали.

— От Полинарьиных всё, — вмешался Иван Есипов, — я слыхал! Они всему причина, а их Исак Семеныч подговаривает, на великого князя намолиться не может. Смех, в грамоте кажной и то великих князей поминает!

— А на вече он со всема, поперек николи не скажет!

— Лиса двухвостая!

— Захарья Овин воду мутит, вот кто!

— Ну, его не тронешь, не за что взять! Не сам, вишь, зятя подговорил.

— Овин всегда в стороне будет!

— Овина и тронуть трудно, богаче его вряд ли кто есть на той стороны!

— То-то и оно, что не по чести, а по богатству смотрим! — возразил Ревшин, и кое-кто из бояр поморщился.

Марфа угадала, вмешалась, отвела грозу. Не время тут еще старые споры великих бояр с житьими подымать...

Наконец появился Василий Никифоров, бледный, не по весеннему дню.

«Будто вчера с Двины, от разгрома не прочнулся еще, через три-то года!» — подумала Марфа недовольно.

Споры начались жаркие. Собрались свои, верные, все были заодно, и все обговорено, кажись, и все же! Пенков уперся опять — ни в какую!

— Что мы решаем днесь? О чем спорим? О праве Великого Новгорода! А право наше с древних времен живет, еще при Ярославичах сложено! Оттоле и «Правда Русская» *, и уложения новгородские, и вольности наши! По закону и деять надо!

— Ты ищо о той поре вспомни, Никифорыч, — возразил Богдан, — когда споры «полем», поединком решали, да водой, да железом испытывали! Когда князь за полюдьем наезжал и судил, на ковре сидя! Оттоле начать, дак и великий князь московской прав окажетце! В те по-

ры за всякой суд одному князю али наместнику его вира шла!

— О первых временах баять нечего! — упрямо продолжал Пенков. — Тогда законы просты были, хранили их старики, решали на миру, по совести! Я скажу о нашем, новгородском суде! Еще когда вече ставилось и посадник был один, сложены у нас, в Новом Городе, три суда: посадничий суд, в иных делах смесный с судом князевым, торговый суд тысяцкого и суд владычный. Чего ни владыка, ни тысяцкий, ни посадник решить не замогут — то всегда вече приговаривало. Выше власти нет. Ты скажешь, Богдан, мол, после Шелони на всем одна печать князева стала, и с того городищенские наши посадничьи суды пересуживают и перед городом не отвечивают? Пото и Славкова с Никитиной откачнулись? Пущай! Но ты скажи мне, ответь! Где тот закон и по какому суду записан, что плотничана нонь переступили?

— Оне не то что закон порушили, а от самого закона отреклись! — вскипел Богдан.

— Да, Богдан Есипов! Да! От самого закона! На все есть управа у нас с тобой. И на то только, ежели кто откажется от суда, отринет от себя право новгородское, отречется от города своего, — на то нет у нас ни суда, ни закона!

«Говорит Никифорыч, так будто и прав! — думает Марфа. — В прежние веки мысли помыслить не было ни у кого отказаться от защиты, что давал город гражданам своим! В каждую войну полоненных на рати ли, мирных ли, захваченных на путях торговых, выручал Господин Великий Новгород прежде всего. Защищал и в чужих землях каждого своего купца. Схватят там новгородца — тут немцев имали или товар ихний, а то и войной грозили за братью свою. И до войны с Ганзой доходило! Кто откажется от такой защиты! Зачем? Не было на то закона, и быть не могло. Да только не прежний век нынче, воевода, и дела створились не прежние!»

— Чтобы казнить отступников по закону, — заключил свою речь Пенков, — а не по изволенью нашему, одна только власть, один суд — вечевой! Он выше суда княжого! Он возможет сие! Одно вече вправе и отменять и налагать законы новые, только оно! Слово мое: надо поднять вече!

— Ради двух-то улиц? Вече? Тогда власть посадничья уже ни во что?! Я степенной, мне городом власть дадена! — кричал Богдан. Даже покраснел сквозь серую ще-

тину. — Отступников и древле казнили! Вот, в лето шесть тыщь шестьсот сорок пятое расточили домы приятелей князевых, и имали на них полторы тысячи гривен, и дали купцам крутиться на войну! Чти! В лето шесть тыщь семьсот семьнадцатое Всеволод-князь сам рек мужам новгородским: «Кто вам добр, того любите, а злых казните!» — и с того казнили Мирошкиничей, домы разграбили, села попродали, и избыток по всему городу разделили! Опять, в семьсот тридцать шестом пошли с веча на тысяцкого Вячеслава, и двор его и братьи его дворы разграбили, и софиян многих, и липенского старосту грабили * — тот к Ярославу ускочил! Было? В семьсот девяносто пятом Семена Михайлова дом грабили * всею силой! В девяносто восьмом всю улицу Прусскую пожгли и пограбили. В восемьсот тридцать пятом двор Остафья Дворянинца в Плотниках пограбили и сожгли, а в пятьдесят девятом опять всю Прусскую улицу взяли на щит за неисправленье городу! В девяносто шестом Есифа Захарьинича двор развозили... *

— Дак то все вечем решали! — возражал Пенков. — Я воевал от города, мне должно от веча указ имать!

Григорий Тучин неожиданно стал на сторону Пенкова:

— Василий Никифоров прав! По закону мы поступить не можем! И не бывает на то закона в народоправствах! А будь такой закон, не были бы мужами вольными, но рабами власти, которая тот закон применить вправе. Вечу надо решать о том! Если бы вече поднять и уж по старине деять, так черный народ должен Славкову с Никитиной разгромить!

— Мало, что ль, громили дворы боярские?! Черный-то народ с кого начнет, известно, а кем кончит, ни ты, ни я того знать не можем! — отрубил Савелков.

Марфа слушала бледная, с горящими глазами. Шептала губами, без голоса. Вдруг представилось: черные люди, ремесленники, кузнецы, плотники, суконники, и она — во главе! Так бы и нать! Как Захарьина двоюродника, Андрея Иваныча, полвека назад громили неревляна, про Клементья Ортемьина, про землю! * С чего Захарья неревлян видеть не может о сю пору! А запомнил и через полвека! С Борецкого Исака, покойного, сердце на нее перенес — она тогда еще не рожена была, вот как!

Боятце... Все они боятце! Даже Савелков, и он!

И — странное дело! Сказал Савелков про черный народ, и примолкли, замирели все. Богдан спрятал колючие

глаза под мохнатые свои брови. Онаньич построжел. Василий Никифоров огляделся растерянно: сам, верно, подумал, так ли сказал? Житьи переглянулись враз. Иван Есипов один, почитай, не понял. То на того, то на другого оглянет: что ж замолкли, господа?

Григорий Тучин вдруг встал, прямой, строгий, резко пошел из палаты. Вот оно! Чего ж они еще хотят?! Вот оно! И всё в этом! Конец. Те, в Плотницком, просто раньше их поняли!

Знал, что все глядят на него. Кровь шумела в голове. Не слыхал, окликнул ли Иван Савелков, нет ли. Да, тогда уж лучше великий князь московский!

На сенях, за дверью, лоб в лоб — бледное лицо, ждущие глаза под слишком широкими бровями. Олена смотрела в упор и не отступила с пути. Григорий резко остановился, не зная, что сделать, что сказать. Олена прошептала только:

— И ты тоже нас оставляешь? — Горько искривился рот, закусила губу, тотчас вздернула голову. Столько муки было в глазах...

«Все эти годы, годы ведь! — подумал и ужаснулся Григорий. — Пото и замуж нейдет! А я? Бежал ли с поля боя тогда, на Шелони, бегу ли нынче? А Иван Савелков, не думавши, голову положит, и не за земли, за просто так, от сердца своего!» — повернулся Григорий. Так и не сказал ничего девушке. Хлопнула кленовая дверь уже за спиной. Сдерживая шаг, подошел к столу:

— Я со всеми. Без веча надо решать, Савелков прав. — Оглядел замкнутыми глазами Совет: то ли господа бояре при посаднике степенном, то ли заговорщики, не понять. Да уж и понимать не стоит!

— Только тогда быстро надо!

Борецкая отозвалась:

— Панфил Селифонтович ждать будет, и вся улица его, Федоровская, как раз посередине. Даве на челноках посылывала.

У нее, как всегда, все уже было готово.

Решено было силой привести к посадничьему суду непокорные улицы, а заодно и Полинарьиных, взыскав с тех и других виру за отпадение от суда. Со Славковой и Никитиной тысячу рублей, с Полинарьиных — пятьсот. Размер виры исчислили по стране. Набег должны были возглавить сам Богдан, как степенной, и Онаньин с Пенковым. Кто-то должен был прикрывать лодки с этого берега и чуть что — ударить ниже по течению. Тучин и Са-

велков разом заспорили, но Григорий настоял на том, чтобы оставить в стороже Савелкова.

— Хватит, что своих молодцов пошлешь, Иван! А коли ты пойдешь наперед, не во гнев, нрав твой все знают, скажут — не суд, а расправа.

Тучина поддержали Онаньин и Богдан Есипов, и Савелкову нехотя пришлось уступить. Он не знал, что Григорий, и сам того не ведая, спасал его от суда и ближней расправы великого князя московского.

Марфа, оставшись одна, долго молча ходила по палате, перебирала своих: и тех, кто был сегодня, и тех, которые отреклись. Не дураки ведь? Почто ж московские над ними такую силу взяли? Неуж с того только, что те все в кулаке одном, в одной власти, в одной упряжке ходят?!

Лед прошел. Все уже было наготово, опасались упустить время. Грузились отай, в сумерках. Без возгласов, в тишине, лодьи отчаливали от пристаней. Гребли молча, отпихивали редкие льдины от бортов. По случаю поломки моста масса лодок сновала по Волхову, и на неревские лодьи немного обратили внимания.

Панфил Селифонтович с подручными ждал на берегу.

— Спаси Христос, мужики, людей не перебейте! — говорил он, крестясь и шаря глазами по знакомым насупленным лицам.

Неревляне, подчаливая, торопливо вылезали, скорым шагом уходили через ворота в Федоровскую улицу. На Славкову и Никитину выходить намечалось задами, сразу со всех сторон. Кое у кого тряслись руки.

Богдан рысью, тяжело дыша, проминовал крайние дома. Запыхавшись, остоялся. Он с Васильем Никифоровым должны были брать Полинарьиных. Панфил трусил рядом, указуя путь.

Люди тихо расходились по назначенным местам. Но вот где-то вырвался заполошный крик, и сразу пошло: хлопали калитки, взвывали псы, растекался топот множества ног — началось!

Ивана Кузьмина взял на себя Матвей Селезнев. Тут был и свой счет — за брата Василия. Он первый пробежал межулком. Люди лезли на плечи друг другу, хватаясь за тын, прыгали во двор. Там поднялся визг, что-то захлопало, пошла возня. Наконец с хрустом откатились ворота, открыв клуб катавшихся по земи тел. Селезневские кучей ввалились во двор, расшвыряв боярскую спросонья полуодетую челядь. Ночь взорвалась криками, ру-

ганью, плачем. «В мать!..» Звенели топоры. Матвей, оскалясь, полез, проталкиваясь, на крыльцо, гвоздя кистенем. Кузьминских скидывали вниз, на кулаки. Дверь, припертую было, вышибли обрубом бревна. И — в путаницу рукопашной возни, в визги, во взбаламученное ночное тепло терема, с руганью, лязгом, громом! Пронзительно ржал конь во дворе.

Иван Кузьмин выскочил впросонях, еще не поняв ничего, узрел перед собой оскаленное лицо Матвея.

— За что?!

Тот махнул рукой, сжимавшей окровавленный кистень:

— Сума переметная, княж прихвостень!

Юрко, бледный, дергался, молча разевал рот, обвисал — его держали за шиворот. Самого Ивана Кузьмина, держа за руки, дергая то вперед, то назад, выволакивали во двор. Кто-то из слуг — в жидкой темноте весенней ночи не понять — Климец не то Грикша лежал навзничь с пробитой головой. Черная лужа вокруг лица становилась шире и шире. Голосили бабы. У конюшен с руганью возились на земле, и кто-то остервенело бил древком копья в извивающиеся тела. Из дома несся разноголосый вой и треск — разносили в щепы, озверев, все по ряду.

— С Шелони удрал и тут хочешь вывернутьце? А брат за тебя душу отдал?!

Матвей сгреб Кузьмина двумя руками за отвороты шелкового домашнего зипуна, шелк трещал от каждого рывка, голова Ивана моталась в стороны. Деревенеющими пальцами он скреб, силясь оторвать кисти рук Матвея, и повторял бессмысленно:

— Не виноват, братцы, не виноват, как все я, как все... я... как... все...

— Сто рублей с тебя, шкура, за измену, сто да еще полста! — бормотал Матвей в забытьи.

— Заплачу, Христос! Заплачу, Христос! Заплачу! — хрипел в ответ Кузьмин. — Детей, парней пожалейте!

Матвей наконец опомнился. Кинул Ивана на руки молодцам.

— Веди!

Сам, шатаясь, первый полез на крыльцо.

Кто-то, свой или из савелковских, крикнул в ухо:

— Двоих порешили!

— Стервь! — ответил Матвей, непонятно про кого. С крыльца оборотился во двор: — Кто еще задерется, бей до смерти!

Кузьминских уже вязали.

Там, где громили люди Тучина, кажется, обошлось без крови. В иных хоромах сдавались без боя. Мелькали белые от страха глаза хозяев над расхристанными укладками и сундуками со скарбом. Кто не давал серебра, брали и платья, посуду, оружие — что подороже. Бабы взвывали, валясь в ноги, цеплялись за узлы с добром.

— Родименькие, что ж это? Своих-то! Братцы!

Григорий вышел на крыльцо, ощущая ясный позыв к тошноте. Едва справился с собою. В глазах кружились испуганные дети, жалкие лица старух. По всей улице мотались тени. Тучин мотнул головой, сжав зубы, сбежал с крыльца. Схватил за шиворот первого попавшегося под руку: остановить, прекратить это! Ратник оказался свой, Григорий узнал и имя вспомнил: Потанька Овсей. Встряхнул, не зная сам, зачем это делает. Тот рванулся, узнал господина, зачастил:

— Там, туда! Арзубьевы заперлись!

Отшвырнув холопа, Григорий кинулся к дому Арзубьевых. Ворота были сорваны, во дворе дрались, лязгала сталь. Истошный вопль: «Запалю-у-у-у!» — несся с крыльца.

Этого еще не хватало!

Тучин рванулся на голос, обнажая клинок. Мужик с головней отмахивался на крыльце от наседавших. Перед Григорием враз расступились. Темнея лицом, он нанес прямой удар. Мужик успел загородиться головней, та хрястнула, переломясь, мужик от толчка сел на ступени, и враз, обтекая и пихая Тучина, налетели на него дружинники. Пока кто-то топтал отброшенную на середь двора головню, передовые ломились в двери, слышался треск. Григорий опять пробился наперед. Двери неожиданно распахнулись. Женское лицо встало в темном проеме:

— Убивайте!

Ее отшвырнули к стене.

—— Что же это, что же, господи! — шептала жонка, пластаясь по стене.

— Где хозяин?!

Та молчала, потерянно водя головой, стала валиться. Кто-то из мужиков опомнился, подхватил бабу под мышки, поволок в дом. Двое, суетливо, мешая друг другу, кинулись ему помогать. Кто-то держал и тряс девку, что тоже, в одной рубахе, выскочила в сени за госпожой.

— Вода, вода где?

— О-ох, о-ох! — только повторяла девка.

Григория Киприянова Арзубьева взяли в соседнем дворе (чуть не сбежал, перелезал уже за огорожу) люди Ефима Ревшина.

Ефим долго тряс Арзубьева за ворот, комок стоял в горле. Оба были белые, у обоих дикие глаза. Потом Ревшин молча поволок Арзубьева в дом. Тучин, выбежав из сеней, посторонился. Узнал Ефима — лишнее бремя с плеч! Арзубьевых дом был ревшинский. Тучин тут же, ругаясь (дорвались, не оттащишь!), собрал своих людей и вывел за ворота. В конюшнях и амбарах уже хозяйничали ревшинские молодцы.

Ефим, споткнувшись, чуть не полетел на пороге, заволакивая Арзубьева в его же горницу. Швырнул в угол, под иконы. Рука нашарила кувшин. Пил воду, глядя неотрывно в лицо Григория Киприянова. Прохрипел, дергая шеей:

— Пятьдесят рублев с тебя, жаба московская! Отца опозорил! Мы Киприяна, как бога, слушали! — завопил он, возвышая голос.

— Отца не тронь! Подметок его не стоишь! — взревел Григорий Арзубьев.

Оба, вскочив, вцепились в бороды и воротники друг другу, затрещала добротная ткань, пошли кругом по горнице, расшвыривая столы, тяжелые скамьи. Хрустела под ногами дорогая восточная глазурь.

— Предатель, Иуда! — хрипел Ревшин, выдирая бороду из сведенных пальцев Арзубьева.

— Отец... отец... голову... голову за вас, подлецов! — бормотал Арзубьев, стараясь схватить Ревшина за горло.

Чьи-то руки дергали, рвали их друг от друга, били, почти не разбирая. Наконец Арзубьева, окровавленного, оторвали от Ревшина, руки скрутили за спиной. Женское лицо моталось в толпе.

— Дай им, Татьяна, — просипел Арзубьев, отплевывая кровь, — дай, псам, пятьдесят рублев с меня. Весь дом разнесут не то, гости дорогие! Князю плати и за князя плати!

Баба заголосила враз. Ефим замахнулся ударить Григория, опустил руку — связанного не бьют. Крикнул:

— Эй, там! Не зорить больше! Кому говорю! Ну?!

Вырвал Григория Киприянова из рук своей челяди, бросил на лавку. Татьяна, глядя попеременно то на свя-

занного мужа, то — с ужасом — на Ефима Ревшина (покойному друг был, что ж это, господи!), тронулась к выходу. Ефим пошел за ней. У маленькой кладовой сидела на полу девка — дочь ли, прислуга, не понял. Двое своих холопов уже хозяйничали тут, добираясь до запертой двери. Ефим велел им оставить взятое. Сопя, ждал, пока Татьяна Арзубьева, трясущимися руками, не попадая в замок, старалась открыть. Наконец клацнул затвор, дверь отворилась. Арзубьева, испуганно озираясь на Ревшина, пролезла в тесноту, подняла крышку сундука. Ефим принял серебро, почти не считая. Передал ключнику тяжелый кожаный мешок.

— Головой ответишь!

Перевязанных холопов стерегли в горнице — не ударили бы в спину. Ефим Ревшин вышел на крыльцо. Небо серело, бледнело, гасли звезды. Во дворах продолжался погром.

К терему Полинарьиных подошли сразу с двух сторон. Враз горохом посыпались люди в сад и во двор. Псы, спущенные на ночь, ринулись было с ворчанием под лязг стали, и тут же темными комами мяса покатились по двору. Один с воем уползал на передних лапах, волоча задние, оставляя за собою извилистый кровавый след.

Окольчуженный Богдан медведем полез на крыльцо. В сенях холодная сталь мазанула его по груди со скрежетом, и тотчас кто-то из своих слуг пихнул в темноту рогатиной. Богдан наступил сапогом в теплую лужу, отшвырнул дверь. Молодцы бросились вперед него. Старик прошел к лавке, печатая по половицам кровавым сапогом, сел, опершись о шестопер, взятый вместо трости. В спальных покоях еще дрались. Лука в одной рубахе вырвался в горницу. Богдан и не сдвинулся. В двух шагах от него на Луку навалились, скрутили руки. Из покоя уже волокли связанного Василия Полинарьина. Слуга неверными руками зажигал кое-как натыканные в свечники свечи.

Лука, кусая губы, переводил взгляд с Богдана на черные, в трепещущем огне свечки, кровавые следы на полу. Богдан кивнул. Луке набросили на плечи епанчу.

— Грабители! — процедил Лука Полинарьин.

— Молчать! Степенной посадник перед тобой! — загремел Богдан. — Ведомо тебе, что ты Господину Новгороду изменил?!

— То право мне дадено!

— Кем?! Я тебе права того не давал! На вече о том не знают!

— Перед вечем скажу! А в ночь, яко тати, врываться, людей убивать!

Богдан поглядел на свой кровавый след, засопел.

— Не бронь на мне, дак не он, а я бы нынь лежал у тя в сенцах. Полно баять! Как древле с изменников, с переветников, что Новгороду клялись и ко князю переметывались, окуп брали, так и теперь с тебя! Никифорыч! — позвал Богдан.

Бледный Пенков появился на пороге.

— Вот воевода городской тута же, с нами. А ты, Лука Исаков, сын Полинарьин, с братом Василием Господину Новгороду за отпаденье пять сот рублев!

Василий Исаков дернулся, услыша. Охнули разом в толпе кое-как одетых жонок.

— Сам ли дашь али брать силою! Мотри, чего не достанет — на селах возьмем!

— Берите! Не дам ничего! Не по закону то, Богдан Есипов, хоть ты и степенной нонь, а не по закону! Вольные мужи — волен договор! Хочу — отделюсь! А держать меня силою — нет на то в «Правде» нашей закона!

— А что ты содеял, по какому закону-то? — возразил Богдан. — Изменять Новгороду по закону, а казнить за то, закона нет? Еще стоит Новгород, Лука! Рано ты отчину и дедину свою хоронишь! Рано святыни наши московским господам продаешь! Не закону служишь ты, а силе московской! А на силу покуда есть сила и у нас! Молодые согнутся, мы, старики, выстоим!

В доме трещали затворы, волокли утварь, посуду, сукно. Добрались и до скрыни с серебром.

— Грабьте! — повторил Лука.

— Не грабим тебя, Лука Исаков Полинарьин, — сурово возразил Богдан, подымаясь с лавки. — Казним! Бабы выли, провожая тюки с добром, серебряною посудой, драгоценностями, кожаные мешки с деньгами.

— Грабители! — прокричал Лука вслед.

— Иуда! — ответил Богдан с порога. — Иуда учителя своего продал за тридцать сребреников, ты же, Лука, Новгород, родину свою, продал князю московскому. Не знаю, дороже ли заплатили тебе, чем Иуде за Исуса Христа?

Весть о казни, учиненной новгородцами за отпадение Славковой и Никитиной улиц, немедленно понеслась в Москву. Тогда-то и заговорили о новом походе на Нов-

город. Но Иван рассудил иначе. Он поедет в Новгород миром, как отец ездил, как ездили древние князья, по своему праву законному, писаному, править обычный суд княжеский, по древнему праву великих князей московских, не через наместника, а сам, лично, своею властью и волей решать тяжбы, выслушивать недовольных. Будет вершить суд, блюдя все законы и уложенья, и о том извещает богомольца своего, владыку новгородского Феофила, а также посадников, старейших и молодших, и тысяцких, и старост, и весь Господин Великий Новгород — бояр, купцов, служителей божьих, иереев и мнихов и весь черный народ новгородский. Встречали бы его, своего господина и князя хлебом-солью, а он бы правил суд по старине, обычаю и старым грамотам, как от отцов, дедов и прадедов заповедано.

О набеге на Славкову и Никитину не говорилось и не упоминалось. Молчал о том и сам московский государь, и государевы наместники на Городце. И неревляне, вновь подчинившие мятежных плотничан посадничьему суду, торжествовали победу.

Осень стояла сухая, солнечная. В срок прошли дожди. По звонким, подмерзающим дорогам двинулись конные ратники государевой дружины. Двадцать второго октября Иван вышел в путь к Новгороду.

ГЛАВА 22

В августе степенным на следующий срок был выбран Василий Онаньин. Неревский конец твердо держал власть в своих руках. Плотничана не протестовали. Славна молчала. Полинарьины тоже утихли после разоренья. Перекидываться к городищанам уже не дерзал никто.

О том, как встречать великого князя, долго спорили, решали так и эдак, но все сходились на том, что встречать надо хлебом-солью, таровато, пышно, князю угодить и себя не уронить. А о старых спорах — будто их и не было. За то был и Офонас Груз с братом Тимофеем, и Самсоновы, и Феофилат Захарьин, все плотничане да и неревляне тож, даже Федор Борецкий. Только Марфа неожиданно начала возражать.

Собрались у нее на говорку неревские бояра. Не было Казимера лишь да самого хозяина, Федора Исакова. Судили-решали, как сделать, чтобы не порушился союз, добытый кровью, и власть Неревского конца, как лучше принять князя Ивана.

— А по мне, — вдруг вмешалась хозяйка, — так худой мир с князем московским! Ратных собрать, разоставить по монастырям да по городу, тогда и принимать высокого гостя, как древле было, как при отцах встречали князя Василия ратью у Городца! Что смотрите, мужики? На Славкову с Никитиною хватило удали, а тута усмягли? Иван-от не без войска в гости пожалует! Как бы еще не обернулся его суд нам на горе!

Говорила, а сама видела — не внемлют. Онаньин возразил с усмешкою:

— Жонки любят ратиться! Моя тоже, чуть что...

— Извини, Марфа Ивановна! — запоздало прогудел Богдан.

Марфа встала, поклонилась в пояс:

— Спасибо на добром слове, мужики! Все была не дура, а тут и дурой стала. Ну что ж! Выжили, верно, из ума по старости. А только попомните вы меня, когда поздно станет! — Она тронулась к выходу, уронила: — Решайте сами, коли так. Пойду, слуг наряжу. — От порога обернулась, потемневшими глазами глянула на господ посадников, добавила твердо, недобро зазвеневшим голосом: — Только пировать у меня князь Иван не станет! Как ни решите — убийцу сына у себя не приму!

Прикрыла дверь. Мрачным ненавидящим взором уставилась в пустоту. Что-то начала понимать, чего не ведала раньше, глядя на ражее красное лицо Онаньина, слушая его громоткой голос.

Не пото ли Василий Степаныч в монастырь ушел от них ото всех? Может, понял тогда еще... Впервые она растерялась. Все, все ведь! Федор и тот ладитце еще и наперед вылезти с подарками!

Богдан, когда за Марфой закрылась дверь, с укором взглянул на Онаньина:

— Обидел ты Исаковну, нехорошо! Она ить Митрия, покойника, забыть не может!

— Мы-то живые! — возразил Василий. — Теперича самое время улестить московского государя! Золотом одарим — помягчеет! А ратных собери поди — сейчас на Москвы узнаетце! Гляди-ко вместо мира с войной к нам пожалует. А на короля нонь надежа совсем плоха! Сами знаете, господа! Славкова с Никитиной однояко, а Москва другояко, тут всей нашей рати и то не достанет!

Богдан вздохнул, утупился, пошевелил мохнатыми бровями, сказал:

— Василий прав! То наше было дело, семейное, го-

родошное. А князю должны показать лад, ряд и согласие во граде и быти всема заедино. Чтобы он на наших раздорах чего опять не натворил! Как урядились с плотничанами, так того и шевелить не надоть. А уж сундуки открыть придетце, и нам, неревлянам, в первый черед! По концам, по улицам, тоже со всех собрать надобно. Но и тут чтоб наместнику загодя представить, кто, чего и сколько дает. Не нам бы указывали городищенские, а сами мы тем распорядились!

После долгих пересудов по боярским теремам, на кончанских сходках, на Совете господ, у владыки Феофила решено было, что каждый конец дает великому князю по два пира: два от Загородья, два от Людина, два от Плотницкого концов; великие Неревский и Славенский концы дадут по три пира, и три пира даст владыка Феофил.

На пирах Ивану должны быть вручены совокупные дары от великих бояр каждого конца, а на пиру у степенного посадника, кроме того, дар в тысячу рублей от всего Нового Города — от черных людей, купцов и ремесленников. Еще один пир Ивану давал служилый новгородский князь Василий Васильич Шуйский, а на Городце великого князя пожелала принять славная вдова Настасья, которая должна была поднести подарки от себя и городищенских жителей.

Подсчитывали, кому сколько рублей вносить дара — от неревлян шло втрое противу любого другого конца. Подробно разрабатывался сложный церемониал встречи, приемов, проводов великого князя, начиная с того, кто и где встретит его в пути.

Черные люди волновались. Старосты бедных братств многажды прибегали к посаднику с тысяцким со слезными мольбами посбавить долевую раскладку — деньги собирали со всех.

Иван как раз зашел к тестю, косторезу Конону Киприянову. Давно не бывал, захотелось проведать роднюприроду. Тот только что внес дарственное и ругательски ругал и старосту своего братства, и старшин-дураков, что не сумели сбавить налога: ведомо, что в делах застой, туды ж лезут, исподние порты скинуть готовы! А заодно и бояр, и владыку, и князя московского. Отойдя немного, стал спрашивать Ивана, как тот устроился на новом месте, косо глядя при этом вбок. Впрочем, Иван привык уже, что люди, говоря с ним, отворачивались, не могли смотреть на его изувеченное лицо.

Иван потому нынче редко бывал у тестя, что выселился за город. После пожара Людина конца пришлось сделать то, на что он не решался все эти годы и решился наконец с болью великой: продать дедов родовой терем, вернее, полтерема, обгоревшего дочерна, все, что осталось после пожара, вместе с местом, на котором он стоял. Усадьбы в городе сильно подорожали после войны с Москвой. Кто побогаче — всеми силами забивались за стены города и о ценах не спорили, лишь бы продавалось.

К горькой радости, Иван сумел отдать наконец долг свой и на оставшиеся деньги купил низкий домик с усадьбой в конце Лукиной-загородной, по пути к Юрьеву. Ходить оттуда на Марфины вымола было не близко, до города да через весь город — кусок порядочный, но что же делать! Зато теперь уж ничто не висело на шее. За долги ведь и в холопы угодить недолго! К тому же и огородик завели. Хоть лук свой да репы неколико мешков, и то подспорье. А все теперь чего-то не хватало! В старом высоком тереме нет-нет да казалось, что еще пройдет полоса, что вылезут они с Анной, виделся дед-книгочий, помнилась сытная пора, когда была своя земля — житьими числились! Сейчас — смех вспомнить.

С него тоже взяли нищую лепту на подарок князю великому. Брали и с волостей. Утешаться тем, что великие бояра по сотням рублей заплатят, не приходилось: «А с кого те рубли у великих бояр? С нас же!»

Конон, как всегда, сидел за работою. Ворчал:

— На войну с нас, и на мир с нас, а нам когда? О тебе с Нюрой да обо мне кто подумает? Весной Славкову с Никитиной громили за то, что княжому суду поддались, а нынь сам князь едет судить, ну-ко? Уж был бы один суд, один конец, что ли! Нам, горожанам, вече сохранить, а бояринов великих пущай и князь судит московский, не жалко, все одно до нас оне не больно добры!

Новгород, когда хотел, умел принимать гостей. Покряхтывая, раскошеливались иваньские толстосумы. Загодя везли припас, снедь, мед и пиво для московской княжеской дружины и слуг. Что ж, мир с Москвой стоил того, чтобы купить его золотом!

По совету Феофилата дары решено было подносить не серебром, а золотыми корабленииками — знай наших! Как знак северных богатств Господина Новгорода соби-

рались подносить драгоценные зубы морского зверя моржа — «зуб рыбий». Как знак торговли заморской — целые поставы дорогого ипского сукна. На первой встрече должны были поднести великому князю блюдо ягод винных — со значением. А на последующих — как гостю дорогому — яблоки и вино. Это уж по обычаю шло, с яблоками встречают, с вином провожают гостя, кому почет особый, так и до ворот провожают с вином.

Вся новгородская господа, готовясь к встрече великого князя, собиралась в Новгород. Из великих бояр и житьих отсутствовали единицы, из посадников — один молодой Своеземцев, который так и не воротился с Двины. Его осуждали все, кроме Марфы Борецкой, оброшенной, растерявшей друзей и даже сына, одинокой в эти хлопотные дни чужого торжества.

Великого князя к Новгороду сопровождали отборные дворянские рати государева полка, усиленные дружинами ближних бояр государевых. Иван Третий не любил риска. Передавали, что отца с братьями в шестьдесят восьмом, во время мирного похода * в Новгород, кое-кто из бояр и шильники новгородские собирались убить, и только архиепископ Иона отговорил заговорщиков. Верно ли то было или нет, но поиметь опас стоило. Нарочные гонцы были посланы загодя, узнать, не собирают ли новгородцы потихоньку ратных? Иван заранее опасался того, что на боярском Совете предлагала сделать Борецкая, и потому рати готовились нешуточно и вели их отборные воеводы, бояре и окольничие государевы: князь Иван Юрьевич, Федор Давыдович, что с Холмским разгромил новгородцев на Шелони, Василий Образец, Иван Булгак и Данило Щеня, Иван Ощера, Морозов, Александр Оболенский, Русалка, Василий Китай и другие.

Выступление великого князя из Москвы смахивало скорее на военный поход, чем на мирную поездку в дружественный союзный город. Вся дорога от Москвы перекрывалась сильными заставами, запасные полки ждали на Волоке и под Торжком. В Москве Иван Третий, как во время войны, оставил вместо себя наместником сына Ивана.

Встречи начались уже за Торжком. Пятого на Волочне Ивана с поминками от имени владыки Феофила встретил новгородский городской воевода Василий Никифорович Пенков. Седьмого ноября на Виру — подвойский

Назар, с поминками от города. Тут же встречали великого князя, также с дарами, с поминками, Иван Лошинский с сестричем Федором Исаковичем Борецким. Дядя и племянник, оба широкоплечие, коренастые, оба верхами, сблизились с московскою заставою. Им было велено ждать. Кони переступали ногами на холодном ветру. Почетная дружина новгородских бояр выглядела маленькой потерянной кучкой перед многочисленным конным войском великого князя. В конце концов Иван принял поминки, так и не допустив к себе новгородских бояр. С ними разговаривал и благодарил от имени великого князя Василий Китай.

Четырнадцатого ноября, во вторник, в Женах на Хирове встретил Ивана Третьего его наместник с Городца Семен Борисов и дворецкий Роман Алексеев. Семену Борисову были отданы приказания относительно приема старост двух улиц, Славковой и Никитиной, которым было велено приветствовать великого князя.

На другой день, пятнадцатого, в среду, на Волме Ивана Третьего встретили посадники Феофилат Захарьин, Яков Федоров, Кузьма Феофилатов и житьи с поминками от Новгорода и от себя. Вторично, с ними же, явился и Федор Борецкий. Иван милостиво показался новгородским боярам, и Федор мог торжествовать, как ему казалось, полагая, что встреча эта уже отвела от него возможную грозу князеву.

Шестнадцатого, в четверг, в Васильеве, селе Волмановского, великого князя встречали неревские бояре, старые тысяцкие и житьи. С ними же был Олферий Офонасов, зять Марфы.

Церемониал подпортили жалобщики, Олфер Гагин с товарищами (впрочем, первые жалобщики встречали Ивана еще на Волочне, вместе с Пенковым). Обиженный Овином Олфер Гагин не желал смириться с приговором новгородского суда и сейчас решил, что с приездом великого князя наступил его час. Иван распорядился принять жалобы, хотя и поморщился: для жалобщиков еще было не время, все они должны были разом явиться на Городец слитною внушительной толпой просителей по приезде великого князя. Так требовалось, и так было задумано еще в Москве.

Семнадцатого во Влукоме встречи были особенно торжественны. Явился Захария Овин с братом Кузьмою, с сыном Иваном, с зятем, Иваном Кузьминым, и прочие — вся плотницкая господа. Принимая плотничан, Иван Тре-

тий внимательно изучал лица представляющихся ему посадников. С особенным вниманием он разглядывал Захарию Овина, правильно угадав за угодливостью великого боярина, без конца низившего глаза и сгибавшего толстую шею, недюжинный норов и ум. Иван Кузьмин казался проще и безобиднее. Этого ничего не стоило согнуть и заставить делать потребное ему, государю.

За плотничанами явились пруссы: Офонас Груз с братьями и детьми, тысяцкие и житьи. За ними новая толпа прусских бояр и житьих, во главе с самим Александром Самсоновым. За ним красавец Юрий, сын славной вдовы Настасьи, и Иван Есифов, сын Онфимьи Горошковой.

Назавтра на следующем стану, в Рыдыне, на реке Холове, за девяносто верст от Новгорода, великого князя встречали главы города, с иконами и хоругвями. Издали на белом только что выпавшем снегу ярко сверкали золотые ризы духовенства. Собравшаяся толпа криками, пронзительными голосами дудок и бряцанием бубнов славила московского государя. Архиепископ Феофил на улице всенародно благословил Ивана Третьего, ради такого случая сошедшего с коня. Затем его приветствовали степенной посадник Василий Онаньин и степенной тысяцкий Василий Есипов, а также новгородский служилый князь Василий Васильевич Шуйский. Затем Ивана благословляли архимандрит Юрьева монастыря Феодосий, хутынский игумен Нафанаил, вяжицкий Варлаам и прочие духовные лица. Затем ударили челом славляне, бояре и житьи. Встречавшие подносили красное и белое вино, владыка — бочками, а прочие — каждый по меху.

Великий князь дал обед новгородским боярам и духовенству, а после обеда, отпустив гостей, принял старост Славковой улицы Ивана Кузьмина и Трофима Григорьева и старост Никитиной Григория Киприянова Арзубьева и Василия Фомина. Старосты, предупрежденные наместником, поднесли Ивану Третьему бочку вина, но не сразу поняли, чего от них хочет великий князь московский. Лишь с помощью бояр, выходивших к ним на говорку, они уразумели, что должны представить князю великому писаную, составленную по всем правилам жалобу на разграбление улиц, с поименным перечислением нападавших.

Возвращаясь домой, Иван Кузьмин трясся всем телом. Одно дело — самим поддаться князю, другое — выносить на княжий суд свои новгородские обиды, стать предателем города. За такое-то вот в древности и расточали, и

топили в Волхове, свергая с моста. Григорий Арзубьев задумался: что делать? Сердцем он чуял, что не княжое то дело, а свое, новгородское, князю не подсудное. Но как быть теперь, и он не знал. Двое прочих старост, люди маломочные и зависимые, согласились без спора и размышлений. Григорий Арзубьев еще не ведал, что размышлять и ему уже не полагалось, что даже колебаний в этом деле Иван не простит.

Девятнадцатого на Мсте, за пятьдесят верст от города, князя встречали неревские бояре и житьи, а также купеческие старосты Иваньского вощинного братства и толпы простого народа, умножавшиеся по мере приближения к Новгороду. Двадцатого ноября в Плашкине, за двадцать пять верст от города, Ивана Третьего встретили славенские посадники с Фомою Андреевичем Курятником во главе. Двадцать первого Иван в виду толп народа, вышедших даже и за несколько верст от Новгорода, прибыл на Городец. Княжеский терем был уже готов к приезду, покои князя вытоплены, конюшни прибраны, сторожа разоставлена. Ратники княжеских дружин неспешно занимали пригородные монастыри, переправлялись через Волхов в Юрьев, Аркаж, Пантелеймоновский. Отряд вооруженных дворян остановился в Детинце, у архиепископа. К утру следующего дня город был уже плотно окружен московскими заставами и отрезан от своих волостей. Ратники не загораживали только что дорог, по которым шли обозы в Новгород, но и на дорогах всюду стояла сторожа и следила за каждым проезжающим возом, за каждым пешим путником. Свободные от дозоров располагались на постой, разоставляли лошадей, громко требовали того и другого. Прокорм княжеской дружины входил в обязанности Новгорода и был обусловлен церемониалом встречи. Зная это, ратники, не стесняясь, прихватывали все, что попадало под руку из монастырского добра. Спорить с ними не смели.

Прибыв на Городец, Иван отстоял обедню у Благовещения, после чего изволил откушать. Полуектов со Степаном Брадатым, сопровождавшие князя, уже составили список встречавших, и на обеде Брадатый подал его государю. Тут были поименованы все бояре, посадники и тысяцкие, и житьи, и духовенство — опричь черного народу. Творение Брадатого, как и многие другие его записки, должно было войти в состав государевых грамот и позднее попасть в летописцы. Иван дал знак читать, сам же, продолжая вкушать, внимательно про-

слушивал перечни имен, отмечая заочно знакомых, припоминая и тех, кто должен был быть, но кого не было. Впрочем, таковых почти не оказалось.

Последним был назван «староста городищецкой, Ивашко Обакумов».

Это был свой, с ним и в списках не церемонились. Новгородцы же пока еще и в грамотах именовались, даже черные люди, Иванами, Трифонами и Петрами (кто и по батюшке величался), а не Ваньками, Тришками и Петьками, как то давно уже повелось на Москве.

Иван молча выслушал отчет Брадатого, осведомился о старостах Славковой и Никитиной — готовы ли принести жалобу? Потребовал затем список нападавших на Славкову с Никитиной и на бояр Полинарьиных. Долго вчитывался в имена, шевеля губами, вопросил: почему в списке нет Ивана Офонасова Немира? Выслушав, что он не участвовал в нападении, склонил голову и отпустил Брадатого, так ничего и не сказав. Потом принимал дворецкого с отчетом по дворцу, наместника; и боярина Федора Давыдовича, своего воеводу, коему приказал еще усилить охрану Городца, но располагать ратных так, чтобы не очень напоказ были. Тот понял с полуслова и тут же отправился наряжать скрытые дозоры и засадные дружины из ближних дворян. Оставшись один, Иван долго глядел в мелкоплетеное окошко на неясный в вечерних сумерках город. Глядел и молчал.

За всем тем Иван был все время ровен, со всеми милостив и раз только выказал раздражение, когда владыка Феофил прислал к дворецкому и конюшему князя давать кормы своих молодших. Оба посланных, как неродовитые, были отосланы назад, и возы с кормом тоже. Феофил, исправляя оплошность, сам кинулся на Городец, нижайше звал великого князя откушать у него хлеба-соли, а давать кормы послал своего наместника Юрия Репехова, которому по положению даже и не пристало ведать кормами. Узнав о почетном назначении, Иван смолчал, но на другой день милостиво принял Феофила у себя на Городище и кормил обедом, и опять был ровен.

Это было двадцать второго ноября, в среду, на введеньев день. На обеде присутствовали и князь Василий Шуйский, и степенной посадник Василий Онаньин, и старые посадники и тысяцкие, и многие из великих бояр. В тот же день Иван Третий приказал принять жалобщиков. На Городец прихлынули толпы просителей, чающих справедливости от великого князя. Какие-то

обиженные Захарией Овином землевладельцы, неправедно облагаемые поборами купцы, корельские просители, люди молодшие и житьи, потерпевшие от новгородских позовников рушане, ремесленники, мужи и жонки, монахи и монахини, настоятели и настоятельницы бедных монастырьков. Многих из них собрали и направили на Городец старцы Троицкого монастыря на Клопске, тщась показать всенародное недовольство граждан судом новгородским. Были и вправду обиженные жестоко, люди в глубоком горе, уже изверившиеся во всем, для коих князь великий московский был паче бога — тем чудесником, который только один может своею волею враз изменить и отменить раздавившую их беду. Одни лезли вперед, поближе к крыльцу, на которое должен был выйти Иван, другие толпились посторонь, сжимая в руках трубочки берестяных грамоток со своими прошениями. Многие примчались и без всяких просьб, просто увидеть великого князя, внушившего столько ужаса Новому Городу — в памяти всех живы были Шелонский погром и грозные дни осады.

Иван вышел к жалобщикам только на минуту, показаться и выслушать восторженный вопль толпы. Затем он удалился, а принимать и сортировать просителей принялись младшие дьяки государева двора, руководимые Полуектовым и Беклемишевым. С просителями пока только беседовали тут же, на дворе, еще не принимая прошений, и одним, немногим, назначали явиться к государю, других же отсылали к наместнику великого князя, третьих попросту отсылали прочь, веля обождать.

Среди жалоб были и вовсе нелепые. Так, многие жаловались на ратников великого князя, чинящих насилия, и просили опасу от воев, грабивших товар и разорявших обозы по дорогам. Этих всех отсылали в вечевую избу, к суду посадника, понеже постоем и продовольствованием москвичей ведали не княжеские, а новгородские дьяки и наместники, обязанные следить за порядком, оберегая граждан и в то же время ничем не ущемляя и не обижая московских гостей.

Двадцать третьего ноября Иван Васильевич Третий явился в Новгород. День был ясный, морозный. Копыта коней звонко ударяли по укатанной твердой дороге, белой, с рыжими пятнами конской мочи, клочьями раструшенного сена и катышками оледенелого навоза там и сям. Иван ехал верхом. Стража из московских дворян, теснясь, скакала впереди и сзади государя. Его сопровождали ве-

ликокняжеские бояре и окольничие. Светило солнце. Звонили колокола. Массы праздничного народа стояли по всей дороге от Городища до градских ворот, теснились в улицах, приветственно кричали, махали платками и шапками.

У въездной башни и на воротах стояла княжеская стража. Город, куда он наконец впервые вступал, был и правда велик зело, пожалуй, больше Москвы и премного украшен каменным строением соборов и палат. Терема теснились и тянулись вверх, улицы были на диво ровны и чисты и сплошь мощены древием. Иван шагом ехал по Ильиной, мимо стройной плывущей церкви с крутыми изломами кровель и удивительной соразмерностью всех частей — это был Спас Преображения на Ильине. Ехал мимо Знаменской, мимо теремов и палат, за коими вырастал, рядом с торговой площадью, целый лес больших и малых каменных храмов, среди коих его быстрый взгляд не сразу угадал Никольский собор на Ярославле дворище, на *его* дворище! Древнем, княжеском, беззаконно занятом в минувшие веки вечевою палатой.

Вот оно какое! Вот как обстраивались князья Владимирова дома! Такою же должна быть Москва! Нет, еще краше! Здесь, в этом веледепии, уже не казались столь дерзко огромными стены Успенского храма, что возводит для него Аристотель.

Запоминая все и то и дело сопоставляя Новгород со своею столицей, Иван въехал на Великий мост и невольно придержал коня. Город открылся отсюда во всей красе своей, с громадою Детинца прямо перед очами и позлащенными верхами Софии над стеною, в скоплении башен и маковиц. Вот то, что виделось ему из древних летописей, вставало из глуби времен. Вот она въяве, пышность кесарей! Ему говорили об этом, называли поименно монастыри и храмы. Он знал — и не знал, не видел доднесь. Не мог представить себе. Он даже где-то, в самой глубине души, на миг удивился своей победе. Нахмурясь, он резко рванул повода. Этот город вызывал в нем зависть и будил чувства недобрые. Воспринимавший красоту более всего как богатство, Иван Третий ревновал сейчас к богатству Новгорода, к гордо поднятым главам и куполам, богатству, непристойному уже потому, что оно не принадлежало казне великокняжеской.

Феофил, согласно указанию самого Ивана, ожидал его в воротах Детинца, в праздничных ризах и с кре-

стом, во главе всего собора новгородского духовенства, от юрьевского архимандрита до священников и дьяконов софийских. Сзади теснились избранные горожане, бояре и житьи. С пением процессия встретила великого князя. Феофил благословил спешившегося Ивана. Его проводили в собор святой Софии, премудрости божией, и опять он был оглушен огромностью храма и многоценностью храмовых убранства и утвари. В соборе Иван подошел, знаменуясь крестным знамением, к образам господа и пречистой его матери, поклонился прочим святым и особо — гробам своих прародителей, прежних князей великих, похороненных в соборе. Этим он давал понять, что чтит святыни градские, якоже и достоит государю, а вместе с тем числит предками своими великих князей, одержавших Новгород в минувшие века, наследников Ярослава, некогда самовластно распоряжавшихся в великом городе так, как надлежит распоряжаться и ему, Ивану Васильевичу, господину Новгорода и государю всея Руси.

Отстояв службу, великий князь с боярами изволил быть на обеде у архиепископа, в палатах владычных, вновь отметив про себя роскошь и каменную основательность Евфимиевых строений, отметив и башенный часозвон, по примеру коего не худо бы сделать и на Москве часы, вознесенными на башню. Внешне он был ровен, ел и пил весело, после чего архиепископ Феофил одарил князя многими дары. Назавтра, двадцать четвертого ноября, в пятницу, был назначен большой прием и княжий суд на Городище.

Вновь потянулись уже отобранные и подобранные княжими дьяками просители, изветники, жалобщики, ходатаи и просто жаждущие увидеть государя московского, с дарами и поминками, старосты и лучшие люди, монастырские обитатели, рушане и корела.

Иван сидел в кресле с подножием, в меховой, с короткими, до локтей, рукавами чуге, одетой сверх кафтана, в византийском древнем золотом оплечье с бармами и золотой, отороченной соболем шапке Мономаха. Дворянская стража выстроилась вдоль стен. Бояре выслушивали просителей, принимали свитки грамот, а также дары и передавали подручным дворянам, уносившим все это в заднюю, где два дьяка вели запись прошений и приносов. Наклонением головы Иван отпускал очередную группу просителей и приказывал ввести новых.

Весь этот день и весь этот прием были только лишь тщательно разработанною присказкою к следующему

дню и завтрашнему судилищу, и все эти жалобщики, сами не подозревая того, нужны были затем, чтобы придать убедительность и весомость законности грядущему судебному действу.

Приказав наместнику с подручными разобрать жалобы без проволочек и по правде, Иван отужинал и лег почивать.

Следующий день был субботний. С утра государь сходил в церковь, затем обедал и после обеда принял жалобщиков. В этот день, двадцать пятого ноября, били челом две улицы, Славкова да Никитина (от каждой улицы наместники князя озаботились собрать как можно более жалобщиков), на великих бояр и житьих Неревского конца во главе с Ононьиным, Есиповым и Борецким. Иван Третий отметил, что от улиц было по одному старосте, Арзубьев и Иван Кузьмин не явились. Тот и другой не знали, к беде своей, что великому князю московскому служат без отверток, и отказ от принятой службы рассматривается на Москве как измена государю. Вслед за старостами и жалобщиками Славковой и Никитиной подступили бояре Лука и Василий Полинарьины и тоже били челом на великих неревских бояринов. Иван тотчас дал жалобщикам своих приставов: Дмитрия Зворыку, Федца Мансурова и Василья Долматова.

У князя были в это время на приеме владыка Феофил, плотницкие посадники Захарья Овин с братом Кузьмой, неревские посадники Казимер и брат его Яков Короб, Лука и Яков Федоровы и иные бояре и житьи, вызванные нарочито, чтобы явиться свидетелями жалобы.

К ним Иван и обратился почтительно, прося — именно прося, а не приказывая, — дать своих приставов для вызова оговоренных на суд: «Понеже хочу яз того дела посмотрети».

— А ты бы, мой богомолец, — прибавил Иван со спокойною твердостью, — и вы, посадники, у меня же тогда были бы, хочу бо при вас обиденным управы дати.

Феофил, недолюбливавший всех вообще неревлян, Захария Овин, в душе обрадованный несказанно, и довольные, что их самих оставили в покое, Казимер с Яковом Коробом согласились без слова. К Новгороду тотчас было отправлено с тысяцким Васильем Максимовым требование дать приставов на поименованных в жалобе новгородцев, и городские подвойские Назар и Василий Ан-

фимов с приставами и позовниками отправились по домам оповещать ответчиков, равно как и самих истцов — ограбленных уличан Славковой и Никитиной, — вызывая тех и других наутро на Городище, пред очи великого князя и государя московского.

К Борецким Назар приехал поздно вечером. Федор только что воротился к себе, не успел разоболочиться, как раздался стук в ворота.

Подымаясь по ступеням, — позовников он оставил внизу, — Назарий поежился. Хоть и не в первый раз бывал тут, а все же к самой Марфе Борецкой с таким делом ему являться и подумать раньше не приходилось. Федор выслушал подвойского, презрительно щурясь, поглядел исподлобья, передернул плечами, фыркнул заносчиво:

— Слыхал уж от Василья Максимова самого!

Знал, чем уколоть Назария.

Марфа появилась нежданно в дверном проеме. Строго спросила, в чем дело. Выслушала молча, не шевелясь. Сказала негромко:

— Выйди, Назар, пожди тамо!

Для Назара Федор был друг его заклятого врага, Василья Максимова, но и он уважал Марфу Борецкую. Склонив голову в молчаливом поклоне, он покинул терем. Федор — он сейчас, выставив упрямый лоб и раздувая ноздри, был похож на молодого рассерженного вепря — тронулся было следом за Назарием, к выходу, как мать стала на пороге. Подняв голову, Федор увидел ее совсем черные, безумно расширенные глаза, смутился, попытался отделаться шуткой:

— Полно, мать! Василий Максимов клялся, что ничего худого не будет. Он и приставов наряжал. Ну, может, заплатить лишку придется!

— Погубят! Обманывает тебя Василий твой! — Марфа произносила слова судорожным, не похожим на нее торопливым шепотом и вдруг, видя, что сын, бычась, пытается ее обойти, сорвалась, крикнула надрывно, раскинув руки: — Не пущу! Федя! Один остался... Феденька! — Она кинулась к нему, хватая сына за плечи, приговаривая в забытьи: — Сыночек мой! — Засоветовала жарко: — Кони готовы! Беги! В Андому, на Водлу, на Выг, в леса забейся, сама за тебя отвечу! Опомнись, Федор!!! — выкрикнула она, видя, что тот старается оторвать ее руки от себя и пройти.

— Взрослый я аль нет! — гневно говорил Федор. —

Пробегаю, опять как дурень и буду! Достальных оправят, меня одного обвинят, земли отберут — того хоцешь?! Не забирают ить меня!

Он сердито вырвался. У Марфы ослабели руки, отвалилась к стене. Сын вышел.

«Остановить! — пронеслось в голове у Борецкой. — К кому? Куда? Ночь на дворе. Все одно!»

— Пиша! — кликнула она. — Давай шубу, плат, живо!

К Богдану — он поймет, должен понять.

На улице вьюжило. Снегом враз залепило лицо. Пиша, спотыкаясь, почти бежала следом. Ворота у Богдана были заперты. Долго спрашивали — кто? Долго отпирали.

Сама не своя Борецкая ворвалась к разбуженному — он рано ложился — Есипову, который, кое-как одетый, вышел к ней в горницу, моргая спросонь и морщась на свечку, что держала прислуга. Увидав безумные глаза Марфы, ее сбитый плат, он едва не попятился.

— Богдан, ты останови! Неподсудны вы! — тяжело дыша, почти выкрикивала Борецкая. — Говорила, баяла: рати соберите! Глупой бабой обозвали... Что ж это?! Богдан, ты хоть умней их! — Она уже готова была пасть на колени.

Богдан бросился, поддержал.

— Что ты, Исаковна, господь с тобой! — Оборотясь, рявкнул: — Огня! Феклу! Сбитню! Живо! И прочь! Все пошли! — Подвел к лавке: — Присядь, Исаковна, спаси христос, ты же у нас самая сильная, Марфа! — Наливал сам в кубок горячий душистый сбитень. Старческие руки вздрагивали. Марфа пила, обливаясь, ее всю трясло. Богдан приговаривал: — Ручаютце, что ты! Не посмеет. Все званы, думашь, Федор твой один! И я, и Василий Онаньич, и Тучин — все как есть! Да кабы брать надумали, думашь, стали бы звать? Тут же за приставом поволокли!

Марфа вдруг успокоилась. Устало взглянула на Богдана:

— Прости! Может, и верно, баба я, дак не понимаю чего. Только сердце болит, за всех вас болит, не за одного Федора! Прощай, Богдан, может, и не увидимся больше!

— Воля господня на все, а только зря ты, Исаковна! Мы ить в правде своей, по правде и суд творили!

На улице, чуть не столкнувшись впотьмах с каким-

то прохожим, Марфа отступила в снег и тотчас узнала Ефима Гевшина. Тот тоже признал Борецкую, остоялся.

— Марфа Ивановна?! — спросил удивленно, пригляделся, не случилось ли беды какой. Одна, а тут неспокойно, от московских гостей тем паче худого можно ждать. Поди, тоже знает про суд, уж не пото ли и вышла? Осторожно спросил, поддерживая Марфу: — Федор Исакович едет ле?

— Едет. Бежать вам всем надо, Ефим!

— Куда? От Нова Города все одно не убежишь. Мабудь, и пронесет! Великие бояра едут, и нам нать!

(«И этот не чует ничего!»)

— Ладно. Спасибо, Ефим, прощай, дойду сама!

К кому теперь? К брату Ивану!

Лошинский жил неблизко. Тоже спросонья начал утешать, говорить про Федора.

— Дался вам Федор! Свои головы есть ле на плечах? — вновь взорвалась Борецкая.

— Откупимсе! — примирительно отвечал сонный Иван.

«И он, как Онаньин!» — безнадежно подумала Марфа.

Побрели назад. Верная Пиша и шла и падала. К Онфимье еще? Благо по пути.

Онфимья еще не спала. Тоже начала вопросом:

— Федор твой...

— Едет! — не дослушав, жестко бросила Марфа. — Вы как слепые все! За поводырем: тот в яму, и все в яму! Ты хоть сына своего спасай!

Онфимья заколебалась. Иван, только что вошедший, на ходу застегивая шелковый домашний зипун, почтительно склонился перед Борецкой, переводя глаза с нее на Онфимью и обратно. Ответил сдержанно:

— Что ни будет, а одному не достоит и от ямы спасатьце, мать!

Марфа пересилила себя, поднялась:

— Спать я всем не даю. День тяжкий грядет. Простите!

Низко поклонилась. Саму едва держали ноги.

Снег валил гуще прежнего. Холод проникал под шубу, Марфу била дрожь, и она была рада в душе, когда, тотчас за воротами, ее с Пишею догнали двое Онфимьиных холопов со смолистыми факелами, посланных посветить и провести до дому.

Проводив Марфу и распорядясь слугами, Онфимья вернулась в горницу, где ее продолжал ждать Иван, поглядела на него, сказала с тревогой:

— Сын! Права Ивановна-то!

— Что ж, я один уйду, а все как? — возразил, сдвигая брови, Горошков. — Судьбы на кони не объедешь! А чему суждено быть от бога — не нам пересуживать.

Утром в день недельный, двадцать шестого ноября, съезжалась на Городец новгородская вятшая господа. Гордо ехали на суд бояре. Разукрашенные кони под золотыми седлами топтали искрящийся белизною снег. В прорывах облаков показалось солнце, и засверкала сбруя, зардели алые, черевчатые, голубые драгоценные одеяния, епанчи и шубы, крытые иноземным сукном, отделанные парчою и аксамитом. Словно не на суд, а на празднество ехали великие бояра — Богдан Есипов, Онаньин, Лошинский, Тучин...

Иван принимал на этот раз в большой столовой палате городищенского княжого терема. Столы были убраны, и Ивану поставлен резной престол. В прежней короткорукавой чуге, в черевчатом кафтане и шапке Мономаха, он сидел, положив руки на подлокотья. По стенам теснились государевы дворяне. Стража, в оружии, окружала покой. Истцы и ответчики стали по двум сторонам палаты. Началось громкое чтение:

— «Бьют челом старосты и все люди улиц Славковой да Никитиной на бояр на новгородских, на посадника степенного Василья Онаньина, на Богдана Есипова, на Федора Исакова, на Григорья Тучина, на Ивана Лошинского, на Василья Никифорова, на Матфея Селезнева, на Якова Селезнева, на Ондрея Телятева Исакова, на Луку Офонасова, на Моисея Федорова, на Семена Офонасова, на Констянтина Бабкина, на Олексея Квашнина, на Василья на Балахшу, на Ефима на Ревшина, на Григорья на Кошюркина, на Онфимьины люди Есипова Горошкова и на сына ее Ивана и на Ивановы люди Савелкова, что, наехав те со многими людьми на те две улицы, людей перегграбили и перебили, животов людских на тысячу рублев взяли, а людей многих до смерти перебили».

...«Да еще бьют челом Лука и Василий Исаковы дети Полинарьина на Богдана Есипова и на Василья Микифорова, и на Панфила, старосту Федоровской улицы,

что, наехав на их двор, людей у них перебили, а животы разграбили и взяли на пятьсот рублев».

Иван, повернувшись в кресле, с любопытством взирал на ответчиков, великих бояр новгородских. От них первым выступил Богдан Есипов, как бывший степенной, властью которого содеялось все сказанное.

Богдан говорил громко, гулко, сведя серые мохнатые брови и глядя в глаза московскому князю:

— Почто великий князь и господин наш велит честь жалобу ихнюю, а не велит спросить, почто мы те две улицы, такожде и бояр Луку с Васильем Полинарьиным, зорили и деньги и добро с них взыскивали? Дело то было решено властью новгородскою, посадничьей, и творилось по закону, яко же издревле ведется! Судили их судом праведным и казнью казнили торговою за отступление от Господина Великого Новгорода, за отказ от суда посадничья. Такоже и древле во граде нашем отметников и переветников расточали, и разоряли, и хоромы их развозили, и виру брали с них дикую по закону и по словам прежних князей, рекших: «Кто вам добр — любите, а злых казните!»

Следующим говорил Онаньин:

— Ведомо государю московскому, а нашему господину, князю великому Ивану Васильевичу, что суд судить надлежит князеву наместнику на Городце с посадником вкупе. Так и по судной грамоте положено, и от прадед заповедано наших. Сии же отступницы отступили посадничья суда и поддались суду городищенскому. И казнили их по правде, по приговору...

Василий вдруг запнулся, увидя прямой недвижный блеск глаз Ивана Третьего. Смутно почуял, что тот помнит прежнее его посольство, пятилетней давности, тогда, еще перед Шелонью, помнит и не простил. Холод прошел по спине Василия Онаньина. Он оглянулся. У стен — руку протянуть — плотно стояли московские дворяне в бронях, одетых под платье, опираясь о бердыши. Переборол себя, хотел продолжить речь, но тут Иван сам перебил Онаньина.

— Почто, — вопросил он, впиваясь взглядом в лицо степенного посадника, — почто изменою сочли ко мне, ко князю и господину вашему, отступление? А как же заповедано вам и грамотою утверждено, что у того суда новгородского печати быти князей великих? Так как же измена то?! Непонятно мне сие! Как же ты, Василий, да и ты, Богдан, об измене мне говорите, когда я князь и

господин ваш и суд творити в Новом Городе волен по правде и крестному целованию? И ныне приехал я сюда суд судить и жалобников оправливати, дак тоже судиться у меня измена? Кому же измена-то? Не королю ль литовскому, коему изменники новгородские предатися обещались, и паки отреклись, и уже грамоты те отобраны?! И то дивно нам, как богомолец наш, честный Феофил, таковое их грубиянство мне, великому князю своему, простил и втуне оставил?! А пото! — возвышая голос, загремел Иван с тронного кресла: — Приказываю, как татей и душегубцев, тебя, Василий Онаньин, тебя, Богдан Есипов, тебя, Федор Исаков, и тебя, Иван Лошинский, сей же час взять и в железа сковать!

Онаньин не поспел дернуться, тотчас к нему подступил Иван Товарков. Русалка ухватил Богдана. Никита Беклемишев держал за локти оскалившегося Федора Борецкого. Звенец взял Лошинского.

Богдан глядел сердито, не понимая еще, что произошло. Федор, извиваясь, рвался из рук, и к Беклемишеву тут же поспешили на помощь двое дворян. Ражий Онаньин было отпихнул Товаркова, но лязгнула сталь, и он был вынужден даться в руки москвичей.

Иван, пригнувшись с кресла, пронзительно глядел в лица захваченных, растерянно-яростные, недоуменные, разом побелевшие или покрасневшие от бессильного гнева.

— А прочих, — прибавил он громко, — что грабили те улицы и людей убивали, взять за приставы и в узилище посадить!

Григорий Тучин ощутил на предплечьях разом схватившие его с двух сторон твердые руки. Он тоже дернулся было, скорей от растерянности, чем от желания убежать, и ощутил острую боль — держали нешуточно.

Завороженно глядел Григорий то на князя Ивана, то на товарищей. Рядом с ним вязали руки Селезневу. Липкий пот выступил у Григория на спине под рубахой. Он не знал, как это страшно, вот так, просто и вдруг, быть схвачену по чужому приказу, разом лишиться воли, достоинства, гордости и даже свободы движений. Он понимал храбрость. Смертельный риск сечи и даже смерть в бою. Тогда, вечером, на Шелони, когда его выручил Савелков, он дрался, уже не чая остаться в живых, и мужество не изменило ему даже в тот час. Но теперь его впервые охватил страх, тошнотный и мерзкий. Чувствовать это бессилие, невозможность скинуть чужие ру-

ки, а паче того — духовное бессилие, бесправие свое, когда остаешься один и никто не поможет, никто не защитит, и не только неможно отбиться, но и права отбиваться ты лишен, ибо взят по суду, и свои, ближние, и те молчат или против — это было паче смерти, паче всего, мыслимого доднесь! Тучин стоял, дрожа и обливаясь холодным липким потом, и, не в силах унять эту дрожь беззащитного тела, ненавидел себя. Смертельно бледный, почти теряя сознание, он смотрел неотрывно-завороженно в блистающий взгляд Ивана Третьего, уже почти не видя и не слыша ничего иного вокруг и перед собой.

В палате поднялся недоуменный ропот. Даже жалобщики растерялись. Всех ошеломил скорый суд и скорое решение великого князя.

Но и то еще было не все. Иван, уже испытывая злое торжество, поискав, нашел глазами Немира и возгласил:

— А тебя, Иван Офонасов, и сына твоего Олферия видеть у себя не хочу, понеже ты и он мыслили датися за короля и отчину нашу, князей великих, Новгород, под короля литовского приводили!

Бледнея, Немир поворотился к выходу. Им дали только переступить порог. Тотчас к Ивану Офонасову подошел Василий Китай, а к Олферию — Юрий Шестак.

— Взяты именем государя нашего и великого князя московского! — повелительно произнес Китай.

Немир обернулся затравленно. Кругом блестели обнаженные клинки московских дворян. Сопротивляться было бесполезно.

Тучина, Василья Никифорова, Матфея и Якова Селезневых, Телятева, Ивана Есипова, Бабкина, Федорова, Квашнина, Тютрюма, Балахшина, Кошюркина и Ревшина в тот же день взял на поруки, внеся полторы тысячи рублей из владычной казны, испуганный архиепископ Феофил, на которого налетели со всех сторон вчерашние враги, сегодня ставшие единомышленниками в несчастьи. Поименованных продолжали держать в затворе, но за новгородскими приставами. Что же касается шести великих бояр: Богдана, Онаньина, Федора Борецского, Лошинского и Ивана Офонасова с Олферием, их Иван решительно отказался выдать под любой заклад.

Страшная весть переполошила весь город. Оксинья Есипова прибежала к Онфимье Горошковой простоволосая, в одном платке.

— И твоего Ивана забрали!

Онфимья молча царапала себе руки, бегала по горнице. Оксинья смотрела растерянно, попыталась утешить.

— Их-то за приставы, а тех в железа! Что ж делать-то, Марфе Ивановне как сказать?

Онфимья остановилась.

— Онаньиха знат?

— Невесть! Фовру встретила сейчас на мосту, зареванная вся! Марья Тучина тоже знат ли? Жонки ума лишатся, у обеих мужиков забрали! Что ж делать-то, Онфимья? — повторила Оксинья растерянно. — И Федор, и Богдан, и Онаньич!

— Что делать? Побегу к Марфе! Не выпустят их! Говорила мне она, упреждала! Поди, плотницяне радуютце! — зло процедила Онфимья сквозь зубы. — А и им то же будет!

— Неужто мужики смолчат? — отозвалась Есипова. — А тут пиры, не знай, то ли пей, то ли слезы лей!

Грохнула дверь в сенцах, в дом вихрем ворвалась Иринка Пенкова.

— Слыхали? Отбить!

— Отбить! По монастырям московской силы полно, а свои рати не собраны! — горько ответила Онфимья, завязывая плат. — Нет уж, пришла пора кланятьце, так спины не жалей! К Марфе Ивановне похожу. Что мать?

— Без памяти лежит. Отливали, — ответила Иринка и вдруг, согнувшись, заплакала по-детски, навзрыд.

Офонас, Феофилат, Казимер с Коробом, Александр Самсонов спешно пересылались гонцами. Суд Ивана затрагивал всех. На право судить новгородца в городе «своим судом и за своими приставы» еще никто не подымал руки.

Потерянный Феофилат, почуяв, что на его хитрые узлы тут пришелся московский топор и неизвестно, начав с Богдана, не кончат ли им, суетился, подгонял прочих. Захария Овин и тот явился со своими вместе хлопотать перед князем о милости и снисхождении. Отрядили выборных к архиепископу.

Весь понедельник шла подготовка посольства, совещания, споры. Уже подымалась голка по городу. Гнев и смута охватывали низы. Хоть и медленно, хоть и не так, как в прошлые веки, когда достаточно было позвать, — и город подымался весь в оружии на защиту своих и боярских прав, но громада начинала волноваться. Уже

кучками собирались ремесленники по углам. Москвичей все чаще начинали задирать. Великокняжеские ратники подтянулись к Городцу. Заставы на дорогах были усилены втрое. Казалось, вот-вот вспыхнет пламя мятежа, но некому было поднести огонь, некому и не из чего высечь запальную искру этого пламени...

Борецкая, бледная, решительная, — обрушившееся несчастье разом поставило ее на ноги — распоряжалась, рассылала и собирала слуг, готовила коней и оружие. О посольствах, просьбах она даже не думала. Отбить! Непременно отбить! Но кем? Городец стал крепостью, его и ратью не возьмешь. Следовало перекрыть пути. Она вызвала Богданова ключника, но в доме у Есиповых был полный разброд, хозяйничали одни бабы, внуки Богдана тоже сидели за приставами, и ключник и ратные Богдана не трогались с места.

Борецкая вызвала своего дворского и старшего ключника, Иева Потапыча, веля им поднять Богдановых молодцов и собрать всех своих людей, кого можно.

— Пятьдесят ратных, боле не наберем! — сказал дворский.

— Богдановых нать!

— Богдановы не послушают, — мрачно возразил ключник, опуская глаза под слепящим взглядом Марфы. — Был я уже... Словно бы оговорил их кто! Слушок есть такой... — хищное лицо Иева покривилось, он глянул жестко в глаза госпоже: — Они, как Богдана взяли, оробели враз, скорее князя послушают, чем тебя! Да и городищенские шастают тамо...

— Подкуплены?

— Может, и московски посулы, кто знает!

Иев был недалек от истины. Служилым людям Богдана наместник велел намекнуть отай, что великий князь московский берет в службу военных слуг опальных бояр, если, конечно, они верны государю московскому. Богдан был для своих молодцов каменной горой, и уж коли эта гора обрушилась так легко и просто, навряд кто другой возможет противустать Москве! Так они все, ежели и не рассуждали, то думали, и класть головы уже не захотел никто.

Борецкая отрядила пятьдесят своих оружных и в тот же день скрытно послала к Липне стеречь дорогу через Ям и Бронничи и попытаться перенять, ежели повезут тем путем. А ежели не повезут? Или силы не хватит?

Марфа ходила по терему, как зверь в клетке, — все отреклись! Богдановы люди как опоены, Ананьин, Иван Офонасов — кто мог бы помочь, сами взяты. Тучин, Матфей Селезнев, Никифоров — сидят. Савелков! Он один, больше и некому!

Иван был готов и понял Марфу с полуслова. Он поднял и вооружил всех, кого мог собрать. Но куда скакать, ежели садиться в засаду? На Мсту или к Русе?

«Боже мой, — думала Марфа, бегая по горнице, — боже мой! Знала, чуяла! Одна во всем Новом Городе!»

Во вторник архиепископ с избранными гражданами отправился на Городец. Офонасу и Коробу с Феофилатом удалось за день собрать выборных от всего Новгорода.

Иван принял посольство в той же столовой палате, в которой творился суд. В ответ на мольбы старейших посадников и архиепископа возразил, глядя в лицо Феофила:

— Говорите, никогда издревле не бывало того, чтобы новгородца судили не своим судом? А как же писано в летописании новгородском, что Ярослав, чьи грамоты вольность мужей новгородских утверждают, заточил посадника Констянтина Добрынича *. И паки Владимир Мономах призывал в Киев бояр новгородских *, и иных оправил, иных же оковал и поточил в Киеве? И святой великий пращур наш, Александр Невский, такоже «вершил *, призывая к себе бояр Нового Города и по иным градам расточая? И то все при древлих великих князьях благоверных деялось, и тебе, богомолец наш, и тебе, Яков, и тебе, Феофилат, то ведомо! И то еще ведомо тебе, богомольцу нашему, и всему Нову Городу, отчине нашей, — с нажимом произнес Иван, — колико от тех бояр и наперед сего лиха чинилося, а и нынеча что ни есть лиха в отчине нашей, — он опять подчеркнул слово «нашей», — то все от них же чинится! Ино како мне за то лихо их жаловати?

Взятых бояр в тот же день в оковах, с сильною охраной послали на Москву.

— Теми же часами в Москву умчали! — донес Марфе прискакавший с Городца гонец.

Феврония билась в рыданиях в материном дому. Олена сидела рядом, бледная, отхаживала сестру. Марфа стояла посреди столовой горницы, коротко и резко

приказывая подбегавшим слугам. Савелков, одетый, сгорбившись сидел у стола.

— Стало так! — говорила Марфа. — Скачите сейчас на Липну, там мои ратники ждут. Отсюда через Ковалево.

— Заставы тамо!

— А прямо, круг Юрьева?

— У Перыня не перейти, лед не держит. Надо кругом.

— Через Русу! — вмешалась вошедшая Олена.

— Через Русу вовсе не пробиться, а и пробиться, тех не догнать будет!

— Поскачете в объезд! — бросила Марфа как о решенном. — На Вишере не задержат, оттоль к Бронницам, напрямик. К своим гонца шлю, догонят, поводных коней у меня возьмешь. Всем наказано. Волхов перейдете за Онтоном святым. Иван, на тебя надежда!

Савелков встал, сжал на миг Марфины руки, поклонился Олене, сбежал с крыльца.

Вечерело. Шел снег. Кони, готовые загодя, рвались из-под седел. Лучших скакунов достала Марфа Борецкая. Кони храпели, били копытами в снег. Дружина ждала верхами, пряча оружие под шубами.

— Берегом! — приказал Иван, пуская рысью. Московская сторожа окликнула на выезде из города.

— В Хутынь! — крикнул Савелков, не останавливаясь. Кони перешли в скок.

Только бы переправиться через Волхово! Ниже Зверинца мужики пешали лед. Савелков окликнул. Люди были Марфины. Борецкая и тут сумела все подготовить. Всхрапывая, кони ступали на хрупкий настил, обмакивая копыта в ледяную воду. Двое искупались-таки с конями вместе, но выбрались все. Опять тронули в скок — не застудить бы коней!

Овраги, ручьи, речки сводили с ума. У Успенья на Волотове опять путь загородили москвичи.

— Свои! — бросил Савелков.

— Каки таки свои, стой!

Ничего не отвечая, Иван пришпорил жеребца. Несколько стрел просвистело в воздухе. Пришлось взять левее. Под Ситкой вновь напоролись на московскую заставу. Иван чуть было не приказал в клинки — опомнился. Дальше держались лесом. Мсту перешли по льду, накидав ельнику. Пока рубили, мостили — опять задержка. Уже пересаживались на поводных коней.

Начинали попадаться обозы. От встречного мужика вызнали, что москвичи проезжали уже не раз, и все в одну сторону, на Яжелбицы, а один их отряд стоит в ближнем селе. Не рискуя напасть — потом не развяжешься, — Савелков послал двух холопов в догляд. Те едва выбрались из села. Узнали все же, что отряд сторожевой и прибыл еще вчера. Поскакали дальше, наверстывая потерянное время.

Второй раз ошиблись хуже. Опять, чая обоз, налетели на сторожу. В бешеной сшибке трое полетели с седел. Москвичи, к счастью, вспятились, и савелковские, пользуясь темнотою, сумели уйти, бросив трупье и запаленных поводных коней на произвол судьбы.

Марфин гонец догнал отряд Савелкова с вестью, что липенская застава разбита под Ямом и вся разбежалась по лесу. Иван только молча закусил губу.

Утрело. Конский скок становился короче и короче. Пришлось сделать привал. Поводив, напоили коней, покормились. Люди качались в седлах, слезая, падали в снег. Иван с трудом поднял отряд. Снова скакали. От встречных узнали, что впереди москвичи и едут из Новагорода. Кинулись вдогоню. Обоз был уже верстах в пяти, только бы не попалась сторожа! Они нагоняли. Савелков ожег коня, вырвал саблю:

— Стой!

Хватая за повод, остановил возок. Оскакивая москвичей, торопливо хватавших оружие, ратники окружали обоз.

— Что везешь?

Сила была на стороне савелковских. Москвичи побросали копья и опустили клинки. Попоны и вервие полетело с возов. В крытом возке высадили двери — никого.

— Великого князя добро! — отвечал холуй.

Ошиблись. Вдали запоказывались конные княжеские ратники. Рубанув постромки — доле будут возиться! — савелковские умчались от греха.

Кони были измотаны вконец, храпели заполошно, поводя боками, качались под седоками. Третий раз неудача, третий раз Иван наталкивался на силу, продуманную, готовую и устроенную исподволь, не разом, не взмахом, силу, где все было заранее учтено и взвешено. Теперь ему стало ясно, что и суд и разбор жалоб — одно скоморошество, что все было решено заранее, кого и как взять, и дороги перекрыты, и сторожа собрана, и давешний обоз не с умыслом ли, не для отвода ли глаз?

Надо было во что бы то ни стало переменить коней. Марфины волостки все остались в стороне, свои тоже. Разве?.. Савелков вспомнил, что неподалеку большое владычное село. Феофил, конечно, привяжется, а, все равно теперь! Конный двор у них там — загляденье!

Налетели с ходу, разведывать было некогда. Сторожа кинулась вперейму.

— Рубить!

Один остался на земле, прочие разбежались. Стойла были пусты.

— Где кони?! — Савелков в бешенстве тряс служку.

— Угнаны великим... великим... великим князем, — повторял тот, мотаясь в руках у Ивана.

— По слову...

Иван отбросил холуя. Вскочил в седло. Это был конец. Крестьянских лошадей не соберешь враз, да и что то за кони, разве на них догонишь!

Повернули. Миновали лесок. Выскакав на угор, Иванов конь качнулся. Оглядясь, Савелков увидел, что растерял уже половину слуг. Пьяный от усталости, он слез с седла, повалился на землю, на снег, на обдутый ветром до зени угор, грыз мох, рвал руками мерзлую бруснику и верес, стонал от ярости. Опомнился, встал. Тяжело поднялся в седло.

— В Новгород!

Тронули шагом.

ГЛАВА 23

Захваченные новгородские бояре — шесть бояринов великих — были привезены на Москву десятого декабря. Прочих, взятых на поруки — Горошкова, Тучина, Пенкова, Селезневых и всех житьих, — Иван отпустил уже через два дня, первого декабря, после нового общегородского настойчивого посольства, в составе всей новгородской господы, старост, представителей от купечества и черных людей. Убытки, нанесенные набегом на Славкову, Никитину и бояр Полинарьиных, были вычтены из городской казны — что пошло городу — и из имущества обвиненных.

Прочих жалобщиков тихо вытеснили с Городца, предложив им позднее обратиться к суду наместника. Сослужив свою службу, они пока больше не требовались Ивану.

В торжественном чину встречи были произведены пе-

рестановки, ибо упускать причитающихся ему даров Иван отнюдь не собирался. Третий пир от Славны он сам указал, что будет пировать у Полинарьиных, беря, таким образом, Луку с Василием под свою высокую защиту (а заодно заранее обрекая братьев на необходимость передать ему львиную долю полученных по суду денег). Третий пир от Неревского конца вместо Василия Онаньина взялся устроить Яков Короб — вторично принять князя у себя же.

И начались пиры.

Шестого декабря Иван Третий пировал у князя Василия Васильевича Шуйского. Старый воин, дравшийся с москвичами еще под Русой, раненный и чудом избежавший смерти на Двине, теперь принимал и чествовал врага своего и был хлебосолен и ласков.

Следующая неделя была потрачена на то, чтобы, под нажимом великого князя, выбрать наконец степенным посадником вместо схваченного Онаньина Фому Андреича Курятника. Хмурый Совет господ собрался в Грановитой палате и высказался единогласно, без особого торжества, но и без споров. Да спорить и не приходилось. Один Фома Курятник мог торжествовать, хоть и ему было не по себе.

Четырнадцатого декабря, в четверг, Иван пировал у владыки. По случаю зимнего поста блюда были все рыбные, зато каких только рыб, от снетка белозерского до устрашающих размеров севрюги — вареных, соленых, копченых, вяленых и под соусами, каких только балыков, каких кулебяк и рыбников, сопровожденных тройною монастырскою ухою, не выставил Феофил! Посуда была вся серебряная, а для Ивана Третьего — золотая, рекою лились заморские вина и разнообразные меды. Подарки последовали вдвое против прежнего. Кроме золота и сукон, был вручен жеребец, которого нарочито провели мимо крыльца. Всхрапывающий конь на серебряных удилах выворачивал огненное яблоко глаза, едва не взвивался на дыбы — шестеро конюхов с трудом удерживали зверя. Жеребец был редкостный, двинской породы. В глазах Ивана мелькнуло удовольствие.

Двести с лишним кораблеников были вынесены на блюде и ссыпаны в кожаный мешок. Вечером Брадатый, предварительно пересчитав тяжелые нобили, записывал дар архиепископа. Прикосновение к золоту вызывало у Брадатого дрожь чувственного удовольствия в пальцах. То, что это была не его личная, а государева собствен-

ность, только придавало золоту бóльшую ценность. Казна, охраняемая тобой, которую самому нельзя потратить, дороже стоит, чем расходные кругляки в калите на поясе. Во всяком охранителе казны есть что-то от древнего змия, что лежит, свившись кольцом, на заповедном золотом кладе, оберегая его от любых посягательств, и жизнь и кровь свою положив на то, чтобы заклятая страшная сила золота оставалась и сохранилась в грозно-недоступной неприкосновенности.

Государь тоже любил трогать золотые, хотя и проявлял эту страсть сдержанно, как и подобает государю. Брадатый знал об этом и нарочно выкладывал корабленики столбиками, как бы для проверки государевой, чтобы князь Иван мог невзначай взять нобиль-другой и взвесить его на ладони, созерцание чего тоже доставляло удовольствие Брадатому.

Пятнадцатого декабря пировали у Казимера.

В субботу Иван парился в бане, отдыхая от пиров. Голова болела — накануне выпито было явно сверх меры.

Семнадцатого великий князь пировал у Захарии Григорьевича Овина. Захария льстил грубо и через меру — ежели по-новгородски судить, — но он хорошо знал, что делает. Иван остался доволен, а Захария отделался дешево: против ста корабленников Казимеровых заплатил двадцать. Впрочем, Иван Третий и не собирался слишком зорить Торговую сторону.

Дальше пошло с передыхом. Девятнадцатого праздновали у степенного тысяцкого, Василья Есипова. Двадцать первого, в четверг, у Якова Короба. Двадцать третьего у Луки Федорова, в Людином конце.

Между пирами происходило то, о чем мало кто знал. Хозяева в задних горницах с глазу на глаз с боярами государева двора приносили присягу на верность великому князю и подписывали грамоту, нетвердо соображая, не изменяют ли они тем самым Господину Великому Новгороду?

Двадцать пятого, в рождество, великий князь устроил пир у себя на Городище. Был зван архиепископ, князь Василий Шуйский, все посадники, тысяцкие, нарочитые житьи и купцы. Князь был весел, много разговаривал, засиделся и пил с гостями до вечера.

Все шло как нельзя лучше. Уже воротился гонец с известием, что пленные благополучно доставлены в Москву. Новгородские подарки сыпались как из рога изо-

билия. Бояре великого князя, воеводы, дети боярские — все получали свою долю, и доля была зело не скудна. Простые ратники и те ополонились стойно иному дворянину в удачном походе. Чего не получали добром, брали сами. От новгородских богатств у всех разгорались глаза и кружились головы. Передавали, раздувая слухи, кто и не видел, о грудах золотой посуды у архиепископа, сундуках с золотом и серебром у великих бояр. Величие соборов, блеск боярских выездов, казалось, подтверждали любые россказни. Поражало москвичей и виденное ими на улицах и в домах посадских: ни одного горожанина в лаптях, свободный обычай жонок, что пируют вместе с гостями, а то и правят, как мужики, вотчинами, ходят к суду и на вече своем, сказывают, выступают порой. Ратники спешили набраться. Рыскали по городу, потаскивая лопоть, кур, гусей, поросят, а то и пограбливая на дорогах. Даже софийский летописец владыки Феофила записывал потом, что стояние москвичей было «притужно и с кровью».

Обозники, не привыкшие к московской бесцеремонности, огрызались, когда ратники проглядывали возы, выбирая себе что получше. Кое-где завязывались драки, каждый раз оканчивавшиеся не в пользу новгородцев, безоружных перед вооруженными до зубов гостями, находившимися к тому еще и под покровительством властей. Подвойские и приставы новгородские осаживали недовольных — перечить москвичам было не время.

Зять костореза Конона, Иван, по всегдашней неудачливости своей нарвался на драку с московлянами перед самым рождеством. Ходить мимо московской заставы у ворот ему приходилось ежедневно, случалось, и кричали обидное — все пускал мимо ушей, а тут, как на грех, дернула нелегкая остояться.

— Эй, безносый, поди сюда! — позвали его. — Не знашь тут бабу найтить поближе?

Ратники хохотали, и не понять было, не то в шутку, не то взаболь прошают.

— Чо оробел? Жонку спроси, от такой-то рожи сама к нам прибежит! — сказал один с издевкой.

У Ивана потемнело в глазах. Удар древком копья в спину сбил его с ног. Он вскочил, вновь кинулся и снова упал под ударами.

— Блажной, не видишь! — прозвучало над ухом.

Иван поднялся кое-как и неверными шагами побрел к дому. Москвичи хохотали вслед.

Вечером Анна прикладывала примочки, ругалась и журила:

— Счо ты один сделаешь, как бояра не замогли?

Соседка, раскачиваясь на лавке и жалостно глядя на Ивана, сказывала свое горе:

— ...Тоже москвичи пограбили! Тех избили, разволочили донага, дак хоть сами живы, а Окинф, деверь, не стерпел, полез дратьце, так и до смерти убили!

Двадцать восьмого декабря Иван Третий пировал на Городище у славной вдовы Настасьи, дарившей его золотом, ипским сукном, рыбьим зубом и соболями, тридцатого — у Феофилата, на Софийской стороне. Первого генваря был второй пир у Якова Короба, дарившего великого князя от себя и от внука, Ивана Дмитриева, сына Дмитрия Исаковича Борецкого.

Марфа Ивановна сумерничала, не зажигая огня. Пиша сидела с нею, молчала, опустив руки на колени. Вязать уже трудно было. По улице с гомоном проезжали конные. Князь Иван со всею свитой пировал у свата, Якова Короба.

В сумерках слышнее становились голоса и топот коней с улицы.

— Вздуй огонь! — очнувшись, приказала Марфа.

Пиша долго ударяла кресалом, высекая искру. Наконец трут затлел, выпустив маленькое душное облачко. Вспыхнула навощенная лучинка, загорелась свеча в свечнике. Пиша хотела зажечь и все свечи, но Марфа остановила ее движением руки, сказала, вставая:

— Оболочитьце подай!

Единственная свечка, оплывая, трепетала в серебряном свечнике. Длинные тени дрожали по стенам. Марфа Ивановна поспешно одевалась, туго заматывала черный плат. Пише коротко бросила:

— Пойдешь со мной! Боле никого не зови!

Олимпиада Тимофеевна поняла, ахнула, да и прикрыла рот. Кинулась собирать лопотинку.

Вскоре две женщины, одетые в черное, вышли калиткою со двора. Снег валил вовсю, заметая следы. Близ усадьбы Короба, на улице, московские ратники ежились в стороже. Освещенные окна терема бросали желтые пучки света в снежную заверть.

«Верно, уже за столами сидят!» — подумала Марфа.

Псы, принюхиваясь, вертелись под ногами. Оттесняе-

мая ратниками, грудилась у ворот толпа нищих, богомолок, просто зевак, переминавшихся с ноги на ногу, — хоть глазом глянуть на великого князя.

Молча расталкивая толпу, Марфа пробиралась вперед. На нее недоуменно оглядывались, нехотя сторонясь. Набожно перекрестясь, когда миновали наконец рваную братию, Марфа, глядя строго перед собой, прошла мимо сторожевого. Ратник, сам не понимая почему, уступил дорогу. Соображая, окликнуть ли али нет, решил — свои! Завернулся плотнее в шубу. Мерзни тут! Филимон, пес, вынес бы хоть горячего! Дали давеча по куску пирога сухомяткой, а кажну ночь в сторожах! У Русалки небось вон — ратные все ополонились, ходят вполпьяна. В Новом Городе не набраться, дак где ж ищо?! Бабы-то никак в терем? Монашки то ли челядь — тут их не поймешь!

Обе женщины меж тем пролезли в калитку, засыпанную снегом. Марфа хорошо знала усадьбу Короба и помнила про дворовый ход. Тут тоже торчал ратник, и переминались у крыльца какие-то неясные замотанные побродяжки — странницы или нищенки. Ратник был, к счастью, свой, Коробов.

— Куды лезешь! — окликнул он Борецкую. — Не велено пускать!

— Меня велено, — негромко сказала Марфа.

— Чего?! — начал холоп и вдруг отшатнулся: — Христос... боярыня!

— Молчи, дурак, — оборвала его Марфа. — Пиша! — Холопу приказала, как своему: — Стой тута, назад пойдем — выпустишь.

Тот, невесть что вообразив, только затрясся в ответ, прикрывая глаза от ужаса.

Марфа меж тем, плотнее замотав лицо, протиснулась по лестнице, где также было полно слуг. В сенях на нее налетел дворский Якова, Онтипа. Мало не сгреб за шиворот. Нахальный холуй был навеселе, но Борецкая открыла лицо, и тот, внимательно вглядевшись, побледнел и откачнулся к стене. Марфа молча миновала Онтипу. Пише вполоборота бросила:

— Жди! — и открыла дверь в господскую половину. Здесь было светло, сновали слуги с блюдами.

— Нельзя! — выкрикнул подскочивший к ней стольник.

— Якова Александрыча покличь! — негромко, но

властно приказала она. Яков вывернулся откуда-то сбоку. Увидев Марфу, попятился.

— Что трусишь, не укушу чать! Поглядеть пришла на ворога своего. Не боись, меня не узнат!

На Якова жалко было смотреть. Взмок, по лбу лился пот, Марфа пошла передом, протискиваясь в толпу разряженных гостей. «По-московски принимают, — усмехнулась она про себя, — за столами — одни мужики!»

Хозяйка потчевала. Несколько жонок стояли в толпе. Звучала музыка. Капа выбежала, пробираясь к ней с расширенными глазами.

— Марфа Ивановна!

— Ничо, погляжу и уйду, — сказала ей Марфа.

От музыки, застольного говора, звона и звяка посуды, шевеленья гостей и беготни слуг стоял гул, в котором без остатка тонула тихая речь женщин: истерический шепот Капы и спокойные, чуть насмешливые ответы Борецкой.

— И так жисть мою поломали! — с ненавистью и мольбой говорила Капитолина. — Матушка, прости, только выйди отсель!

— Погоди, не егози, — отвечала Борецкая, не глядя на невестку. — Который-то? Тот, брови сросши у его? А етот не Данило Холмский? А, Федор Давыдович! Тоже из тех...

Великий князь московский оглянулся. В толпе — уже привычно для Ивана — все опускали глаза под его взором. И тут он увидел одну пару неопущенных глаз. Сверкнул очами. Еще не зная, почувствовал — она!

Марфа прищурилась, пожала плечами: «Що говорят, у его взгляда никоторая жонка вынести не может?.. Мужик видной, а ище и полуцше есть!» Сама бы не призналась себе, что московский князь ей понравился.

Иван первый отвел глаза. Хотел спросить кого ни то, но спрашивать было не время, и он лишь чуть заметно нахмурился. Погодя, поглядел вновь в тот же угол и уже не увидел никого, решил — почудилось.

— Ну, спасибо, доченька, — сказала Марфа, выбираясь из толпы, — все я посмотрела, все я видела! За столы не прошусь, судьбы твоей поперек не лягу, налажай жисть свою, как тебе любо!

В гомоне и шуме празднества мало кто еще обратил внимание на одетую во все черное, замотанную платом до глаз не то монахиню, не то, как решили некоторые, бедную родственницу Коробову. Только Яков, выгляды-

вая поверх голов и увидев усмяглое, как после обморока, лицо дочери, понял — ушла!

В черных сенях Марфу нагнал ключник, с запозданием посланный опомнившимся Коробом: хозяин, мол, просит извинить и выкушать! С поклоном он подал чашу душистого горячего белого меду. Марфа усмехнулась, сказала:

— Прими, Пиша! — Спустясь по лестнице и завернув за угол, где потаптывался давешний московский ратник, примолвила: — Дай вот служивому, намерз, поди!

Ратник опорожнил посудину единым духом. Оглянулся — отдать чашу (словно серебряная!), женщины уходили, не оборачиваясь. Дернулся было следом, остоялся, оглянулся и сунул чашу под тулуп. Вот повезло так повезло! На всякий случай он подобрался, подтянул кушак и принял неприступный вид. Серебряная чаша приятно давила под ребро.

Марфа воротилась домой усталая, как после тяжелой работы! В терему Борецкой показалось холодно, ее лихорадило. Свой дом уже не грел. Московский ветер проник и сюда и уносил вековое нажитое тепло.

— Вели затопить! — сказала она устало.

Слуга внес дрова, наложил печь, запалил, подул, чтобы разгорелось. Поглядев на боярыню вопросительно — она согласно прикрыла глаза, — поставил кресло прямь огня, вышел, бережно притворив дверь.

Пиша принесла кувшин со сбитнем, сахар и пряники. Кивком головы Марфа поблагодарила ее и отпустила, желая остаться одна:

— Поди, Пиша!

Устроившись в кресле и поставя ноги на скамеечку, ближе к устью печи, Марфа сидела, кутая плечи в свой старый, уже не по раз штопанный индийский плат, и глядела в огонь. Много можно высмотреть вот так, глядючи, как обегает поленья светлое пламя, как вьются, лижут темнеющее дерево длинные желтые языки, как легкие частицы пламени отрываются, уносясь и исчезая, как чернеют, лопаются и расцветают красным смолистые поленья, словно далекие солнечные страны возникают и рушатся в золотой пыли, диковинные города земли восточной, неведомой, невиданной сказочной Индии, где Строфилат-птица раз в тыщу лет сгорает и возрождается в огне, и лалы растут на деревьях, где живет Индрик-зверь, и счастливые люди, не имеющие

одежды, ни богатств — наго мудрецы. Угли, догорая, рдеют, темнея и окутываясь пеплом, пламя слабеет, мельтешат мелкие синие языки, как суетливое лицо Якова давеча...

Спокон веку велось: гость приходит в дом, хозяин чествует его, и сам величаясь. Чем более гостю честь, тем выше почет и хозяину-хлебосолу. И вот появляется гость, при котором уже хозяин не хозяин. Хозяин трясется и суетится без нужды, гость царит и распоряжается в доме. Но и гость ведь все равно не хозяин! Он уйдет, разрушив дом, развеяв по ветру ощущение вековой прочности, оставив угли, тлеющие головешки на месте хоро́м. Разоренный дом, разоренный Новгород!

Марфа Борецкая смотрит в угасающее пламя. Глаза ее не слезятся, губы сжаты. Прямая складка меж бровей пересекает лоб. Тени ходят по лицу, живые тени пламени.

У нее схвачен сын, и теперь она знает: великий князь не выпустит его живым. Она крепко сжимает рот. Тепло, подымаясь от ног, растекается по всему телу. Тепло от угасающего огня.

ГЛАВА 24

Новгород долго опоминался от княжеского веселья. В чести стали те, кто выжидал и прятался, заигрывая с Москвою. На место Ивана Офонасовича славенские бояре избрали посадником Луку Полинарьина. Время требований прошло. Настало время прошений.

Город был потрясен более всего увозом великих бояр. Дело оказалось общее. Увоз бояр касался и всех прочих. Можно было негодовать на самоуправство захваченных, завидовать их богатству, но то были свои бояра, столпы Новгорода, граждане, избранные от тысяч и для тысяч являвшиеся примером. Проклинали их, бывало, но если Богдан Есипов (сам Богдан!), Онаньин (как-никак степенной посадник!), Борецкий (сын Марфы!), ежели они могли быть схвачены и увезены, то что же прочие? Если можно их, то нас-то уж — и спросу нет! Мысль такая подспудно шевелилась в каждом горожанине. Только те, кому нечего терять, нищая рвань, ухорезы, живущие подачками и воровством, радовались самовластной силе московского князя. Но и их было немало, а еще больше тех, кому разорение, потеря земли, дома, заработка грозили ежедневно и ежечасно, кто уже

не мог говорить «мы», а начинал говорить «они». Богатый город наплодил, себе на горе, тьму бедняков.

Посольство в Москву собирали весь февраль. В марте отправились бить челом о пойманных (которые были посланы на Коломну и в Муром) архиепископ Феофил, посадники Яков Короб, Яков Федоров, Окинф Толстой и многие другие. Великому князю привезли богатые дары. Посланные были упорны, но все оказалось тщетно. Иван Третий кормил их обедом, неделю посольство вело переговоры и ни с чем уехало назад.

Девятого мая (потом узнали — поразились: день в день!) у Борецкой сидели: Онфимья с шитьем, — теперь зачастила к подруге, хоть тем помочь, жена забранного Олферия, Феврония, тоже проводившая дни у матери, и Оленка, вечеровали. Федорова Онтонина вышла как раз. Вдруг, присев, Марфа спокойно сказала:

— Федя умер! — На недоуменный испуг и возражения Онфимьи она только покачала головой и отмолвила: — Знаю. Сердце говорит.

Потом узналось, и верно. Девятого. Перед смертью посхимился. Как мог здоровый, словно бык, молодой мужик свернуться за пять месяцев — о том знают московские застенки да заплечных дел мастера, а те и знаючи не скажут.

Григорий Тучин после освобождения из затвора, считая себя предателем по отношению к тем, кто был увезен в Москву, почти перестал встречаться с Савелковым и совсем не бывал у Борецких. В душе его совершалась тяжкая работа, и что-то прежнее в корне переворачивалось. Не признаваясь сам себе, он был сломлен недолгим своим заключением, сломлен тем, что его, оказывается, могли схватить, как любого простого посадского, что его боярская неприкосновенность — состояние, в котором он родился и вырос, — оказалась всего лишь бесплотной мечтой, обманом воображения, как и многое другое, казавшееся доднесь незыблемо прочным.

Союз, с трудом собранный Богданом Есиповым, распался, казалось, навсегда. Не один Тучин присмирел, притихли Селезневы, разбрелись житьи, в городе шла какая-то мышиная возня. Иван Савелков, единственно уцелевший от вторичного княжеского погрома, был в отчаянии. На глазах пропадало все, он терял товарищей, терял друга Григория.

Упорно ползли слухи о близком конечном одолении

Новгорода князем московским. Эти слухи с бродячими монахами, странниками и странницами растекались в основном из Клопского монастыря, куда Савелков попал, сам того не желая, в чаянье какой-то истины, хмурым и холодным весенним днем, когда и пятна цветущей вербы напоминали снег.

У монастыря и в ограде, как всегда, толпились нищие, юродивые, богомольцы. «Разогнать бы их нать, вовремя не сумели, а теперича и руки не достанут!» — хмуро думал Иван, слезая с коня. Растолкав рвань, боярин прошел к церкви. Здесь, у стены, была могила прабабки, общая ему с Тучиным, если считать по материнской ветви, и Савелков, едучи из Русы, вдруг решил взглянуть на нее, найдя в этом предлог для посещения Клопского монастыря.

Хитроглазый, похожий на купца настоятель сам подошел к боярину, остановившемуся случайно у плиты Немирова отца, похороненного рядом с его прабабкой.

— Не родственник, случаем, Ивану Офонасовичу? Бывал, бывал у нас боярин! Прегордо величахуся, и не ведах ни часа, ни судьбы своей! Како бог сильных наказует и смиряет до зела! А и допрежь того блаженный Михаил Ивана Офонасовича Немира остерегал и говорил ему — еще когда приняли князя литовского, Михайлу Олельковича, — «то у вас не князь, а грязь!». По то и вышло!

— Врешь ты все! — грубо возразил Савелков. — Блаженный твой за двадцать лет до того помер!

Настоятель все так же улыбался, нимало не смущаясь. Возразил:

— Не вемы смерти причтенных к богу! Их дух незримо руководит делами и мыслями нашими! А были и иные князи литовские в Новгороде, и при тех такоже было! Тут вот убогий народ собрался. Молить господа и Михаила блаженного за великого князя, да правит нами страшно и грозно, яко же и достоит ему в государстве своем! Како помыслишь о том, боярин?

Настоятель ушел. Иван, насупясь, воротился к своему коню. Верно, что гнездо московское! О чем и думали допрежь?! Садясь на коня, Савелков приметил тряпошного мужичонку, вжавшегося в ограду:

— Новгородец ле?

— А как же! — радостно ощерясь, подтвердил тот.

— И тоже за великого князя московского молитьце пришел?

Тот покивал головой, все так же радостно глядя на боярина.

— И страшно, и грозно... — процедил Савелков сквозь зубы.

— Грозен, грозен! — живо откликнулся тот.

Иван прихмурился. Мужичонко шмыгал носом, долгим катаным рукавом отираясь, подобострастно и блудливо озирал роскошные сбрую и платье. С презрением глянув на него с коня, Савелков спросил:

— Власти захотелось?

— Да уж, что уж?! — жидкие светлые бегающие глаза под белесыми бровями на красненьком улыбчивом лице поднялись к Савелкову. — Как вашей милости, а тут всякому кланяйсе, ужотко одна власть для всех! Вона, Онаньинича утишил! Вы-то не больно-то до нас добры!

Огрев плетью с кованым, оправленным в серебро наконечником дорогого атласного коня, — жеребец прянул с храпом, кидая грязь, брызгами разлетевшуюся с монастырской мостовой, понес вперед, — Савелков вылетел за ворота.

«Прожили свое, истеряли... Эх!»

И снова плеть змеисто ожгла бешено скачущего коня. Подпрыгивая в лад на седле, Иван все не мог унять злой обиды и повторял, сжав зубы, издевательскую приговорку юродивого: «Не князь, а грязь. Не князь, а грязь! Грязь! Грязь!»

Комья летели из-под копыт, звучно шлепая по плахам монастырского тына, по стволам дерев. Иван горько усмехнулся:

«В самом деле — грязь! Король этот... Верили, спорили, грамоту составляли! А кабы и помог, не хуже ли стало бы еще? Разваливается все! Друг, Гришка Тучин, уже отшатнулся, Селезневы... Он сам, с чего потянуло сюда? Не быть Новугороду! Не быть...»

Эх! Воля! Серые тучи, ветер! Все отдай за хмельной простор, за ровный сумасшедший скок коня! Неужели в кабалу к Ивану?!

После проводов великого князя заболел Офонас Остафьевич Груз, надежда и воля Софийской стороны. То ли простыл, а скорее — душой надломился.

Он лежал, когда Борецкая, воротившаяся из деревни, приехала к нему. В скудном свете лампад не разобрать было лица. Внесли свечи, и Марфа ужаснулась — до че-

го изменился Офонас за три прошедших месяца! Дышал он хрипло. Марфа посоветовала настой из трав, который, случалось, принимала сама. Офонас повел головой:

— Все пробовал... Парился... Ничего не помогает.

— Ничего?

— Ничего. Пережили мы с тобой, Марфа! Умереть бы в срок, как Григорий Кирилыч да Федор Яколич *... Помнишь Григорья Кирилыча-то? Хоть не видали бы этого сраму!

— Встанешь еще! — сказала она, сдерживая дрожь голоса. — Нужно собирать людей!

— И не встану, — ответил он хрипло. Помолчал, облизнул губы, добавил тише: — Я уж ничего не могу...

Что-то жалкое показалось в лице у Офонаса, впервые за все те годы, что знала она его. Марфа обвела глазами горницу: иконы, лампадки во всех углах. Тоже новое — не был особенно богомолен Офонас!

Она подала ему напиться. Поддержала, пока пил, тяжелую бессильную голову. Офонас выпил, откинулся на взголовье. Из-под ворота рубахи, на сине-багровой толстой груди видна была белая шерсть. Большие бугристые руки в коричневых пятнах бессильно лежали на одеяле.

— Ты, Марфа, в страшный суд веришь? — помолчав, вопросил Офонас. — Вот, конец света грядет?.. А я верю. Раньше-то не верил, не чуял е е...

Он вновь поглядел жалобно, и у Борецкой защемило сердце. Вспомнила, как еще перед рождеством был у нее на обеде, как шутил, как со вкусом ел рыбу, долго прожевывая беззубыми твердыми челюстями, как он, не страшась, первый подписывал грамоты, как одним присутствием своим, тяжелой медлительной основательностью, даже глухотой вселял уверенность в других... А теперь — в срок умереть.

— Нет, нельзя! — сказала она ему громко на ухо, чтобы расслышал.

— Что, Марфа?

— Нельзя, говорю, умирать!

— Вота, нельзя! А можно.

Он трудно улыбнулся и на миг показался прежним, всегда уверенным в себе Офонасом Грузом.

Тимофей, большой, костистый, боком протиснулся в горницу, стараясь, как видно, казаться меньше перед умирающим старшим братом. Так же, боком, поклонился Борецкой.

— Вот, Тимоша, — прохрипел Офонас (никогда так не называл брата на людях, как помнила), — вместе мы были. Ты теперь Ивановну не покидай... — и прибавил сухим шепотом: — Пропадает Новгород Великий!

Приближалась осень. Борецкая все так же строго вела хозяйство, принимала обозы. В часы отдыха нянчила внука Василия, Василька, рассказывала мальчику, какой у него был отец, мешая черты Федора и Дмитрия: большой, сильный, смелый...

Ездили к ней немногие. Построжевший после прошедших событий Савелков да еще пять-шесть друзей старых. Но однажды Олена застала мать за разговором с Окинфом Толстым и услышала еще из-за дверей прежний властный голос матери и сердитый голос Окинфа.

— ...То и Казимир, а поклонами воли не добудешь!

Мать смолкла, едва Олена отворила двери, и дочь так и не поняла, о чем они говорили — не то о Казимере, брате Якова Короба, не то вновь о литовском короле?

Мать была все та же. Смерть Федора не согнула ее.

Марфа Борецкая по осени стала почасту бывать у купцов. Ярославово управление во Пскове и их вразумило паче иных речей. Князь Ярослав Оболенский, ставленник Ивана Третьего, все больше свирепствовал во Пскове, облагая город поборами и отбивая смердов от городского вечевого управления. Второго сентября, пьяный, учинил драку на торгу. Один из его слуг потянул капусту с чьего-то воза. Возчик не дал, завязалась драка. Посадским Ярославовы холуи давно уже стали поперек глотки, сбежался народ. Ярослав появился сам, в панцире, и начал стрелять, убил человека. Безоружные вспятились, Ярослав же, зайдясь, угрожал поджечь город. Но тут на него пошли с оружием, осадив князя в Кроме, Детинце псковском. Всю ночь гремел набат, и вооруженные горожане стерегли князя. Посадникам с трудом удалось утишить город. Об этом уже через день судачили в Новгороде, предрекая и себе такую же участь от москвичей, ежели поддадутся великому князю. Вновь город заколебался, вспоминая о своих древних вечевых правах. В это же время в Новгород тайно прибыл посол от короля Казимира, побывавший у многих бояр, и у Борецкой в том числе.

— Почто король не всел на конь, когда мы были в

силе? — гневно отмолвила Марфа. — А теперь ему в городе и веры нет! Пущай других уговорит, тогда и я подумаю.

Она больше надеялась нынче на псковичей: может, опомнятце да к ним пристанут? Зато Иван Кузьмин, зять Овинов, ухватился за королевского посла обеими руками. Он да иные из пруссов и неревлян имели с послом долгие беседы. Разговаривал посол и с Юрием Репеховым, наместником владыки Феофила. Но все это было лишь чадом на пепелище, бледным воспоминанием о былых погубленных надеждах.

В конце сентября Новгород горел. Осень стояла сухая, ветреная. Пожар начался у Николы на Розважи. Враз не могли унять, и вырвавшийся огонь пошел гулять по улицам и берегу, слизывая амбары, терема, лодьи, груды леса и добра. Казалось, огонь тщится пожрать все то, что еще не досталось великому князю московскому.

Пожар добрался и до Марфина двора. В амбарах лопались мешки с солью, гулко, словно пушечные выстрелы, взметывая охваченные огнем сквозисто просвечивающие бревна. Мерцающие куски огненной драни вились в столбах горячего воздуха, душной гарью заволакивало улицы. От колебания ветра вся Великая враз наполнялась нестерпимым жаром, от которого сохла кожа на лице и шевелились, затлевая, одежды на людях. Горячие головни падали, как редкий сухой град, с шипом догорали на уличном настиле, выжигая в мостовой черные круги.

Из терема Борецкой выносили иконы, узорочье, серебро, волочили сундуки с добром, кули с мукою и житом, выкатывали бочонки. Марфа, стоя на улице, неотрывно глядела, как занимался, несмотря на все тщетные усилия дворни, угол великого терема, как чернели и жухли листья на яблонях сада, как по черным с повисшими тряпочками листвы сучкам стали разбегаться огненные мураши, и вот уже долгие желтые языки принялись лизать погибающий сад, охватывая кусты и деревья. Длинным золотым змеем пробежав по забору, пламя вцепилось в него, извиваясь и корчась, вот оно кинулось на крышу дворницкой, а сзади двора водометом взметнулись искры выше терема, выше маковиц золоченой кровли, раз, другой... Упадая и вновь взметываясь к небесам, пламя охватило терем, и вот уже маленькие красные чертики побежали по золоченым

черепицам, и вышка, черная в огненном пламени, вдруг вырыгнула изнутри длинный сноп огня и вся стала как пылающий факел. Терем погибал. Рушилось все, что было славой, гордостью и величием рода Борецких. Резные расписные грифоны исчезали в огне. Лопались, выметывая клубы огненного дыма, немецкие цветные стекла. На миг дивною красотою извилось пламя по прорезному узорочью опушенной кровли. Внизу голосили бабы, совались черные от копоти мужики, ржали испуганные кони, которых под уздцы выволакивали из объятых огнем конюшен. Не переставая, сыпалась тлеющая сажа, а вверху, выше кровель, ярко плясало предсмертное пламя, уносясь в огненной метели былого счастья, гордости, удали и смеха сыновей, и рушились в ничто черные, просквоженные огнем венцы.

Ключник, отплевываясь, выскочил из ворот.

— Чего митусятце! — прикрикнула Марфа. — Поварню разобрать надоть, дале бы огонь не пошел!

Иев нырнул обратно в дымное море.

— И житницу размечите! — крикнула Марфа вслед. — Пожалеете — полгорода сгорит!

С потрясающим треском и шипом обрушилась главная кровля. Теперь все. Оба сына допрежь и сейчас — родовой терем. Что еще оставалось от прошлого у старой женщины, знаменитой, властной и богатой, погибло в пламени. Теперь у нее остался один только Новгород, и его нельзя было отдавать ни огню, ни московскому великому князю.

ГЛАВА 25

Подступал и наступил октябрь. Строились наспех, из нового, плохо просушенного леса. Раньше бы и не позволила себе такое! Завозили запасы взамен потраченных пожаром: хлеб, холсты, лен и шерсть. Из волосток гнали новые обозы с добром в Новгород. Телеги вязли по ступицу в раскисающих от осенних дождей дорогах. Борецкая сама выезжала встречать и торопить возчиков. Терем сложили простой, на первое время. Где-то в душе Марфе и не хотелось лучшего — не для кого теперь!

Незаметно, в трудах и заботах, подошло рождество, а за ним святки со славщиками, ряжеными, гаданьем, а там уже и февраль не за горами. С концом февраля начинался новый год, последний (о чем смутно догадыва-

лись многие) год независимости Господина Великого Новгорода.

Дела были невеселые. Святки встречали без Офонаса. Старик скончался в канун рождества. Вместо славщиков — гроб на белых полотенцах выносили из терема. Без Офонаса Людин и Загородский концы совсем отшатнулись. Заправлять там стали Феофилат с Александром Самсоновым, а ни тот, ни другой не хотели явно спорить с Москвой. Плотничана тоже отложились. С Коробом и Казимером прохлада наступила уже давно. Борецкая оставалась одна. Город баламутили вялые пересылки с королем Казимиром, в которого никто уже не верил, да сгущающаяся угроза от великого князя московского. Все упорнее говорили о готовящихся выводах — насильственном переселении опальных в низовские города. Наместники великого князя делали что хотели. Уже все низовцы по суду не отвечали в городе, а шли на Городец отвечивать перед наместником, решавшим всякое дело в пользу москвичей. Купцы начинали разбегаться в Кострому, в Устюг, в Вологду, кто тайно, кто явно. Даже друзья отбывали, с кем думу думали, совет советовали.

Гром грянул в январе. Великий князь вызывал новгородцев на суд к себе, в Москву. Всех — и того, кто не дождался разбора своих дел в тот приезд великого князя, и тех, чьи жалобы были поданы городецкому наместнику и еще не рассмотрены. Вызывал истцов и ответчиков, и не только мелких людей, но и бояр великих — самого Захарию Овина, Василия Никифорова Пенкова, Ивана Кузьмина. Такого еще не бывало. Многие и не верили даже. Судиться у себя, в Новгороде, — это была святая святых граждан вольного города. Без разорительных дорожных расходов, без исправы московской, где обдерут и правого и виноватого, где попасть в яму — хуже, чем умереть. У себя в затворе сидеть — не в пример легче! Все из дому передадут лишний кус, да и сунут стражнику, чтоб не прижимал очень, дома и стены помога!

Захария Овин не любил рискованных дел. В его ненависти к Борецким, давнишней, прочной, было, кроме идущего из старины родового соперничества, кроме кончанской вражды и юношеских воспоминаний о погроме неревлянами дядиного терема (то же теперь и им устрои-

ли — поделом!), в этой давней ненависти было и постоянное раздражение на то, как неоправданно и, с его точки зрения, зря Борецкие лезли на рожон. Потеряв старшего сына, Марфа не изменилась. Это сбивало его с толку.

Овин понимал других через самого себя. От Олфера Гагина он отобрал четыре обжи хорошей земли под городом. Олфер сумел нажаловаться московскому князю. Он и сам бы на месте Олфера поступил так же. Теперь приходилось судиться о той земле перед князем. Раскаянья он не чувствовал, разумеется. Земля есть земля — не зевай! Новгородское управление дотоль было хорошо, по мнению Захарии, доколь устраивало его самого. Он нравом пошел скорей в дядю, чем в отца, тот-то был и в Совете среди старейших, имел вкус и к власти, и к заботам городским. Овин же сторонился дел посадничьих. Раз только ездил послом в Москву с Ионою и с Иваном Лукиничем, да и то больше помалкивал, предоставляя Лукиничу вести посольское дело. Хозяйство — это он понимал. Не лез на Двину: «За чертом нужно с Москвой тягатьце! Свои волостки тута, их и обиходь!» Новины припахивал каждый год, да и прикупал, да и так прибирал к рукам немало, где только можно. И росла Овинова волость! Хоть и не размахивался, как Борецкие, а имел не меньше Марфиного. Во всем Новгороде один Богдан Есипов был богаче его. Зато и уважал Захарию Богдана, из-за него согласился и просить за поиманных — не за Федьку же, Марфиного дурня!

В рисковые дела Овин пихал других. Что получится, а там уже видно будет! Ругал зятя за бегство с борони, а сам послал на Шелонь брата вместо себя. И с королем Казимиром ждал: а вдруг выгорит дело? Тогда — мой зять в Литву ездил! Наша семья напереди!

И вот когда пришла главная труднота! Нынче самого пихают наперед — и не отпереться, и переждать нельзя, и прикрыться некем. Его, его! Захарию Григорьевича Овина князь зовет в Москву на суд.

«От Рюрика того не знали!» — ворчал Овин.

Верно, от Рюрика! Как стоит Новгород — суд был у себя. Прежде еще с наводкой придешь, кликни — вся улица за тебя. Высуди не по-твоему! Утеснил Иван. Умен. Не откажешь. Служат ему московские-то бояра. Вельяминовы, Оболенские, Кошкины. По струне ходят. Весной, вон, тверские бояра поехали на Москву, в службу. Охо-хо-хо! На Низ ведь пошлют. На татар. Его, Захарию.

Или сына — тоже не легче... А волости отоймут — легче станет?! К Марфе Борецкой припишут во товарищи! Уж коли в самом Новгороде хватать стали, дак окончилась воля новгородская. Ну, а поедет он сейчас... Да еще как тут повернется? Шалым делом и голову снимут! И ехать нельзя, и не ехать нельзя. Обсудить нать, хош со своими, плотничанами. Ну, а скажут: не езди? А после, как на Шелони, в кусты? Надо ехать!

Решил твердо, а стало не легче от того. В гридне кончанской собрались все: и зять, мокрой курицей, и Яков Федоров, и Кузьма, брат, с сыном Василием, Михайло Берденев, тоже с сыном, житьи, почитай, ото всех улиц, с Гришкой Арзубьевым — в отца кочеток! Семьей бы собраться, ближним, одним боярам — куды ни шло. Ну, а тут колгота пошла враз: «Ты поедешь, дорогу протопчешь, а иным как?» Иным! У иных свои головы на плечах небось. Обдумать еще, мол, надобно. Не сдержался:

— Думать что? Думать легко, коли не тебе позвы пришли!

Яков (он-то чего взъелся!) крикнул:

— Иуда!

Захария тяжело встал, утвердился на ногах, на сапогах тимовых, на красных каблуках с серебряными подковками, как кабан, окруженный псами, повел головой, тяжко глянул на Якова, стал опоясываться. Борода вздрагивала от бешенства. Глухо сказал:

— Еду к Москвы, ко князю.

— Иуда! —повторил Григорий Арзубьев из толпы житьих.

Захария, покраснев шеей, прорычал:

— Кто из вас не Иуда?! И кто Христос, его же предаю есмь?!

— Родину предаешь, Искариот! — ответил Григорий.

— Вы, что ль, родина? Осрамились на Шелони, воины! — Уже от дверей Овин оборотился и предрек: — Уеду — за мной побежите вослед!

Захария был осторожен, но не труслив. Прижатый в угол, лез, как медведь, вперед, напролом. Его не остановили.

Возок Овина выкатился из Рогатицких ворот и влился в череду просителей и ответчиков, что тоже тянулись в Москву, по приказу великого князя. И внове было, и чудно, что с подлым народом наравне ехать приходит.

Потертые колымаги, сани, возки, в разномастных упряжках, в грошовой сбруе. Волоклись за сотни верст вдовы, обиженные родичами, чернецы и черницы мелких монастырей, житьи, купчишки, ремесленники, коих тогда сгоняли на Городец и кои нынче опять понадобились Ивану для какой-то своей надобности. Захария, не обманываясь, чуял, что весь этот народец лишь личина, а что под нею? А под нею он — Захария! Овин нарочно обгонял обозы, чтобы оказаться впереди и не мешаться с прочею дрянью.

Почин Захарии сломил и других. Василий Никифоров Пенков погодя поехал тоже. Поехал за ним, как и предсказывал Овин, Иван Кузьмин. Теперь уже торопились обогнать друг друга.

У Василья Никифорова перед отъездом был трудный разговор с сыном Иваном. Впервые отец избегал смотреть ему в глаза. Сам думал с болью, что вот, всегда был героем, дрался на Двине в первых рядах рати, четырежды смерть висела над головой, и вдруг как трус, как предатель... Высказав самое трудное, он смотрел украдкой, ища укора в сыновьем взгляде, но не встретил. Иван глядел на отца и сам скорбно, потерянно. Вдруг Василий Никифоров понял, что и сын боится, боится, может, еще больше его самого этой давящей многолетней угрозы.

— Не осуждаешь?

— Нет, отец. Головы спасем. Да землю... Ничего уже не спасти боле!

Не таким был Иван Пенков шесть лет назад, когда еще живы были Дмитрий Борецкий с Селезневым. Отец с сыном обнялись крепко, и поехал воевода новгородский на позор, на поругание, на суд в Москву — вольный боярин вольного города, никому не кланявшегося с самых первых, изначальных времен.

Захария не ошибался. Не из-за четырех гагинских обжей земли звали его в Москву! И когда показались в серебряных от инея перелесках и путанице дорог сбегающие с мягких склонов деревни, что густели с каждой верстой, вытягиваясь рядами изб вдоль зимника, прерываясь все реже, они начинали превращаться в улицы, и вдали, над лесом, уже забрезжил белокаменный Детинец московский, Кремль по-ихнему (язык сломаешь! У псковичей Кром, дак как-то и выговорить легше! Овин любил все круглое, крепкое, чтобы и дорого, да просто, — и в словах тоже), он плотнее запахнулся в бобровую шубу (шуба седых бобров — поищи такую на Москве!), поше-

велил ногами в медвежьей полости — затекли от долгого пути — и невесело усмехнулся:

— Плетутьце тамо! На суд... Нужны... Я нужен!

И оттого, что нужен именно он, стало не то что веселее (поди знай, чего потребуют), а крепче как-то.

Пока устраивались на монастырском подворье, размещали припас, возы, коней, слуг — Овин приехал с небольшим обозом, меньше хоть зависеть от московлян, — пили и ели с пути, подъехал московский пристав. Захария был зван к великому князю назавтра, о полден. Долго не держат, тоже то ли к хорошу, то ли к худу!

Выстояв и высидев положенное, — на Москве в иных делах не торопились, — Овин говорил с боярами Челядней и Китаем.

Будет ли он, Захарья Григорьев, бить челом в службу великому государю московскому?

Овин ожидал этого вопроса, думал о нем всю дорогу. Бить челом государю — значило нарушить все новгородские законы и устои, отречься от своих... И надо было отрекаться!

Он прямо заявил, что почитает честью великой служить верой и правдой государю московскому, но не мыслит только, как доложить о том Совету господ и Господину Новгороду?

После этого он опять ждал и наконец был допущен пред очи Ивана Третьего. Иван милостиво поздоровался с ним, показав, что помнит прием, устроенный ему Захарией.

— А что касаемо опаса твоего, — изрек Иван, — то мыслим попросить владыку Феофила, богомольца нашего, и прочих, дабы отчина наша, Новый Город, прислала послов к нам, господину своему, яко к государю, и служила бы нам честно и грозно, яко же и подобает служити государю своему!

Захария не сразу понял, чего хочет Иван. А тот, пристально глядя в глаза боярину, добавил:

— И мыслим мы, что ты, Захарий, возможешь нашу волю Господину Новгороду передать и предстательствовать о том пред отчиною нашей!

Когда он сообразил, что Иван хочет распоряжаться в Новгороде, как на Москве, и от него требует заявить об этом Совету господ и всему Новому Городу, Захару стало жарко под шубой. Так просто — всех под топор! А как же вече? А как же степенной посадник, и его долой? А Совет господ?! У боярина голова пошла кругом.

Заслониться — кем? чем?! Спасительная мысль пришла в голову: меня ведь одного не послушают! Василий Никифоров, он тоже зван! И за тем же делом! Им заслониться! И владыка, пущай он решит, сам передаст Совету... Но отвечать надо было немедленно, и надо было отвечать самому, не спихивая на Совет. Он отнюдь не хотел угодить туда же, куда угодил Онаньин со своими ответами, что мне-де не наказывали, да со мной не посылывали... Накажут!

Надо было соглашаться на все. И Овин склонил толстую шею. В конце концов он хоть тут, а первый! Ежели что — ему зачтут эту первую его службу московскому государю.

Василий Никифоров приехал на другой день. Его заставили подождать подольше. Захария пока выяснял у московских дьяков свои судебные дела, давал, закусив губу, направо и налево и только покряхтывал, видя, как опустошается кошель с серебром.

Но вот и Василий Никифоров в свой черед стал перед Иваном и тоже бил челом в службу государю. Иван милостиво объявил, что наместникам княжьим о службе его и Овиновой Совету вятших мужей новгородских, посадникам, тысяцким и вечу пока долагать не велено. Что же касаемо государства, то тут Василий набрался духу и объявил, что сам он верой и правдой готов служить государю, а о том, что решит Господин Новгород, ему без Совета господ и приговора веча обещать не можно, хоть он и готов передать...

Иван долго пронзительно глядел в глаза Никифорову.

— С благословением владыки, я готов... — прошептал боярин.

Пенкова увели и вызвали погодя на говорку к думным боярам государевым. Тут ему прямо сказали, чтобы молчал о тех речах, но подумал и пораскинул умом — стоит ли ему отрекаться от службы государевой?

Перетрусив, растерянный воевода наконец сдался и обещал сделать все возможное, чтобы Новгород послал к великому князю посольство о государстве — прошать Ивана быти государем в Новгороде, как и на Москве. Его уже не приводили к Ивану, наказав обсудить дело с Захарией Овином.

Возвращаясь верхами с последнего побыва в Кремле, куда их вызвали вместе, и глядя в затылок Никифорову, Овин твердо решил — при малейшей замятне предать его в руки новгородцев и тем спасти свою голову. «Дурак!

Упирался еще! А я все делай один? За всех! Я сделаю! А ты, голуба, ответишь!» — он заранее обрекал топору поникшую голову неревского боярина. Да владыка пущай подумает! На Совет господ, конечно, не стоило полагаться, а уж на вече и тем более.

В Новгороде Захария первым делом наведался к Феофилату Захарьину. Неважно, что тот не на степени. Он сейчас, после смерти Груза, первый у пруссов, а от Прусской улицы много зависит!

Но Феофилат не был на Москве, его не прижимали, от него пока ничего не требовали, да и вообще рисковать ему хотелось еще менее, чем Захарии. Он сделал свой любимый извилистый жест рукой, посетовал:

— Ошибся ты маленько! Надоть было так! И не отказывать и не обещать очень-то!

— Сам побывай! Надоть! Кому говоришь! — взорвался Овин.

— Не гневай, Григорьич, — возразил Феофилат, улыбаясь и поглаживая жидкое, расползшееся брюхо. — Прикинь-ко, кому я скажу? Ну, степенному.

— Кирилла Голый...

— Да, то-то вот! Кирилла Голый ничего не может, понто и выбрали, сам знаешь! И етого тоже не сможет. Лука? Тимофей Остафьич? Самсонов? Да ни в жисть! Суди сам, Захар Григорьич! Ну, мы с тобой решим, а неревляна? Короб с Казимером? Яков осторожен, ему пожить охота еще! Савелкову и намекнуть опасно. Селезневы, Михайловы, Тучин, Окинф Толстой? А коли до Марфы дойдет?! Ну, славляне еще... Да и то! Своеземцев, Глухов не примут, и спрашивать неча. За своих-то ответишь? Ну, Кузьма твой, а Яков Федоров? И то скажу: Совет уговорим, Феофила — ну, тот сам готов! А вече? А житьи? Им чего? Им на Низ ездить — разорительце! Съедят нас оне и костей не оставят! С архиепископом решить надоть... Через него. Да коли посылать о государстве, тайно чтоб! И я тебе тут не помощник. Слепитце — хорошо, нет — отвечивай сам уж! Пусть-ка московский князь великий, коли так умен, сам и уговаривает мужиков!

— Мы с тобой, как злодеи, отай! — сдался Овин, вытирая платком вспотевшую шею («Вот увяз!»).

— Злодеи не злодеи, а без ума дело не делают! Иван ить на земли заритце, тут прогадать — и нам с тобою дорого станет! Теперь пошлешь кого? Ежели отай? Дьяка

вечевого нать, это беспременно, чтобы законная власть, от веча чтоб!

— Вечевой-то дьяк, Захар, у меня в горсти, поедет! — сказал Овин.

— Еще кого ни то надь из управы! Подвойского хоть, Онфимова или Назара!

— Без Совета? — переспросил Захария, совсем растерявший свою спесь.

— Без Совета, — спокойно подтвердил Феофилат. — Сам-то поезди по людям! С Яковом Коробом надоть сговорить. Меня никому не поминай только! Перед самим Спасом отрекусь!

От Никифорова помочи не было ни на грош. Как воротился в Новгород, так и сидел у себя, словно уже помирать собрался. Захария напрасно объезжал бояр: кто отнекивался, кто спирал на вече. После бесполезного разговора с Яковом Овин выругался про себя. Все ведь, и Короб, и Казимер, и Самсонов, и этот Филат Скупой, Порочка, — он с удовольствием произнес обидное прозвище, — все ведь великому князю кланялись и на верность грамоту подписывали! А поди собери их нынче! Решать должен архиепископ, зачем выбирали?

К владыке Захария с Пенковым отправились вдвоем. Овин вытащил-таки воеводу из дому. Им пришлось дожидаться. Захария ворчал. Феофил, которого он привычно помнил робковатым и недалеким, нынче стал уж очень величаться. Слуги ходили на цыпочках. «Владыка занят, владыка просит обождать!» В заискивающих тихих голосах было почтение неложное. Подивился Захария. Знал, что Феофил укрепляет архиепископию, поставил часозвон во Пскове, в Снетогорском монастыре, прикупает земли, въедается в дела двинские, но чтобы так обломать своих софьян, — об Ионе и не вспомнят небось! — это Овину было внове. То-то Марфа теперича не заглядывает сюда, заказали путь! «Ай да Феофил! Ай да ризничий! Поди, и в московских делах не заробеет!» — подумал он с надеждой.

Но Феофил — это был уже не тот, преданный Москве душой и телом правитель, как когда-то. Хозяйственный и настырный глава Софийского дома был достаточно охлажден в своей любви к Ивану Третьему кровопусканием, устроенным владычной казне последним приездом великого князя. Разговоры о землях, которые якобы собирается отбирать князь Иван, доходили и до него. Слишком ретиво помогать великому князю московскому в этих усло-

виях Феофилу отнюдь не хотелось. Он сухо принял великих бояр — как-никак косвенных виновников притязаний московского государя на владычные доходы! Строгий, почти величественный в ореоле страха и подобострастия, которыми окружил себя за протекшие годы. Неприязненно выслушал Овина с Никифоровым и отмолвил им, что без Совета господ, духовной властью мирского дела такого значения он решить не может.

Теперь о требовании Ивана Третьего признать его государем знали уже несколько человек господ бояр и даже владыка, но все молчали, и ни один из них не хотел брать на себя порушить вековой порядок вольного города. За этими, уже сломленными, но хитрыми, себе на уме, людьми стояла традиция, что была сильнее их самих, коснуться которой они не могли, и одна мысль о возможности такого святотатства внушала им ужас. Даже архиепископ отступал перед древними законами республики.

Овин с горем вспомнил Пимена — тот бы все смог, ежели захотел! А этот — не человек, а трава. Как ни верти, посылать посольство Ивану Третьему приходилось отай, что и советовал с самого начала Феофилат Захарьин. И все сошлось на том, кого послать с вечевым дьяком Захаром? Онфимов казался подозрителен — еще предаст! Овин, мысленно перекрестясь, обратился к Назарию. Все сошлось на нем.

Человек, если он не вознесен родом, знатностью, властью, духовным саном в ряды тех, от кого зависит решать судьбы народные, — как капля воды в окияне. На нем не остановит взгляда строгий летописец, для коего он незаметен в толпе, хотя чело его и отмечено огненною красою. У него могут быть мысли, несхожие с мыслями большинства, и даже целый мир в голове, у него свои понятия о человечестве и задачах власти в стране, но сделать он не может ничего. Ветер гонит волны, разбивая о берег, и отдельные капли, неразличимые в толще воды, умирая, пятнают влажною кровью древние камни, не в силах задержаться, ни сойти с пути, ни даже свернуть немного в сторону, и тем хоть на миг продлить свое безличное, незаметное существование.

Назар был далеко не простым горожанином. Житий, он имел землю, и не так уж мало, до тридцати обеж, не меньше, чем московские служилые дворяне. Он даже сватался к дочери великого славенского боярина (все было

так, как рассказал Богдан Есипов), а получив отказ, затаил злобу на соперника, Василия Максимова, ладившего отдать невесту Назария, в конце концов ушедшую в монастырь, за своего сына. И все же Назар был каплей. Он, хоть и являлся подвойским, не знал всех извивов и хитрых ходов новгородской боярской политики, не знал, чего на деле хотят Овин, Феофилат, Короб, Казимер, Борецкая, не знал даже, что многие из них знают уже то, что под великою клятвою поведал ему Захария Григорьевич Овин, знают и отреклись, свалив на него, Назария, исполнение наказа государева, не понимал, что он — искупительная жертва, приносимая великими боярами в сложной многолетней борьбе с великим князем Иваном за земли и власть в Новгороде. Его ослепила собственная мечта, возможность встречи и разговора с тем, выше кого, кроме бога, не было на Руси, ослепила возможность деяния.

Как и многие, Назарий не умел поставить себя на место властителя, выслушивающего десятки мнений и замыслов, а дай волю — принужденного выслушивать тысячи мнений, тратя на то все свои дни и ночи, властителя, для коего встреча с каким-то Назарием ровно ничего не значила, меж тем как для Назария в этой предполагаемой встрече заключилась и выразилась разом вся его жизнь, как в капле, изъятой из окияна и повисшей над бездною, отражается на миг и солнце, и звезды, и окрестные дали — весь божий мир, как будто бы заключенный внутри нее.

Он, Назарий, мог, и только сейчас, только согласясь на это посольство, сказать Ивану Третьему свою мечту, свою тоску и великую мысль о единстве всего языка русского, с единою главою и властью, подчиненного единым, равным для всех и справедливым законам. И тогда пусть о нем не узнает никто! Пусть даже его проклянет весь Новгород! Зато тогда, быть может, повернется судьба земли русской, и людей судить будут по заслугам перед Землею и языком своим, по тому единому, что сделал каждый для народа, страны, государства Русского?!

Многажды высказываясь о своих взглядах перед горожанами, Назар чувствовал, что здесь его никто не поймет, а и поймет — как понял его Тучин, — тотчас выставит возражение, неопровержимое с точки зрения своих, новгородских интересов. Но ежели его поймет тот, в чьих руках воля и судьба страны, Иван Васильевич, поймет и поверит ему и станет руководствоваться этой еди-

ною мыслию в делах государства Русского — что тогда новгородские вольности, которыми играет Василий Максимов и подобные ему, перед сим ослепительным видением!

И Назарий взял на себя крест и вышел на подвиг. Так думал он сам, покидая Новгород, отчину, давшую ему так много и не давшую еще больше, не давшую досыти главного — совершать деяния его жадной душе и смелому уму, искушенному в науках и книжной мудрости, а такожде знании языков иноземных, повидавшему земли заморские и лишь в одном неискушенному — в понимании тайных замыслов и склада душевного сильных мира сего.

Он слегка презирал вечевого дьяка Захара, с которым они отправились вместе, — скучного человека, сломленного всем нестроением последних лет, постоянной грызней с городищанами, всевластием наместника, который хотел лишь одного: порядка и любого единовластия, при коем он, Захар, мог бы существовать дальше. Вечевой дьяк Захарий не заглядывал вперед и не пытался судить сильных мира. А поскольку все его взгляды были образованы согласно ступеням знатности и богатства, то и авторитет Захарии Григорьевича Овина, совпавший с авторитетом и устремлениями великого князя, был для него достаточной причиной, чтобы исполнить сказанное, не очень задумываясь, худо это или хорошо.

Так отправилось в Москву это посольство, явившееся тем толчком, от коего уже готовая скатиться вольность новгородская должна была пасть в руки московского самодержца Ивана Васильевича. Посольство ни от кого, долженствующее быть посольством от самого большого и самого богатого русского города, города, современного золотому Киеву, старшейшего Москвы, Владимира и почти всех прочих городов растущего Московского государства.

Послы прибыли в Москву в марте, в самом начале весны, когда под солнцем начинали раскисать и проваливаться снежные дороги, но ночью еще подмораживало, и с утра кони весело бежали по твердому подстылому насту. Перед самым городом Назария охватил страх: сумеет ли он добиться разговора с глазу на глаз с великим князем?

Москва была почти вся деревянная, и терема проще и приземистей новгородских. Грязь и вода стояли озерами на скрещениях улиц, которые тут не очень-то чистили, а то и совсем не чистили, не то что в Новгороде. Видимо, и мостовых, подобных новгородским, почти не знала Моск-

ва. Назарий невольно сравнивал столицу Ивана, в которую приехал впервые, с Новгородом, Псковом и виденными им немецкими городами. Москва перед ними всеми выглядела большою деревней.

Крепостные башни Кремля огибали холм, густо застроенный, в середине которого вздымалась почти готовая громада Успенского собора. И то, что приглашен мастер из Италии, казалось радостной приметой Назарию: Иван должен понять мысль, созвучную учениям далеких фряжских философов.

Послов остановили в посольском доме в самом Кремле. Иван явно хотел придать посольству Захара с Назарием то значение и вес, коего оно отнюдь не имело. Послов посетили думные бояра великого князя, им был устроен полный посольский прием, как и послам держав нарочитых. Перед самим Иваном Третьим, в большой палате в терему великокняжеском, в присутствии бояр, окольничьих, детей боярских и дьяков государева двора должны были произнести они уставные слова: «...бьем челом господину и государю нашему», слова, отдающие Великий Новгород в руку московского князя.

Иван неподвижно сидел на престоле, выпрямившись и вперив в послов свой огненный, пронзающий взор.

— Наконец-то!

Боярин, стоявший справа от престола, важно ответствовал дьяку Захарию:

— Великий князь и государь московский сам пошлет послов отчине своей государевой, Великому Новгороду, указать, как ему, государю, служить, и как перед ним отвечивать, и как государевы суд и волю править надлежит.

Неужели все?! Назарий выступил вперед и звенящим голосом принес государю московскому просьбу, принять его опричь посольства и выслушать.

Иван с удивлением глядел на дерзкого новгородца, не наученного, как и все они, знать свое место. Таковое обращение не через бояр, а прямо к государю на торжественном приеме было дерзостью неслыханной. Впрочем... Он едва заметно кивнул, и прежний боярин ответил от имени государя, что Назария примет дьяк Степан Брадатый, и о том, что государю узнать надлежит, выслушает и государю великому доложит. Послам же пребыть в посольском дому, ожидаючи повеления государева.

Прием окончился. Началось томительное ожидание, московская долгая проволочка, захлестнувшая Назария.

На вопрос, когда его примет Брадатый, было отвечено ни да ни нет и вновь велено ждать. Назарий выходил рассматривать Кремль, подолгу взирал на хитрые подъемные вороты и скорую работу фряжского мастера Аристотеля, бродил по торгу и томился неведеньем.

Степан Брадатый принял Назария лишь через полторы недели. Готовилось посольство в Новгород, было не до него, да и место указать надобно было. И вот наконец Назар предстал перед всесильным государевым дьяком, зловещая слава которого как убийцы Дмитрия Шемяки хорошо была известна в Новгороде. Брадатого он увидал впервые и приглядывался к нему с невольным недоверием всякого новгородца.

Волосы отливают серебром, будто паутиной, покрыты сединою, платье темного дорогого сукна, все чисто, приглаженные волосы на взлысой голове, приглажены усы и борода, глаза остро просверкивают, когда поднимает брови, все время сдерживает себя. Куда как основателен. Муж благ! Курочку с ядом Дмитрию Юрьевичу подложил. Не сам, через боярина Дмитриева, через повара... Курочку с ядом! Еще, поди, от писания слово прибавил, что-нибудь: «Господь наказует...» Сколько? Более двадцати лет прошло, не помнит сам, поди! А повар тот в схиму постригся и то места себе найти не мог, так и скитался из пустыни в пустынь... Назарий поймал острый, настороженный взгляд Брадатого: «Ой, помнит! Верно, сам себе пределы поставил, думать до сих пор и не далее». Назарий поставил себя на место Брадатого и ощутил невольный озноб.

Брадатый с важностью, единым наклонением головы, дал понять, что слушает.

Подвойский, волнуясь, изложил свои мысли о единстве Руси.

— Государю московскому, — возразил Брадатый, — и так единая и нераздельная власть, яко государю всея Руси, вручена от бога в его вотчинах.

— Но Смоленск, Киев, Волынь — весь язык русский, что под Литвою и уграми ныне?

— Этого я не знаю, — устранился Брадатый. — Доложу, но восхощет ли говорить с тобою, как и когда примет и примет ли — решит сам государь.

Приходилось ждать. Возвращаться в Новгород сейчас они все равно не могли. Назарий начал ощущать, что история вновь идет без его участия и наставлений, по своему неведомому пути.

Послы великого князя прибыли в Новгород в мае. Весть о новгородском посольстве, провозгласившем Ивана Третьего государем Новгороду, изложенная на Совете господ, для большинства явилась неожиданностью и возмутила многих. Волнение началось и в городе. Собиралось вече. Как и предвидел Феофилат и подозревал Овин, массу житьих устрашило и возмутило предложение отдаться Москве, тем паче что посольство было отправлено в Москву без их ведома и согласия. Ефим Ревшин и Окинф Толстой с Романом подняли житьих Неревского конца. Вновь ожил терем Борецкой. Откуда-то просочилась весть, что король Казимир по-прежнему предлагает защиту Новгороду. Житьи всех пяти концов пересылались между собою, накануне вечевого собрания сговариваясь противустать воле Москвы.

Но и это была лишь рябь, лишь гребешки на поверхности, и, возможно, возмущение житьих прошло бы, не вылившись ни во что серьезное, когда вдруг поднялось то, чего никто не ожидал, ибо забылась за столетие народная гроза вечевая, лишь слабыми отблесками вскипавшая полвека назад и совсем было утихшая в последние годы.

Веками складывавшийся вечевой строй новгородский заключался не в том, что от разу к разу собирался на площади у Никольского собора народ и утверждал важнейшие государственные решения, уже подготовленные и написанные на харатьях господами большого Совета. Кабы только так осуществлялась народная власть, давно бы ее уничтожили не князья, так сами бояра новгородские.

Но вечевой строй пронизывал сверху донизу всю организацию городской жизни. Торговля и ремесло, суд и школа, дела церковные и мирские — все было связано с вечевыми порядками и все подчинялось им. Да, хоть и позабрали себе бояра власть и земли, хоть и росли налоги, беднели граждане, и все туже затягивалась та петля, все реже вече городское вступалось за горожан, но лишаться этого права, потерять само вечевое устройство свое черный народ Великого Новгорода еще и помыслить не мог. И океан всколыхнулся.

На улицах стояли кучки мужиков-ремесленников, угрюмо обсуждавших нежданно свалившуюся беду.

— У меня товар в братчинной складке, ето как — лишитьце придет? Самому торг вести — не замочь, а иваньским толстосумам кланятьце — вконечь разорят!

— Товар-то что, с товаром погоди...

— А и неча годить! Прав Ероха! Пока вечевые порядки стоят, да кончански, да уличански купчи с общинным товаром по Студеному морю ходят, пото и живы! Ты с пудом каким воска альбо с десятком ножей куды сунесси? Только в уличанское братство свое! Тамо сдал, пай дали, будь в спокое! Уж выборны свои, выверят и сохранят! Опеть: малых письму да чтению обучают задаром, на вечные деньги, ето тебе ничто? А у меня семеро! Прикрыли вече, куды я с ними? Неучены дак!

— Смердов от города отобьют, как во Пскове князь Ярослав деял! Улицы мостить, стены чинить, иное что — сами не заможем!

— А земля кончанская, общинная? Без веча ее и задаром бояра заберут! Уж и коровенку не выгнать станет, совсем зубы на полицу клади!

— Мне, коли кончански покосы отберут, пропасти совсем. Сенов не будет своих, у боярина-то хрен купишь, а я ить извозом живу!

— Мы нонеча, в нашем братстви, кожевенном, весь товар купцам через уличанский совет продавать постановили. Дак и легше стало! Поодинке-то загрызут!

— Московский князь наводку запретил, бояр окоротил, думали — черным людям легче станет, а он теперича вота что творит!

— Ни тебе братчин, ни тебе чего...

— Не горюй, Фома, пиво пить и опосле заможем, было бы на что, а вот такое скажи: погорела улица, кто, кроме веча, поможет? Не ровен час, умри, родных коли нет, сирот кто поддержит? Уличанский совет и на обзаведение даст мастеру, коли начинаешь дело! Ватаги там, дружины ли мастеров соберутце в отъезд — опеть через братство свое, по вечевым обычаям. Тут тебе и суд, и власть, и защита! Вечем и старшого выберут, вечем и снимут, коли не по люби придет!

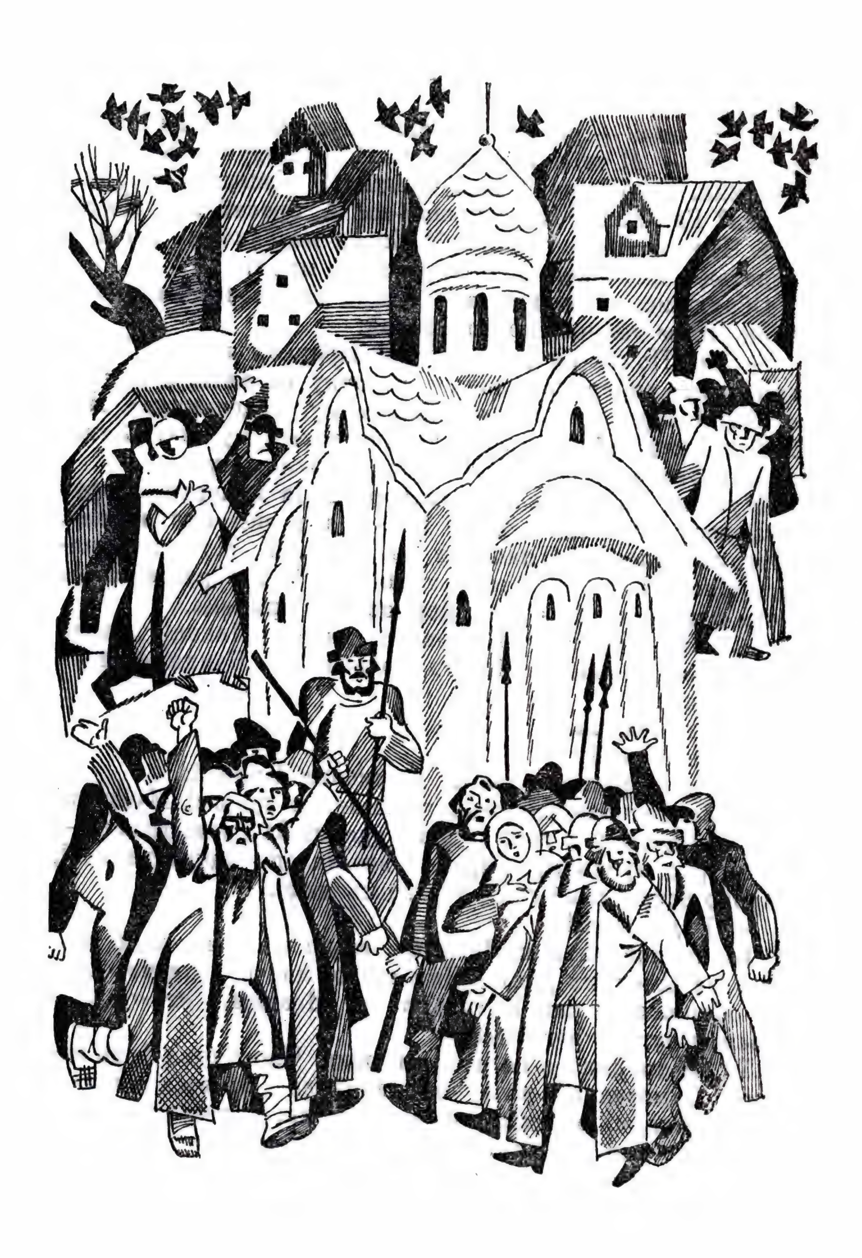
— Попов на вече ставим, чего больше!

— Да, удружили нам господа посадники!

Прохожих и проезжих бояр еще не задевали, но сторонились и окидывали недобрым оком.

Совет господ при архиепископе для ответа московским послам должен был собраться в субботу, а в четверг, за день до Совета, уже ударили в било в Гончарском конце.

Иван, зять Конона, ничего не знал еще, идучи из за-



городья, но едва миновал ворота и Лукину улицу, понял, что не пройти. Валом валили встречу мужики. Кто-то бросился к нему из толпы — оказалось, Потанька, скоморох.

— Иванко! — радостно воскликнул тот, хватая Ивана за плечи. — Я тебя издаля узнал! — Вдруг стиснул в объятиях: — Живой, черт, бродишь! Слыхал, что дом продал? Где нонь? Куда пошел-то? А, бросай все! Не до того! Что деитце, не знаешь?! Бояра москвичам решили поддатьце. Собираем наших, вали со мной!

Обнявшись и потискивая Ивана за плечи, Потанька волок его за толпой, приговаривая:

— Эх! Почто не ушел тогда! Продали ить нас! Ну, сквитаимсе теперича, сколь веревочку не вить, а кончику быть! Кривого знашь? Кожемяку, седельника? Ну! Староста седельников теперь! Неистовый мужик! С твоего окрестило — глаз на Шелони выбило ему!

Мужики толпились в притворе и на паперти, запрудили весь церковный двор. Кто-то все еще бил в било. Высоким голосом с паперти выкрикнули. Мужики притиснулись. Тише! Настала тишина. Четче раздавались слова одного из старост с церковного крыльца.

— ...На государство прошать князя Ивана! Захар ездил, дьяк вечевой, и Назар, подвойский. Баяли, от веча их посылали!

— Кто посылал?

— Веча не было!

Разом взорвалась толпа. Выскочил Кривой.

— За нашими спинами решают, не дадим! Мужики! Платили досыти и так! Головы клали! За кровь нашу! — Он потряс кулаком, свирепо вращался единственный, широко разверстый глаз, дергалось лицо.

— В Детинец!

Толпа повалила к Детинцу, сливаясь с новыми толпами из соседних улиц. Шли густо, плечо в плечо, многие обнявшись, как Потанька с Иваном, кто-то уже вздымал острие рогатины.

То же творилось по всему городу. Часто стал бить колокол. Самозваные веча объявлялись во всех концах. Хмуро стояли, опустив тяжелые руки, поденщики, возчики, строгали, опонники, шерстобиты, матерые мужики-мастера и безбородые парни-подмастерья. Житьи тоже мешались в общей куче. Толпа уравнивала. Измазанный кожевник, пихнув житьего, примолвил:

— Гляди, не помять бы портов тебе тута!

Тот сердито оглянулся на кожевника:

— Себя не помни! Не до платья, коль головы кладем! — и решительно полез вперед, обдирая дорогой зипун.

На Чудинцевой черный народ ворвался во двор к Самсоновым. Александр, распояской, окруженный мужиками, кричал:

— Не ведаю! Не посылывали! — рванув рубаху, поднял серебряный крест: — Братия! Вам крест целую! Не знал и не ведал!

Его бросили, устремившись в другие боярские терема. Новая толпа ломилась в ворота к Феофилату.

В Неревском конце собрались сразу три веча: у Козьмы и Дамиана, у Николы и у Петра и Павла в Кожевниках. Кузнецы вломились в дом к Коробу. Яков с крыльца клялся, что и он ничего не знал. Неревских собирал Аврам Ладожанин, староста братства оружейников. Было тихо, когда он, высокий, суровый, говорил с помоста о праве народном. Только глухой топот шагов не смолкал, подходили все новые и новые.

Борецкая, одна из всех великих бояр, сама пошла на мужицкое вече. Несколько слуг, прихваченных Марфой с собой, прокладывали дорогу боярыне. На нее оглядывались недоуменно. Кто и узнавал, охал — Марфа Исаковна! Сама!

— Пропустите! — говорила Марфа негромко, но твердо, пробираясь к помосту.

Поднялась, стала, оглядев хмурые злые лица мужиков-мастеров: бронников, копейщиков, щитников, ножевников, секирников. Ей любо было видеть силу новгородскую. Еще не зная, что скажет, чуя лишь, что, что бы ни сказала — скажется, Борецкая начала говорить. Пригодились и речи Василья Степаныча, и летописи, читанные долгими вечерами. Говорила не просто о древней славе Новгорода, о величии, гордости и святынях —говорила о праве народа, их праве, сказанном в преданиях летописных. О щитниках, смещавших архиепископов *, о серебряниках, руководивших ратями, о всех ремесленниках, отличившихся в древних боях за Новгород. И называла годы, когда что было, где записано о том. Как-то поняла, почуяла, что этого им не хватало сейчас — уверенности, от веков идущей, в праве своем. И где-то враз пропало отчужденье, придвинулись мужицкие лица, закричал в толпе кто-то злой, всколыхнулись обиды.

— Кровью плачено!

— И моей кровью!

На весы сегодняшнего дня бросила жизни сыновей, Дмитрия с Федором. И уже было все свое, обчее, и ругань, и сжатые кулаки, и обвинения, но не молчанье, не чужие сторонние взгляды. Уже смело говорили ей в очи, и отвечала, себя не щадя.

— А король Казимир?!

Борецкая поведала, чего многие из них не слышали, каков был ряд с королем, и о православном князе-наместнике, и о запрете строить латынские ропаты, и о бегстве шелонском сказала, не пожалев ни их, ни бояр.

— А, вас разберешь! Кумитесь друг с другом!

— Тебе бы ране нать с нами говорить, Марфа!

— Ты с нами водись, а не с Захарием, не с Филатом твоим!

— Мне Захария враг!

— Знаем! А чуть что — вместях!

— Меня, как и вас, в господский Совет не зовут!

Не льстила, не роняла себя, не клялась в верности — верили.

Потом различила в толпе глаза Окинфа Толстого. Подошел, как кончилось:

— А я с молодцами кинулся, думал, съедят тебя, зол народ, ан слушают!

— Новгород, Окинф, Борецкую не съест! — ответила она вдруг прежним, переливчатым голосом.

В эти дни Борецкую и стали за глаза называть Марфой-посадницей.

В пятницу уже с утра грозно гудел весь город. Черные люди начали организовываться. Вместо стихийных вчерашних сходок появились отряды горожан. С быстротою, свидетельствующей о вековых навыках, собирались выборные, создавался Совет, опрашивались уличане, и уже сторожа, наряженная от ремесленных братств, занимала ворота, уже гонцы поскакали в Русу и в прочие пригороды подымать и там черных людей. И когда в субботу члены государственного Совета господ, один по одному, стали собираться в палаты архиепископа, Детинец уже был занят отрядами горожан. Перед часозвонной башней, у входа в Грановитую палату и на дворе, оттеснив владычную сторожу, стояли ремесленники, многие с оружием, стояли ровными рядами, без шума и толкотни, старшие обходили строй, соблюдая порядок, и это было страшнее, чем бунтующее

море народное, что прихлынет и тут же отхлынет или враз повернет на другое. Строго ждали, без слова давали дорогу. Недвижно горели лезвия рогатин и острия копий над головами дружин. Это был Новгород прежний, грозный, позабытый было господами боярами, позабытый, да чуть ли и вовсе не похороненный под шумок кончанской грызни.

Когда все господа посадники и тысяцкие уже были на местах, в Грановитую палату зашли трое старост во главе с Аврамом Ладожанином, сурово поклонились и молвили только одно, что город ждет ответа, после чего тотчас покинули палату.

Совет господ единогласно отрекся от челобитья о государстве, клятвенно заявив московским боярам, что никто знать не знал про поездку новгородских выборных. Получалось, что дьяк Захар и Назарий самовольно поехали на Москву. Такого, конечно, быть не могло, и это тоже все понимали. Ночью город не спал. Наутро объявлено было городское вече на Ярославовом дворе, на которое велено было собраться всем выборным от черных людей, от концов, улиц и братств ремесленных. К ответу призвали Овиновых и Василья Никифорова, воеводу, ездивших на суд в Москву.

Толпа заполонила торг и прилегавшие улицы. Московские посланцы, пробираясь верхами через толпу к вечевой избе, с тревогою видели у многих за кушаками сзади заткнутые топоры. Федор Давыдович, хоть и не был робок, подзадумался: выберется ли живым из Новгорода?

С вечевой ступени послы говорили то же, что и в Совете господ, передавая, как было велено, слова великого князя Новгороду. Им не дали кончить.

— Долой!

Ропот прокатывался волнами по площади.

— Кто посылывал?

— Василья Микифорова сюды!

— Захарию, Захарию!

Овин стал на ступенях, озирая море голов. Сейчас от его сметки зависит все — или жизнь, или смерть (Кузьма — тот распластался в сенях вечевой избы по стене, скулил, не чая, как и выйти наружу).

— Народ! Мужи новогородские! — сказал Овин громко. Его слушали. («Теперь не теряться! — Он вспомнил понурый затылок Пенкова. — Поделом ему!»)

— Василий Никифоров, воевода наш, зачем ездил к великому князю на Москву?! Меня прошаете, я отвечу!

На суд, по Олфера Гагина слову! А он почто? Кто послов волен посылывать, боярин али воевода городской?!

Захария угадал — и властный голос, и вопросительный тон подействовали. Он не утверждал, не предавал Пенкова, и не отпирался сам, как бы стал отпираться виноватый. И на поднявшийся гул голосов:

— А ты сам скажи!

— Василья! Василья к ответу!

Захария чуть отступил, давая место воеводе, и Василий Никифоров, бледный, вышел на вечевое крыльцо. Захар еще попятился, из-за спины Пенкова показывая на него руками.

— Василья, Василья! — ревела толпа.

— Тише!

Как-то враз наступило безмолвие. И в страшной тишине Овин произнес:

— Скажи, Никифорыч, богом святым правду: целовал ты крест в службу князю великому?

Соврать бы Василию, но он лишь оглянулся потерянно, страшное: «Знают!» мелькнуло в голове, спутав все мысли. Забыв спросить Овина о том же самом, он повернулся к толпе, и бледность и растерянность сказали всем все прежде, чем он раскрыл рот. Уже кричали Пенкову:

— Переветник! Был ты у великого князя, а целовал ему крест на нас!

Срывая голос, Василий пытался перекричать толпу, объясняя:

— Целовал я крест великому князю на том, что мне служить ему правдою... И добра! Добра мне хотети ему! А не на государя своего Великий Новгород, ни на вас, на свою господу и братию... Братья!

Никифоров кричал, уже не в силах перекричать толпу. Голос его жалко сорвался, бессильный, и потонул в остервенелом реве.

— Шкуру спасал!

— Шухно!

— Падло!

— А мы?!

— Преже откупались серебром, теперя головами нашими!

— Полно баять, тащи его!

Струями пробиваясь сквозь толпу, лезли озверелые горожане, доставая из-за поясов топоры. Овин, расширенными глазами усмотрев ринувшихся мужиков, нырнул

спиною в дверь вечевой избы, захлопнул ее за собою, схватил Кузьму, по-прежнему пластавшегося вдоль стенки, подтолкнул Василия, сына Кузьмы, и поволок обоих к заднему выходу.

— Не пробитьце! — безнадежно простонал Кузьма.

— Скорей на мост, в Софии переждем! — крикнул Захария.

Его узнавали, чьи-то руки цеплялись за ворот, за рукава опашня. Рыча, Овин отталкивал их, лез вперед, не оборачиваясь и не чая, что там, за спиной, где прорезался короткий, высокий визг, уже не человеческий предсмертный вопль Никифорова, тотчас перекрытый чавканьем ударов и слитным ревом площади.

Рысью все четверо — трое бояр и слуга пробежали по Великому мосту.

— Ну!.. — утираясь, говорил Захария, когда уже взбирались на холм, к Детинцу. — Кажись, спасены!

Слугу он тотчас отослал домой:

— Лети, пробейся как ни то! Ивану скажи, пущай бежит без оглядки! Два бы дня переждать хотя, покуда утихнут!

Марфа в это время была в толпе, на площади. Ее затолкали совсем. Окинф с Романом и Иван Савелков старались как ни то оградить Борецкую.

— Убьют Василья! — крикнула Марфа, видя, что мужики кинулись к вечевой ступени. Она закрыла глаза на миг, когда Пенкова поволокли с крыльца, размахивая топорами.

— Что ж вы-то, господа мужики! Иван! Окинф! Кто-нибудь! Овин же всему причина! Скажите, уйдет опять!

Роман Толстой стал яростно пробиваться вперед, но его уже опередили. Неведомо кто, издали не разобрать было, поднявши топор, кричал с крыльца:

— Василья мы порешили, мужики! А кто первый поехал на суд московский, кого вечевой дьяк Захар завсегда слушает? Кто всему делу коновод?!

— Кто?

— Кто! Захарья Овин, вон кто! Он и Василья оговорил, чтобы самому отпереться! А они с Кузьмой и послов посылывали отай! Боле некому!

— Овин, Овина давай!

— Где он, веди сюда!

— Утек! Через Великий мост в Детинец кинулся! Не давай уйти! За ним! Бей набат!

Толпа повалила на Великий мост. Вверху, на вечевой звоннице, запрыгали люди, и стал раскачиваться тяжелый язык колокола. Вот раздался первый, еще неторопливый удар, второй, третий. Колокол бил все чаще и чаще. Мотаясь под ним, четверо мужиков изо всех сил раскачивали-торопили кованое било.

Сейчас по зову всполошного колокола ринутся со всех сторон к Детинцу из всех пяти концов черные люди — только бы Овин не успел уйти!

Слуги жались к тыну. Толпа неслась мимо, обтекая маленькую кучку бояр. Суровые глаза Марфы смотрели ей вослед. Подъехавшему на коне дворскому она коротко приказала:

— Скачи на Досланю, Ивана Пенкова предупреди! Пущай в Хутынь скачут, тамо переждут! Скажи, отца убили ни за что, Захар оговорил.

Дворский поскакал за толпой.

«Вот оно, — думала Марфа, — народоправство новгородское! Страшно оно. А праведно. По сердцу решают, не от ума, не с хитрости!»

Толпа на той стороне Волхова окружала Детинец.

С откоса, оглянувшись еще раз, Овин почуял, что дело неладно.

— Скорей!

Спорым шагом они прошли сквозь башню.

— Ворота затвори, дурень! — приказал Овин мордатому владычному охраннику. Стражник со скрипом начал запахивать тяжелые створы.

— На засов заложи! — прикрикнул Овин.

— Теперь к владыке!

Дело решали минуты. Трепещущему служке, а потом вышедшему к ним ключнику Феофила Овин, усмехнувшись, грубовато велел:

— Зови владыку! Пущай спасет нас, в Софию ли запрет, переждать нать! Чернь расшумелась!

За тяжелою дверью началась какая-то пря, и вдруг вырвался взвизгивающий голос Феофила:

— Я не посылывал! Меня самого убьют!

Гулкие удары послышались от речных ворот. Овин дернул дверь, она не поддалась. Потом открылась, ключник появился с несколькими холопами:

— Владыка Феофил принять не может! — заносчиво возгласил он. Спорить уже было некогда. «Бежать?» Овин прислушался.

— С Людина конца тоже окружают! — безнадежно подтвердил Василий Кузьмин.

Спасения не было. Овин остановился на крыльце, как затравленный матерый волк с седой щетиною на загривке, толстыми лапами и страшною ощеренной пастью, еще сильный, но уже обреченный на гибель.

Иван, как ни тянул Потанька, не был на вече. Не хотелось попусту толкаться в толпе. Давеча по домам ходили, всем было сказано: ждать колокола, коли что — бежать на подмогу. (Старосты черных людей опасались боярского заговора.) Анна молилась в душе, чтобы обошлось. Она было начала резать хлеб к обеду, когда послышался голос колокола.

— Не почасту бьют... У Спаса? — с надеждой в отреворженных глазах сказала Анна.

— Не, вечевик!

Оба прислушались. Иван, вскочивший уже, на напряженных ногах, ссутулясь, приложив ладонь к уху. Сомнений не было. Вдали тяжко и сильно бил вечевой колокол. Началось!

— Батюшки, Ванятка, Ванюша, поберегай себя! Осподи! — бестолково суетясь, приговаривала Анна, когда Иван, суя руки мимо рукавов, натягивал зипун, опоясывался, и охнула горестно, когда, умедлив на миг, нахмурясь, он вдруг снял со стены топор и глубоко заткнул топорищем за кушак.

— Но! — прикрикнул он на посеревшую Анну, принял шапку и, не оглядываясь, выбежал на проулок.

В домах хлопали двери, с треском отлетали калитки, скрипели створы ворот. Мужики, выскакивая из дворов, кто рысью, кто скорым шагом, заправляясь на ходу, устремлялись все в одну сторону. То тут, то там посверкивала бронь, стеклянно вспыхивало лезвие — многие шли с оружием. Толпа катилась со смутным гулом, еще не рать, но уже и не мирная, снующая туда и сюда, где и дети, и старики, и жонки, — толпа одних осурьезневших мужиков. На воздухе вечевой колокол раздавался громко и грозно, покрывая встревоженные голоса, чавканье и топот ног, и уже казалось непонятно, как можно было

спутать с чем-то другим его зовущий, требовательный голос.

Не задерживаясь, миновали городские, настежь распахнутые ворота. Вокруг Детинца уже цепью стояли мужики с Загородья.

— Кого?

— Захарию Овина!

— Где?

— В Детинце! Окружай!

Передовые понеслись к Неревским воротам, но оттуда уже валила рать неревлян. От Прусской улицы тоже напирали. У ворот столпились кучею. Над головами поплыло бревно, второе. Сверху, с заборол, выглядывала владычная сторожа.

— Отворяй, мать твою так! — орали снизу. — Всех передушим, как кур!

Ворота со скрипом начали отпираться. Толпа мешала своим натиском вытянуть засовы. Наконец что-то кракнуло, рухнуло, кто-то, притиснутый, заорал благим матом, створы откатились, и с топотом вольница полилась внутрь. Чуть не в тот же миг отворились волховские ворота. Юрий Репехов сам оттащил засов. В лица, горячечные от возбуждения, бросил деловито:

— Во дворе владычном! — и откачнулся к каменной нише. Мимо, с ревом, понеслись вооруженные горожане.

Иван прорвался в Детинец, когда уже весь владычный двор был заполнен народом. Пробившись в круговерть храпящих, осатаневших мужиков, туда, где под стон голосов часто вздымалось железо и тупо чавкало и хрустело внизу, как рубят говядину, он увидел что-то красное под ногами, уже без образа и лица, изрубленное, в кусках и лохмотьях тканины, и туда, в это красное, бывшее совсем недавно великим боярином Захарием Овином, расхристанное мясо, с тем же воем, как и остальные, опустил двумя руками вздетый топор. Опустил, и тотчас, оглушенный, был отброшен взад. Чья-то размашистая секира на взъеме прошлась ему по виску, к счастью скользом, только оглушила да содрала кожу, а чьи-то руки, плечи, спины, жадно пробивавшиеся туда, где вершилось в остатний раз древнее новгородское правосудие, живо отбросили его, оглушенного, посторонь, в толпу менее проворых или более робких мужиков.

Качаясь, он стоял, опоминаясь, не чуя мокреди на лице, сжимая рукоять кровавого топора, а на крыльце владычного дома уже вскипала под горловой рев толпы

новая круговерть, волочили — раз только и махнулась рука над головами, — волочили и, верно, на крыльце еще ногами забили в смерть, пред тем как бросить вниз, под топоры, брата Захарии, Кузьму Григорьева. Василья, сына Кузьмы, долго топтали ногами, ярость утихала, его бросили без памяти, но живого.

Домой Иван брел, ничего не видя, сжимая топорище одеревеневшей рукой. Анна стояла у калитки. Молча завела в дом, спросила:

— Ты Захарью убил?

— Не, топор омочил только... — отозвался Иван и тупо опустился на лавку. Анна, задрожав, взяла топор и понесла к лохани мыть. Подержала, плеснула водой.

— И поделом ему! — сказала она и вдруг, склонясь над топором, заплакала. — Что будет-то, будет-то, осподи! Война ить новая!

— Война, — тупо повторил Иван.

ГЛАВА 26

Иван Третий узнал о расправе с Никифоровым и Овинами от скорого гонца, посланного Федором Давыдовичем, а затем от самих воротившихся послов. Послы рассказали подробности — как после убийства Захарии и Кузьмы Григорьевичей были захвачены и приведены на вече Феофилат Захарьин и Лука Федоров, два старейших прусских посадника, и как их тоже сперва хотели убить, разграбили дворы, на Феофилате порвали платье, заперли, и уж потом, когда немного улеглись страсти, и то после долгих клятв захваченных, помиловали, но, приведя на вече, взяли крестное целование служить Новгороду без обмана. Послы рассказывали также, что все бояре напуганы расправами, в городе верховодят житьи и черный народ, что плотницкий староста уличанский, Григорий Арзубьев, сын казненного Киприяна, вновь перекинулся на сторону Марфы Борецкой и ее сотоварищей, что новгородцы опять хотят за короля, противники великого князя в Неревском конце подняли голову, а славенские посадники выжидают, что архиепископ Феофил в страхе и, словом, что без вмешательства самого великого князя Ивана с войсками привести Новгород к покорности нельзя. Сами новгородцы передавали через послов, что они желают быть по-прежнему в воле господина своего великого князя московского, как по коростынским грамотам было уряжено, но государем звать

его не хотят, а послов тех новгородских к нему не посылывали и, яко изменников поймав, будут казнить казнию и ему, государю московскому, предлагают казнить их, как он, государь, восхощет. Словом, забрать Новгород миром не удалось.

В июне Иван совещался с митрополитом и воеводами Холмским, Оболенским-Стригою и Федором Давыдовичем. Поход летом, как в прошлую войну, уже не мог состояться, опоздали со сборами, а осенью войска рисковали застрять в грязи, да и отрывать мужиков от осенней страды никому не хотелось. И на Совете решено было начать поход в октябре, сразу как отойдут полевые работы и станет подмораживать.

Иван побывал у матери и тоже беседовал о новгородских делах. Мария осведомилась о Марфе Борецкой, к которой она, никогда ее не видав, чувствовала род ревности, а порою даже какого-то смутного влечения. Софья, новая греческая супруга венценосного сына, была чужая, они так с нею и не сошлись. Далекая Марфа Борецкая напоминала о прежней поре, о прежнем Иване, более простом и сердечном. Когда все уже было кончено и Новгород пал, а Борецкую увозили в монастырь, мать великого князя тоже приняла схиму и в черничестве своем из Марии сделалась Марфой. По странному совпадению, Мария постриглась в тот же день, когда была захвачена у себя на дворе Марфа Борецкая.

Иван Третий еще тщательнее, чем перед первым походом, собирал грамоты и выписки из летописцев, ворошил двинские дела. Надо было обосновать, ни много ни мало, права великих князей московских на всю Новгородскую волость. Он вновь усадил за работу Степана Брадатого, просил о том же митрополита, дабы подкрепил духовною властью великокняжеские притязания. Дело шло о прекращении новгородского самоуправления градского, о том, чтобы отобрать права, утвержденные Ярославом Мудрым и другими великими князьями, права, идущие еще со времен самого Рюрика и даже, как утверждали новгородцы, от более древних времен легендарного старейшины Гостомысла.

В эти дни Иван вспомнил о Назарии. Доводы Степана Брадатого по-прежнему строились на том исходном утверждении, что власть князей великих непререкаема и утверждена самим богом. Но поскольку непререкаемость эта была установлена совсем недавно и еще для Дмитрия Шемяки и Ивана Можайского отнюдь таковою

не являлась, то и утверждениям Брадатого, несмотря на все летописные ссылки, недоставало убедительности. На вопрос Ивана Брадатый сухо, исказив почти до неузнаваемости, изложил взгляды новгородского беглеца, с невольно просквозившею в голосе ненавистью. Чуткое ухо Ивана уловило нарочитое недружелюбие в словах дьяка, и он приказал Брадатому прислать Назария к себе.

Почти потерявший надежду говорить с государем, подвойский воспрянул духом. Страшные известия о казнях Захарии и Кузьмы Овинов с Никифоровым докатились и до него. Он плохо представлял себе, что ныне творится в Новгороде, но понимал, что на очереди новая война с Москвою и говорить с великим князем нужно во всяком случае до начала военных действий. «Теперь или никогда!» — пронеслось в голове у подвойского, когда его предупредили о вызове к государю.

Великий князь принял Назария у себя в тереме, в том покое, где он совещался с Брадатым, в присутствии самого всесильного дьяка. Иван пристально разглядывал красивого, горячего, видимо, нетерпеливого молодца. Сказал с испытующим спокойствием:

— Слыхал я, о государстве ты мыслишь и о власти нашей, богом данной, неподобное некое, чего допрежь не было?

Мановением руки он дал знак Брадатому, коротко приказав:

— Чти!

Назарий, раскрывший было рот, поперхнулся. Приходилось не говорить, а слушать. Брадатый стал сухо читать свое давнее сочинение:

— «Во владычном летописании сказано... В государевом летописце сказано... В тверской харатейной летописи сказано...»

Длилось это долго. Назарий слушал внимательно, запоминая доводы своего соперника. Иван задумчиво, не шевелясь, разглядывал обоих. Наконец чтение кончилось. Брадатый выпрямился, храня строгое выражение лица.

— И тебе то сомнительно? — поднял глаза Иван, вперяя взор в новгородского посла. Назарий, угадав разрешающий знак великого князя, начал говорить. Ему не надо было заглядывать в харатьи. Нужные статьи летописей и договорных грамот он помнил наизусть. Небрежно смахнув хитрую сеть Степановых доказательств,

он двумя-тремя примерами начисто опроверг Брадатого, доказав, что права Новгорода даны ему прежними князьями законно, подтверждены грамотами, никем не оспоренными, и сами по себе древнее власти московских государей. Но тут он, не дав времени Ивану нахмуриться, перешел к своей главной мысли — права эти и давались и рассматривались в границах Руси Великой, языка русского, который был един под властью великих князей киевских, и даже прежде был един, именно как русский язык, о чем пишет Нестор-летописец. И Назарий тут же наизусть повторил слова начальной летописи о славянах дунайских, разошедшихся по всей земле, в том числе и тех, что осели на Ильмене со своим старейшиной Гостомыслом, первым новгородским посадником, и ведут свой род от кореня русского, изначального. Варяги же и Рюрик князь позжие находники, призванные на княжение мужами русскими от племени Гостомыслова.

— В позднейшие веки, — продолжал Назарий, — от безбожных куманов-половцев и от татарской рати Батыевой, как и древле от аварского нашествия на славян дунайских, русский язык единый разделился, и одни подпали под власть татарскую, другие — литовскую, третьи — угорскую. И от того гибельное это разделение совершилось, что забыли о единстве языка, бояре стали величаться властию, князья спорить, наводя поганых друг на друга и на землю русскую, ни во что же заслуги ставили людей простых, вольных, христиан православных, забыли, что достоит нам всем держаться за едино, как немцы и прочие языки, паче всего помнить о единстве и величии языка русского! И не в том дело, кому подчинялся Новгород! Да, были на столе новгородском и северские князья, не только суздальские, и тверские и смоленские, но то был еще Киев, Русь единая, а не Литва, и Ярославу Мудрому мужи новгородские прежде помогли сесть на киевский стол, не попомнив даже и того, что посечена была братия их на Парамоне дворе от Ярослава! *

Ныне же единство Руси от московского государя проистекает, и потому достоит ему не токмо Новгород Великий имать в руце своей, но и древний киевский стол воротить языку русскому, и все области Литвы, что населены языком нашим: Галич, Волынь и смоленские и полоцкие земли, такожде и татарами занятые и уграми. Ибо все то древняя наша, русская земля и язык русский тамо обретается доднесь, и достоит ему иметь едину гла-

ву, едину власть, един закон, по коему государь великий судил бы каждого по заслугам его, не взираючи на лица сильных, ни бояр, ни князей, неправду деющих, и награждал за заслуги, подобно тому, как был древле награжден и вознесен князем киевским юноша Кожемяк, победивший богатыря печенежского!

В лице Ивана дрогнуло что-то, шевельнулся кончик носа, искры мелькнули в глазах: «Надо взять его к себе, острее Гусева и Брадатого будет!» — подумал Иван, уразумев идею Назария. Он, однако, не выказал наружно своего великого одобрения, частью из осторожности — хотелось прежде додумать все до конца самому, — частью затем, чтобы не огорчить Брадатого, помощь коего он ценил весьма высоко.

Отпустив обоих, Иван задумался. Попробовал представить себе всю, как говорил Назарий, русскую землю. Было непривычно. Он себе представлял лица братьев, которых надо было держать в узде, тверского князя, давнего соперника, все еще до конца не одоленного, непокоренную Рязань, старого Казимира, одержащего Смоленск и прочие русские грады, князей пронских, нижегородских, ростовских, суздальских, беглого можайского князя и Ивана Шемячича. Были свои, наследственные вотчины, были поместья дворян, были уделы, был неодоленный Новгород и опасный, хотя и послушный, Псков. А земля? С холмов и башен открывались волнистые лесные дали... Дымы пожаров... Русская земля! Это было ново. Московские князья мечтали перенять славу и власть древних киевских князей, он сам потому и называл себя государем всея Руси. Еще при прадеде, Донском, после победы над Мамаем некий мних писал восторженно о битве на Куликовом поле, переиначивая слова какой-то древней киевской рукописи, где тоже повторялись эти слова: «Русская земля». Писал восторженно, а Тохтамыш взял Москву и вновь обложил разоренные города татарскою данью... Вся земля русская. Что-то было тревожное в словах Назария, что-то — непонятно что — настораживало Ивана, заставляло хмуриться. Назария он, впрочем, приказал включить в список свиты в грядущем походе на Новгород.

Гонцы были посланы во Псков с приказом городу, отчине князей великих, всесть на конь по первому зову и идти к Новгороду с пушками. Иван, уверенный, что Новгород опять запрется в стенах, намерен был осаждать город.

Вновь посольство отправилось в Тверь, к великому князю тверскому Михаилу за помочью. Вновь Иван вызывал братьев из их уделов и собирал войска по всей земле.

Новгородцы, надеясь на мирные переговоры, послали к Ивану старосту Федора Калитина с Даньславлей улицы Неревского конца за опасом для новгородского посольства. Иван приказал наместнику, Василию Ивановичу Китаю, задержать опасчика в Торжке впредь до особого распоряжения. Таким образом, новгородцам не отвечали ни да ни нет, и те, по желанию, могли еще думать, что переговоры состоятся. Наконец тридцатого сентября Иван послал складную грамоту в Новгород с подьячим Родионом Богомоловым. Объявлялась война.

В Новгороде все это время шли нескончаемые споры. После страшных майских событий содеялось внешнее единство. Но — увы — это было единство только на словах. Боярский союз был создан принудительно, под нажимом черных людей. Со всех была взята крестоцеловальная клятва и составлена, по обычаю древних времен, укрепная грамота, под которой и присягали, ставя печати: «Быти всем заедино делом и помыслом». Грамота эта, скрепленная пятьюдесятью восемью печатями, давала правительству законное право на любые принудительные меры. Но одно дело — заставить слушаться, а другое — заставить действовать. Союзники по нужде изо всех сил старались спихнуть обязанности на кого-нибудь другого. Вновь заскакали послы во Псков, Литву, во владения Ордена. Надежда на вмешательство короля Казимира была чуть ли не последним, за что цеплялась новгородская боярская госпóда.

После обид и утеснений от Ярослава Оболенского псковичи действительно стали с меньшим дружелюбием взирать на Москву, но рассудительные отцы города все-таки не решались на разрыв с Иваном. Над Псковом висела постоянная угроза немецкого нашествия, и только Москва могла оказать городу действенную помочь. На Литву у псковичей не было надежды. Впрочем, в Новгород был прислан гонец с предложением о посредничестве между Новгородом и великим князем в заключении мира. Как раз временно одолела партия наиболее ярых противников Москвы, и псковскому послу ответили с твердостью, отнюдь не подтверждаемой делом и дальнейшими поступками самих новгородских правителей, что-де Новгород не признает коростынских соглашений и

требует от Пскова всесть на конь вместе со старшим братом противу великого князя московского. Псковичи, по обыкновению, отвечали уклончиво, выжидая дальнейшего развития событий.

Борецкая с немногими сторонниками — Толстыми, Савелковым, Юрием Репеховым — делала что могла. Требовалось оружие, деньги, хлеб. Марк Панфильев — его сделали старостой Иваньского братства — добился от купцов-вощинников крупной денежной помочи, но этого было мало, мало до ужаса. От Феофила не удавалось получить ничего. Бояра, связанные укрепной грамотой, давали скупо, лишь бы только их не обвинили в пособничестве московскому князю. Берденев, Казимер, Александр Самсонов наотрез отказались руководить ратями. Один Василий Васильевич Шуйский по-прежнему продолжал верою и правдой служить Новгороду. Под его доглядом починяли стены, расставляли пушки на кострах, строили острог вокруг города.

Немецкие и низовские купцы волновались. В августе низовцы уже начали разбегаться во Псков и в Литву — переждать лихую пору.

Нужен был хлеб, хлеба не было. Марфа порою готова была плакать от отчаяния. Ремесленники, взявшие на себя оборону города, не располагали ни хлебом, ни деньгами, у них были только руки. Не хватало даже оружия, хотя братство оружейников под руководством Аврама Ладожанина трудилось не покладая рук.

Все громче раздавались боярские голоса славлян и сторонников Феофилата, желавших замириться любой ценой, лишь бы сохранить хоть как-то старый порядок, права, вотчины. Во многих жила призрачная надежда, что можно будет и на этот раз отвертеться, откупиться подачками за счет города и спасти основное. Степенным осенью, с сентября, избрали Фому Курятника, чтобы угодить великому князю. Курятник тотчас стал добиваться мира и в конце концов сумел отправить нового подвойского, Панкрата, во Псков, хлопотать через псковичей о мире с Москвой. Но Псков за день до прибытия посла, тридцатого сентября, отослал в Новгород взметную грамоту, и переговоры стали невозможны.

Для большей части новгородских бояр было ясно, что речь теперь пойдет о землях и выводах. Насколько круто мыслит поступить князь Иван? Пример заключенных, томившихся полтора года в железах великих бояр коекого обнадеживал. Иван не спешил расправиться с ними

так, как он расправился с Федором Борецким, и это рождало в робких сердцах мысль: а вдруг-де великий князь и сменит гнев на милость? И пока Москва неспешно стягивала рати, Новгород продолжал метаться, хитрить, переходя из одной крайности в другую, то отталкивая псковичей, то — в мыслях о мире — отказываясь готовиться к обороне, губя и то, что еще мог отстоять и спасти, единым порывом, в дружном согласии, взявшись за оборону города. Даже хлеба, несмотря на все усилия Борецкой и купеческих старост, не было завезено столько, чтобы хватило хоть на самую коротенькую осаду. Бояра придерживали хлеб в волостках, не везя в Новгород, придерживал и Феофил, тоже, как и прочие, полагавший, что уступками и непротивлением можно будет добиться большего, чем ратною силой.

О войне как о каком-то организованном деле, с передвижениями полков, сражениями и обороною волости Новгородской на рубежах и по линии укрепленных пригородов — Демона, Стержа, Молвотиц — нечего было и думать. Осенью, когда была получена взметная грамота, Василий Васильевич Шуйский снял все отряды из крепостей и стянул к городу. Даже с Наровы, с неспокойного немецкого рубежа, были отозваны новгородские рати. Это было все, что он мог сделать, как воевода. Теперь в случае приступа город имел достаточное число воинов на своих стенах.

И вместе с тем в те же самые дни Короб, Казимер, Феофилат, Глазоемцев, Курятник и Полинарьины любыми средствами добивались мира. Навстречу уже выступившим войскам великого князя был послан второй посол с просьбой об опасе — житий Иван Иванов Марков. Иван велел Китаю и того задержать в Торжке до своего прибытия.

Девятого октября Иван выступил из Москвы. Вперед за четыре дня были посланы татарские рати царевича Даньяра. С Иваном шел Андрей-меньшой, брат Борис присоединился к нему на Волоке. На первом стану от Волока Ивана встретил князь Андрей Борисович Микулинский, извещая, что тверской великий князь Михаил посылает кормы для московского войска.

Желтели убранные поля с рядами скирд. Птицы стаями тянули над головой к югу. Холодный ветер сушил осеннюю землю.

Девятнадцатого октября Иван прибыл в Торжок. Здесь к нему приехали первые новгородские беглецы

бить челом в службу. В Торжке великий князь простоял четыре дня. Отпустил во Псков нового воеводу взамен Ярослава Оболенского. С ним вместе послал послов торопить псковичей к выступлению. Безостановочно подходили рати.

Торжок был переполнен. У всех коновязей рядами переминались боевые кони, возы загромождали улицы, ратники толпились по всем дворам. Скакали посыльные, выворачивая копытами комья стылой, усыпанной навозом и раструшенным сеном грязи. Крепкий запах конского пота и мочи стоял в воздухе. В сутолоке трудно было озреться, и смещенный псковский наместник, Ярослав, вызванный в полк по приказу Ивана, долго, матерясь, тыкался по всему городу, разыскивая старшего брата, Стригу-Оболенского. Наконец какой-то проезжий дворянин указал князю нужный дом.

Ярослав, заляпанный грязью, шатнувшись, спрыгнул с седла, прошел, наклонясь, в низкую горницу, полную ратных, сидевших за трапезой. К нему нехотя обернулись от стола:

— Чаво нать?

— Самим тесно!

Узнав кто, один из ратников вскочил, рыгнув, неловко перекинулся через лавку и проводил в заднюю. Старый воевода сидел один в тесной горенке за жбаном с квасом и тарелью с пирогами. Кивнул ратнику: «Выдь!» Тот тотчас притворил дверь.

С усмешкой обозревал Стрига непутевого младшего брата. Ярослав с отъезда из Пскова гулял, не показываясь на глаза, и, видно, все еще продолжал пить, не протрезвев окончательно и в дороге. Морда у князя Ярослава распухла, глаза смотрели врозь, дорогое платье было перемазано и растрепано донельзя, борода торчала в разные стороны. Иван покачал головой.

— Хорош! Опять пьян?

— Я пьян?

Ярослав малость трусил брата и потому изгилялся того больше.

— Кто пьян, да умен, два угодья в том! — выкрикнул он, глядя куда-то вбок.

— Что не проспишься, ай напугали плесковичи? — спросил Стрига, продолжая усмехаться.

— Смердья кровь! — возопил Ярослав. — Вилок капусты, вишь, пожалели! Что мой Никишка взял с воза... Да случись такое на Москве! Я — князь! Приказал

бы — возами сваливали! Кто слово рек! Я за тот кочан капустный две головы снял! Дурни... К великому князю запосылывали...

— А признайся, струхнул маненько от мужиков-то? Как Плесков исполчился на тя?

— Я-то? Да я! — взвился Ярослав. — Я их! Вот им!

— Ну, ну! Мне-то казать незачем, застебнись! — сурово одернул старший брат. — Воровать тоже с умом надобно!

— Я пес царев! — чванно изрек Ярослав. — А своих псов надо кормить сытно!

— Ан врешь, — возразил Стрига. — Пса хороший хозяин всегда чуток не докормит, чтобы не обленился, чтоб злее был, не ленился лаять да кусал бы больнее! Так и царь тебя, чуешь? Говорить я с тобой хотел, а ты вон на кого похож! Государь тебя, дурака, жаловать хочет, а таков явишься, не ровен час и другим кем заменят, и я не помогу!

— Возьмут Новгород?! — уразумев дело и начиная трезветь, спросил Ярослав. Он поднял алчно загоревшиеся глаза: — Землю дадут?!

— То-то! — отмолвил Стрига. — Только охотников до тех земель и без нас хватает! И Новгород еще не взят. Думай! Ты — Оболенский, не кто! Рода нашего не роняй! Век напереди были! Поди проспись.

Двадцать третьего октября великий князь выехал из Торжка. Рати шли разными дорогами, заполонив все пространство меж Мстою и Ильменем. Войск собралось не меньше, чем в походе на татар. Обоих новгородских опасчиков Иван велел вести за собою.

Холодный ветер обрывал последние листья с дерев. В воздухе сеялась мелкая снежная крупа, на застывших дорогах по утрам выступал иней.

Последние дни Григорий Тучин жил как во сне. Он давал деньги и хлеб, когда его об этом просили, но сам не делал ничего. Старания Савелкова, хлопоты Борецкой, пересылки с королем и Псковом — все это проходило мимо сознания, почти не затрагивая. Он знал, что это конец, что ничто уже не спасет обреченного города. Не признаваясь себе, где-то в душе он даже хотел, чтобы то, чему суждено совершиться, произошло скорее.

Еще в августе Тучин отослал жену и детей в дальнюю деревню за Волоком, чая, что туда не доберутся

москвичи. Сам он оставался в Новгороде. Надо было решить какую-то мысль, все не дававшую ему покоя. Отказаться от богатства, боярского звания, волостей, слуг? Но тогда зачем было все предыдущее, многолетняя борьба, гибель отца, схваченного в плен под Русой, его собственные усилия, набег на Славкову с Никитиной, старания удержать двинские земли, зачем тогда нужна была Шелонь?

Где-то в душе он начинал понимать, что еще мог бы даже отказаться по отдельности от всего, что его окружало как боярина, давало ему богатство и знатность, — он мог мало и скромно есть, довольствоваться иногда куском хлеба с сыром и горстью морошки, он одевался просто и мог еще проще, не в шелк, а в льняное полотно. Ему не нужна была роскошь пиров, многочисленная дворня даже утомляла Тучина. В личном его покое была почти монашеская простота: простые стол и кресло, поставец, где, кроме перьев, стопы чистой бумаги для письма и чернил, был лишь костяной обиходный набор: гребни для волос, усов и бороды, уховертки, щипчики, ножницы для ногтей и ножички да сосуд с ароматною водою — за своей внешностью Тучин следил очень тщательно. На полице в его покое стояло несколько книг, редких по содержанию, но в обычных деревянных, обтянутых кожею переплетах с медными застежками, а на столе медный подсвечник да глиняный кувшин с малиновым квасом и чарка черненого серебра. И убирал эту комнату один-единственный слуга, изучивший привычки своего господина и знающий, где что должно лежать, чтобы Тучин, не задумываясь, мог, протянув руку, тотчас взять нужное. В привычках Тучина тоже не было такого, что требовало бы чрезмерных трат. Он не держал ни огромной псарни, ни сокольни, ограничившись одним ловчим соколом, правда, отличных статей. Ему доставляла удовольствие простая прогулка верхом в одиночестве или в сопровождении все того же одного-единственного молчаливого прислужника. В конце концов даже и эти свои привычки Тучин мог бы ограничить еще более. Но если даже он способен был порознь отказаться от каждой вещи или услуги, составляющих его боярское бытие, ибо одно ему было безразлично, другое — не слишком необходимо, то отказаться от самого богатства, от возможности все это иметь и, главное, отказаться от того, данного ему богатством и боярским званием чувства собственной неприкосновенности, обеспеченного лич-

ного достоинства, от того, что ему никто не посмел бы нагрубить на улице, что пьяный не полезет к нему с кулаками или с надоедливыми излияниями, что на него никто не посмотрит свысока, что перед ним расступаются, городская стража не задерживает его во время ночных прогулок, что не было дома, куда ему, буде он того пожелает, был бы заказан вход — отказаться от этого внутреннего ощущения своей исключительности он не мог. И это толкало Тучина на единственно возможный, логически неизбежный путь. Он должен был поддаться московскому князю.

Или встретить смерть в бою, пристойно и строго окончить жизнь, не дав никому заглянуть себе в душу, не дав увидеть этот смрад сомнений и безверия?.. Когда Феофилат с Коробом шлют посла за послом, моля о милосердии государевом? Бой! Не будет боя! Будет то, что уже было, гнусная торговля, взаимные предательства вятших, глад во граде, окуп, коего на этот раз не примет князь Иван, а потом — чужие руки на предплечьях, жирный звяк кандалов, все то, от чего и сейчас ознобом, чуть вспомнишь, охватывает все тело!

Или убежать, спрятаться, уехать на Двину, как Своеземцев? Владельцу с лишком четырехсот обеж не спрятаться!

Бросить все и уйти в монастырь? На это нужна вера, простая, народная. А она расшатана книжным знанием и вконец подорвана проповедью духовных братьев противу монастырского стяжания и монашеской жизни. И все же это единственное прибежище, единственное место, куда еще можно уйти!

Он уже готов был отречься от мира, мысленно прощался с семьей, с женою, со старшим сыном, так похожим на него, Григория, с дочерью и двумя младшими. И жена, и все они были далеко, и словно бы уже не существовали, словно бы уже произошло, со сладкою болью содеянное, отречение, после которого лишь книги, да молитва, да грубая ряса, да жухлое золото осенних берез, золото умирания. За Волховом, на Вишере... любо на Онеге! Бедная серая маковица монастырька, три-четыре молчаливых брата... Навек! Да и как сказать было бы слуге, с которым бок о бок дрался на Шелони: поедем, мол, даваться москвичам?

Дворский вывел его из затруднения, сам предложив буднично просто:

— Ехать надоть теперича, пока выпущают из горо-

да! — И на недоуменный, растерянный взгляд Григория пояснил: — К великому князю! Аль будем здесь дожидатьце? Кабы в осаде-то от голоду не погинуть!

Как просто! И все они, значит, уже думали, и все обдумали и решили без него и за него. Он долго молчал. Дворский уже шевельнулся уходить на цыпочках, решив, что молвил неподобное, когда Тучин остановил его, подняв узкую руку, и, сглотнув, вымолвил:

— Погоди! Соберешь людей: добро отобрать, что поценнее, с собою. Коней перековать надобно.

— Кони готовы! — повеселев, отвечал дворский. — Я уж на свой страх! Думал — поскорее чтобы, а то умедлим, не выберемся уже!

Григорий Тучин и тут, в этот миг, не признался, не мог признаться себе, что подчиняется простой грубой силе — так это казалось унизительно.

Московское войско они встретили двадцать шестого октября. Все было серо: серое небо, серая дорога, серые крыши примолкших деревень. Шел редкий снег. Он еще не ложился, снежинки медленно исчезали, запутываясь в тусклой траве. Обнажившиеся кусты серою сквозистою дымкой окаймляли темную гряду елового леса. С холма открылись затянутые осенней мглою дали и шевелящаяся, как муравьи, по всем дорогам масса московских войск. К ним подскакал разъезд. Жадные ощупывающие глаза разгоряченных алчных людей забегали по Тучину.

— В службу великому князю! — строго отмолвил он и увидел, как разочарованно вытянулись лица москвичей, рассчитывавших на поживу. Он испытал одновременно облегчение от того, что «это» произошло, и стыд за себя, смутное чувство предательства. («Но кому? Все торопятся сделать то же самое!»)

— Доложи государю! — потребовал Тучин.

— Великий государь тебя ишо то ли примет, то ли нет! — спесиво ответил московский дворянин, и, отворотившись, громко выбил нос, стряхнув сопли с руки на мерзлую дорогу и обтершись рукавом.

— За нами давай! — кивнул от Тучину вполоборота и крикнул своим: — Трогай!

Григорий, дав знак дружине, поскакал следом, ощущая первые смутные сомнения: так ли просто окажется для него, Тучина, в нравственном смысле, служить в одном ряду с этими вот дворянами московскому самодержцу?

Второго ноября в Турнах Иван принял псковского посла. Посол прибыл со слезной грамотой, сообщая, что десятого октября весь град Псков выгорел от пожара, о чем псковичи со слезами сообщают великому князю и челом бьют. А что велено было складную грамоту Новгороду отослать в другой ряд, то все они исполнили. Иван закусил губу, но промолчал. Подозревать псковичей в том, что они нарочно подожгли город, чтобы затянуть выступление, нельзя было.

Четвертого подошла тверская помочь. Восьмого ноября в Еглине Иван наконец-то принял новгородских опасчиков, Калитина и Маркова, и вручил им опас для проезда посольства.

Войска продолжали ползти по дорогам. Умножались грабежи. Там и сям вспыхивали пожары. Снова зорили, гнали скот, отбирали лопотину и утварь. Приняв к сведению опыт прошлого похода, Иван взял меры для охраны своего личного добра. В села, что отходили великому князю (еще не урядившись с новгородцами, Иван уже заранее намечал, что он заберет себе), были посланы ратные для охраны и отгоняли зарвавшихся воев — великого князя добро!

В Марфиной волости Кострице Иван побывал сам. Осведомился о хозяйстве. Ему рассказали, что здесь полотняный промысел. Принесли образцы полотна, привели Демида.

Демид, узнав, что волость переходит к великому князю, набрался храбрости — случай был единственный — изложить Ивану снедающие его замыслы о развитии полотняного дела на Руси:

— Не во гнев помянуть, боярыне Марфе Ивановне говорил, дак она не вняла! А государю великому сверху виднее, и польза от того бы всей стране пошла!

Иван молча выслушал горячую речь холопа Демитки (так его представили государю), оглядел мастера, остался доволен. Дело, видимо, знает, а что говорит неподобное, дак что с холопа спрашивать! Посмотрел еще раз полотно: в самом деле хорошо, голландского не хуже. Решил — надо будет его оставить, пусть работает по-прежнему. А волость подарить матери, свое будет полотно. Наклонением головы он дал знак, мастера увели. Из дальнейших слов московского дворянина Демид понял, что его помиловали и что из Демида он превратился в Демитку.

Новгород продолжал разбегаться. Уехали заморские

купцы. Их хотели было задержать, но в конце концов решили, что держать не стоит, помощи от того никакой, только хлеб будут есть. Уехали, еще прежде, низовские гости. Многие новгородские купцы тоже пережидали грозу в чужих городах.

Вскоре после отъезда Тучина, отъезда, бросившего тень на весь Неревский конец, бежал, возмутив соратников, Иван Кузьмин, зять Захарии Овина. Кузьмин, опасавшийся казни государевой, устремился в Литву, под королевскую защиту. Жалкий слепец, так и не понявший, что нужен Казимиру не он, а его земли и что безземельных панов, жаждущих получить села с крестьянами, у короля Казимира и так некуда девать, и скорее бы им были розданы (повернись иначе историческая судьба) земли Великого Новгорода, а не ему даны земельные владения в Литве, не ему и не ему подобным отломышам от дерева родины! Четыре года спустя опустившийся, растерявший слуг, он воротится в Новгород в тщетной надежде прожить тихо и будет, в свою очередь, схвачен наместниками великого князя московского.

Иные из новгородских бояр и житьих пробирались в деревни, таились, ожидая судьбы. Кто же оставался, сидели по домам, не разъезжали по городу на дорогих конях. Новгород построжел, виднее стал черный народ на улицах, не перед кем стало вжиматься в тын, пропуская гордо скачущих всадников.

Уже в середине ноября, когда московские рати угрожающе приблизились, уехал тайком сын казненного воеводы Никифорова, Иван Пенков с сестрою Ириной, подругой Олены Борецкой. Со дня гибели отца Иван жил в непрерывном страхе и наконец не выдержал. С опасением ехал он и к великому князю. Грядущее действительно не принесло ему добра. Ирина же, задумчиво и жадно выглядывавшая из возка, ехала легко, радостно. Перед нею, еще незнакомая, брезжила новая судьба. Ей суждено было выйти замуж за знатного московского боярина, и хоть она не знала еще о том и о женихах не думала — но все в ней устремлялось к неведомому, и все ободряло ее: и веселый снег, что бойко укрывал промерзшую землю, и ожидание встречи с московскими вельможами, и молодость, пора дерзости, пора надежд.

Пенковы встретили московское войско девятнадцатого ноября в Палинах. В тот же день Иван урядил полки и отпустил воевод передовой рати под Новгород.

Двадцать третьего ноября в Сытине Иван наконец-то

принял новгородских послов во главе с владыкою Феофилом.

С архиепископом пришли Яков Короб от неревлян, Феофилат Захарьин и Лука Федоров от пруссов, Яков Федоров от Плотницкого конца и Лука Полинарьин от Славенского. С ними пятеро житьих: Александр Клементьев, Ефим Медведнов, Григорий Киприянов Арзубьев, Филипп Килский и Яков Царевищев, купец.

Ударили морозы. Снег скрипел под копытами и полозьями саней. В одну тихую ночь разом стал Ильмень, и день ото дня лед на озере крепчал.

Жарко топилась печь в горнице большого приема. Горели свечи. Государевы бояре сидели на лавках, Иван — в кресле, посредине. Послы стояли тесной кучкой перед ним. Феофил начал говорить:

— Господине, государь, князь великий, Иван Васильевич всея Руси! Я, господине, богомолец твой, и архимандриты, и игумены, и все священницы всех седьми соборов Великого Новгорода тебе, своему великому князю, челом бьют!

Голос Феофила слегка дрожал. В горнице от многолюдства и тесноты было душно. Иван смотрел на послов со спокойным любопытством: город был в его власти. Почти в его власти. Он ждал. Феофил продолжал говорить:

— Что еси, господине, государь, князь великий, положил гнев свой на отчину свою, на Великий Новгород! Меч твой и огнь ходит по новгородской земли, и кровь крестьянская льется! Смилуйся, государь, над своею отчиною, меч уйми и огнь утоли, кровь бы крестьянская не лилася, господине государь, помилуй! И я, господине, богомолец твой, с архимандриты, и с игумены, и со всеми священники седьмью соборов тебе, своему государю, великому князю, со слезами челом бьем!

Он замолк, и тут же за стеной жалобно замычала корова. Где-то топали кони. И потому, что на сотнях верст горели новгородские деревни, от уставных слов архиепископа веяло горем и безысходностью. Далее Феофил вновь просил за пойманных полтора года назад пятерых великих бояр.

После него выступили бояре и житьи. Говорил Яков Короб от имени степенного посадника Фомы Андреича, степенного тысяцкого Василья Максимова, бояр, купцов, житьих и черного народа и всего Великого Новгорода, «мужей вольных». Иван чуть повел бровью, услышав это

набившее ему оскомину прозывание. Вот они, мужи вольные, с мольбою пришли! Нет, он не усмехнулся, он слушал. Яков Короб повторил то же, что Феофил, просил унять меч и отпустить пойманных прежде. Следующим выступил Лука Федоров, просил пожаловать, велеть поговорить им с его боярами. Иван согласно наклонил голову. На этом торжественная часть переговора окончилась. Иван пригласил послов отобедать у него.

Наутро послы побывали у Андрея-меньшого с поминками, просили заступиться и помочь в переговорах. Затем вновь просили великого князя, чтобы пожаловал, «велел с бояры поговорити».

Иван выслал на говорку князя Ивана Юрьевича и Василья с Иваном Борисовичей. Дальнейшие переговоры велись через этих бояр. Послы и бояре государевы сидели в горнице напротив друг друга и говорили по очереди.

Яков Короб вновь попросил нелюбие отложить и меч унять. Феофилат попросил выпустить пятерых бояр великих, что томились в заключении. Лука Федоров предложил, чтобы Иван ездил на четвертый год в Новгород, имал по тысяче рублев, суд же судил бы наместник вместе с посадником, оставляя решение спорных дел на волю князя, заодно он попросил, чтобы не было позвов в Москву. Яков Федоров просил наместника не вступаться в суды посадника. Житьи принесли жалобу на мукобрян, черноборцев великого князя, которые творят самоуправства, не отвечая по суду посадническому. Яков Короб заключил перечень жалоб осторожным согласием на иные требования великого князя: «Чтобы государь пожаловал, указал своей отчине, как ему бог положит на сердце отчину свою жаловати, и отчина его своему государю челом бьют, в чем им будет мочно быти».

Последнее значило, что и на иные требования великокняжеские, касательно земель, окупа и прочего, Новгород готов согласиться. Это было много, очень много, но меньше того, что Иван хотел и мог получить теперь, а он теперь хотел получить все.

В тот же день Иван, ничего не отвечая послам, послал своих воевод занять Городище и пригородные монастыри.

Озеро уже стало прочно. Накануне Холмский сам разведывал лед. Когда гонцы домчались от Сытина до Бронниц, темнело. Тотчас началось согласное шевеление конных ратей. В быстро сгущавшихся сумерках промаячило обмороженное лицо Данилы Холмского. Он сутки

не слезал с коня и сейчас прискакал встретить гонца с давно ожидаемым приказом. Переговорив с Ряполовским, он поскакал в чело своих ратей. Холмский боялся, что новгородцы опередят его и сожгут монастыри под носом у московских войск. Но новгородцы медлили. Их разъезды жались к стенам города. Даже на Городище не было их ратей. Московские всадники невозбранно тянулись по заранее проложенным тропинкам, сквозь перелески, подымаясь на взгорки и ныряя в ложбины замерзших ручьев и рек. Шли тихо. Слышались только редкий звяк, сдержанное ржанье коней в темноте да хруст мнущегося снега. Из кустов вывертывались молчаливые издрогшие на морозе сторожи, указывали путь.

Полки, что должны были идти к Юрьеву, выходили к берегу Ильменя. Вдали чуть посвечивали редкие огоньки левобережья. Из тьмы вывернулся монашек, как оказалось, из братии Клопского монастыря. Нарочито поджидал ратных. Монашка привели к Ряполовскому. Боярин недоверчиво поглядывал на оснеженную серо-синюю равнину с дымящимися разводьями у берега. Ратники рубили хворост, кидали в черную воду, мостили гать до твердого льда.

— Мы тута рыбу ловим по льду кажный год! — успокоил монашек. — Там крепко, коням мочно пройти!

Лошади фыркали, осторожно ступая в ледяную воду. Ночь туманилась инеем. Справа, вдали, посвечивали новгородские огни. Ледяная равнина тянулась и тянулась. Медленно приближался черный лес. Правее показались смутные очертания ограды и церковных глав Перыня. Тут тоже, видимо, не было новгородской сторожи или спала оплошкой. Когда выбрались на берег, монашек сполз с коня и растворился в темноте. Передовые отряды тотчас, минуя Перынь, ушли к Юрьеву. Далекий звук долетел с той стороны. Теперь скорей! В темноте — громкий стук в ворота. Хриплое, спросонь:

— Свои? Чужие?!

— Отворяй!

Всадники с седел карабкаются на ограду. Хруст и царапанье, дыхание человеческое и конское. Скрип ворот. Отшвырнув привратника грудью коня, врываются во двор, кто-то кричит, кого-то волочат от колокольни, прыгая с коней, разбегаются по покоям москвичи. Вдали, на той стороне, возникло пламя пожара. Взметываясь, рассыпаясь искрами, выбиваясь из-за кровель, пламя сникало и вспыхивало, и тогда казалось, что разгорится, но вот

оно стало ниже, ниже, видимо, ратники тушили огонь. Где-то почасту бил колокол. Пламя сникло, пожар уняли.

В ночь с понедельника на вторник все монастыри в окологородьи были заняты великокняжескою ратью. Во вторник, двадцать пятого ноября, получив донесения воевод, великий князь приказал своим боярам дать ответ новгородским послам.

Опять сидели друг против друга князь Иван Юрьевич с Василием и Иваном Борисовичами и новгородские послы. Говорили по очереди, начал от лица великого князя Иван Юрьевич:

— Князь великий, Иван Васильевич, всея Руси, тебе, своему богомольцу, и посадникам, и житьим тако отвечает: что еси, наш богомолец, да и вы, посадники и житьи, били челом великому князю от нашей отчины, Великого Новгорода, о том, что мы, великие князи, гнев свой положили на свою отчину, на Новгород.

Иван Юрьевич умолк значительно. За ним начал Василий Борисович:

— Князь великий глаголет тебе, своему богомольцу, владыке, и посадникам, и житьим, и всем, что с тобою здесь: ведаете сами, что посылали к нам, к великим князем от отчины нашей, от Великого Новгорода, от всего, послов своих Назара, подвойского, и Захара, дьяка вечного, назвали нас, великих князей, себе государем. И мы, великие князья, по вашей присылке и по челобитью вашему послали к тебе, владыке, и к отчине своей, к Великому Новгороду, бояр своих, Федора Давыдовича да Ивана и Семена Борисовичей, велели им вопросить тебя, своего богомольца, и свою отчину, Новгород: какова хотите нашего государства, великих князей, на отчине нашей, Великом Новгороде? И вы того от нас заперлися, а к нам, сказывали, послов своих о том не посылывали, а возложили на нас, на великих князей, хулу, сказав, что то мы сами над вами, над своею отчиною, насилие учиняем. И не только эту ложь положили на нас, своих государей, но много и иных неисправлений ваших к нам, к великим князьям, и нечестья много чинится от вас, и мы о том поудержалися, ожидая вашего к нам обращения, а вы и впредь еще лукавейше к нам явились, и за то уже не возмогли мы терпеть более и злобу свою и приход ратью положили на вас за неисправленье ваше!

Василий Борисович замолк в свою очередь. Кое-кто из новгородских послов растерянно отирал пот со лба. Князь Иван явно не желал признать, что посольство За-

хара с Назарием было ложным. Феофилат и Яков Короб, хорошо знавшие всю подноготную, переглянулись и побледнели. «Что теперь есть истина?» — хотелось спросить каждому из них. Заговорил Иван Борисович:

— Князь великий тебе, владыке, и посадникам, и житьим так глаголет: били мне челом о том, чтобы я нелюбие свое сложил, и поставили речи о боярах новугородских, на которых я прежде сего распалился. И мне бы тех жаловати и отпустити?! А ведомо тебе, владыко, да и вам, посадникам и житьим, и всему Новугороду, что на тех бояр били челом мне, великому князю, вся моя отчина, Великий Новгород, и что от них много лиха починилося отчине нашей, Великому Новгороду и волостям его? Наезды и грабежи, животы людские отымая и кровь крестьянскую проливая?! А ты, Лука Исаков Полинарьин, сам тогды был в истцах, да и ты, Григорий Киприянов Арзубьев — от Никитины улицы?! И я, князь великий, обыскав тобою же, владыкою, да и вами, посадники, и всем Новгородом, что много зла чинится от них отчине нашей, и казнити их хотел. Ино ты же, владыка, и вы, отчина наша, добили мне челом, и я казни им отдал. И вы нынеча о тех винных речи вставляете, и коли не по пригожью бьете нам челом, и как нам жаловати вас?

Это было заслуженная выволочка. Действительно, сами подавали жалобу, сами давали приставов на братью свою, на поиманных, и сами теперь хлопочут о виновных.

Заключил речи государевых бояр опять князь Иван Юрьевич:

— Князь великий глаголет вам: восхощет нам, великим князем, своим государям, отчина наша, Великий Новгород, бити челом, и они знают, отчина наша, как им нам, великим князем, бити челом!

Говорка кончилась. Иван задал-таки загадку послам новгородским, любой ответ на которую делал их виноватыми перед государем. Так пропасть и другояк пропасть! Получив пристава, чтобы миновать московские рати, послы Господина Новгорода отправились восвояси.

ГЛАВА 27

Все это было как в страшном сне, ежели заспишь на левом боку, когда задыхаешься, и немеют члены, и, кажется, надобно закричать, а голосу нет, и надо, чтобы спастись, только достать, только дотянуться до чего-то, и рук не вздынуть, а косматые лесные хари хохочут,

протягивая когтистые лапы, и вот-вот схватят, сожрут, и уже сквозь сон через силу застонешь, и тогда проснешься.

Борецкая порою приходила в отчаянье. Из Литвы, от короля, не было ни вести, ни нáвести, да она и не ждала помочи от Литвы. Но сами-то, сами! Монастыри надо было сжечь сразу. Воспротивился Феофил, восстало все черное духовенство. Юродивые, кликуши из Клопска лезли аж в окна:

— Не дадим жечь святые обители господни!

Воеводы колебались, ждали ответа посольства, ждали невесть чего — дождались! В ту ночь Марфа сама, на свой страх, послала Ивана Савелкова зажигать монастыри за Торговой стороною, откуда ближе всего была угроза ратная. В Кириллове монастыре, с которого думали начать, какой-то монах бросился, раскинув руки, перед ратными, прикрыв ворота:

— Убивайте!

Дружина вспятилась. Завозились, замешкались, начали поджигать ограду. Мокрое дерево разгоралось плохо. Едва выбилось пламя, как раздался топот из темноты. Это были ратники Стриги-Оболенского. Началась бестолковая рубка. Потеряв половину людей, Савелков кое-как с остальными ушел в Новгород.

И вот монастыри заняты москвичами, и удобно расположившиеся, в тепле и под защитою стен московские ратники высматривают новгородские разъезды, перекликаясь друг с другом с шатровых колоколен непорушенных храмов. Поплевывают, попивают пиво из погребов монастырских и ждут неизбежного, рокового для осажденных конца.

В город набилась тьма беженцев из пригородов, посадов, из деревень. Говорили, что московские рати грабят все подряд, жгут, раздевают, зорят амбары, режут и угоняют скот. В ту войну хоть в лесах спасались, а тут, в морозы, в сугроб с детями не полезешь. В торгу как-то разом и вдруг исчез хлеб. Кое у кого были запасы дома, но их могло хватить самое большее на неделю. Зимний завоз снедного припаса в Новгород так и не начался, помешала война. Ратная сила обогнала обозы. Неделя пройдет, а дальше как? «Конец, конец, конец!» — кровью стучало в висках у Борецкой. Только чудо могло теперь спасти Новгород. И она исступленно продолжала верить в чудо.

Двадцать шестого ноября по ее настоянию было тор-

жественно отпраздновано ежегодное богослужение в честь победы над суздальцами. Строже выглядела на этот раз толпа в соборе. Будто бы и золото потускнело на ризах духовенства. Не все светильники и паникадила были зажжены, и в углах огромного здания копилась темнота. Феофил сделал все, чтобы не допустить торжеств, но чуда хотела не одна Борецкая, чуда хотел весь город, и архиепископу пришлось уступить. Он только что воротился с переговоров от Ивана Третьего и вот неволею служил службу, призывая к одолению на враги.

В полутьме храма стояла строгая толпа. Бородатые лица кузнецов, стригольников, бронников, седельников, плотников, щитников. Иные были в бронях, пришли прямо со стен. За ними грудились бабы, замотанные в платки. Бояр почти не было. Над толпою подымался пар от дыхания, уносясь в немыслимую высь намороженных сводов. Многие шепотом повторяли слова, что монотонно читал Феофил:

— Мнящеся непокоривии от основания разорити град твой, Пречистая, неразумевшие помощь твою, Владычице, но силою твоею низложени быша!

И Марфа, стоя в толпе, неотличимая от прочих, неистовыми, грозно-молящими глазами взирая на лик богородицы, молила, требовала, заклинала: чуда! Ведь было же чудо одоления три века тому назад! Чуда! И о чуде молили улицы, и чуда ждала толпа! Чуда! Только чуда жаждали все в обреченном на гибель городе, с первыми грозными печатями голода на лицах сгрудившихся в соборе горожан.

Чудотворная икона «Рождества богородицы» и вторая, с чудесным спасением от суздальцев, были пронесены по стенам города. Ратники на заборолах сурово прикладывались к образам. Москвичи издали тоже глядели, собираясь кучками, из-под ладоней высматривая крестный ход, обходящий город. В согласное молитвенное пение врывалось редкое буханье пушек. И Господин Великий Новгород стоял торжественный, в морозной красоте одетых инеем соборов, в белом бахромчатом узорочье оснеженных крыш — седой, древний, величавый.

Московские полки продолжали окружать город. Двадцать седьмого ноября великий князь с ратью сам перешел Ильмень по льду и стал под городом, у Троицы на Паозерье, в селе Лошинского, забранном им как древнее княжое владение себе, в состав государевых вотчин. Воеводы с полками располагались по монастырям. Го-

род был взят в плотное кольцо московских ратей и наглухо отрезан от своей волости.

Иван побывал в Юрьеве и осмотрел Новгород с кровли Георгиевского собора. Отсюда город просматривался весь, и Детинец, и Торговая сторона, со скоплением соборов на торгу, и Ярославово дворище, и острог, обведенный вокруг города. Через Волхово новгородцы тоже соорудили заборола на сцепленных друг с другом судах, а по льду — из наметанного хвороста и политого водой снега. Перед судами они пробили лед, чтобы москвичи не могли войти в город с речной стороны.

Меж тем рати все продолжали и продолжали подходить. Иван учел все оплошности прежнего похода. Воеводам велено было половину людей послать по корм, давши им сроку десять дней. Московские ратники обшаривали все деревни, рядки и погосты вплоть до Наровы, выгребая хлеб и угоняя скот на прокорм великокняжеского войска.

Наконец вышла в поход и псковская рать. Иван Третий послал подторопить ее и велел псковичам присылать снедный припас: пшеничную муку, рыбу и пресный мед, а также присылать псковских купцов, продавать снедное довольствие для войска — хлеб, мед, муку, калачи и рыбу. Псковской рати Иван велел стать на Веряже и в монастыре святой Троицы на Клопске.

Четвертого декабря к великому князю на Паозерье вновь прибыло новгородское посольство в прежнем составе, с архиепископом Феофилом во главе. Вновь послы слезно молили унять меч и огнь утушить. Бояре великого князя (к трем прежним прибавились Федор Давыдович и Иван Стрига) отвечали послам, согласно приказу Ивана, так же, как и первый раз:

— Посылали к нам Назара да Захара, дьяка вечного, и называли нас государем, мы потому и послов посылали вопросити вас: какого хотите государства? Вы же заперлись того, и ложь положили на нас, оттого и война. А захочет отчина наша, Великий Новгород, бить челом нам, великому князю, и они знают, как нам бить челом!

Послы попросили день для размышления. Долго размышлять уже не приходилось, голод в городе начинался не на шутку. Приходилось признать полномочным обманное посольство Захара с Назаром. Овин и мертвый продолжал вредить Новгороду.

Пятого декабря новгородское посольство явилось вновь. У Ивана были братья, оба Андрея и Борис Ва-

сильевичи. Послы били челом и повинились, что посылали Назара с Захаром и ложно заперлись в том перед боярами великого князя. Теперь, когда новгородцы сами себе надели веревку на шею, следовало ее затянуть потуже. Иван велел отвечать:

— А коли уже ты, владыка, и вся наша отчина, Великий Новгород, пред нами, пред великими князьями, виноватыми сказалися, а тех речей, что к нам посылали прежде, вы заперлись, а ныне сами на ся свидетельствуете, а воспрашиваете, какову нашему государству быти на нашей отчине, на Новгороде? Ино мы, великие князи, хотим государства своего, как у нас, на Москве, так хотим править и на отчине своей, Великом Новгороде!

Оробевшие от столь неслыханного требования послы просили дать им два дня на размышления и переговоры с горожанами. Иван отпустил послов и на другой же день велел своему мастеру, Аристотелю Фрязину, навести мост на судах через Волхов под Городищем и усилить обстрел города из пушек.

До сих пор москвичи изредка подъезжали к стенам острога (новгородцы обвели деревянною стеною часть Онтоновского ополья и Неревские ополья Софийской стороны, так что и Онтонов монастырь на Торговой стороне и Зверин на Софийской были в руках новгородской рати). Пешие отряды ремесленников и конные ратники воеводы Шуйского выходили и выезжали встречу москвичам. Стычки происходили больше всего за Звериным монастырем, на пути к Колмову, и за стенами острога Онтоновского ополья. Под Городцом москвичи держали осаду прочно, выставив пушки, обстреливавшие город с юга. Новгородских ратников, выбиравшихся на вылазки со Славны, встречали ядрами, загоняя назад, за стены. Несколько раз москвичи пробовали захватить стену острога, но огонь новгородских пушек в свою очередь и мужество осажденных заставляли москвичей отступать, каждый раз с заметным уроном. Брать город приступом всех своих ратей Иван не решался. Трудно сказать, что его удерживало: крестный ли ход двадцать шестого октября и икона «Знамения», природная ли осторожность или трезвый расчет, заставлявший предпочесть верную сдачу осажденных под угрозой голодной смерти неверному военному счастью, которое могло изменить в этом случае Ивану, да и в случае успеха должно было дорого обойтись осаждающим. И продолжалось томитель-

ное стояние, продолжали бухать пушки с той и другой стороны, и каленые ядра, крутясь, со свистом разрезали промороженный воздух.

Самым опасным местом была та часть острога, что шла на судах через Волхов от Славны до Людина конца. Отсюда прорвавшиеся москвичи могли враз ударить на Детинец и торг, разрезав город надвое. Шуйский приказал усилить сторожу по реке, не давать замерзать проруби и беречься. Именно с этой стороны били по городу пушки Аристотеля.

Вечерело. Возок остановился у кромки берега, и от него по льду к заборолам направились две фигуры, неясные в морозном сумраке.

— Никак баба? — удивился старшой из мужиков, что охраняли прясло речной стены. — Куда прет, убьют ведь! Эй, куда? — закричал он, подбегая, и осекся: — Дак это... Марфа Ивановна, прости, не признали враз!

— Вечер добрый, мужики! — озрясь, отвечала Борецкая.

От полыньи клубами подымался морозный пар. Черная вода стремилась внизу. Куски обмерзающего ледяного крошева, выплывая снизу, тотчас пристывали к краю проруби. Парень как раз долгою пешней, стараясь не очень высовываться по-за заборол, отбивал кусок пристывшего льда.

— Не замерзнет? — спросила Марфа.

— Следим!

— Тута не сунутце! — разом отозвались дружные голоса.

— Мотри, Ванята, опасайсе! — крикнул старшой парню с пешней.

Вновь бухнуло на той стороне, и ядро, просвистев в воздухе, с шипом зарылось в снег, прочертив длинный след.

— Метко бьет фрязин! — с похвалой отозвался кто-то из ратников.

— У него, вишь, пушки фрязин разоставлял! — пояснил Марфе давешний мужик, тот, что остерегал парня с пешней. — Тут у нас сторожко надоть, вчера троих повалил!

Марфа не отвечала, вглядываясь в вечерний сумрак, уже размывший ясные прежде очертания наводимого Аристотелем моста и грудящихся у пушек московских мастеров огненного боя. Один из мужиков, поковыряв сапогом снег, выкатил ядро — поднести Борецкой — и,

поваляв носком сапога, чтобы остыло, подхватил рукою, но тотчас перебросил из руки в руку — каленое ядро еще сильно жгло и через рукавицу. Борецкая даже не глянула. Мужик еще что-то сказал ей. Марфа, сильнее запахнув платок, стала тяжело подыматься по ступеням на заборола, отстранив ключника, бросившегося было вперед ее. Долго стояла на виду. Молча, сжав губы, глядела в московскую сторону. Еще два или три ядра просвистели над головою, с шипом уходя в снег. Марфа не шевельнулась. И мужики замерли внизу, глядя на нее. Наконец боярыня начала спускаться с заборол. На ступенях ее поддержали сразу несколько рук.

— Кто тут у вас над ратью? — спросила она старшого.

Тот назвал. Оказалось, какой-то плотник со Славны.

— Из бояр никого?

— Попрятались наши воеводы, Марфа Ивановна! — ответил старшой, поняв ее с полуслова, и добавил сурово: — То ничего. Хлеба нет. То беда! Сколько народу скопилось в городи! — Он помолчал и прибавил тихо: — От голода не устоим...

Седьмого декабря новгородское посольство вновь явилось к Ивану, ведя с собою выборных от черных людей: Аврама Ладожанина — от Неревского, Кривого — от Гончарского, Харитона — от Загородского, Федора Лытку — от Плотницкого и Захара Бреха — от Славенского концов. Без них ни Феофилат, ни Яков Короб, ни иные не хотели взять на себя смелости объявить городу о позорных условиях сдачи.

Накануне на городском Совете попытались сочинить новые предложения великому князю, кабальные, но сохраняющие хоть видимость прежних свобод. С тем и явились на Паозерье.

Старосты черных людей, не доверявшие боярам, ни самому князю московскому, держались особною кучкой. Так, особно, стали и перед государевыми боярами. Высокий, сдержанно-суровый кузнец-оружейник Аврам Ладожанин, старший над прочими. Неистовый, широкоплечий одноглазый седельник, затравленно озирающий московских воев, Никита Кривой, выборный Людина конца. Степенный староста, серебряных дел мастер Харитон, посланец от Загородья, что все еще верил в силу законных прав и добрую волю князя московского. Невысокий ро-

стом, остроглазый и суетливый епанечник со Славны Захар Брех, хитрый говорун и балагур, он и тут еще пробовал вполголоса повторять свои приговорки, ободряя себя и товарищей. И могутный светловолосый великан лодейный мастер Федор Лытка, посланный плотничанами, самый праведный, как говорили про него, мужик во всем Новгороде.

С послами вновь говорили князь Иван Юрьевич, Федор Давыдович и Василий с Иваном Борисовичи. Начал речь Яков Короб, поглаживая белой рукой мягкую бороду и оглядываясь с некоторым беспокойством на черных людей в их простом, хоть и не бедном посадском платье и темных сапогах. Московские бояре также с отчужденным любопытством взирали на этих людей, увидеть которых в Совете с боярами государевыми на Москве было бы невозможно. Но таков был — пока еще был! — Господин Великий Новгород.

Яков предложил наместнику судить с посадником вместе. От особого посадничьего суда новгородцы отказывались. Феофилат, вслед за ним также скользом поглядывая на черных людей, предложил взимать с Новгорода ежегодную дань со всех волостей с новгородских с сохи по полугривне. Лука Федоров предложил московскому князю держать своими наместниками новгородские пригороды, не меняя только суда. Яков Федоров за ним просил, чтобы не было выводов из Новгородской земли и о вотчинах боярских, чтобы государь их не трогал и чтобы не было позвов на Москву. Все вместе били челом, прося, чтобы новгородцев не слали на службу в низовскую землю, а позволили охранять те рубежи, которые сошлись с новогородскими землями: Наровский, от немцев, Свейский и Литовский рубежи. Черные люди просили не рушить вече и порядки городские, не отбирать смердов от города.

Московские бояре, выслушав речи новгородских послов, переглянулись, усмехнулись, разом поднялись и вышли доложить о том государю.

Столь унизительных для себя предложений Новгород еще не делал никому за всю свою многовековую историю. Владыки Новгорода Великого оставляли себе уже только тень власти, но и тень власти прежнего Новгорода была ненавистна Ивану.

— Пожаловал бы государь, вече сохранил! — громко сказал Федор Лытка.

На него отчужденно оглянулись разом все бояре и

житьи и промолчали. Ежели Иван требует государства, как на Москве, то вече должно быть уничтожено в первую очередь.

Вернувшиеся государевы бояре расселись по лавкам, вновь переглянулись, и от них, от имени государя заговорил Федор Давыдович:

— Государь наш, великий князь Иван Васильевич всея Руси, молвит так: били мне, великому князю, челом: ты, наш богомолец, и наша отчина Великий Новгород, зовучи нас себе государем, да чтобы мы пожаловали, указали своей отчине, каковому государству в нашей отчине быть. И я, князь великий, то вам сказал, что хотим государства на своей отчине, Великом Новгороде, такова, как наше государство на низовской земле, на Москве. А вы нынеча сами указываете мне и чините урок, какову нашему государству быти. Ино то какое же мое государство будет?!

Потупились новгородцы. За всех ответил Феофилат:

— Мы не указываем великому князю, какому быть его у нас государству, но пусть тогда пожалует государь свою отчину, Великий Новгород, объяснит, какому их государству у нас быти, занеже их отчина, Великий Новгород, низовских законов и пошлин не знают, не ведают, как государи великие князи государство свое держат в низовской земле?

Яков Короб с облегчением посмотрел на Феофилата, они все понимали, чего требует московский государь, но при старостах черных людей сами, как того хотел Иван, предложить отменить вече они не могли. Участь Никифорова и Овина у всех еще была свежа в памяти.

Вновь выходили и возвращались бояре государевы. Волю Ивана объявил послам князь Иван Юрьевич:

— Князь великий тебе, своему богомольцу и владыке, и вам, посадникам и житьим и черным людям, тако глаголет: что били челом мне, великому князю, чтобы я явил вам, как нашему государству быти в нашей отчине, ино наше государство великих князей таково: вечу и колоколу вечному во отчине нашей, в Новегороде, не быть, посаднику степенному и посадникам не быть, а государство и суд все нам держати. И на чем нам, великим князем, быти в своей отчине — волостям, селам и землям, тому всему быти, как и у нас в низовской земле. А которые земли наших великих князей издревле, от прадедов, бывшие за вами, а то бы все было наше. А что били челом мне, великому князю, чтобы вывода из нов-

городской земли не было, да у бояр новгородских в отчины, в их земли, нам, великим князем, не вступаться и мы тем свою отчину жалуем. Вывода бы не опасалися, а в вотчины их не вступаемся, а суду быть в нашей отчине, в Новегороде, по старине, как в земле суд стоит.

Приговор вечу Аврам Ладожанин выслушал с каменным лицом. Кривой, тот не то всхлипнул, не то подавился проклятием, весь на мгновение исказившись лицом. Харитон, до этого часа веривший великому князю, побелел от возмущения. Захар Брех тоскливо оглянулся на сотоварищей, заглядывая снизу вверх в их суровые мрачные лица, и Федор Лытка, опустив голову, молча заплакал, не шевельнув лицом, не испустив ни вздоха, ни стона, только прозрачные капли сбегали у него по щекам, исчезая в светлой кудрявой бороде.

Послы, выслушав бояр государевых, сказали, что доложат о том вечу.

В последние дни площадь перед Никольским собором не освобождалась ни на миг. С утра до вечера толпились на вече мужики. Сюда приходили со стен сменившиеся сторожи, обсуждали всякую новость, рассуждали сами с собой:

— Дома что будешь делать? Чада голодны, жонка плачет!

— Тын на дрова испилил. Сосед, Сушко, уже крыльцо приканчивает!

— Теперича хлеба и за деньги не укупишь. Мрут и мрут, мор, бают, открылсе.

— И с деньгами подохнуть можно!

— Бояра-ти попрятались!

— Сожидают, как повернетце.

— Сожидать-то нецего уж! Вси помрем, богаты и бедны!

— Нынце и гробы делать некак, лесу нет!

В этот день вечевая площадь была забита битком, стояли у берега и на торгу, вплоть до Рогатицы. Толпа все густела. Новые подходили из Плотников и с Софийского заречья. Ждали послов.

— Едут! — пронеслось над застывшею толпою.

В шуме и возгласах вереница всадников миновала Великий мост, подъехала к вечевой избе. Отворачивая лица, слезали с коней, заходили внутрь. Новый вечевой дьяк, избранный взамен Захара, появился на крыльце.

Тревожно оглядел толпу, волновавшуюся у подножия вечевой ступени, поднял руку.

— Не томи! Молви! — выкрикивали ему из рядов.

— Государь великий князь московский, Иван Васильевич всея Руси! — начал высоким голосом дьяк и поперхнулся. Справившись, докончил отрывисто: — Требует! Вече и колокол отложить, посаднику и тысяцкому не быть, а править ему у нас, как и на Москве, самовластно!

Настала гробовая тишина. Только пар от дыхания подымался тысячами белых клубков над площадью. Потом началось шевеление, ропот, кругами, шире и шире. Распространяясь, он перешел в крик:

— Не дадим! Не позволим!

— Обманули бояра, за нашей спиной сговорили!

— Не дадим!

— Где старосты наши?

— Лытка, Федор, ты скажи, было то ай нет?

Федор стоял перед толпой, прямой, огромный, опустив руки, и по лицу у него, как давеча, в Думе государевой, текли слезы. Он не говорил ничего, но от ближних, что видели эти слезы, пробивающиеся по заиндевелым щекам и льдинками застревающие в курчавой, седой от мороза бороде, к дальним рядам, до самого края площади, больше, чем от слов, сказанных вечевым дьяком, доходил смысл сказанного и содеянного государем. Федор, так и не сказав ничего, кивнул головой, поднял руку, махнул и, закрыв глаза, поворотился, сгорбившись. И разом тысячеголосый стон пролетел над толпой.

— Как дело было?

— Сказывай!

Вышел Захар Брех.

— Братья! Ни в какую не могли сговорить! За горло взели! Как на Москвы, и всё тут! Боярам только вотчины дали, а вече и суд и всё под московского князя!

— Кривой! — звала в отчаянии площадь. Тот только взмахнул рукой: да, мол! Выкрикнул: «Не допустим!» — и смолк.

Харитон, из всех сохранивший присутствие духа, выступил за ним и подробно рассказал, что и как было. Что самого государя не видели, но бояра выходили к нему спрашивать каждый раз и что надежды на то, что требование убрать вече пересмотрят, нет никакой. Он повернулся.

— Владыку давай!

Феофил, дрожащий от холода и страха, взошел на вечевую ступень.

— Тише! Владыка говорит!

Слабый голос Феофила едва долетал до середины толпы.

— Господу... Смирение... Молитвах наших... Хранить святыни отеческие... Не басурманам, не латинам на поругание, а своему православному государю нашему, князю великому в руце предаем мы судьбы наши... Князь великий помилует, яко детей своих... Со смирением встретим крест свой, уймем гордыню...

Ропот от его слов, как шорох идущего льда, прошел по рядам народа. Феофил кончил. За ним говорил Яков Короб:

— Мы предлагали смесный суд, дань ежегодную от волости, наместникам государя пригороды подавали. То наше, великих бояр, право было и наша власть. Всем поступились, вече бы и посадника сохранить! Старосты ваши скажут пускай, при них и говорка велась! И всё уже делали, всё испробовали до конца... Сила не наша! Помириться надоть!

Борецкая — она слушала вместе со всеми — рванулась, отпихнув каких-то мужиков, вырвалась из толпы, закусила губу. Слезы, бабские, непрошеные, рвались из глаз, повойник с платком сбился в сторону. Она взбежала на вечевую ступень, оттолкнула Короба.

— Пусти, Яков!

Стала перед народом. Рванув, сдернула плат на плечи. Виднее стали ее запавшие глаза, резко пролегшие морщины щек.

— Слушайте меня, люди добрые! Что ж это?! Что мы делаем! О чем речи ведем?! Смирение?! Кто не смирен пред господом? Кто из вас, из малых сих, гордынею обуян? Здесь о воле речь! Не вотчины, волю нашу новгородскую отдаем в руки Москвы! Честь нашу мечем под ноги московскому князю! Нашу гордость, свободу и жизнь!

Глухой голос Марфы, страстный и жгучий, окреп, поднялся и прежним серебряным лебединым кликом заплескал над площадью, далеко разносясь в морозном воздухе, над притихшей громадой толпы.

— Колокол этот, что созывает вас с колыбели и до могилы на праздник, на суд, на бой, отнимут у вас! И вече, волю народную, волю граждан великого города, отберут! И что будет, что станет с вами, что сохранится от

вас? Что будет с сильными боярами вашими? Что будет с тобою? — обернулась она к Коробу и другим посадникам, которые слушали Борецкую, не осмеливаясь прервать. — Земли оберегаете? Вотчины? Не убережете! Без силы ратной, без мужицкого веча отберут у вас и земли, и права! И ты, Яков, и ты, Филат, сколь ни хитер, а не убережете ничего! Да и вы все: житьи, купцы, горожане, у кого ни есть чего за собою — земли ли, злато, товар, иное имение какое — у всех вас и каждого всё отберут москвичи! Отрежьте голову, руки сами пропадут, и резать не нать! Что вы там сговорили с князем вашим великим? Позвы вам отложили? Захарья Овин от веча, и то ездил в Москву на позвы государевы, а уже к вам, после Нового Города, князь не пожалует, сами поедете к ему! Не было бы выводов? Будут выводы! Суд по старине? Кнутьем будут бить бояр великих! Разосланы по городам чужедальным, в рубище, наги и босы, с протянутою рукою или в холопах в последних на чужом господском дворе обрящетесь вы тогда! И кто спросит, пожалившись о вас: «Из коего города?» — «Из Великого Новгорода», — скажете вы, очи прикрыв со стыда! Как древле от половец страдала земля киевская и как древле брели граждане полоненные по камению босы, в сухоту — безводни, в стужу — наги, поминая друг другу родные края! И где уже будет он, Великий, и кто вступится за детей своих? Кто пошлет оружные рати вослед, кто златом выкупит тот полон? Расточатся, как древний Израиль по лицу земли, как пыль по ветру дорог, дети твои, Новгород Великий! И забудут имя твое внуки их, забудут прадеднюю славу! Святыням новгородским, гробам владык преславных грядет поругание! И кто восхочет в скорби своей припасть к тем могилам, не увидит и светлоты храмовой, ни злата того, ни икон древних чтимых, не будет и могил святых! Владыка, лукавый и трусливый, ты, пастырь Великого города! Чем будешь ты, когда низвергнут град твой? Раб среди рабов! И вотчины твои, и весь блеск гордыни твоей в ничто ся обратит! И самого тебя ввергнут в узища, и спросишь когда: «За что?», ответят тебе: «Ненавистен еси зраку господина твоего!» И в День судный, что грядет и уже близ дверей, уже и живущие ныне узрят скончание мира сего. В День судный что скажешь ты господу? Ты, пастух нерадивый, погубитель стада своего?! Братья, дети! Отчичи мои, граждане Новгорода Великого! Не дайте погибнуть вечу новгородскому, и колоколу своему не дайте упасть! Воля! Головы

полагали прадеды отец наших за святую Софию, за волю, за славу Нового Города! Где ваша храбрость, где ваша удаль, где сила, мужество? От вас дрожала Волга, и немцы ливонские, и Свея, и Литва! Почто же теперь-то не скачут кони, не рубят мечи?!

В то время, когда Марфа Борецкая говорила на вечевой площади, Иван безносый шел по направлению к торгу, по Ильиной, мимо Знаменской церкви, бережно прижимая к груди то, что еще утром было его единственной дочерью Аниськой.

С началом осады им всей семьей пришлось перебраться в город. У Конона была теснота великая, но неожиданно Иван встретил старого знакомого, Козьму проповедника, и тот увел всю семью Ивана к себе в дом, на Торговую, недалеко от Ильинской церкви.

— Мне веселей, да и вам способнее будет! — приговаривал он радостно.

Козьма был добр и готов поделиться последним, но в доме его и так-то было всегда шаром покати, а тут, с началом голода, пришлось совсем плохо. Голодать они начали прежде многих других. Раза два Иван ходил к тестю, тот помогал, но Иван и сам видел, что у Конона грех просить — свои внуки едва живы. Иван в очередь ходил к Рогатицким воротам, в сторожу. Там иногда давали ратным немного овсяной каши, тогда он приносил, делился с семьей. Воротясь от ворот, Иван, закоченевшей, от голода кровь не грела и под шубой, медленно отогревался на едва теплой печи. Тут и заболела дочь. Ей шел уже тринадцатый год, но девочка была слабенькой и хрупкой. Голод подкосил ее первую. Аниська лежала горячая и не просила есть. Ивану молча подвигали миску с жидким варевом, не тронутым дочерью. Но, глядя на поджатые сухие губы Анны, — та совсем, почитай, не ела вот уже сколько дён, — ложка валилась из Ивановых рук. В исходе ноября заболела и сама Анна. Жар полыхал в ее истончившемся высохшем теле. Они еще не знали, что в городе вместе с голодом началась моровая хворь, и оба думали, что и ребенок, и Анна заболели от голода. Козьма, жалко взиравший на гибель Иванова семейства, — сам он до того и прежде привык не есть по неделям, что голод переносил легче всех и всякою добытой крохой делился с постояльцами, — не знал, что и предпринять. Он обегал весь город и ополья и где-то за святым Онтоном

достал крохотную посудинку молока. Согрели, поили Аниську, но девочка уже не пила. Анна, посеревшая от усилий, свалилась на постель, хрипло сказала:

— Умираю! — Помотала головой: — Мне ничего не нать уже! Сходи к отцу, может, снадобье какое, он травы знат, сходи... снеси ей... — она не договорила, дернулась в сторону Аниськи и перестала дышать.

Козьма с Иваном долго сидели молча, онемев, потом переглянулись. Козьма закрыл глаза Анне, вымолвил, давясь:

— Иди, не мешкай, я приберу!

Иван закутал Аниську, взвалил на руки, вышел на мороз. Та тянулась худым угловатым телом, бредила:

— К маме хочу! Мама! — твердила она в жару, как маленькая.

— Идем, к маме идем! — повторял Иван.

Аниська уже давно не боялась его лица, жуткой личины. Наклоняясь, Иван согревал ее лицо и руки своим дыханием. Но он не прошел и нескольких дворов, как вдруг она заметалась, сдавила шею тонкими руками и, захрипев, стала отваливаться. Какая-то баба сунулась к Ивану, увидала, охнула:

— Кончаетце!

Ребенка занесли в дом, стали разматывать. Аниська уже не дышала. Баба жалостно ахала:

— Как же теперя? Обрядить нать!

— Ничего! — ответил Иван, поднял дочь на руки, вышел.

Куда теперь? Назад? К Козьме? Безотчетно он пошел вперед, к тестю, Конону, хотя было уже и незачем. Мало что замечая вокруг, он вышел к вечевой площади.

Пар от дыхания курился над стеснившимися людьми. У ближнего порога сидел какой-то мужик, свесив голову почти к земле. Не то уснул с устали, не то уже умер. Седая борода торчала из-под шапки, лица было не видать. Его обходили стороной, не трогая.

Иван услышал срывающийся голос боярыни. Не зная зачем, начал пробираться вперед. На него оглядывались, но, видя ношу, которую Иван держал перед собой на руках, пугливо расступались. Он безотчетно шел на голос, не вслушиваясь в слова, узнавая только, что голос знакомый, не по раз уже слышанный.

Так он пробрался к самому вечевому возвышению, к порогу вечевой избы. Оборотил изувеченное лицо к Борецкой, молвил негромко:

— Вот! — На руках поднял к ней посиневший труп ребенка и положил его на вечевую ступень. — Вот... — повторил он, вдруг согнулся, заплакал и пошел прочь. Ему молча давали дорогу.

И в наступившем тяжелом молчании, мужик, высокий, широкий в плечах и страшно худой, с лицом из одних костей, скул, провалившихся ямами щек, с туго обтянутым кожею, словно хрящ, носом, в спутанной бороде, седина которой мешала видеть еще более страшную высохшую шею, туго запоясанный, казалось, по самому хребту, — и будто виделись под овчинною свитой эти связки, мослы, обтянутые синей кожей, да мускулы, связывающие кости, — мужик, с рогатиною в руках, опиравшийся на нее, как на костыль, в суконном подшлемнике вместо шапки, устремив на Марфу блестящие глаза в черных глазницах, сказал, двинув кадыком, хрипло и гулко, так, что услышала площадь, без гнева, скорби или осуждения, просто, как свой своему:

— Дети мрут, Марфа Исаковна! Мы-то ничего, мужики, нам то на роду писано, детей жалко!

И раздался вопль. Плакала баба, причитая над мертвым телом:

— Касатушка ты моя, ненаглядная, ясынька светлая, не пожила-то ты да не погостила, отца с матерью да не натешила, роду-племени да не удóбрила...

И площадь слушала причеть, и слушали тихо подошедшие к помосту, чтобы взять ребенка и отнести в церковь, мужики. И, сжав рот, слушала великая боярыня Марфа Ивановна Исакова, вдова Борецкая, и больше не сказала уже ничего.

Когда утихла суета и унесли мертвое тело, выступил староста оружейников Аврам Ладожанин. Он говорил с непокрытой головой, со строгим отрешенным лицом:

— В стану великого князя всего довольно! Снедный припас им со всей волости и изо Пскова везут. Не выстоять нам. Как скажете, братия, так и будет. Скажете: умирать — умрем. Мсю кровь и кровь детей моих вам отдаю! Пусть все скажут, по концам, по улицам! Решайте.

Вече окончилось.

Неделю шумел город. Спорили по кострам и на стенах города, в домах и в гридницах, в храмах и на папертях церквей. Собирались сходки и шествия, предлагались невозможные и героические деяния: выйти всем городом, от мала и до велика, на бой с ратью москов-

ского князя, победить или погибнуть всем вместе... И снова говорил архиепископ, и бояра, выпросившие себе вотчины и теперь выпрашивавшие жизнь, и говорил голод, и голод говорил громче всех, он и решил дело.

Четырнадцатого декабря новгородское посольство вновь прибыло к Ивану на Паозерье. Послы передали согласие Новгорода отложить вече, колокол и посадника и униженно просили сохранить вотчины боярские и не чинить вывода из Новгорода и позвов на Москву, Иван обещал. Послы робко попросили великого князя московского целовать крест на том, на чем с ним урядились. Так повелось искони. Но Иван отверг их просьбы, отказавшись целовать крест Новгороду. Перемолвясь меж собою, новгородские послы попросили тогда, чтобы крест целовал наместник великого князя. Без креста, без клятвы — это не укладывалось в голове. Веками заключали ряд с князьями великими, сговаривались, что дают они сами, чего требуют от князя, и князь целовал крест Новгороду, обещая не преступать ряда. Иван первый отверг крестоцелование и на вторичный запрос новгородских посланников ответил, что и наместнику своему не велит целовать креста. Послы просили, что пусть тогда крест целуют бояра великого князя, чтобы хоть так соблюсти старину, но Иван и то отверг. Не хотел ни сам целовать креста Новугороду, ни через бояр своих, а это значило, что он и после заключения ряда волен делать что угодно, как в завоеванной, сдавшейся на милость победителя стране. Послы просили опасную грамоту — ездить из города, Иван и того им не дал.

Воротясь, посольство доложило вечу, как обстоят дела. Вздох пролетел по площади, когда они сказали, что великий князь отказывается целовать крест Новгороду. Но люди были уже сломлены.

ГЛАВА 28

Впервые, наверно, за несколько веков в городе перестали чистить улицы. Снег засыпал кровли теремов и мостовые. Сугробы громоздились вровень с заборами. Узенькие тропки извилисто тянулись по снежным завалам. Только у въезда на Великий мост, на Прусской улице да на Рогатице снег кое-как разгребали.

По тропкам брели, спотыкаясь, люди — шатающиеся приведения или тени людей. С натугой, колеблясь, выби-

рались на берег с ведрами или салазками, с поставленною на них бадьей. Падая на колени не по раз, вытаскивали салазки на угор.

На углу Великой и Розважи лежал уже второй день мертвый мужик, лицом утонув в сугробе и раскинув ноги в продранных лаптях, — верно, кто-то из деревенских беженцев. Руки мертвеца, подкорченные к груди, тоже под локоть ушли в снежную наледь. Может, пытался встать или что-то нес, да так и ткнулся головой вперед.

Редкий всадник проберется по сугробам, погоняя отощавшего коня. Уже начали есть собак и кошек, до конины пока не дошло, лошадей берегли до последней возможности. Без коня будет пропасти, хотя и ворота отворят! Сгрудившиеся в теремах хозяева и гости-беженцы молча сидели у скудного огня, дров не хватало, стужа забиралась в дома, кашляли и метались в жару больные. В городе свирепствовал мор. Здоровые заражались от больных в битком набитых горницах. Не помогали ни ладанки, ни святое причастие, ни травы, ни заговорная вода, ни иное какое колдовство. Люди архиепископа и монахи городских монастырей долбили мерзлую землю, собирали умерших с голоду и замерзших на улицах горожан. В одну яму, отпев, опускали двух, трех, а то и до десяти покойников. Без гробов, завернутыми в саваны из грубой ряднины, перевязанной на ногах, на груди, где веревка поддерживала скрещенные руки, и вокруг шеи, чтобы закрыть лицо. Впрочем, желтые лица мертвых казались здоровее синих от голода и стужи лиц живых, полумертвых людей.

Кончилась вторая неделя с того дня, когда владыка новгородский с послами принял великокняжеские требования. Граждане, истомясь, ждали хоть какого уже конца. Но Иван все медлил и длил осаду, с московской, перенятой от татар медлительностью все задерживал окончательный ответ. Все еще за Волховом и у Зверинца часто и зло били пушки.

Московские ратники, осмелев, подъезжали к самым стенам, пускали стрелы на заборола города. На тяжело молчавших башнях изредка показывалась сторожа, ударяла пушка, летело ядро, крутясь и шипя зарывалось в снег. Так умирающий великан одним шевеленьем распугивает жадных до добычи стервятников, стерегущих с нетерпеливым клекотом, когда последнее дыхание угаснет в его груди и уже не順 заможет тот двинуть рукой.

Охрану стен несла городская ремесленная рать. Аврам Ладожанин обходил башенные костры. Мела метель. Сухой колючий снег летел в заборола, слепил глаза. Выглянув в смотрильную щель, Аврам не сразу заметил кучку москвичей, возившихся у подножия стены. Они что-то подымали, верно, собирались взобраться на стену. Аврам нахмурился: «Сторожа заснула, что ле?» Он спустился по лесенке. Ратник притулился у наведенной пушки. Заснул! Аврам потряс его за плечо. Ратник повалился, под рукой почуялось ледяное тело. Аврам оборотил ратного лицом к себе — мертв! Разогнулся — в глазах потемнело от слабости. Он крикнул. Снизу появился второй, глянул на мертвеца, остановился было.

— Помоги! — сказал Аврам.

Вдвоем навели пушку, подожгли запал. Ядро далеко не долетело до места, но москвичи разом рассыпались, бросив лестницу, повскакивали на коней и исчезли в снежной заверти.

— Стерегай! — бросил Аврам, отходя. Подумал тревожно: «Что те-то молчат? Шуйский даве проезжал? Должно, заснули или тоже умерли? Пойтить поглядеть!»

— Бояра все, кто и был, с костров ушли! — отозвался ратник, трудно разлепляя губы.

— Савелков еще ездит пока, у него и конные есть! — отвечал Аврам. — Скажу погодя, пущай посторожит тута, не ровен час — ночью стену займут.

Он помедлил, страшась выйти из хоть и неважного, но все же какого-то каменного укрытия костра на пронизывающий ледяной ветер заборол.

— Баба в жару лежит, — пробормотал ратник, тоже страшась остаться одному с мертвецом, когда уйдет староста.

— Мор! — ответил бронник. — Третьеводни сына схоронил. Хороший был сын. Деловой!

Он медленно взялся за скобу, отворил рывком маленькую, обитую железом дверь на стену и исчез в разом охватившем его снежном облаке. Ратник, поглядев ему вслед, принялся оттаскивать мертвого подальше от бойницы. Тяжелое замороженное тело не поддавалось ему. Ратник распрямился, привалился к камню, с ненавистью глядя сквозь узкую щель на появившихся снова не в отдалении сытых московских воев на сытых лошадях, что разъезжали по краю городского рва, уже почти не страшась.

* * *

У Борецких обедали. За столом в малой горнице (большую давно уже не топили) сидели Марфа, Олена и маленький Василек. Было чинно. На скатерти блестело столовое серебро. Подавал старик слуга, один из немногих, оставшихся у Борецкой. Онтонина лежала в жару, ее тоже свалил мор, и Пиша только что ушла накормить больную. Стол казался чрезмерно велик для двух женщин и ребенка, а горница выглядела пустынной.

Ели печеную репу. Олена с ненавистью отодвинула серебряную тарель, бросила нож и двоезубую вилку:

— Не нать было раздавать все зерно, людей поморили и сами чем живы только! — капризно вымолвила она.

— Нать, — отвечала Марфа, не глядя на дочь и безразлично жуя. Олена всхлипнула. Марфа продолжала жевать, не глядя на нее. Прожевав, проглотила и, отрезая новый кусок репы дорогим ножом с узорчатою рукоятью из рыбьего зуба, отмолвила: — Книги читай! Кольми паче было иудеям, от римлян осажденным в Ерусалиме, при Титусе-цесаре! А мы, православные, их не хуже. С голоду не помирашь! Глень, что на улицах деитце! Люди так всюю жисть живут.

— То люди, а то мы!

— И мы люди! — спокойно возразила Марфа, продолжая пережевывать пресную пищу. Окончила, откинулась, неспешно перекрестила лоб, повторила: — И мы люди. Не хуже и не лучше других. Что им, то и нам. Допрежь того не понимали. Вот и дожили до ума, допоняли. Поздно только! Раньше нать было. Что Иван-то города не берет? Али боитце, задавят его тута? Или измором хоцет? Все ить получил, цего еще?! Мертвяков себе копит! Что-то Пиша долго не идет? Пойти узнать!

Борецкая уже поднялась, как в дверь постучали.

— Кто там? — отозвалась она.

Вошел Савелков.

— А, ты, Иван! Гляжу, тоже не доедашь?

Савелков мельком глянул на стол. Марфа усмехнулась, поймав его взгляд.

— Вот, репу едим!

— У меня пшеница еще осталась, прислать? — предложил Иван.

Марфа покачала головой:

— Не надо, береги лучше. Садись! С чем пришел, говори!

Олена, забрав Василька, вышла.

— С плохим! — ответил Савелков, садясь, и поник, сгорбившись, уронив руки на колени.

— Ноне с хорошим не ходят! — ворчливо отозвалась Борецкая.

Савелков побледнел, даже посерел как-то, заметно похудел за эти дни. Обмороженное на заборолах лицо было все в темных шелушащихся пятнах. Он чуть помолчал, потом поднял усталые глаза:

— Князь Шуйский продал нас! На вече сегодня целованье сложил с себя Новугороду.

Марфа прикрыла глаза:

— Василь Васильич! И он...

— Сила солому ломит! — мрачно сказал Савелков. — К московскому государю отъезжает, за Тучиным вслед.

Борецкая устало опустила руки.

— Ну, спасибо, сказал, Иван! Тридцать лет... Куды! Поболе тридцати летов с им... — И, уже оставшись одна, когда Иван вышел, Марфа повторила, как эхо: — Тридцать летов!

В тереме Шуйского все было готово к отъезду. Кони оседланы, узлы увязаны. Старый служилый князь новгородский сидел в пустой горнице и горько думал о том, что кончается с ним теперь, совсем и навечно, независимый род князей суздальских, Рюриковичей Мономаховой ветви, от Всеволода Великого, от Андрея Ярославича, что володел в оно время столом владимирским, старейший род, по лествичному древнему счету, рода князей московских. Старейший род, потерявший даже удел свой, захваченный растущею Москвой! Он один из князей суздальских не склонился и не склонялся все эти долгие годы. Чаял и умереть непокоренным, как Дмитрий Юрьич, да вот не пришлось! И теперь, сложив целование Новгороду, он сидит у стола в пустой горнице и не едет, не может вот уже второй день покинуть навсегда пустую хоромину свою. А слуги ждут, и кони готовы давно.

— Эй, князь! — донеслось с улицы.

— Выходи, князь!

— Покажись, перемолвить надоть!

— Сладки калачи московские?

— Василь Васильич, глень-ко!

— Курва он, а ты его Василичем... Мать! Выходи! Прихвостень московской, нявга, сума переметная!

Одинокий камень резко ударил в оконницу.

Шуйский встал и, отстранив кинувшегося было в перехват стремянного, пошел на жидких, как от болезни, подгибающихся ногах к выходу. Не дошел. Голоса на улице тронулись в ход, яростно споря, начали отдаляться от окон. Понял — уходят. Постояв у косяка, он сгорбился и нетвердо побрел назад, чуя всем телом противную мерзкую дрожь. На рати не бывало такого.

— Враз бы ехать, княже! — укорил стремянный.

Шуйский медленно поднял голову, долго глядел, не видя, потом отмолвил тихо и печально:

— Ты поди.

И, не дожидаясь, когда глухо бухнет за спиною дубовая дверь, вновь утупил очи долу.

Почти сорок лет верой-правдой служил Господину Великому Новугороду. Водил его рати, строил города. Тогда, при Василии Темном, казалось — одолеют Шемячичи. Нет, Москва одолела! Тверской князь, Литва — всех береглись. Не убереглись великого князя московского! Сам митрополит и владыка Феофил за него. Видно, и бог за него! Первый ли он изменяет? И где бояре, господа новогородские? Где Михайло Берденев, где Казимер, дважды чудом ушедший от плахи и заточения? Где Александр Самсонов, Федоров, Глухов? Попрятались! Что он! Служилый князь! Служить стало некому... В черных людях и то нестроение, кто за короля, кто за московского князя! Пока еще льстит, предлагает службу Иван. На горькую удачу слишком осторожен великий князь, где можно согнуть — не ломит... Он не бежит, он честью объявил на вече, что слагает с себя службу новгородскую. Он и давеча не побежал, пошел было к мужикам... Все равно изменник. Общее было дело! Чье оно теперь стало? И чего ждет вот уже второй день сложивший с себя целование Господину Великому Новгороду служилый князь Василий Васильевич Шуйский? Почто не едет прочь?

Знал, чего ждет. Кого ждет. И когда, проскрипев по снегу, на улице остановились сани, не удивился, понял сразу, пошел встречать.

Марфа Ивановна тоже сдала, за голодные недели, видно. Углубились морщины, губы сморщились, круги под глазами — совсем старуха. Глаза только в темных глазницах по-прежнему горят неукротимо.

— Думала, приедешь проститься, князь! Сколько лет заодно думу думали! — сказала Марфа, входя и опуская плат с головы.

— Прости, Ивановна! — потупился Шуйский, провожая ее к столу.

Он кивнул было слуге, но Марфа потрясла головой:

— Трапезовать у тебя не буду, не затем приехала. Чужие мы стали, Василий!

— Я сделал, что мог, — с болью выговорил Шуйский, морща лицо. — Все отказались уже! Захарьинич с Коробом твоим, смотри, доторговались, совсем город продали! Ратные бегут или мрут на стенах, а у московской рати всего довольно, хлеб из Плескова везут! Я, Ивановна, дрался ищо, когда ты была молода. Дрался и с великим князем Василием, и с Иваном, на Двины. С поля не бегивал, а ныне... Сила не наша теперь!

Борецкая долго глядела на князя, что умолк, свесив голову. Тяжко поднялась с лавки.

— Ну, прощай, коли так! Умирать вместях, и верно, невесело. И нас не поминай лихом!

Марфа в пояс поклонилась, поворотилась. Тяжело хлопнула ободверина.

Князь вдруг вскочил, бросился к двери, рванул ее, без шапки выбежал на крыльцо, что-то еще сказать, пояснить... Остоялся: сказать было нечего. Все! Со двора слышно было, как возок Марфы тронул, заскрипев по снегу.

Шуйский вздрогнул от холода, воротился в дом, кликнул:

— Эй, кто там! — Строго поглядел на стремянного: — Собирайся. Едем!

— Всех собирать? — обрадованно переспросил холоп.

— Всех!

— Господи, благослови! — воскликнул стремянный, перекрестившись.

В доме поднялась суетня.

Двадцать девятого декабря новгородские послы были вновь приняты Иваном. Они уже не просили ничего и ни о чем не уряживались. Молили об одном — объявить им волю великого князя, какую ни буди, что прикажет государь.

Иван долго разглядывал присмиревшее посольство: скорбного Феофила, потускневшие лица Короба с Феофилатом.

— Тяжко в городе, гладом и мором помирают! — осмелился прибавить Феофил.

Иван слегка склонил голову, еще раз оглядел послов и произнес с расстановкой:

— Что били мне, великому князю, челом богомолец наш владыка и посадники с тобою, и житьи, и черные люди от нашей отчины, от Великого Новгорода, чтобы я пожаловал, гнев свой отложил, и вывода бы из новгородской земли не учинил, и в вотчины, и в животы людские не вступался, и позва на Москву не было б, и суду быти по старине в Новгороде, как суд в земле стоит, да и службы бы в низовскую землю вами не наряжал — и я тем всем вас, свою отчину, жалую, все то отложил. А о прочем сговорите с бояры моими!

Послы, уже и тем обрадованные несказанно, дружно склонились перед Иваном.

Бояре великого князя передали новгородским послам нечто, гораздо менее приятное. Великий князь требовал земель себе, поскольку «без того ему свое государство в Великом Новгороде держать не мочно». Посадники и житьи обещали передать требование князя Новгороду.

Тридцатого пришел из Новгорода князь Василий Шуйский служить великому князю московскому и бил челом. Иван милостиво принял новгородского воеводу и одарил.

Первого генваря новгородские послы явились и предложили Ивану Луки Великие и Ржеву Пустую — пограничные области, бедные и разоряемые Литвой, которая имела к тому же права на часть Ржевской волости. Это была хитрость мелкая, смешная, придуманная Феофилатом Захарьиным на гóре Новгороду. Иван отказался и еще три дня не принимал послов. За эти три дня начала месяца мор усилился до того, что не успевали собирать трупы.

Четвертого генваря послы явили московскому государю десять волостей: четыре владычных, три — Юрьевского монастыря, Благовещенскую волость у города Демона, Онтоновскую волость и Тубас-волость, а сверх того — все новгородские земли в Торжке. Иван отказался и от того. Послы, наученные горьким опытом предыдущих переговоров, тут же били челом, прося, чтобы Иван сам указал, что ему надобе. Ответ гласил: половину владычных и монастырских волостей и все новоторжские, «чьи ни буди». И с тем Иван отпустил послов в Новгород.

Это был черный час архиепископа Феофила. Он успел уже забыть те времена, когда прятался в ужасе в спальне Ионы и молил отпустить его в монастырь. О, теперь он ни от чего не хотел отрекаться! Стада, золото, соболя,

драгоценные кубки и чаши, — скрепив сердце, он мог всем этим дарить и дарить великого князя, дело наживное! Но земля! Волости дома святой Софии!

Он хитрил, изворачивался, он лгал Борецкой и Коробу, доносил митрополиту на своих сограждан, задаривал золотом князя Ивана — все для чего, для чего?! Чтобы спасти себя, спасти земли, о коих он уже не мыслил безотрывно от собственной особы.

Он сидел, маленький, злобный, и изредка стонал от бессилия, от запоздалого раскаянья. Зачем сжил со свету Пимена, послал на смерть Еремея Сухощека? Доносил на Юрия Репехова? Изворачивался, запрещал воям ратиться с Москвой! Предал Овина, помог, умолчанием пред Новгородом, посольству Назара с Захаром — зачем? Травил еретиков за проповедь противу земель монастырских. Зачем?! К королю надо было, к королю Казимиру! К митрополиту Григорию! От последней мысли его кинуло в жар. Феофил оглянулся сторожко, не сразу сообразил, что мысль не подсмотришь. Опасная, однако, мысль, соблазнительная!

Служка постучал в дверь, сообщил: пришли от черного духовенства, игумены и старцы монастырские. Вздохнув, Феофил приказал впустить.

Старцы бедных монастырей, прослышав, что Иван отбирает монастырские земли, пришли с челобитьем: говорим-де о сирых и убогих, но кто же не сир и не убог из них, невзгодою оцепляемых и ратною силою разоряемых? Игумены и старцы молили похлопотать перед государем о малых монастырях, смилостивился бы и не отбирал у них земель монастырских, зане и так бедны, доходов никаких нету, гладом помираем, вдосталь от рати пограблены, иные и вконец прожиток свой истеряли! Да пожалует великий государь князь московский убогих стариков и старух господа ради нашего!

Убогих... «Я убог! — хотелось крикнуть Феофилу. — Я нищ! Паче Иова! Паче Ионы! Что у вас отберут? Что могут у вас отобрать?! Десяток обжей у всех вместе?! У меня, у дома святой Софии, в одной волости новгородской, кроме Двины и Заволочья, пять с половиною тысяч обжей земли со крестьянами!» Он обещал старцам похлопотать о малых монастырях перед государем московским...

Шестого генваря посольство вновь явилось к великому князю. По слезному челобитью Феофила Иван ограничился землями шести крупнейших новгородских монасты-

рей: Юрьева, Благовещенского, Аркажа, Онтоновского, Никольского-Неревского и Михайловского, что на Сковородке, взяв у них половину волостей *. Он не спешил — придет час, и они отдадут ему, сами поклонившись, и остальное. Иван велел составить список всех церковных земель, пригрозив, что ежели которое утаят — то будет князево. Смягчась, на другой день Иван передал владыке, что отбирает у него не половину, а лишь десять волостей. Он не спеша разбирал грамоты, расспрашивал, что за земля и где расположена.

Восьмого генваря посольство напомнило, что в городе мор и глад.

— Какова дань новгородская? — вопросил Иван в ответ.

— С сохи по полугривне, по семи денег, — ответили послы.

— Что есть ваша соха? — вопросил Иван.

— Соха — три обжи, — сказали ему, — а обжа — один человек óрет на одной лошади, а кто на трех лошадях и сам третий óрет ино то соха.

Иван захотел тогда взять с обжи по полугривне. Он плохо представлял себе северные земли, сравнивая со своими, где урожай был обильнее раза в три. Обманчивый блеск новгородских нобилей-корабленников, приплывших в Новгород из-за трех морей, сбивал его с толку. Начался торг. Ивана с трудом убедили, что предложенная им дань не по силам. Согласившись в конце концов, потому что и свои бояра, знакомые с землями новгородскими, убеждали его в том же, на новгородское предложение брать по полугривне с сохи, он, однако, велел платить такую же дань и с двинских земель, с Заволочья, и брать со всех, кто пашет землю и ранее не облагался налогом: со старост и с ключников, и со всех прочих сельских чинов. Послы просили затем не присылать своих писцов и данщиков, прокорм которых часто дороже стоит, чем сама дань, обещая собирать самим и платить без обмана. Иван разрешил и это.

Десятого генваря великий князь приказал очистить Ярославов двор. Список, на чем, на каких условиях Новгород должен будет присягать государю московскому, он велел явить народу у владыки в палате. Иван уже не хотел, даже по этому поводу, чтобы собиралось распущенное им новгородское вече. Двенадцатого послы сообщили, что список явлен народу, и осторожно предложили вместо Ярославова двора, святыни новгородской, взять

место напротив, в Околотке. Но тут Иван Третий был тверд. Двор самого Ярослава, древнее место княжое, откуда князей сумели выселить когда-то на Городец и где собиралось ненавистное новгородское вече, — этот двор должен быть возвращен ему, великому князю московскому, государю всея Руси, наследнику великих князей киевских! «Всея Руси!» — подумал Иван, вспомнив опять Назария, в словах у которого все было как-то не так... Князь и наследие княжеское, родовое! А как иначе?

Иван велел дьяку новгородскому списать целовальную запись со своей грамоты, и тот список собственноручно подписать владыке, приложив печати пяти концов, и назавтра, во вторник, тринадцатого генваря, быть у себя, у Троицы на Паозерье всему городу: боярам, и житьим, и купцам — приносить присягу государю.

Полумертвый город зашевелился, согласно желая, чтобы только скорее наступило неизбежное. Уже не закрывались ворота, умолкли пушки. Город как целое умер, и лишь внутри мертвого, прекрасного и в своей смерти, одетого инеем величавого тела копошились люди, людишки, каждый в своем углу, спасая, что можно или что казалось им еще можно было спасти, готовясь к завтрашнему позорному дню.

В эту ночь имущие прятали сокровища, ожидая грабежей от московского войска и воевод великого князя. В эту ночь сам владыка Феофил в сопровождении казначея Сергия и двоих верных ему служек крался по хорам Софийского собора, прислушиваясь к гулкой пустоте ночного храма. Служки несли тяжелые кожаные мешки. Он уже больше не верил Ивану. Золото замуровывалось в стену. Здесь казне Софийского дома суждено было пролежать почти столетие, до кровавого внука Ивана, тоже Ивана и тоже Васильевича — Грозного, обнаружившего этот клад, «казну древнюю сокровенну», так и не взятую Феофилом, схваченным и увезенным в Москву.

И не в одном Софийском соборе, в церквах, в погребах боярских зарывали, прятали добро, в чаянье пересидеть смутную пору, вятшие мужи Великого Новгорода, не знавшие еще о том, что наступит время выводов и денег своих им все равно не видать.

В церкви Ивана на Опоках Марко Панфильев, староста купцов-вощинников, с отцом, Панфилом Селифонтовичем, и двумя купцами-ближниками хоронили братчинную казну.

Ключ от церкви Марко заранее взял у сторожа. Сереб-

ро, принесенное в кожаных мешках, перекладывали в глиняный горшок, поочередно опрокидывая мешки. Деньги лились, как серебряная живая рыба, звонко журча и растекаясь, застывали грудой серебряной чешуи. Горшок наполнился до краев. Ломиком приподняли каменную плиту, отодвинули вчетвером, тяжело дыша, и долго разбивали раствор под плитой, делали место для горшка — так надежней! От свечки по стенам метались ушастые тени.

— Будет! — сказал Панфил.

Марко с Наумом вдвоем, надрываясь, опустили в землю неподъемный, упрямо рвущийся из рук, будто литой горшок, полный серебра. Быстро зарыли, забросали известью, притоптав, уложили плиту. Панфил долго елозил по полу, подпахивая землю. Кончив, окропили водой пол, чтобы совсем сровнять следы, — все! Панфил тяжко разогнулся, уронив отяжелевшие руки:

— Ну вот, Марко! Сколь ни копи, а в ларь с тобою медный пул положат один. Богу боле не надобно! Я в монастырь, а ты, ежели...

Он задышался и вдруг, слабея, повалился сперва на колени, потом сел и, схватив себя за виски, вжав бороду в колени, глухо зарыдал. Наум и Артемий стояли потупясь, не утешая и не прерывая. И в пустой церкви, долго, постепенно затихая, раздавались эти рыдания, одинокий плач над гробом Господина Великого Новгорода, и вздрагивала косматая тень, увеличенная лампадой до верхних закомар храма.

Панфил замолк и начал подниматься. Марко скоро нагнулся поддержать отца, пробормотал:

— Пошли... Чего... Бог даст! — не договорив, отчаянно махнул рукой.

Наум подобрал орудья, обвел еще раз почти догоревшею свечой пол, убеждаясь, что не оставили следов, и пошел следом. Каждый из них знал, что почти наверняка вощинное братство, столь много сделавшее в борьбе с Иваном Третьим, закроют, и тяжко думал о том, как жить дальше.

Только Борецкая, тоже не уснувшая эту ночь, ничего не прятала. Она ждала.

С утра тринадцатого генваря из городских ворот в конце Прусской улицы двинулся ход, густая толпа. Рядами шли бояре, житьи, духовенство, купечество. Впе-

реди — владыка Феофил в своем облачении. День был ясный. Мороз сдал, и слегка протаяло. Ряды московской боярской конницы выстроились вдоль всего пути до Паозерья. Колокола звонили, и от этого и от священных облачений духовенства издали казалось, что движется крестный ход. Да он и был «крестным» — шли целовать крест государю московскому, шли на позорище, как Иисус, крест свой на раменах несущий.

У Троицы длинная очередь присягающих медленно втягивалась в церковь. Подходили, произнося заученные накануне слова — блюсти грамоту и служить великому государю московскому честно и грозно по всей воле государевой, воистину и без обмана, «а на том целую крест», — и однообразным движением целовали крест, который, как священник на причастии, держал государев боярин.

Пока подходили задние и длилось крестоцелование, продолжались переговоры. Иван постепенно предъявлял все новые и новые условия, с которыми новгородским боярам и архиепископу приходилось соглашаться уже без спора. Иван потребовал, чтобы новгородцы обязались не мстить псковичам «никоторою хитростью» и обиды им никакой не чинили, чтобы не мстили боярам, перешедшим ранее на службу великому государю. Именно тут новгородцы узнали, что двинские и заволочские земли Иван также берет за себя. Все пригороды новгородские: Руса, Ладога, Копорье, Ям, Демон, Порхов, Морева, Вышегород и прочие, а также все двиняне и заволочане слагали с себя крестное целование Новгороду и присягали великому князю. Иваньских попов, которые еще в прежние годы за чтение государевых посланий в церкви были прогнаны и лишены руги, Ивана и Сеньку Князька, Иван приказывал воротить, ругу и дворы им вернуть, и зажиток весь за прошлые годы. И на всё бояре новгородские с владыкою соглашались без спора.

Меж тем процессия продолжала двигаться и продолжала присягать на верность государю, отказавшемуся присягнуть в том же своим новым подданным.

ГЛАВА 29

Пятнадцатого генваря, в четверг, великий князь послал в Новгород своих бояр привести к присяге по той же грамоте весь Великий Новгород и «крест целовали чтоб в палате владычной», — веча с этого дня уже не было.

Колокол еще висел на звоннице, мертвый, умолкший навсегда, и у него стал на часах московский ратник.

Целовали крест все — и жены, и дети боярские, и черные люди, и вдовы, и чернецы, и черницы. Олена, растерянная, забежала было к матери:

— Матушка, как же быть-то, все крест целуют?

— Ну что ж, иди и ты поцелуй, — ответила Борецкая глухо. — Мне идтить незачем. Ко мне придут.

Олена посмотрела в мертвое лицо матери и устремленные мимо нее, в одно, неведомое, глаза, не посмела больше сказать и тихо вышла.

Марфа сидела одна. Она не пошла смотреть на процессию голодных, измученных и напуганных людей, потянувшихся изо всех городских концов к Детинцу. Она ждала.

Государевы бояре забрали на владычном дворе укрепную новгородскую грамоту за пятьюдесятью восемью печатями. Последнюю грамоту, последний договор мужей новгородских.

Восемнадцатого генваря Ивану били челом в службу бояре новгородские и все дети боярские и житьи, уравниваясь тем самым с московскими служилыми дворянами. Приняв челобитье, Иван выслал Товаркова к боярам Казимеру, Якову Коробу, Феофилату Захарьину, Берденеву, Федорову и прочим и велел им сказать, что по той бы грамоте, по которой крест целовали, по той бы и службу правили: доносили государю на братью свою. «А что услышит кто у брата у своего, у новгородца, о великих князех, о добре и о лихе, и вам то сказати своим государем, великим князем». Напротив, государевы тайны запрещалось разглашать строго-настрого.

По челобитью владыки в тот же день Иван дал приставов очистить дороги и охранять от грабежа тех, кто едет из города и в город. Наконец-то первые пугливые обозы со снедью потянулись в разоренный город из разоренных окружающих деревень. Кто еще остался жив из беженцев, с теми же обозами спешили выбраться на волю.

Двадцатого генваря в Москву отправился гонец с известием, что великий князь отчину свою, Великий Новгород, привел в свою волю и учинился над ним государем, как и на Москве. Посол прибыл в Москву с известием двадцать седьмого.

Двадцать второго генваря государь поставил наместников Новугороду, князя Ивана Васильевича Стригу-Обо-

ленского да брата его Ярослава, который торжествовал, предвкушая сытные новгородские взятки и поборы.

Из-за мора сам Иван не ехал в город. Сидя на Паозерье, он обсуждал с ближними боярами, кто из новгородцев заслуживает примерного наказания. Назарий нетерпеливо ждал этого часа, чая сквитаться с Васильем Максимовым, двойным предателем — и Новгороду, и великому князю. Он мучился всю эту пору, тяжело переживал непонятную месячную задержку в переговорах, роковую для черного народа, простых граждан Новгорода, в душе не понимая великого князя. Ведь гибнут же люди! Как он может? Но Иван мог. Назарий обличал бояр Великого Новгорода, перенося на них свои нетерпение и гнев. Расправы со своим ворогом, Васильем Максимовым, он ждал как первого знака того, что великий князь начинает править по единому для всех закону, невзирая на лица сильных, казнит тех именно, кто согрешили противу народа, языка русского. И когда узнал, что того даже не подвергли опале, а, наоборот, поручают ему какую-то службу при наместнике, когда узнал об этом, то громогласно, не таясь ни от кого, начал обличать перед государевыми боярами и самого Василья Максимова, и неправедный суд государев.

Не знал Назарий, что честность бывшего новгородского тысяцкого никого и не заботила. От него требовалось холуйское служение московской власти, и этому требованию Максимов отвечал безусловно, а раз так — его и использовали по назначению. Не ведал подвойский, что и на него, на самого Назария, глядят здесь полунасмешливо, что для бояр государевых он выскочка, без роду и племени, да еще и новгородец в придачу. Что московская законность покоится на силе и желании государя.

Всего этого не знал Назарий, и все это он должен был узнать незамедлительно. Когда в ярости он принялся обличать государев суд, Ивану тотчас донесли об этом. Иван выслушал, нахмурился — меня учить?! Молча отпустил доносчика, задумался и вдруг понял. Мысль, не дававшая ему покоя, наконец обрела свой вид. Вот они, старые опасения! Вот она, смута новгородская! Язык русский! Законы единые! С этой стороны ограничить власть, его власть! Русская земля? Как у них тут: Господин Великий Новгород, вече, мужики — так и во всей земле?! Земля, а он? Посадник от мужиков?! Мысль была настолько нелепая, что Иван рассмеялся. Нет, власти,

богом данной, предками утвержденной, он не отдаст никому! Расточить! Подальше от таких умников!

Иван приказал взять Назария и заковать в железа без милости. Это означало скорую гибель в затворе незадачливого новгородского краснобая.

Двадцать девятого генваря, в четверг, на масленой неделе, Иван вступил в Новгород. Главные улицы уже были расчищены, мертвецы зарыты. Город понемногу начинал оживать.

Вновь Иван ехал в Софию на праздничное богослужение, только теперь с другой стороны, по Прусской улице, мимо теремов боярских. С ним вместе ехали братья, князь Василий Верейский и вооруженная свита.

В Софии великий князь отстоял обедню. Сопровождавшему его мастеру Аристотелю он указал на собор, примолвив:

— Отчина наша! Понеже от прадед наших, Владимира Ярославича, прародителя князей московских, строена!

Он не сказал ничего более, но Аристотель, уже изрядно понимавший по-русски, уразумел сразу, на что намекает Иван. С низким поклоном зодчий, тщательно подбирая слова трудного русского языка, ответствовал, что он «внемлет помышлению великого государя и будет здати собор Успенский видом сходно Владимирскому, но величием не в мале уступить храму святой Софии Нового Города».

Из Софии в палаты владычные Иван прошел внутренними переходами, по коим ходил в Софию сам архиепископ. Дорогою ненароком вступил в Грановитую палату, огляделся. Тут, в этой палате, они заседали, тут решали дела, наряжали послов, отселе исходили смуты и гордость. Конечно! Сейчас Иван выйдет отсюда, но пронесет память о том и через десять лет будет создавать в Москве палату, видом подобную новгородской, но бо́льшую размерами, для своей Думы великокняжеской.

Кончено! Еще бушевала смута на окраинах новгородских владений. Еще царь казанский, соблазнившись ложною вестью, что Иван сам-четверт ранен и разбит, убежал из-под Новгорода, сделал набег на Вятку (но узнав истину, тотчас убрался восвояси), за что и был наказан ответным походом москвичей. Еще немцы, решив, что пришло их время, кинулись к Пскову и были отбиты ратью великого князя. Еще долго не знали о разгроме на

Двине, Мезени, Печоре, у камня Югорского, а и узнавши, долго не хотели признать. Так не верилось никому, что великан, охвативший полстраны, весь север, от чудских лесов до Урала, чьи дружины веками наводили страх на окрестные земли и народы, что этот великан повержен в прах и растоптан московскою ратью. Но было кончено. Всё.

Ветер выдувал из распахнутых настежь дверей вечевой палаты берестяные обрывки грамот. Иван Стрига, изъяв нужные Ивану договорные списки и описи земельных владений, распорядился выкинуть и уничтожить остальное, что не представляло нужды для дьяков государевых.

И уже посланцы великого князя спускали на веревках вечевой колокол. Вечную палату на Ярославовом дворище велено было разобрать в тот же час, чтобы не оставить и места, где собиралось мятежное племя новгородское.

Колокол было приказано увезти в Москву и повесить на колокольню строящегося Успенского собора. И вот с утра трудились над ним москвичи. Он не хотел уходить, раскачивался, пробовал крикнуть в голос. Ему вырывали язык. Падая, тот чуть не убил зазевавшегося ратника. Рубили топором перила, разламывали часть звонницы — все равно сносить!

Внизу на оттаявшем снегу толпились суетливые москвичи, а посторонь, не в большом отдалении, стояли молчаливые толпы новгородцев. Несколько веревок, протянутых к колоколу снизу, то натягивались, то ослаблялись.

— Пошел! Па-аберегайсь! — заорали с звонницы.

Затрещали балки. Колокол дернулся, наклонился, косо рванувшись вниз.

— Не разбить бы!

Колокол велено было довезти живым. Ратники суетились, укрепляя тяжи. Один стал обрубать задерживавшие колокол нижние плахи настила. Щепки отлетали, кружась, как листы грамот. Снова раздалось:

— Па-а-аберегайсь!

Колокол вновь дернулся и опять застрял.

— Не хочет! — сказал кто-то в толпе горожан.

Баба всхлипнула. Мужик оборвал грубо:

— Не реви, дура, все одно теперь!

Худые мужики и жонки, схоронившие детей, погибших от мора и голода, молча смотрели на то, как ругаются над их святыней вооруженные пришельцы. Конная московская сторожа теснила народ.

С противоположной стороны вечевой башни полсотни московских ратников удерживали на туго натянутых веревках опускаемый с другого боку колокол. Ими распоряжался боярин, что сидел верхом на коне, без нужды то понукая, то осаживая жеребца и заезжая то справа, то слева.

— Па-а-шел! — вновь раздалось сверху.

— Бревном, бревном подопри!

— Куда, сукины дети! — кричал боярин, взмахнув плетью, когда кто-то из ратных оторвал на миг руку от веревки, чтобы утереть взопревший лоб.

Колокол пошел и ударился краем о стену звонницы. Вновь понеслась боярская брань. Колокол, врезавшись острым краем меж бревен, начал крениться. Зашевелились венцы. Вновь рубили, кричали, подымали и опускали канат. Всхрапывали лошади, косясь на медное качающееся чудовище. И только толпа стояла в молчании. Лишь тихо плакали жонки, и порой по худой, промороженной досиня на заборолах щеке мужика стекала, прячась в бороде, нечаянная слеза.

Колокол наконец лег на землю. Московские ратники подтаскивали волокушу, под уздцы пятили коней, запряженных гусем по четыре в ряд. Лошади путались в упряжи, мотая головами. Когда с помощью ваг и бревен колокол наконец взвалили на волокушу и повезли, плач на площади стал слышнее. Уже многие плакали в голос, причитая, как по покойнику. И пока везли его по городу, взбрызгивая тающий снег, дергая постромки и надрываясь, косматые татарские кони, горожане стояли рядами, крестились на колокол и плакали. А некоторые подходили и подбегали, не обращая внимания на окрики, пинки и удары плетью московских ратных, и, сняв шапки, целовали холодный липкий металл.

Колоколу предстоял далекий путь. Он будет проваливаться в ручьи и застревать на дорогах, будет ползти и ползти, пока, наконец, усмиренный навсегда, не будет вознесен на колокольню заодно с колоколами государевыми, и уже не выделится, не закричит, и будет неотличим его голос от прочих голосов колокольных в дружном благовесте московских церквей.

Первого февраля Иван велел поимать купеческого старосту Марка Панфильева. К нему явились на дом. Самого Панфила, уже обещавшегося богу, не тронули. На бе-

ду, его не случилось дома. Сын так и не простился с отцом.

Второго февраля, в понедельник, велено было поимать Марфу Исакову Борецкую и внука ее, Василия Федоровича Исакова. Прочих, загодя намеченных Иваном Третьим, — Савелкова, Репехова, Арзубьева и Толстых — забрали в ближайшие дни той же недели.

В этот день в доме Марфы Борецкой ели хлеб, рыбу и масло. Возчик, угрюмый, затравленный мужик, объяснил, что посланы они из самой Кострицы, что ехали близко месяца, москвичи не давали пути, исхарчились, стояли в дороге, что три воза московские ратные люди забрали себе, что Кострица теперь государева и Демид Иваныч просили христом-богом о том не баять и, отколь они прибыли, не говорить. Марфа помягчела лицом, вынесла горсть серебра, и возчики, не мешкая, убрались со двора.

После измены ключника (узнали, что Иев Потапов вместе с Богдановыми молодцами бил челом в службу московскому государю) было отрадно, что хоть один, хоть Демид не забыл прежних милостей и даже под угрозою, а помог напоследях: прислал снедный обоз. От дворни Марфиной оставались считанные люди.

— Ну, полно, отъела своего хлеба в последний раз! — довольно произнесла Марфа, откидываясь, вытирая рот и пальцы рушником, и прибавила ровным голосом: — Идут за мной.

Пиша и Олена разом подняли головы от стола, уставясь на нее, и испуганно прислушались.

— Идут! — усмехнулась Марфа.

И верно, во дворе шумели. Слышался топот копыт, стуки и чавканье — спрыгивали с коней.

В сенях отворились двери. Громкие голоса зазвучали перед самым покоем. Дверь размахнулась наотмашь. Московский боярин, коренастый и широкоплечий, почти без шеи, с красным, грубым лицом и черною бородой, в харалужном колонтаре под распахнутой шубой, стоял на пороге. За ним теснились ратники. Он вошел, достал указ, подняв к лицу, не глядя на вставших женщин, начал говорить громко:

— Боярыня Марфа Исакова, вдова Борецкого! Василий Федоров, сын Борецкого! По государеву слову велено тебя и внука поимать и заключить в железа!

По мере того как он читал, а два стражника, вошедших вместе с боярином, шарили по стенам, полураскрыв рты, жадными до добычи глазами и не понимали, почему

так бедно у знаменитой боярыни (они не знали про летошний пожар, истребивший златоверхий терем, и про то, что Борецкая истратила почти все свое добро на оборону города), Олена и Пиша постепенно бледнели и оступали Борецкую, не то стараясь ее защитить, не то сами ища у нее спасения. Когда москвич сказал про Василька, лицо Марфы омертвело. Она повторила глухо:

— С внуком, значит!

Боярин, сворачивая указ, заносчиво глядел на Борецкую, готовясь кивнуть стражникам. Марфа поняла:

— Одетьце позволишь? — Поворотилась, бросив тронувшемуся было за ней москвичу: — Пожди тут! Все ж таки баба я! Пиша, собери Василия. Онтонине ничего не говори, пусть умрет в спокое! — сказала она и неспешно направилась к двери. Олена кинулась было к ней.

— Мама!

— Постой, — отмолвила Марфа, отведя ее рукой, — и ты пожди.

Прошла через заднюю в свою боковушку, плотно прикрыла дверь и привалилась, на мгновенье закрыв глаза, к косяку. Потом повела головой, словно отгоняя что-то, сняла черное покрывало со спицы — укутать Василька, соболий опашень для себя, подержала его в руках, усмехнулась, повесила назад, достала простой, хорьковый, и вдруг, поворотясь, рухнула на колени под огромные образа, едва не закричав в голос. Прошептала:

— Господи, прости мне гордыню! — и закрыла руками лицо. — Надо было умереть вовремя, а не умирать семь лет подряд, ожидая конца! Себя ли я слишком любила или свой город? Сына, последнего сына не сумела защитить! Внука спасти! Гибнет род Борецких! Господи, прости мне гордыню, прости слабость женскую, но сжалься, господи, над Господином Великим Новгородом!

Громкие голоса москвичей из столовой палаты привели ее в себя. Марфа тяжело поднялась, постояла. Еще раз перекрестилась на иконы. Оделась. Вышла. Олена и Пиша с Василием уже стояли в соседнем покое. Мальчик недоуменно поворачивал голову от Пиши с Оленой к бабушке.

— Увозят нас, и тебя и меня! — сказала ему Марфа.

— Кто, баба? — спросил Василек.

— Великий князь московский! Дай баба тебе шапку поправит, может, боле уж и не видать...

Василек смотрел на нее во все глаза, еще не понимая. Марфа распрямилась. Одевая платок, сказала Олене:

— Ну, дочка, не быть тебе уже невестой ни женой. В монастырь поди! Все одно, милый твой изменил нам. Какова-то будет ему служба московская?

Про Тучина напомнила просто, без насмешки, с горечью. Олена никогда не слышала такого выражения в голосе у матери.

— Да и Фовра у нас вдовой осталась, кукушицей горе-горькою! — Уже совсем одевшись, Марфа подала Пише свернутую трубкой харатейную грамоту и кожаный кошель. — Вольная тебе. До раззору выправила еще.

— Не надо мне! — всхлипнув, ответила Пиша.

— Бери! — Марфа строже возвысила голос. — Со мной уж полно, всё теперь. Бери, вольна ты, куда хошь, туда поди. Серебро в мешочке — твое. Мне уже ничего не нать. Будешь молиться, поминай иногда. Другие, поди, и забудут! Ты-то старая, не забудешь ле? Ну, не рыдай, всё в руце божьей! Давай уж наопоследях поликуемся с тобой! — Она троекратно поцеловала мокрую от слез Пишу, примолвив: — А серебро спрячь, не кажи. И во дворе не оставайся ни часу, к Прохору поди, примет, а там хоть в деревню подавайсе, перождешь дико время-то! — Потом обернулась к Олене, прикрикнула: — Не реви! — Поцеловала в лоб. — Ну! Лихом не поминай, мать все же! Прощай. Пошли, Василий. Не идьте за нами! — остановила она Пишу с Оленой. — В окна погляньте, бабьих слез москвичам не казать!

И Олена поняла, что и сейчас у этой старой женщины, ее матери, сил больше, чем у нее, молодой и здоровой, и как невообразимо страшно остаться одной навсегда, без ее твердого слова, совета, порою и брани, и без ее властных глаз и твердых материнских рук.

— Готовы мы! — произнесла Марфа, вновь входя в столовую палату, откуда давешний боярин уже вышел на крыльцо. Стражникам она головой показала на выход. Один из них прошел вперед, а другой остановился перед Васильком, помаргивая белесыми ресницами.

— Приказано взять!

(«Розно повезут!» — поняла Марфа.)

Василек, наконец-то уразумев страшную правду того, что происходит, с криком: «Баба, баба!» — кинулся к Марфе в колени и вцепился ручонками в подол, тыкаясь головой, лицом, расширенными от ужаса побелевшими глазами.

— Ну! Борецкой ты или кто?! — сорвавшись, крик-

нула Марфа, оторвала жалкие ручонки, встряхнула: — Гордости нет! Ступай!

И москвич, пятясь задом, уволакивая ребенка, взглянувши в глаза ей, вдруг задрожал и невесть с чего проворно захлопнул за собой дверь.

Оставшись одна, она еще помедлила, потом обвела очами чужое уже жило, поклонилась ему в пояс, перекрестившись на большой образ новгородского сурового Спаса в углу, и сказала негромко в пустоту, и это было последнее, что она вообще сказала перед тем, как навсегда оставить Новгород:

— Исполать тебе, царь Иван Васильевич! Бабу одолел и дитя малое...

ЭПИЛОГ

Евстигней, бывший Марфин, а теперь государев крестьянин, что когда-то мальчонкой на ее дворе драчливо собирался в ушкуйники, а теперь стал степенным молодым мужиком, со светлою округлою бородой, вышел за порог низкой, сложенной из морского плавника избы, справил малую нужду и остоялся. Тянуло с моря. Ветер предвещал ростепель. Еще не рассветливало. Ночь надвинулась на землю. Во тьме волны глухо и тяжело накатывали на ледяные камни. Он потянул носом холодную сырь — к погодью! Первые годы не знали, как выжить. Отца схоронили через лето. Пробовали пахать — вымерзало. Проклинали холодную неродимую землю, а теперь приспособились, и уже казалось не страшно, хоть и тонут здесь по осеням немало. Тянули сети, добывали дорогую рыбу — семгу. Семгу меняли на хлеб. Дед пел старины про Золотой Киев, про Новгород богатый, и давним, небылым виделось бедное новгородское детство.

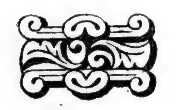
«Семга беспременно должна идтить! — прикидывал Евстигней, досадуя на поветерь. — Уловишь ее в етую погодь!» Но оттого, что знал про семгу, знал про морские течения и ветер, знал про лед, делалось радостно. Бывалоча: лед и лед! Ну, шорош тамо, а тут шуга, шапуга, сало, нилас, да и нилас-то всякой, темной и светлой, сырой, сухой, подъемной, нечемерж, молодик, резун, а тамо — припай, снежной лед, забереr, каледуха, а тамо — живой лед, что движется бесперечь, мертвый лед, битняк, тертюха, калтак, шельняк, отечной лед, проносной, ходячий, сморозь, торосовой, налом, ропачистой, бакалца, бимье, гладуха, гладун, ропаки, подсовы, грязда, несяк,

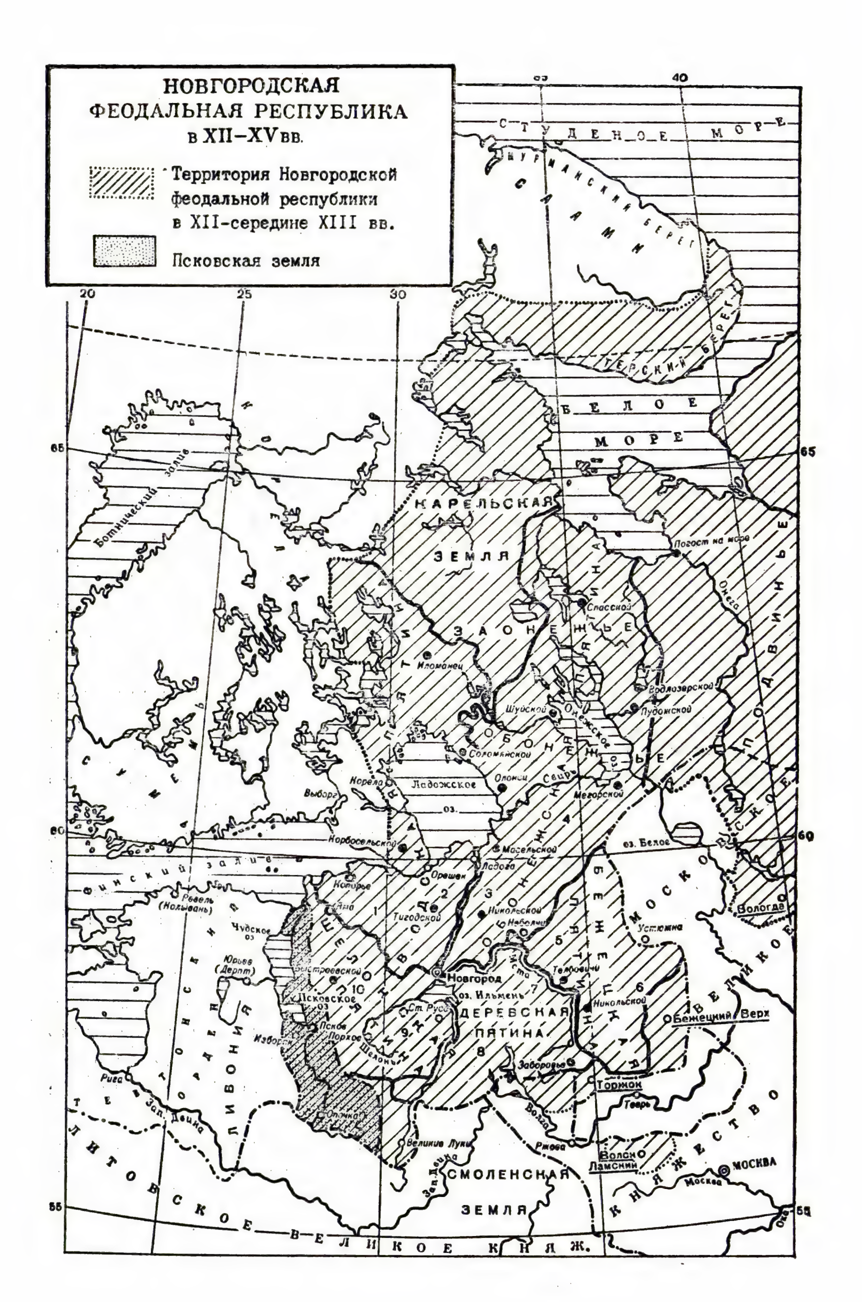
стамуха, стойки, забой, стычина, да ито еще не всё! И вода бывает всякая, тут те и большая вода, и полводы, и куйпога, сувой, сулой, маниха, перегруб, прибылая...

Он постукал валенцами, дрожь пробирала. Эко, и не рассветливат! Все ж таки чудно! Море Белое! Купцы по осеням сказывали, в Новом Городи все стало не по-прежнему, по-московськи. Но то уже не трогало. Он еще раз вздохнул глубоко. Не иначе хватит шалоник с дождем! И, почуяв, что издрогнул, полез назад, в тепло избы, освещенной сальником из сала морского зверя.

Во тьме под приникшим к земле черным, в звездах, проглядывающих сквозь набегающие облака, небом шумело и шумело море, глухо и тяжело накатываясь на камни. На востоке едва заметно бледнело, пробивался рассвет.

СОВРЕМЕННИКИ О НОВГОРОДЕ XV века




НОВГОРОДСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА в XII–XV вв.
Территория Новгородской феодальной республики в XII-середине XIII вв.
Псковская земля
СТУДЕНОЕ МОРЕ
МУРМАНСКИЙ БЕРЕГ
САМЬ
ТЕРСКИЙ БЕРЕГ
БЕЛОЕ МОРЕ
Ботнический залив
КАРЕЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
ЗАОНЕЖЬЕ
ОБОНЕЖЬЕ
ПОДВИНЬЕ
Погост на море
Онега
Спасской
Иломанец
Водлозерской
Пудожской
Шуйской
Онежское
Селомянской
Олонец
Свирь
Мегорской
Корела
Ладожское оз.
Выборг
Норбосельской
оз. Белое
Мосельской
Ладога
Орешен
Копорье
Финский залив
Ревель (Колывань)
Чудское оз.
Юрьев (Дерпт)
Тигодской
Никольской
Наволок
Устюжна
Быстроевской
Новгород
Телеговичи
оз. Ильмень
Псковское оз.
Ст. Русса
ДЕРЕВСКАЯ ПЯТИНА
Никольской
Бежецкий Верх
Псков
Порхов
Изборск
Шелонь
Заборовье
Торжок
Тверь
Волга
Ржева
Волок Ламский
МОСКВА
Москва
Опочка
Великие Луки
Зап. Двина
Рига
ЛИВОНИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ
ЛИТОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖ.
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО МОСКОВСКОЕ
Вологда
Ока

При всем многообразии форм подхода к явлениям исторического прошлого интерес к истории Новгорода — явление уникальное. Этот устойчивый интерес нуждается в разъяснении.

Прежде всего Новгород привлекает внимание своей исторической значительностью. Один из древнейших центров Руси, упомянутый летописцем уже в 859 году. Его роль наряду с Киевом в складывании Русского государства бесспорна.

В Новгороде возникли особые — республиканские формы политического устройства. Их возникновение и становление — результат длительного исторического процесса, обусловленный интенсивным экономическим и политическим развитием города, остротой социальных столкновений.

На протяжении многих веков этот город был крупнейшим торговым центром Европы и осуществлял связи Руси с городами Скандинавии и Германии, с районами причерноморского юга и мусульманскими центрами Востока. Он избежал монгольского нашествия, и, следовательно, многие процессы его развития не были деформированы военным разрушением. В эпоху испытаний Новгород стал непреодолимым барьером на пути немецких и шведских завоевателей. Именно новгородские полки опрокинули шведов на Неве и погубили немцев на льду Чудского озера.

Своеобразная история Новгорода определила повышенный интерес к нему в историографии, литературе и публицистике. Русские летописцы пристально следили за новгородскими событиями. Малейшие изменения политической ориентации, внутригородские события скрупулезно фиксировались не только местными летописцами, но и книжниками других русских городов. Все летописные своды насыщены новгородикой.

Наиболее отчетливо интерес к Новгороду обнаружился в оценке очевидцами новгородской «трагедии 1478 года». Крушение новгородского колосса представлялось нереальным, сверхъестественным видением. Очевидцы были ошеломлены тем, как «смирилась сила Новгорода», «как стыд лица их (новгородцев. — *А. Х.*) покры». Свое удивление средневековые книжники облекали то

в форму пророчеств и видений, то выражали в виде эмоциональных всплесков, нарушающих лаконизм и бесстрастность летописных строк.

Современники, далекие от осознания исторической объективности процесса политического объединения Руси, рассматривали столкновение Новгорода с Москвой через призму борьбы двух политических порядков: московского «государства» и новгородской вечевой «старины». Символичное мышление, характерное для средневекового человека, определило повышенный интерес к символу новгородского порядка — вечевому колоколу. Отсюда стремление все значение современных событий XV века ограничить рамками формулы-противопоставления «вече — самодержавие». Отсюда реализм новгородской истории начинает затуманиваться романтической дымкой.

Итак, с одной стороны, идеализация веча, с другой — осознание неизбежности объединения всех русских земель в единое государство привели к появлению сразу двух вариантов повестей о походе на Новгород в 1471 году: московского и новгородского.

Московский вариант о победе над Новгородом представлен двумя повестями: великокняжеским летописным сводом и отдельными «Словесами избранными от святых писаний». Московский книжник последовательно и подчеркнуто неодобрительно подавал многочисленные проступки Новгорода и явно не был склонен признавать права новгородских «вечников». Походу Ивана III на Новгород в московском летописании были приданы черты крестового похода на «неверных». Эта тенденция особенно резко выражена в «Словесах».

Враги (новгородцы) гордятся и «ярятся», забыв библейские поучения, великий князь (Иван III) скорбит, проливает слезы, молится богу и только тогда, когда чаша его долготерпения переполняется, вступает в бой с «неверными». Победа великокняжеских войск чудотворна — она совершается с божественной помощью. В «Словесах избранных» «дьявольское прельщение» новгородцев доказывается, в частности, тем, что в роли их предводительницы выступает «окаянная жена» — вдова посадника Марфа Борецкая, о которой почти ничего не сообщают остальные летописи и которая стала известна историкам и писателям именно из «Словес избранных».

В московских летописных сводах чудеса сопутствуют великокняжеским ратям в их движении по новгородской земле: по божьей воле пересыхают болота, москвичи переходят вброд полноводные реки, новгородцы при виде великокняжеского войска «всколебашася, яко пьяни» и обращаются в бегство; всюду, даже когда никто за ними не гонится, слышится новгородцам страшный «ясак» (клич) великокняжеских полков: «Москва!»

По-иному рассказывалось о победе Москвы в Новгородском летописном своде, составленном незадолго до присоединения Новгорода к Русскому государству. Никаких упоминаний о чуде в победе великого князя над новгородцами. Причины своего поражения они видели не на небе, а на земле.

Так, новгородский архиепископ Фефил запретил своей коннице участвовать в битве — владыка не решился «на великого князя руку подынути». Сторонник великого князя, «некий Упадыш», заколотил железом пять новгородских пушек. Рисуя рознь и «мятеж» в родном городе, летописец рассказывал о том, как во время битвы новгородцы «вопили» на своих «больших людей», то требуя решительного сражения, то ссылаясь на недостаток оружия: «Аз (я. — *А. Х.*) человек молодый, испростеряхся (обеднел, имею недостаток. — *А. Х.)* конем и доспехом».

Новгород привлекал внимание не только русских современников.

Не случайно фландрский путешественник Гильбер де-Ланнуа, побывав в 1413 году в городе, составил подробную записку о Новгороде. Естественно, что для чужеземца был скрыт внутренний социальный подтекст повседневной жизни вечевого города, однако де-Ланнуа был человеком наблюдательным. Поэтому его записки, не лишенные определенной наивности, представляют любопытный взгляд на средневековый Новгород со стороны, взгляд, зафиксировавший хоть и внешние, но характерные детали.

Жильбер де-Ланнуа

ИЗ ОПИСАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОСОЛЬСТВА

Великий Новгород — необыкновенно большой город. Он расположен на равнине, окружен дремучими лесами и болотистыми низинами. Через Новгород, посредине его, протекает большая река, называемая Волоско (Волхов). Город защищен скверными стенами из жердей и земли, но башни на стенах каменные.

Это вольный город. Им управляет городская община. Есть у них епископ, который является как бы их правителем. И потому христианский закон укрепляет всех русских огромной страны (Руси) в той же вере, что и у греков. В Новгороде есть одно священное место. Оно вблизи реки, там построена у них главная церковь святой Софии. Там же, говорят, и живет их владыка.

Кроме того, есть в Новгороде знатные сеньоры, которых они называют бояре. Власть этих знатнейших горожан неимоверна, а богатства их неисчислимы: некоторые владеют земельными угодьями протяженностью в двести лье *. И нет у них других властителей, кроме сеньоров, которых избирают по очереди, так как того захочет община.

Их деньги — маленькие слитки серебра, которые весят приблизительно шесть унций * серебра. Они не чеканятся. И здесь совсем не чеканят монету из золота. И есть у них мелкие (разменные) деньги; состоят они из мордок белок и куниц *. Есть в их городе один рынок, где они продают и покупают согласно своим законам. Здесь же они покупают и продают своих женщин, чего мы, французские христиане, не осмелились бы сделать никогда в своей жизни. Они же продают женщин за один или два маленьких слитка серебра. Так же, по взаимному соглашению, женщину здесь можно отдать в уплату долга.

И есть в городе два должностных лица — тысяцкий и посадник, которые являются правителями Новгорода. Эти правители обновляются из года в год. И эти правители действуют в пользу владыки и сеньоров города.

Кроме того, женщины носят волосы, заплетенные в две косы и висящие у них за спиной, а мужчины носят одну косу. Я был в городе девять дней, и каждый день епископ посылал ко мне тридцать человек, нагруженных хлебом, мясом, рыбой, буковыми орехами, пореем, пивом и медом. И сверх этого тысяцкий и посадник устроили мне обед, самый странный и самый чудесный из виденных мною когда-либо.

В ту зиму было так холодно, что любопытно было бы рассказать о холодах, потому что мне пришлось отправиться в путь в самую стужу.

Кроме того, холода там такие диковинные, что воду для питья мне приходилось черпать на озере из-подо льда двумя серебряными чашами, по весу равными трем труанским маркам *. И когда я держал чаши в своих руках, то пальцы у меня цепенели от холода, а чаши, опорожненные и вставленные одна в другую, силою холода смерзались в одно целое.

Кроме того, зимой на рынке Великого Новгорода не продают никакой живности, никаких свежих продуктов. Будь то рыба, свинина или баранина, птица — все забито и заморожено. И во всей стране зайцы зимой все белые, а летом серые.

Кроме того, все сеньоры вышеупомянутого Великого Новгорода сильны сорока тысячами конников и бесчисленным пешим войском. Они часто ведут войны со своими соседями, особенно с сеньорами Люифлант (Ливонии), и в последнее время выиграли несколько больших сражений.

1420

МОСКОВСКАЯ ПОВЕСТЬ О ПОХОДЕ ИВАНА III ВАСИЛЬЕВИЧА НА НОВГОРОД

(В сокращенном варианте)

О новгородцах и об архиепископе Феофиле. Той же осенью, ноября в восьмой день, на праздник архангела Михаила преставился архиепископ Великого Новгорода Иона. И новгородцы по старине, как это было у них в обычае, созвали вече и стали выбирать из иеромонахов архиепископа. И, выбрав троих, бросили жребий, и выпал жребий некоему иеромонаху по имени Феофил, и возвели его во двор архиепископский. И послали к великому князю Ивану Васильевичу посла своего Никиту Ларионова бить челом и защиты просить, чтобы избранного ими чернеца Феофила почтил, велел бы к себе в Москву прибыть и поставить бы его велел своему отцу духовному, митрополиту Филиппу, на архиепископство в Великом Новгороде и Пскове, как то и прежде всегда бывало при прежних великих князьях.

Князь же великий, по их челобитью и прошению, не только к прежнему ничего не добавляя, но и в снисхождении жалуя, посла их, почтив, отпустил со всем, о чем просили его новгородцы, ответ дав ему такой: «Что вотчина моя, Великий Новгород, прислал ко мне бить челом о том, что взял бог отца их духовного, а моего богомольца архиепископа Иону, и потому избрали себе по своему обычаю согласно жребию инока Феофила, в том я, князь великий, их жалую и того избранного Феофила. И велю ему быть в Москву ко мне и к отцу моему духовному, митрополиту Филиппу, чтобы поставить на архиепископство Великого Новгорода и Пскова без всяких задержек, но по старым обычаям, как было то и при отце моем, великом князе Василии, и при деде, и при прадеде моем, и при прежних всех великих князьях, из рода которых и я, из владимирских, и новгородских, и всей Руси».

И когда тот посол их Никита Ларионов воротился в Новгород и передал им пожалование великого князя, то многие там бывшие люди знатные, посадники и тысяцкие, и житьи люди очень тому рады были, и Феофил также.

Некоторые же из них: посадничьи дети Исаака Борецкого с матерью их Марфою и с остальными иными изменниками, подученные дьяволом, хуже бесов стали прельстителями на погибель земле своей и себе на пагубу, начали непристойные и соблазнительные речи высказывать и, на вече являясь, кричать: «Не хотим за великого князя московского, и вотчиной зваться его не хотим! Вольные все мы люди — Великий Новгород, а московский князь великий многие обиды и неправды над нами чинит! А хотим за короля польского и великого князя литовского Казимира!»

И так взволновался весь город их, и всколыхнулись все, как пьяные: те хотели за великого князя по старине, к Москве, а другие — за короля, к Литве. Те же изменники стали нанимать худых мужиков из участников веча, готовых на все, как обычно. И, явясь на вече, звонили они во все колокола и, крича, говорили: «За короля хотим!» Другие же им возражали: «За великого князя московского хотим по старине, как было и до сего!» И те наймиты изменничьи каменье метали в тех, что за великого князя хотят. И великая смута была у них, и сражались друг с другом, и сами на себя поднялись.

Многие же из них: прежние посадники, и тысяцкие, и знатные люди, а также и люди житьи говорили им: «Нельзя, братья, тому так быть, как вы говорите: к королю нам перейти и архиепископа поставить от его митрополита, католика. Ведь изначала вотчина мы великих князей русских, от первого великого князя нашего Рюрика, которого по воле своей взяла земля наша из варягов князем себе вместе с двумя его братьями. А после и правнук его, князь великий Владимир, крестился и все земли наши крестил русскую, и нашу словенскую, и землю мери, и кривичскую, и весь, то есть белозерскую, и муромскую, и вятичей, и остальных. И от святого того великого князя Владимира вплоть до господина нашего Ивана Васильевича за латинянами мы не бывали и архиепископа от них себе не поставляли, так чего ж вы теперь хотите ставить его от Григория, именующего себя митрополитом Руси, хотя он ученик Исидора и католик!»

Те же отступники, подобно и прежним еретикам, на-

учены были дьяволом, желая на своем поставить, на благочестье дерзнув и великому князю не желая покориться, единодушно вопили: «За короля хотим!» А другие говорили: «К Москве хотим, к великому князю Ивану и к отцу его духовному, митрополиту Филиппу, — в православие!» Злодеи же те, восставшие на православие, бога не боясь, послов своих отправили к королю с дарами многими, Панфила Селиванова да Кирилла Иванова, сына Макарьина, говоря: «Мы, вольные люди, Великий Новгород, бьем челом тебе, честной король, чтобы ты государю нашему Великому Новгороду и нам господином стал. И архиепископа повели нам поставить своему митрополиту Григорию, и князя нам дай из твоей державы».

Король же принял их дары с радостью, и рад был речам их, и, много почтив посла их, отпустил к ним со всеми теми речами, которых услышать они хотели, и князя послал к ним Михаила, Олелькова сына, киевлянина. И приняли его новгородцы с почетом, но наместников великого князя не выгнали с Городища. А бывшего у них князем Василия Горбатого, из суздальских князей, послали того в Заволочье, в заставу на Двину.

Прослышал об этом князь великий Иван Васильевич, что в вотчине его, в Великом Новгороде, смятенье великое, и стал посылать к ним послов своих, говоря так: «Вотчина моя это, люди новгородские, изначала: от дедов, от прадедов наших, от великого князя Владимира, крестившего землю Русскую, от правнука Рюрика, первого великого князя в вашей земле. И от того Рюрика и до сегодняшнего дня знали вы единственный род тех великих князей, сначала киевских, и до самого великого князя Дмитрия-Всеволода Юрьевича Владимирского, а от того великого князя и до меня род этот, владеем мы вами, и жалуем вас, и защищаем отовсюду, и казнить вас вольны, коли на нас не по-старому начнете смотреть. А ни за королем никаким, ни за великим князем литовским не бывали вы с тех пор, как земля ваша стала, теперь же стремитесь вы от христианства в католичество, нарушив крестное целование. Я, князь великий, никакого насилья вам не чиню, ни тягот не налагаю сверх того, что были при отце моем, великом князе Василии Васильевиче, и при деде моем, и при прадеде, и при прочих великих князьях рода нашего, да еще и жаловать вас хочу, свою вотчину».

Слышав же то, новгородские люди, бояре их и посадники, и тысяцкие, и житьи люди, которые не желали

Иван III посещает двор новгородского архиепископа. Миниатюра из лицевого летописного свода (XVI в.).

прежнего своего обычая и крестного целования преступить, рады были все этому и управляться хотели великим князем по-старому.

Но Исааковы дети, о которых было сказано, с прочими своими пособниками и с наймитами своими будто взбесились, точно дикие звери, человеческого разума лишенные, речей послов великого князя, как и посла митрополита Филиппа, и слышать не хотели. И еще нанимали злых этих смердов, убийц, мошенников и прочих безродных мужиков, что подобны скотам, нисколько разума не имеющих, но только один крик, так что и бессловесная скотина не так рычала, как эти новгородские люди, невежды, называя себя «господарем Великим Новгородом» *. И они приходили на вече, били в колокола, и кричали, и лаялись, точно псы, говоря нелепое: «За короля хотим!»...

...Князь же великий, прослышав об этом, впал в скорбь и тужил о них немало: «Когда и не были еще в православии, от Рюрика, и до великого князя Владимира, не отходили к другим государям, а от Владимира и вплоть до сегодняшнего дня знали один его род и управлялись великим князем во всем, сначала киевским, потом владимирским, а теперь, в последние годы, все свое благочестье хотят погубить, от христианства к католичеству отступая. Но что делать, не ведаю, а возложу всю надежду мою на единого господа бога, и будет он милостив ко мне в этом». И возвещает он об этом отцу своему, митрополиту Филиппу, и матери своей, великой княгине Марии, и бывшим при нем боярам его и о том, что хочет идти на Новгород ратью. Они же, услышав это, советуют ему, упованье на бога возложив, исполнить замышленье свое на новгородцев за их нарушения и отступничество.

И тотчас князь великий послал за всеми братьями своими, и за всеми епископами земли своей, и за всеми князьями, и боярами своими, и воеводами, и за всеми своими воинами. И когда сошлись все к нему, тогда сообщает им замысел свой — идти на Новгород ратью, ибо во всем изменил он. И князь великий, получив благословение от митрополита Филиппа, а также и от всех святителей земли своей, и от всего священного собора, начал готовиться к походу, а так же и братья его, и все князья его, и бояре, и воеводы, и все его воины...

В Новгород же послал князь грамоты разметные за неисправление новгородцев, а в Тверь послал к велико-

му князю Михаилу, помощи прося на тех новгородцев. А в Псков послал дьяка своего Якушку Шачебальцева мая в двадцать третий день, на праздник Вознесения господня, веля сказать им: «Вотчина моя, Великий Новгород, отходит от меня за короля, и архиепископа своего ставить желают у его митрополита Григория, католика. И потому я, князь великий, иду на них всею ратью, а целование свое к ним я с себя слагаю. И вы бы, вотчина моя, псковичи, посадники, и житьи люди, и вся земля псковская, договоры с братом вашим, Новгородом, отменили и пошли б на них ратью с моим воеводой, с князем Федором Юрьевичем Шуйским, или с его сыном, с князем Василием».

В тридцать первый день мая, в пятницу, послал князь великий Бориса Слепца к вятчанам, веля им всем идти на Двинскую землю ратью же. А к Василию Федоровичу к Образцу послал на Устюг, чтобы и он с устюжанами на Двину ратью пошел и соединился бы с Борисом да с вятчанами.

Месяца же июня в шестой день, в четверг, на троицу, отпустил князь великий из Москвы воевод своих, князя Даниила Дмитриевича Холмского да Федора Давыдовича со многим воинством, а с ними и князя Юрия Васильевича, и князя Бориса Васильевича, и детей боярских многих. А велел всем им князь идти к Руссе.

А в тринадцатый день того же месяца, в четверг, отпустил князь великий князя Ивана Васильевича Оболенского Стригу со многими воинами, да с ним и князей царевича Даньяра со многими татарами. И велел им идти на Волочок да по Мсте.

А после этого князь великий начал по церквам молебны совершать и милостыню большую раздавать в земле своей — и по церквам, и по монастырям, священникам, и монахам, и нищим... ...Князь же великий Иван Васильевич, приняв благословение отца своего митрополита Филиппа и всех епископов державы своей и всех священников, выходит из Москвы того же месяца июня двадцатого, в четверг, в день памяти святого отца Мефодия, епископа патарского, а с ним царевич Даньяр и прочие воины великого князя, князья его многие и все воеводы, с большими силами собравшиеся на противников, — подобно тому, как прежде прадед его, благоверный великий князь Дмитрий Иванович, на безбожного Мамая и на богомерзкое его воинство татарское, так же и этот благоверный и великий князь Иван на этих отступников.

Ибо хотя и христианами назывались они, по делам своим были хуже неверных; всегда изменяли они крестному целованию, преступая его, но и хуже того стали сходить с ума, как уже прежде написал: ибо пятьсот лет и четыре года после крещения были под властью великих князей русских православных, теперь же, в последнее время, за двадцать лет до окончания седьмой тысячи лет *, захотели отойти к католическому королю и архиепископа своего поставить от его митрополита Григория, католика, хотя князь великий посылал к ним, чтобы отказались от такого замысла. Так же и митрополит Филипп не раз предостерегал их, поучая, будто отец детей своих...

...Но нет, люди новгородские всему тому не внимали, но свое зломыслие учиняли; так не хуже ли они иноверных? Ведь неверные никогда не знали бога, не получили ни от кого правой веры, прежних своих обычаев идолопоклонства держась, эти же долгие годы пребывали в христианстве и под конец стали отступать в католичество. Вот и пошел на них князь великий не как на христиан, но как на язычников и на отступников от правой веры.

Пришел же князь великий на Волок в день рождества Иоанна Предтечи. Так же и братья великого князя пошли каждый от себя: князь Юрий Васильевич из своей вотчины, князь Андрей Васильевич из своей вотчины, князь Борис Васильевич из своей вотчины, князь Михаил Андреевич с сыном Василием из своей вотчины. А в Москве оставил князь великий сына своего, великого князя Ивана, да брата своего, князя Андрея-Меньшого.

На петров день пришел князь великий в Торжок, и подошли к нему в Торжок воеводы великого князя тверского, князь Юрий Андреевич Дорогобужский * да Иван Никитич Жито *, со многими людьми для помощи на новгородцев же; а из Пскова в тот же Торжок пришел к великому князю посол Василий да Богдан с Якушкой с Шачебальцевым, а присланы известить, что от присяги Новгороду отказались и сами готовы все. Князь же великий из Торжка послал к ним Богдана, а с ним Козьму Коробьина *, чтобы немедля пошли на Новгород, а Василия от себя не отпустил; и из Торжка пошел князь великий.

Братья же великого князя все со многими людьми, каждый из своей вотчины, пошли разными дорогами к Новгороду, пленяя, и пожигая, и людей в полон уводя;

так же и князя великого воеводы то же творили, каждый там, на кое место был послан. Ранее посланные же воеводы великого князя, князь Данило Дмитриевич Холмский и Федор Давыдович, идя по новгородским пределам, где им приказано было, распустили воинов своих в разные стороны жечь, и пленить, и в полон вести, и казнить без милости жителей за их неповиновение своему государю великому князю. Когда же дошли воеводы те до Руссы, захватили и пожгли они город; захватив полон и спалив все вокруг, направились к Новгороду, к реке Шелони. Когда же пришли они к месту, называемому Коростыней, у озера Ильменя на берегу, напала на них неожиданно по озеру рать новгородская в ладьях, которая, на берег выйдя, тайком подошла под их лагерь, так что они оплошали. Стража воевод великого князя, увидев врагов, сообщила воеводам, те же, тотчас вооружаясь, пошли против них и многих побили, а иных захватили в плен; тем же пленным велили друг другу носы, губы и уши резать и потом отпустили их обратно в Новгород, а доспехи, отобрав, в воду побросали, а другое огню предали, потому что не были им нужны, ибо своих доспехов всяких довольно было.

И оттуда вновь возвратились к Руссе в тот же день, а в Руссе уже другое войско пешее, еще больше прежнего вдвое; и пришли те в судах рекою под названием Пола. Воеводы же великого князя, и на тех пойдя, разбили их и послали к великому князю с вестью Тимофея Замытского, а примчался он к великому князю июля в девятый день на Коломну-озеро; сами же воеводы от Руссы пошли к Демону-городку. Князь же великий послал к ним, веля идти за реку Шелонь на соединение с псковичами. Под Демоном же велел стоять князю Михаилу Андреевичу с сыном его князем Василием и со всеми воинами его.

А воеводы великого князя пошли к Шелони, и как подошли они к берегу реки той, там, где можно перейти ее вброд, в ту же пору вышла рать новгородская против них с другой стороны, от города своего, к той же реке Шелони, многое множество, так что ужаснулись воины великого князя, потому что мало их было — все воины княжеские, не зная этого, покоряли места окрест Новгорода.

А новгородские посадники, и тысяцкие, и с купцами, и с житьими людьми, и мастера всякие, или, проще сказать, плотники и гончары, и прочие, которые отродясь

на лошади не сидели и в мыслях у которых того не бывало, чтобы руку поднять на великого князя, — всех их те изменники силой погнали, а кто не желал выходить на бой, тех они сами грабили и убивали, а иных в реку Волхов бросали; сами они говорили, что было их сорок тысяч в том бою.

Воеводы же великого князя, хоть и в малом числе (говорят бывшие там, что только пять тысяч их было), увидев большое войско тех и возложив надежду на господа бога и пречистую матерь его и на правоту своего государя великого князя, пошли стремительно на них, как львы рыкая, через реку ту широкую, на которой в том месте, как сами новгородцы говорят, никогда брода не было; а эти и без брода все целые и здоровые ее перешли. Увидев это, новгородцы устрашились сильно, взволновались и заколебались, как пьяные, а наши, дойдя до них, стали первыми стрелять в них, и взволновались кони под теми, и начали с себя сбрасывать их, и так скоро побежали они, гонимые гневом божьим за свою неправду и за отступление не только от своего государя, но и от самого господа бога.

Полки же великого князя погнали их, коля и рубя, а они и сами в бегстве друг друга били, кто кого мог. Побито же их было тогда многое множество — сами они говорят, что двенадцать тысяч их погибло в тех боях, а схватили живьем более двух тысяч; схвачены и посадники их: Василий Казимир, Дмитрий Исаакович Борецкий, Кузьма Григорьев, Яков Федоров, Матвей Селезнев, Василий Селезнев — два племянника Казимира, Павел Телятев, Кузьма Грузов, а житьих множество. Сбылось на них пророческое слово: «Пятеро ваших погонит сотню, а сотня потеснит тысячи». Так долго они бежали, что и кони их запалились, и стали падать с коней в воды, и в болота, и в чащобу, ибо ослепил их господь, не узнали уже и земли своей, даже дороги к городу своему, из которого вышли, но блуждали по лесам, а как где-нибудь они выходили из леса, так хватали их ратники, а некоторые, израненные, блуждая в лесах, поумирали, а другие в воде утонули; которые же с коней не свалились, тех кони их принесли к городу, будто пьяных или сонных, но иные из них второпях и город свой проскакали, думая, что и город взят уже; ибо взволновались и заколебались, будто пьяные, и ума лишились. А воины великого князя гнали их двадцать верст, а потом возвратились в великой усталости.

Воеводы же князя великого, князь Даниил и Федор Давыдович, став на костях, дождались воинства своего и увидели воинов своих всех здоровыми, и благодарили бога, и пречистую его богоматерь, и всех святых. И стали воеводы говорить схваченным ими новгородцам: «Отчего вы с таким множеством воинов своих сразу бежали, увидев малое наше войско?» Те же ответили им: «Потому что мы видели вас бесконечное множество, идущих на нас, и не только идущих на нас, но еще и другие полки видели, в тыл нам зашедшие, знамена у них желтые и большие стяги и скипетры, и говор людской громкий, и топот конский страшный, и так ужас напал на нас, и страх объял нас, и поразил нас трепет». Было же это июля четырнадцатого в воскресенье рано, в день святого апостола Акилы.

Воины же князя великого и после боя того сражались часто по посадам новгородским вплоть до немецкой границы по реке Нарве, и большой город, называемый Новым Селом, захватили и сожгли. А воеводы великого князя, чуть отдохнув после боя того и дождавшись своих, послали к великому князю Замятню с той вестью, что помог им бог, рать новгородскую разбили. И тот примчался к великому князю в Яжелбицы того же месяца в восемнадцатый день, и была радость великая великому князю и братьям его, и всему войску их, ибо был тогда у великого князя и царевич Даньяр, и братья великого князя, благоверные князья Юрий, и Андрей, и Борис, и бояре их, и все войско их. И тогда дал обет князь великий поставить в Москве церковь памяти святого апостола Акилы, что и исполнил, а воеводы, князь Даниил и Федор, другую церковь, в честь Воскресения.

А в ту же пору был у великого князя из Новгорода от избранного архиепископа и от всего Новгорода Лука Клементьев за охранной грамотой; князь же великий дал им охранный лист и отпустил его из сел возле Демона; а князю Михаилу Андреевичу и сыну его князю Василию воеводы новгородские, которые были осаждены в городке Демоне, били челом и сдались с тем, что их живыми выпустят, а за другое что не держались; а с города дали выкупа сто рублей новгородских *.

А от псковичей пришел к великому князю в Игнатичи с Кузьмою с Коробьиным посадник Никита с тем, что псковичи всею землею своею вышли на его службу, своего государя, с воеводой князем Василием Федоровичем, и по дороге стали новгородские поселения грабить, и жечь,

и людей сечь, и, в дома запирая, жечь. Князь же великий послал к ним Севастьяна Кушелева * да прежнего посла их Василия с ним от Полы-реки.

Месяца того же на двадцать четвертый день, на память святых великомучеников Бориса и Глеба, пришел князь великий в Руссу, и тут повелел казнить отсеченьем головы новгородских посадников за их измену и за отступничество: Дмитрия Исааковича Борецкого, да Василия Селезнева, да Еремея Сухощека, да Киприана Арзубьева; а иных многих сослал в Москву да велел их бросить в тюрьму, а незнатных людей велел отпускать в Новгород, а Василия Казимира, да Кузьму Григорьева, да Якова Федорова, да Матвея Селезнева, да Кузьму Грузова, да Федота Базина велел отвезти на Коломну да заковать их. А сам пошел оттуда на Ильмень-озеро к устью Шелони и пришел там на место, называемое Межбережье и Коростынь, двадцать седьмого в субботу.

И в тот же день был бой у воевод великого князя с двинянами, у Василия Федоровича Образца, а вместе с ним были устюжане и прочие воины, да у Бориса Слепца, а вместе с ним вятчане, бой у них был на Двине * с князем Василием Шуйским, а с ним вместе были заволочане все и двиняне. Было же с ним рати двенадцать тысяч, а с воеводами великого князя было рати четыре тысячи без тридцати человек. И та и другая стороны бились на берегу, выйдя из лодок, и начали биться в третьем часу дня того, и бились до захода солнечного, и, за руки хватая, рубились, и знамя у двинян выбили, а трех знаменосцев под ним убили: убили первого, так другой подхватил, и того убили, так третий взял, убив же третьего, и знамя захватили. И тогда двиняне взволновались и уже к вечеру одолели полки великого князя и перебили множество двинян и заволочан, а некоторые потонули, князь же их раненый бросился в лодку и бежал в Холмогоры; многих же в плен взяли, а потом и селения их захватили и возвратили всю землю ту великому князю. Убили же тогда князя великого рати пятьдесят вятчан, да устюжанина одного, да человека Бориса Слепца, по имени Мигуна, а прочие все богом сохранены были.

О нареченном Феофиле и о новгородцах, как пришли они к великому князю бить челом. В тот же день пришли на устье Шелони в лодках озером Ильменем нареченный Феофил с посадниками, и с тысяцкими, и с житьими людьми от всех городских концов и начали прежде бить челом князьям, и

боярам, и воеводам великого князя, чтобы заступились перед братьями великого князя, а те бы заступились перед братом своим, великим князем, да и сами бы бояре заступились. Бояре же пошли вместе с ними и били челом братьям великого князя, братья же великого князя, князь Юрий, князь Андрей, князь Борис и князь Михайло Андреевич с сыном и бояре их били за них челом великому князю. Князь же великий ради них новгородцев пожаловал, велел тому нареченному чернецу Феофилу, и посадникам, и тысяцким, и прочим явиться пред его очи. Те же, войдя к великому князю, начали бить челом за свое преступление и за то, что руки против него подняли, — чтоб государь их пожалел, смилостивился над ними, прекратил бы гнев свой не ради их челобитья, но свою доброту показал бы к согрешающим, не велел бы больше казнить, и грабить, и жечь, и пленить. Смилостивившись, князь великий явил им милость свою и принял челобитье их, усмирил гнев свой и тотчас повелел прекратить жечь и пленять их, и пленных, тут бывших, повелел отпустить, а каких уже отослал и увел, и тех вернуть.

А били челом великому князю шестнадцатью тысячами серебром в новгородских рублях *, кроме братьев великого князя и князей и прочих: бояр, и воевод, и всех остальных, которые ходатайствовали за них; а земля их вся пленена и сожжена до самого моря, ибо не только те были, которые с великим князем и с братьями его, но и со всех сторон пешею ратью ходили на них, и псковская вся земля от себя их завоевывала. Не бывало на них такого нашествия с тех пор, как и земля их стоит.

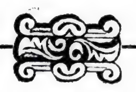
О псковичах. А что до того, что послал князь великий Севастьяна Кушелева навстречу псковичам, то тот встретил их за Порховом, а они идут от своего городка от Дубскова, захватив там шесть пушек, к Порхову. Севастьян сказал им о здоровье великого князя и о победе над новгородцами, а им велел князь великий быстрее идти к Новгороду. Псковичи же из-под Порхова отпустили Севастьяна к великому князю, а с ним и послов своих, Кузьму Сысоева да Степана Афанасьевича Винкова, а сами пошли всеми силами своими к Новгороду. И не дойдя до Новгорода двадцати верст, стали у храма Спаса на Милице, а Севастьян с теми послами псковскими, Кузьмой да Степаном, пришли к великому князю на устье Шелони июля тридцатого на пост Госпожин, а князь Василий Федорович Шуйский, воевода псковский,

с посадниками и со знатными людьми остальными вслед за послами своими пришли к великому князю туда же, на устье Шелони.

И после прихода всех тех стоял тут на одном месте князь великий одиннадцать дней, разбирая дела новгородские, и пожаловал их, дал им мир по их желанию, как сами захотели, а псковичам договор заключил с новгородцами лучше прежнего, как псковичи хотели. После этого князь великий дал новгородцам мир, и любовь, и милость и, почтив нареченного ими Феофила и посадников их, и тысяцких, и прочих всех, которые с ним приходили, отпустил их в их город. А с ними послал в Новгород боярина своего Федора Давыдовича, чтобы привел весь Великий Новгород к крестному целованью, от мала и до велика, и серебро с них взял; те же пошли в Новгород и совершили все, что велено было им.

А Иван Васильевич, князь великий владимирский и новгородский, всей Руси самодержец, возвратился оттуда в Москву с победой великой месяца августа тринадцатого; также и все братья его, и князья, и воеводы, и все воины их с большой добычей...

XV в.



«СЛОВЕСА ИЗБРАННЫ...»

(В сокращенном варианте)

...Мужи новгородские, заблудились в мыслях своих... <...>... гордостью своей кичились, пренебрегли стариною своею, обманули своего государя великого князя и нашли себе государем латинянина. И взяли от него князем к себе в Великий Новгород киевского князя Михаила [Олельковича. — *А. Х.*], и долго держали его у себя и оскорбили тем государя великого князя. Эти злорадные люди увязли в сетях дьявола, ловца и убийцы человеческих душ, этого многоглавого зверя и лукавого врага, который лукавым советом зло посеял. Этот дьявол-совратитель вошел у новгородцев в злохитривую жену Исаака Борецкого — Марфу. И та окаянная Марфа договорилась с литовским князем Михаилом. По княжескому совету она хотела выйти замуж за литовского королевского пана, мыслила привести вельможу к себе в Великий Новгород, чтобы с ним вместе владеть от имени короля всею землею новгородскою.

С этой окаянной мыслью начала Марфа прельщать весь народ православный. Хотела Великий Новгород отвести от великого князя, а отдаться к королю. Ради этого поднялась она на благочестие, как львица древняя Еизавель, которая убила многих пророчествовавших от имени господа и которая сама за это была сброшена со стен города, так оборвалась жизнь окаянной, псы съели ее. Марфа в своих поступках подобна бесовной Иродии, жене царя Филиппа, которая облечена была в своем беззаконии крестом господним. Ведь окаянная обольстила царя своего, угодила ему плясками дочери своей и добилась казни пророка, которому отсекли голову. За это Иродия осуждена вместе с дьяволом на вечные мучения. Марфа подобна царице Евдокии, которая зло свое показала, согнав с патриаршего престола великого все-

мирного светильника Иоанна Златоуста, и заточила его в Армении. За это Евдокия при жизни много лет червями была поражена, а по смерти тряссся гроб ее, знаменуя будущие муки царицы. Марфа подобна Далиле окаянной, которая, хитростью выведав у своего мужа Самсона Храброго, судьи иудейского, его тайну, состригла волосы с головы его, предав его врагам. Так и Марфа окаянная подобно им так же хочет весь народ прельстить, совратить его с пути правого и склонить к латинству, так как тьма прелести латинской ослепила ее, внушила ей дьявольское лукавство и злые мысли вместе с литовским князем.

Вместе с нею с такими же сатанинскими мыслями, с такими же дьявольскими думами сеет зло чернец Пимен, ключник бывшего владыки. Этот лукавый тайно договорился с Марфой и во всем ей помогает. Жаждал Пимен наследовать владыке новгородскому по смерти его. Сам же при жизни владыки разворовал софийскую казну. Но не получил он желаемого. Не благословил господь жеребий его. Не был он принят людьми православными на великую степень. Он такой же злодей, как первый развратник веры Петр Гугнивый или как древний Формос, которые основали латинскую ересь. Этим еретикам последовал наш митрополит богоотступник Сидор, который был на восьмом Римском соборе в латинском городе Флоренции и ради папского злата, ради кардинальства перешел к латинянам. С ним Григорий богоотступный, ученик его, который ныне зовется в Киеве митрополитом, которого не приняла и отмела святая наша великая соборная русская православная церковь. Лукавый чернец Пимен от того Григория богоотметного поставление себе требовал, говорил людям следующее: «Если пошлете меня в Киев, то я получу там поставление». И не вспомнил он, как о подобных записано в святом евангелии: «Каждый, кто не входит во двор общими дверьми, а влазит туда, тот вор и разбойник». Этот лукавый Пимен не только как волк через ограду хочет влезть к овцам словесным дома израилева, но и святую церковь божью тем хочет разделить и развести. И таким прельщеньем и соблазном погубил окаянный всю новгородскую землю. Про таких говорил пророк: «Этот человек, если не будет ему помощи божьей, то будет он надеяться на множество богатства своего, чтобы достигнуть своего».

Этот Пимен тоже на это уповал. Множество злата

И посади его посредѣ пира. И порава
шася вси о пришествии прпбнаго.
слышаху бо о добраа дѣлае, и водержа
телное житие, и чюшася о не. Блже
нныи же обычны смирение и кросто
стию одержи сын молча, в малѣ пи
ща причастися. Обычаи бо имя
ше в монастырѣ и в людех всегда, во
здержанию бездѣсни сущу. И по
зрѣв на сѣдяща боляре на пиру.

Видение Зосимы Соловецкого на пиру у Марфы Борецкой. Миниатюра из Соловецкого Летописца (XVII в.).

раздал этот лукавый жене Марфе. По ее повелению раздавал он злато людям многим, чтоб народ держал их сторону. И того ради злая змея [Марфа] ни бога не боится, ни людей не срамится, вводя раздоры и пагубу на всю новгородскую землю, погубляя души многих. О таковых безумных женах великий Иоанн Златоуст писал: «Ничто не уподобится жене злой и неверной, никакой зверь не сравнится с женой пронырливой, гордой и величавой». И ссылался на премудрого Соломона, который говорил: «Нет злобы против женской злобы. Лучше жить со львом и змеем в пустыне, чем со злою женою». А эта окаянная жена [Марфа] не только себя и свою душу погубила, но и детей своих влечет с собой в пагубу. Да и что же делать им, если тьма прелести [латинства] не только ее совратила, но и омрачает [души] всех ее слушающих. И того ради многие люди на пиры к ней сходятся и многие слушают прелестные и богоотметные слова ее, не ведают такие, что это им на пагубу. И смущаются многие в народе соблазном их. Преподобный священноинок Феофил, нареченный на владычество отец их, добра желая и уберегая их от мыслей таковых лукавых, повелел им, чтобы покончили они с таковыми злыми начинаниями. Они же не послушали слов его; из-за этого сам владыка неоднократно пытался уйти от них в монастырь, в келью свою. Они же его не пустили, но мысль свою не оставили. Когда услышал князь великий Иван Васильевич всея Руси, что творится в его отчине, в Великом Новгороде, что неистовые люди зыбятся, как волны моря, то о них благочестивый князь великий подумал. Заболело его пречестное и благоутробное сердце. Но не укорил их, а благим терпением смирил пречистую душу свою, исполнился божья страха. Вспомнил он по апостолу, как страдал Христос, как сын божий смирил себя, принял образ раба и сошел на землю ради спасения человечества...

XV в.

НОВГОРОДСКАЯ ПОВЕСТЬ О ПОХОДЕ ИВАНА III ВАСИЛЬЕВИЧА НА НОВГОРОД

(В сокращенном варианте)

В год 6979 (1471) впал князь великий Иван Васильевич во гнев на Великий Новгород, начал войско свое собирать и стал посылать на новгородские земли. И взяли сначала Старую Руссу, и святые церкви пожгли, и всю Старую Руссу выжгли, и пошли на Шелонь, воюя; псковичи же князю помогали и много зла новгородским землям нанесли.

И новгородцы вышли навстречу им на Шелонь, а к Старой Руссе послали новгородцы рекою войско и в пешем строю бились долго и побили много москвичей; но и пешего войска новгородцев полегло много, а иные разбежались, а других москвичи схватили; а конное войско не подошло к пешему войску на помощь вовремя, потому что отряды архиепископа не желали сразиться с княжеским войском, говоря: «Владыка нам не велел на великого князя руки поднять, послал нас владыка против псковичей». И стали новгородцы кричать знатным людям, которые прибыли с войском к Шелони: «Сразимся сейчас», но каждый говорил: «Я человек небольшой, подрастратился конем и оружием».

Москвичи же до понедельника отложили бой, ибо было воскресенье.

И начали они биться, и погнали новгородцы москвичей за Шелонь-реку, но ударил на новгородцев засадный татарский полк, и погибло новгородцев много, а иные побежали, а других похватали, а прочих в плен увели и много зла причинили; и все то случилось до приезда великого князя. И отправили новгородцы посла в Литву, чтобы король выступил в бой за Новгород *. И посол ездил окольным путем к немцам, к князю немецкому, к ма-

гистру, и возвратился в Новгород, говоря: «Магистр не позволит пройти через землю свою в Литву» *.

И немного спустя пришел князь великий Иван Васильевич со всеми силами на Руссу, и больше того зла причинили. И поднялась в Новгороде смута великая, и смятенье большое, и многие слухи враждебные, и стали дежурить на стенах города и в каменных башнях по очереди денно и нощно. И разделились жители: иные желали за князя, а иные за короля за литовского. И узнав то, князь великий страшно разгневался и казнил четырех бояр: посадника новгородского Дмитрия Исааковича, Василия Ивановича, Киприана Сергеевича, Иеремию, архиепископского чашника, — пленным говоря: «Вы королю предаться хотели»; а иных с собой повел в Москву.

И спалили новгородцы все посады вокруг Новгорода, а в Зверинце церковь новая святого Симеона погорела, и Антониев монастырь, и Полянка * вся, и Юрьев монастырь, и Городище все, и Рождественский монастырь с церковью сгорел. И многие беды обрушились на новгородцев: и хлеб вздорожал, и не было ржи в продаже в то время, ни ржаного хлеба, только пшеничный, да и того скудно. И поднялся на знатных людей ропот, будто те привели великого князя на Новгород, за то бог-сердцеведец им судья, зачинающим рать и обижающим нас.

В то же время князь великий Иван Васильевич послал войско свое за Волок, и князь Василий Васильевич и воевода заволоцкий Василий Никифорович вышли навстречу со своим войском и с жителями Заволочья и Печеры. И сошлись они в ратном бою, и пало многое множество с обеих сторон, а двиняне не пошли за князем за Василием Васильевичем и за воеводой за Василием за Никифоровичем, и ополченье выбилось из сил, и заволоцких порубили, и двинян порубили тоже. А князя Василия Васильевича и воеводу Василия Никифоровича бог сохранил, и прибыли в Новгород с небольшой дружиной, а князь великий хотел пойти на Новгород.

И поехал избранный на владычество архиепископ Феофил с посадниками новгородскими и с житьими людьми за Коростынь и заключил мир с князем великим; и дали князю великому Ивану Васильевичу новгородцы пятнадцать с половиною тысяч рублей, и целовали новгородцы крест князю великому в том, что королю новгородцам не предаваться и князей из Литвы не принимать; а все то случилось божьим попущением за наши грехи.

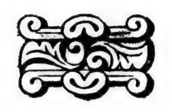
А изменника Упадыша новгородцы казнили, потому

Битва на Шелони.
Миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI в.).

что изменил Новгороду и хотел зла Великому Новгороду со своими единомышленниками: пять пушек железом забил, за что, награду приняв от искусителя-беса, в напасть впал и в заблуждение пагубное, света лишаясь, как Павел сказал: «Желающие обогатиться впадают во зло». Как не вострепетал, замышляя зло на Великий Новгород, ты, исполненный коварства? Ради мзды предаешь врагам Новгород, о Упадыш, сладкой жизни вкусив в Великом Новгороде! О, столько добра не вспомнив, немногого умом достиг ты! О беда, сказать, и беззаконная власть тогда обрела коварное зломыслие и обман нечестивый, не ранами поразить кого-то, но всех в городе погубить и сонму лукавых предать, с которыми тогда сражались. И злочестивому злосчастная гибель. Лучше бы тебе, Упадыш, не бывать в утробе материнской, и не был бы ты назван предателем Новгорода. Но не смог ни достичь свершения своих желаний, ни благословения не захотел, но предпочел проклятье и получил его; а христианская вера не гибнет, как погибли обманы те непотребные и безуспешное злодейство; бог по милосердию щедрот своих человеколюбивое долготерпение и незлобивое око от нас не отвратит, — и не оставит благой бог наш, не предаст нас в сети их и в помышление нечестивых. Проклятия устрашась, братья, плоды покаяния принесем...

XV в.

КТО И КАК ИЗУЧАЛ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА



Иван III.
Немецкая гравюра XVI века.

Что такое Новгород Великий в русской истории? К тому времени, когда этот вопрос стал предметом пристального внимания русского общества, вечевая столица превратилась в сонный губернский город Российской империи. Грандиозные ансамбли Ярославова дворища и кремля казались загадочным, нереальным видением среди покосившихся старинных построек. Все погрузилось в безмолвие истории. Ничто не напоминало о былом величии. Самодержавие вытравило самое память о республиканском прошлом. История Новгорода превращалась в достояние историографов.

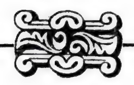
XVIII век нарушил это безмолвие. Самодержавно-крепостническая действительность в конце XVIII века неизбежно скатывалась к закономерному эпилогу — нарастал классовый протест, самые основы самодержавного государства были потрясены Крестьянской войной под руководством Е. Пугачева, уже в полную силу звучали голоса первых русских просветителей, объявивших крепостничество насилием над человеческой личностью, уже само самодержавие теряет уверенность в завтрашнем дне и пытается надеть на себя маску просвещенной монархии.

В этой обстановке история республиканского Новгорода все более захватывает умы русских писателей, историков, публицистов, превращаясь в арену острой политической дискуссии. Вплоть до 1917 года обращением к новгородской истории русская общественная мысль стремилась получить ответы на кардинальные вопросы современности: монархия или республика, самодержавие или конституция, крепостничество или народовластие? В политической полемике переплелись революционный романтизм А. Н. Радищева и монархизм Н. М. Карамзина, гражданственный пафос декабристов и либерализм западников и славянофилов, этнографические вариации Н. И. Костомарова и экономизм В. О. Ключевского, социалистический утопизм А. И. Герцена и «областничество» А. П. Щапова.

Что такое Новгород? Нелепая игра истории или закономерность исторического развития, странное исключение из жизни Древней Руси или образец первоначального русского общинного

быта, политический идеал народоправства или скопище буйных мятежников? Как самой постановкой таких вопросов, так и ответами на них историки и публицисты XIX века переносили собственные политические идеалы в далекое историческое прошлое. Вся дореволюционная историография Новгорода в силу своей классовой ограниченности не могла подняться до объективного осмысления исторического наследия Новгорода. Потребовался Великий Октябрь, понадобились глубочайшие идейные преобразования, чтобы Новгород занял свое закономерное место в русской истории.

Рассказать о встрече двух далеких друг от друга исторических эпох, о встрече истории Новгородской феодальной республики и общественной мысли России XVIII — начала XX века — задача документального раздела этой книги.



1

Становление исторической науки в России в XVIII веке привело исследователей и одновременно литераторов к Новгороду. Это было неизбежно: русское общество осознавало свое положение на европейской политической арене. Выход страны к Балтийскому морю напоминал о Невской победе новгородцев. Петр I не случайно переносит гробницу великого князя Александра Ярославича Невского из далекого Владимира на берега Невы, в своеобразный мавзолей — Александро-Невскую лавру.

Историография и публицистика XVIII века объединены пристальным вниманием к политическому наследию Новгорода. Историки, публицисты пытались выяснить: что такое Новгородская республика? Часть «необмышленно» разделенной монархии Рюрика или пример естественного развития? «Власть многих» — лучшая либо власть «единого» — «выгоднейшая и полезнейшая как для общества, так и для каждого»? Ответы не были однозначными и определялись не уровнем исторических знаний, а политическими симпатиями и убеждениями авторов.

Это характерно для исторической концепции В. Н. Татищева (1686—1750), ученого, в творчестве которого документализм последнего русского летописца сочетался с аналитическим мышлением первого русского историографа и облекался в политическую форму острого публициста.

Для Татищева, одного из «птенцов гнезда Петрова», видного политического деятеля, администратора, автора многотомной «Истории Российской с самых древних времен», обращение к истории было проявлением политических убеждений, возможностью аргументации тезиса о необходимости сильной самодержавной власти в условиях обострившейся борьбы придворных группировок, приведшей к частым дворцовым переворотам и отказу от некоторых петровских преобразований, чего Татищев никак не мог принять. Отсюда вывод, который был в то же время и непосредственной политической целью исторических изысканий автора: «Всяк может видеть, сколь монархическое правление государству нашему протчих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государства умножается, а чрез протчее умаляется и гибнет».

Что касается «демократического правления» Новгорода, то Татищев осуждал его не только за то, что оно «власть великих князей уничтожило», но еще и за то, что «властители» Новгорода, «духовные угася науки и утопя народ в суеверии, великую власть получили, что их народ более великих князей почитал».

Итак, опыт истории, апеллирование к историческому наследию Новгорода, по мнению Татищева, приводят к тезису, который

долго будет потом держаться в исторической литературе: «История России есть история самодержавия». Татищев всюду подчеркивает, что господство аристократии, как, например, в Новгороде, в удельное время либо при Василии Шуйском, всегда приводило к ослаблению государства.

Иной подход к политическому наследию Новгорода продемонстрирован творчеством М. М. Щербатова (1733—1790).

Выходец из аристократической среды, энциклопедически образованный человек, представитель первой волны русских просветителей, князь Щербатов был хорошо известен не только своими обширнейшими познаниями в истории и философии, но и публицистическими выступлениями в защиту привилегий дворянства.

Рационалист Щербатов со своих позиций почувствовал перемены, которые принес XVIII век. Ему кажется, что все еще можно поправить, действуя в морально-нравственной и законодательной областях. Щербатов предлагал действовать, но в высшей степени осторожно, руками опытной аристократии, чтобы не получилось бунта, чтобы не рухнуло пораженное дурными нравами здание государственности. Политические воззрения историка, недовольного усилением абсолютизма и ограничением роли аристократии в государственном управлении начиная с преобразований Петра I, обусловили его усиленное внимание к новгородике. Центральная политическая идея Щербатова — союз верховной власти с аристократией — не смогла, по мнению историка, наглядно воплотиться в Новгороде только в силу «ограниченности» и «невежества» новгородцев. Автор считал, что более действенным и реальным этот союз был в Московской Руси. Это и обусловило, по мысли историка, окончательную победу Москвы над Новгородом.

Так постепенно история Новгорода превращалась в арену политической дискуссии.

В. Н. Татищев

ИЗ СТАТЬИ «РАЗГОВОР ДВУ ПРИЯТЕЛЕЙ О ПОЛЬЗЕ НАУКИ И УЧИЛИЩАХ»

...*Вопрос.* Вы сказали мне разные правления, но я бы желал от вас слышать, которое из сих есть лучшее?

Ответ. Неудобно сего обще заключить, ибо как вам прежде сказал, еже разныя обстоятельства, яко положение мест и состояние народов, разные причины тому подают, ис котораго по разсуждению каждого народа способнейшее правление учинено. Но сие можно за генеральное почесть, что малые и от посторонних сил безопасные могут удобно общенародно правиться, и сих хотя силы и распространение земель умножаться не могут, потому что легко все согласиться тайность скрыть и вскоре решение и выполнение произвесть не могут, но они то за пользу почитают, что живут по воле и, кроме закона, никого не боятся. Великия же хотя от нападения других и безопасныя, но для множества народа общаго со-

брания всегда, как потребно, иметь не способны. Те могут некоторым знатнейшим правление поручить, но у сих за распрями и несогласиями часто нуждное оставляется, а народ от прихотей разных правителей разоряется. Как то о Римской республике читаем, что от того в падение и разорение пришло. Некоторыя ж во оных видя, что им чести и великолепия монаршескаго не достаточествует, того ради нужно им стало иметь государей, обаче подзаконных. Но и сии токмо ту пользу и имеют, что насилия других положением мест или союзами избегают, сами же знатное никогда произвести не могут, зане согласиться нелегко удобно, а паче ревность не допущает, ибо знатные боятся, чтоб их государь ими не овладел, а государь опасается их, чтобы в чем власти и силы или чести его ущерба не нанесли. Великия же и от соседей небезопасные государства без самовластнаго государя быть и в целости сохраниться не могут, которое мы ис прикладов видим, колико Франция самовластием государей во всех пользах, яко силе, чести, богатстве, науках и пр., преуспела. Противное же тому, Германия от несогласия избранных правителей, то есть курфистров и князей, непрестанно во всем умаляется, и если б не собственная сила цесаря и помощь других государств оное защищала, то б давно или французом, или турком подданными были. Да наилучше посмотреть на бытность нашего государства. Сначала бо, когда единовластные государи до смерти Владимира Перваго были, тогда государство в славе, чести и богатстве непрестанно процветало и в силе умножалось, чрез что так многими землями, яко всею Литвою и по Днестру живущими, овладали, от греков и поляков немалые богатства получали. Но потом, как князи разделились и зделалась аристократия, или паче расчлененное тело, ибо никто никого слушать не хотел, ниже порядок советов для общей пользы учрежден был, то перво сами меж собою друг друга воевали, побивали и, государство разоряя, в такое безсилие пришли, что вскоре татары, нашед, почитай, всею Россиею овладали. Великий князь Иоанн III и Великий имянованный паки, некоторыя княжения присовокупя, монархию основал, по нем сын и внук в лучшее состояние привели. Но по пресечении того колена, от несогласия между бояры, паки новое опровержение пришло. А наипаче, что по убиении Отрепьева некоторые от властолюбия, не хотя под прежнею властию быть, выбранному Шуйскому царю Василию законы некоторые государству вредительные предписали,

чрез что, его лиша престола, зделали, почитай, общенародное правление. И хотя тогда выбраны были 7 человек бояр, но противо подлости, козаков и других, не знающих польз отечества, сила оных весьма была недействительна, ис чего крайнее разорение паче татарского нападения последовало. Которое видя, принуждены самовластнаго и наследственнаго государя избрать, через которое все безпокойство пресечено и в надлежащей прежней порядок приведено, но сколько оными земель, силы, богатств и чести государству привращено, о том, яко видимом, толковать не потребно...

1730—1736(?)

М. М. Щербатов

ИЗ «ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ»

<...> Несть ничего благопоспешнее Государям, желающим лишить вольности какой народ, как жалобы самаго того народа на злоупотребления произходящия от самыя тоя вольности; ибо тогда Государи делают вид, яко бы все токмо для блаженства того народа делали, когда покоряют его под самовластие. Великий же Князь Иоанн Васильевич и сугубыя причины к тому имел: первое, страшился, что бы сей своевольный народ и совсем не отрекся от власти Московских Государей и от общества с Россиею, и не присоединился бы к Литве и Польше, а второе, по естественному каждому человеку властолюбию. <...>

Ясно видно нам, что правление Новгородское тогда в такой безпорядок впало, что всякой, не повинуяся ни законам, ни обычаям, делал насилием все, что мог; имении и самая жизнь гражданская от наглости сильных граждан ни на час не были в безопасности, и обще бедные и слабые стенали от нападков сильных, которые не устыжалися явным образом грабить и разорять. <...>

Большая часть вольных народов, стараяся сохранить безопасность своих особ, установляли для себя в случае какого осуждения право быть взяты кем на поруки, которое является, и у Новогородцов было: и тако колико ни был разгневлен Великий Князь на сих нарушивших общественное спокойствие, однако в разсуждении вольностей сего народа повелел приставам, что естьли кто пожелает сих обвиненных на свою поруку взять, с обещанием заплатить положенный иск, тоб они тому их отдали,

и Архиепископ Новогородский их взял на поруку на таком основании.

Еще колебание верности Великому Князю и склонности к Польскому владению в сердцах некоторых сокрывалось, о чем так же на Ивана Афанасьева и сына его Алферия, именитых людей из Новогородцов, было Великому Князю донесено. Они при вышепоказанном суде были с Великим Князем; но по окончании онаго он немедленно их выслав от себя, повелел бывшим при нем верным людям Ивану Китаю и Юрью Шестаку взять их под стражу.

В третий день по взятии сих именитых Новогородцов Архиепископ сего города с посадниками пришел к Великому Князю просить его, именем всего Нова города, чтобы позволил и сих, знатно по правам их, отдать им на поруки, и в винах бы им пощаду учинил. Великий Князь видя, что те правы, к которым они толь ревнивы были, не к блаженству народа, но паче к его бедствию и к разрушению всякаго спокойствия клонились, чрез злоупотребление приключаемое знаменитейшими гражданами: то почитая святость сих прав, для собственнаго же спокойствия сего граду, не возхотел оным последовать в разсуждении обвиняемых в желании предаться Польскому Королю; и тако кротким образом, изъявляющим его желание всегда сохранить права Новогородския, ответствовал Архиепископу и посадникам: что им не безъизвестно есть, колико такия развратныя мысли уже приключили бедствий Нову Городу, да и самые те безпорядки, которые ныне его обременяют, происходят не от чего инаго, как от развратных мыслей таковых граждан; и для того, для благоденствия же самаго их града, он принужденным себя почитает не преклониться на таковую их прозьбу; и того же дни послал сих бояр окованных в Москву, для окончания изследования о их винах.<...>

Таково было пребывание Великаго Князя в Новегороде, пребывание конечно достопамятное, ради множества исправления и правосудия, которое он тут учинил, и конечно сие всегдашняго подражания достойно, чтобы Монарх, грядущий обозревать страны подвластныя ему, не тщетным раздаянием, но защищением обидимых, награждением благих, и самым исполнением правосудия оставил страны те щастливее, нежели прежде были.<...>

Возвращался ко внутренним делам России, которыя были причиною великаго учинившагося в ней пременения, не могу я воздержаться, чтобы не сказать, колико

правосудие в правлении Государственном есть основание его настоящаго и будущаго благополучия, и что, народы, уступая при начале правления часть своея вольности и выгод, единственно для исполнения сего правосудия, могущаго остатки им безбедно сохранить, такое уступление учинили: и следственно несть толь ревниваго народа к своим вольностям, который бы не возхотел пожертвовать оные, естьли предвидит, что ему во всем и всегда будет без притеснения правосудие учинено. Пример сему нам и представляют толико ревнивые к своим правам и недоверливые Новогородцы, которые в сем году в феврале месяце, не токмо находящиися по прежним своим винам за приставами Великаго Князя, яко посадник Захарий Овинов, но и множество других как именитых мужей, так и бедных и незащитных, надеяся себе найти нелицемерное правосудие, оставя привязанность к своим правам, чтобы кроме Нова города нигде не судиться, пришли в Москву жалобы свои единый на другаго приносить.

Великий Князь, видя к себе такую поверенность народа Новогородского, с прилежностию разсматривал все жалобы пришедших к нему на суд онаго граждан. Решения его были безпристрастны, вельможа и сильный не мог надеяться в несправедливости быть защищен, а бедный не страшился власти сильнаго, ниже мог надеяться, чтоб слезы и вопль его твердое правосудие могли поколебать: однако все решения Великаго Князя были наполнены кротости; но не такой кротости, которая слабостию казалась, а кротостию не противуборствующею правосудию. Плененны такими поступками, а паче что прежде наглость и насилие владычествовали в Нове городе, все сии граждане возвратясь усердно проповедовали правосудие Московскаго Государя; лишенныя защиты вдовицы и сироты, вкушая безопасности хлеб свой, щитали, что от его богатодарства и правосудия оный сохраняют; самые сильные, не могущие более обид приключать, ограничением и строгим исполнением закона, зрели себя от наглых предприятий других безопасными, и зачинали со удивлением вкушать то спокойствие, которое от добраго правления происходит, и которое им прежде не знаемо было. Восхищенные все такими мыслями благодарности вскоре они восхотели знаки оные своему благодетелю показать. Низкий народ хотя не продолжительно, но чувствительнейший по самой своей недальновидности к благодеяниям, первый предлагал, чтоб самодержавным Великого Князя признать в Нове городе. Вельможи хотя так

же благодарны были, но страшася перемены и зная, что права их суть лучшие и долговременнейшие защитники их благополучия; хотя бы сие первое стремление усердия народа конечно хотели удержать; но самое бы их сопротивление могло народ к пущему роптанию привести, яко почитающему, что лишь для исполнения прежних своих наглостей, они совершенно под власть Великаго Князя покориться не хотят: и для того, не показывая виду сопротивляться сему общему народному желанию, предложили, чтоб вместо Господина титло Господаря Великому Князю дать. Коль упорен есть народ в своем стремлении, толь вскоре он соглашается, когда что малое ему уступают. <...>

1783

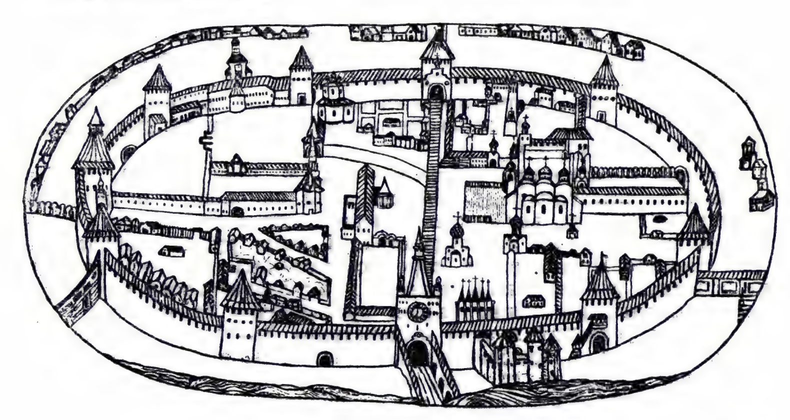
2

Если историография XVIII века привлекала новгородику для обоснования собственной политической программы, но все же была ограничена условными рамками исторического повествования, то русская литература и публицистика, используя возможность абстрагироваться от исторических реалий в литературную условность, располагая способностью синтеза материала в публицистической форме, интенсивно выходили на передовые рубежи в политической дискуссии вокруг исторического прошлого Новгорода.

В 1750 году в русской литературе появилось первое произведение, связанное с Новгородом, — трагедия известного русского драматурга А. П. Сумарокова (1717—1777) «Синав и Трувор». Автор заимствовал из русского летописания имена своих героев (Синеус и Трувор), а в основу сюжета положил вымышлен-

---

Новгородский детинец.



ную романтическую историю их соперничества в любви к дочери «знатнейшего боярина» Гостомысла Ильмене. Конфликт пьесы развивался на фоне тревожного, страдающего под игом деспота легендарного Новгорода.

Связь трагедии с исторической реальностью была условной. Она ограничивалась выбором имен и туманными намеками на особые «уставы древние» Новгорода. Тем не менее само обращение А. П. Сумарокова к русской истории, его отказ от привычного для классицизма поиска сюжета в истории Древней Греции и Рима были примечательны. Идеи гражданского мужества и государственного долга, связанные в трагедии А. П. Сумарокова с легендарными героями русской истории, увлекли многих читателей и зрителей. Примеру автора «Синава и Трувора» последовали другие литераторы (М. Чулков, В. Левшин), однако идейное убожество, даже при ставке на занимательность, не снискали внимания публики к их сочинениям.

Характерно, что обращение А. П. Сумарокова к новгородике произошло в период, когда выявился кризис классицизма с его условной, жестко регламентированной схемой человека-героя и определился переход к идеям Просвещения с его обостренным вниманием к личности. Становление русского Просвещения обусловило соприкосновение русской литературы с историческим прошлым Новгорода.

Восемнадцатый век вошел в историю человечества как эпоха величайших социальных преобразований и громадных классовых битв. Столетиями накапливавшиеся противоречия феодального строя вырвались наружу.

Антифеодальная борьба народов породила мощное идейное движение века — движение Просвещения. Оно складывалось в 40—50-е годы XVIII века и было последовательной и боевой антифеодальной идеологией. Выразители интересов народа, просветители подвергли уничтожающей критике религию и церковь, господствующие взгляды на государство, на роль и место сословий в обществе, объявив все существующие феодальные порядки неразумными, подлежащими уничтожению. Именно просветители вскрыли преступность крепостного права и объявили ему решительную войну. Не будучи революционерами, просветители отстаивали свободу народа и человека, но все надежды возлагали на мирные преобразования. Идеалисты в объяснении общественной и социальной жизни, они искренне верили, что существующий социальный строй неравенства и порабощения народа произошел от неразумности людей. Поэтому своей главной целью просветители поставили просвещение нации, просвещение богатых и бедных, ибо одни по неразумности угнетали, другие примирялись с угнетением.

Ранние русские просветители — М. М. Щербатов, А. П. Сумароков — выступили на общественном поприще в первую половину XVIII века, когда крестьянский вопрос еще не стал главным в жизни нации и государства. Поэтому русские представители раннего Просвещения, стремясь выразить интересы народа, не боролись с крепостным правом. В их деятельности на первое место выдвигались общие задачи просвещения отечества.

В этих условиях и сама императрица Екатерина II была не прочь поиграть в просвещенную властительницу. Екатерина II прекрасно понимала ту роль, которую могли сыграть исторические сочинения для решения идейно-политических задач ее прав-

ления. Ее собственные занятия русской историей были частью того демонстративного поклонения всему русскому, которое должно было убедить подданных, что дочь немецкого князька является истинной русской патриоткой.

Политические цели обращения Екатерины II к русской истории наглядно демонстрируются новгородской тематикой венценосной сочинительницы. В своем тексте к опере о Василии Буслаеве (1786) Екатерина исказила идейный смысл древних былин, превратила новгородского богатыря в комический персонаж.

В следующем, 1787 году Екатерина написала пьесу «Историческое представление из жизни Рюрика». В использованных строках летописи «уби Рурик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев» чувствуется драматический конфликт, непримиримая борьба между князем и новгородцами. Но Екатерина II, игнорируя драматизм события, вывела под именем Вадима не противника самодержавия, а низкого интригана и честолюбца, мечтающего захватить престол, а после крушения своих планов унижающегося перед «законным» монархом.

Имя сочинительницы обеспечило к ее пьесе внимание. Последовал полемический ответ: вызов коронованной писательнице осмелился бросить ее современник, русский драматург и поэт Я. Б. Княжнин (1742—1791).

Политическая трагедия Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1789) — значительное явление в русской драматургии конца XVIII и начала XIX века. К ней до сих пор обращаются современные театры. Устойчивый успех пьесы в ее идейном содержании. Княжнин превратил Вадима в «российского гражданина», убежденного и стойкого республиканца, тираноборца, защитника народоправства, обычаев и порядков древнего Новгорода. Вадим Княжнина возмущен «гнусным рабством» новгородцев, принявших власть Рюрика. Он убежден, что:

Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель...

На появление в печати в 1793 году «Вадима Новгородского» «просвещенная» императрица-сочинительница отреагировала незамедлительно: приказала собрать и уничтожить весь тираж, и только смерть уберегла Княжнина от царской расправы. Но трагедия с ее героем-республиканцем успела завоевать симпатии широких кругов прогрессивного русского общества, оказала несомненное воздействие на литературу, на публицистику, на идеологию русского Просветительства.

Во второй половине XVIII века, когда идеи Просвещения нашли свое реальное воплощение в революционной борьбе Франции, когда вооруженная борьба крепостных против помещиков потрясла государство Екатерины II, когда вопрос о крепостном праве и борьбе с ним стал центральным во всей общественной жизни России, русское Просвещение окончательно сложилось как широкое и богатое идейное движение.

Идейная направленность позднего русского Просвещения не отвечала политической доктрине императрицы. Екатерина II снимает личину просвещенной монархини.

Своеобразие социально-исторического развития России определили особенности русского освободительного движения. Первыми русскими революционерами, как известно, были в начале

XIX века дворяне, а не буржуазия, как на Западе. В дальнейшем освободительное движение шло по пути все большей демократизации. Дворянские революционеры, поднявшие в декабре 1825 года восстание, опирались на традиции русского Просвещения XVIII века, начавшего борьбу с самодержавием Екатерины II и крепостничеством. А. Н. Радищев (1749—1802), деятель огромного исторического масштаба, связал два этапа развития русской общественной мысли. Он — высшее достижение русской культуры XVIII столетия и русского Просвещения и в то же время первый революционер, идейный предтеча дворянских революционеров XIX века.

С наибольшей полнотой идеи Просветительства в сочетании с верой в революционный путь преобразования получили свое художественное воплощение в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790). Путешественник Радищева — общественный человек, живущий не сердцем, а умом. Его путь — от заблуждений к истине — прочерчен с такой же ясностью, как тракт от Петербурга до Москвы, по которому он едет. Новгород на этом пути — не просто очередная станция, а повод для соприкосновения с историческим прошлым. История Новгорода для Радищева — наглядный пример необходимости активной борьбы за восстановление «прежних вольностей».

Своим выступлением Радищев впервые в русской историографии продемонстрировал отказ от господствующего взгляда на монархический строй как на исконное для Руси явление и на включение Новгорода в состав Русского государства как на восстановление прав монарха. Радищев, а вслед за ним декабристы видели в Новгородской республике оплот народовластия.

А. Н. Радищев

ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ»

НОВГОРОД

Гордитеся, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непременным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. — А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. — Где пышная Троя, где Карфага? — Едва ли видно место, где гордо они стояли. — Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время срединенного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но

смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, колико ты ползуща!

В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг оного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключалися в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у них были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новгородская простиралася на севере даже за Волгу. Сие вольное государство состояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода, — служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.

На Мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики, гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новогородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоить Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Русии? Или что новгородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или безоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. Нужда, желание безопасно-

сти и сохранности созидают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила.

Что же есть право народное? — Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии.

Вопрос: в естественном состоянии человека суть его права?

Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое.

Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, — кто из двух большее к приобретению имеет право?

Ответ: тот, кто кусок возьмет.

Вопрос: кто же возьмет кусок?

Ответ: кто сильнее.

Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного!

Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом.

Вопрос: что есть право гражданское?

Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.

ИЗ ЛЕТОПИСИ НОВОГОРОДСКОЙ *

Новогородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение.

Новогородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмию печатями.

Новогородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение.

Новгород в 1420 году начал бить свою монету.

Новгород стоял в Ганзейском союзе.

В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных.

Царь Иван письмо и колокол у новогородцев отнял.

Потом. В 1500 году — в 1600 году — в 1700 году — Новгород стоял на прежнем месте.

Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь... — размышлял я. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу... [Далее следует рассказ Радищева о новгородском купце Карпе Дементьевиче. — *А. X.*]

1790

3

XVIII век продемонстрировал первое революционное обращение к историческому наследию Новгорода. XIX век превратил историю Новгорода в своеобразную арену борьбы политических взглядов. Дискуссия по вопросам внутреннего устройства Новгорода, взаимоотношений князя и веча, отношений между Новгородом и Москвой была обусловлена симпатией к вечевому строю и антипатией к самодержавию.

Интерес к Новгороду, превращение его истории в одну из наиболее острых политических тем было результатом осознания необходимости политических перемен в стране, осмысления подвига русского народа в 1812 году, повышенным вниманием русского общества к идеям просветителей, к событиям французской буржуазной революции 1789 года.

Начало XIX столетия характерно для новгородской тематики весьма примечательным событием: две параллельные линии в освещении Новгорода — историческая и литературно-публицистическая — соединилась в одно целое в творчестве Н. М. Карамзина (1766—1826). В личности Карамзина удачно слились крупнейший мастер художественного слова, острый публицист и талантливый историк.

Оценка творческого наследия Карамзина неоднозначна и противоречива. Такой она была у его современников, такой она остается для наших современников. Эта противоречивость — в противоречивости личности Карамзина, в исторической судьбе России на переломе XVIII и XIX веков, в русской действительности начала XIX столетия.

Философия и литература Просвещения определили эстетические убеждения Карамзина. Просветители разбудили в нем интерес к человеку как духовно богатой и неповторимой личности. Идея личности стала центральной в творчестве Карамзина-писателя и Карамзина-историка. Но как дворянский идеолог Карамзин не принял идеи социального равенства людей, чье нравственное достоинство не зависит от имущественого положения и сословной принадлежности, а эта идея была центральной в просветительской идеологии. Он оставался верен убеждению, что неравенство законно и необходимо, что в реальных условиях России того времени оно даже благодетельно.

Обращение Карамзина к истории во многом обусловлено тем, что он не видел возможностей преодоления противоречий современной жизни. Свои эстетические идеалы он пытался отстоять на материале прошлого, потому и стал изображать «героические характеры», которыми так богата история России.

Следуя этой программе, Карамзин с 1804 года целиком отдается сбору материалов для написания своего капитального тру-

да — «Истории государства Российского». «Истории» предшествовала повесть «Марфа Посадница» (1803), в которой реально отразилась противоречивость идеологической доктрины Карамзина.

В центре повести — конфликт между Новгородом, отстаивающим свою свободу, и самодержавием — противником этой свободы, конфликт, мужественно обнаженный писателем-историком.

Важное место в повести занял идейный поединок посланника Ивана III боярина Холмского и посадницы Марфы. Столкновение происходит публично, на новгородском вече. И трагизм поединка в том, что каждый оказывается у Карамзина правым, у каждого своя правда, которая подтверждается историей. Прав Холмский, требуя от новгородцев отказаться от своей независимости и подчиниться Иоанну во имя России. Права и Марфа, отстаивающая с нравственных позиций святыню Новгорода — его свободу, его республиканский строй.

На примере истории Новгорода Карамзин вновь хочет убедить читателя, что человек не властен над обстоятельствами политической жизни, не может жить по тем «древним уставам», которые якобы несут ему благо. Человек оказывается слепым орудием некой необходимости, которая повелевает одним мужественно отстаивать свою свободу и погибать в неравной борьбе с самодержавной властью, а другим — смело сокрушать свободу Новгорода и, выполняя долг, распространять рабство на жителей вольного города. Убеждая читателя в действии этого закона, Карамзин не славит грубую силу самодержавия, но скорбит о судьбе побежденных. Новгородцы правы, когда защищали свои «древние уставы», и виноваты, когда ослушались воли русского монарха.

Идея смирения и покорности не получила подтверждения на материале истории. Дух мятежности ворвался в повесть. Устами Марфы был провозглашен идеал гражданина, сознающего, что его судьба, его будущее зависят во многом и от него самого, от его поведения, его политической активности. Поэтому образ Марфы стал главной победой художника. Посадница изображена героической россиянкой, «вышедшей из домашней неизвестности на театр народной жизни» — театр ожесточенной борьбы за Новгородскую республику и свободу народа.

Здесь Карамзин-писатель оказался впереди Карамзина-историка. Республиканский Новгород у Карамзина-историка явно не вписывался в узкий сюртук российской государственности. Вечевой Новгород не соответствовал самодержавным меркам. Карамзин-писатель мог себе позволить оставить это несоответствие и даже (по А. И. Герцену) был склонен возлагать «иммортели на могилу Новгородской республики». Карамзин-историк не мог этого допустить, он должен был заставить Новгородскую республику втиснуться в российское самодержавие. Втиснуться так, чтобы не пострадали идеалы Карамзина-просветителя. И автор обвинил новгородских «правителей» в «развратности нравов», в том, что при «собственном правительстве» Новгород погряз «в суеверии», что в нем «угасли науки». Для Карамзина-просветителя подобная оценка равнозначна политическому самоубийству, поэтому «Иоанн, — заключает Карамзин-историк, — был достоин сокрушить утлую вольность Новгородскую».

Тезис «невежественности» новгородцев Карамзин-историк заимствовал у своих предшественников — В. Н. Татищева и

М. М. Щербатова, — но у Карамзина этот тезис перерос в убежденность. Из карамзинской «Истории» тезис «невежественности» новгородцев начал свой долгий путь по историческим публикациям XIX столетия, как это нередко, к сожалению, случается в историографии. Этот тезис приобрел такую популярность, что когда в конце XIX века в русском обществе проявился небывалый интерес к историко-культурному наследию прошлого, то обнаружилась громадная пропасть между гармонией новгородского культурного наследия и уверениями в «невежественности» новгородцев. Памятники новгородской культуры казались сияющими и труднодостижимыми вершинами, выступающими из тьмы новгородского «бескультурья». Потребовались колоссальные усилия искусствоведов и реставраторов, историков и археологов, чтобы доказать, что вся повседневная жизнь новгородцев была свидетельством высочайшего уровня самобытной культуры.

Н. М. Карамзин

ИЗ ПОВЕСТИ «МАРФА ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА»

Раздался звук *вечевого колокола,* и вздрогнули сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают: никто не ответствует... Там, против древнего дому Ярославова, уже собралися посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти Концов новогородских с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником — и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для своего имени, — всходит на железные ступени, открывает седую почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь московский прислал в великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования... Посадник сходит — и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте с видом гордым, перепоясанный мечом и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый — правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных — храбрый в битвах, велеречивый в совете. Все

безмолвствуют. Боярин хочет говорить... но юные надменные новгородцы восклицают: «Смирись перед великим народом!» Он медлит — тысячи голосов повторяют: «Смирись пред великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей — и шум умолкает.

«Граждане новгородские! — вещает он, — князь московский и всея России говорит с вами — внимайте!

Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок: а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину. <...>

Новгородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братий своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властию. <...>

Вольность!.. но вы тоже рабствуете. Народ! я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен — но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О стыд! потомки славян ценят златом права властителей! Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысячские, люди и житые обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли, торгуют и благом народа; кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так известны князю московскому их дружественные, тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук *вечевого колокола,* и надменный поляк скажет вам на лобном месте: «Вы рабы мои!..» Но бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новгородцы! Земля русская воскресает. Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство, и берега Камы были свидетелями побед наших.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, Великий Новгород, не возвратится под сень отечества. Вы оскорбляли его предков: он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новгородским!.. <...>

Народ и граждане! да властвует Иоанн в Новегороде, как он в Москве властвует! или — внимайте его послед-

нему слову — или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде глазам вашим да усмирит мятежников!.. <...> Мир или война! Ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: «Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени тихо и величаво, взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее... Но скоро осененный горестию взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! здесь лилась священная кровь твоя; здесь призываю небо и тебя во свидетели, что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан; что скажу истину народу новгородскому и готова запечатлеть ее моею кровию. Жена дерзает говорить на вече: но предки мои были друзья Вадимовы; я родилась в стане воинском под звуком оружия; отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольности! Оно куплено ценою моего счастия...»

«Говори, славная дочь Новаграда!» — воскликнул народ единогласно — и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание. <...>

«...когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим Храбрый звал его пред суд народа. «Меч и боги да будут нашими судьями!» — ответствовал Рюрик, — и Вадим пал от руки его, сказав: «Новгородцы! на место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие — и славить вольность, когда она с торжеством явится снова в стенах ваших...». Исполнилось желание великого мужа: народ собирается на священной могиле его свободно и независимо решить судьбу свою.

<...> Князь московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденствием — и в сей вине не можем оправдаться! Так, конечно: цветут области Новгородские, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются к нам рекою: Великая Ганза гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну свою, говорят: «Мы видели Новгород и ничего подобного ему не видали!» Так,

конечно: Россия бедствует — ее земля обагряется кровию, веси и грады опустели, люди, как звери, в лесах укрываются; отец ищет детей и не находит; вдовы и сироты просят милостыни на распутьях. Так, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага, дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство народное!

Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья! не мы, но вы нас оставили, когда пали на колени пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни. <...>

Иоанн желает повелевать великим градом: не удивительно! Он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не перестали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны; одни несчастные желают перемен — но мы благоденствуем и свободны! благоденствуем оттого, что свободны! Да молит Иоанн небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас: тогда Новгород может возненавидеть счастье и пожелать гибели; но доколе видим славу свою и бедствия княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права новгородские всего святее нам по боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею доверенностью для правления! Клевета в устах властолюбия и зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! Вы торгуете благом народным? но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость, тому чего желать в мире? разве последнего счастья умереть за отечество! <...> Но если Иоанн говорит истину; если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новгородцев; если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы: то скоро ударит последний час нашей вольности, и *вечевый колокол* — древний глас ее — падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастью народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам подобно мертвецу бледному и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород, что с утратою вольности иссох-

нет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли; она же окрыляет суда новгородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся... Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные *Концы* твои; широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди развалин печальных захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь *был* Новгород!..»

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса: — Новгород — государь наш! да явится Иоанн с воинством!»...

1803

Н. М. Карамзин

ИЗ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

...Новгород покорился Иоанну, более шести веков слыв в России и в Европе Державою народною или Республикою и действительно имев образ Демократии: ибо вече гражданское присвоивало себе не только законодательную, но и вышнюю исполнительную власть; избирало, сменяло не только посадников, тысячских, но и князей, ссылаясь на жалованную грамоту Ярослава Великаго; давало им власть, но подчиняло ее своей верховной; принимало жалобы, судило и наказывало в случаях важных; даже с московскими государями, даже и с Иоанном заключало условия, *взаимною* клятвою утверждаемыя, и в нарушении оных имея право мести или войны; одним словом, владычествовало как собрание народа Афинского или Франков на поле Марсовом, представляя лицо Новагорода, который именовался *Государем.* Не в правлении вольных городов немецких — как думали некоторые писатели — но в первобытном составе всех держав народных <...> надлежит искать образцов новгородской политической системы, напоминающей ту глубокую древность

народов, когда они, избирая сановников вместе для войны и суда, оставляли себе право наблюдать за ними, свергать в случае неспособности, казнить в случае измены или несправедливости и решить все важное или чрезвычайное в общих советах. <...>. Князья, посадники, тысячские в Новгороде судили тяжбы и предводительствовали войском: так древние славяне, так некогда и все иные народы не знали различия между воинскою и судебною властию. Сердцем или главным составом сей державы были огнищане или житые люди, то есть домовитые или владельцы: они же и первые воины, как естественные защитники отечества; из них выходили *бояре* или граждане знаменитые заслугами. Торговля произвела купцов: они, как менее способные к ратному делу, занимали вторую степень; а третью свободные, но беднейшие люди, названные черными. Граждане *младшие* явились в новейшия времена и стали между купцами и черными людьми. Каждая степень без сомнения имела свои права: вероятно, что посадники и тысячские избирались только из бояр; а другие сановники из житых, купцов и младших граждан, но не из черных людей, хотя и последние участвовали в приговорах веча. Бывшие посадники, в отличие от степенных или настоящих именуясь *старыми,* преимущественно уважались до конца жизни. — Ум, сила и властолюбие некоторых князей — Мономаха, Всеволода III, Александра Невскаго, Калиты, Донского, сына и внука его — обуздывали свободу новгородскую, однако ж не переменили ея главных уставов, коими она столько веков держалась, стесняемая временно, но никогда не отказываясь от своих прав.

История Новагорода составляет любопытнейшую часть древней Российской. В самых диких местах, в климате суровом основанный, может быть, толпою славянских рыбарей, которые в водах Ильменя наполняли свои мрежи изобильным ловом, он умел возвыситься до степени державы знаменитой. Окруженный слабыми, мирными племенами финскими, рано научился господствовать в соседстве; покоренный смелыми варягами, заимствовал от них дух купечества, предприимчивость и мореплавание; изгнал сих завоевателей и, будучи жертвою внутренняго безпорядка, замыслил монархию, в надежде доставить себе тишину для успехов гражданскаго общежития и силу для отражения внешних неприятелей; решил тем судьбу целой Европы северной, и дав бытие, дав государей нашему отечеству, успокоенный их вла-

стию, усиленный толпами мужественных пришельцев варяжских, захотел опять древней вольности: сделался собственным законодателем и судиею, ограничив власть княжескую; воевал и купечествовал; еще в X веке торговал с Царемградом, еще во XII посылал корабли в Любек; сквозь дремучие леса открыл себе путь до Сибири, и горстию людей покорив обширныя земли между Ладогою, морями Белым и Карским, рекою Обию и нынешнею Уфою, насадил там первыя семена гражданственности и веры христианской; передавал Европе товары Азиатские и Византийские, сверх драгоценных произведений дикой натуры; сообщал России первые плоды ремесла Европейскаго, первыя открытия искусств благодетельных; славясь хитростию в торговле, славился и мужеством в битвах, с гордостию указывая на свои стены, под коими легло многочисленное войско Андрея Боголюбскаго; на Альту, где Ярослав Великий с верными новгородцами победил злочестиваго Святополка; на Липицу, где Мстислав Храбрый с их дружиною сокрушил ополчение князей суздальских; на берега Невы, где Александр смирил надменность Биргера, и на поля Ливонския, где орден Меченосцев столь часто уклонял знамена пред святою Софиею, обращаясь в бегство. Такия воспоминания, питая народное честолюбие, произвели известную пословицу: *кто против бога и великаго Новагорода!* Жители его хвалились и тем, что они не были рабами моголов, как иные россияне: хотя и платили дань ордынскую, но великим князьям, не зная баскаков и не быв никогда подвержены их тиранству.

Летописи республик обыкновенно представляют нам сильное действие страстей человеческих, порывы великодушия и не редко умилительное торжество добродетели, среди мятежей и безпорядка, свойственных народному правлению: так и летописи Новагорода в неискусственной простоте своей являют черты пленительныя для воображения. Здесь <...> видим также некоторыя постоянныя правила великодушия в действиях сего, часто легкомысленнаго народа: таковым было не превозноситься в успехах, изъявлять умеренность в счастии, твердость в бедствиях, давать пристанище изгнанникам, верно исполнять договоры, и слово: *новогородская честь, новогородская душа,* служило иногда вместо клятвы. Республика держится добродетелию и без нее упадет.

Падение Новагорода ознаменовалось утратою воинскаго мужества, которое уменьшается в державах торго-

вых с умножением богатства, располагающего людей к наслаждениям мирным. Сей народ считался некогда самым воинственным в России и где сражался, там побеждал, в войнах междоусобных и внешних: так было до XIV столетия. Счастием спасенный от Батыя и почти свободный от ига моголов, он более и более успевал в купечестве, но слабел доблестию: сия вторая эпоха, цветущая для торговли, бедственная для гражданской свободы, начинается со времен Иоанна Калиты. Богатые новогородцы стали откупаться серебром от князей московских и Литвы; но вольность спасается не серебром, а готовностию умереть за нее: кто откупается, тот признает свое безсилие и манит к себе властелина. Ополчения новгородския в XV веке уже не представляют нам ни пылкого духа, ни искусства, ни успехов блестящих. Что кроме неустройства и малодушнаго бегства видим в последних решительных битвах за свободу? Она принадлежит льву, не агнцу, и Новгород мог только избирать одного из двух государей, литовского или московского: к счастию бог даровал России Иоанна.

Хотя сердцу человеческому свойственно доброжелательствовать республикам, основанным на коренных правах вольности, ему любезной; хотя самыя опасности и безпокойства ея, питая великодушие, пленяют ум, в особенности юный, малоопытный; хотя новогородцы, имея правление народное, общий дух торговли и связь с образованнейшими немцами, без сомнения, отличались благородными качествами от других россиян, униженных тиранством моголов: однако ж история должна прославить в сем случае ум Иоанна, ибо государственная мудрость

Сцена на Волховском мосту.
Рисунок с новгородской иконы XVI века.

предписывала ему усилить Россию твердым соединением частей в целое, чтобы она достигла независимости и величия, то есть, чтобы не погибла от ударов новаго Батыя или Витовта; тогда не уцелел бы и Новгород: взяв его владения, государь московский поставил одну грань своего царства на берегу Наровы, в угрозу немцам и шведам, а другую за Каменным Поясом, или хребтом Уральским, где баснословная древность воображала источники богатства и где они действительно находились во глубине земли, обильной металлами, и во тьме лесов, наполненных соболями. <...>. Историк русский, любя и человеческия и государственныя добродетели, может сказать: «Иоанн был достоин сокрушить утлую вольность новогородскую, ибо хотел твердаго блага всей России». <...>

Здесь умолкает *особенная* история Новагорода. <...>

Покорение Новагорода есть важная эпоха сего славнаго княжения. <...>

1818

4

Революционная возможность реализации идей Просвещения заложена в идеологии декабризма. Декабризм неразрывно связан с Просвещением. Будучи горячими патриотами и свободолюбцами, декабристы размышляли о судьбе народа, глубоко сочувствовали ему, увлеченно мечтали о его освобождении и ради этого пошли на гражданский подвиг.

Но искреннее стремление освободить народ, коснеющий в рабстве, вступало в непримиримое противоречие с их боязнью самостоятельного народного движения. Такое движение представлялось им слепой силой, неорганизованной стихией, «бурным мятежом», угрожающим существованию всего дворянского класса, не исключая самих дворянских революционеров. В этой боязни народного «бунта» сказалась инерция дворянско-просветительских представлений о необходимости сначала просветить народ, а потом уже предоставить ему свободу (ибо иначе он-де не сумеет разумно воспользоваться ею). Просветительские представления о народе, якобы еще не способном вести сознательную борьбу за свое освобождение, обусловили характер постановки и решения проблемы народов в идеологии декабристов, в политических концепциях декабризма, в художественной форме выражавших идеи движения. В представлении декабристов роль борца за дело свободы целиком и полностью принадлежала герою-одиночке, вождю, смело восстающему за правду и за «угнетенную свободу человека» и самоотверженно погибающему в неравной борьбе. На этой почве сложилась декабристская поэзия подвига и гибели — как личного подвига и личной гибели гражданского героя.

Рассматривая литературу как средство гражданского и морального воспитания соотечественников в духе освободительных идей, декабристы соответственным образом истолковывали любую тему,

любой сюжет. И прежде всего подобное революционное осмысление декабристы продемонстрировали в подходе к историческим темам и образам.

Вопросы истории постоянно интересовали декабристов. Их исторические взгляды для своего времени были безусловно прогрессивными. Декабристы резко протестовали против реакционных идей дворянской историографии, в первую очередь — против карамзинской концепции русского исторического процесса. Они проявляли интерес к республиканским учреждениям греко-римского мира, к древним русским «народоправствам» — к вечевому строю Новгорода и Пскова.

Для декабристов вечевой Новгород — идеальная форма правления, символ собственной политической борьбы, стержень их агитационной работы. Прославляя древнерусские республики, новгородскую вольность в частности, писатели-декабристы хотели воспламенить сердца читателей и слушателей патриотическими и гражданскими чувствами. В историческом прошлом декабристы искали впечатляющие примеры самодеятельной силы, примеры борьбы за свободу. Внимание их привлекали образы героев-республиканцев и народных вождей, мятежи и восстания в «века минувшей славы»,

Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена...

(В. Ф. Раевский)

С точки зрения соответствия либо несоответствия программе практической революционной работы декабристы подходили и к оценке современной им художественной литературы, публицистики.

Мысль декабристов, вращаясь по преимуществу в кругу просветительских идей, оставалась, по существу, антиисторической. Декабристам было еще недоступно реалистическое, конкретное, дифференцированное представление об исторических эпохах. Отсюда — свойственная декабризму тенденция к модернизации прошлого в интересах настоящего, в интересах пропаганды собственных политических идей. Поэтому история Новгорода, его вождей (Вадима, Марфы) служит рупорами этих идей, высказывает мысли и обнаруживает чувства, объективно, исторически вовсе им не свойственные.

Это было не случайным и не вольным отступлением от строгой исторической правды, но принципиальной установкой, обдуманным приемом, рассчитанным на то, чтобы возбудить гражданские чувства.

При этом декабристы впадали не только в модернизацию, но зачастую и в идеализацию исторических событий, исторических деятелей, исторических явлений. Отсюда всеобщей и характерной для всех декабристов была идеализация «республиканского» строя древнего Новгорода и его борьбы с московским самодержавием. Всячески восхваляя и превознося новгородскую «вольность», декабристы не учитывали влияния реакционных общественных сил на политику Новгорода; это сказалось в прозе А. Бестужева, в поэзии К. Рылеева, В. Раевского, А. Одоевского, в публицистике П. И. Пестеля, М. С. Лунина.

Разгром декабристов не заглушил гражданских мотивов в их творчестве, не ослабил их внимания к «новгородской вольности». В годы реакции поэт-декабрист А. Одоевский сохраняет верность традиционной теме декабристской лирики — теме борьбы Новгорода за свою свободу. Однако изменившиеся условия требовали нового подхода к проблематике. И Одоевский обращается к теме драматического конца Новгородской республики. Выбор темы — это не столько напоминание о неудаче 14 декабря, сколько стремление разбудить в читателе гнев к тирану. Используя новгородские легенды и предания, исторические имена и названия как камуфляж, поэт-декабрист говорил суровую правду о современности, об эпохе жесточайшей николаевской реакции, творил суд над беззаконием царя.

Печаль Одоевского оптимистична. Поэт уверен:

В потомках... племя оживет,
И чад моих святое поколение
Покроет Русь и процветет.

Писатели-декабристы оказали глубокое и плодотворное влияние на всю передовую русскую литературу XIX века. Патриотические и революционные устремления декабристов, прогрессивное понимание самой литературы и связи с идейно-политической борьбой — все это открывало перед русской литературой пути дальнейшего ее развития — к народности. Поэтому обращение к теме Новгорода в творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова представляется логичным и закономерным.

А. С. Пушкин дважды обращался к новгородской истории. Поэта привлекал образ Вадима — верного защитника «славянской свободы», стойкого в гонениях и скитаниях, непримиримого противника княжеской власти, готового поднять на восстание народ, который, «досадуя, влачит позорный свой ярем», и не скрывает «вражду к правительству». В замысел Пушкина входила не только политическая задача создать образы «борцов за свободу Новгорода», поэт в событиях «минувших дней» ощущал определенную ассоциацию с современностью, когда

...Встревожены умы, таится пламя в них.
Младые граждане кипят и негодуют...

И все же Пушкин не завершил задуманного, отказался от работы над трагедией и лирико-романтической повестью в стихах. Остались лишь планы и наброски. Немаловажную роль в этом сыграли цензурно-политические соображения, а также характерный для поэта реалистический подход к историческому материалу.

Реализм Пушкина требовал обращения к реальным символам, ему была чужда декабристская восторженная идеализация «вечевого» Новгорода; он сознавал, что «покорение» Новгорода отвечало «мощному государственному смыслу». Поэтому, отправленный автором в странствие герой его романа в стихах Евгений Онегин, подобно радищевскому путешественнику, прибывает в Новгород, но в отличие от последнего не задерживается там, где «бродят» только «тени великанов»:

Среди равнины полудикой
Он видит Новгород-великой.
Смирились площади — средь них
Мятежный колокол утих.
Но бродят тени великанов:
Завоеватель Скандинав,
Законодатель Ярослав
С четою грозных Иоаннов,
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.

Наследником декабристских традиций в поэзии 30-х годов выступил М. Ю. Лермонтов. Он углубил декабристские мотивы вольнолюбия, подкрепленные примерами республиканских доблестей новгородцев.

Результат обращения поэта к новгородской тематике — поэма «Последний сын вольности» (1830—1831), стихи «Новгород» (1830), «Приветствую тебя, воинственных славян...» (1832).

Для Лермонтова, как и для декабристов, обращение к Новгороду проникнуто глубинным идейно-политическим смыслом. Новгород Лермонтова — это «святая колыбель», где «видели народы все то, к чему теперь ваш дух летит». В стихах шестнадцатилетнего поэта ненависть к тирании, протест против рабства, призыв к борьбе, беззаветная убежденность в том, что

Отчизны верные сыны
Еще надеждою полны.

Поэт верит в окончательное торжество:

...Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!..

Стремясь усилить, подчеркнуть злободневный политический смысл стихов новгородского цикла, отождествить деспотизм Рюрика с тиранией Николая I, Лермонтов вводит мотив подвига декабристов, объединяет восстание 1825 года и выступление Вадима — «последнего вольного гражданина», связывает современность и «сказание седых времен».

Лермонтовский Вадим, подобно декабристам, вступает в единоборство с Рюриком единственно для того, чтобы пожертвовать собою во имя свободы Родины:

Новгородцы! обо мне
Не плачьте... я родной стране
И жизнь и счастие принес...
Не требует свобода слез!

Для Лермонтова, как и для декабристов, Новгород — символ свободы, а вечевой колокол символизировал предназначение поэта-гражданина, чей стих

...носился над толпой,
И отзвук мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

П. И. Пестель

ИЗ ПОКАЗАНИЙ В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Я вспоминал блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное положение ее потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни Республики с плачевным ее уделом под правлением императоров. История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей.

1826

М. С. Лунин

ИЗ «РОЗЫСКА ИСТОРИЧЕСКОГО»

Русские историки усваивают народу чувственную любовь государям, которые от начала и до наших дней, то по одиночке, то толпою, являются на своем поприще. Разберем свидетельства исторические. Поколение Рурика, утвердившееся коварством или насилием, сперва показало услуги нордманам духом завоеваний и водворениями, распространившими пределы страны. События этого времени ознаменованы бунтом древлян, полочан, радимичей и других племен и мщением, которое правительство излило на них. Уделы, заведенные нордманами, укоренились по смерти Владимира. Край раздробили; народ разделили на участки. Это устройство по своим последствиям было пагубнее ига монгольского. Силы края истощились в междуусобиях. Ум юного народа затих от постоянного действия раздробленного самодержавия. Народный дух, постепенно угасая, заменился равнодушием. Следы такой же гражданской жизни заметны у нас даже теперь. Ни холоден, ни горяч — хуже всего в политике. Только Новгород и Псков устояли против общей заразы. Несмотря на все усилия властителей, они сохранили право избирать и судить князей. 30 из числа избранных были отрешены и изгнаны.

1820

5

Вторая четверть XIX столетия в развитии русской общественной мысли занимает особое место.

Начиная с 20-х годов журналы стали уделять большое внимание историческим вопросам, которыми интересовались не толь-

ко дворяне, но также разночинцы и купечество. История приобретала большое общественно-политическое значение.

Два фактора определяли состояние русской публицистики, историографии, литературы: жестокий реакционный режим, установленный в стране после восстания декабристов; и особое место, отводимое истории в острой идеологической борьбе этой эпохи. С 1825 года журналам было запрещено обсуждать текущие политические темы.

В. Г. Белинский проницательно заметил о своем времени: «наш век — век по преимуществу исторический», «мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем».

Пристальное внимание к национальному прошлому должно было способствовать изучению новгородского населения. Однако этому препятствовал барьер правительственного циркуляра: «Никоим образом не может быть допускаемо порицание нашего образа правления, но даже изъявление сомнения в пользе и необходимости самодержавия в России».

История Новгорода Великого с его республиканскими учреждениями допускала и «порицание», и «даже изъявление сомнения».

История, втиснутая в тесный мундир николаевского чиновника, не могла пойти дальше тех задач, которые определены ей были в одном из писем шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот... точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана».

Российскую историю делали охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия. Даже Карамзин в этих условиях был слишком радикален. Игра в просвещенную монархию была вычеркнута из правительственной программы российского самодержавия. Ее нынешнее состояние определялось четкими рамками «теории» единства «православия, самодержавия и народности», столь же прямолинейными, как и шеренги вымуштрованных николаевских полков.

Так, первый профессор на кафедре русской истории Московского университета М. П. Погодин (1800—1875), в молодости критиковавший позиции Карамзина, в середине 30-х годов стал ближайшим помощником министра просвещения графа С. С. Уварова, одним из воспитателей императора Александра II, ревностным сторонником «теории» единства «православия, самодержавия и народности». Историк был уверен, что «российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия». Парадоксально, что такой консерватизм демонстрирует выходец из семьи крепостных крестьян, выкупившийся на свободу. Но Погодин действительно всю жизнь сохранял холопье преклонение перед самодержавием. История России у Погодина практически сводилась к истории самодержавия, а существование республиканского Новгорода для него было «досадной игрой истории». Именно с позиций этой программы М. П. Погодин пересматривает карамзинское прочтение истории Новгорода, пытаясь последовательно провести свою концепцию не только в исторических сочинениях, но в исторической прозе. Карамзинской «Марфе Посаднице» противопоставляется погодинская «Марфа», в ко-

торой образ посадницы бледнеет перед суровой решительностью Ивана III. Карамзин допускал сосуществование особой правды самодержавия и особой правды Новгорода. У Погодина правда одна — монаршья. Другой быть не может. Сопротивление ей есть бунт.

Примечательно, что именно на вторую четверть XIX века падает переломный момент в историографии Новгорода. Неудовлетворенность старым, чисто описательным подходом к новгородской истории для решения общественно-политических задач современности остро ощущалась представителями различных политических течений. Все настоятельнее выдвигалась задача проникновения во внутренний механизм исторического развития. Требовалась не констатация сложившегося порядка, а осмысление логики и синтез факторов, способствовавших возникновению такого явления, как Новгородская республика.

Новый подход к истории как всемирному процессу продемонстрировал Н. А. Полевой (1796—1846), который понимал историю как науку, как систему знаний.

Выходец из купеческого сословия, основатель первого буржуазного по своему направлению журнала «Московский телеграф», Полевой задумал противопоставить Карамзину свой труд, подчеркнуто назвав его «Историей русского народа».

История Новгорода в планах Полевого занимала немаловажное место не только потому, что новгородика — часть общерусской истории, но, главным образом, потому, что, по мысли автора, история Новгорода была «живительным началом» в истории России, что здесь были сосредоточены «жизненные силы», определявшие развитие всех земель русских. «Жизненные силы» Новгорода Полевой обнаруживал не только в политических формах Новгородской республики, но и в географическом положении Новгорода, в его постоянном экономическом и культурном общении с Западом, что определяло, по убеждению Полевого, участие русского народа во всемирном историческом процессе.

В тезисе Полевого о признании Новгорода «созданием своего времени», «неуместным в системе самодержавия» и потому «павшим» в борьбе с «новой системой», значительно больше исторической правды и понимания истории Новгорода, чем в погодинской проповеди новгородики как «досадной игры истории».

М. П. Погодин

ИЗ КНИГИ «НАЧЕРТАНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Новгород... управлялся сам собою, выбирал себе Посадников, призывал и изгонял Князей по своему желанию, ссылаясь на льготные грамоты Ярослава (городовое управление и городовые вольности), богател, торгуя с жителями берегов Балтийского и Немецкого морей... и распространял свои владения к северу и северо-востоку (в нынешней губернии Архангельской и Пермской). <...>

Новгородцы воевали в Ливонии и Финляндии, и даже

на берегах Швеции (взятие Сигтуны в 1193 году), собирали дань со стороны Печерской и Югороской, торговали, ссорились между собою и беспрестанно меняли своих Князей, получая их по большей части от Владимирских. <...>

Впрочем, часто они (новгородцы) ослуша́лись князей по прежнему, и отрекались в обстоятельствах самых важных, когда те замышляли нарушать их права. <...>

В Новегороде Вече имело законодательную и верховную судебную власть. Верховная исполнительная власть поручалась избирательному князю с правом определять чиновников, которые однакож долженствовали быть из Новгородцев. Сверх сего Вече избирало Посадников, кои вместе с Князем или его Наместником составляли государственный совет и высшую судебную инстанцию Новагорода. <...>

Княжение Иоанна Васильевича — отселе История наша... приемлет достоинство истинно Государственной: разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную, с удивлением предлагают ей знаменитое место в их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости; но Правительство уже действует по законам ума просвещеннаго. Устрояются лучшие воинства, призываются искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских; посольства Великокняжеские спешат ко всем Дворам знаменитым; посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице. Император, Папа, Короли, Республики, Цари Азиатские приветствуют Монарха Российского, славного победами и завоеваниями от пределов Литвы и Новагорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древняго величия; Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание блестящей истории Иоанна III, который имел редкое счастие властвовать сорок три года, и был достоин онаго, властвуя для величия и славы Россиян.

Первым из внутренних важных действий Иоанна было покорение Новагорода.

Новогородцы, сильно притесненные Темным, хотели

было воспользоваться молодостью сына его и возвратить себе некоторые потерянные права и области, за что Иоанн грозил наказать их войною. Марфа Борецкая, вдова Посадничья, приобретшая значительность в городе, убеждала новогородцев в такой опасности отдаться под покровительство Казимира, Короля Польского, с которым и был заключен договор. Но войско, собранное ими против Московского Князя, было разбито, и они принуждены были просить прощения. <...>

Это было в 1471 году. После мало по малу Иоанн стеснял их более и более, к чему они сами подавали повод своими раздорами, изменами, происками; наконец в 1477 году, воспользовавшись благовидным предлогом, он покорил себе Новгород совершенно, и вечевой колокол Новогородский повелел отвезти в Москву, а чрез несколько времени разселил знатнейших Новогородцев по другим городам, Москве принадлежащим... Пскову, смиренному и покорному во время Новогородского похода, оставлена была тень его вольности. <...>

1837

Н. А. Полевой

ИЗ СТАТЬИ «ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»

Одинакие причины производили одинакие следствия в Европе, и у нас, на западе и на севере. Там с завоеваниями Германцев и Нордманнов является у покорителей феодальная система, и между покоренными образуются городския общины. У нас от местных подробностей феодализм заменился *удельною системою*, и покоренные образовали свои общины, которых не должно сравнивать с республиками древних, а тем менее можно относить к ним мечтательные понятия о гражданском равенстве и мнимой свободе новейших времен.

Новгородцы не означали своего государства ни каким политическим названием. Под собирательным именем: *«Новгород, господин Великий Новгород»*, разумели главный город государства; под словами: *земли Новгородския, области Новгородския*, страны ему подвластныя; под названиями: *Новгородец, люди Новгородские*, жителей Новгорода и его областей.

Основание власти и силы составлял *город* Новгород, коему подчинялись все другие города, управляемые наместниками, определяемыми Новгородом.

Все жители Новгорода, хотя и переселившиеся в другой город или область, считались вольными людьми Новгорода, равными друг другу, с одинаковыми правами на участие в делах государственных, владение именем и господство над землями и народами, покоренными Новгородом.

Все жители Новгорода составляли *вече,* или общественное собрание, где избирались правители государства, государственные чиновники, духовные сановники и князья, предводившие войсками, определялись мир и война, облагались налоги и сборы, решались споры большинством голосов. Ежегодно вече избирало *Посадника,* или правителя Новгорода. Ему вручали *печать* и власть. Он управлял всеми внутренними и внешними делами, распоряжал жизнью и смертью граждан, с ответственностью за злоупотребление власти перед вечем, и заключал договоры от имени Новгорода.

Помощниками ему были младшие посадники, тысяцкие, сотские, старосты, тиуны и совет людей степенных, или отличенных богатством и заслугою.

Духовное управление вверялось владыке, избираемому вечем и независимо правившему Церковью, кроме того, что он был главным советником Посадника и заседал на вече, как верховный пастырь. Он поставлял и сменял епископов и всех других духовных особ.

Новгород имел постоянные воинския дружины, отчасти из Новгородцев, отчасти наемныя. По определению веча, все Новгородцы, кто был в силах, принимались за оружие. Предводителями войска в походе были посадники, и *Князь Новгородский,* избираемый вечем не из Новгородцев, но из знаменитых Русских княжеских родов. Он занимал первое место на вече, жил в особенном дворце, имел почетную стражу, особенные доходы, но общественная власть его была весьма ограничена, и вече могло сменить его, и даже удалить из Новгорода.

В древнейшия времена Новгород, или *посад Новгородский,* делился на пять частей, называемых *концами,* и все области Новгородския также на пять частей, или *пятин.* Имена концов были: *Славянский, Неровский, Горничский, Людин, Плотинский.* С увеличением числа жителей прибавились еще три конца: *Неровский загородный, Петровский, Загородский,* и не вошедшия в разряд концов слободы, или *заполья.* Каждый конец имел своего особого посадника, подчиненного главному правителю Новгорода, или посаднику *степенному.* Деление на пяти-

ны оставалось неизменно, хотя пространство их увеличивалось и уменьшалось, так, что трудно даже определить пределы их, изменявшиеся в разные времена. <...>

Правимые своим *самосудом,* своевластно избирая правителей, имея свои законы (память коих осталась нам в так называемой, *Русской правде),* огражденные сильною дружиною, заключая от себя договоры с иноземцами, Новгородцы били монету, изображая на ней Новгород в виде воина, или князя, и гордо надписывая: *Великаго Новгорода.*

Таково было общественное образование, источник благосостояния и бедствия Новгородцев.

Управляемые общим народным советом, не стесняемые в правах и занятиях, приученные к отваге своими путешествиями, легко подчиняя дикарей, хитростью, деньгами и силою противясь Русским князьям, Новгородцы являлись сильными властителями севера, посредниками князей, и отдаленностью и местностью спаслись от гибели под игом Монгольским. Но обстоятельства изменялись, и что возвело Новгород к величию, сделалось также причиною гибели его.

Причины были внешния и внутренния: *внешними* были те самые, от которых гибли все торговые государства, слабые естественными, самобытными, сильныя искусственными, условными силами. *Внутренния* причины были неизбежныя следствия демократического правления.

Новгородцы могли успевать и возвышаться, пока потомки Рурика и Владимира Мономаха, удаленные на юг,

---

Печать Неревского конца Новгорода Великого.

гибли в междоусобиях, разделявших Олеговичей и Мономаховичей. Первым ударом усилению Новгорода было утверждение власти самодержавия и в северо-восточной России, сперва во Владимире, потом в Москве. Как море, все затопляющее, разливалась после сего Москва, отнимая права и занимая области Новгородцев. Тщетно хотели они воспользоваться междоусобиями между Суздалем, Тверью и Москвою. Тщетно старались употребить в свою пользу борьбу Москвы с возникшим на западе Литовским княжеством Гедымина, Олгерда и Витовта. Спасая Новгород от Москвы, Литва в свою очередь губила Новгородскую самобытность. Думая откупаться деньгами, Новгородцы возбуждали только жадность завоевателей. Еще Андрей Боголюбский начал с Новгородом борьбу решительную, остановленную Монголами. Димитрий Донской уже самовластвовал в Новгороде. Мудрый Иоанн III кончил спор.

Внутренния причины гибели Новгорода состояли в том, что, отстаивая свои вольности и мнимое равенство, Новгородцы подвергались безчинию и безвластию и невольно допускали усиление аристократии, сами того не замечая. Как везде, страсти, хитрость, подкупы управляли буйным вечем. Кроткая мудрость уступала дикой силе или хитрому обману. Дело начиналось спором, оканчивалось бунтом — выигрывали не правота и польза общественная, но насилие и своекорыстие. <...>

В борьбе за независимость, битвах с соседями, набегах и отражении их, волнениях веча, спорах Князей с Новгородом, междоусобиях аристократов и демократов,

---

Печать Плотницкого конца Новгорода Великого.

торговых и промышленных предприятиях и подвигах удали Новгородской состояла вся *история Новгорода.*

Безполезно было бы исчислять здесь подробно и *хронологически* все события истории Новгородской. Представленныя без необходимых подробностей и без характеристики лиц и мест, они только увеличили бы наше описание, не поясняя сущности предмета.

Общая ненависть, следствие удельных междоусобий, разделяла жителей каждой Русской области от жителей других, но почти всегда общая нелюбовь одушевляли всех других Русских против Новгородцев, гордых, богатых, своевольных, и летописи исполнены порицаний за их вероломство, измену, междоусобия и позор Князей. Обвинения явно преувеличены. Правда, что в Новгородцах отзывался характер народа своевольного и торгового, но много примеров безкорыстного великодушия, доблестнаго мужества, неподкупной правоты являет история Новгородская, более нежели истории всех других областей Русских. <...> Когда Москва была еще бедным городом, Новгород славился своими каменными церквами, числом и богатством их и каменными стенами своего Кремля (с 1302 года, но Ладога обнесена была каменными стенами в 1116-м году). Новгородцы любили грамоту, собирали книги, вели летописи, сохранили нам древнейшую грамату * княжескую (данную Юрьевскому монастырю князем Мстиславом Владимировичем в 1128 году), древнейший список евангелия (Остромиров) *, древнейшую церковь (Георгиевскую в Ладоге), список древнейших законов (Русскую правду), и загадку для архео-

---

Печать Словенского конца Новгорода Великого.

логов, Корсунские врата *. Создание своего времени, Новгород пал потому, что уже был неуместен в системе самодержавия, начавшего новую жизнь Российского государства. <...>

1844

6

Формирование новой научной концепции знаменовало собой становление буржуазной историографии России. Оно произошло в 40—60-х годах XIX века, когда «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками» (В. И. Ленин). Буржуазная историография представлена разными направлениями, порой весьма различными по своим принципам осмысления исторического прошлого, но объединенными общим для всех отрицательным отношением и к крепостному праву, и к народной революции как средству ликвидации крепостного права.

Характерным для исторической науки названных десятилетий было усиление внимания к истории средневековой Руси, интерес к истории отдельных районов страны. На волне этого интереса появились монографические исследования истории Новгорода В. В. Пассека (1808—1842), И. Д. Беляева (1810—1873), Н. И. Костомарова (1817—1885).

Особо следует сказать о работе В. В. Пассека «Новгород сам в себе», незаслуженно забытой в историографии, чему в немалой степени способствовала судьба книги. Лаконичное, построенное в строгом академическом стиле, исследование было завершено за год до смерти историка, в 1841 году, а впервые опубликовано только в 1869 году. Обращение В. В. Пассека, друга А. И. Герцена и Н. П. Огарева, к истории Новгорода было символично. В кружке Герцена и Огарева история Новгородской республики

Печать архиепископа новгородского Ионы.

вызывала интерес. В исследовании В. В. Пассека не отражены, к сожалению, его революционные убеждения. Впрочем, не следует забывать, когда был написан очерк, и учитывать то, что сам историк рассматривал свое обращение к истории Новгорода как предварительное. К моменту посмертного издания новгородская историография уже пополнилась книгами И. Д. Беляева и Н. И. Костомарова, а Россия перешагнула через реформу 1861 года, вступив в новую, капиталистическую фазу своего развития.

Кроме монографических исследований, для 40 — 60-х годов характерно неоднократное обращение к конкретным эпизодам истории Новгорода. И это естественно, поскольку речь шла о перспективе отмены крепостного права, постольку история его возникновения, а следовательно, и того общественного и государственного строя, при котором оно возникло, равно и период, лишенный крепостного состояния (Новгород представлялся именно таким), привлекала особенное внимание.

Осмысление исторического наследия средневековой Руси приводило русскую общественную мысль на данном этапе к двум взаимоисключающим выводам. Одно направление шло по пути осознания значения французской революции конца XVIII века и декларировало вывод об общности путей развития России и Европы («западники»). Второе направление, напротив, способствовало поискам и обоснованию особенностей исторического развития и возможностей России. Идея самобытности была характерной для российского либерализма и поддерживалась дворянской по своему происхождению частью русской интеллигенции.

Наиболее ярко эта идея развивалась публицистами и историками, принадлежавшими к так называемым славянофилам.

Западники выступали за развитие России по западноевропейскому пути, за проведение буржуазных реформ. Славянофилы проповедовали принципиально отличный путь развития страны, идеализировали общественный строй Древней Руси, крестьянской общины.

Печать великих князей Московских.

Славянофилы были монархистами по своим убеждениям. Однако в идейно-политической борьбе середины XIX века отрицательное отношение к крепостному праву отличало славянофилов от крепостников. В историческом мировоззрении славянофилов на первый план выступала тема народа и государства, их взаимоотношения. Правда, понятие «народ» у них было не социальным, а скорее этническим.

Славянофилы выступали за своеобразное определение отношений государства и народа: «Государству — неограниченное право действия и закона; земле — полное право мнения и слова», — писал К. С. Аксаков.

Славянофильское прочтение истории древней общины с обращением к Новгороду как к наиболее яркому примеру было продемонстрировано историком, философом и публицистом Ю. Ф. Самариным (1819—1876). Использовав выступление одного из идеологов западников, К. Д. Кавелина, в журнале «Современник», Ю. Ф. Самарин в острой публицистической форме подверг критическому (с позиций славянофилов) анализу воззрения западников.

Новгород рассматривался славянофилами как патриархальная община, лишенная социальных противоречий, как общество согласия и гармонии между князем и «миром».

В XV веке Новгород, по убеждению славянофилов, утратил общинное начало, поэтому его падение представлялось «необходимым» и закономерным явлением, поэтому «великому князю Ивану Васильевичу досталось прибрать к своим рукам только полуживой труп прежнего Новгорода, который в последнее время даже не мог двигаться, не только защищаться» (И. Д. Беляев).

Исторический взгляд славянофилов на конкретный материал новгородской истории сконцентрирован в популярной книге профессора Московского университета И. Д. Беляева «История Новгорода Великого от древнейших времен до падения» (1864). Обращение этого буржуазного историка к новгородскому материалу закономерно. Славянофилы разыскивали прежде всего свидетельства устойчивости и древности общинных форм организации как в деревне, так и в городе. История Новгорода, по мысли Беляева, представляла такую возможность. Но новгородика со своей сложной социальной структурой общества не вписывалась в рамки славянофильской идеи. Это вынудило Беляева трактовать историю Новгорода не в социальном, а в юридически-бытовом плане. Новгород выглядел у Беляева как искусственный юридический организм, не имеющий внутренних корней и постепенно разлагающийся. «Общинный дух» новгородцев, определявший собой формы общественной жизни города, выглядел у Беляева как раз и навсегда данное, застывшее. Революционный демократ А. И. Герцен писал: «Славянофильство, ожидавшее спасения России только при восстановлении византийско-московского строя, не освобождало, а только связывало: шло не вперед, а назад».

Славянофилам противостояли западники. Сходясь между собою в необходимости реформ существующей России и в отрицании буржуазной революции, разные слои либералов по-разному видели будущее страны, по-разному осмысливали ее прошлое. Славянофилы по преимуществу были дворянами, среди западни-

ков видное место занимали разночинцы. Кружок западников имел своим оплотом Московский университет. К их числу относились такие крупные историки, как Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин.

Примечательно, что в оценке истории Новгорода и у славянофилов и у западников много общего. Эта общность объяснялась не столько выбором единого предмета дискуссии — соотношение общины и государства, — сколько характерным для либералов вообще нежеланием углубляться в социальную структуру новгородского общества.

Западники считали Новгород «образцом» первоначального русско-славянского общественного быта», где власть находилась одновременно в руках князя и веча. Носителем государственного начала западники считали княжескую власть. Изменения на княжеском столе в Новгороде свидетельствовали, по их мнению, об отсутствии здесь постоянного государственного устройства. Отсюда естественный вывод: история новгородской общины, лишенная государственности, «должна была насильственно прерваться». Западники лишали Новгородскую республику государственной системы, определяя Новгород как большую общину, по необходимости приглашающую князя для соблюдения видимости государственного управления. В наиболее законченной форме этот взгляд был продемонстрирован в работах К. Д. Кавелина (1818—1885). К западникам был близок С. М. Соловьев (1820—1879).

Интерес крупнейшего буржуазного историка XIX века к новгородике был устойчивым. Магистерская диссертация Соловьева была посвящена истории Новгорода («Об отношении Новгорода к великим князьям», 1845). Истории Новгорода отводилось немаловажное место в его многотомной «Истории России с древнейших времен».

В новгородской истории Соловьева в основном интересовал вопрос, как случилось, что два города, Москва и Новгород, «называющие себя отчинами одного и того же владетеля, так отдалились друг от друга на своем историческом пути, что один обнаруживает совершенное незнание об устройстве другого».

Обратившись к различиям в общественном устройстве Новгорода и Москвы, Соловьев продолжил спор, происходивший между историками и касавшийся в первую очередь вопроса, кому следует отдать предпочтение — новгородскому народовластию или московскому самодержавию.

Народовластие, признанное Соловьевым главной отличительной чертой новгородского общественного устройства, получило с его стороны отрицательную оценку. В этом смысле он шел за таким историком, как Н. М. Карамзин. Соловьев считал, что из народовластия ничего хорошего не вышло — только одни раздоры, поэтому и пришлось «вечникам» искать себе примиряющее начало в лице князя. Князья выступают «правительственным началом» среди новгородцев. По мысли Соловьева, в Новгороде все время как бы повторялось «призвание варягов», только всякий раз таким «варягом» выступал очередной князь. Поэтому в Новгороде «обе власти были задержаны в своем развитии: власть веча и князя, стиснутого вечевыми решениями, «не могла развиваться далее известного предела».

Симпатии Соловьева в столкновении новгородского народо-

властия и московского самодержавия были полностью на стороне Москвы. Историк усматривал в укреплении Московской Руси торжество государственного начала и безоговорочно осуждал все, противившееся этому процессу.

Однако у Соловьева было сильно развито чувство историзма и стремление вскрыть объективные предпосылки исторических явлений. Это отличало историка и от дворянской охранительной историографии, и от западников и славянофилов. Если для Карамзина образование Московского государства есть прежде всего личная заслуга Ивана III, который «был первый истинный самодержец России», то для Соловьева Иван III лишь «счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков», который вступил на престол тогда, «когда дело собирания... Руси могло почитаться уже законченным». Более того, историческое чутье помогло Соловьеву подойти вплотную к постановке вопроса о причинах присоединения Новгорода к Москве. Историк отметил движение русских земель к единству навстречу объединительной политике московских князей. Он писал: «Новгород, Тверь, уделы княжества Московского ждали не последнего удара, но, можно сказать, только первого движения со стороны Москвы, чтоб присоединиться, приравняться с ней».

При освещении основных проблем русской истории Соловьев постоянно исходил из идеалистического представления о государстве как решающей силе исторического процесса. Поэтому победа Москвы над Новгородом, по Соловьеву, — это торжество государственного начала над родовым.

Ю. Ф. Самарин

ИЗ СТАТЬИ «О МНЕНИЯХ «СОВРЕМЕННИКА» ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ»

...в Новгороде было двоевластие: идеал Новгородскаго быта, к которому он стремился, можно определить как *согласие* князя с вечем. Иногда оно осуществлялось, ненадолго, и эти редкия минуты представляют апогей быта Новгородскаго. Таково например княжение Мстислава, его прибытие в Новгород, его подвиги и прощание с Новгородцами. В граматах Новгородских значение князя определяется отрицательно: не делай того, не заводи другаго. Положительныя требования заключались в живом сознании всей земли; их нельзя было уписать в пяти строках. Итак, элементы будущаго государственнаго устройства, мир и личность, существовали в Новгороде, и вся Новгородская история выражала стремление к их соглашению. А почему Новгород не возвел их в правильную государственную форму, тому причина простая: Новгородская земля была часть Русской земли, а не вся Россия; государство же должно было явиться только как юридическое выражение единства всей земли. <...>

Способ решения [дел на вече. — *А. Х.*] по большинству запечатлевает распадение общества на большинство и меньшинство и разложение общиннаго начала. Вече, выражение его, нужно именно для того, чтобы примирить противоположности; цель его — вынести и спасти единство; от этого оно обыкновенно оканчивается в летописях формулою: снидошася вси в любовь. Способ решения единогласный, отличаемый... от формы вечевых приговоров, в которых не было счета голосов и балотировки, относится к ней как совокупность единиц к целому числу, как единство количественное к единству нравственному, как внешнее к внутреннему. <...>

Признавая падение Новгорода совершенно необходимым и естественным, мы не можем согласиться с... мнением [что он уже отжил свой век и больше ему ничего не оставалось делать как исчезнуть. — *А. Х.*]... В чем же обнаружилось это неясное стремление? Если в сближении с иностранцами, то оно существовало издавна, задолго до уничтожения самостоятельности Новгорода, к тому же оно не было исключительною принадлежностью Новгорода: круг сношений торговых и политических древней Киевской Руси был гораздо шире, чем обыкновенно полагают. Если... разуметь промелькнувшую мысль пристать к Литве, то это доказывает только, что самостоятельность Новгорода, по собственному его сознанию, отжила свой век и пресеклась естественно.

Новгород пал по той же самой причине, по которой мало-помалу все уделы сложились в одно целое — по необходимости идее о Русской земле облечься в государственную форму. Удержаться, вопреки стремлению всей России, Новгород не мог, потому что сам он был часть Русской земли, хотя и выделившаяся от нея временно. Все условия его политической независимости пресеклись одно за другим. Еще Владимирские князья отняли у него торговый путь через Торжек и задерживали его хлебные подвозы; Москва пересилила его на Северо-Востоке его владений. Пользоваться удельными враждами, противополагать слабейших князей сильнейшим, не было возможности: ибо князей не стало, был один великий князь и государь и еще призрак государя Русскаго в Литве. Надобно было пристать к одному из них и во всяком случае отказаться от политического существования. Близость центральной силы Московской постепенно разлагала общину Новгородскую на составные ея элементы. Большие и малые, мужи и люди, ездили жаловаться од-

ни на других царю Московскому и просить от него суда. Эта продолжительная тяжба, издавна волновавшая общину Новгородскую, но находившая в ней самой разрешение, пока Государь Великий Новгород значил все и не признавал над собою ничьей власти и ничьего суда, — эта тяжба естественно перенесена была в Москву, ибо всё ощутило в ней присутствие высшей инстанции для всей России. Целость, общинное начало в пределах земли Новгородской было утрачено; оно могло спастись не иначе, как разрешившись в другом, более широком круге того же начала — в общине Русской. <...>

1843

К. Д. Кавелин

ИЗ СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ ДРЕВНЕЙ РУСИ»

Особенно развились общины на севере. Между ними первое место занимает *Новгород.*

Те же самыя причины, которыя возбудили деятельность общин в тогдашней России, благоприятствовали и Новгороду. Но к ним присоединились еще и другия, не менее важныя: географическое положение на торговом пути сделало Новгород центром промышленности и торговли и рано развило в нем общинный дух. Оттого новгородцы не ладили с своевольной варяжской дружиной, не терпели ея насилий, и когда она удалилась на юг, может быть, столько же манимая Византией, сколько тревожимая новгородцами, им стало свободнее дышать, чем остальной России... Когда настал период уделов, право ставить князя в Новгороде удержалось за князем киевским. За каждой сменой последняго следовала смена и новгородского князя. Так ни одна княжеская династия не могла в нем окрепнуть и утвердиться. Наконец, внимание борющихся князей отвлечено было на юго-запад России, к Киеву — солнцу периода уделов, последней цели всех честолюбивых стремлений. Новгород остался вне этого движения; его не коснулись опустошительныя войны: ему не надо было несколько раз возставать из развалин, как прочим общинам древней России: с самаго начала его общинный быт и сохранился и поддерживался.

Подобно прочим общинам, Новгород не замедлил воспользоваться возможностью избирать своих князей.

Но его положение и историческия обстоятельства дали ему средства удержать за собою эту привилегию и обратить ее в право, которым он почти неограниченно пользовался до самаго конца своего политического существования.

На Новгород долго смотрели как на какое-то странное исключение из жизни древней России. Объяснить его старались иноземным влиянием. Теперь, когда старая Русь сделалась известнее, этот исторический предразсудок мало-помалу исчезает. Все внутреннее новгородское устройство говорит против него. В этом устройстве нет ни одной нерусской, неславянской черты. Новгород — община в древнерусском смысле слова, какими были более или менее и все другия общины; только особенные историческия условия дали формам ея резче обозначиться, продлили гораздо долее ее политическое существование. Новгород остался для нас образцом первоначальнаго, русско-славянскаго общиннаго быта. В его внутреннем устройстве мы открываем ту же неопределенность, то же отсутствие твердой, юридической, на начале личности созданной общественности, которыя характеризуют нашу древнюю внутреннюю жизнь.

Новгород состоял из множества общин; каждая из них имела, в главных чертах одинаковое устройство с целой новгородской общиной. В последней верховная власть находилась в одно и то же время в руках князя и веча. По существу своему противоположные, оба живут рядом, друг возле друга, и ничем не определены их взаимныя отношения. Постояннаго государственнаго устройства нет: новый князь — новыя условия. Они сходны: не потому, что они — условия, они изобличают отсутствие яснаго сознания о государственном быте. Князь избирается Новгородом: он от него зависит и всегда может быть удален из общины, когда им недовольны. Власть его ограничена в частностях, не определена в сущности. История родила к ней недоверие новгородцев: отсутствие государственных идей мешало схватить ее в определенных юридических формах. В свою очередь, и вече представляет совершенно неопределенное народное собрание. Дела решались не по большинству голосов, не единогласно, а как-то совершенно неопределенно, сообща. Живую картину его и теперь еще представляют крестьянския сходки. Несогласные с толпой подвергались народной мести: их убивали или бросали в Волхов; имущество их предавалось разграблению. Обыкновенно вече бы-

вало одно; но иногда их бывало и два, враждебных между собою. Главные новгородские сановники — посадники и тысяцкие были когда-то княжеские чиновники, но потом, вместе с князем, стали выборными. Как во всякой древней русской общине, в Новгороде были бояре и смерды, старшие и младшие. Но какова была новгородская аристократия, мы не знаем; знаем только, что в последнее время она играла важную роль.

Свою власть и свои отношения к другим Новгород сознавал в тех же формах, в каких и князья: он был *господином и государем,* с городами считался *братством.* Подобно князьям, он управлял своими областями, которыя не принимали участия в его политическом устройстве (исключая, может быть, той части новгородской территории, которая изначала была заселена одним племенем); жителей этих областей называл своими смердами, посылал ими править своих посадников и сбирал с них дань и войско.

Отношения Новгорода к остальной России определялись его характером и историей. Он был на краю России, далеко от театра вечных войн и раздоров. Торговля отвлекла всю его деятельность и внимание за море. Сделавши его богатым и сильным, она дала ему возможность быть всегда в оборонительном положении в отношении к князьям, ослабленным междуусобиями, говорить с ними смело и оружием поддерживать слова. Поэтому князья должны были избрать себе другую цель, обратиться в другую сторону. Новгород был как бы торговая волость, забытая и оставленная помещиком; богатая и сильная, потому что оставлена, — оставляемая, потому что была сильна и богата и никому не поддавалась. Имея совершенно разные интересы с остальной Россией, но связанный с ней соседством, языком, верой и преданиями, Новгород всячески старался избегать неприязненных с нею столкновений, тонко и искусно лавировал между перекрещивающимися интересами князей, чтоб не вызвать из их среды сильного врага. Покуда князья еще кочевали из города в город, это до некоторой степени было возможно; но когда их переходы кончились и появились княжества, более или менее сильныя, в близком соседстве от Новгорода, ему пришлось плохо. Рано завидел он возростающую опасность. Сначала он все еще действовал уклончиво, потом, теснимый, старался по крайней мере не дать усилиться ни одному из соседних княжеств и держал сторону слабых против сильных. Но когда мос-

ковское взяло решительный перевес над всеми другими, последний час Новгорода пробил. Иоанн III только совершил то, что было издавна задумано и приготовлено его предшественниками.

В судьбах Новгорода много страннаго, особеннаго. Его существование не прекратилось само собой, но насильственно перервано, — жертва сколько идеи, столько же и физического возростания и сложения московского государства. Мы не можем о Новгороде сказать, как о древней Руси перед Петром Великим, что он отжил свой век и больше ему ничего не оставалось делать как исчезнуть. Незадолго перед уничтожением его самостоятельности в нем обнаружилось какое-то неясное стремление идти по тому же пути, по которому великий преобразователь, через два с половиной века, повел всю Россию, — удивительное сближение, много говорящее в пользу переворота, совершеннаго Петром, и в пользу Новгорода. Какой особенный оттенок получила бы реформа древней русской жизни в Новгороде, какие были бы результаты ея на почве, столько различной от московской по истории и общественному быту, мы не знаем и не беремся решить. В лице Новгорода пресекся неразвившийся, особенный способ или вид существования древней Руси, неизвестный прочим ея частям. Одно можно сказать с достоверностью: своим долгим существованием Новгород вполне исчерпал, вполне развил весь исключительно национальный общинный быт древней Руси. В новгородском устройстве этот быт достиг своей апогеи, дальше которой не мог идти. Мы видели, каков он был, этот быт, и как мало было в нем зачатков гражданственности, твердаго, прочнаго, государственнаго устройства. <...>

1846

И. Д. Беляев

ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ПАДЕНИЯ»

...Коростынский или Шелонский мир, примиривший Новгород с великим князем Иваном Васильевичем, не дал мира и спокойствия самому Новгороду; напротив, беспорядки и мятежи усилились еще более, и можно сказать, что самый мир и старания великаго князя исполнить все его условия без исключения были едва ли не главными причинами Новгородских нестроений. По Коростынско-

му миру Новгород возвратил себе все те права и вольности, которыми он пользовался по Яжелбицкому миру, да к тому еще великий князь, желая в точности исполнить условие договора об отпуске всех пленников и находящихся под арестом, зимою того же 1471 года, по просьбе владыки и всего Новгорода выпустил из Коломны и Московских темниц Василия Казимира и его товарищей, всего 30 человек, взятых на Шелонском бою, людей явно враждебных Москве и бывших главнейшими и сильнейшими сторонниками Литовской партии и таким образом воротил главных предводителей своим противникам в Новгороде. Старыя же права и вольности, утвержденныя Коростынским миром, были вовсе не по силам тогдашнему Новгородскому обществу, сильно страдавшему внутренним разложением. В Новгороде в это время богатые и сильные безнаказанно давили слабых и бедных; там на богачей не было ни суда, ни управы, суды разгонялись буйными приятелями или наемниками подсудимых, в самое вече бросали каменьями и грязью, там только сильный мог найти управу при помощи своей силы и богатства, там уже образовались толпы бездомных голышей, готовых за чарку водки на какое угодно буйство и беззаконие, там уже можно было ограбить и пустить по миру любую вдову и сироту при помощи самаго суда. А посему естественно для Новгорода все обезпечение старых прав и вольностей, дарованное Коростынским миром, было только обезпечением своевольства и беззакония, ручательством за быстрое и окончательное разложение Новгородскаго общества. Новгороду по его, тогдашнему внутреннему состоянию, нужна была новая, крепкая и непреклонная сила для обуздания своеволия и неправды, нужно было стеснение и ограничение старых прав и вольностей, уже отживших свое время, а не их обезпечение и признание. Новгородцы, подписывая Коростынский договор, удовлетворяющий их старым отжившим притязаниям, подписывали смертный приговор своей самостоятельности и независимости, скрепляли и утверждали свое падение, ими самими давно уже подготовленное. Судная докончательная грамота, которую Новгородцы написали на вече и утвердили крестным целованием вскоре после Яжелбицкаго мира, и которую по Коростынскому договору великий князь Иван Васильевич велел переписать на свое имя, служит лучшим свидетельством того плачевнаго внутренняго состояния, в котором был тогда Новгород. Новгородцы составлением и утверждением этой гра-

моты сами публичным актом засвидетельствовали, что в то время в их обществе не было уважения ни к суду, ни к закону, и чтобы возстановить это уважение, нужно было прибегнуть к искусственным принудительным мерам. А меры, придуманныя в этой грамоте, показывают, что и самое желание возстановить уважение к суду и закону было не искреннее, а только наружное, только чтобы как-нибудь отделаться от настоятельной потребности и хоть наружно удовлетворить воплям недовольных; ибо грамота сия в сущности давала только средства усиливаться и распространяться своеволию и безпорядкам, она написана так, как будто Новгороду нужно было не столько обуздание буйства и своеволия, не признававших никакого закона, сколько ограничение слишком усилившейся власти суда, который на самом деле не имел никакой власти и был решительно подавлен своеволием. <...>

...в то время, как владычествующая в Новгороде Литовская партия, способная только производить мятежи и безпорядки, занималась преследованием своих домашних противников и не предпринимала ни одной сколько-нибудь решительной меры в защиту Новгородских владений; войска великого князя безпрепятственно вступили в Новгородскую землю и начали жечь и опустошать селения, нигде не встречая и малейшаго сопротивления и не находя ни одного отряда, высланнаго Новгородскими властями на защиту нещастной земли; везде, где ни являлись великокняжеские войска, жители или разбегались по лесам, или спешили укрыться в стенах Новгорода. Новгородское правительство, как бы потерявши голову, заботилось только о собственной безопасности; оно не только не послало рати или воеводы в Заволочье, которое по таковой оплошности немедленно было занято Московскими войсками, не только не собрало войска для встречи неприятеля, не укрепило разных Новгородских пригородов и оставило всю Новгородскую землю на произвол судьбы; но даже не заботилось сжечь Новгородских окрестных монастырей и посадов, дабы не было пристанища врагу во время осады Новгорода, как это обыкновенно делали Новгородцы в прежнее время. Московския войска уже проникли на запад за город Яму до моря, страшно опустошили пройденную страну и нигде не видали ни воевод, ни войск Новгородских, как будто бы сила Новгородская вся вымерла. Так что настоящая война не только не походила на древния войны, когда сот-

ни Новгородцов гнали тысячи неприятелей; но даже не могла сравняться с недавнею войною 1471 года, которая хотя была неудачна, но велась по плану и при том такому, который обличал в тогдашних Новгородских вождях и распорядительный ум, и воинския способности; теперешнее же Новгородское правительство ничего этого не имело и отличалось только крайним своекорыстием и совершенною безрассудностию. <...>

...Новгород не мог уже существовать самостоятельно, все доблести, все старые умные порядки, которыми он жил прежде, были уже давно прожиты, попраны и уничтожены самими же Новгородцами; так что великому князю Ивану Васильевичу досталось прибирать к своим рукам только полуживой труп прежняго Новгорода, который в последнее время даже не мог и двигаться, не только защищаться; в четырехмесячный поход великаго князя Новгородцы не могли дать ему ни одного сражения, даже Московские полки нигде не встречали Новгородской рати, и ее действительно вовсе не было и никто не собирал. Правда, в Новгороде был еще в это время доблестный воевода князь Василий Васильевич Шуйский и получал от Новгородцев большое жалованье; но вече никуда его не посылало и не давало ему войска; так что он, видя безполезность своего пребывания на новгородской службе, сам сложил с себя крестное целование к Новгороду и поступил на службу к великому князю.

Впрочем Новгород, утративший способность существовать самостоятельно и поступивший в число Московских областей, еще не забыл крамол, раздиравших его в последнее время; партии Московская и Литовская, бывшие в последние дни самостоятельнаго Новгорода, не исчезли еще и в Новгороде, потерявшем свое вече и посадника; Московские полки, увезшие с собою вечевый колокол, не могли увезти из Новгорода вражды партий. Даже по естественному порядку вещей, Литовская партия, с подчинением Новгорода великому князю Московскому, значительно усилилась, ей не только остались верными все прежние ея сторонники, все насильники, не желавшие суда и управы, которым туго приходилось при Московских наместниках; но на ее сторону перешли и все люди безразличные, умеренные, которым прискорбно было видеть падение отечества и потерю свободы Новгорода, которым кололи глаза новые непривычные Московские порядки; сам владыка Новгородский Феофил, очевидно недовольный изходом своих продолжительных переговоров

с великим князем Московским, присоединился к Литовской партии. Московская партия с своей стороны также не ослабевала, и хотя потеряла многих из своих прежних сторонников, перешедших к противникам, тем не менее, поддерживаемая Московскими наместниками и конечно находя опору в самом великом князе, она была ежели не сильнее, то ничуть не слабее своих противников. Литовская партия, как и следовало ожидать и по ея сочувствию к Литовскому государю, так и по обстоятельствам того времени, должна была вступить в тайныя сношения с Казимиром королем Польским и великим князем Литовским, обещая ему подчинить Новгород, только бы он пособил в борьбе с Московским князем. Представителем Новгорода в этих сношениях с Казимиром по всему вероятию был владыка Феофил, как единственная выборная власть, уцелевшая от прежняго Новгородскаго порядка.

Московская партия, конечно не дремавшая в то время, как только узнала о затеях своих противников, то немедленно дала знать о том великому князю Московскому. Великий князь Иван Васильевич с своей стороны, чтобы не упустить времени и напасть на противников при самом начале, когда дело еще не было улажено, немедленно, 26 октября 1479 года сам отправился в Новгород миром, со свитою в тысячу человек надежных и хорошо вооруженных людей, и пришедши, остановился со всеми своими людьми в Славенском конце и пробыл там до Февраля месяца 1480 года. Эта поездка великаго князя главным образом касалась владыки Феофила. Государь сам лично принялся разбирать дело о Феофиле, и занимался им около двух месяцев, и по собранным сведениям и очным ставкам нашедши Феофила виновным в тайной измене и в сношениях с Казимиром королем Польским и великим князем Литовским, 19 Января приказал его взять, отправить в Москву и посадить в Чудов монастырь, где он после двух лет с половиною и скончался.

Летописи, описывая эту поездку великаго князя Ивана Васильевича в Новгород, говорят, что он, отправивши владыку в Москву, взял себе его казну, множество золота и серебра и драгоценных сосудов; то же подтверждает и современный польский историк Длугош, по словам котораго: «Великий князь в этот раз забрал несметное богатство и нагрузил 300 возов золотом, серебром, драгоценными камнями и безчисленным множеством шелковых

тканей, сукон и мехов, найденных в древнем архиепископском казнохранилище». В сказании Длугоша, кажется, нет преувеличений: ибо владычня казна в Новгороде на полатях святыя Софии, как мы знаем по летописям, была издревле самым богатым хранилищем общественной Новгородской казны. <...>

1866

С. М. Соловьев

ИЗ «ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»

НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ

Иногда видим мы, как целые поколения в продолжении многих и многих лет тяжелыми трудами накопляют большие богатства: сын прибавляет к тому, что было накоплено отцом, внук увеличивает собранное отцом и дедом; тихо, медленно, незаметно действуют они, подвергаются лишениям, живут бедно; и вот наконец накопленные средства достигают обширных размеров, и вот наконец счастливый наследник трудолюбивых и бережливых предков начинает пользоваться доставшимся ему богатством. Он не расточает его, напротив, увеличивает; но при этом способ его действий по самой обширности средств отличается уже большими размерами, становится громок, виден, обращает на себя всеобщее внимание, ибо имеет влияние на судьбу, на благосостояние многих. Честь и слава человеку, который так благоразумно умел воспользоваться доставшимся ему средствами; но при этом должны ли быть забыты скромные предки, которые своими трудами, бережливостью, лишениями доставили ему эти средства?

Счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков, Иоанн III вступил на московский престол, когда дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться уже оконченным; старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтоб дорушить его. Отношения всех частей народонаселения ко власти княжеской издавна уже определялись в пользу последней: надлежало только воспользоваться обстоятельствами, воспользоваться преданиями, доставшимися в наследство от Византийской империи, чтоб выказать яснее эти отношения, дать им точнейшее определение. Новгород, Тверь,

уделы княжества Московского ждали не последнего удара, но, можно сказать, только первого движения со стороны Москвы, чтоб присоединиться, приравняться к ней. Орда падала сама собою от разделения, усобиц, и стоило только воспользоваться этим разделением и усобицами, чтоб так называемое татарское иго исчезло без больших усилий со стороны Москвы. На западе король польский и великий князь литовский занят внутри разделением между Польшею и Литвою, разделением, господствующим под видом соединения; сильно занят извне отношениями к Пруссии, Богемии, Венгрии, не может мешать Москве в ее усилении, не может бороться с нею и уступает ей целые области. Спокойный, единовластный внутри, московский князь пользуется своими средствами, пользуется собранием Северо-Восточной Руси, совершенным его предками, пользуется счастливыми внешними обстоятельствами, затруднительным положением соседей, чтоб начать наступательное движение на восток, на племена финские, на царства татарские, относительно же юго-запада припоминает, что Киев, Смоленск, Витебск и Полоцк издавна его предков отчины. С прекращением внутреннего движения для собрания земли, с утверждением единовластия и с началом внешних движений замкнутость, отчужденность Северо-Восточной Руси необходимо начинает прекращаться: державы Западной Европы узнают, что на северо-востоке существует обширное, самостоятельное Русское государство, кроме той Руси, которая подчинена польским королям, и начинают отправлять в Москву послов, чтоб познакомиться с новым государством и попытаться, нельзя ли употребить его средства для общих европейских целей. Первым необходимым следствием начавшихся сношений с западными государствами было появление западных художников в Москве, которая таким образом начинает пользоваться плодами европейской цивилизации. Понятно, что все это были только начатки, начатки слабые: сношения с западными державами не шли далее Италии, Дании, Германской империи; сношения с последнею скоро должны были прекратиться по недостатку общих интересов; как и прежде, татарские орды на востоке и юге, Литва и Швеция на западе ограничивали политический горизонт Московского государства.

Таковы были следствия собрания Русской земли около Москвы, следствия, необходимо обнаружившиеся во второй половине XV века, в княжение

Иоанна III, который, пользуясь полученными от предков средствами, пользуясь счастливым положением своим относительно соседних государств, доканчивает старое и вместе с тем необходимо начинает новое. Это новое не есть следствие его одной деятельности; но Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей Русской земли, среди образователей Московского государства; Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами, в которых находился во все продолжение жизни. При пользовании своими средствами и своим положением Иоанн явился истым потомком Всеволода III и Калиты, истым князем Северной Руси: расчетливость, медленность, осторожность, сильное отвращение от мер решительных, которыми было можно много выиграть, но и потерять, и при этом стойкость в доведении до конца раз начатого, хладнокровие — вот отличительные черты деятельности Иоанна III. Благодаря известиям венецианца Контарини мы можем иметь некоторое понятие и о физических свойствах Иоанна: он был высокий, худощавый, красивый мужчина; из прозвища Горбатый, которое встречается в некоторых летописях, должно заключать, что он при высоком росте был сутуловат.

Мы видели, что только увещания новгородского архиепископа Ионы, пользовавшегося особенным уважением в Москве, и последовавшая вскоре смерть великого князя отвратили от Новгорода последний удар, который хотел навести ему Василий Темный, жаловавшийся, что новгородцы не чтут его, как следует. Действительно, особный быт Новгорода давно уже поддерживался только усобицами княжескими, и необходимым следствием их прекращения было приравнение Новгорода к другим городам Северной Руси, полное подчинение его князьям московским; Василий Темный, как скоро избавился от опасных или беспокойных князей, так начал тяготиться, что Новгород не воздает ему достойной чести, ему, который держит в руках всех князей: понятно, что если сам Василий не успел освободить себя от таких неприятных для него отношений, то сын его должен был об этом позаботиться. Новгородцы не могли не понимать всей опасности своего положения, не могли не видеть, что против сына Василиева не будет им помощи ни от кого из князей Северной Руси, и потому должны были искать помощи в другой стороне. Кроме великого князя московского, теперь сильного, спокойного, замышлявшего нанести послед-

ний удар Новгороду, был еще великий князь литовский, который назывался также и русским; к этому князю отъезжали из Северо-Восточной Руси все князья недовольные, лишенные отчин, угрожаемые князем московским; к нему обратились и новгородцы в последний, решительный час. Но великий князь литовский и вместе король польский был католик; отложиться от московского князя и поддаться литовскому, отложиться от московского митрополита и признать свою зависимость от митрополита киевского, митрополита подозрительного по своему поставлению, ученика Исидорова, в глазах многих, в глазах большинства в Новгороде, в глазах всего северного русского народонаселения значило изменить православию, приложиться к латинству или по крайней мере подвергнуть древнее благочестие сильной опасности. Таким образом, мысль о подданстве великому князю литовскому встречала сопротивление в господствующем чувстве большинства в Новгороде, в привязанности к вере предков; таким образом, Москва в окончательной борьбе своей с Новгородом имела могущественного нравственного союзника, обещавшего верную победу; этот союзник было православие.

И прежде не раз великие князья литовские предлагали свое покровительство Новгороду; их предложения были отвергаемы; и нельзя не заметить, что главным побуждением к тому было иноверство Гедиминовичей, хотя, с другой стороны, и от Москвы не было еще тогда такой опасности, которая бы заставила новгородцев быть внимательнее к предложениям из Литвы. Но мысль, что рано или поздно придется просить помощи у Литвы, эта мысль не могла уже быть чуждою в Новгороде, и здесь нашлись люди, которые не разделяли мнения большинства относительно препятствий к соединению с Литвою. Заметно было уже и прежде раздвоение между гражданами новгородскими, между лучшими и меньшими людьми; теперь, в решительную минуту, это разделение повело к разномыслию относительно самого важного шага, а это разномыслие в свою очередь усиливало вражду между сторонами. Есть известие, что будто бы еще в тридцатых годах столетия была в Новгороде смута от желания знатных людей присоединиться к Литве. В решительную минуту борьбы Новгород был разделен; в Москве не могли не знать о существовании литовской стороны, которая, разумеется, должна была утверждать, что соединение с Литвою вовсе не опасно для православия, что в старом

Киеве такой же православный митрополит, как и в Москве. Для ослабления литовской стороны надобно было возражать на это, надобно было удержать прежде всего владыку новгородского от признания киевского митрополита Григория православным, законным, и вот Иоанн III посылает к владыке Ионе с такими речами: «Тебе известно, откуда пришел этот Григорий и от кого поставлен: пришел он из Рима, от папы, и поставлен в Риме же бывшим цареградским патриархом Григорием, который повиновался папе с осьмого собора. Ты знаешь также, за сколько лет отделилась греческая церковь от латинской, и святыми отцами утверждено, чтоб не соединяться с латинством. Ты должен хорошо помнить, какой обет дал ты Ионе митрополиту, когда приезжал к нам в Москву: ты обещал не приступать к Григорию, не отступать от Ионы митрополита всея Руси и от его преемников; такой же обет повторил и митрополиту Феодосию, и нынешнему Филиппу... Так если тот Григорий начнет подсылать к тебе или к новгородцам с какими-нибудь речами или письмами, то ты, богомолец наш, поберегись и своим детям внуши, чтоб Григорьеву посланию не верили, речей его не слушали и даров не принимали; да помни, отец, свой обет, который ты дал на своем поставленьи отцу нашему Ионе митрополиту и всем его преемникам».

В челе стороны литовской стояли Борецкие, дети умершего посадника Исака Борецкого. Мы видели, какое важное значение в семействах княжеских получали матери по смерти отцов; так было и в семьях частных: вдова Исака Борецкого, Марфа, имела сильную власть над детьми по обычаю и по личному характеру и посредством этой власти пользовалась могущественным влиянием на дела родного города. Существование сильной стороны, Москве враждебной, ожесточение, так резко обнаружившееся в некоторых новгородцах после похода Василия Темного, не могли не повести к враждебным столкновениям Новгорода с Москвою в княжение преемника Василиева... <...>

1855

7

Одним из историков, пользовавшихся особой популярностью среди либерально настроенной части интеллигенции второй половины XIX века, был Н. И. Костомаров. Читателю импонировало критическое изображение историком самодержавия в прошлом.

Уже в молодости Н. И. Костомаров проявил большой интерес к истории народного творчества и быта, прежде всего украин-

ского. Он вошел в тайную политическую организацию разночинной интеллигенции, действовавшую в Киеве в 1845—1847 годах (Кирилло-Мефодиевское общество), был арестован и выслан в Саратов. Там Костомаров познакомился с Н. Г. Чернышевским; знакомство продолжалось после окончания ссылки уже в Петербурге. После непродолжительного обращения к педагогической деятельности в стенах университета Костомаров создал собственный журнал и основное внимание уделял популяризации истории, изданию исторических источников.

Социально-политические идеи Костомарова были выражены в программном документе Кирилло-Мефодиевского общества — «Законе божьем»: «Московщина состояла из великороссиян и была у них великая речь посполитая новгородская, вольная и равная, хотя не без господ, и погиб Новгород за то, что и там завелись господа, и возвысился над всеми Великороссиянами царь московский, а возвысился он, кланяясь татарам, и ноги целовал хану татарскому, бусурману, чтоб помогал ему держать в неключимой неволе христианский народ великороссийский... И обезумел народ великороссийский и впал в идолопоклонство, ибо царя своего называл земным богом, и все, что царь скажет, считал хорошим... Украина пристала к Московщине и соединилась с нею как один народ славянский с другим народом славянским нераздельно и несмесимо, как некогда соединятся между собою все народы славянские... Но скоро увидела Украина, что она попалась в неволю...»

В этом суть исторической концепции Костомарова в ее максимально популярном изложении: критика самодержавия ведется с религиозно-националистических позиций.

Внимание историка к Новгороду объясняется тем, что, обращаясь к его истории, Костомаров обосновывал характеристику целого периода в русской истории, декларируя сущность его как борьбу между «Русью единодержавной» и «Русью удельно-вечевой», между государством и народностью, между самодержавием и народовластием.

По концепции Костомарова, вечевые отношения, господствовавшие в Киевской Руси, постепенно были уничтожены самодержавным началом, оплотом которого стала северо-восточная Русь. Он полагал, что удельно-вечевые порядки дольше всего сохранялись в юго-западных русских землях и в Новгороде. С помощью истории Новгорода Костомаров стремился укрепить свои позиции. По его мнению, новгородские словене, выходцы с берегов Днепра, были носителями украинской народности. Поэтому свободолюбивые новгородцы — потомки новгородских словен, сохранили национальные признаки украинцев и восприняли вечевой уклад, создав Новгородскую республику («народоправство»).

Именно с этой точки зрения оценивал Костомаров соперничество между Москвой и Новгородом в XIV—XV веках. В лекции «О значении Великого Новгорода в русской истории», прочитанной в Новгороде в 1861 году и тогда же опубликованной, историк рассматривал Новгород как «последнее прибежище федеративных начал, изгнанных из других земель», а его антиподом считал Москву, «задушившую» эти начала на Новгородской земле.

Как общая схема Костомарова, так и его трактовка взаимоотношений Москвы и Новгорода несли отпечаток известной оппозиционности по отношению к самодержавному строю России. Но, выступая с осуждением акций Ивана III в отношении Новго-

рода, Костомаров вместе с тем проповедовал мысль о наступившем впоследствии примирении государственности с народностью.

Примечательно, что публикуемый здесь текст лекции Костомарова «О значении Великого Новгорода в русской истории» был прочитан историком в 1861 году в Новгороде в связи с готовившимися торжествами 1000-летия России. Юбилейные мероприятия проводились под эгидой царского правительства и широко пропагандировались как реальное воплощение реакционной теории триединства — «самодержавие — православие — народ». Участие в них Костомарова показательно. Нарочитая оппозиционность историка отходила на задний план перед декларированием гармонии власти и народа, необходимости поддержания этой гармонии самодержавием.

Несостоятельность исторической концепции Костомарова отметили Н. Г. Чернышевский и другие революционеры-демократы, резко выступившие против реакционной тенденциозности историка.

Н. И. Костомаров

«О ЗНАЧЕНИИ ВЕЛИКАГО НОВГОРОДА В РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Русская история представляет две половины, несходныя между собою по духу и содержанию. Каждая из них изображает свою особую Русь, отличную от другой по политическому и общественному строю. Первая была Русь удельно-вечевая, вторая — Русь единодержавная. Невозможно между ними провести строгой разделительной грани, как и вообще во всякой истории, разделяя ее на периоды, если руководствоваться не внешними только событиями, а теми видоизменениями, которые совершаются в жизни народов и определяют на будущие века иной, кроме прежняго, путь ея течению. Только приблизительно можно указать на эпоху Иоанна III как на самое важное в этом отношении время в русской истории, потому что с этих пор государственное централизующее начало делается господствующим. Таким образом, русская история, рассматриваемая не по внешним признакам политических событий, а по развитию внутренней народной жизни, представляет два уклада: удельно-вечевой и единодержавный.

Между этими двумя укладами русской жизни есть различие.

В фазисах народной жизни, являющихся совокупностью главных ее стремлений, следует отличать идеал, какой имел народ для своего политическаго и общественнаго строя, и образ действительный, в каком этот идеал осуществлялся только до известной степени, по несовме-

стимости его и с временными обстоятельствами, и с собственным недостатком в народе ясности сознания самого идеала и средств к его достижению. При этом мы никак не должны допускать себе в воображении идеала выше того, какой действительно имел народ по степени своих понятий; иначе мы впадем в ложный идеализм, придадим собственные умозрения и мечтания народу, который вовсе не так смотрел на вещи, как мы. Но с другой стороны, если мы отвергаем всякое идеальное значение в том виде, в каком оно должно было рисоваться в тогдашних умах народа, и ограничимся одним миром явлений, не возводя их до сообразного принципа, то разсеемся в безсвязной куче событий, не имеющих ни цели, ни причины.

Идеалом удельно-вечевой жизни была самостоятельность земель русскаго мира, так чтобы каждая составляла свое целое в проявлении своей местной жизни и все вместе были бы соединены одной и общей для всех связью.

Все тогдашния учреждения были способами к осуществлению этого идеала политической жизни, а не главной целью. Таким образом, например, призвание княжеского рода для водворения порядка было не целью, но способом, средством для главной цели, состоявшей именно в удержании связи и единства земель между собой, дабы отвратить усобицы и безпорядки.

Идеал единодержавнаго уклада был совершенно иной. Здесь свобода частей приносится в жертву другой идее — единаго государства: здесь нет речи и быть не может даже о связи и соединении частей, потому что самыя части поглощаются, уничтожаются. Цель перваго в самом народе, цель второго вне народа; и потому-то реформа Петра была не насильственным, как думают, переломом прежняго, а естественным дохождением единодержавия до дальнейшей степени своего развития, когда власть и весь круг, чрез который последняя совершает свою деятельность и влияние на массу народа, становится за пределами жизни этой массы, делается чем-то обособленным, действующим извне, и потому крепко содержащим и соблюдающим уравнение народа перед собою. Ощутительный, сильный и полный неизбежных изменений, поворот в политической и общественной жизни русскаго народа, у нас является в эпохе татарскаго завоевания. До сих пор, на основании исторических данных всех веков, кажется, почти можно признать за

правило, что единодержавие возникает или через покорение одного народа другим, и вследствие того через смешение в большей или меньшей степени победителей с побежденными, или же необходимостью в самом народе отбоя чужеземных врагов. Так и случилось в России. Татары покорили Русь. Составлявшие ее земли нашли свою связь во внешней силе, равномерно тяготевшей над ними. Победители, ханы Золотой Орды, стали верховными повелителями всего русскаго мира, полноправными хозяевами-владельцами всей Русской земли и населяющих ее людей. Хан, в значении такого хозяина-владельца, мог, кому хотел, поручить вместо себя надзор за ней, собирание своих доходов, управление ею, словом, все, что, по невозможности делать самому, должны были делать его доверенныя лица. Это новое начало необходимой передачи ханской верховной воли возложено было на князей двумя способами: на князей городов и волостей, князей удельных в отношении той Земли или части Земли, которая находилась в его управлении, и на князя великаго по отношению к целой России, как на главу всех князей подручных. Отсюда вышло следующее: князья удельные были, по прежнему принципу, не владельцами, а правителями Земель и городов, составлявших, независимо от личности и права князей, собственныя целые, существующия сами по себе; — теперь князья становились действительно их собственниками, или, скорее, помещиками, ибо получали их от ханов в отчину; а князь великий, сделавшийся доверенным лицом от хана в отношении его власти над целым русским миром, получал чрез то более и более значения и силы, и дошел, наконец, к тому, что сделался собственником-владельцем всего русскаго мира, ниспроверг власть частных владельцев, соединил все зависимые прежде от одного хана власти в одну. С усилением власти великаго князя, рядом шло дело освобождения от чужеземнаго ига. Оно совершилось посредством той же власти великих князей. Необходимость соединения русскаго мира воедино для великого дела самоосвобождения также способствовала возвышению великокняжеского достоинства и вместе с ним падению отдельной жизни земель, стечению частей в одно целое и единодержавному порядку. Народ сознал, что ни веча, ни удельные князья не спасут его от хищничества соседа, что ему нужна единая крепкая власть, которая бы двинула разом все его силы и устремила их на общее дело. Разумеется, это совершилось не

вдруг: борьба длилась три века, и последки ее отзывались и после, так как и начала удельно-вечевого уклада не умирали в народе до позднейших времен.

Удельно-вечевой уклад не дошел до своего полнаго развития, не осуществил своего идеала; мы не видим стройной, сознательной, определенной федерации земель, не видим, чтобы каждая часть развила в себе самобытные элементы жизни; не видим также и твердых связей, соединяющих между собою земли. Нам являются одни зачатки, которые не успели еще образоваться и были, так сказать, задавлены тяжестью противных начал: то были побеги, не успевшие дорасти до зрелого состояния — их юношеское существо сломлено противною бурею. Что-то хотело выйти и не вышло; что-то готовилось и недоделалось! Земли обозначались по оттенкам народностей и не определились в своих несомненных пределах. Внутри княжеская власть не представляется отделенною, по своему объему и значению, от власти народной, от веча; и одна заходила в область другой; мы не можем разъяснить вполне ни взаимных отношений городов между собою, ни городов к волостям, ни способов, как образовывались сословные разделения народа, и как между собой сталкивались и переплетались. Все здесь темно, все основано на догадках; конечно, этому причиною и само состояние общества, то переходное состояние, которое всегда имеет в себе что-то хаотическое, подобно тому, что представляет всякая постройка во время работы: только по окончании работ принимает она определенный вид; но нет сомнения, что нашему непониманию своей старины в этом отношении помогает и недостаточность источников. Они часто безответны на такие вопросы, которых разрешение для нас — дело первой важности, хотя словоохотливы и щедры на то, что может интересовать историка только тогда, когда в занятиях своих он не имеет другой цели, кроме того, чтобы любоваться их процессом. Как бы то ни было, удельно-вечевой мир для нас неясен; а, между тем, изучение его может не только интересовать праздное любопытство, но составляет насущную потребность разумнаго знания нашей истории и важнейшую подмогу для уразумения нашего настоящаго и, скажу более, для наших практических целей и в настоящем и будущем. Нужно ли доказывать, что здравое и ясное узнание своего народа есть дело первой важности в настоящее время? Едва ли кто в этом сомневается. Излишне нам было бы также доказы-

вать, что народа невозможно узнать, не зная его прошедшей жизни; того, что составляет современную жизнь народа, нельзя считать недавним. Не в пятьдесят, не в сто лет накопилось то, из чего образовался народный характер; понятия народа формировались долго; быт его установлялся многими веками; во всех явлениях народной жизни отпечаталось много протекших переворотов, легло много пережитых периодов. Тот образ, в каком народ является теперь, слагался постепенно, и чтобы проследить его историю, необходимо обращаться к такой древности, от которой только по наружности осталось, как некоторые себе воображают, слишком мало наглядных следов, вещественных памятников, тогда как на самом деле эти следы сохранились там, где они живее и вседейственнее — в современных обычаях и понятиях. Эпохи, когда самодеятельность народа выказывалась полнее и многостороннее, резче отпечатываются на жизни его в последующие века: в эти-то эпохи обыкновенно и формируются элементы народнаго характера; тогда народ и проявляет свои силы, которыя при иных обстоятельствах остаются как бы спящими. Как ни кажутся отдаленными от нас века удельно-вечевого уклада, но многое в характере нашего народа сложилось еще в те поры; все это пересоставилось и видоизменилось при дальнейшем развитии, но самых начал следует искать в предыдущем. И притом же то, что было некогда иначе, чем после, составляло в свое время также достояние народа: оно важно для того, чтобы уразуметь, как народное существо способно проявить себя на том или другом пути, с такими или иными условиями. Наша прошедшая историческая народная жизнь явилась в борьбе двух начал — удельно-вечевого и единодержавного, и составляющее характер того и другого вошло в плоть и кровь народа: очевидна важность изучения удельно-вечевого периода, на который еще не так давно если не смотрели с полным презрением, то не искали в нем ничего для современности и не предполагали увидеть в нем ничего, кроме безсмысленных княжеских драк, которых причины указывали нам единственно в круге родовых отношений княжеской фамилии.

Яснее и полнее характер удельно-вечевого уклада не выразился нигде, как в Новгороде. Этому причиною, вопервых, более всего относительное богатство источников об этой Русской Земле в сравнении с источниками о других наших землях, и, во-вторых, самое положение Нов-

города в совокупности географических и исторических явлений, давшее ему несколько особый характер. О первой причине я не стану распространяться: достаточно указать на цикл новгородских и псковских летописей, обнимающий историю северных городов с незапамятных времен до падения их местной независимости; тогда как сведения, передаваемыя летописцами земель Смоленской и Белорусской, ограничиваются отрывочными и очень скудными известиями. Гораздо важнее рассмотреть, как Новгород получил в ряду русских земель свои отличия и в чем они состояли. Здесь первое место занимает его народность. Остатки новгородского наречия, без сомнения, в настоящее время сильно уже измененнаго, безпрестанно теряющаго свои особенности и подходящаго под уровень общаго языка, указывают, что в этой Земле было свое отличное наречие, близкое к южнорусскому. Близость эта и теперь еще поразительна для уроженца южной Руси: когда в первый раз я услышал новгородское наречие, я принял говорившаго им за малороссиянина, как будто силившагося говорить по-великорусски. По аналогии можно заключить, что в древности новгородское наречие имело гораздо более черт, подобных малорусскому и отличавших его от наречий соседних земель [1].

Существует, записанное в хронографе, полубаснословное предание о приходе с юга поселенцев на север, где обитал прежде другой народ, причисляемый к белорусам. Пришельцы изменили название реки, на которой поселились: прежде она называлась *Мутною*, пришельцы назвали ее *Волхов*. Предание это сохранилось и до сих пор в народе; между прочим, оно заставляет предполагать, что новгородцы были южнаго происхождения, но пришедши на север, нашли там уже славянских поселенцев, над которыми их народность осталась первенствующею. И этим, может быть, надобно объяснить между другими признаками нравственную связь Новгорода с отдаленным Киевом, которая так рельефно выдается в истории дотатарской. Несомненно, что с на-

---

[1] Название местности указывает и на существование в древности таких слов, которыя теперь вышли из употребления в Новгородской земле, но находятся в южнорусском наречии. Я укажу, например, на местность *Ковалево,* близ Новгорода. Вероятно, существовало в древности слово *коваль,* означавшее кузнеца, как и теперь в Малороссии оно имеет то же значение. Можно указать также на слово *паробок,* теперь уже забытое и оставшееся на юге. *(Примеч. Н. И. Костомарова.)*

речием новгородцы сохраняли и черты нравов и быта, приближавшия их к южнорусам и отличавшия от ближайших соседей. Очень естественно, что оторванная, таким образом, народная горсть посреди других родственных, но отличных народностей и чуждых племен, сознавала себя живее и яснее. Этот народ глубокой древности, именно в IX веке, играл какую-то первенствующую роль в союзе северных народов, образовавшемся против чужеземнаго ига норманов. Покоренные этими завоевателями, Белорусы-Кривичи, Словени-Новгородцы или Ильменские Словене и славянские колонисты земель Ростовской, Белозерской и Изборской, жившие между народами чудского племени и оттого означенные в летописи нашей неславянскими именами Мери, Чуди и Веси, — должны были соединенными силами отбивать врагов, а потом, чтоб сохранить раз вынужденную, необходимую связь, устроили институцию, послужившую началом государственной жизни русскаго мира — я говорю о призвании князей. Все темно в этом отдаленном от нас событии. Но из некоторых черт летописнаго повествования видно, что его признавали в широком размере, что участие в призыве князей разделяли с теми, которые означены в летописи, еще и другие, которые там не означены; по крайней мере, важно то обстоятельство, что Олег является с малолетним Игорем в Киев, как имеющий право, показывает Аскольду и Диру малолетнего князя и убивает их за то, что они, не будучи князьями, управляли Киевом на княжеском праве. Обстоятельство это показывает как будто, что Аскольд и Дир обманули Киевлян, что последние ждали кого-то другого — не их; и Киевляне покорились добровольно Олегу, как бы сознавая его право. Следовательно, и Киевляне тем самым изображаются участниками в призвании варяжских князей. Если только справедливо летописное сказание о призвании князей, Новгороду суждено было стать первоначальной точкой, откуда разошлись линии, по которым стал созидаться новый порядок. И потому вполне законно принадлежит Новгороду честь, которую воздают ему в наше время, избирая его местом для памятника тысячелетию русской государственной жизни. Очевидно, что сердцем возникавшей варяго-русской державы был он: в нем происходило первое совещание об единении народов и установлении связующей власти княжеского рода. Очевидно также, что наша история начинается, так сказать, с середины повест-

вования, с того события, которое не может назваться начальным; естественно рождается вопрос: каким же образом возникла связь между отдельными племенами, как дошли они до общаго сознания частей утвердить эту связь новой институцией? Вопрос, на который нет ответа. Судьба Новгорода после этого важнаго события как-то исчезает из летописей, занятых исключительно событиями юга. Видно, однако, что он оставался со своей древней независимостью, когда избирал одного из сыновей киевского князя Святослава. В этом факте, как он ни скудно рассказан, явно выказывается то направление, каким Новгородцы отличались впоследствии в своей истории. Святослав заметил послам: хорошо, коли кто пойдет к вам. Это намекает на их свободное обращение с князьями еще в древности; и тогда не позволяли они князьям поднимать головы выше народного собрания. Вместе с тем в этом поступке уже обозначается то сочетание отдельности с привязанностью к общему русскому миру, которое составляло характер последующей политической деятельности Новгорода. Новгородцы были свободны и могли выбрать себе князя где угодно, но обратились к тому роду, который был ими, вместе с другими землями, призван для установления ряда и удержания связи частей. Они грозят избрать себе в другом месте князя, только в случае отказа получить его из рюрикова дома; то был бы поступок крайний, так же как перед концом новгородской независимости, Новгородцы в крайности готовы были преклониться под власть литовскаго великого князя и в то же время употребляли все усилия, чтобы сохранить связь с призванным в лице прародителей родом.

Владимир, избранный Новгородцами, утвердил там власть с помощью чужеземцев-Варягов. Это было новое подчинение воинственным соседям, хотя в другой форме: уже не они в качестве чужих завоевателей нападали на Новгород и облагали его данью, а собственный выборный князь своевольно управлял чрез чужеземцев. Сделавшись киевским князем, с помощью тех же Норманов-Варягов, Владимир показал, некоторым образом, первый пример единовластнаго порядка и был единым владетелем всей Руси; и Новгород, уже порабощенный, как видно, прежде, теперь привязан был к Киеву. Древнее первостепенное значение его потерялось: он сделался пригородом; в его положении все отзывалось порабощением; даже крещение, если верить сказанию, записанному в

Иоакимовской летописи *, совершилось с *насилием*. Сын Владимира Ярослав, хотя получил в удел Новгород, зависимый от Киева, непокорный отцу, шел однако ж по следам его и также опирался на чужеземцев-Норманов. Эти пособники княжескаго самовластия стали распоряжаться так произвольно, что наконец пробудили уснувшие силы древней свободы. Перебили Варягов. Ярослав отмстил за них: завлек обманом зачинщиков заговора и перебил их. Но вслед за тем услышал, что ему грозит беда из Киева. Святополк киевский умертвил его братьев и ему грозил тем же. Киев был за Святополка. Князь, сидевший в Новгороде, должен был поневоле соединить свои личные интересы с местными интересами Новгорода; Ярослав должен был избавиться от Святополка, Новгород — от власти Киева. Взаимныя нужды сблизили их. Новгородцы простили ему коварное избиение своих мужей. Дело устроилось наилучшим образом. Новгородцы посадили на киевском столе своего князя, посрамили гордость Киевлян, называвших их презрительно своими плотниками; а Ярослав возвратил им древнюю самостоятельную свободу и признал возстановление прав народного собрания для избирания себе князя по желанию. Ярослав дал Новгороду льготную грамату. Она не дошла до нас; но можно наверное видеть, в чем состояла она. На это указывают и последующая история Новгорода, и последующия граматы, которыя были обыкновенно снимками одна с другой, с некоторыми изменениями, вынуждаемыми текущими обстоятельствами. Эпоха Ярослава осталась в памяти народной в течение столетий началом их свободы. И другия русския земли вспоминали, что новгородцы освобождены были прадедами князей. Место, на котором становились народныя собрания, называлось двором Ярославовым. Неосновательна была мысль, принятая многими, будто Новгород и после Ярослава долго находился в зависимости от Киева, и его местная свобода возникла от того, что они воспользовались сумятицами и междоусобиями на юге, и, так сказать, под шумок организовались свободно. Так думали потому, что качество летописей принимали за качество происходившаго в жизни. Летописи XI и половины XII века до нас дошли в кратком виде. С половины XII века они полнеют и сообщают такия события, о которых прежде молчали по своей краткости. Из этого заключали, что в самом деле не было таких событий. Очевидно, такое заключение неверно и крайне произвольно. Неверность ясно до-

казывается тем, что даже и в кратком перечне встречаются известия о случаях, когда Новгородцы показывали свое народное право: как например, когда не хотели сына Святополка киевского и сказали ему: *посылай, если у него две головы*. Очевидно, что князья, находившиеся у них, были избираемы и признаваемы народом и в то время. Древнее народоправление, на время придушенное Владимиром с помощью чужеземцев-Варягов, воскресло с ярославовыми граматами и более не упадало до конца XV века. Новгород оставался все одним и тем же в своей основной форме. По этой основной форме Новгород не был каким-то исключением в русском мире, как думали некоторые. Его свобода и народоправление не составляли его местнаго достояния, недоступнаго для других земель. То же, что было в Новгороде, существовало везде. Народное сообрание, вече, составлявшее главнейшую черту общиннаго устройства, было общим для русскаго мира. Летописец XII века, говоря об этом, не отличает новгородцев от других: «Новгородци бо изначала и Смоляне и Кияне и Полочане и вси власти аки на думу на вече сходятся». В Суздальской Земле, где пустило первые ростки единодержавие, вече составляло верховную власть и избирало князей. Слово *вече* было до того всеобщим в Руси, что даже в XVI веке оно употреблялось на Волыни в смысле народной сельской сходки; в некоторых местностях, составлявших Новгородскую Землю, оно, как говорят, употребляется и теперь. Со словом *вече* связывался механизм независимости и гражданской свободы. *Вече* было признаком существования Земли, сознающей свою автономию; будучи явлением общерусским, повсеместным, нигде, однако, порядок этот не являлся нам в такой полноте, как в Нове-городе. Повторим сказанное прежде, что здесь, без сомнения, действует то, что новгородския сказания дошли до нас полнее; прибавлю также, что самыя эти сказания относятся наиболее ко времени после татар, когда в других землях уже угасал этот порядок.

Но, несомненно, были причины, благоприятствовавшия Новгороду в сохранении его старославлянских начал, преимущественно — пред другими Землями. Новгород со своей Землей не был проходным краем — не то, что Киевская и Черниговская Земли, через которые ратным людям можно было прогуляться вдоль и поперек. Новгород был отделен болотами и лесами от остальной Руси. Князья на юге нередко поддерживали себя посред-

ством наемных чужеземцев: Половцев, Угров, Поляков; не могли так поступать с Новгородцами, потому что и народов, готовых для того, не было по соседству, и проход был затруднителен. Оттого Новгород удобнее мог прогонять и приглашать к себе князей; это не так легко было Киеву, поплатившемуся за изгнание Изяслава Ярославича * и много раз опустошенному Половцами, Торками, Берендеями *, приводимыми князьями. Несколько раз повторенные примеры делались обычным правом, и князья привыкли считать его ненарушимым. Новгород от своего имени стал заключать договоры с западными соседями и приучил их смотреть на себя, как на самостоятельное государство. Торговые обороты и сношения Европы с Россиею касались в частности непосредственно только Новгорода, а не других частей ея.

Понятно, что Новгород владел большим пространством земель на севере и северо-востоке, независимо от других частей России. Географическое положение этих стран было такое, что только Новгороду было подручно держать их в связи с русским миром. Страны эти были суровы и бедны по климату и почве, но богаты по другим произведениям, составлявшим в те века источник богатства. У Новгородца долго никто в русском мире не отнимал этих владений, ибо никому не представлялось ни выгод, ни удобств для этого; только с распространением колонизации на восток из Ростово-Суздальской Земли Новгород должен был оспаривать исключительную принадлежность северо-восточных колоний у великих князей. Колонии не принадлежали ко всему русскому миру и были его местным достоянием. Чрез эти особенности в Новгороде образовалось, укреплялось и поддерживалось сознание о своей автономии и, вместе с тем, невозмутимее, чем в других странах, развивались старославянские начала. Новгородская Земля не представляла единства народности. Славяно-русская была в меньшинстве в сравнении с массою народов чудскаго племени; но эта славяно-русская народность была в полной мере господствующею, встречала такие народности, которые не имели силы ни бороться с нею, ни воздействовать на нее, и покорно с ней соединялись. Таким образом, это господствующая народность расширялась на север, северо-восток и северо-запад, побеждая препятствия, неважныя в сравнении с теми, какия были в других землях, например, в южных. Это прогрессивное движение отчасти вытеснило чудских аборигенов,

отчасти сообщало им славянскую цивилизацию и народность. На западе оно было остановлено сильною встречею с немецкой народностью, с которою не так легко было выдержать борьбу славянскому племени везде и вообще. Ставший, таким образом, обладателем севера, проводником торговли с Западом для целого русскаго мира, Новгород в ряду русских земель приобрел почетное значение, имел много данных для местной независимости и самобытности; с другой стороны, в его географическом положении были и условия, привязывавшия его к русскому миру. Почва его земель не отличалась плодородием. Новгород должен был получать хлеб из прочих стран Руси. Если через его руки в русския земли проходили западные товары, если также русския произведения он передавал Западу, то в главном предмете жизненных продовольствий он не мог обойтись без других, более плодородных земель. Эти обстоятельства и были неоднократно, между прочим, поводом к тому, что Новгород так сильно держался Киева и впоследствии должен был уступить в борьбе с восточной Русью за право местной отдельности. Притязаниям великих князей Ростовско-Суздальской Земли, а потом Московской, помогали эти обстоятельства. Таким образом, сохранилось в течение веков направление, указанное нами, как характеристическая черта новгородской истории — сочетание стремления к удержанию местной независимости с признанием законности и необходимости связи с остальным русским миром для единства всей Русской Земли.

В эпоху господства федеративнаго строя русской общественной жизни не ослабевало в ней стремление к единству, заключавшее в себе семена будущаго единодержавия, которому суждено было развиться после толчка, даннаго внешними завоеваниями. Это стремление выражалось первенством великих князей над всеми князьями и Землею русскою, и вместе с ним как бы соединялась идея о первенстве одной Земли над прочими. Когда усобицы и гибельныя разорения от чужеплеменников лишили Киев сил и средств удержать древнее первенство, на востоке стремление к нему является в Суздальско-Ростовской Земле. Открывается посягательство на подчинение Новгорода. Здесь было что-то не совсем для нас ясное; здесь кроются какия-то древние отношения Новгорода к Суздальско-Ростовской Земле, которые едва мерцают в древнем их соединении по поводу призвания варяжских князей. Нет сомнения, если верить

буквальному смыслу летописи, что Ростов и Суздаль находились в древности в связи с Новгородом и, вероятно, последний имел над ними первенство. Даже в XII веке Новгород помнил свое старое первенство, и в истории Всеволода-Гавриила есть намек, что Новгород предпринимал войну с претензиями на первенство, заявлял какое-то право считать своею принадлежностью Суздальско-Ростовскую Землю. Князь противился новгородскому желанию и ссылался на княжеский раздел; Новгородцы представляли против этого свои древние народные счеты по землям. Война эта была неудачна и прекратила покушение Новгорода; но после того начались обратныя покушения Суздальско-Ростовской Земли на Новгород. В этой борьбе, которая потянулась на столетия, видны не только княжеские попытки, но также и стремление Восточно-русской Земли. Когда великий князь Всеволод воевал против Новгорода и осаждал Торжок, сам Всеволод готов был отступить от города и прекратить вражду, но мужи его Земли требовали взятия города и изъявляли злобу на Новгород. Когда Мстислав Удалой с Новгородцами вошел в Суздальские Земли, то Суздальцы ополчились против Новгородцев с той же народною неприязнию. Это соперничество, вначале народное, перешло потом к Москве и превратилось в борьбу местнаго вечевого начала с единодержавным. Эта-то борьба наполняет политическую историю Новгорода; она-то и доканала его независимость.

До татар два великих события в этой борьбе дали перевес Новгороду и утвердили его самобытность: чудо Знаменской Богородицы и победы Мстислава Удалого. Первое облекло религиозным благословением свободу Великаго Новгорода и его местную самобытность; вторыя оградили надолго Новгород от покушений владимирских князей и поставили в определенныя границы их взаимныя отношения.

Новгород хотел самостоятельности, но не хотел оторваться от русскаго мира и организоваться в общество, чуждое для последняго. Он готов был признать старейшинство суздальско-ростовского князя и получить князей от руки его, лишь бы только с противной стороны признаваема была его автономия в союзе русских земель. Так и было. После побед Мстислава обстоятельства и, в особенности, потребность получать хлеб дали в Новгороде перевес партии, клонившей его к подчинению владимирским князьям. Но уже прежних попыток, какие

Мятеж новгородцев. Убийство Захария Овина.
Миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI в.).

дозволяли себе Андрей и Всеволод, долго не было; владимирские князья признавали за Новгородом его право; князья Владимирской Земли, приезжая на княжение по избранию, были осторожнее в покушении превысить ту меру власти, какая им давалась от народа. Можно сказать, что подвиги Мстислава Удалого приостановили рождающееся единодержавие, поставили границы верховной соединительной власти и утвердили федеративный порядок. Для прочности его недоставало того, чему зародыш положил еще Владимир Мономах, — общаго сейма князей и Земель. Может быть, обстоятельства и выработали бы это учреждение, народ новыми опытами дозрел бы до уразумения средств к поддержке начал общаго союзнаго отечества. Но тут нагрянули татары.

Татарское завоевание не коснулось Новгорода и Земли его; как повествует летописец, сто верст всего не дошли завоеватели до Новгорода, и это событие было важно для дальнейшей судьбы его. Старое, еще не достроенное здание русской федеративной державы было разбито; от него остался на севере угол: то был Новгород с Псковом — своим меньшим братом. Татары только то считали собственностью, что успели разорить; Земля разоренная доставалась им во владение, и все, что только на ней являлось, почиталось достоянием хана. Новгород и Псков не сделались этой печальной собственностью, потому что не были покорены и разорены. Новгород при Александре Невском должен был временно покориться судьбе и допустить ханских численников, а впоследствии платить выход и участвовать в общей дани, вносимой ханам Россиею; но то были временныя пожертвования общему русскому единству сознанием того, что Новгород есть Русская Земля и должен нести общее бремя до известной степени. Это была вместе с тем, предохранительная уступка сильным врагам, сделанная для того, чтобы избавиться от столкновений, которыя при несчастном повороте судьбы могли лишить его самобытности и свободы. Тогда как в пределах обширной восточной Руси, раздвигавшей время от времени свои границы, под правом завоевания возникал единодержавный уклад, образовывались и утверждались новые политические и общественные начала, в Новгороде и Пскове господствовали древние понятия об автономии Земли. Земля в смысле нации не стала собственностью никаких князей: она принадлежала самой себе, то есть народу, выражавшему свое бы-

тие внешнею формою веча. Новгород в этом смысле представлял как бы лицо владельца — он и назывался государем, то есть владельцем, хозяином. От имени Новгорода заключались договоры, велись войны, издавались законы, учреждался всякий порядок. Мало-помалу, прежнее значение новгородскаго князя перешло к великому князю; в Новгороде хотя были другие князья, но уже не в качестве правителей Земли, а как призываемые предводители войска. Князь великий представлял над ним выражение верховной связи с русским миром. Но тогда московские князья начали заявлять стремление к единодержавию; Москва стала грозить подчинением себе других народностей. Новгород должен был вынести борьбу за свою местную самостоятельность и за старый вечевой порядок. В Новгороде, так сказать, нашли последнее прибежище свободныя федеративныя начала, изгнанныя из других Земель. Он не думал об отложении, но по-прежнему хотел удержать федеративную связь с прочей Россиею. От этого в политической деятельности по отношению к великим князьям не было ничего новаго, не видно ничего прогрессивнаго. Новгород стоял за старину, но в то же время в его устройстве лежало начало прогресса, хотя неудобосовершимаго. Старое было недостроено; дело шло о том, чтобы докончить то, что начато еще в IX веке, и докончить не так, как внезапное завоевание в XIII веке повернуло ход в русской истории.

Пока еще единодержавие не взяло окончательнаго перевеса над старинным складом, Новгород мог бороться; но когда в народных понятиях всей остальной Руси единодержавие стало нормальным порядком, Новгород со своими старыми началами должен был или отложиться от русского мира, или подчиниться добровольно новым требованиям. Новгород, каким он был, становился анахронизмом. От этого-то поход Ивана III возбудил к себе симпатию в народе; война его с Новгородом была делом общерусским, делом Церкви и народа. Новгород действительно бросился было на отчаянную меру — выбиться из прежней колеи: он отдавался литовскому князю; попытка не удалась: Новгород был покорен.

Иван III понимал, что Новгород не может добровольно подчиниться новому порядку, когда старое в нем сжилось с вековыми привычками и нравами общественнаго и политическаго быта. Надобны были решительныя меры. Иван употребил их. Иван не удовольствовался снятием

колокола и уничтожением веча и звания посадника — Иван уничтожил Новгород до корня, переселив его жителей по разным краям, подчиненным Московской державе, и заменив прежнее население новым, чуждым прежних местных воспоминаний. Опустошение Новгородской Земли совершилось в чрезвычайной степени и было значительнее, чем сколько обыкновенно полагают. По известиям летописи, из Новгорода выведено было до 18 000 семей — следовательно, полагая *minimum* на семью по четыре души, до 72 000 душ. Если взять во внимание, что было еще много таких, которые, спасаясь от жребия, грозившего Новгороду, успели убежать в Литву, то без преувеличения можно полагать, что город лишился совершенно прежняго населения. Что касается до пригородов и волостей, то там совершилось сильное потрясение. Владельцы земель — бояре и дети боярские — были выведены: им даровали земли в других местах. Всего нагляднее это показывается в дошедших до нас от конца XV века писцовых книгах, где беспрестанно означаются земли, бывшие достоянием старых Новгородцев, признанныя потом землями великого князя и раздаваемыя в поместья иным слугам, более верным и надежным. Что касается до простого народа, то и масса его в те печальные годы пострадала жестоким образом. У Ивана были две войны с Новгородом, обе ведены были опустошительно. Шло дело не о том, чтобы разбить новгородское войско, заставить Новгородцев покориться воле великаго князя; Иван хотел обезсилить его, довести до ничтожества: войска, распущенныя отрядами на восток и на север, истребляя селения на земле, принадлежащей Новгороду, убивали беззащитных людей, а те, которые успевали уйти, должны были после умирать с голоду, потому что ратные люди везде истребляли хлебные запасы. Из двух войн Ивановых одна происходила летом, другая — зимою. Во время первой поселяне еще могли кое-как спасаться в болотах и лесах и уносить с собой часть своего достояния. Во время второй войны лишенные крова и продовольствия жители должны были толпами замерзать от холоду и умирать с голоду. Народонаселение Новгородской Земли должно было значительно уменьшиться и обезсилеть. Это обстоятельство неизбежно должно было страшным образом потрясти древнюю новгородскую народность; остатки прежняго населения разрослись под другими условиями и смешались с приливом народонаселения из других зе-

мель. Оттого-то от древней новгородской народности остались одни развалины.

Новгород в русской истории выразил сторону жизни удельно-вечевого характера, отличную от единодержавной, которой представительною силою сделалась Москва. Новгород совместил в себе то, что было достоянием всех Земель в свое время, и представил это ясно в своей истории. Новгород стоял за федеративный строй Русской Земли и за местную и личную свободу; Москва хотела сделаться центром России, притянуть к себе все ея силы, поглотить собой самодеятельность ея частей; Москва домогалась единаго государства, слития особенностей, подчинения личности общественной воле, выражаемой совмещением ее в идеале верховной власти.

Два принципа воплощались в исторической жизни противоположными явлениями, и потому неизбежна была борьба на жизнь и смерть для их исторических представителей.

Я не имею целью излагать перед вами, мм., гг., подробно состояние, быт и устройство Новгорода. Это могло бы только послужить предметом целаго курса. Укажу только на главные черты. Названия и частныя приложения идеи — предметы второстепенные и являлись на Руси в различных видах; но самая идея оставалась везде одна и та же и выражалась одним и тем же очерком своей первобытной формы.

Главное, чем отличался Новгород, как представитель удельно-вечевого уклада, это — принцип местной автономии Земли, в федеративной связи с другими землями, выражаемый известною формою народоправления, на основании сочетания родового права с личной свободой. Местная автономия не только поддерживалась самим Новгородом для себя, но допускаема была и в подчиненных ему пригородах и селах; лучшим доказательством этого служит то, что слово «вече», означавшее народное правительственное собрание, до сих пор осталось в северном наречии в значении сходки и показывает, что древнее вече, как выражение самоуправления общины, не было принадлежностью одного верховного города страны, а было достоянием каждой жилой местности, каждой общины, как скоро естественным путем она в известных границах сознавала свою автономию. Во всей политической деятельности Новгорода не видно домогательства централизующей власти; Новгород довольствовался признанием своего первенства и соблюдением

связи, условливающей единство частей земли. Пермь и Югра управлялись своими князьями и в таком положении были застигнуты государственною системою Ивана. Двинская Земля, уже заселенная новгородским племенем, была так слабо прикована к центру, что образовала в себе много местных стремлений, которые повлекли ее к попыткам отторжения от новгородской власти, и которыя, однако, были так слабы для того, чтобы совершить отпадение члена, прежде чем не поражена была голова. Псков составлял некогда часть Новгородской Земли, как скоро он ощутил в себе элементы самобытности, тотчас и обособился с своею волостью, в виде отдельной Земли, и Новгород признал его самобытность, довольствуясь только союзом с ним, выражавшимся тем, что Псков считался меньшим братом Новгорода. Этот недостаток централизации, быть может, был одной из причин, что Новгород, владея огромными пространствами, не мог собрать в пору правильных сил для защиты своих границ; на западе заходили за них Шведы и Крестоносцы; на востоке и на юге переходили они в сферу Восточно-русской Земли. Так не устоял он и против московскаго покушения. Не имея в себе единодержавнаго государственнаго принципа, он не мог бороться с этим принципом, который окреп в соседстве: ибо для такой борьбы нужны были равные силы, и средства, и приемы. Совсем не то является в Восточно-русской Земле; там в прогрессивном ходе развития ее крепости местная самобытность частей приносится в жертву нивелирующему центру; местные привычки и обычаи должны были изглаживаться и принимать, по крайней мере в главных чертах, один вид. Там, где прежние предания казались тверды и упорны, сделались потребными крутые средства, переселения и даже опустошения страны. Весь народ должен был слиться в сплошную массу, проникнутую одним духом повиновения и готовности стать на защиту отвлеченной идеи государства, для распространения его пределов и для поддержки его чести.

В Новгороде все исходило из принципа личной свободы. Общинное единство находило опору во взаимности личностей. В Новгороде никто, если сам не продал своей свободы, не был прикован к месту; Новгородец должен был подчинять свою личность общей воле только тогда, когда живет в общине; но он всегда мог выйти из нее и идти куда хочет. Так равно и в Новгороде всякий мог приходить и жить полноправно. Оттого Новгород был

постоянно убежищем всякаго рода изгнанников; по договорам должно было выдавать только уличенных преступников, да и то не исполнялось; а с другой стороны, по всему русскому миру рассеяны были дети Великого Новгорода. В московском мире, напротив, личность человека тянула к чему-нибудь: человек, сам по себе, не пользовался самобытным существованием: он был не более как единицею в общей сумме и отвечал, вместе с другими, за всех и за каждого из всех. Во внутренней истории московского народа слово «беглец» играет важнейшую роль, там личность долго пыталась вырваться от сковывавших ее уз. В новгородском мире беглец мог быть только преступник, осужденный законом и уклонявшийся от приговора над ним, или раб. Народоправление Новгорода носило характер этой же личной свободы: вече, сколько нам известно, было почти не связано формами и ограничениями. Оттенки происхождения и состояния, образовавшиеся в виде сословий, равномерно являлись в нем: как бояре и богатые купцы, так и бедняки-ремесленники и поденщики имели равное право участия. Представительства, сколько известно, не было, исключая только тогда, когда посылались куда-либо депутаты в посольстве, потому что, в последнем случае, самое дело этого требовало. На вече, по звону колокола, прибегал кто хотел: равномерно кто хотел, тот мог собираться и предлагать народу свое мнение. Такой способ общественной жизни тесно связан был с федеративным принципом: только при местной автономии частей возможны личная свобода и такое народоправление. Неудивительно, что свободное начало в Новгороде было источником вечного хаоса, смут и партий. Неравенство способностей и индивидуальных наклонностей и временных предразсудков безпрестанно выдвигало на первый план личности и фамилии, налегавшия на массу произволом и насилием; но зато не могли они ввести для своих эгоистических видов ничего прочнаго и, в свою очередь, отступали, побежденные дружным усилием массы. Таким образом, в новгородской истории встречается часто, почти постоянно, борьба чернаго народа с так называемыми боярами. Свобода выдвигала бояр из массы; но тогда эгоистическия побуждения влекли их к тому, чтобы употребить свое возвышение себе в пользу, в ущерб оставшихся в толпе; но та же самая свобода подвигала толпу против них, препятствовала дальнейшему их усилению и наказывала за временное господство —

низвергала их, для того, чтобы дать место другим разыграть такую же историю возвышения и падения. Свобода, не облегченная в сознательныя, прочныя формы, зависела от духа, от степени умственнаго развития, от понятий о нравственном и общественном долге. Для того, чтобы свободныя начала развивались, нужны были побуждения к саморазвитию народа, а их не только не было, но еще столкновение обстоятельств препятствовало тому. Выше мы заметили, что почва Новгородской Земли была неплодородна, и это ставило Новгород в зависимость от других частей русскаго мира. Климатические особенности вообще не принадлежали к таким, которые располагают к живой умственной работе; религиозность, составляющая исключительный круг духовной деятельности, уклонилась в аскетическую и обрядную односторонность, вместо того, чтобы оказывать благодетельное влияние приложением к жизни общечеловеческих, христианских начал. Соседство с Западом и торговые сношения с Немцами не сблизили Новгорода с Европою морально, потому что Немцы всегда показывали эгоистическую политику, клонившуюся к тому, чтобы эксплуатировать Новгород для своих целей, и сознательно, умышленно старались не допускать Новгородцев до знакомства с европейским просвещением. Но главное, что не дозволяло Новгороду идти со своею свободою по пути исторического прогресса, было то, что удельно-вечевое начало, котораго он держался до конца, было пригодно для целой Русской Земли, а не для одной ее части в отдельности. Обстоятельства сломили это начало в других частях; Новгород остался с ним, как развалина прежнего. Ни условий, ни средств, ни стремлений к организованию из себя отдельной державы он не имел; оставаться со своими особенностями в ином мире ему нельзя было. Рухнуло удельное вечевое начало в русском мире, — должно было рухнуть оно и в последнем углу, куда приютилось было в течение того времени, как созрело новое. По естественному закону, угол этот должен был испытать участь целаго здания, котораго частью не переставал быть никогда.

Мы не поклоняемся теории неизбежного исторического прогресса, по которой следует признавать лучшим все, что случилось позже, и в каждом историческом перевороте видеть какую-то необходимость и нормальность. Мы не будем, при виде печальных исторических явлений, утешать себя мыслью, что эти явления были

необходимы для других, более светлых и отрадных. Не станем, в этом отношении, уподобляться Скалозубу, находившему, что пожар Москвы служил ей к украшению. Если несомненно, что Новгород, оставленный сам по себе, не мог осуществить в своем быте начал федеративной независимости с ясными формами самобытности, то нельзя сказать, чтоб эти начала были безплодны по своему существу, если б продолжали возрастать в целой Руси, и что, напротив, другие, их заменившие, были и выше, и благодетельнее. Но, с другой стороны, то, что уже свершилось, должно разсматривать, как совершенное. Единодержавный принцип государственности, единства восторжествовал над удельно-вечевым началом федерации — и образовалось огромное, могучее государство. К великой цели образования этого государства направлялись все главныя историческия достижения со времени Иоанна III. Государственность объединила русский народ; саморазвитие народных сил было поглощено делом этого единства; свобода общины и лица приносилась ему в жертву.

Громадный труд Петра Великого завершил то, что приготовлено было предшествовавшими веками; он повел единодержавную государственность к ея полному апогею. Государство обособилось от народа, составило свой круг, образовало особую народность, примкнутую к власти; круг ея расширялся, захватывая к себе верхние слои народа. Таким образом, в русской жизни возникли две народности: одна — народность государственная, другая — народность массы, народность, которая, будучи рассматриваема с государственной точки зрения, доросла до единства в совокупности местных видов, лишенных своего проявления, но сохранивших свою частную физиономию под неотразимым влиянием условий географических и этнографических. Крепостное право, формировавшееся в течение долгого времени прогрессивным ходом, было самым осязательным, самым крайним выражением перевеса государственного начала над народным и разделения власти от народа; оно одну часть народа ввело в область власти и оторвало от другой, другую оставило в исключительной народной сфере без всяких прав самодеятельности. Для обеих сторон такое положение становилось невыгодным.

В наше время сама власть увидела это и производит мудрые повороты общественного механизма: я говорю о свежем событии, столь благотворно поколебавшем судь-

бу заснувшей народной жизни. Это событие есть начало новой русской истории: государственность примиряется с народностью. Драма, которой пролог показался в XIV веке и первое действие разыграно при Иване III, приближается к своему пятому акту и развязке. Долго составлялось русское государство и ограничивало, стесняло народную жизнь, потому что последняя мешала его образованию, нося в себе древния удельно-вечевыя привычки. Наконец, государство вполне составилось, окрепло, побороло все внутренние и внешние препятствия. Его разложение более невозможно. Государство стало твердо и непоколебимо не внешними, а внутренними условиями. Сознавая свою полную силу, государство само пробуждает народную жизнь: пробуждает к свободной деятельности — мы вступаем в новую историю. Не станем обольщаться и придавать нашему времени более того, что зрелое обсуждение факта может вам сообщить мимо всякаго увлечения. Мы ничего еще не видим, кроме зародышей новой истории; но довольно того, что есть хоть какие-нибудь зародыши. От обстоятельства будущаго зависит, будет ли их рост совершаться быстро или медленно. Пусть государство не мешает свободе местной народной жизни, потому что оно крепко и сильно; а последняя не будет бояться государства, находя в нем покровительство своему развитию. Инициатива нового зачатка в истории нашей народной жизни принадлежит государю. История безпристрастно оценит его вместе с его веком.

1861

8

Если в концепции Костомарова выделяется националистический фактор, то В. О. Ключевский уделяет пристальное внимание влиянию географической среды на уровень торговли, экономики, политики Руси. Географическая среда, по мнению Ключевского, определяла своеобразие новгородской истории. Историческая концепция Ключевского — отражение идейно-политического кризиса буржуазно-либеральной историографии в конце XIX — начале XX столетия.

Разночинец по происхождению (сын сельского священника), Ключевский с малых лет знал жизнь русского крестьянства, постоянно проявлял глубокий интерес к историческим судьбам своего народа. Юность Ключевского протекала в Московском университете в переломные годы — в период первой революционной ситуации в России, падения крепостного права и буржуазных реформ 60-х годов. Острые события современности произвели боль-

шое впечатление на молодого историка, его привлекала критика крепостнических идей революционными демократами.

В политической деятельности Ключевский, впрочем, почти не участвовал. Тем не менее вся его научная и педагогическая деятельность сводилась к отрицанию самодержавия при безусловно враждебном отношении к революции.

Ключевскому была ясна историческая неизбежность падения самодержавия. В своих трудах он исследовал его роль в русской истории, которую оценивал весьма критически, так же как и роль дворянства. Это отношение к самодержавию привлекало массу слушателей на лекции Ключевского в Московском университете.

Несмотря на внутреннее сочувствие к судьбе и положению народа, историк решительно отрицал тезис об активной, творческой роли народных масс в истории.

Ключевский разрабатывал «идеальную» схему бесклассового человеческого общежития, руководимого общими для всех интересами и разумом. В своей идеалистической формулировке Ключевский придавал особое значение экономической истории. По Ключевскому, величие Новгорода определялось не политическим устройством, а широтой торговых операций. Ключевский прямо констатирует эту зависимость: «Политический строй Новгорода Великого, т. е. старшего города в своей земле, был тесно связан с местоположением города», «торговля внутренняя и внешняя была жизненным нервом Новгорода».

Он считал, что «ни в одном другом краю древней Руси не встретим такого счастливого подбора условий, благоприятных для широкого развития политической жизни». К этим «благоприятным условиям» (которые историк называл «дарами исторической судьбы») Ключевский относил раннее освобождение Новгорода от «давления княжеской власти», возможность стать «в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев», избавление от «непосредственного гнета и страха татарского», раннее вступление «в деятельные торговые сношения» и «культурные связи» с европейским Западом, возможность быть «несколько веков торговым посредником между этим Западом и азиатским Востоком», являться «экономическим и политическим центром громадной промышленной области».

Говоря о причинах, приведших к крушению политической вольности Новгорода, Ключевский наряду с социальной и земской рознью внутри Новгородской земли и слабостью военных сил подчеркивает ее торговую зависимость от Низа (Северо-Восточной Руси). Несмотря на политическое обособление Новгорода, «оставалась экономическая зависимость от Низа, от центральной княжеской Великороссии», связанная с тем, что «Новгород всегда нуждался в привозном хлебе с Низа». По мнению историка, торговля *пересилила* политический строй Новгорода.

Творчество В. О. Ключевского при всей мировоззренческой противоречивости сохраняет большое значение и до настоящего времени не только как свидетельство достижений русской исторической науки второй половины XIX — начала XX века, но и как богатое наследие, помогающее лучше понять различные вопросы в истории России (в том числе и Новгорода Великого), некоторые из которых до сих пор остаются спорными.

В. О. Ключевский

ИЗ «КУРСА РУССКОЙ ИСТОРИИ»

РАЗВИТИЕ НОВГОРОДСКОЙ ВОЛЬНОСТИ

...В начале нашей истории Новгородская земля по устройству своему была совершенно похожа на другие области Русской земли. Точно так же и отношения Новгорода к князьям мало отличались от тех, в каких стояли другие старшие города областей. На Новгород с тех пор, как первые князья покинули его для Киева, наложена была дань в пользу великого князя киевского. По смерти Ярослава Новгородская земля присоединена была к великому княжеству Киевскому, и великий князь обыкновенно посылал туда для управления своего сына или ближайшего родственника, назначая в помощники ему посадника. До второй четверти XII в. в быте Новгородской земли не заметно никаких политических особенностей, которые выделяли бы ее из ряда других областей Русской земли; только впоследствии новгородцы в договорах с князьями ссылались на грамоты Ярослава I, по которым они платили дань великим князьям. Это было письменное определение финансовых отношений, которые в других старших городах устанавливались устными договорами князей с вечем. Но со смерти Владимира Мономаха новгородцы все успешнее приобретают преимущества, ставшие основанием новгородской вольности. Успешному развитию этого политического обособления Новгородской земли помогали различные условия, которые нигде, ни в какой другой русской области не приходили в такое своеобразное сочетание, в каком они действовали в судьбе Новгорода. Одни из этих условий были связаны с географическим положением края, другие вышли из исторической обстановки, в какой жил Новгород, из внешних его отношений. Укажу сперва географические условия. 1) Новгород был политическим средоточием края, составлявшего отдаленный северо-западный угол тогдашней Руси. Это отдаленное положение Новгорода ставило его вне круга русских земель, бывших главной ареной деятельности князей и их дружин. Это освобождало Новгород от непосредственного давления со стороны князя и его дружины и позволяло новгородскому быту развиваться свободнее, на большом просторе. 2) Новгород был экономическим средоточием края, наполненного лесами и болотами, в ко-

тором хлебопашество никогда не могло стать основанием народного хозяйства. Наконец, 3) Новгород лежит близко к главным речным бассейнам нашей равнины, к Волге, Днепру и Западной Двине, а Волхов соединяет его прямым водным путем с Финским заливом и Балтийским морем. Благодаря этой близости к большим торговым дорогам Руси Новгород рано втянулся в разносторонние торговые обороты. Таким образом, промышленность и торговля стали основанием местного народного хозяйства. Столь же благоприятно для развития новгородской вольности складывались и внешние отношения. В XII веке усобицы князей уронили княжеский авторитет. Это давало возможность местным земским мирам свободнее определять свои отношения к князьям. Новгород шире всех воспользовался этой выгодой. Став на окраине Руси, с нескольких сторон окруженный враждебными инородцами и притом занимаясь преимущественно внешней торговлей, Новгород всегда нуждался в князе и его боевой дружине для обороны своих границ и торговых путей. Но именно в XII веке, когда запутавшиеся княжеские счеты уронили княжеский авторитет, Новгород нуждался в князе и его дружине гораздо менее, чем нуждался прежде и чем стал нуждаться потом. Потом на новгородской границе стали два опасных врага, Ливонский орден и объединенная Литва. В XII в. еще не грозила ни та, ни другая опасность: Ливонский орден основался в самом начале XII в., а Литва стала объединяться с конца этого столетия. Совокупным действием всех этих благоприятных условий определились и отношения Новгорода к князьям, и устройство его управления, и его общественный склад, и, наконец, характер его политической жизни. <...>

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ НОВГОРОДА

Непримиримые противоречия политической жизни Новгорода стали роковой причиной внутреннего разрушения его вольности. Ни в каком другом краю древней Руси не встретим такого счастливого подбора условий, благоприятных для широкого развития политической жизни. Новгород рано освободился от давления княжеской власти и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев, не испытал непосредственного гнета и страха татарского, в глаза не видал ордынского

баскака, был экономическим и политическим центром громадной промышленной области, рано вступил в деятельные торговые сношения и мог вступить в тесные культурные связи с европейским Западом, был несколько веков торговым посредником между этим Западом и азиатским Востоком. Дух свободы и предприимчивости, политическое сознание «мужей вольных», поднимаемое идеей могущественной общины «господина Великого Новгорода», — нигде более в древней Руси не соединялось столько материальных и духовных средств, чтобы воспитать в обществе эти качества, необходимые для устроения крепкого и справедливого общественного порядка. Но Великий Новгород так воспользовался доставшимися ему дарами исторической судьбы, что внешние и внутренние условия, в первоначальном своем сочетании создавшие политическую вольность города, с течением времени приведены были в новую комбинацию, подготовлявшую ее разрушение. Мы еще раз бросим беглый взгляд на изученную нами судьбу Новгорода в кратком обзоре недостатков, укоренившихся в его политической жизни.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЗНЬ

Природа Новгородской земли, рано вызвав оживленный и разносторонний торгово-промышленный оборот, открывала населению обильные источники обогащения. Но богатства распределялись с крайней неравномерностью, которая, закрепившись политическим неравенством, разбила общество на дробные части и создала *социальную рознь,* глубокий антагонизм между имущими и неимущими, между правящими и работающими классами. Смуты, какими эта рознь наполняла жизнь Новгорода в продолжение веков, приучали степенную или равнодушную часть общества не дорожить столь дорого стоившей вольностью города и, скрепя сердце или себе на уме, обращаться к князю, от него ждать водворения порядка и управы на своевольную вечевую толпу и своекорыстную знать.

ЗЕМСКАЯ РОЗНЬ

Политическая свобода помогла Новгороду широко развернуть свои общественные силы, особенно на торгово-промышленном поприще. Начало автономии легло и

в основу политического быта местных миров, из которых сложилась Новгородская земля. Но при неумелом или своекорыстном обращении центра с местными мирами эта общность политической основы стала причиной *земской розни* в Новгородской области. Неурядицы и злоупотребления, шедшие из Новгорода в пригороды и волости, побуждали их стремиться к обособлению, а местная автономия давала к тому возможность, и Новгород не обнаружил ни охоты, ни уменья привязать их к себе крепкими правительственными узами либо прочными земскими интересами. Описывая новгородские злоупотребления, летописец с горечью замечает, что не было тогда в Новгороде правды и правого суда, были по всей области разор и поборы частые, крик и вопль, «и все люди проклинали старейшин наших и город наш». Крупные области Новгородской земли издавна стремились оторваться от своего центра: Псков уже в XIV в. добился полной политической независимости; отдаленная новгородская колония Вятка с самых первых пор своей жизни стала в независимое отношение к метрополии; Двинская земля также не раз пыталась оторваться от Новгорода. В минуту последней решительной борьбы Новгорода за свою вольность не только Псков и Вятка, но и Двинская земля не оказали ему никакой поддержки или даже послали свои полки против него на помощь Москве.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НИЗА

Мы видели, как много содействовало успехам новгородской вольности политическое обособление Новгорода от княжеской Руси. Но оставалась *экономическая зависимость* от Низа, от центральной княжеской Великороссии. Новгород всегда нуждался в привозном хлебе с Низа. Это заставляло его поддерживать постоянно добрые отношения к Низовой Руси. Суздальские князья, враждуя с Новгородом, легко вынуждали у него покорность, задерживая в Торжке обозы с хлебом, направлявшиеся в Новгород. Поэтому Новгородцы не могли быть долго во вражде с низовыми князьями: по выражению летописца, тогда «ни жито к ним не идяше ни отколеже». В Новгороде начиналась дороговизна, наступал голод; простонародье поднималось на бояр и заставляло их идти на мировую с князем. В 1471 г. прекращение подвоза хлеба Иваном III и восстание простого народа в

Новгороде довершили торжество Москвы, начатое победой на Шелони. Но Новгород не умел и не мог приобрести себе искренних и надежных друзей ни среди князей, ни в Низовой Руси. Чужой для князей, точнее, ничей, но богатый Новгород был для них лакомым куском, возбуждавшим их аппетит, а новгородское устройство было для них досадным препятствием, мешавшим воспользоваться этим куском. Разнообразные причины рано поселили и в населении княжеской Руси враждебное отношение к Новгороду. Эти причины были: своеобразный политический быт Новгорода, частые походы новгородских «молодцов», разорявших встречные города Низовой Руси по Волге и ее притокам, ранние и тесные торговые и культурные связи Новгорода с немецким католическим Западом, наконец, и более всего, союз с литовским королем-папежником. Вот чем объясняется радость, с какою Низовая Русь приветствовала разгром Новгорода при Иване III. Здесь на новгородцев привыкли смотреть как на крамольников и вероотступников, вознесшихся гордостью. В глазах низового летописца новгородцы хуже неверных. «Неверные, — по его словам, — искони не знают бога; эти же новгородцы так долго были в христианстве, а под конец начали отступать к латинству; великий князь Иван пошел на них не как на христиан, а как на иноплеменников и вероотступников». В то время как Ивановы полки громили новгородцев в низовых областях, сам народ добровольно собирался большими толпами и ходил на Новгородскую землю за добычей, так что, по замечанию летописца, весь край был опустошен до самого моря.

СЛАБОСТЬ ВОЕННЫХ СИЛ

Наконец, существенным недостатком новгородского устройства была *слабость военных сил*. Новгороду рано, особенно с XIII в., пришлось вести многостороннюю внешнюю борьбу со шведами, ливонскими немцами, Литвой и русскими князьями, из-за него соперничавшими. Потом он сам неразумно усложнял свои внешние затруднения ссорами со своим бывшим пригородом Псковом. В этой борьбе Новгород выработал себе военное устройство с тысяцким во главе. Главную силу составляло народное ополчение, *полк*, набиравшийся на время войны по *разрубу*, разверстке, из обывателей главного города, пригородов и сельских волостей. Внешнюю борь-

Осада Новгорода Иваном III.
Миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI в.).

бу облегчали Новгороду князья с их дружинами, которых он призывал к себе, и Псков, на который по его пограничному положению падала наибольшая тяжесть борьбы. С половины XIV в. во внешних отношениях Новгорода наступило затишье, изредка прерывавшееся столкновениями на западных границах. Но он не воспользовался столетним покоем, чтобы обновить и усилить свое старое военное устройство, напротив, по-видимому, допустил его до упадка в привычной надежде среди соперничавших князей всегда найти себе союзника. Но к половине XV в. на Руси уже не стало соперников, боровшихся за Новгород: за него боролись только Москва и Литва. Не приготовив своей силы, достаточной для обороны, Новгород до времени лавировал между обеими соперницами, откупаясь от той и другой. Москва грозила Новгороду уничтожением вольности. Чтобы спасти ее, оставалось искать спасения у Литвы; но союз с Литвой казался изменой родной вере и земле в глазах не только остальной Руси, но и значительной части самого новгородского общества. В последние годы независимости новгородцы больно почувствовали свой недосмотр. В походе 1456 г. 200 москвичей под Руссой наголову разбили 5 тысяч новгородских конных ратников, совсем не умевших биться конным строем. В 1471 г., начав решительную борьбу с Москвой и потеряв уже две пешие рати, Новгород наскоро посадил на коней и двинул в поле тысяч 40 всякого сброда, гончаров, плотников и других ремесленников, которые, по выражению летописца, отроду и на лошади не бывали. На Шелони $4^{1}/_{2}$ тысячи московской рати было достаточно, чтобы разбить наголову эту толпу, положив тысяч 12 на месте.

ОБЩАЯ ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ВОЛЬНОГО ГОРОДА

Таковы недостатки новгородского государственного строя и быта. Не подумайте, что я изложил их, чтобы объяснить падение Новгорода. Эти недостатки важны для нас не как причины его падения, а как следствия противоречий его политического склада, как доказательство, что в ходе исторических дел есть своя логика, известная закономерность. Около половины XV в. мыслящие люди Новгорода, предчувствуя его падение, расположены были видеть причину приближавшейся беды в городских раздорах. Новгородский архиепископ Иона,

отговаривая Василия Темного незадолго до его смерти от похода на Новгород, обещал великому князю испросить у бога его сыну Ивану свободу от Орды за сохранение свободы Новгорода и при этом, вдруг заплакав, произнес: «Кто может озлобить толикое множество людей моих, смирить величие моего города? Только усобицы сметут их, раздор низложит их». Но в судьбе Новгорода усобицами, как и другими недостатками его быта, можно объяснить разве только легкость его покорения Москвой. Новгород пал бы, если бы и был от них свободен; участь вольного города была решена не местными условиями, а более общей причиной, более широким и гнетущим историческим процессом. Я указывал на этот процесс, заканчивая историю Московского княжества в удельные века. К половине XV в. образование великорусской народности уже завершилось; ей недоставало только единства политического. Эта народность должна была бороться за свое существование на востоке, на юге и на западе. Она искала политического центра, около которого могла бы собрать свои силы для этой тяжелой и опасной борьбы. Мы видели, как таким центром сделалась Москва, как удельные династические стремления московских князей встретились с политическими потребностями всего великорусского населения. Эта встреча решила участь не только Новгорода Великого, но и других самостоятельных политических миров, какие еще оставались на Руси к половине XV в. Уничтожение особности земских частей независимо от их политической формы было жертвой, которой требовало общее благо земли, теперь становившейся строго централизованным и однообразно устроенным государством, и московский государь явился исполнителем этого требования. А Новгород, по основам своего народного быта органическая часть Великороссии, жил отдельною от нее жизнью и хотел продолжать так жить, не разделяя ее интересов и тягостей: в 1477 г., переговариваясь с Иваном III, новгородцы ставили условие, чтобы их «в Низовскую землю к берегу» на службу не посылали — защищать южную окраину Московского государства от татар. Новгород при лучшем политическом устройстве мог бы вести более упорную борьбу с Москвой, но исход этой борьбы был бы все тот же: вольный город неминуемо пал бы под ударами Москвы.

1882—1883

9

Ни либерально-дворянская, ни либерально-буржуазная историография Новгорода не смогла, да и не могла дать правильного прочтения истории Новгородской республики. Даже либеральная оппозиционность самодержавия нивелировалась конечным, итоговым выводом, проповедью достижения гармонии в обществе путем реформ сверху. История Новгорода подгонялась под схему. Изучение внутренней истории новгородского общества сталкивалось с классовой ограниченностью исследователей.

Только революционно-демократическое направление историографии XIX века сделало несомненный шаг вперед в трактовке новгородской истории. Но революционные демократы не смогли сформулировать цельную концепцию. Середина и вторая половина XIX столетия выдвинула когорту борцов, сплоченных единством борьбы за народное дело. Устремленность к этой цели была альфой и омегой революционных демократов.

Но и у них существовали различия в с п о с о б а х ведения борьбы. И эти различия определялись даже в выборе и применении революционных символов, в том числе идеи новгородского «народоправства». Середина XIX века четко выявила два важнейших направления в изучении и использовании новгородской тематики.

Первое продолжало традиции Радищева и декабристов, с характерным обостренно-восторженным, романтическим отношением к вечевой «вольнице». Романтизм декабризма обусловил романтизм А. И. Герцена и его сторонников, утвердил в передовых кругах русской интеллигенции идею безоговорочного противопоставления новгородского «народовластия» московскому самодержавию.

Второе направление характеризовалось рационально-реалистическим отношением к истории Новгорода. Представителям этого направления (В. Г. Белинскому, Н. В. Шелгунову, в определенной степени Н. Г. Чернышевскому) был чужд пафос романтиков, усматривавших в Новгороде оплот «народовластия», последнюю баррикаду вечевой «вольности» на пути московского самодержавия. По справедливому мнению реалистов, Новгород не мог быть оплотом в силу классового расслоения, в силу социальных противоречий, потрясавших всю систему Новгородской республики.

В своем стремлении резче обозначить социальную, олигархическую сущность общественных институтов Новгорода В. Г. Белинский (1811—1848) сознательно гиперболизировал отрицательные стороны политического строя Великого Новгорода. Так, рассматривая цикл сказаний о Василии Буслаеве, критик определял его значение «как мифическое выражение исторического значения и гражданственности» Новгорода.

Белинскому представлялось странным мнение «многих ученых, которые от чистого сердца, т. е. не шутя, видели в Новгороде республику». В полемическом азарте он утверждал, что «от создания не было более бестолковой и карикатурной республики... это был инфузорий жизни, но не государство». Свои наблюдения В. Г. Белинский подкреплял политическими противоречиями внутри Новгорода, которые тормозили развитие его государственной жизни.

Белинский угадал характер государственного управления Новгорода, справедливо назвав его «аристократией богатства». Не менее проницательна его оценка исторической прогрессивности присоединения Новгорода к Москве: «...если бы Москва допустила существование Новгорода, — он пал бы сам собою и стал бы легкою добычею Польши или Швеции. Что не развивается, то не живет, а что не живет, то умирает: таков мировой закон всех гражданских обществ».

Отношение Белинского к степени зрелости «гражданской» системы Новгорода проистекало не из недооценки роли государственных институтов, а из желания обнажить антагонистический характер олигархического управления Новгородской республики.

Наиболее последовательный сторонник Белинского, Н. Г. Чернышевский, к сожалению, не затронул истории Новгорода в своем творчестве. Тем не менее отношение Н. Г. Чернышевского и его единомышленников к устройству Великого Новгорода раскрывается через публицистику Н. В. Шелгунова, испытавшего большое влияние Чернышевского на формирование своего мировоззрения. Революционный демократ, публицист и литературный критик, Н. В. Шелгунов (1824—1891) был активным участником революционного движения 60-х годов, автором прокламаций — призывов к революционному низвержению эксплуататорского строя («уничтожение дармоедов»), в 70-х годах отбывал в Новгороде политическую ссылку.

Прочтение Шелгуновым новгородской истории обнаруживает близость к позиции Белинского. Шелгунов считал, что новгородцам присущи «провинциальные — децентрализаторские тенденции», чуждые «интересам большинства русского народа». Наиболее законченную оценку политической истории Новгорода Шелгунов выразил в статье «Русский романтизм».

Шелгунов сопоставил Новгород с рабовладельческими республиками прошлого, отметил аристократический характер новгородского республиканского управления и отсутствие в Новгороде подлинного «народоправства». По мнению автора, это естественно там, где вся сила и власть, все руководство внешней и внутренней политикой сосредоточены в руках боярства («богатых и лучших людей»), где смуты составляют постоянное явление политической жизни.

Более того, Шелгунов констатировал, что «в сущности одна идея лежала в основании московского единовластия и новгородского народоправства, и Новгород был таким же полновластным господином в подвластных ему землях, каким был московский князь в своих владениях».

Шелгунову, как и Белинскому, была свойственна реалистическая оценка новгородского общественного устройства. Сарказм Белинского к новгородскому «народоправству» обнаруживается в его оценке государственности Новгорода как «зародыша чего-то». Язвительность Шелгунова проявляется в определении «политического быта» Новгорода как рабства и «на рабстве созданного». Оба революционных демократа направили свои усилия к тому, чтобы развеять романтическую дымку вечевой «вольницы» в русской историографии XIX века, и оба реалистически оценивали новгородское общественное устройство.

В. Г. Белинский

ИЗ «СТАТЬИ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ»

Не говоря уже о том, что в этой поэме [былинном цикле о Василии Буслаеве. — *А. Х.*] очень много... поэзии и силы в выражении, — в ней есть еще не только мысль, но и что-то похожее на идею. Эту поэму должно понимать как мифическое выражение исторического значения и гражданственности Новгорода. История Новагорода не могла дать содержания для чисто исторической поэмы; или, лучше сказать, государственная идея Новагорода не могла выразиться в исторически-поэтической форме и по необходимости должна была ограничиться смутными, неопределенными и дикими мифическими полуобразами, очерками и намеками. Точность и определенность есть одно из главнейших и необходимейших качеств и условий истинной поэзии; но это качество (точность и определенность) зависит от одного содержания: чем содержание существеннее, действительнее, субстанциальнее, тем и форма точнее и определеннее, образы яснее, живее и полнее. Всякая народная поэзия начинается мифами; но и мифы могут иметь свою ясность, определенность и, так сказать, прозрачность: только для этого необходимо, чтобы выражаемое ими содержание было *общечеловеческое* и заключало в себе возможность дальнейшего диалектического развития, а следовательно, и возможность служить содержанием для поэзии, развившейся и возросшей до своей апогеи — до художественности. Новогородская жизнь была *каким-то* зародышем *чего-то,* по-видимому, важного; но она и осталась зародышем *чего-то:* чуждая движения и развития, она кончилась тем же, чем и началась — *чем-то,* а *что-то* никогда не может дать определенного содержания для поэзии и по необходимости должно ограничиться мифическими и аллегорическими полуобразами и намеками. Новгород, несомненно, был колониею Южной Руси, которая была первоначальною и коренною Русью. Колонии народов, находящихся на низкой степени гражданственности, всегда бывают цивилизованнее своих метрополий: они составляются из самой предприимчивой части народа, которая, переселившись на новую почву и под новое небо, поневоле отрешается от ограниченности прежнего быта, открывает новые источники жизни, указываемые новою страною, и, удерживая много от духа прежней родины, много и из-

меняется в своем характере. Почва Новагорода бедная, болотистая, климат холодный; это обстоятельство, в соединении с соседством немцев, и направило поневоле деятельность новогородцев на торговлю: по невозможности быть земледельцами, они оторвались от общего славянского быта и сделались купцами; соседство же с немцами еще более способствовало развитию их предприимчивости. Но, сделавшись купеческим городом, Новгород отнюдь не сделался муниципальным городом, и новогородцы, сделавшись купцами, отнюдь не сделались гражданами торговой республики: у них не было цехов, не было определенного разделения классов, которые составляют основание торговых государств, не было ни малейшего понятия о праве личном, общественном, торговом. Там все были купцами случайно и торговали на авось да наудачу, по-азиатски. Дух европеизма всему определял значение, всему указывал место, все силился освободить от случайности и подвести под общие, неизменные и определенные условия необходимости; все подчинял системе; ремесло возвышал до искусства; из искусства делал науку. Ничего этого не было и тени в основах новогородской гражданственности. Внешние обстоятельства были причиною ее возникновения: внешние обстоятельства и доконали ее. Бессилие разъединенной Руси дало Новгороду укрепиться, а соединение Руси в одну державу, без борьбы и особенных усилий, ниспровергло его. И если бы Москва допустила существование Новгорода, — он пал бы сам собою и стал бы легкою добычею Польши или Швеции. Что не развивается, то не живет, а что не живет, то умирает: таков мировой закон всех гражданских обществ. В Новгороде не было зерна жизни, не было развития, а потому, повторяем, из него ничего не могло выйти, и он никогда не был органически-политическим обществом, у которого бы могла быть история, а следовательно, и поэзия.

Но, с другой стороны, нельзя не признать Новгорода весьма примечательным явлением, имевшим важное влияние даже на Московское царство. Торговля родила в Новгороде богатство, а богатство породило дух какого-то самодовольствия, приволья, удальства, отваги, молодечества. Вследствие этого, в Новогороде образовался род какой-то странной и оригинальной гражданственности; явилась аристократия богатства, с особенными формами жизни, своим церемониалом, своими общественными нравами и обычаями, своею общественною и семейною нрав-

ственностью. Все это, вместе взятое, сделалось типом русского быта. Новгород был богат, силен и славен на Руси, в то время когда Русь была бедна и бессильна, когда в ней не было никакой общественности, никакой гражданственности, когда в ней было не до прохлады, не до роскоши, не до удальства и разгула: ее терзали сперва междоусобия, потом татары. Теперь очень понятно, что Новгород для тогдашней Руси был тем же, чем теперь Париж для всей Европы. <...>

1841—1842

Н. В. Шелгунов

НОВГОРОДСКИЙ РОМАНТИЗМ

Романтический порыв единоличного произвола, выразившийся в организации новгородской республики, мог привести только к анархии интересов и к падению республики. Великий Новгород, как и древний Рим, не знал равноправности и не признавал равного человеческого достоинства. Новгородские славяне с самого начала вносят в свои политические учреждения идею рабства и на рабстве создают свой политический быт. Идея власти — единственная идея, доступная общим понятиям; христианский идеализм воспринимается только внешним образом, как формальное учреждение, но остается вне всякого социального влияния. И классическая идея власти, идя своим логическим путем, приводит, наконец, к тому историческому явлению, которое известно под именем «великого Новгорода» и борьбы его с Москвою.

В сущности одна идея лежала в основании московского единовластия и новгородского народоправства. Действительного народоправства в Новгороде никогда не было. Учреждения Новгорода были аристократические. Правили бояре, богатые и лучшие люди; только в их руках была вся сила и власть; только они были руководителями внешней и внутренней политики; только они решали, чему быть и чему не быть. Великий Новгород, как древний Рим, решал от себя все вопросы, а все остальное, принадлежавшее Новгороду, беспрекословно исполняло его повеления. В этом случае положение пятин, подвластных Новгороду, не отличалось ничем от положения княжеств и областей, подвластных Москве. В одном слу-

чае все исполнялось по воле «великого Новгорода» как отвлеченной идеи власти; в другом — по воле «великого князя», изображавшего такую же отвлеченную идею. «Великий Новгород» был абсолютным государем своих земель, каким был и московский князь своих владений. Начал истинного народоправства, вытекавших из сознанной идеи равноправности, в великой новгородской республике нигде не видно. Стихийно проходит ее бурная, шумливая и беспорядочная жизнь, и в шестьсот лет своего, только по внешности, республиканского строя Новгород приходит лишь к бессильной анархии и падает под ударами более последовательной Москвы.

В великом Новгороде только одни новгородцы были полноправными гражданами, именно: посадники, бояре, дети боярские, купцы, жилые люди и черные люди. Сельское население — крестьяне, жившие на своих землях, и смерды, жившие на чужих, подобно союзникам древнего Рима, не имели никакого политического значения. Вообще, по социальному составу населения и началам управления, «великий Новгород» составляет явление совершенно аналогичное с первобытным Римом. Оттого-то их и постигла одна судьба. Рим, не признававший равноправности, всегда обнаруживал деспотические тенденции; идеал власти был для него высшим идеалом; логически разрабатывая свою классическую идею, он последовательно пришел к цезаризму и к соединению власти в одном лице. На том же пути стоял и Новгород. Как у римлян, только римляне были полноправными гражданами, так у Новгорода гражданами были только новгородцы; как у римлян союзники и народы, жившие на римских землях, не имели политического голоса и беспрекословно повиновались его воле, так не имели голоса новгородские пятины, и все новгородское сельское население беспрекословно повиновалось своему государю — Новгороду; как у римлян были рабы, не имевшие никакого социального значения, так у Новгорода были холопы.

Новгородские рабы не имели ровно никаких прав — ни гражданских, ни юридических. Свидетельство раба не имело никакой силы, даже если он показывал против раба. Раб находился в полной, безусловной власти своего хозяина и продавался как вещь. Бедность и народные бедствия способствовали большему и большему развитию этого института, потому что бедняки, не имевшие средств существования, продавались в холопы и распродавали в рабство своих детей. Даже смерды были, наконец, обра-

щены в рабов и лишены своих юридических прав: в XV столетии богатые новгородские землевладельцы добились того, что смердов сравняли с холопами.

Таким образом, вся политическая жизнь сосредоточивалась в одном Новгороде, и принимали в ней участие одни новгородские граждане. И здесь мы находим родственные черты с Римом, напоминающие постоянную борьбу патрициев с плебеями. Новгород еще не успел выработать наследственного патрициата; в его бояре пока выходят лучшие, более даровитые и более богатые люди; но в новгородской идее нет ничего, что бы не могло помешать боярству сделаться наследственным. Единственная помеха пока — отсутствие твердых правительственных принципов и политического плана, а вовсе не отсутствие желания действовать в своих личных эгоистических интересах. Зная только одно начало — личную выгоду и один принцип — власти, личности, выдвигавшиеся на первый план, тотчас же начинали дружить своим и давили массу произволом и насилием. Новгородские плебеи были поэтому постоянно озлоблены против новгородских патрициев и смуты составляют постоянное явление новгородской политической жизни.

...Когда читаешь римскую историю и прослеживаешь борьбу патрициев и плебеев, всегда находишь точные, ясные социальные или юридические причины, вызывающие столкновения. То народ требует юридических прав, чтобы иметь голос в решениях; то он стремится к тому, чтобы установить правосудие; то он требует законов, которые бы обеспечили его материальное существование. Новгородские плебеи и патриции, — по крайней мере, сколько это видно из летописей, — ни в чем не заявляют ясных и сознательных юридических или экономических стремлений. Их борьба упорна и продолжительна, но это всегда — смута, т. е. стремление и порыв освободиться из-под гнета давящей власти. Мы видим постоянную борьбу единоличных произволов, неприводящую однако никогда к каким-нибудь точным и прочным юридическим последствиям... Вся борьба только, по-видимому, из-за места. Бояре давят народ, а народ протестует. Но всякий протестующий плебей, как только добивается привилегированного положения, немедленно начинает давить тех, кто ниже его, и эксплуатирует их в свою пользу. Понимания солидарности интересов не существует, государственный идеал не выработался, прочных и обеспечивающих личность учреждений нет. В этом смысле Новгород

далеко не похож на Рим, в котором классическая идея власти выражается в форме разработанного и точно установленного юридического права. Идея эта может быть ошибочна в своем основании, но у нее есть, по крайней мере, логическое оправдание. Новгород не доходит до такой умственной высоты: идея власти не имеет у него никакой юридической разработки, она пока — личный порыв, зачаточная форма, выражающаяся самым первобытным образом.

Не получив рассудочного движения, идея власти во всю историю новгородской республики осталась сырым порывом и не вышла из пределов той стихийной бессознательности, которая идет путем голого факта и действует под влиянием случайностей. Рассудочный элемент вовсе не заметен в истории «великого Новгорода», ибо внутренние дела его чем дальше, тем шли хуже. Летописец новгородский постоянно упрекает своих в своеволии, разбоях, насилиях, грабежах, пожарах... Наконец, в последний момент своей политической независимости Новгород представлял следующую картину внутреннего быта. «В то время (1446 г.), — говорит летописец, — не было в Новгороде правды и правого суда, встали ябедники, изнарядили четы, обеты и крестныя целования на неправду, начали грабить по селам, волостям и по городу, и были мы в поругание соседям нашим, сущим окрест нас, были по волости изъезды великие и боры чистые, крик, рыдание, вопль и клятва от всех людей на старейшин наших и на город наш, потому что не было в нас милости и суда правого».

Эта новгородская неурядица была нисколько не лучше неурядицы московской. Повсюду один принцип, одно начало и одно последствие. Кажущаяся новгородская свобода никогда не бывала ею в действительности, и сношения с Европой, торговый союз с Ганзой, поездки новгородцев за границу не помогли ни пробуждению социального сознания новгородцев, ни юридическому их развитию.

Во всю историю России романтизм не проявил такого бессилия, как в новгородской республике. Русские историки полагают, что Новгород потому слился с Москвою, что всегда находился в материальной зависимости от остальной России. Почва его не отличалась плодородием, и потому он должен был получать хлеб из русских областей; с другой стороны, он служил как бы транзитным путем, через который шли в Россию товары с Запада.

Вследствие этого Новгород постоянно держался Киева, а ростово-суздальские, а потом московские князья не отказывались никогда от своих на него притязаний.

Но никакая косвенная зависимость, никакие притязания князей не повели бы ни к чему, если бы только новгородское сознание было способно встать на высоту того романтического порыва, который побуждал личность искать себе политический центр тяжести. Новгород в своих сношениях с Европой имел, по-видимому, возможность усвоить ее гражданские познания, ее дух, ее направление. Французы, увидевшие мавританскую цивилизацию, вносят ее начала к себе и создают рыцарство. Новгород не вносит ничего; он даже обнаруживает крайнее бессилие, в торговых сношениях с немцами он постоянно у них в руках, и от новгородской торговли с Ганзой наживались только немцы. Новгородцы не научились от иностранцев даже никаким техническим приемам.

Новгород был русским окном в Европу и однако через это окно не прошло к нам ни единого луча света, ни одной европейской идеи. А между тем Новгород находился в исключительно выгодном положении сравнительно с остальной Россией. Его не коснулся татарский погром, он не знал княжеских усобиц, он не имел дела ни с печенегами, ни с половцами и пользовался миром, не известным другим областям. Все это могло бы дать Новгороду не только первенствующее, но решительное значение в судьбах России; он мог бы быть нашим Петербургом уже в XII столетии; он мог бы быть источником и центром русской цивилизации, передовой умственной силой, за которой бы пошла вся остальная Россия.

Не внешние обстоятельства были причиной того, что все случилось иначе; никакие внешние обстоятельства не помешали Риму сделаться мировым центром; ему никто не дал классицизма в готовом виде — он сам создал его; он сам создал свою юридическую науку... До того был не в состоянии додуматься «государь великий Новгород», который все крепче и крепче затягивал узел неравноправности и стал, наконец, «в поругание соседям..., сущим окрест». Новгород был некогда центром, куда все недовольное и искавшее успокоения устремилось из остальных русских областей; но «крик и рыдания, вопль и клятва... на старейшин» скоро разрушила этот идеал русского романтизма. <...>

1873

10

Реалистический подход к проблемам новгородской истории не мог не сказаться на позициях романтиков. Их признанные лидеры А. И. Герцен (1812—1870) и Н. П. Огарев (1813—1877) в самой трактовке истории Новгорода, его государственных органов, в оценке процесса присоединения Новгорода к Москве шли дальше декабристов. Их концепция совмещала романтическое отношение к Новгороду как к республиканскому символу с определенной реалистичностью оценки исторического прошлого.

Подобный синтез в значительной степени определялся потребностями агитационно-пропагандистской работы, рассчитанной на широкие массы, поиском своеобразной символики для идеологического воздействия. Вечевой колокол древнего Новгорода для Герцена и Огарева — олицетворение могучего свободного голоса, поднимающего народ на «форум», на борьбу с ненавистной монархией. Недаром созданная ими свободная бесцензурная газета получила красноречивое название «Колокол» как воспоминание о вечевом колоколе Новгорода, столь ненавистном для московского самодержца.

Нельзя, конечно, не учитывать и того обстоятельства, что сложившаяся к тому времени тенденция историков рассматривать Новгородскую республику как общину отвечала духу учения Герцена, его убежденности в спасительности русской общины. Идея о превосходстве общинно-республиканских учреждений над монархическим режимом неизбежно приводила Герцена к вечевому устройству Новгорода и Пскова.

Эта идея — центральная для герценовской концепции истории России. Герцен усматривал в ней непрерывную борьбу двух начал: вечевого устройства и самодержавия.

Победа в этом поединке была на стороне Москвы, потому что Новгород «не имел силу освободить Россию и следственно не мог занять первого места в Новом государстве. Освободить Россию можно было, только сосредоточив все силы: этого не мог сделать прибрежный торговый город. Центральная Москва сосредоточила силы на освобождении, она стала во главе государственной организации» (Н. П. Огарев).

Свой итог размышлений о судьбе Новгорода Великого Герцен завершил формулировкой: «Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни». Тезис Герцена приобрел чрезвычайно широкую популярность в передовых слоях русской интеллигенции. А так как борьба с самодержавием оставалась главной и первоочередной задачей, акцент формулировки переносился на вторую ее половину.

В то же время сам Герцен в оценке финальной стадии борьбы Новгорода с Москвой обнаруживал несомненное и глубокое понимание процесса централизации: «Необходимость централизации была очевидна, без нее не удалось бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства».

Реалистические тенденции пробивались сквозь романтизм Герцена не только в обращении к историческому прошлому Новгорода, но и в литературном изображении современного ему города. (В 1841—1842 годах Герцен отбывал в Новгороде политическую ссылку.)

Герцен показал город, полный социальных противоречий и потрясений, с неразвитой экономикой и культурой. На примере

превращения Новгорода Великого в «дрянной городишко» царской России автор убедительно демонстрировал губительную роль самодержавия на жизнь «вечевой столицы».

Обращение к современному Новгороду было своеобразной реакцией на чувство умиления и любования, характерное для многих дворянских писателей и публицистов при виде Новгорода.

«Вельтман, — замечает Герцен, — писал книгу о «Господине нашем Великом Новгороде» и плакал от умиления, встретившись нечаянно на улице с Ярославовой башней. Я не плакал о господине-слуге, а не раз содрогался. Здания, пережившие смысл свой, наводят ужас...»

А. И. Герцен

ИЗ СТАТЬИ «НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ И ВЛАДИМИР НА КЛЯЗЬМЕ»

Владимир относится к Москве так, как Новгород к Петербургу. Владимир был столицей, велик и славен, как можно было быть великим и славным на Руси. Задушенный татарами, он уступил Москве, пошел к ней в подмастерья, когда она села хозяйкой всяким пронырством и искательством; но он сохранил в своих воспоминаниях былую славу, помнит Андрея Боголюбского и древность своей епархии. Что-то тихое, кроткое в его чертах, осыпанных вишнями. Москва любила таких не слишком удалых соседей и помощников, и между ними завязалась искренняя, дружеская связь; что было лишней крови, Москва высосала, и отставной столичный город, как истинный философ или как грузинский царевич, довольный тем, что осталось, — хотя и ничего не осталось, кроме того, чего взять нельзя, — ничего не хочет, ничего не усовершает, строго держится православия и не заслуживает брани, может, потому, что и похвалить не за что. И Новгород был столицей, и поважнее — он был республикой, насколько можно было быть республикой на Руси. Душить его принялись мастера не татарам чета: два Ивана Васильевича да один Алексей Андреевич *. Татары народ кочевой, ни в чем нет выдержки: придут, сожгут, оберут, разобидят, научат считать на счетах, бить кнутом, а потом и уйдут себе черт знает куда. Нехристи и варвары. Православные Иваны Васильевичи, особенно последний, принялись за дело основательнее. Память вышиб своей долбнею царь Иван Васильевич из новгородцев, а долбня эта осталась и хранится в соборе; Вельтман писал книгу о «Господине нашем Новгороде Великом» и

плакал от умиления, встретившись нечаянно на улице с Ярославовой башней. Я не плакал о господине-слуге, а не раз содрогался. Здания, пережившие смысл свой, наводят ужас, когда вы спросите об них новгородца, выросшего и состарившегося здесь, и он вам ответит: «Говорят, еще до Петра строено». Софийский собор стоит на том же месте, а против него губернское правление с какой-то подьячески осунувшейся фасадой. В соборе хранится, как я сказал, долбня, а в губернском правлении в золотом ковчеге — записка Аракчеева к губернатору о убийстве его любовницы.

Как Новгород жил от Ивана Васильевича до Петербурга, никто не знает; вероятно, корни гражданственности были и не глубоки и не живучи, вероятно, сам Новгород ужаснулся греху торговать с Ганзою и не слушаться указов. Грязный, дряхлый и ненужный стоял он, пока Петербург подрастал, обстроился; но в нем не осталось ничего старинного русского и не привилось ни одной капли европейского; нравы Новгорода представляют уродливую и отвратительную пародию на петербургские. Нравы Петербурга могут быть сносны только в этом вечном вихре, шуме, стуке, треске, при новостях, театрах, пароходах, кофейных и иных увеселительных заведениях. Бедный и лишенный всяких удобств Новгород невыносимо скучен. Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая канцелярия, набитая чиновниками. Нет общественности, подьячие по-петербургски держат дверь на ключ и не сходятся. Немного смешное гостеприимство подмосковных губерний имеет всегда какую-то бономию; цинический эгоизм новгородцев поселяет отвращение. Тут в первый раз приезжающий из внутренних губерний может узнать, что такое петербургский чиновник, species petropolina, minïsterialis [1], это махровый чиновник, далеко оставляющий за собою мелких плутов, уездных и губернских.

В Новгороде каждое неосторожное слово может навлечь бедствия; Петербург научил cidevant [2] республику наушничать. В губерниях подмосковенных говорите что хотите, разумеется, не поймут, коли дело скажете, но и не донесут: «Мы-де дворяне». <...>

1842

[1] Вид петропольский, министерский *(лат.)*. — *Ред.*
[2] Прежнюю *(франц.)*. — *Ред.*

А. И. Герцен

ИЗ СТАТЬИ «О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ»

В XV и даже в начале XVI века ход событий в России отличался еще такой нерешительностью, что оставалось неясным, который из двух принципов, определяющих жизнь народную и жизнь политическую в стране, возьмет верх: князь или община, Москва или Новгород. Свободный от монгольского ига, великий и могучий Новгород, привыкший считать себя суверенным, богатый благодаря оживленной торговле, которую он вел с ганзейскими городами, метрополия, имевшая широкую разветвленную сеть владений по всей России, — Новгород всегда ставил права общины выше прав князя. Москва — удел, верный своим князьям, — поднявшаяся милостью монголов на развалинах древних городов, заселенная племенем, никогда не знавшим настоящей общинной свободы киевского периода, — Москва одержала верх. Но у Новгорода также были основания надеяться на победу, этим и объясняется ожесточенная борьба между обоими городами, как и зверства, совершенные Иваном Грозным в Новгороде. Россия могла быть спасена путем развития общинных учреждений или установлением самодержавной власти одного лица. События сложились в пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой — но какой ценою? Это самая несчастная, самая порабощенная из стран земного шара, Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни. <...>

Оправившись мало-помалу от учиненного монголами разгрома, русский народ очутился лицом к лицу с царем, с неограниченной монархией, гнет которой был особенно тяжким благодаря влиянию, приобретенному ею под сенью ханской власти. Царь успел объединить большую часть уделов, включив их в свою московскую вотчину. Он стал могущественнее всех других князей вместе взятых и населения городов. Найдя крамольников, будь это князья или города, он подчинял их своей власти с кровожадной жестокостью. Новгород крепко держался, но в конце концов пал; большой колокол, сзывавший народ на площадь, так называемый вечевой колокол, — в качестве трофея был перевезен в Москву, в тот самый город, который совсем еще недавно так презирали новгородцы. Новгородские послы сказали Ивану III: «Ты ве-

лишь нам приноровиться к московским законам, но мы не знаем, какие такие московские законы, научи нас, как их знать». Иван IV не забыл этой насмешки. После разграбления Новгорода, взятия Пскова и покорения Твери остальные города не могли и думать о серьезном сопротивлении, тем более что уже много претерпели от всяких нашествий, монголов ли, поляков ли, или литовцев. Веча умолкали одно за другим, во всем государстве наступила глубокая тишина, цари становились самодержавными, всемогущими. <...>

1850

Н. П. Огарев

ИЗ СТАТЬИ «ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА О ПРИСЯЖНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»

Меньшая доля Руси, ее западная грань, Новгород и Псков, стоя на рубеже и торгуя с Европой произведениями остальной Руси, смотрела на княжескую власть не только равнодушно, но и враждебно и вырабатывала формы республиканские. Выражал ли Новгород тайную мысль целой Руси, мысль правления и суда мирского, вечевого, или, добиваясь свободы торгового города, он был способен создать только городскую олигархо-буржуазную республику, — это едва ли можно решить с достоверностью. Для этого надо знать, какое было бы развитие России без татарского вторжения...

...Один Новгород, имея более средств откупаться, умел все время отлынивать от татар; но не он имел силу освободить Россию и следственно не мог занять первого места в Новом государстве. Освободить Россию можно было, только сосредоточив все силы; этого не мог сделать прибрежный торговый город. Центральная Москва сосредоточила силы на освобождении, она стала во главе государственной организации. Родовые формы правления быстро попадали, а вслед за ними выросшая сила сгладила под одно и обе западные республики.

1861

11

70—80-е годы прошлого столетия изменили направление революционной деятельности разночинской интеллигенции. Народников в большей степени интересовала не теория, а практика борьбы. Революционная молодежь искала идеалы не в средневековых республиках-общинах, а в современной крестьянской общине. Теоретики народничества искали реальное подтверждение своим концепциям в истории крестьянства, в истории народных движений.

Тем не менее, когда практика агитационно-пропагандистской работы требовала конкретного выражения своей политической идеи, народники обращались к образу Новгорода. Революционеры 80-х годов видели в истории Новгорода зачатки «новой свободной России».

Так, в прокламации 1881 года «Новая Русь» представлялась как «Русь Новгородская», которую подавили «татаро-московские хищники и гольштинские выходцы». Безымянный автор прокламации был уверен, что «Новая Русь будет страной народной вольницы, широкого общинного самоуправления, народного веча».

В условиях пореформенной России, заряженной революционными идеями, поэт, революционный демократ М. Л. Михайлов (1829—1865) обратился к образу легендарного Вадима Новгородского (баллада «Вадим», 1861), превратив его в организатора народного восстания против деспота-князя.

Продолжая традиции декабристской поэзии, Михайлов устами Вадима призывал к борьбе против «княжьей сволочи» и «тюремного наряда». Его герой уверен, что

........наше дело
Не умрет, и рано ль, поздно
Отзовется; восстановим
Новгородскую свободу.

Идея в спасительность русской общины продолжала жить и в революционно-демократическом движении. Конечно, она была поколеблена неудачами массовых «выходов» революционно настроенной молодежи в народ, но не уничтожена. Утопическая вера в социалистическую крестьянскую общину была еще сильна, а массовые репрессии самодержавия против участников «хождений в народ» приводили к теоретическому осмыслению практической неудачи.

Своеобразную попытку народнического осмысления истории общины продемонстрировал историк-демократ А. П. Щапов (1831—1876). Историческое мировоззрение Щапова самым непосредственным образом сливалось с его политическими убеждениями. Сын сельского дьячка в Иркутской губернии и бурятки прошел нелегкую жизненную школу. Мировоззрение Щапова формировалось в конце 50-х годов, когда в стране вызревали громадные перемены, набирало силу революционное движение. Тесно связанный с судьбами народа, Щапов органически воспринимал идеи революционных демократов, хотя и не обладал глубиной их теоретического мышления.

Ученый не отходил от острых политических событий. 16 апреля 1861 года он принял участие в панихиде по жертвам царского расстрела в селе Бездна. Воодушевленный примером вооружен-

ного выступления крестьян, Щапов закончил свою речь провозглашением «демократической конституции». По дороге в Петербург, куда он направился, чтобы быть в центре нарастающего революционного движения, Щапов был арестован. По отбытии срока его лишили права педагогической деятельности. За свои связи с Н. Г. Чернышевским и герценовским «Колоколом» Щапов был вновь арестован, а затем выслан на родину, где в нужде и болезнях прошли последние годы его жизни.

Для исторической концепции А. П. Щапова характерна резкая критика абсолютистского государства.

Исследователь выделял два периода в истории России: земельно-областной и государственно-союзный. Отличительными чертами первого периода он считал самобытность, самостоятельность и естественность развития областей, вечевое управление. Начало второго периода Щапов связывал с образованием Московского государства, когда централизация неминуемо уничтожила все областные особенности, вечевое управление.

Симпатии историка были целиком на стороне «вечевого этапа» в истории России. Щапов высоко оценивал демократичность вечевого управления Новгорода. Особо отмечал в истории веча борьбу «меньших людей с вятшими». Боярство считал «чуждым пришлым княжеско-дружинным элементом», нарушавшим «единство и равенство», ибо оно несло «яд аристократизма» в демократический организм Новгорода.

Период образования централизованного государства на Руси ученый называл «московским насилием большим», которое, «как зима, побивало самые юные ростки, зачатки вечевого организма».

Таким образом, герценовская концепция борьбы двух начал в истории России, своеобразно интерпретированная Щаповым, сохранялась в исторических изысканиях демократического направления отечественной историографии.

Восприняв революционную страсть у вождей революционной демократии, основательно изучив «Капитал» К. Маркса, Щапов, однако, не смог приблизиться к тем теоретическим позициям, которые они разрабатывали.

Во второй половине XIX столетия обнаруживается поразительное явление: в условиях, когда романтический образ новгородской «вольности», созданный Радищевым и декабристами, постепенно тускнеет, когда реалистические тенденции характеризуют отношение к новгородской истории не только Белинского и Шелгунова, но и Герцена, когда предгрозовая атмосфера России начинена мощными классовыми зарядами, когда революционное движение демократизируется и выдвигает новые политические символы, идеалистическое восприятие Новгорода находит все более широкую аудиторию среди либерально настроенных кругов русского общества.

Либерал Н. И. Костомаров с его нарочитой оппозиционностью к самодержавию, выдержанной в националистическом духе, посвящает истории Новгорода фундаментальное исследование, тенденциозно озаглавленное «Севернорусские народоправства во время удельно-вечевого уклада (история Новгорода, Пскова и Вятки)». Его примеру следует славянофил И. Д. Беляев.

Еще интенсивнее романтический культ новгородской старины внедрялся в литературе. И. А. Гончаров в романе «Обрыв»

(1869) воспел гимн «великой русской Марфе», изобразил «царицу скорби», «истерзанную московскими орлами, но сохранившую в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода», «покорную телом, но не духом, и умирающую все посадницей, все противницей Москвы и как будто распорядительницей судеб вольного города».

Великие романтики Новгорода — Радищев, декабристы, Герцен — сопереживали борьбе новгородцев с тиранией, с самодержавием московских властителей.

Либералам несвойственно сопереживание. Для них характерен взгляд со стороны. Они не бросаются в столкновение страстей, а отдают должное новгородской «старине». Они не обнаруживают слез отчаяния перед новгородской катастрофой, а склонны к ностальгической тоске по ушедшим временам. Но выбор темы не мог не влиять на характер произведений. Пафос героики патриотизма врывается в картины любования древним Новгородом.

Показательна в этом отношении стихотворная драма А. К. Толстого «Посадник» (1867), которую сам автор считал лучшей своей вещью.

Героическая драма запечатлела эпизод из истории борьбы новгородцев с суздальцами.

Зима 1170 года. «Господин Великий Новгород» осажден неприятелем. Внутри города зреет измена богатых купцов и бояр. Они готовы предать свободу Новгорода, сдать город врагу. Бояре публично обвиняют в предательстве воеводу Черемного, храброго и стойкого патриота. Спасая честь военачальника, от которого зависит исход сражения с суздальцами, посадник Новгорода берет мнимую измену на себя, идет на казнь. Храбрые новгородцы во главе с Черемным спасают город.

Романтика патриотических доблестей неразрывно слилась в драме с реалистическими картинами жизни средневекового города. Однако пьеса Толстого не получила признания в прижизненной постановке. В реакции зрителей не обнаружилось склонности к идеалам прошлого. Драма была снята из театрального репертуара.

Героический пафос ее привлек к себе внимание коллектива Малого театра в трудное для страны время — в годы гражданской войны. Забытая пьеса в новых исторических условиях приобрела современное звучание, ибо отвечала революционно-патриотическим настроениям.

На переломе XIX—XX столетий революционное движение ушло далеко вперед от декабристской восторженности республиканским Новгородом, от идеализированного восприятия общинно-вечевого устройства Новгорода, характерного для многих революционеров-демократов. На арену политической борьбы России вышел пролетариат с его целенаправленной устремленностью в будущее. Реальность вытеснила утопию. Практика политической борьбы выдвигала свои, современные лозунги.

Тем не менее тема новгородской «вольности» с характерным противопоставлением ее самодержавной Москве не потеряла свою актуальность и значение.

Именно в моменты революционных ситуаций в литературе вновь возникал образ Новгорода, его исторических персонажей. К ним обращался М. Горький в 1902 году в незавершенной пьесе «Васька Буслаев», Д. Н. Мамин-Сибиряк в 1904 году напечатал

рассказ «Славен город Великий Новгород», а в 1908 году издал «новгородское предание» — «Сударь Пантелей-свет Иванович».

И вновь читатель проникся картинами острой социальной борьбы «низов», «молодших людей» против бояр и купцов, жарких схваток на Волховском мосту, откуда в речную пучину сбрасывали ненавистных богатеев; вместе с писателем любовался простыми людьми, руками и талантом которых создан Великий Новгород.

От новгородских рассказов Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852—1912) веет революционными идеями 1905—1907 годов.

Романтическую традицию использования образа «вольного» Новгорода в интересах борьбы с самодержавием воспринял Сергей Есенин (1895—1925). «Новгород вольный», «гордый», «город-буйница» воспет им в поэме «Марфа посадница» (1914) как носитель «вечевого» демократического строя, как оплот «буйницы старинной», «Вольному» гордому Новгороду и его защитникам во главе с Марфой посадницей противопоставлен самовластный и деспотичный «московский царь» с рабски преданным ему войском.

Используя исторические персонажи, Есенин создал собирательные образы. Марфа — олицетворение народной свободы, «святого» дела. Иван III — царь-деспот, царь — душитель свободы, который «продал душу свою антихристу».

Протестующий поэт призывает на битву за свободу, за использование «святого Марфина завета».

А. П. Щапов

ИЗ СТАТЬИ «ГОРОДСКИЕ МИРСКИЕ СХОДЫ»

Как излюбленно-народный, естественно-жизненный принцип образования городов составляет свободное торгово-промышленное самоустройство и саморазвитие их из сел и слободок без всякого вмешательства правительственного: так и естественный, жизненно-народный принцип городского управления и суда составляет излюбленное общинно-выборное самоуправление и самосуд. До вмешательства чуждых элементов — княжеской власти, служилого сословия — кормленщиков и проч., — сама естественная жизнь народа, как самобытный организм, развиваясь из себя самой, своими собственными внутренними силами и органами, вырабатывала, организовала, именно принципы излюбленного общинного самоуправления и самосуда. Как города, посады, слободы — починки городов, колонизовались, устроялись посредством добровольного *собрания людей отовсюду,* как первоначальные городские общины сообща, всем миром отводили следующим новопришельцам участки городских земель и черных дворов.., так и в делах внутреннего го-

родского самоустройства и самораспоряжения, в делах общинных городских вопросов и потребностей, так же естественно-общинная жизнь горожан необходимо создала и утвердила, своим извековечным, жизненно-созданным, общинно-бытовым обычаем, принцип городских *людских собраний, или сходов на думу, на веча.* Естественный закон общинной жизни, общинных интересов, общинности земли, общинности прав и пр., требовал и в мирах городских так же, как и в сельских, общинной сходчивости, совещательности. Происхождение этих городов из сел, прилив и преобладание в них сельского крестьянского, мирского элемента, тождество их с селами, служба крестьян в городах, — тоже условливали в городах такие же мирские сходы, какие были и в сельских мирах. И вот до развития княжеского, и особенно московско-царского приказного элемента, кормления, видим во всех городах людские собрания, сходы на думу, видим веча. «Новгородцы бо изначала, — говорит летописец, — и Смольняне, и Кыяне, и Полечане, и вся власти (волости), якоже *на думу на веча сходятся*»... Нет нужды исчислять все упоминаемые в летописях, под разными годами, в разных городах веча. Заметим только, что в 1261 г. по свидетельству новгородской летописи, происходили *веча* на бесермен * *по всем городам русским*... Как принцип естественно-жизненного, вольно-народного саморазвития городов полнее проявился в области новгородской колонизации: так принцип вечей получил более полную, цельную организацию и многосторонне проявился в Великом Новгороде. А затем уж — в младшем брате его — Пскове. Не вдаваясь в подробное, специальное изображение древнерусских городовых вечей, мы отметим только общие существенные начала, какие выразил в них дух народный. Составляя земско-бытовой обычай народный, не получивший даже определенно-положительной письменной уставности, письменного уложения, — веча не имели постоянного, единичного характера, твердой, однажды навсегда положенной, начертанной установленности. А как требовали события общинной городовой жизни, когда и как нужно было, — так и сзывались веча. Была полная демократическая свобода самовыражения народной жизни. Как *вольные мужи* новгородцы и *добровольные мужи* псковичи жили *на всей своей воле*, так и веча сзывались, устроялись на всей же их воле. Общий состав веча был земский, всенародный. Полный общинно-демократический состав его

определялся так: «посадник степенный великого Новгорода и старые посадники, тысяцкой степенный и старые тысяцкие, и бояре и житьи люди и купцы и черные люди, и весь великий Новгород, вольные мужи». Таким образом, все Новгородцы имели право быть на вече, и был на нем всякий, кто мог и хотел. Потому в летописи иногда говорится: *«сбрася весь град, людье»,* шедше *«весь народ, вси Новгородцы»* погадали *«со всем вечем...»;* или *«весь Псков* повелел намостити буевище»... Эти, конечно, гиперболические выражения показывают, что на вече имели право сходиться все земские люди Новгорода — и князь, и посадники, и бояре, и владыка, и игумены, и попы, и гости, или житьи люди, и купецкие дети, и все *вятшие люди,* и все *меньшие люди, простая чадь.* В этом полном составе своем *Вече* называлось иначе *Людским Собранием...* Никакое сословие, никакой чин на общем новгородском вече не выдаются отдельно. Тут — *весь великий государь Новгород.* Тут государствует *дума, гаданье, воля, хотение* всего новгородского земства, самих новгородцев. <...>

Главные предметы ведомства общего Веча, или людского собрания были следующие. Во-первых, вече избирало, судило, свергало князя, а виновного даже отдавало под стражу. <...>

Таким образом в Новгороде излюбленный выборный князь вовсе не был самодержавным и даже единодержавным государем, а *государь был весь Великий Новгород.* Князь целовал крест *«на всей воле новгородской»...* В Пскове — то же было...

Точно так же Вече избирало, судило и низводило посадников. <...>

Далее, Вече избирало и низлагало владык, игуменов, и даже решало религиозные, церковные вопросы... Иногда даже *простая чадь* своим вечем свергала владыку, — как, напр., в 1228 г. ... Избрав вечем нового архиепископа, старому новгородцы говорили: «поиди, где ти любо»... <...>

Вече принимало жалобы народные на кого бы то ни было, защищало уездных горожан и крестьян от насилия сильных. <...>

Вече распоряжалось землями своей области. К вечу обыкновенно обращались колонисты, поселенцы, когда хотели занять какую-нибудь землю. И вече давало жалованные грамоты на землю. В вечевых жалованных грамотах это выражалось в такой формуле: «и владыка нов-

городский, и посадник, и тысяцкий, и бояре, и житейские люди, и купцы и весь господин великий Новгород дали грамоту жалованную на вече, на Ярославле дворе». Вече заведывало общественными городскими постройками... Наконец, в порядке внешних отношений, веча собирались: 1) в случае прибытия или отбытия великокняжеского посольства; 2) в случае прибытия иноземного посольства; 3) в случае объявления войны, назначения воеводы и отправления рати в поход; 4) в случае заключения мира с неприятелем.

В истории древних городовых веч, и преимущественно в истории веча новгородского, общинно-демократического, особенно замечательна борьба земства с боярством, *меньших людей с — вятшими.* В эпоху первоначального естественно-исторического образования, сложения, установления земства, мира, боярство, как чуждый пришлый княжеско-дружинный, и притом большей частью иноплеменный элемент, очевидно, неловко, неестественно улегалось в состав земства, мутило, нарушало органическую целостность, единство, равенство мира, неестественно, изчужа, со стороны налегало на земство тяжестью своей власти и кормленья. Особенно ощутительна была вся неестественность вторжения в земство этих непрошеных гостей в новгородской общине, где наиболее заметна внутренняя цельность, самобытность, самовыдержанность и мирская равноправность. Демократическая кровь новгородцев тотчас ощутила весь разъедающий народный организм яд чуждого, пришлого боярского аристократизма. Низшие массы земства, *черные люди,* с первого же сближения с боярами стали заклятыми врагами их. Вражда эта усиливалась по мере того, как «бояре творяху собе легко, а меньшим *зло*». Злоба земства к боярству уже в XII веке достигла высшего развития, когда и летописец, говоря, напр., о татарском числе в Новгороде, заметил: «навел бог из пустыни звери дикие ясти сильных плоти и пити кровь боярскую»... Этот-то неизбежный, естественный антагонизм низших масс земства к боярству и выражался на вече Новгородском постоянной борьбой меньших людей с вятшими. Тогда меньшие, черные люди еще не были бесправны до такой степени, как стали после, напр., в XVIII столетии. В них кипела со всей пылкою горячностью, свежестью мощь, энергия демократической крови. Они были самовольны, самовластны, самоуправны. Они имели равное с князьями и боярами право участвовать на общем

вече, на великом людском собрании. Мало того: они имели право создавать и часто сзывали свое вече. При этой буйной воле, могучей силе, демократическая партия меньших, черных людей ни на шаг не уступала аристократическим притязаниям боярства. Присутствие и влияние, значение боярства в новгородском земстве было почти ничтожно. Демократизм массы всецело преобладал над аристократизмом боярства. И вот почему всякий раз, как случалась в новгородском вече борьба меньших и вятших людей, черни и боярства, — черные люди всегда выходили торжествующими, не смотря на то, что бояре часто поднимали против них целую сторону, хоть Софийскую. Уничтоженные, смиренные меньшими черными людьми, бояре называли их *братьями* и, как у братьев, просили *мира.* <...>

Своеобразна была жизнь вольного Новгорода, своеобразно было и его вече. Свобода и естественность — главные черты вечевых собраний. Не было никакой регламентации, предписательности, заранее определенных формальностей и уставов вечевых. Естественная жизнь только что слагала, организовала, развила формы Вечей. До уставной, законоположительной организации, определенности Веча еще не доросли. Естественное саморазвитие и самоустановление жизни новгородской, на широком просторе воли, энергии юной, кипучей, богатырской, только что вырабатывало, сообщало факты, материалы, данные народного опыта. Выводы из этих фактов только что возводились в *обычаи* Веча и изредка записывались в вечевые записи. Естественная, вольная, широкая, богатырская жизнь новгородская, не стесняясь никакими наперед предпоставленными регламентами, свободно развивала формы веча, и только свято блюла от московского и татарского прикосновения принцип Веча, и безподушного Земства, Мира, как *правду* и *волю новгородскую,* как старину и извековечную *пошлину.* И если вникнуть ближе в составные части целого новгородского веча, то, при всей наружной хаотической разрозненности, бессвязности их, можно приметить в их архитектонической постройке, закладке, самый естественный, правильный строй, самую связную последовательную ткань составных элементов. Как Новгород, в своем органическом колонизационном самоустройстве, естественно разделился на Славянскую сторону — средоточие славянского земства, и на Софийскую сторону — средоточие пришлых, чуждых элементов церковно- и княжеско-

служилых *, и потом подразделился на пять концов и множество улиц: так и вече новгородское органически слагалось из таких же частей. Каждая улица, живя самобытной жизнью в своей черте и в органической связи со всем Новгородом, имела своего посадника и могла созвать свое вече... Каждый конец мог созвонить вече и отдельно, сам собою, и вместе с другими концами. <...> Таким образом, бывало иногда, по словам летописи, «быша вечи во всю неделю» и по разным концам, и на обеих сторонах Новгорода. Все эти частные, *уличные, пятиконечные и ониполовичныя,* или двусторонние веча представляли не что иное, как полуразвившиеся составные элементы, части, предварительные, частные мирские сходы для организации и состава целого новгородского веча, для полного людского собрания. При чрезмерной обширности древнего Новгорода, при чрезвычайном множестве в нем улиц, и естественны и необходимы были отдельные веча по улицам и концам. Важные общественные интересы и дела, прежде окончательного обсуждения и решения на общем вече, требовали предварительного, частного соображения и обсуждения *уличан* и *кончан.* А иные дела и интересы и касались собственно той, или другой улицы, того, или другого конца в частности. Но как все концы и улицы составляли органические, неразрывные составные части Новгорода, жили общею, нераздельною жизнью, так и все частные, пятиконечные и уличные веча, как отдельные органы целого политического организма — всего Новгорода и целого новгородского Веча, естественно и большею частью неминуемо тяготели к целому составу Веча, к людскому сонму. Вот почему, почти всякий раз, как собирались веча порознь, по концам и сторонам, дело кончалось тем, что все уличные конечные и сторонние веча совокуплялись под конец в одно общее вече на Ярославле дворе, или у святой Софии. По выражению летописи, сходились *братья вкупе* однодушно на вече или — *сходились в любовь.* <...>

Таковы главные начала древних городовых вечей, или мирских народных сходов по городам. Грубы были формы их, грубы, буйны, дики проявления. Это чувствовали, сознавали сами древние новгородцы. Называясь *братиею,* устроясь по принципу братства и равенства, они видели и главную причину нестроенья вечевого — в недостатке духа братства, в *братоненавидении* и *непокорении друг другу.* В то же время, в бедствиях физических, в карающих явлениях природы, они читали

Апослѣжесеговелѣлкнзьвеликии
изновагородаколоколъвѣчнои
привестинамоскву. ипривезенъ
бысть. ивзнеслиегонаколоко
лницунаплощадиспрочимиколо
колызвонити. акаксясталъ
великиновъгород. ироусказе
мля. таковонани изневолениe
небывало. ниоткоторагоеликого

Вывоз из Новгорода вечевого колокола.
Миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI в.).

вразумление, побуждение к духу братства и любви. Летописцы нарочно, после рассказа о буйных вечах, указывали на физические бедствия, как на кару божью за *братоненавидение* и *непокорение друг* к *другу* и *зависть*. Значит, в духе новгородском в то же время воспитывалась, неугасимо теплилась нравственная потребность самоусовершенствования в духе братства, мира. Следовательно, нравственно-жизненные были и юные зачатки, ростки вечей. В них самих заключались могучие, неистощимые, свежие, здоровые силы к дальнейшему саморазвитию и самоусовершенствованию. Как ни буйны, как ни междуусобны были веча новгородские, они всегда кончались миром и любовью. Новгородцы всегда под конец сходились в любовь, брали мир на всей воле новгородской, как братья. И летопись всякий раз оканчивала повесть о вече словами: «И бысть мир, и весь мир радостью исполнился» и т. п. И как, повидимому, ни шатки были основы вечевые, как ни хаотичен, нестроен склад их, но веча не разрушались, а все росли и крепли. Новгородцы все больше и больше воспитывались, укоренялись в принципах вечей, и как святыню, как правду новгородскую, свято берегли от московского прикосновения свой извековечный завет вечевой. <...>

1862

12

С разгромом самодержавия, с победой Великого Октября тема новгородской «вольности» в ее привычном, традиционном звучании потеряла свою политическую актуальность и легендарность.

Романтическая традиция дооктябрьской историографии окутывала Новгород в легендарную дымку. История только угадывалась сквозь нее в миражных видениях «вольности», «народовластия».

Революционная русская домарксистская мысль, начиная со времени А. Н. Радищева, уделяла чрезвычайное внимание борьбе вечевого Новгорода против самодержавной Москвы. Но, горячо отстаивая мысль о народе как подлинном творце истории и в этом отношении поднимаясь над взглядами дворянской и буржуазной историографии (склонной заслонять вопросы социально-экономической истории рассказами о политической деятельности князей), передовые мыслители в силу исторических условий не могли подняться до материалистического понимания истории. Антитеза «вече — самодержавие» мешала пониманию прогрессивности перехода от феодальной раздробленности к политическому единству. В деятельности самодержавия XV—XVI веков, в «централизации московской» усматривалось подавление самостоятельности местных миров. И хотя уже В. Г. Белинский резко выступил против

идеализации новгородских вечевых порядков, в широких кругах русской революционной демократии господствовало революционно-демократическое отношение к «городу воли дикой».

Принципиально новым этапом в изучении истории Великого Новгорода стали труды, созданные советскими историками. На основе марксистско-ленинского понимания исторического процесса, критически используя достижения дореволюционной историографии и опираясь на новые открытия, советские историки в исследовании древнего периода истории СССР (в том числе и истории Новгорода) творчески развивают ленинское учение о русском феодализме как социально-экономической формации и определенной ступени в развитии общественного производства.

Примером подобного подхода к проблемам истории Новгорода является научная деятельность известного советского историка-археолога, члена-корреспондента АН СССР, лауреата Государственных премий СССР А. В. Арциховского (1902—1978). Он принадлежит к тому поколению советских археологов, с которым связана борьба за марксистскую методологию науки. С именем Арциховского связано первооткрытие новгородских берестяных грамот. С именем Арциховского связан гигантский размах археологического изучения новгородских древностей. Усилиями Арциховского археологические материалы и исторические данные сплетены в единую ткань исторического познания.

Предлагаемая статья А. В. Арциховского, опубликованная в 1938 году, посвящена исследованию социально-политической истории Новгородской феодальной республики. Она примечательна научной актуальностью и современным звучанием, радикальной постановкой перед историками сложных проблем, для решения которых нужны не отдельные исследователи, а целые коллективы, подобные основанной Арциховским Новгородской археологической экспедиции.

А. В. Арциховский

ИЗ СТАТЬИ «К ИСТОРИИ НОВГОРОДА»

Своеобразие политического строя, резко отличавшее Новгородскую землю от других больших земель древней Руси, подвергалось в русской буржуазной историографии традиционному истолкованию. Новгородская торговля представлялась ключом ко всем тайнам новгородской истории. Преувеличенное внимание к торговле вообще принимало в дореволюционной науке разнообразные формы. Большинство буржуазных историков всю историю Руси IX—XII вв. ставили в зависимость от международного обмена, вопреки обильным свидетельствам вещественных и письменных источников о ничтожном развитии торговли в эти века. Тем более эти авторы должны были преувеличивать историческое значение того обстоятельства, что Новгород действительно

являлся одним из важнейших центров европейской торговли XIII—XV вв. Все новгородское государство превращалось, как правило, в гигантскую коммерческую контору.

М. Н. Покровский * был, как известно, автором торгово-капиталистической теории развития Московского государства. Широкую известность приобрел его изящный афоризм о «торговом капитале в Мономаховой шапке». В этом афоризме сжато выразились основные ошибки его автора, исказившего всю историю крепостнического Московского государства. Когда он обращался к истории Новгорода, где научные традиции благоприятствовали подобным тенденциям, выводы были аналогичны. М. Н. Покровский употреблял даже для Новгорода термин «торговый капитализм». С этим тесно связано принятое М. Н. Покровским деление новгородской истории на три периода, пользующееся довольно широкой известностью. Первый период — до XIII в. — он считал временем господства «родовой знати», или «аристократии породы». Второй, короткий период — часть XIII в. — он отводил демократии. Третий период — XIV и XV вв. — он отдавал торговому капиталу. <...>

О XV в. сказано: «К этому времени аристократию породы давно сменила другая знать — аристократия денег...» <...>

Вся периодизация новгородской истории антиисторична. «Родовая знать», «аристократия породы» полностью сохранилась, даже расширив свое могущество, и после XIII в. Демократия не правила боярской новгородской республикой в XIII в., зато в XIV и XV вв. демократические элементы пользовались еще большой силой и заставляли хозяев этой республики с собой считаться. Наконец, владычество в Новгороде буржуазии пора отнести к числу исторических легенд. К доказательству этих положений надо теперь перейти. И прежде всего встает вопрос о характере политического и экономического могущества новгородской аристократии.

Аристократический состав новгородского правительства для любой эпохи, с XI по XV в., едва ли нуждается в доказательствах. Посадники выбирались, как известно, из знатнейших боярских семей. К династиям посадников полностью применим термин «аристократия породы». Раньше чем говорить о материальных основах могущества этих династий, надо их показать на примере.

Но проследить посадницкие родословья затруднительно, так как до XV в. на Руси не было фамилий, да и тогда они отличались неустойчивостью. Приходится сопоставлять имена и отчества, учитывать естественную разницу между поколениями, обращать особое внимание на редкие имена и проверять все это прямыми летописными известиями о сыновьях и внуках. Подобные построения иногда бывают при всей своей вероятности спорны.

Укажу для примера построенную И. Д. Беляевым генеалогию семьи, давшей 17 посадников за 242 года — с 1180 по 1422 г. В число их входят наиболее яркие фигуры новгородской истории — Твердислав Михалкович (начало XIII в.) и Онцифор Лукич (середина XIV в.). Эту генеалогию принимал В. О. Ключевский, но она остается не вполне доказанной — на 125 [лет] падает некоторый прорыв в доказательствах. Но если даже отбросим первую часть и сомнительные боковые ветви и проверим генеалогию по летописям заново, она все же остается довольно внушительной. Родоначальником тогда будет новгородец Миша, один из героев Невской битвы со шведами 1240 г., убитый в 1257 г. Его сын Михайло Мишинич был посадником с 1273 по 1280 г., в 1280 г. умер. Другой сын Миши, Юрий Мишинич, был посадником в 1290 и в 1293 гг., а в 1315 г. был убит в бою с тверичами. Сын его Варфоломей Юрьевич был посадником в 1331 г. и умер в 1342 г. Два его сына, Лука и Матвей, известны в истории: Лука Варфоломеевич предпринял в 1342 г. крупный двинский поход, основал город Орлец и был убит на Двине представителями враждебной партии. Сын его Онцифор Лукич в том же 1342 г. ходил походом на Вагу, а затем руководил в Новгороде восстанием черных людей, в 1347 г. он одержал победу над шведами на Жабьем поле, с 1350 по 1354 г. был посадником, в 1367 г. умер. Сын его Юрий Онцифорович был в 1376 и 1380 г. послом в Москве, в 1381 г. — в Литве, в 1384 и 1393 гг. был воеводой, в 1401 г. послом в Москве, в 1411 г. — посадником и воеводой против шведов, в 1414 г. — послом в Литве, в 1417 г. умер. Дядя Онцифора Матвей Варфоломеевич Козка был посадником в 1332 г., в 1342 г. он участвовал в мятеже, поднятом его племянником, а в 1345 г. снова стал посадником. Сын его Никита Матвеевич стал посадником в 1359 г.

Известно еще несколько подобных генеалогий, при-

чем они твердо устанавливаются иногда до четырех ступеней, а дальше опять начинается область предположений... Вообще о новгородских посадниках литература пока недостаточна, и лучшим остается анонимное исследование, выпущенное в начале прошлого века. Возможно, что будущие сфрагистические или эпиграфические находки и исследования помогут разобраться в истории высших выборных сановников новгородской республики. Во всяком случае, и четыре ступени говорят о многом: это значит, что прадед, дед, отец и сын последовательно поднимались до высшей государственной должности. Аристократический характер этой должности бесспорен. Несколько династий, примером которых является династия Мишиничей, совместно правили городом и землей.

Но на чем основывалось их могущество?

Предположения М. Н. Покровского о торгово-капиталистическом характере новгородской знати совершенно лишены доказательств. М. Н. Покровский говорит только о новгородской торговле вообще. Широкий размах и крупные для средних веков масштабы этой торговли отрицать невозможно. Но вели ее прежде всего новгородские купцы, о которых много нам говорят русские и немецкие документы. Если и можно доказать некоторое участие в торговле посадников, тысяцких и вообще бояр, то отсюда еще очень далеко до признания их деятелями торгового капитала. <...>

Документальные сведения о новгородской торговле достаточно обильны — как русские, так и особенно немецкие. Новейшее и полнейшее исследование тех и других принадлежит немецкому ученому Л. К. Гётцу. В цитируемых им документах названо очень много русских купеческих имен. Но боярские имена встречаются там только в строго определенном контексте. Это имена посадников и тысяцких, стоящие вместе с именами князей и архиепископов в первых строках государственных торговых договоров и вообще правительственных документов. Никаких свидетельств о личном их участии в торговле нет.

Таково состояние источников по вопросу о новгородской боярской торговле. Зато обилие источников наблюдается по вопросу о новгородском боярском землевладении. Не случайно летописи неоднократно говорят о селах новгородских посадников и бояр, о грабежах и конфискациях этих сел в связи с борьбой новгородских политических партий. Документальные сведения о земельных владениях высшей новгородской знати не нуждаются в пере-

числении... Наиболее обильные и ценные сведения о новгородском землевладении, притом не в колониях, а в метрополии, сообщают нам новгородские писцовые книги конца XV в. Московские писцы перечислили в них, как известно, новгородских вотчинников, земли которых были конфискованы при Иване III. И вот среди них мы находим всех посадников и тысяцких последних десятилетий новгородской республики, всех новгородских бояр, упоминаемых в летописях этого времени. Полнота совпадения тем удивительнее, что книги сохранились далеко не все и не для всей земли, а между фамилиями и отчествами для этого времени закономерны некоторые смешение и путаница. Многие земли именно крупнейших новгородских бояр были, как это указывает А. М. Гневушев *, отписаны ко дворцу, и описание их до нас не дошло. Тем не менее совпадение летописных и писцовых данных о составе новгородского боярства полное. <...>

В основе взглядов М. Н. Покровского на историю Новгорода лежит его представление о слабом развитии новгородских ремесел. Исходя из этого он устанавливал якобы своеобразный характер новгородской классовой борьбы. Особенно характерны такие слова: «Новгород был городом не ремесленников, а купцов — и в нем социальное движение приняло очень своеобразный характер: восстания должников против кредиторов». В другом месте, говоря о недолговечности демократии, якобы существовавшей в Новгороде XIII в., М. Н. Покровский писал: «Ремесленники могли остаться хозяевами в промышленном центре, какова была, например, Флоренция XIII—XIV в., но каким Новгород никогда не был».

При всей своей категоричности эти утверждения голословны. Правда, новгородские ремесленники едва ли могли соперничать со своими флорентийскими современниками. Но это не препятствовало Новгороду быть крупнейшим ремесленным центром Восточной Европы. Ремесленное население в нем, по-видимому, преобладало.

Впрочем, источники по этому вопросу пока недостаточны. <...>

Полная характеристика новгородских производств — задача археологических раскопок. Раскопки эти мною теперь начаты и уже показали большие возможности изучения ремесел, но для выводов еще мало материала. Вообще надо надеяться, что в близком будущем многие главы истории Новгорода будут заново написаны на основе вещественных исторических источников. Как это ни

странно, до последних лет Новгород оставался совершенно не изученным археологически.

Демократическим государством Новгород не был даже и в XIII в. Народные восстания, неорганизованные и стихийные, не могли низвергнуть боярскую олигархию. Пусть отдельные представители меньших людей играли тогда политическую роль, — власть прочно принадлежала родовитым боярам. Посадники и в XIII в. выбирались из немногочисленных боярских династий. Вспомним Михалка Степановича (1180, 1186—1189, 1203—1205 гг.), Твердислава Михалковича (1209—1211, 1214, 1217, 1219—1220 гг.), Степана Твердиславича (1230—1243 гг.), Михалка Степановича (1255—1257 гг.) или Онанью (1255 г.), Павшу Онаньича (1268—1282 гг.), Михайлу Павшинича (1310—1311 гг.). Можно привести еще ряд примеров, но я перечисляю здесь именно те фамилии, которые были так или иначе связаны с демократическим движением.

Перейдем к XIV и XV вв., к тем векам, когда, по мнению М. Н. Покровского, демократические элементы не имели в Новгороде никакого значения. В действительности при чтении летописей легко убедиться, что и в эти века черные люди оставались серьезной политической силой, неоднократно решавшей исход борьбы боярских партий. Конечно, это вело к закреплению некоторых прав городского плебейства, и известное правило Новгородской судной грамоты «судити всех ровно как боярина, так и житьего, так и молодчего человека» не было, вопреки М. Н. Покровскому, анахронизмом для XV в. <...>

В истории Новгорода известен ряд движений плебса, сопровождавшихся разгромом боярских дворов, но это не мешало отдельным боярам возвышаться до должности посадника. О некоторых таких движениях XII и XIII в. упоминает сам М. Н. Покровский. Для XIV в. ярким примером являются... события 1342 и 1350 гг. Непосредственное руководство разгромом дворов было для посадника, конечно, не обязательно, но не в этом дело. Обратимся к летописным известиям 1418 г., когда вооруженная борьба [между жителями Торговой и Софийской сторон... — *А. Х.*] закончилась компромиссом... двух сторон города. В этих переговорах посадник и тысяцкий выступают несомненно на стороне плебейских масс, руководивших в эти дни Торговой стороной и собиравшихся там на Ярославовом дворе. Они считают себя в силе распустить восставшие массы по домам при том условии, что архиепископ распустит приказом из Со-

фии боярскую рать своей стороны. Нет оснований считать посадника руководителем движения. Черный человек Степанко во всем... рассказе фигурирует как подлинный народный вождь. Но позиция правительства и исход борьбы доказывают, что и в XV в. новгородские черные люди были большой политической силой. Боярские группировки, правившие городом, вынуждены были серьезно с ними считаться. В аристократической республике Великого Новгорода ни в XIV, ни в XV в. вечевая демократия, вопреки утверждению М. Н. Покровского, не была пустой формальностью. Бояре, бывшие полновластными феодалами в своих вотчинах, в городе прочно держали власть в своей корпорации, но лишь при условии известного рода соглашений с сильным новгородским плебсом.

Совет господ, этот новгородский сенат, известен нам по иностранным свидетельствам XIV и XV вв. (не древнее конца XIII в.). Русские летописи и документы о нем молчат, если не считать отдельных намеков. Существовал ли он раньше, мы не знаем, поскольку для ранних веков нет... донесений. <...>

Во всяком случае, время возникновения совета господ совершенно неизвестно.

Могущество новгородской аристократии в XIV и XV вв. безусловно усилилось сравнительно с XII и XIII вв. Но едва ли это произошло за счет плебса, никогда не правившего государством, но и не терявшего вплоть до гибели веча своих отвоеванных в XII в. прав.

Усиление аристократии произошло за счет князя. Самый пост князя в Новгороде к концу XIII в. был отменен.

Скромные права новгородских князей у всех историков изображаются в виде статичного установления, продержавшегося якобы с XII до XV в. Традиционные (воспринятые и М. Н. Покровским) представления о непрерывности княжеского звания в Новгороде укоренились в историографии с XVIII в. — с Татищева или, смело можно сказать, с XV в. — с дьяка Бородатого. ...на историков XIX и XX вв. наибольшее влияние оказывал здесь авторитет С. М. Соловьева. <...>

Впрочем, С. М. Соловьев сам заметил в летописях много примеров вечевого могущества и говорил по этому поводу о «странном двоевластии князя и веча». Как бы то ни было, предвзятые представления автора о непрерывно-

сти монархической власти в Новгороде причинили науке вред. Они давно преодолены и оставлены историками. Но С. М. Соловьев был первым критическим исследователем договоров Новгорода с великими князьями XIII—XV вв. И до сих пор договоры эти, по соловьевской традиции, считаются типичными для князей новгородских, хотя договоры этих последних не сохранились, а великие князья на новгородском столе не сидели.

Монархические предрассудки оказывали воздействие на самых различных историков, как бы хорошо ни были они знакомы с новгородскими летописями. И. Д. Беляев писал: «Сколько смут ни порождала в Новгороде частая смена князей, тем не менее княжеская власть была необходимостью в новгородском устройстве, без князя новгородцы не могли оставаться на продолжительное время. Обстоятельства, вызвавшие новгородцев в 862 году на приглашение Рюрика с братьями, продолжали существовать во все 616 лет, пока Новгород пользовался самостоятельностью и независимостью». Автор не хотел замечать, что в XIV и XV вв. не было ни смут из-за князей, ни смен князей, частых или редких; негде им было сменяться.

В. О. Ключевский тоже не разграничивал эпох, характеризуя в своем курсе права новгородских князей. Договоры Новгорода с великими князьми казались ему поэтому неполными. Он писал: «Нельзя сказать, чтобы в изложенных договорных грамотах действительные отношения князя к Новгороду были определены полно и всесторонне. Одна из главнейших целей, если не самая главная, для чего князь нужен был Новгороду, — это защита от внешних врагов». В действительности предводителями новгородской рати были новгородские князья XII в. и первой половины XIII в. Великие князья во второй половине XIII и первой половине XIV в. почти никогда не командовали военными силами Новгорода, во второй половине XIV и первой половине XV в. — никогда. <...>

...Посадник в сопровождении князя не нуждался... Новгородское войско лет полтораста обходилось без предводительства тех лиц, которых историки считают новгородскими князьями.

М. Н. Покровский имел, таким образом, за собой прочную традицию буржуазной историографии, когда писал: «Во всем, кроме своей специальной военной функции, новгородский князь «царствовал, но не управлял». Те же

договоры, на которые ссылается здесь автор, доказывают только, что князь в Новгороде не управлял. Но и «царствовал» он в эпоху этих договоров отнюдь не в Новгороде. Утверждение о «специальной военной функции» ни на чем, кроме старых ошибок буржуазных историков, не основано. Впрочем у М. Н. Покровского оно связано с его общими взглядами на Новгород. Если Новгородом управляла «буржуазия торгового капитала», то для военного дела ей нужен был князь. Об этом князе приходилось говорить даже там, где источники о нем молчат. Ограничение княжеской власти М. Н. Покровский сумел показать красноречивыми примерами, но об отмене ее молчал.

Нерешительные ответы на вопрос — был ли Новгород республикой — вообще преобладают в русской историографии. Один А. С. Пушкин решительно высказался: «Новгород на краю России и соседний ему Псков были истинные республики, а не общины».

В истории новгородского государства можно различить два больших периода. В XII и XIII вв. вече и боярские организации еще возглавлялись князем, иногда номинально. В XIV и XV вв. они уже обходились без новгородских князей. По существу, в продолжение обоих периодов прочно господствовала, конечно, боярская олигархия.

Б. Д. Греков * убедительно обосновал дату возникновения республиканского строя в Новгороде, связав это возникновение с событиями 1136 г. (употребление термина «революция» для этого времени, конечно, неправомерно). Именно тогда сложилась та конституция, лучшим выражением которой служат слова Твердислава в вышецитированном рассказе 1218 г.: «А вы, братья, в посадничестве и в князьях вольны есте». Во второй половине XIII в. наступило время новых политических лозунгов. Общественный строй, возникший в XII в., в основном остался неизменным, но политическая организация была несколько упрощена.

Последним великим князем, который считал себя еще князем новгородским, жил подолгу в Новгороде и проводил некоторые административные мероприятия, был Ярослав Ярославич, великий князь Тверской, Владимирский и всея Руси. <...>

После его смерти в 1272 г. Василий Ярославич и Дмитрий Александрович претендовали на новгородский стол. Новгородцы выбрали Дмитрия, но во Владимире сел Василий. Дмитрий в 1273 г. отказался от Новгорода.

Он был, по существу, последним новгородским князем. В дальнейшем Новгород ограничивался признанием суверенитета великих князей.

Василий Ярославич два раза ненадолго приезжал в Новгород. После его смерти великим князем стал Дмитрий Александрович. Новгородцы использовали его соперничество с братом Андреем, признавая верховенство то того, то другого. После смерти обоих братьев в 1304 г. началась борьба, надолго заполнившая русскую историю, — борьба за гегемонию между Тверью и Москвой. Общеизвестно, как использовали новгородцы эту борьбу и какое значение имел московско-новгородский союз против Твери.

Во всяком случае, князя Новгород в XIV в. не имел. Михаил Ярославич Тверской, верховенство которого Новгород вместе со всей Русью сначала признал, не стоял ни разу во главе новгородской рати. Наоборот, рать эта выступала главным образом против него. Юрий Данилович Московский был при этом союзником Новгорода. Позднее, когда он стал во Владимире, ему два года пришлось командовать новгородским войском: сначала против шведов, а затем на Двине (1322—1324 гг.). Это был последний в своем роде случай, обусловленный, впрочем, уже не княжьим правом, а скорее военным союзом. Как бы то ни было, с тех пор в новгородской рати уже не развевались великокняжеские знамена.

Великий князь ни в XIV, ни в XV вв., до самого падения Новгорода, нигде и никогда не называется новгородским князем. Этот титул был установлен только Иваном III в конце XV в.

Новгород признавал великого князя своим верховным феодальным сувереном, принимал его наместника, то есть, по существу, посла, и платил по договорам некоторые «дары» и взносы. Ни одна средневековая республика не обходилась без подобного суверена. Подобным образом города Германии и Италии признавали императора Священной Римской империи, магометанские республики Испании признавали халифа и т. д.

Необходимо отметить, что феодальный суверенитет великого князя признавался в Новгороде непрерывно с XI в. Это не мешало в XI, XII и XIII вв. существованию особых новгородских князей. В XIV и XV вв. этих князей не было, и не их наследниками являлись для Новгорода великие князья московские, а наследниками великих князей киевских и владимирских.

Верховный суверенитет был понятием прежде всего теоретическим. <...>

Утверждение об отсутствии князя в Новгороде XIV и XV вв. никто, конечно, не станет опровергать ссылками на отдельных Рюриковичей и Гедиминовичей, состоявших время от времени в новгородской рати (обычно на вторых должностях). Эти «служебные князья» служили Господину Великому Новгороду на тех же правах, на каких их собратья служили великим князьям.

Иногда великокняжескими наместниками в Новгороде были лица княжеского сана. От нетитулованных наместников они ничем не отличались. Наместник проживал на Городище на правах дипломатического представителя. <...>

Новгородцы XIV и XV вв., как правило, в глаза не видали того человека, которого историки считают новгородским князем. Выше уже говорилось, что последним великим князем, которого политические обстоятельства заставили сравнительно подолгу гостить на Волхове, был Юрий Данилович. Александр Михайлович не был в Новгороде вовсе. Иван Данилович был два раза, в 1329 и 1335 гг., оба раза недолго — с весны до лета. Семен Иванович был только раз, через шесть лет после своего вокняжения во Владимире и Москве, притом всего на три недели, зимой 1346 г. После этого Новгород восемьдесят восемь лет не принимал подобных гостей. Не были в нем ни Иван Иванович, ни Дмитрий Иванович, ни Василий Дмитриевич. За все это время новгородцы видели у себя (дважды) только второго своего феодального сюзерена, митрополита московского Киприана. В 1434 г. княжеская усобица загнала, наконец, в Новгород князя, изгнанного из Москвы. <...>

Он не пробыл и месяца и 26 апреля выехал обратно в Москву. Второй раз он был в Новгороде в 1460 г. — пять недель. Иван Васильевич до Шелонской победы в Новгороде не был. <...>

Маркс, как известно, употреблял для Новгорода термин «республика». М. Н. Покровский в своей главе о Новгороде употребил этот термин только раз, но и то в древнеримском смысле: «Употребляя древнеримское выражение, новгородский князь был первым магистратом республики». Это в известном смысле верно для XII—XIII вв., но не дальше. Выше разобранная торгово-капиталистическая концепция новгородской истории заставила, как уже говорилось, М. Н. Покровского изобразить своего рода

конституционную монархию, что противоречит источникам XIV—XV вв.

Не могуществом крупных торговцев надо объяснять политическое своеобразие Новгорода, а взаимодействием двух сил. Одна из них — это землевладельческое и военное могущество местных бояр-крепостников, одолевших князей и корпоративно управлявших государством. Другая — развитие ремесленно-торгового демократического города, отвоевавшего себе у князей и бояр серьезные политические права. Первая сила неизменно преобладала, и Новгород был боярской республикой. Он погиб тогда, когда оказался препятствием для прогрессивного исторического процесса собирания Руси.

Ленин в своей лекции «О государстве» говорит, сравнивая рабовладельческое государство с крепостническим: «В средние века крепостное право преобладало. И здесь формы государства были разнообразны, и здесь мы имеем и монархию и республику, хотя гораздо более слабо выраженную, но всегда господствующими признавались единственно только помещики-крепостники».

Новгород является во всеобщей истории одним из наиболее убедительных примеров феодальной республики.

1938

КОММЕНТАРИИ

Д. М. БАЛАШОВ. МАРФА-ПОСАДНИЦА

Дмитрий Михайлович Балашов (род. 1927 г.) — известный советский писатель, фольклорист, кандидат филологических наук.

В сфере научного интереса Д. Балашова различные жанры народного поэтического творчества — русская баллада, сказки, свадебные песни. Он совершил ряд экспедиций по сбору народного поэтического творчества Севера и центральных областей РСФСР. Автор ряда научных исследований.

Не прекращая работы в области народного творчества, в конце шестидесятых годов Д. Балашов начинает разрабатывать темы древнерусской истории в жанре исторической прозы.

Результатом обращения писателя к новгородской истории стали его повесть «Господин Великий Новгород» (1970), роман «Марфа-посадница» (1972).

С конца семидесятых годов Д. Балашов начал серию романов, посвященных становлению Московской Руси в сложнейших условиях монголо-татарского ига XIII—XV веков. В настоящее время писателем опубликованы романы цикла: «Младший сын» (1977), «Великий стол» (1980), «Бремя власти» (1983).

Текст романа печатается с небольшими сокращениями по изданию: Балашов Д. Марфа-посадница. Петрозаводск, Карелия, 1976.

К с. 27. *...с граненой башней Евфимьевской* — в ходе активной застройки территории владычного двора в 30—50-х годах XV века при архиепископе Евфимии II в 1443 году была поставлена высокая башня-«сторожня», известная под именем «Евфимиевской часозвони». В 1671 году сторожня рухнула, но через два года была выстроена заново. Когда появились впервые «часы звонящие», превратившие сторожню в часозвоню, сказать трудно.

К с. 29—30. *Савватий, Герман* — иноки Соловецкого монастыря. Савватий — выходец из Кирилло-Белозерского монастыря.

К с. 31. *...худые мужики-вечники* — термин московских источников. Так называли массу беднейшего населения Новгорода, людей, занимавших нижние ступени социальной структуры новгородского общества.

Ушкуйники, ушкуйные походы — термин московских источников. «Ушкуйниками» жители Поволжья и москвичи называли новгородцев, отправлявшихся за добычей на легких гребных судах-ушкуях. Походы ушкуйников отличались от обычных военных предприятий тем, что совершались без соответствующего вечевого решения, то есть Новгород не нес ответственности за их действия. Дружины ушкуйников (до полутора-двух тысяч воинов) составлялись, как правило, из молодых людей. Во главе отрядов стояли смелые и опытные руководители, нередко из боярских семей. Ушкуйники грабили купеческие караваны, прибрежные города. Наибольший размах ушкуйничество приняло в XV веке, когда отряды новгородцев доходили до столицы Орды — Сарая. Действия ушкуйников становились предметом столкновений между Новгородом и Москвой. Последний поход ушкуйников состоялся в 1409 году.

К с. 32. *...ересь стригольническая, или стригольничество* — возникла в конце XIII — начале XIV века. Выступление стригольников в Новгороде и Пскове (середина XIV в.) отражало интересы демократических слоев горожан. Стригольники боролись против паразитизма духовенства, отрицали таинства (исповедь, причастие, обряды, связанные со смертью), церковую иерархию. Название этой ереси, по-видимому, связано с тем, что ее сторонники не признавали прежнего пострижения в монахи и «перестригались» заново. В конце 80-х годов XIV века после массовых репрессий стригольничество как общественное течение было разгромлено, но деятельность еретиков в конце XIV — начале XV века не прекратилась, проявляясь в моменты обострения социальной борьбы. Во второй половине XV века идеи стригольничества не проявляются. На смену им пришло новое еретическое течение — антитринитариев и иконоборцев («жидовствующих»). Сторонники нового течения не только отвергали догмат триединства бога и «священность» икон, но требовали нравственной свободы человека, равенства народов и вероисповеданий, отвергали аскетизм, монашество. Ереси являлись одной из форм классовой борьбы.

К с. 34. *Дионисий Ареопагит* — по преданию, ученик апостола Павла, первый епископ в Афинах. Ему приписан ряд средневековых богословских сочинений.

«Шестокрыл» — общепринятое название — «Шестоднев», цикл проповедей на темы рассказа Библии о сотворении мира в шесть дней.

...деньги серебряные обманны лили... — в 1420 году в Новгороде была проведена денежная реформа. Вскоре обнаружились факты порчи монеты. В 1447 году, стремясь обезопасить себя от народного гнева, бояре оговорили на вече восемнадцать «ливцов и весцов серебряных», якобы уменьшавших вес денег. Оговоренные были казнены, а их имущество конфисковано.

К с. 36. *«Послание о рае»* — «Послание архиепископа новгородского Василия ко владыце тферскому Феодору о рае» было написано в связи с возникшим в Твери диспутом по вопросу о существовании рая. Епископ Федор считал, что земного рая нет, а есть лишь рай как духовная нравственная категория. Василий не соглашался с такими представлениями и доказывал существование земного рая. В своем «Послании» Василий передает поэтическую легенду о земном рае, которого достигли новгородцы, ходившие в приполярное Зауралье.

К с. 46. *Совет господ* — орган боярской олигархии в Новгороде, возник в первой половине XIV века. В состав Совета входили архиепископ, возглавлявший Совет, посадники, тысяцкие, кончанские старосты и «старые» (т. е. избиравшиеся ранее на посты) посадники и тысяцкие. Главной функцией Совета было предварительное рассмотрение важных гоударственных вопросов, выносившихся затем на утверждение веча.

К с. 50. *...плесковичи отымали хлеб у святой Софеи* — добившись в середине XIV века политического обособления от Новгорода, псковичи были заинтересованы в установлении равновесия государственной и церковной власти в своих землях. Достичь этого можно было организацией собственной епархии, не зависимой от новгородского архиепископа. Новгородские владыки решительно противились попыткам псковичей, неоднократно обращавшихся за содействием в Литву и Москву. Не получив поддержки, псковичи предприняли во второй половине XV века решительное наступление на новгородскую архиепископию. В 1465 году «псковичи отняша землю и воду владычню». Новгородское правительство начало переговоры с Орденом о совместных действиях против Пскова. Перед возможностью новгородсконемецкого союза псковское правительство вынуждено было уступить и вернуть владычные владения, но отказалось возместить стоимость хлеба, собранного с этих земель.

К с. 57. *...с Казанью разделались* — в сентябре 1469 года Юрий Васильевич, князь дмитровский, брат Ивана III, нанес под Казанью поражение хану Ибрагиму. Мирный договор, заключенный Казанью, был выгоден для Москвы, так как Иван III обезопасил свой тыл с востока в условиях подготовки похода на Новгород.

К с. 58. *...под Русой дали нам...* — 3 февраля 1456 года под Русой новгородцы были разбиты отрядом москвичей. Поход московского великого князя был вызван союзническими отношениями новгородского правительства с Дмитрием Юрьевичем Шемякой — противником Василия в ходе длительной феодальной войны на Руси во второй четверти XV века. После поражения под Русой Новгород вынужден был пойти на заключение Яжелбицкого мирного договора.

Басенка... шильники в шестьдесят осьмом ладили убить — в 1460 году (в тексте романа летосчисление ведется по древнерусскому обычаю «от сотворения мира», которое было якобы за 5508 лет до новой эры. — *А. С.*) великий князь Василий II с младшими сыновьями совершил поездку в Новгород («мирный» поход). В условиях антимосковских настроений, вызванных условиями Яжелбицкого договора, новгородцы готовили покушение на великого князя. От расправы над князем новгородцев удержал архиепископ Иона. За то на великокняжеского воеводу, победителя новгородского войска при Русе Федора Басенка напали, когда он возвращался вчером с пира на Городище. Сам воевода остался цел. Убили его слугу.

К с. 59. *Онцифор Лукич дал городу новый устав...* — во второй четверти XIV века в Новгороде в условиях острой классовой борьбы боярству необходимо было объединить свои силы. Для этого требовалось расширить боярское представительство в посадничестве, преобразовать этот орган государственного управления из единоличного в коллективный. С 1354 года посадничество превратилось в коллегиальный орган из шести человек (двое от Славенского, по одному от Неревского, Людина, Загородского и Плотницкого концов). Проведение реформы было связано с именем новгородского политического деятеля Онцифора Лукича, который сразу ушел с должности и в дальнейшем не баллотировался в посадничество.

Дмитрий Иваныч Донской, когда Тохтамышу Москву подарил... — после разгрома Мамая на Куликовом поле (1380 г.) власть в Орде захватил хан Тохтамыш. Понимая, что победа над Мамаем может коренным образом изменить отношение русских князей к Орде, Тохтамыш предпринял в 1382 году поход на Москву. Дмитрий Донской не смог собрать достаточно войск для отражения набега татар, ушел из Москвы в Кострому, пытаясь там собрать русские дружины. Из-за несогласованности действий русских князей, обескровленности русских войск после Куликовской битвы, тактических просчетов и прямого предательства боярства Москва была захвачена татарами и подверглась жестокому разгрому. Донской вынужден был пойти на мир с Ордой и обязался выплатить значительный выкуп. Новгород отказался нести расходы, что вызвало карательный поход Дмитрия Ивановича в 1386 году. Великокняжеское войско осадило город. Новгородское правительство пошло на мир с Москвой, согласилось на сбор налога и выплатило контрибуцию в 8 тысяч рублей.

К с. 60. *...когда Витовт, католик, взметную грамоту Новугороду послал...* — в 1397 году великий литовский князь Витовт Кейстутович совместно с московским великим князем Василием I Дмитриевичем, женатым на дочери Витовта, потребовали от новгородцев разорвать мирные отношения с Орденом. Новгородцы не без основания усмотрели в этом требовании посягательство на право ведения самостоятельной внешней политики и ответили отказом. Василий I незамедлительно начал войну с Новгородом. Витовт в 1399 году предъявил новгородцам ультиматум, требуя призна-

ния его великим князем. Новгородцы, закончившие к этому времени войну с Василием I, зная о междоусобицах в Литве и о напряженных литовско-ордынских отношениях, отказали Витовту. Неудачный поход литовского войска к Новгороду и активные оборонительные действия новгородцев заставили Витовта пойти на мирное соглашение с республикой.

Василий Василич Темный дважды на Новгород войною ходил — в 1441 году, в условиях временной стабилизации своего положения в ходе феодальной усобицы второй четверти XV века Василий II Васильевич в союзе с Тверью и Псковом совершил поход на Новгород. Великий князь искал в богатом Новгороде добавочных доходов для оскудевшей великокняжеской казны, не ограничиваясь налогом («черным бором»), выплаченным новгородцами. Война закончилась заключением Демонского мира, согласно которому новгородцы сохраняли свой статус, но уплатили великому князю 8 тысяч рублей серебром. О походе 1456 года см. примеч. к с. 58.

...двести тысящ выплатил Орде за себя... — в 1446 году, воспользовавшись ослаблением Руси и продолжающейся феодальной войной, Орда совершает поход на Москву. Войска Василия II были разбиты под Суздалем, а сам он попал в плен к Улу-Мухаммеду. Московский великий князь получил свободу за обязательство выплатить громадный выкуп (около 200 тысяч рублей серебром) и передать ряд русских городов в кормление татарским князьям.

Юрьевичи — сыновья Юрия Дмитриевича, князя галицкого, Василий Косой и Дмитрий Шемяка, которые оспаривали московский великокняжеский стол у Василия II Темного, продолжив феодальную войну, развязанную их отцом. В ходе феодальной войны враждующие стороны попеременно владели Москвой (дополнительно см. примеч. к с. 71).

Казимир, король литовский — Казимир IV, король польский и великий князь литовский. Государственное объединение Польши и Литвы было оформлено Кревской унией 1385 года.

К с. 61. *...сами же ездили в Литву, к королю, и Ивана Можайского звали* — в 1458 году новгородское правительство в условиях недовольства Яжелбицким договором с Москвой вело переговоры в Литве с «недругом» великого князя Василия II — Иваном Андреевичем, князем можайским, который участвовал в заговоре и ослеплении Василия II, схваченного в Троице-Сергиевом монастыре 6 февраля 1446 года. После возвращения Василия II на великокняжеский стол Иван Андреевич бежал в Литву.

К с. 64. *...Витовт ...набивался в великие князья...* — см. примеч. к с. 60.

К с. 65. *...Александр Обакунович, герой Волги... пал... в бою с тверичами под Торжком...* — новгородский боярин Александр Абакунович вместе с Василием Федоровичем и Есипом Варфоломеевичем возглавлял один из самых крупных походов ушкуйников в 1366 году, когда были разграблены Нижний Новгород, города Волжской Булгарии. В 1372 году произошло кровавое столкновение Новгорода с Тверью из-за Торжка, под стенами которого в первом бою погиб Александр Абакунович.

...разил суздальцев под Новым Городом... — в феврале 1170 года объединенные силы многих русских княжеств под предводительством сына Андрея Боголюбского Мстислава осадили Новгород. Поход оказался неудачным для противников Новгорода: после трехдневной осады 25 февраля произошло сражение, окончившееся разгромом суздальцев. В самых ранних новгородских источниках победа объясняется воинской удачей новгородцев, в более поздних — чудесной помощью осажденным новгородской иконы «Знамения богородицы», с которой архиепископ Илья совершил крестный ход по стенам города.

...побеждал на Липице... — в 1216 году на реке Липице, под Юрьевом-Польским, новгородские рати, возглавляемые Мстиславом Удалым, наголову разгромили дружины суздальских князей Юрия и Ярослава Всеволодовичей.

...выстоял на Чудском... — в знаменитом Ледовом побоище на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года победа русской рати под командованием Александра Невского во многом была обеспечена мужеством новгородских ополченцев, выдержавших основной удар бронированной немецкой рыцарской конницы.

...и у стен Раковора... — 18 февраля 1268 года русские полки в составе новгородцев, псковичей и переяславцев под стенами датской крепости в Эстонии Раковор нанесли поражение объединенным силам датчан и Ливонского ордена. Как и в Ледовом побоище, новгородский полк принял основной удар тяжеловооруженной рыцарской конницы.

К с. 67. *...опальный дядя ...Василия Васильевича* — Константин Дмитриевич, младший сын Дмитрия Донского, родившийся в 1389 году, за четыре дня до смерти отца, князь углицкий. В 1419—1420 годах после ссоры с братом великим князем московским Василием Дмитриевичем уехал в Новгород. В самом начале 1421 года Константин был уже в Москве, так как братья помирились. Во время пребывания в Новгороде князь Константин неоднократно посещал Клопский монастырь, финансировал постройку каменной монастырской церкви.

...игумена Клопского монастыря, избранного по жребию архиепископом... удалили — в 1421 году игумен Феодосий был избран владыкой. Через два года, так и не получивший поставления у митрополита, он был смещен новгородскими боярами с софийской кафедры. Выдвижение Феодосия и его дальней-

шая судьба неразрывно связаны с мощными социальными выступлениями в Новгороде. В 1421 году новгородская «чернь» активизировала выступления против наступления боярства на кончанское землевладение. Подобную борьбу вел с боярами малоземельный Клопский монастырь. Это привело к выдвижению Феодосия на выборах владыки. К 1423 году народное движение пошло на спад, и бояре беспрепятственно устранили неугодного иерарха.

К с. 69. *...блаженный Михаил* — Михаил Клопский, новгородский юродивый, жил в Новгороде в начале — середине XV века. С именем Михаила, объявленного святым, связывалось множество рассказов антибоярского, промосковского содержания. В частности, ему был приписан ряд пророчеств событий 70-х годов XV века, тех событий, свидетелем которых Михаил не мог быть. Промосковские симпатии Михаила имели глубокие семейные причины: он был сыном героя Куликовской битвы 1380 года Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка и Анны Ивановны, дочери великого князя Ивана I Красного, сестры Дмитрия Донского.

К с. 70. *...посвящение у... литовского митрополита Григория* — на восьмом церковном соборе, созванном папой Евгением IV в Ферраре и Флоренции (1439 г.), была провозглашена уния (союз) православной и католической церквей. В работе собора участвовал митрополит всея Руси Исидор — активный сторонник унии. В 1440 году митрополит вернулся на Русь, но Василий II отказался признать унию, Исидор бежал в Рим, где стал патриархом. Москва отказалась принимать ставленников константинопольской патриархии, санкционировав избрание митрополита из числа местного духовенства. Русская церковная организация стала автокефальной (независимой). В 1458 году главой православной церкви в Западной Руси стал Григорий, которого в Москве считали учеником Исидора; первоначально посвящение Григория в сан действительно происходило от патриарха-униата, проживавшего в Риме, но в 1470 году Григорий порвал с патриархом-униатом и получил сан «митрополита всея Руси» от патриарха Дионисия, проживавшего в Константинополе, завоеванном турками, и не признававшего унии. Поэтому Григорий не мог считаться «латиняном».

К с. 71. *...разрешил ослепленного Василия Васильевича от клятвы* — схваченный в Троице-Сергиевом монастыре 6 февраля 1446 года сторонниками Дмитрия Юрьевича Шемяки, великий князь Василий II Васильевич был ослеплен (отсюда прозвище — Темный) и смещен с великокняжеского стола. Сохраняя жизнь, Василий Темный подписал крестоцеловальную грамоту, присягнув Шемяке не добиваться возвращения великокняжеского стола, и был выслан в Вологду. Сторонники объединения Руси в феврале 1447 года поддержали стремление Василия вернуть Москву. Духовенство (Кириллов, Ферапонтов, Спас-Прилуцкий монастыри) поддержали Василия материально, а игумен Кирилло-Белозер-

ского монастыря Трифон освободил Василия Темного от крестного целования Шемяке. В награду Трифон в 1462 году был назначен ростовским архиепископом.

К с. 72. *...собор Бориса и Глеба* — в южной части новгородского детинца в 1167 году Сотко Сытинич поставил церковь Бориса и Глеба. Во второй половине XVII века церковь разрушилась. Храм, выстроенный Сотко Сытиничем, нередко отождествляемым с былинным Садко, представлял собой монументальное сооружение, не уступавшее размерами одной из самых величественных построек Новгорода — собору Георгия в Юрьевом монастыре.

...тридцать дверей насчитывали в воздвигнутой Евфимием владычной хоромине — центральным звеном архитектурного комплекса владычного двора была парадная постройка, являвшаяся сложным сооружением со множеством окон, соединенным переходом с хорами Софийского собора. Незначительным остатком этой постройки, выстроенной в 1433 году, является здание, расположенное в центре владычного двора и известное под названием «Грановитая палата» — место заседания новгородского Совета господ.

К с. 75. *...Псков, жаждущий отложиться в особую епископию* — в 1458 году псковичи провели церковную реформу, отстранив Иону от руководства псковским духовенством. Из числа псковских священников был избран постоянный местный церковный орган. Иона обратился за помощью к митрополиту, который в октябре 1459 года восстановил в Пскове церковную власть новгородского архиепископа. Московская администрация не была заинтересована в церковном обособлении Пскова, которое могло привести в дальнейшем к усилению политической самостоятельности Псковской феодальной республики.

Помогло посольство к Казимиру — в 1463 году, в условиях обостренных отношений между Новгородом и великим князем московским новгородцы предприняли демарш, отправив посольство к литовскому великому князю, что задержало военные действия Ивана III Васильевича против Новгорода.

блаженный предсказал... — согласно легенде Михаил Клопский предсказал юному Ионе будущее избрание его новгородским архиепископом.

К с. 76. *...установил в Новгороде память московского угодника Сергия Радонежского* — под 1463 годом летопись сообщает о поездке Ионы в Москву и о постройке им в Новгороде в том же году церкви в честь московского святого, игумена Троицкого монастыря Сергия Радонежского, канонизированного в 1447 году. Церковь была поставлена во владычном дворе между Евфимиевской сторожней и архиепископским корпусом. Вскоре и в Москве

был устроен церковный престол «во имя чудотворца Варлаама Хутынского» — новгородского святого, игумена и основателя Спас-Хутынского монастыря, канонизированного в Новгороде в XIII веке. Вероятно, своеобразным обменом святыми Москва и Новгород ратифицировали относительно мирные отношения, установившиеся в 60-х годах XV века между великим князем и Новгородской республикой.

...о чудесном исцелении у гроба Варлаамия... — в 1460 году, во время «мирного похода» Василия II в Новгороде возникла легенда о «чудесном исцелении» великокняжеского постельничьего у гроба Варлаама Хутынского в Спас-Варлаамском Хутынском монастыре. Эта легенда, созданная при участии архиепископа Ионы, повышала авторитет новгородского святого и способствовала внедрению в Новгороде промосковских настроений.

К с. 77. *Обетный храм* — в связи с массовыми эпидемиями («морами») строились обетные или «обыденные» (в один день) церкви.

...как выбирали по жребию владыку... — порядок выбора владыки из числа местного духовенства установился в Новгороде с 1156 года, когда был избран Аркадий (1156—1163 гг.). Он и следующие за ним архиепископы Илья (1163—1186 гг.) и Гавриил (1186—1193 гг.) возводились на софийскую кафедру без жеребьевки. Впервые жеребьевка была применена при выборах владыки в 1193 году, когда среди новгородцев не было единого мнения о кандидатуре иерарха.

К с. 88. *...замуж тогды не вышла за пана Ондрюшка* — литовский вельможа Андрей Исакович был приближенным Казимира IV. Назначался королевским наместником в Смоленске (который входил в территорию великого княжества Литовского), участвовал в составе посольства в Новгород в 1458 году, когда новгородцы искали в Литве «кормленного» князя. Сватовство Андрея Исаковича легендарно. Согласно другой легенде женихом Марфы назывался Михаил Олелькович. Московские летописцы использовали легенды для доказательства попыток Борецких породниться с литовской знатью и обзавестись таким образом королевским наместником в Новгороде.

К с. 89. *Амартол* — здесь имеется в виду «Хроника Георгия Амартола» — произведение византийской историографии, излагающее всемирную историю. Хроника пользовалась широкой популярностью на Руси и сыграла большую роль в развитии оригинального русского летописания и русской хронографии. Составитель хроники — византийский монах. «Амартол» по-гречески — грешник; это традиционный самоуничижительный эпитет монаха.

К с. 90. *...о взятии Царьграда... Магметом* — в XV веке на Руси проявляется повышенный интерес к событиям мировой истории, появляются многочисленные памятники исторического повествования. Таковым была «Повесть о Царьграде», которая посвящалась важнейшему событию мировой истории XV века — окончательному падению Византийской империи и завоеванию (в 1453 г.) ее столицы Царьграда (Константинополя) турецкой армией султана Мехмеда II Фатиха.

Зустуней — генуэзец Джиованни (Иоанн) Джустиниани, по прозвищу Лонг — «длинный», предводитель отряда генуэзских наемников. Его роль в обороне города источники освещают поразному, порой обвиняя его в пассивности и даже измене своему долгу. Русский автор, наоборот, подчеркивал мужество Джустиниани и, в частности, оправдывал его уход с поля боя тяжелым ранением.

К с. 92. *...митрополита Филиппа послание* — имеется в виду грамота московского митрополита от 22 марта 1471 года, обвинявшая новгородцев в «непокорности» своему государю, великому князю Ивану III, и переходе в «латинство».

...о Флорентийском соборе не митрополит, а Василий Василич решал... — см. примеч. к с. 70.

...апостол Андрей, пребывая в пределах северных... — в средневековых византийских легендах рассказывалось, как апостол Андрей проповедовал в землях по берегам Черного моря и, в частности, в Скифии. Видимо, эти предания получили дальнейшее развитие на Руси: апостолу было приписано путешествие из Синопа (город на северном берегу Малой Азии) в Рим через северную Русь. Каким-то образом к легенде был присоединен рассказ о новгородских банях. Легенда об апостоле Андрее попала в летопись сравнительно поздно — в конце XI или начале XII века.

Владимир Ярославич — новгородский князь, старший сын Ярослава Владимировича Мудрого, великого князя киевского. С именем Владимира Ярославича связано возведение в Новгороде нового детинца (1045 г.) и строительство каменного Софийского собора (1050 г.).

К с. 94. *...Архиепископ Василий ризы крещатые и белый клобук получил... и владыка Моисей тож* — согласно полулегендарным сообщениям, введенным в состав новгородских летописей, архиепископ Василий Калика получил в подарок из Константинополя крестчатую фелонь (полиставрий) и белый клобук (областные иерархи должны были носить черный клобук). Архиепископ Моисей, преемник Василия, в 1353 году тоже был пожалован полиставрием. О пожаловании ему белого клобука сообщений нет. В данном случае мы имеем дело с пожалованием, отличавшим новгородских иерархов от других епископов.

Монастыри — опора дома святой Софии — новейшие исследования показывают, что новгородские монастыри в своей деятельности в большей степени были связаны с новгородской аристократией, которая передачей земель в монастыри сохраняла контроль над землями-пожалованиями и тем самым пыталась предотвратить интенсивный рост землевладения софийской кафедры.

К с. 96. *Перынь, в окружении извитых, заклятых еще богом Перуном сосен* — Перун — древнее языческое божество восточных славян. В 980 году великий киевский князь Владимир Святославич провел языческую религиозную реформу, создав пантеон языческих божеств во главе с Перуном. Перуново святилище под Новгородом было устроено на левом берегу Волхова у его истока из озера Ильмень (в 1948—1952 годах святилище было раскопано археологами). После христианизации Руси в 988(989) году святилище было разрушено, однако языческие верования долго сохранялись в массе славянского населения.

К с. 108. *Иваньский староста* — новгородское купечество для защиты своих интересов образовало особые корпорации, крупнейшей из которых было Иванское товарищество. Принадлежавшая корпорации церковь Ивана на Опоках (отсюда название сотни) стояла на торгу и сохранилась до наших дней. Корпорация объединяла богатейшее купечество, торговавшее воском, поставляя его на запад. Иванскому старосте передавался контроль над новгородским торгом. В церкви хранились торговые эталоны: пуд вощаный, пуд медовый, гривенка серебряная, иванский локоть. При церкви Ивана на Опоках находился торговый суд, рассматривавший все тяжбы по торговым делам в Новгороде, в том числе с ганзейскими купцами.

К с. 115. *Кончанские монастыри* — вся сеть новгородских монастырей, расположенных в городе и на примыкавшей загородной территории, была распределена по кончанскому принципу. Во главе каждого такого объединения монахов стоял определенный монастырь, связанный с кончанской администрацией: в Людином конце таким монастырем был Благовещенский, в Загородском — Аркажский, в Неревском — Никольский (Николы Белого), в Славенском — Михайловский Сковоротский, в Плотницком — Антонов. Во главе системы черного духовенства Новгорода стоял новгородский архимандрит, избиравшийся из числа пяти игуменов кончанских монастырей. Резиденцией архимандрита был Юрьев монастырь.

К с. 130. *Рурик, Синеус и Трувор* — по русским летописным преданиям три брата — предводители варяжских дружин якобы были призваны новгородскими словенами «из-за моря» с целью прекращения междоусобиц в Новгородской земле. Рюрик княжил в Новгороде, Синеус — в Белозере, Трувор — в Изборске. Смерть

младших братьев сделала Рюрика полновластным правителем Новгородской земли. Легенда о призвании варягов, сложившаяся в Новгороде или в Ладоге в XI веке, была использована в начале XII века для объяснения происхождения и прославления правящей русской княжеской династии, основателем которой стал считаться Рюрик. Эта версия легла в основу антинаучной норманской теории. Легенда о создании Рюриком Древнерусского государства опровергается данными многочисленных источников, которые свидетельствуют о складывании государственности у словян задолго до IX века и о становлении государства вследствие внутреннего социально-экономического развития.

Гостомысл — полулегендарный предводитель (старейшина) новгородских словен; первый новгородский посадник или князь (около первой половины IX века), который якобы завещал призвать варягов. Впервые это имя зафиксировано в списке новгородских посадников, составленном в начале XV века. Не исключено, что возникновение легенды о Гостомысле служило новгородцам для обоснования исконности посадничества и независимости в выборе князя.

Право лествичного наследия — феодальное право, согласно которому следующий брат рассматривался как первоочередной наследник старшего. Так по завещанию Дмитрия Донского (1398 г.) наследником его старшего сына, великого князя Василия I Дмитриевича, должен был стать следующий сын — Юрий, князь галицкий. Однако согласно завещанию Василия I (1425 г.) великокняжеский стол перешел к его сыну Василию II. Это сразу же привело к враждебной позиции Юрия Дмитриевича к племяннику и вылилось в длительную феодальную войну на Руси во второй четверти XV века.

К с. 131. *Ропаты католические* — костелы, католические церкви.

К с. 132. *...из-за пояса с двоюродниками насмерть резался...*— речь идет о ссоре на свадьбе Василия II в 1433 году из-за двух золотых поясов, подаренных когда-то великим князем суздальским Дмитрию Донскому и московскому тысяцкому Вельяминову. Последний подменил пояса, и великокняжеский пояс достался сыну тысяцкого, а затем, переходя из рук в руки, попал в конце концов к Василию Юрьевичу Косому (сыну Юрия Галицкого). На свадебном пиру пояс был опознан и отобран у Василия Косого по приказу матери Василия II Софии Витовтовны. Ссора из-за золотого пояса стала причиной новой вспышки в феодальной войне на Руси.

К с. 156. *...установленное Евфимием Великим богослужение...*— обращение новгородцев к памятным событиям 1170 года (см. примеч. к с. 65) имело более давнюю традицию. В 40-х и 50-х годах XIV века возникло «Сказание о знамении» — литературная

вариация разгрома суздальских полков под Новгородом. Тогда же была поставлена Знаменская церковь в честь иконы «Знамения богородицы». В 30-х годах XV века при Евфимии II была установлена ежегодная служба «Знамению». Во второй половине XV столетия в Новгороде особенно интенсивно возрождались старые легенды и предания.

К с. 158. *«Словеса избранны...»* — московская летописная повесть о победе над Новгородом в 1471 году существует в двух вариантах: одна служит дополнением к летописному своду 1448 года и завершает Софийскую I летопись; другая помещена в Никаноровской и Вологодско-Пермской летописях и Московском своде 1479 года. Отрывок летописной повести дается во втором разделе настоящей публикации — «Современники о Новгороде XV века».

К с. 162. *...от обоих прусских концов* — боярство Прусской улицы Новгорода до XIII века входило в состав Людина конца, осуществляя от него представительство в посадничестве. С образованием Загородского конца Прусская улица территориально вошла в состав нового административного района города, но сохранила политическое влияние в древнем Людином конце, продолжая от его имени занимать место в посадничестве.

К с. 163. *...Старшины цехов* — существование цеховой ремесленной организации в Новгороде весьма гипотетично. Историки не располагают никакими свидетельствами о существовании ремесленных корпораций. Этому противоречит также вотчинный характер новгородского ремесла: согласно археологическим исследованиям новгородские ремесленники включались в состав боярских усадеб и занимались в первую очередь ее обеспечением, поставляя избытки ремесленной продукции на рынок.

К с. 165. *...Витовту Порхов продал* — в 1428 году войско великого князя литовского совместно с союзным отрядом тверского князя вторглось в пределы новгородских земель и осадило крепость Порхов. Оказавшись в тот момент в политической изоляции, Новгород на военные действия не пошел, а вынужден был просить мира. Новгородское посольство во главе с архиепископом Евфимием I заключило под Порховом мир, уплатив контрибуцию в 10 тысяч рублей (из них 5 тысяч выплатил Порхов). В составе посольства находился посадник Исак Андреевич Борецкий.

К с. 184. *...не добился крестоцелования от брата Юрия* — Василий I Дмитриевич, передав по завещанию великое княжество московское своему сыну Василию II, не добился признания правомерности подобной передачи у своего брата Юрия Галицкого,

претендовавшего на великокняжеский стол согласно завещанию Дмитрия Донского, что явилось поводом к длительной феодальной войне на Руси (см. примеч. к с. 130).

К с. 188. *Яжелбицкий договор* — мирное соглашение между Новгородом и великим князем Василием II, заключенное после победоносного похода московских войск в 1456 году.

Уставная грамота Двинской земле — богатейшая новгородская колония — Двинская земля, или Заволочье, была предметом постоянных столкновений между Новгородом и Москвой. Начало конфликтов уходит в XII век, когда новгородцы сталкивались здесь с отрядами суздальских и ростовских князей. Новгород брал верх в борьбе за северные области. Ростовские владения (Белозерье, Кубенское) вклинивались в новгородские владения. В конце XIV века московские князья утвердились в Белозерье и получили новую базу для наступления на новгородские владения. С этого момента борьба приняла исключительно напряженный характер. В 1397 году двинские бояре отложились от Новгорода и перешли под власть московского князя. Москва, крайне заинтересованная в закреплении своей власти в Заволочье, выработала специально для Двинской земли правовой документ — Уставную грамоту, который закреплял привилегии местного боярства и купечества. Московский патронат над Двинской землей оказался кратковременным. Победоносный поход новгородцев в Заволочье и Белозерье в 1398 году привел к восстановлению зависимости Двинской земли от Новгорода.

К с. 203. *...Ярослав Мудрый... с новгородскими плотниками... выиграл войну* — после смерти великого князя киевского Владимира Святославича в 1015 году между его наследниками разгорелась междоусобная борьба, в ходе которой Святополк согласно летописи убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава и захватил великокняжеский стол. В борьбу со Святополком вступил новгородский князь Ярослав Владимирович. С помощью новгородцев и наемных варяжских дружин Ярослав изгнал Святополка и захватил Киев. «Плотниками» презрительно называли киевские дружинники новгородское ополчение Ярослава.

К с. 205. *Довмонт* — в 1266 году, спасаясь от кровопролитной княжеской междоусобицы, из Литвы в Псков с дружиной прибыл литовский князь Довмонт. В Пскове Довмонт крестился, получил христианское имя Тимофей и стал псковским князем. Годы княжения Довмонта ознаменовались успешными военными действиями Пскова против Литвы и Немецкого ордена.

К с. 206. *...из софийских денег, причитающихся со Пскова* — Псков, входивший в епархию новгородского владыки, должен был ежегодно выплачивать десятину в софийскую казну.

К с. 211. *...древнею Ярославной на стене Путивля* — Ярославна — жена Игоря Святославича, князя новгород-северского, героя выдающегося памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Лиричный образ Ярославны, созданный безвестным автором «Слова», один из поэтичнейших в русской литературе. Путивль — небольшой город Новгород-Северского княжества на пути в степь; здесь Ярославна ждала Игоря из похода.

К с. 230. *...при Донском также жгли пригородные монастыри* — в 1386 году в ожидании осады новгородцы сожгли пригородные монастыри, которые могли стать опорными пунктами для войск Дмитрия Донского.

К с. 236. *...во главе с архиепископом Феофилом* — до поставления новгородские владыки, избиравшиеся на софийскую кафедру, не употребляли титула архиепископа. Коростынский договор Феофил подписал как «нареченный в архиепископы».

К с. 261. *...и при Ярославе... при Юрии...* — Ярослав Владимирович Мудрый, князь новгородский и великий князь киевский. Юрий Владимирович, сын Мономаха, князь суздальский и великий князь киевский.

...хоть и князь изменил — в походе под Раковор в 1268 году новгородское войско возглавлял не наместник великого князя — князь Юрий Андреевич, который пытался направить удар на Литву, а князь Дмитрий Александрович, сын Александра Невского.

...концы новые выросли — в ходе постоянного роста городской территории новгородцы осваивали не только пустопорожние места внутри городской черты, но и в непосредственной близости к Окольному валу. Однако новые районы не обладали административно-правовыми нормами, характерными для собственно городских концов.

К с. 262. *...как Кострому на потехе весенней* — Кострома — весенний обрядовый праздник восточных славян. В ходе театрализованного представления участники «хоронили Кострому» (стог льняной соломы-кострика), растаскивая по частям либо поджигая.

К с. 263. *...о Тохтамышевом пленении* — см. примеч. к с. 59.

К с. 265. *...Литва, объединившись с Польшею...* — см. примеч. к. с. 60.

К с. 269. *...первого митрополита московского* — Петр не был первым митрополитом московским. При нем не был даже перенесен в Москву митрополичий двор из Владимира. Первым московским митрополитом в полной мере можно назвать Иону, избранного на митрополию в 1447 году, тогда, когда московская епархия стала автокефальной от константинопольской патриархии (см. также примеч. к с. 70).

К с. 279. *...выпустил Тревизана из заточения* — Джан Баттиста Тревизан, посол венецианского дожа, прибыв в Москву, скрыл от Великого Московского князя цель своего посольства — заключение союза Венеции с Москвой против Турции.

К с. 280. *...выкупил остатнюю вотчину князей ростовских* — начиная со второй четверти XIV века, московские князья постепенно, используя династические браки, обмены и купли, овладели Ростовской землей. В 1474 году Иван III выкупил у последнего князя ростовского Борисоглебскую половину Ростова. Ростовские владения в XII—XIII веках заходили в северные области, вклиниваясь в земли Великого Новгорода. Это обстоятельство делало великого князя Ивана III наследником «ростовщин» на севере, захваченных новгородцами, что послужило юридическим обоснованием похода 1477—1478 годов на Новгород.

Аристотель — Аристотель Фиораванти, выдающийся архитектор, заложивший основы московскому кремлевскому ансамблю.

К с. 298. *...погром Мирошкиничей* — Мирошкиничи — известная боярская посадничья семья в Новгороде. Глава рода Мирошка Нездинич — видный политический деятель конца XII века — был активным противником суздальских князей, убежденным сторонником новгородских «вольностей». Ему наследовал в посадничестве сын Дмитр, который провел ряд финансовых мероприятий, обогативших семью Мирошкиничей, но тяжело отразившихся на положении народных масс Новгорода. Боярские группировки, стремившиеся покончить с засильем Мирошкиничей, направили народное возмущение против посадника. В 1207 году в ходе восстания новгородцы разгромили усадьбу Мирошкиничей, конфисковали все имущество боярской семьи.

...бегство Борисовой чади — в 1228 году, в условиях острой внутриполитической борьбы между сторонниками переяславского князя Ярослава Всеволодовича и их противниками, сторонниками черниговских князей, восставшие сместили владыку Арсения, ставленника «суздальской» группировки, разграбили дворы тысяцкого Вячеслава, его брата Богуслава, Душильца — «липенского» старосты (Липно — местность под Новгородом, к югу от Городища), который спасся от расправы бегством в княжескую резиденцию. Под 1231 годом летопись сообщает о бегстве в Черни-

гов группы новгородских бояр, что свидетельствует о новом колебании внутриполитической борьбы. Среди бежавших: посадник Внезд Водовик, тысяцкий Борис Негоевич, сын посадника — Петр, Глеб Борисович, Михаил с братом и Миша. Эти бояре, которых летописец именует «Борисовой чадью» (вероятно, по имени тысяцкого Бориса), пошли на прямое предательство, заключив в следующем году соглашение с немцами, направленное против Пскова и Изборска.

К с. 300. *«Правда Русская»* — юридическо-правовой кодекс раннефеодального государства периода перехода от первобытнообщинного к классовому обществу.

К с. 302. *...пошли с веча на тысяцкого Вячеслава..., липенского старосту грабили* — см. примеч. к с. 298.

...Семена Михайлова дом грабили — в 1286 году восставший народ сместил посадника Семена Михайловича, боярина с Прусской улицы, а в следующем, 1287 году была разграблена усадьба бывшего посадника, а сам он избежал расправы, укрывшись в Софийском соборе.

...Есифа Захарьинича двор развозили — в конце XIV века в Новгороде шла ожесточенная борьба между отдельными боярскими группировками за расширение кончанского представительства в посадничестве. Новгородская знать Софийской стороны в 1388 году спровоцировала народное выступление против посадника Есифа Захарьинича. Восставшие разгромили усадьбу посадника. Сам Есиф убежал от восставших в Плотницкий конец и поднял жителей Торговой стороны на своих противников.

...как... Андрея Иваныча... громили невревляна, про Клементья Ортемьина, про землю — в 1421 году два городских конца — Неревский и Славенский — подняли восстания против посадника Андрея Ивановича, потому что он отнял землю у некоего Клементия Артемьина. Явившись в доспехах, жители названных концов разграбили усадьбы посадника и других бояр, убили 20 посадничьих «людей».

К с. 314. *...во время мирного похода* — имеется в виду пребывание в Новгороде великого князя Василия Темного с сыновьями в 1460 году.

К с. 333. *...Ярослав... заточил посадника Констянтина Добрынича* — опала Ярослава на новгородского посадника Константина была вызвана необходимостью закрепить позиции Ильи, сына Ярослава Мудрого, отправленного великим киевским князем в Новгород, где Константин (Коснятин) Добрынич длительным посадничеством укрепил связи с местным боярством. Посадник был смещен, заточен в Ростове, а через три года казнен в

Муроме. Поздние летописные своды помещают эти события под 1019 годом. Историки доказали, что дата 1019 год недостоверна. Опала Коснятина относится к 1030 году.

...Владимир Мономах призывал в Киев бояр новгородских — в 1119 году великий князь, недовольный вмешательством бояр в деятельность новгородского князя Мстислава, вызвал новгородцев в Киев, где заточил их в темницу.

...Александр Невский также вершил — деятельность Александра Невского, который с 1252 года стал официальным главой русских князей, несла в себе патриотическую идею по объединению Северо-Востока и Северо-Запада Руси в эпоху величайших испытаний для страны. Новгородское боярство, отстаивавшее право независимости Новгородской земли, неоднократно вызывало решительные действия великого князя. Александр последовательно осуществлял в Новгороде принцип поддержания суверенитета великого князя. В 1255 году Александр Невский силой восстанавливает на новгородском столе своего сына Василия Александровича. В 1259 году Невский добивается выплаты новгородцами дани татарам.

К с. 348. *..Григорий Кирилыч да Федор Яколич* — Григорий Кириллович Посахно и Федор Яковлевич — выдающиеся политические деятели Новгорода 30-х и 40-х годов XV века, активные противники Москвы.

К с. 369. *...о щитниках, смещавших архиепископов* — имеются в виду события 1228 года (см. примеч. к с. 298). После изгнания владыки Арсения на владычную кафедру был вновь введен Антоний, занимавший святительство до выборов Арсения. По сообщению летописи, вместе с Антонием были «посажены 2 мужа Якун Моисеевич и Микифор Щитник», это было вызвано тем, что восстановленный владыка после болезни онемел.

К с. 380. *...посечена была братия их на Парамоне дворе от Ярослава* — в 1014 году новгородский князь Ярослав Владимирович отказался вносить ежегодный налог в казну своего отца — великого князя Владимира Святославича. Киевский князь готовился наказать сына, вышедшего из подчинения, но заболел и умер. Ярослав, ожидая похода киевлян, заблаговременно нанял варяжские дружины для обороны города. Наемники своим поведением («деяли насилие») вызвали возмущение новгородцев, которые перебили варягов. В отместку за расправу над своими дружинниками Ярослав устроил резню новгородцев, застав их врасплох на пиру, на Парамоновом дворе. Конфликт был вскоре ликвидирован вступлением Ярослава в борьбу за обладание великокняжеским киевским столом. Нуждавшийся в поддержке новгородцев, князь пошел на примирение с ними.

К с. 423. *...Иван ограничился землями шести крупнейших новгородских монастырей... взяв у них половину волостей* — смысл великокняжеской акции состоял в захвате части церковных земель и тем самым в подрыве кончанского землевладения, связанного с монастырями и боярской олигархией. На великого князя были «отписаны» земли только кончанских и Юрьева монастырей, то есть тех, которые возглавляли систему новгородского черного духовенства. Некоторые монастыри (например, Спас-Варлаамский, Хутынский), чей земельный домен был не меньше, а иногда и больше, чем кончанских, не попали под сокращение.

ЖИЛЬБЕР ДЕ-ЛАННУА. «ИЗ ОПИСАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПОСОЛЬСТВА»

Текст печатается по изданию: Lannua Gileberte de la voyages et anbassades. Mous, 1840, с. 19—21. Перевод В. И. Морякова.

К с. 442. *Двести лье* — около 800 километров. Новгородские бояре действительно имели громадные владения, однако вотчины были раздроблены и редко составляли единый массив.

Унция — около 30 граммов.

...из мордок белок и куниц — до 1410 года в Новгороде не обращалась серебряная монета, а использовались товары-заменители, в том числе деньги-меха, носившие название «мортка бел» и «мортка кун».

К с. 443. *Труанская марка* — около 300 граммов серебра.

МОСКОВСКАЯ ПОВЕСТЬ О ПОХОДЕ ИВАНА III ВАСИЛЬЕВИЧА НА НОВГОРОД

Текст печатается по изданию: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., «Художественная литература», 1982, с. 376—403.

К с. 448. *...нанимали злых этих смердов... и прочих безродных мужиков... как эти новгородские люди, невежды, называя себя «господарем Великим Новгородом»* — московский великокняжеский свод настойчиво подчеркивает сочувствие «лучших людей» Новгорода — бояр и житьих людей — Москве и приверженность «безименитых мужиков» вечевому строю; особенное возмущение его вызывает то обстоятельство, что этих «смердов», собравшихся на вече, полагалось именовать «господарем Великим Новгородом». Однако в изображении новгородского летописца

внутриполитическая ситуация в Новгороде оказывалась более сложной. Типографская летопись, содержащая ростовской рассказ, близкий по тенденциям и построению к рассказу великокняжеского свода, обвиняет в склонности к «кралю литовскому» «боярев вечников», «крамольников» и «всех новгородцев», но прибавляет, что «земстии же людие того не хотяху».

К с. 450. *...за двадцать лет до окончания седьмой тысячи лет...* — через 20 лет после описываемых событий, в 1492 году (семитысячном году от сотворения мира), на Руси ждали конца света.

Князь Юрий Андреевич Дорогобужский — тверской воевода, потомок удельных князей Дорогобужских.

Иван Никитич Жито — тверской воевода, впоследствии перешедший на московскую службу и участвовавший в окончательном присоединении Новгорода в 1478 году.

Козьма Коробьин — третий посол Ивана III в Псков, добившийся наконец выступления псковичей на стороне великого князя (псковский посол Василий Быков был оставлен в Торжке в качестве заложника).

К с. 453. *...сто рублей новгородских* — первоначально понятие «рубль» означало серебряный брусок весом около 200 граммов. В Новгороде ценность рубля во второй половине XV века оставалась прежней; Москва же во время феодальной войны 1430—1450 годов пережила значительное снижение веса монет, и московский рубль (200 денег) стал вдвое дешевле новгородского.

К с. 454. *Севастьян Кушелев* — выступал в роли посланца Ивана III в Пскове и позднее, во время похода на Новгород в 1478 году.

...бой у них был на Двине — по известию Устюжского летописца сражение происходило на реке Шиленге (Шиленьге), одном из восточных притоков Северной Двины.

К с. 455. *А били челом великому князю шестнадцатью тысячами серебром в новгородских рублях...* — по известию Псковской третьей летописи Иван III сперва запросил семнадцать тысяч рублей, потом «владычия ради челобития» согласился на шестнадцать тысяч. В дошедшей до нас грамоте от 9 августа 1471 года сумма контрибуции определена в пятнадцать с половиной тысяч рублей; та же сумма названа и в новгородском рассказе.

«СЛОВЕСА ИЗБРАННЫ...»

Текст печатается по Софийской I летописи. Полное собрание русских летописей, т. V, изд. 2-е. Л., 1925. Перевод А. С. Хорошева.

НОВГОРОДСКАЯ ПОВЕСТЬ О ПОХОДЕ ИВАНА III ВАСИЛЬЕВИЧА НА НОВГОРОД

Текст печатается по изданию: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. М., «Художественная литература», 1982, с. 404—409.

К с. 461. *И отправили новгородцы посла в Литву, чтобы король выступил в бой за Новгород* — в противоположность московской повести новгородская повесть относит прямые переговоры с Казимиром ко времени после вступления великокняжеских войск в Новгородскую землю. Дошедший до нас в одном из сборников новгородских грамот договор, или, вернее, проект договора с Казимиром подкрепляет такую датировку, так как, судя по его тексту, он был составлен во время «розмирья» с Иваном III («...а умиришь, господине честны король, Велики Новъгород с великим князем...»). Если бы этот договор был официально заключен, он сохранился бы в литовском архиве, но в составе этого архива («Литовская метрика») его нет. Московские «Словеса избранны...» утверждали даже, что договор был захвачен в «кошевых вьюках» новгородцев, попавших в плен на Шелони.

К с. 462. *...Магистр не позволит пройти через землю свою в Литву* — магистр Ливонского ордена Вольтус фон Герзе в принципе считал желательной помощь новгородцам, но решил задержать ответ на их запрос, дабы извлечь максимальную выгоду из создавшейся обстановки. Он снарядил в Новгород посольство, которое прибыло уже после Шелонской битвы и Коростынского мира.

...Полянка — Полянка, или Поле — место за земляным валом, опоясывавшим Торговую сторону Новгорода.

В. Н. ТАТИЩЕВ. «РАЗГОВОР ДВУ ПРИЯТЕЛЕЙ О ПОЛЬЗЕ НАУКИ И УЧИЛИЩАХ»

Татищев Василий Никитич (1686—1750) — русский историк, государственный деятель. Управлял казенными заводами на Урале. В 1741—1754 годах астраханский губернатор. Автор публикаций по этнографии, географии, истории, в том числе

многотомного труда «История Российская с самых древнейших времен».

Текст печатается по изданию: Татищев В. Н. Избр. пр., Л., 1979, с. 120—121.

М. М. ЩЕРБАТОВ. ИЗ «ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ»

Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — князь, русский историк, публицист, почетный член Петербургской АН (1776 г.). Идеолог корпоративных устремлений дворянства. Автор «Истории России с древнейших времен».

Текст печатается по изданию: Щербатов М. М. История Российская, т. IV, часть II. Спб., 1783, с. 94—109.

А. Н. РАДИЩЕВ. ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ». НОВГОРОД

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — русский революционный мыслитель, писатель, провозвестник революционных идей в России. В главном произведении Радищева — «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) — широкий круг идей русского просвещения — правдивое, наполненное сочувствием изображение народа, резкое обличение самодержавия и крепостничества. Книга была конфискована и до 1905 года распространялась в списках. В 1790 году автор был сослан в Сибирь. По возвращении (1797 г.) он в своих проектах юридических реформ (1801—1802 гг.) вновь выступил за уничтожение крепостного права; угроза новых репрессий привела Радищева к самоубийству.

Текст печатается по изданию: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. — Библиотека всемирной литературы. Серия первая, т. 63. Русская проза XVIII в. М., 1971, с. 432—434.

К с. 480. *Из летописи Новгородской* — здесь не цитаты, а авторская имитация летописи.

Н. М. КАРАМЗИН. МАРФА ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА (историческая повесть)

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — русский писатель, историк, почетный член Петербургской АН (1818 г.).

Идеолог дворянства и просвещенного абсолютизма. Основное сочинение — «История государства Российского».

Текст печатается по изданию: Карамзин Н. М. Марфа Посадница, или Покорение Новагорода (историческая повесть). — Библиотека всемирной литературы. Серия первая, т. 63. Русская проза XVIII в. М., 1971, с. 618—627.

Н. М. КАРАМЗИН. ИЗ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

Текст печатается по изданию: Карамзин Н. М. История государства Российского, т. VI. Спб., 1892, с. 83—88.

П. И. ПЕСТЕЛЬ. ИЗ ПОКАЗАНИЙ В СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Пестель Павел Иванович (1793—1826) — декабрист, полковник, командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Член ранних декабристских организаций («Союза спасения» и «Союза благоденствия»), организатор и руководитель Южного общества декабристов. Республиканец. Автор «Русской правды». Арестован (по доносу) 13 декабря 1825 года. Повешен 13 июля 1826 года.

Текст печатается по изданию: Новгород в русской литературе XVIII—XX вв. Новгород, 1959, с. 99.

М. С. ЛУНИН. «ИЗ РОЗЫСКА ИСТОРИЧЕСКОГО»

Лунин Михаил Сергеевич (1787—1835) — декабрист, подполковник, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Один из учредителей ранних декабристских обществ («Союза спасения» и «Союза благоденствия»), член Северного и Южного обществ. Осужден на 20 лет каторги. В 1836—1840 годах написал и распространял (в рукописи) ряд нелегальных произведений. За обнаруженное при обыске сочинение «Взгляд на тайное общество в России (1816—1826)» в 1841 году был заключен в Акатуйскую тюрьму.

Текст печатается по изданию: Новгород в русской литературе XVIII—XX вв. Новгород, 1959, с. 99—100.

М. П. ПОГОДИН. ИЗ КНИГИ «НАЧЕРТАНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, писатель, академик Петербургской АН (1841 г.). Издавал журналы «Московский вестник» и «Москвитянин». Апологет «официаль-

ной народности». Автор трудов по истории России, бытовых повестей, исторических драм.

Текст печатается по изданию: Погодин М. П. Начертание русской истории. М., 1837, с. 42—150.

Н. А. ПОЛЕВОЙ. ИЗ СТАТЬИ «ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД»

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — русский писатель, журналист, историк, член-корреспондент Петербургской АН (1831 г.). Издавал журнал «Московский телеграф». Предшественник В. Г. Белинского в литературной критике. Для творчества Полевого характерна критика барства, идеализация буржуазии. «История русского народа» полемически направлена против Н. М. Карамзина.

Текст печатается по изданию: Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях. Новгородская губерния. Спб., 1844, с. 6—13.

К с. 503. *...древнейшую грамату* — имеется в виду грамота Изяслава Мстиславича новгородскому Пантелеймонову монастырю, датируемая 1131—1136 годами.

Остромирово евангелие — древнейший датированный памятник старославянской письменности русской редакции, содержащий недельные евангельские тексты (апраксос). Рукопись переписана в 1056—1057 годах для новгородского княжеского посадника (с 1054 г.) Остромира. В настоящее время хранится в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

К с. 504. *Корсунские врата* — Корсунь — древнерусское название Херсонеса (окраина современного Севастополя), античная колония в Крыму. «Корсунский» — общеупотребительное в Древней Руси определение высокохудожественных предметов (например, «Корсунские» иконы). В новгородском Софийском соборе сохранилось двое бронзовых врат XII века. Одни установлены в западном портале собора. Створы этих ворот состоят из бронзовых пластин с рельефными композициями и отдельными символическими фигурами. Над всеми изображениями вырезаны латинские тексты и русские переводы их. По легенде врата попали в Новгород в 1187 году как военный трофей, захваченный в шведской столице Сигтуне (отсюда второе название врат — Сигтунские). Однако современные исследователи сомневаются в подобном происхождении врат, так как в 1187 году новгородцы в походе не участвовали. Вторые врата установлены в восточном приделе собора. Врата обиты бронзовыми пластинами, покрытыми растительным орнаментом и рельефными розетками. В углубленных филенках врат расположены набивные изображения «процветшего креста». Искусствоведы склоняются к византийскому происхождению врат. Впрочем, определение «корсунские» прилагается к обоим вратам.

Ю. Ф. САМАРИН. ИЗ СТАТЬИ «О МНЕНИЯХ «СОВРЕМЕННИКА» ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ»

Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — русский философ, историк, общественный деятель, публицист. Один из идеологов славянофильства. Автор либерально-дворянского проекта отмены крепостного права, участник подготовки крестьянской реформы 1861 года.

Текст печатается по изданию: Самарин Ю. Ф. Собр. соч., т. 1. Спб., 1877, с. 56—59.

К. Д. КАВЕЛИН. ИЗ СТАТЬИ «ВЗГЛЯД НА ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ ДРЕВНЕЙ РУСИ»

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — русский историк государственной школы, либеральный общественный деятель, публицист. Участник подготовки крестьянской реформы 1861 года. Автор одного из первых проектов отмены крепостного права. Сторонник умеренных буржуазных реформ при сохранении неограниченной монархии и помещичьего землевладения.

Текст печатается по изданию: Кавелин К. Д. Собр. соч., т. 1. Спб., 1897, с. 32—36.

И. Д. БЕЛЯЕВ. ИЗ КНИГИ «ИСТОРИЯ НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО ПАДЕНИЯ»

Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — русский историк, славянофил, профессор Московского университета. Автор трудов по истории Новгорода, русского крестьянства, права, военного дела.

Текст печатается по изданию: Беляев И. Д. Рассказы из русской истории, кн. 2. М., 1864, с. 569—621.

С. М. СОЛОВЬЕВ. ИЗ «ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — русский историк государственной школы, академик Петербургской АН (1872 г.). Ректор Московского университета в 1871—1877 годах. Основное сочинение — «История России с древнейших времен» (1851—1879), т. 1—29.

Текст печатается по изданию: Соловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. III (т. 5—6). М., 1960, с. 7—11.

Н. И. КОСТОМАРОВ.
О ЗНАЧЕНИИ ВЕЛИКАГО НОВГОРОДА В РУССКОЙ ИСТОРИИ

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русский и украинский историк, писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1876 г.). Один из руководителей буржуазного либерального крыла Кирилло-Мефодиевского общества. Сторонник украинской культурно-национальной автономии. Автор трудов по истории России и Украины; активный популяризатор исторических знаний; издал ряд исторических пьес и повестей, стихов на русском и украинском языках.

Текст печатается по изданию: Костомаров Н. И. Собр. соч., кн. I (т. 1—3). Спб., 1903, с. 199—214.

К с. 532. *Иоакимовская летопись* — русская летопись, использованная В. Н. Татищевым в его «Истории Российской». Татищев приписывал ее составление первому новгородскому епископу Иоакиму Корсунянину. В действительности летопись составлена в XVII веке и содержит наряду с заимствованиями из древних источников ряд легендарных сообщений и авторских домыслов, типичных для хронографии XVII века.

К с. 534. *...Киеву, поплатившемуся за изгнание Изяслава Ярославича* — в 1068 году восставшие киевляне изгнали из города великого князя Изяслава. В следующем году Изяслав с помощью польских войск захватил Киев и жестоко расправился с восставшими.

Половцы, торки, берендеи — кочевые племена тюркского происхождения, обосновавшиеся во второй половине XI века в южнорусских степях, на южной границе русских земель. С 60-х годов неоднократно нападали на Русь. Монголо-татарское нашествие вытеснило часть кочевых племен в Болгарию и Венгрию, а основная масса их слилась с населением Золотой Орды.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ.
ИЗ «КУРСА РУССКОЙ ИСТОРИИ»

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — русский историк, крупнейший представитель русской буржуазно-либеральной историографии, академик (1900 г.), почетный академик (1908 г.) Петербургской АН. Автор «Курса русской истории», трудов по истории крепостного права, сословных учреждений России, финансов, историографии.

Текст печатается по изданию: Ключевский В. О. Собр. соч., т. 2. М., 1957, с. 58—59, 97—102.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ.
ИЗ «СТАТЬИ О НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ»

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — выдающийся русский литературный критик, публицист, революционный демократ, философ-материалист. Эволюционировал от просветительства к революционному демократизму. Боролся с реакционной литературой и сторонниками «чистого искусства». Сочетал философское мышление, литературно-критический талант с пафосом публициста. Оказал влияние на развитие русской общественной мысли и художественной литературы.

Текст печатается по изданию: Белинский В. Г. Собр. соч., т. 4. М., 1979, с. 233—235.

Н. В. ШЕЛГУНОВ.
НОВГОРОДСКИЙ РОМАНТИЗМ

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — русский революционный демократ, публицист, литературный критик. Участник революционного движения 60-х годов; автор нескольких прокламаций. С 1866 года один из ведущих сотрудников, а в 1880—1884 годах фактический редактор журнала «Дело».

Текст печатается по изданию: «Дело», 1873, № 8. Статья «Романтизм русский», с. 96—102.

А. И. ГЕРЦЕН.
ИЗ СТАТЬИ «НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ И ВЛАДИМИР НА КЛЯЗЬМЕ»

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — русский революционер, писатель, философ. На революционный путь вступил вместе с Н. П. Огаревым под влиянием декабристов. В Московском университете возглавлял революционный кружок студентов. Был арестован. Сослан в Вятку, затем в Новгород. С 1842 года глава левого крыла западников. С 1847 года в эмиграции. После поражения европейских революций 1848 года разочаровался в революционных возможностях Запада и разработал теорию «русского социализма», став одним из основоположников народничества. В 1853 году основал в Лондоне Вольную русскую типографию. В газете «Колокол» обличал русское самодержавие, вел революционную пропаганду, требовал освобождения крестьян с землей. В период подготовки крестьянской реформы 1861 года допускал либеральные колебания, полемизировал с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым. В 1861 году решительно стал на сторону революционной демократии, содействовал созданию «Земли и воли». В последние годы жизни внимание Герцена

привлекла деятельность I Интернационала и борьба рабочего класса.

Текст печатается по изданию: Новгород в русской литературе XVIII—XX вв. Новгород, 1959, с. 137—138.

К с. 566. *...два Ивана Васильевича да один Алексей Андреевич* — Иван III Васильевич (московский великий князь) и Иван IV Васильевич Грозный (русский царь). Алексей Андреевич — Аракчеев — временщик при Павле I и Александре I. Проводил политику крайней реакции, полицейского произвола. Аракчеев был организатором «военных поселений» — особой организации войск в Российской империи в 1810—1857 годах. «Военнопоселенцы» совмещали военную службу с занятиями сельским хозяйством. В Новгородской губернии был сплошной массив «военных поселений». Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни неоднократно вызывали восстания «военнопоселенцев» (Чугуевское в 1819 году, Старорусское в 1825 году, Новгородское в 1831 году).

А. И. ГЕРЦЕН. ИЗ СТАТЬИ «О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ»

Текст печатается по изданию: Герцен А. И. Соч., т. 3. М., 1956, с. 403—405.

Н. П. ОГАРЕВ. ИЗ СТАТЬИ «ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА О ПРИСЯЖНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»

Огарев Николай Платонович (1812—1877) — русский революционер, поэт, публицист. Друг и соратник Герцена. В Московском университете один из организаторов революционного кружка студентов. Был арестован и сослан. С 1856 года в эмиграции. Один из руководителей Вольной русской типографии, инициатор и соредактор «Колокола». Разрабатывал социально-экономическую программу крестьянской революции в духе «русского социализма». Участник подготовки и создания революционного общества «Земля и воля». Умер в Гринвиче, под Лондоном. Прах Огарева перенесен в Москву на Новодевичье кладбище.

Текст печатается по изданию: Новгород в русской литературе XVIII—XX вв. Новгород, 1959, с. 149.

А. П. ЩАПОВ. ИЗ СТАТЬИ «ГОРОДСКИЕ МИРСКИЕ СХОДЫ»

Щапов Афанасий Прокофьевич (1831—1876) — русский историк демократического направления. Автор трудов по истории

Сибири, русской общины, церковного раскола и старообрядчества.

Текст печатается по изданию: Щапов А. П. Собр. соч., т. 1. Спб., 1906, с. 785—793.

К с. 574. *...в 1261 г. ...происходили веча на бесермен* — бессермены — мусульманские купцы, откупщики монгольской дани в завоеванных странах. В ходе массовых городских восстаний на Руси в 1262 году (Щапов ошибся в переводе летописной погодной записи на современное летосчисление) бессермены были изгнаны из русских земель, и право сбора дани было передано русским князьям.

К с. 578. *...разделился на Славянскую сторону — средоточие славянского земства, и на Софийскую сторону — средоточие пришлых, чуждых элементов церковно- и княжеско-служилых* — Щапов своеобразно интерпретирует вопрос о происхождении новгородского боярства, считая аристократию пришлым элементом. Современная историография определяет местное происхождение новгородской верхушки.

А. В. АРЦИХОВСКИЙ. ИЗ СТАТЬИ «К ИСТОРИИ НОВГОРОДА»

Арциховский Артемий Владимирович (1902—1978) — советский историк, археолог, член-корреспондент АН СССР. Автор ряда исследований по археологии и истории Новгорода, русским древностям. Лауреат Государственных премий 1970 и 1982 годов (посмертно).

Текст печатается по изданию: «Исторические записки», 1938, № 2, с. 108—131.

К с. 582. *М. Н. Покровский* — советский историк, партийный и государственный деятель, академик. Автор трудов по русской истории, истории внешней политики, революционного движения. Творчеству М. Н. Покровского были свойственны ошибки при освещении исторического процесса, подвергнутые критике в советской исторической литературе.

К с. 585. *А. М. Гневушев* — русский дореволюционный историк, в творчестве которого большое внимание уделялось изучению экономики Новгорода.

К с. 589. *Б. Д. Греков убедительно обосновал дату возникновения республиканского строя* — Б. Д. Греков, советский историк, академик, лауреат Государственных премий СССР. Автор фундаментальных исследований по истории России, южных и западных славян, истории крестьянства, активно боролся за утверждение марксистского понимания исторического процесса. В 1929 году Б. Д. Греков обратился к истории классовой борьбы в Новгороде в начале XII века и выдвинул гипотезу, согласно которой установление республиканских порядков связывалось с событиями 1136 года. Новейшее обращение В. Л. Янина к политической истории Новгородской республики доказало возникновение республиканских органов власти в XI веке, а восстание 1136 года определило как заключительный этап длительной антикняжеской борьбы новгородцев (см.: Янин В. Л. Новгородские посадники. М., Изд-во МГУ, 1962).

СЛОВАРЬ К РОМАНУ Д. М. БАЛАШОВА «МАРФА-ПОСАДНИЦА»

(в алфавитном порядке)

абие — вдруг, тотчас, внезапно

аз — я

аки, акы — как

алтабас — восточная ткань

амо — куда

аспид — змей

аще — если

багрец — оттенок ярко-красного цвета

бармы — ожерелье со священными изображениями в металлических медальонах; знак царской и княжеской власти

бессермены — басурманы, иноверцы

бирючь — должностное лицо, состоявшее при суде

блаженный — убогий, юродивый

брань — битва, сражение

братина — низкая широкая чаша

братчина *(новгор.)* — «братство» по роду занятий либо соседское; род празднеств; пир

бронь — кольчуга, доспех

ваган — большие чаши или круглые корыта с короткой прямой ручкой

вапа — краска; вапить, повапить — красить

варница — солеварня

вборзе — скоро, быстро

ведати, ведети — знать

велий — большой

верея — столб для ворот

взголовье — длинная подушка для двуспальной кровати

взметная грамота — грамота, объявляющая войну

вира — штраф, судебная плата

вкупе — вместе

внити — войти

воздоить — вскормить, вспоить

вои — воины

вотола — верхняя одежда из толстого сукна

всток *(помор.)* — восточный ветер

выжлец — охотничий пес

выжлятники — псари

вымол — пристань

выступки — женские полусапожки

выть — общее понятие времени еды

выя — шея

вятший — великий, знатный, родовитый

гайтан — шнурок нательного креста

глагол — слово, речь; глаголить — говорить

голка — шум, ропот, беспорядок, волнение

горлатные шапки — высокие шапки из меха горлышек соболей; шапка думных бояр

городня — часть крепостной стены между двумя башнями

гость — купец

гульбище — балкон, терраса для прогулок, пиров

два на десяти — двадцать два

двою ста — двести

дворский — домоправитель

деля — для

доблий — доблестный

до зени — до земли

домовина — гроб

дондеже — пока; до тех пор, пока

достакан — стакан

дробница — ювелирное украшение, нашиваемое на церковное облачение, на переплеты книг

егда — когда

еже — если; которое, что

ела — четырехвесельная лодка

ендова — низкая широкая чаша со сливом

елико — сколько

епанча — верхнее длинное платье с рукавами без ворота

епитрахиль — обязательная часть облачения священника во время богослужения в виде широкой нашейной ленты со сшитыми концами

ересь — учение, вступавшее в противоречие с господствующим вероучением

живот — жизнь

житьи — новгородские неродовитые землевладельцы

заборола — верхняя часть крепостной стены, бойницы

заехать — занять, захватить

зажитье — военный грабеж

зане — потому что

заполье — пригород

засмяглый, усмяглый — потный, заспанный, усталый

зелие, зелье — злак, овощ; лекарство, отрава; порох

зелейный мастер — мастер порохового дела

зело — очень, сильно

зендянь — бухарская пестроцветная хлопчатобумажная ткань

зрак — вид, облик; взор

иде, иде же — где

иже, яже, еже — который, -ая, -ое

изымало — кузнечные клещи

имати — брать, хватать

имение — богатство, имение

индрик-зверь — единорог, сказочный зверь-чудовище

ино — но, то

инуду — в иное место

ипское (лунское) сукно — английское и фландрское из города Ипра (Ипа)

ирмос — вступительный стих церковного песнопения

исторы — потери, убытки, отобранное по суду

каждение — поклонение

калика — странник

калита — кошель, мешок

калитки — ватрушки из тонко раскатанного крутого ржаного теста

Камень — Уральский хребет

камка — шелковая ткань

камо — куда

Кафа (совр. Феодосия) — транзитный пункт московской торговли с Италией

келарь — монах, заведующий монастырским хозяйством

кеража — небольшие однополозные санки из целого куска дерева

клещица — инструмент для вязки сетей

клир — корпорация служителей церкви

ключник — управляющий хозяйством

княжчины — волости великого князя

кожух — шуба

кол колить — устраивать заборы в реке для ловли рыбы

колтки, колты — пустотелые, заполняемые ароматическими веществами ювелирные украшения, вплетавшиеся женщинами в волосы, либо привешивавшиеся к головному убору

колонтарь — доспех, тип кольчуги

комонный — конный

кондак — краткая церковная песня

копылья — стояки; вертикальные санные стояки

корабленики (нобили) — золотые западноевропейские монеты с изображением корабля

коротель — короткая женская шубейка; телогрея

корысть — выгода; взятка

корч — каменистая мель

костры — городские башни

косящатые окна — в косяках, большие, парадные

кочедыг — металлический с округлым концом загнутый стержень для плетения бересты

кочь — тип плаща

кояр — кожаный панцирь

кравчий — виночерпий

красна, кросна — холсты, полотно

красный — красивый, прекрасный

кратир — воронкообразный сосуд с двумя ручками на низкой ножке

крашенина — крашеная ткань

куколь — монашеский колпак

кунган, кумган — восточный металлический сосуд, покрытый чеканкой

куны — деньги

купно — вместе
латка — глиняная сковорода
левкас — грунт, подкладка живописи
лепо — красиво; лепота — красота
лепше — лучше
летник — летняя верхняя одежда из легкой ткани
лжица — ложка
литургия — церковная служба, обедня
лов, ловля — охота
ловища — охотничьи угодья
лонись — в прошлом году
лопотина; лопоть — одежда
луда — см. корч
лунское сукно — см. ипское
майстер (мастер, магистр) — руководитель Ордена
матичное бревно, матица — центральное бревно постройки, поддерживавшее крышу
мешкотно — неловко; медленно
мзда — см. корысть
мисюрский — египетский
миро — масло, употребляемое в церковных обрядах
митра — головной убор высшего духовенства
мнити — думать
мних — монах
молодечная — караульное помещение стражи
мор, морове — эпидемия
мурава — трава
муравленая печь — изразцовая, расписанная травами
мытарь, мытник — сборщик податей
наволок *(поморск.)* — лесистый мыс, полуостров
наипаче — больше всего
налой — столик с наклонной доской для чтения и письма
наральник — металлическое съемное острие рабочей части деревянного рала, сохи
нарочитый — богатый, знатный
наручи — съемные нарукавники из плотного материала с богатым шитьем
наряд — порядок, устройство; снаряжение

насад — судно с насаженными бортами

насадки — съемные металлические оковки лезвий деревянных лопат

неже — нежели, чем

нестроения — смуты, нелады, волнения

ниже — также не, и не

Низ, Низовская земля *(новгор.)* — область южнее верховьев Волги (от Твери)

николи — никогда

Номоканон — сборник церковных правил, церковный судебник

норило — длинный шест

обжа — единица площади, принятая в Новгороде; равнялась количеству земли, обрабатываемому пахарем за один день с одной лошадью; около 5 десятин

оболочен — одет

обоярь, объярь — плотная шелковая ткань с золотым или серебряным струеобразным узором

овнач — род чаши

окольный — соседний, близлежащий

оксамит (аксамит) — византийская, позже итальянская, плотная ткань с вплетенной золотой или серебряной нитью и тканым шелковым либо бархатным узором

окуп — выкуп

омофор, омофорий — длинный кусок ткани, вышитый крестами и надеваемый священником на плечи

опашень — широкая, долгополая одежда с широкими короткими рукавами, надеваемая поверх кафтана

оперенное крыльцо — крытое досками с фигурно вырезанными концами, напоминающими перья птичьего крыла

ополониться — поживиться за счет побежденного

опонники — ткачи

опричь — кроме, исключая

орарь — широкая лента с крестами, надеваемая дьяконом во время богослужения через левое плечо

орати — пахать

ослоп — дубина, жердь, кол

осочники — загонщики, облавщики

отаи — тайно

отрок, отроча — ребенок, юноша; слуга

охабень — длинная прямая верхняя одежда с откидным квадратным воротом и завязанными сзади рукавами, вставленными в прорези на уровне плеч

паки, пакы — опять, снова

панагиар — блюдо с крышкой на подставке, употреблявшееся во время богослужения

панагия — небольшая овальная икона с изображением христа или богородицы, необходимый компонент облачения высших иерархов

паужина — речное судно

паче — больше, лучше; еще

пелена — шитая икона

переворы — пошлины

перст — палец

пешать — пробивать лед пешней, шестом с железной насадкой на конце

плесковичи — псковичи

плинфа — плоский широкий кирпич

повойник — женский головной убор в виде шапки с парчовым верхом и завязками сзади

поволока, паволока — шелковая ткань, покрывало

подволока — чердак

подписать — расписать (фресками)

подсиверик *(поморск.)* — северо-восточный ветер

покров — шитое покрывало на гробницу с изображением умершего

покрученные — призванные (на войну)

поприще — мера длины

портна — льняное полотно

порты — одежда

поршень — обувь из цельного куска кожи, обернутого вокруг ноги и сборенного на щиколотке

посельский — сельский управляющий

постав — штука материи, снятая с одного ткацкого станка

поставец — шкафчик

потир — чаша сферической формы на высокой ножке, употреблявшаяся во время богослужения

поять — взять

пресный мед — натуральный, невареный

прещение — запрет

пристав — страж; должностное лицо, назначавшееся для вызова на суд

противень — копия

прясло — часть (звено) ограды; часть стены между двумя башнями

пуло — мелкая медная монета

разоболокаться — раздеваться

рака — верхняя монашеская одежда; гробница

рамена — плечи

репукса — ряпушка

риза — см. фелонь

рогатина — охотничье копье, наконечник которого расклепан внизу в виде рога

ропата — католическая церковь

руга — разовая либо постоянная выплата церковному клиру

рушанки — жительницы Русы

рядки — небольшие торговые поселения

ряса — верхняя монашеская одежда; женские украшения (привески к головному убору)

сак — мешок для рыболовной сети

саккос — одежда высшего духовенства, по покрою напоминает стихарь

сам-четверт — вчетвером (или в четвертой части)

саян — женская одежда, род сарафана

свеи, свея — шведы

седлища — неделя

сестрич — племянник, сын сестры

синклит — совет; собор; свита

сион — символическое изображение иерусалимского храма

сиречь — то есть

скань — тонкая серебряная или золотая скрученная нить, употреблявшаяся в ювелирном деле

скобкарь — чаша с ручками в виде птичьих или звериных голов и хвоста

скора — кожа

скрыня — сундук

смерд — крестьянин

смесный — совместный

совокупить — соединить

сорочинское пшено — рис

соймы, снемы — княжеские съезды

спица — вешалка

степенный — старший, возведенный в степень

стихарь — одежда священников, широкая с широкими рукавами и разрезами по бокам

ставник — подсвечник

стогна — площадь, улица

стольник — ведающий припасами (столом)

стратиг — военачальник, воевода

стригольники — еретики, сторонники выступления против догматов церкви в середине XIV века

строгали — мастера по выделке пергамена

стросточка — тросточка

Строфилат — птица — птица Феникс, возрождающаяся из пепла

Сурож (совр. Судак) — пункт транзитной торговли Москвы с Италией

схима — монашеская одежда; принять схиму — стать монахом

сябр, сябер — сосед

тамо — там

тать — вор

тафта — плотная упругая шелковая ткань с матовой поверхностью

тим — мягкая кожа

тиун — слуга, дворецкий

трус — землетрясение

тупица — колун (иногда — лопата)

угры — венгры

уклад — сталь

учан — речное судно

фелонь — круглый плащ с вырезом для головы без рукавов

финифть — перегородчатая эмаль

фрязи, фряги — итальянцы

харалужный — булатный, закаленный

харатья — пергаменная рукопись, грамота или книга

хиротония, рукоположение — обряд возведения в священнический сан

хорос — люстра в виде плоского круга, подвешенного горизонтально

црен (чрен) — большой плоский клепаный котел, в котором выпаривалась соль

чашник — слуга, ведающий посудой, драгоценностями

чашница — кладовая драгоценной посуды

чуга — верхняя одежда с короткими, до локтя, рукавами
шайка столовая — застольная компания
шильник *(новгор.)* — плут, мошенник
юма — небольшое мореходное судно
ярый воск — чистый
яхонты — общее название драгоценных камней

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса. Т. VIII, с. 157—166.

Энгельс Ф. О разложении феодализма и возникновении национальных государств. — Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 21.

Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. — Полн. собр. соч., т. 1, с. 153.

Ленин В. И. О государстве. Лекция в Свердловском университете. — Полн. собр. соч., т. 39.

Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. — Соч., т. XX. М.—Л., 1925.

Герцен А. И. О развитии революционных идей в России. — Соч., т. 3. М., 1956.

ПУБЛИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ

Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка. М.—Л., 1949.

Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. Под. ред. А. Н. Насонова. М.—Л., «Наука», 1950.

Новгородская Четвертая летопись. — Полное собрание русских летописей, том IV, выпуск 1. Пг., 1915; выпуск 2. Л., 1925; выпуск 3. Л., 1929.

Псковские летописи, вып. 1—2. М., 1941—1955.

Памятники права периода укрепления Русского централизованного государства XV—XVII вв. М., 1956.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV века. М., 1952.

Бахрушин С. В. Княжеское хозяйство XV и первой половины XVI в. — Научные труды. Т. 2. М., 1954.

Беляев И. Д. История Новгорода Великого от древнейших времен до падения. М., 1864.

Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961.

Данилова Л. В. Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в XV—XVI вв. М., Изд-во АН СССР, 1955.

Засурцев П. И. Новгород, открытый археологами. М., Изд-во АН СССР, 1962.

Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV — начало XVI в. Л., «Наука», 1975.

Карамзин Н. М. История государства Российского, кн. I. Спб., 1842.

Ключевский В. О. Сочинения. Т. 2. М., Соцэкгиз, 1957.

Костомаров Н. И. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Спб., 1863.

Лихачев Д. С. Новгород Великий. М., 1959.

Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.—Л., 1962.

Мавродин В. В. Образование единого Русского государства. Л., 1951.

Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., «Наука», 1982.

Порфиридов Н. Г. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI—XV вв. М.—Л., 1947.

Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий. Пг., 1918.

Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. М., 1969.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 3. М., Соцэкгиз, 1960.

Хорошкевич А. Л. Торговля Новгорода Великого с Прибалтикой и Западной Европой в XIV—XV вв. М., Изд-во АН СССР, 1963.

Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., Соцэкгиз, 1960.

Черепнин Л. В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. М., «Наука», 1969.

Янин В. Л. Новгородские посадники. М., Изд-во МГУ, 1962.

Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина. М., «Наука», 1981.

Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., Изд-во МГУ, 1975.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новгород в русской литературе XV—XX вв. Новгород, 1959.

Балашов Д. Господин Великий Новгород. — М., «Советская Россия», 1970.

Бестужев-Марлинский А. Роман и Ольга. — В кн.: Бестужев-Марлинский. Повести и рассказы. М., «Советская Россия», 1976.

Язвицкий В. Иван III, государь всея Руси. М., «Московский рабочий», 1951.

Изюмский Б. Тимофей с Холопьей улицы. М., Детгиз, 1958.

СОДЕРЖАНИЕ

Государство всё нам держати. Век XV: Бала-
Г 72 шов Д. М. Марфа-посадница. Роман с сокращениями. Современники о Новгороде XV века. Кто и как изучал историю Новгорода Великого /Сост., предисл. и коммент. А. С. Хорошева. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 637 с., ил. — (История Отечества в романах, повестях, документах).

В пер.: 2 р. 30 к. 200 000 экз.

Сборник «Государство всё нам держати» посвящен важнейшему событию русской истории — включению во второй половине XV века Новгородской феодальной республики в состав единого Российского государства. Наряду с романом Д. Балашова «Марфа-посадница» в него вошли памятники древнерусской литературы, фрагменты средневековых хроник и летописей, отрывки из сочинений историков и публицистов о Великом Новгороде.

Г $\frac{4702010000-111}{078(02)-85}$ КБ—027—019—84

ББК 84Р7
Р2

В БИБЛИОТЕКЕ
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В РОМАНАХ,
ПОВЕСТЯХ, ДОКУМЕНТАХ»
ВЫШЛИ КНИГИ:

«Союз нерушимый»
(век XX)

«Седой Урал»
(век XVIII)

«За землю русскую»
(век XIII)

«Бунташный век»
(век XVII)

«Стояти заодно»
(век XVII)

«Горные ветры»
(века XIX—XX)

«Обновление земли»
(век XX)

«Наука побеждать»
(век XVIII)

«На крутом переломе»
(век XX)

ИБ № 4390

ГОСУДАРСТВО ВСЕ НАМ ДЕРЖАТИ
Век XV

*

Старший редактор библиотеки
«История Отечества в романах,
повестях, документах»
С. Елисеев

Редактор тома
Н. Самарская

Художник
В. Кульков

Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Р. Сиголаева

Корректор
В. Авдеева

*

Сдано в набор 07.08.84. Подписано в печать 12.03.85. А00685. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 33,6. Условн. кр.-отт. 34,12. Учетно-изд. л. 36,9. Тираж 200 000 экз. (1-й завод — 100 000 экз.). Цена 2 р. 30 к. Заказ 1069.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Новгород
оз. Ильмень
Волга
Торжок
Тверь
МОСКВА
Москва

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
ВЕК
XV